
А.К.ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ
ГОСПОДА ОБНОСКОВЫ
НАД ОБРЫВОМ
ВЕШНИЕ ГРОЗЫ
АПТЕКА
W.WOLFF

А.К.ШЕЛЛЕР-МИХАЙЛОВ

ГОСПОДА ОБНОСКОВЫ

•

НАД ОБРЫВОМ

•

ВЕШНИЕ ГРОЗЫ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84 Р 1
Ш 42

Составление, предисловие и примечания
М. А. Соколовой

Ш $\frac{4702010100-1300}{080(02)-87}$ 1300—87

«Себя должны мы прежде всего исправить...»

Это было глубокое убеждение талантливого писателя-демократа Александра Константиновича Шеллера (псевдоним А. Михайлов). Мыслью о том, что только на пути самоусовершенствования может быть достигнут прогресс, пронизано все его творчество, пользовавшееся в 70-е годы прошлого века большой популярностью у молодого читателя.

В переломную пореформенную эпоху конца 60—70-х годов вслед за революционно-демократической литературой — литературой Чернышевского, Щедрина, Некрасова — возникает радикально-демократическая литература, продолжавшая лучшие традиции русского реализма. Это были писатели не одинаковые по своему таланту — такие, как К. Станюкович, Н. Хвощинская, И. Кущевский, И. Омулевский, и другие. Несмотря на то, что взгляды их были далеки от революционной борьбы, их сближало стремление сохранить в своем творчестве идеалы революционеров-шестидесятников. Их объединяла критика помещичьего класса, показ полного упадка дворянства, умение увидеть и показать положительные и отрицательные стороны нарождающейся буржуазии, любовь к своему народу и вера в социальное переустройство общества.

В своих произведениях они останавливались на важнейших проблемах, выдвинутых жизнью того времени: судьба интеллигенции, воспитание нового человека, эмансипация женщины, взаимоотношение отцов и детей. И хотя их отличала нечеткость политической программы, незнание путей борьбы за переустройство общества, они ясно отразили пробуждение общественного сознания широких кругов демократической интеллигенции, ее стремление к активной деятельности. Положительный герой этих писателей — уже не «лишний» человек, а человек «дела» — трезвый, деловой, трудолюбивый. Становлению его психологии, его личности, его мечтам о новом будущем, поискам новых путей в жизни посвящены произведения беллетристов-демократов 70-х годов. Воспитание нового поколения разночинца занимает центральное место

в их произведениях (Негорев у Кущевского, Светлов у Омулевского, Лаврентьев у Станюковича).

Особое место в демократической беллетристике 60—90-х годов принадлежит А. К. Шеллеру-Михайлову. Он был одним из тех, кто на протяжении 40 лет, пережив подъем революционно-освободительного движения, его спад и период упадка, старался остаться верным «шестидесятым годам» — тревожному времени реформ, духовного подъема, надежд и светлой веры в будущее. В своей беллетристике как 60-х, так и 90-х годов он упорно и сознательно продолжал отстаивать те вольнолюбивые идеалы, которыми было овеяно время кануна реформ, хотя в 70—90-е годы этой общей и неопределенной веры в будущее было уже недостаточно и походило, по словам Салтыкова-Щедрина, на «горячий идеализм».

Александр Константинович Шеллер родился 30 июля (11 августа) 1838 года в Петербурге, в трудовой семье. Его отец, эстонец, после окончания театрального училища и недолгой службы в оркестре вынужден был зарабатывать на жизнь разной мелкой работой: от суфлерства и переписывания нот до столярничанья. Мать Шеллера, которой он обязан был своим воспитанием, происходила из обнищавшей дворянской семьи. «С самого детства мне были знакомы и нужда и горе»,— вспоминал он. В своем автобиографическом романе «Гнилые болота»[1] Шеллер описывает обстановку своего детства: «В нашей квартире в течение недели визжала отцовская пила, свистели рубанки, стучал молоток, раздавался веселый голос моей матери и часто звучали разговоры нескольких девушек, занятых шитьем женских нарядов, слышалось брожение трудовой честной и здоровой жизни. Отец и мать затворялись в своей квартире и вели одинокую жизнь среди шумной столицы; отец служил, столярничал и отдыхал от трудов за чтением переводов английских романов, матушка шила по заказу платья». Мальчик рос в трудолюбивой семье, в атмосфере взаимного уважения, любви и справедливости. Родители примером своей нелегкой жизни воспитывали в сыне лучшие человеческие качества. Однако Шеллер-Михайлов был одинок. «Мне недоставало,— вспоминал он,— двух самых лучших учителей: природы и детей-товарищей». Уединенная однообразная жизнь в бедной домашней обстановке сделала его задумчивым тихим ребенком, который мог просиживать долгие часы, «о чем-то мечтая и разговаривая с самим собою».

Мальчика сначала отдали в частную школу, но пробыл он там недолго. «Неучем вступил я в нее, неучем и вышел я, неучем и остался бы, пробыв в ней десяток лет...» Вскоре Шеллер-Михай-

---

[1] См. Шеллер-Михайлов А. К. Гнилые болота. Беспечальное житье.— М., Правда, 1984. Вступ. ст. Г. Г. Елизаветиной.

лов пошел в немецкую («Анненскую») школу — Annen-Schule,— по окончании которой поступил вольнослушателем в Петербургский университет и оставался в нем до 1861 года.

Юноша вышел из университета в годы общественного подъема, в годы ожидания больших перемен. Шестидесятые годы знаменовали собой не только социально-революционный подъем, но и новый этап в развитии русской культуры. Все яснее становилось значение просвещения, образования, воспитания. Вопрос об умственном и нравственном воспитании человека в духе новых идей стоял на повестке дня. Возникают педагогические журналы, создаются «воскресные школы», появляются работы Пирогова, Ушинского, Добролюбова. Шеллер-Михайлов с увлечением отдается работе по обучению бедняков. Он открывает школу для детей, в которой они получали начальное образование за 30—60 копеек в месяц, а для взрослых по субботам читались лекции по географии, истории. Школа просуществовала до 1863 года. Следующие два года Шеллер-Михайлов проводит за границей (в качестве домашнего секретаря графа Ф. М. Апраксина), где изучает положение рабочего класса. Эти наблюдения легли впоследствии в основу таких его работ, как «Пролетариат во Франции», «Ассоциации во Франции, Германии и Англии», и других.

Свою литературную деятельность Шеллер-Михайлов начал довольно рано. В 1859 году в иллюстрированном журнале А. Плюшара «Весельчак» появились его статьи под заглавием «Мои беседы», подписанные псевдонимом А. Релеш (фамилия писателя, написанная наоборот). Это были юмористические фельетоны на злобу дня. Однако будущий писатель был глубоко убежден в том, что в большую литературу можно войти только с крупными произведениями. «...Сознавая, что я могу быть недурным фельетонистом, я в то же время чувствовал, что «до романа не дорос»... Мы с отцом и матерью тогда очень нуждались в деньгах, но у меня хватило мужества добровольно прекратить сотрудничество у Плюшара и не браться за перо до тех пор, пока я не созрею до романа. Я решил не появляться в литературе, пока не напишу двух хороших романов, и только тогда позволить себе явиться к Некрасову и Щедрину» [1].

Шеллер-Михайлов упорно и много трудится, занимается поэзией и работает над своими первыми романами. Однажды его школьный товарищ А. Михайлов отослал в «Современник» несколько стихотворений Шеллера, подписавшись своей собственной фамилией. В № 10 журнала за 1863 год появилось первое стихо-

[1] Фарсов А. И. Александр Константинович Шеллер (А. Михайлов). Биография и мои о нем воспоминания. СПб., 1901, с. 15.

творение писателя за подписью «А. Михайлов», которая отныне стала его псевдонимом. Сразу же Н. А. Некрасов принял у Шеллера для публикации в «Современнике» только что оконченный им роман «Гнилые болота». После его выхода в свет (1864), а также опубликования следующего романа «Жизнь Щупова, его родных и знакомых» («Современник», 1865) к писателю пришел успех. После закрытия «Современника» Шеллер-Михайлов был приглашен заведовать иностранным отделом в другой орган демократической печати — журнал «Русское слово»; когда же журнал прекратился, он перешел в журнал «Дело», стремившийся продолжать традиции радикально-демократического направления писаревского «Русского слова». Шеллер редактировал журнал (вместе с Н. В. Шелгуновым), три года вел в нем внутреннее обозрение, а с 1877 года стал редактором «Живописного обозрения».

Первые же романы Шеллера-Михайлова были посвящены насущным вопросам пореформенного времени: как жить? Где новые идеалы? Каков новый человек, которому принадлежит будущее? Надо было создать типический образ разночинца, положительный образ героя пореформенной поры. Время «лишних людей» прошло, нигилисты, только отрицающие и не созидающие, также не могли служить идеалом нового. Это должен был быть разночинец (или даже дворянин, порвавший со своей средой), человек дела, в противоположность барской праздности. Роман «Гнилые болота» рассказывает в форме семейной хроники о формировании нового человека, стремящегося вырваться из «гнилого болота» патриархальной старины. Это история Александра Рудого, его нравственных поисков, его воспитания, его борьбы со средой, как писал Салтыков-Щедрин, «безапелляционно подавляющей в человеке всякое движение в смысле самодеятельности и независимости»[1]. И в романе «Жизнь Щупова...» показана подробно борьба с семейным деспотизмом, аристократическими предрассудками, ложью. Главной темой произведений писателя становится тема духовного формирования личности русского интеллигента-демократа, в которой он видел основную прогрессивную силу общества. «Я верю в миссию интеллигенции»,— говорил Шеллер-Михайлов. Отсюда такое пристальное внимание писателя к вопросам воспитания, как в школе, так и в семье, ставшими такими злободневными в то время. В 1862—1863 годах в «Современнике» печатались «Очерки бурсы» Помяловского, описывающие дикие нравы в духовных училищах и семинариях и потрясшие читателя своей страшной правдой.

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т. М., 1970, т. 9, с. 261.

Уже первые романы Шеллера-Михайлова подробно описывают детские годы героя и среду, его окружающую. Как и Помяловский, Шеллер гневно протестует против телесных наказаний, розог, бессмысленной муштры, унижающих личность ребенка. Он писал в «Гнилых болотах»: «...знаете ли вы, что <...> слезы, пролитые в детстве, смывают все благие порывы в человеке, что ни в одном взрослом не оставляют они таких следов, какие оставляют в ребенке; они иссушают, очерствляют его, убивают в нем постепенно веру в добро...» В одном из своих стихотворений Шеллер-Михайлов делится с читателем:

«Горе свое я умею терпеть,
Стонам людским я внимаю бесстрастно,
Только на детские слезы смотреть
Я не могу безучастно».

«Горе свое я умею терпеть».

В статьях, посвященных воспитанию и обучению («Наши дети», «Письма человека, сошедшего с ума» и др.) писатель стоит за гуманные методы воспитания, за новейшую методику преподавания, за прогрессивное обучение молодежи. Он пристально следил за делом обучения в других странах и на страницах журнала «Дело» регулярно печатал публицистические исследования: «Первоначальное образование в Пруссии» (1873), «Народное образование в Швеции и Норвегии» (1874), «Педагогические опыты» (1874), «Основы народного образования в России» (1874).

В своих рассказах, повестях и романах Шеллер-Михайлов всегда показывает, в какой среде вырос его герой. Он счастлив, если в детстве его окружали умные, любящие люди, способные привить ему лучшие качества честного труженика. На всю жизнь запомнил герой романа «Над обрывом» слова умершего отца: «Будь честным сыном честного солдата». Неизвестно, что стало бы с Егором Александровичем, если бы не его воспитатель, старик Гуро, который вел с мальчиком серьезные беседы о жизни, знакомил с природой и людьми, читал ему великие произведения мировой литературы и истории. «Ты умен,— говорил, расставаясь с ним, старик.— Но сколько умных и остроумных людей были злодеями. Воспитай в себе добрые чувства и честность. Вот что всего нужнее в жизни для всякого,— для простого смертного и для гения. Лучше бы не родиться гению, если он не любит человечества, если он не знает чувства чести». И каким нужно было быть внутренне сильным человеком, чтобы порвать со своей средой и начать жизнь простого труженика, полную забот и лишений. «...он ясно, с радостным чувством сознавал, что он порвал навсегда со своим прошлым — с прошлым барича-белоручки, с прошлым светского человека, с прошлым прожигателя жизни,— и должен был вступить в ту трудящуюся, добывающую потом и кровью

кусок хлеба среду, которая с гордостью может сказать, что на ее хлебе нет ни слез, ни проклятий ближних».

Картину постепенного оскудения русского дворянства Шеллер-Михайлов показал в цикле «Семья Муратовых», куда вошли романы «Старые гнезда», «Хлеба и зрелищ», «Беспечальное житье», «И золотом и молотом», «Совесть» и незаконченный — «Вне жизни». Мало общего у братьев Муратовых (петербургский чиновник, гвардейский офицер, провинциальный служащий). Объединяет их страсть к наживе. Автор знакомит с ними в момент дележа фамильного имущества, когда все они готовы задушить друг друга. Рушатся семейные устои, старые добрые традиции. В романе «Вне жизни» Шеллер предполагал показать Максима Муратова, протестующего против существующих «порядков». Но этот озлобленный неудачник, проведший многие годы в тюрьмах и ссылках, оказывается изломанным жизнью, не пригодным ни к чему человеком. На смену вырождающейся семье Муратовых приходят «алчущие». На смену разоренному помещику приходит делец, не брезгующий никакими средствами для приобретения денег (так Данила Муратов женится на дочери своего бывшего крепостного, ныне купца, и, наконец, «золотом и молотом» добивается богатства). Умирают разоренными помещики Баскаковы. Приходят Ртищевы. («Ртищев», 1890), Орловы («Голь», 1882).

Н. С. Лесков писал в одном из писем биографу Фаресову о позднем рассказе Шеллера-Михайлова «Конец Бирюковской дачи»: «...скажите по совести: много ли вы встречали и встретите в русской печати такого внимательного, умного и прямо внушительного отношения к бытовому горю разоренного русского деревенского дворянства» [1]. Недаром описание морального и материального оскудения дворянства, сделанное столь образно, глубоко и жизненно верно, нередко сопоставлялось современниками писателя с картинами помещичьих усадеб у Тургенева. Салтыков-Щедрин считал, что в романе «Вразброд» ряд сцен прямо заимствован из «Дворянского гнезда».

Особое внимание уделяет Шеллер-Михайлов нравственному упадку в среде дворянства. Роман «Беспечальное житье» (1878) обличает пустоту паразитического существования, лживость моральных принципов. Гвардейский офицер Петр Петрович Муратов живет «беспечальной» жизнью, существует за счет любящей его женщины, которую готов хладнокровно погубить ради собственного благополучия. И лишь боязнь возмездия заставляет его найти в себе силы порвать с такой жизнью. Много страниц своих романов посвящает Шеллер-Михайлов разоблачению так называемой «золотой молодежи». Это пустые бездельники Винтер и Флери

[1] Фаресов, с. 13.

в «Беспечальном житье», это кузен Пьер в «Господах Обносковых» — праздношатающийся, погрязший в безделье (он лишь «числился где-то чем-то на службе»), ничего не создающий (кузен Пьер отрицал все, «потому что он не мог ничего утверждать...»), интересующийся лишь будуарными сплетнями, прикрывающий свой разврат разговорами о свободе чувств. Это был опытный специалист по совращению с нравственного пути молодых людей: рестораны, женщины легкого поведения, попойки, сплетни. Беспросветная страшная скука окружала богатых повес. И только здравый ум и сила воли героя романа Павла Панютина позволили ему не поддаться этой засасывающей трясине безделья и разврата.

Борьба старого с новым в сфере семейной жизни прекрасно показана писателем в его романе «Господа Обносковы» (1868). Умирающий больной старик испортил свою жизнь и жизнь любимой женщины потому, что не мог преодолеть установленных веками традиций и семейного деспотизма. «Я был человек-тряпка, потому что я не мог сделать решительного шага» — ввести в дом любимого человека. У него не хватило сил преодолеть «грубый эгоизм» сестер, правящих домом, их ложное понимание родственной любви, заставляющее выжимать последний сок из любимого человека для себя, только для себя. Перед смертью он завещает сыну жить другими законами: «...ты молод, ты воспитан в то великое время, когда глупые предрассудки начинают понемногу исчезать...». Мухортов («Над обрывом») уже сумел отстоять свою самостоятельность, не поддался на уговоры матери жениться ради денег, не согласился на сделку со своей совестью только потому, что «все так делают».

В романе «Господа Обносковы» противопоставлены два мира. С одной стороны, затхлая атмосфера маленького мирка мелкого служащего Обноскова — дерзкого и трусливого, жадного и мелочного — с его лакейской философией, мелким стяжательством и семейным деспотизмом. Страшна и отвратительна фигура матери — с ее невежеством и скупостью, завистью и жадностью, жестокостью и мелочностью. Она сдавала комнаты бедным студентам, выжимая из них последние гроши. Дома благодаря ей царила мрачная обстановка мелких придирок, дрязг, злобы, интриг, сплетен и упреков. «В лице этой коренастой, здоровой женщины даже в минуты печали проглядывало какое-то выражение тупой злостности и сварливости. Она походила не на мать, опечаленную хилостью сына, а на жирного тюремщика, боящегося, что скоро ускользнет из его тюрьмы последний жилец». Отвратительную сущность госпожи Обносковой понял в конце жизни даже сын, сказавший ей перед смертью: «Если бы вы не

были моей матерью, то я отшатнулся бы от вас при первой встрече». Этому миру противопоставлена семья профессора Кряжова, человека широких, свободолюбивых взглядов, просвещенного, умного. В его филологических лекциях были усмотрены «следы опасного свободолюбия», и он вынужден был выйти в отставку. И хотя его практические действия не шли дальше составления «записки» о необходимости свободы в преподавании, хотя сам он постепенно обленился и погрузился в «семейное затишье», он сумел создать вокруг себя обстановку, полную доброты и честности, трудолюбия и бодрости. Он воспитал дочь и приемного сына в духе высокой нравственности, справедливости, выше всего ставя свободу человеческой личности. И его дочь Груня сумела побороть рутину семейных предрассудков и вырваться из плена Обносковых. Она не побоялась публичного скандала и отстояла свою свободу и право жить с любимым человеком. Роман поднимал острейший вопрос об эмансипации женщины, рассматривал его глубоко, всесторонне, с полным пониманием и сочувствием к положению женщины.

В творчестве писателя перед нами проходят самые разнообразные характеры женщин. С презрением говорит он о «женщинах-кукушках», не хранящих покой семейного очага. Тип лживой, бессердечной эгоистки вывел он в произведениях «Кукушка новой формации», «Наша первая любовь», «Тернистый путь». Резко высмеивает писатель матерей-эгоисток, лживых, бездеятельных, истеричных женщин, живущих за счет богатства мужа. Такова госпожа Мухортова в романе «Над обрывом» — представитель паразитирующего дворянства, способная лишь пользоваться фамильным богатством и абсолютно беспомощная в практической жизни. Окруженная толпой заискивающих приживалок, постоянно играющая роль страдающей героини, думающая только о себе, она стала в тягость даже сыну («он с горечью убеждался, что в нем порвалось все, связывавшее его с ней...»). Мухортова — символ уходящих из жизни «дворянских гнезд».

Но главное внимание уделяет Шеллер-Михайлов новой женщине — умной, просвещенной, самостоятельно решающей свою судьбу. Такова Груня в романе «Господа Обносковы», Марья Николаевна в романе «Над обрывом». Она независима, начитанна, развита, стремится к полезной деятельности, презирает бездельничанье окружающих ее девиц, зачитывается книгами, в которых нет фразерства и у героев которых можно учиться «самоотверженности, бескорыстию, любви к народу». Мы видим, что образ «новых женщин» у Шеллера-Михайлова претерпевает эволюцию. Если Груня просто добилась личной независимости, то Марья Николаевна Протасова, давно завоевавшая в своем доме полную

свободу действий, уже мечтает об общественно полезном деле. Она хочет работать на благо людям (учительницей, врачом) и презирает мелкую благотворительность, никакой существенной пользы не приносящую («Это — та же кража рубля в одну сторону и раздача копеек в другую»). Писатель призывает к равноправию женщин, их самостоятельности и в то же время воспевает женщину — мать, хозяйку, товарища мужа, способную создать настоящую семью, воспитать детей в духе гуманности и трудолюбия. Современная писателю критика высоко ценила его беллетристику за показ светлого образа русской женщины. Сам Шеллер-Михайлов с гневом отводил от себя упреки в чрезмерной идеализации женских характеров. «Хорошая русская женщина стоит неизмеримо выше хорошего мужчины,— писал он...— Она, и только она, воспитала целые поколения честных и твердых людей и никогда, даже перед самою собою, не сводила итогов своих заслуг; она даже скорбит о своей неспособности приносить пользу. Спросите всех вполне честных людей, кому они обязаны всем тем, что в них есть хорошего? Из ста девяносто девять ответят: «женщине». Она работает за мужа в деревне, она отстаивает грудью в среднем классе своих детей от пьяного или озлобленного неудачами мужа, она спасает от крайней степени пустоты и разврата людей высшего круга и за все это ее держат в неволе, в невежестве, в бесправии, оскорбляют, позорят и потом удивляются, если встретят падшую женщину <...> И между тем, как любила мужчину хорошая русская женщина! Пошел ли хоть один русский мужчина в ссылку за падшей женщиной? А женщина шла <...> Не удерживали ее никакие страдания, никакие препятствия: переносила она бедность, холод и голод, брань и оскорбления этапных зверей и долгие годы тяжелой жизни где-нибудь в глубине Сибири. В этой решительности была ее высочайшая нравственность, и бледнеют перед нею все прославленные деяния героев с их мишурным блеском, барабанною славою и фимиамными курениями» [1].

Писатель показывает умственное и нравственное развитие современного ему поколения, будучи твердо уверенным в том, что счастье человека лежит на пути мирного нравственного самоусовершенствования. Герои его романов далеки от революционной деятельности, от попыток активного преобразования общества. Они озабочены положением в семье, школе, их волнуют вопросы воспитания, образования, домашнего деспотизма. Нравственной пустоте и праздности Шеллер-Михайлов противопоставлял понятия о высокой нравственности, красоте человеческих отношений, уважении к женщине, полезном обществу труде.

[1] Фаресов, с. 45—46.

Положительный герой Шеллера-Михайлова претерпевает эволюцию. Если в 60-е годы он полон энтузиазма и горит желанием работать и работать, то уже через 10—15 лет он постепенно начинает понимать свое бессилие. Умные, честные люди, они терпят неудачу в своей деятельности. В романе «Лес рубят — щепки летят» (1871) Александр Прохоров говорит: «Мы сошли со сцены, сошли для того, чтобы начать мирную, быть может, буржуазную жизнь с трудом из-за куска хлеба». Шеллер показал трагизм «нового человека» 80-х годов, его неготовность к большим свершениям. Все чаще и чаще труд заменяют они рассуждениями о труде. Заслугу Мухортова он видит в том, что он нашел в себе силы отойти от своей среды. Стоявший «над обрывом» обыденщины, мещанского благополучия, он сумел устоять. «...один неверный шаг, и он мог погибнуть нравственно,— погибнуть, презирая самого себя за гнусные сделки со своей совестью...» Мы не видим, куда приложит он свои силы. Автор оставляет его стоящим на пороге новой жизни. Он готов терпеливо и долго трудиться во имя грядущего, он произносит длинные монологи, проповедуя самовоспитание, самоусовершенствование, наблюдение за каждым своим шагом, без чего не помогут «ни обстоятельства, ни среда». «Нам уже потому нужно подтянуть себя, приготовить себя, что мы живем накануне чего-то нового. Я глубоко верю в это...» Эта вера в торжество «правды и трудового начала» и пусть даже весьма неопределенные призывы работать на общую пользу звучали прогрессивно именно потому, что это было время, когда многие эту веру потеряли. Это видели современники и за это ценили его романы. В одном из некрологов писалось о том, что Шеллер-Михайлов внушал людям «бодрость, любовь к труду даже самому незаметному, лишь бы честному, и в этом его заслуга» («Жизнь», 1900, декабрь, с. 449). Недаром его произведения называли «романами воспитания». До конца жизни видит Шеллер-Михайлов «путь к освобождению» в «нравственном самоусовершенствовании». Глубокой верой в достижимость поставленных перед собою задач, этим оптимизмом писателя объясняется то, что его романы, как правило, имеют счастливый конец. И хотя в романах и повестях 90-х годов все чаще и чаще проскальзывают пессимистические нотки, писатель остается глубоко уверенным, что рано или поздно восторжествует правда на земле. Однажды, когда Шеллера-Михайлова с насмешкой спросили:

«А вы все, Александр Константинович, так же по-прежнему горб гнете во имя шестидесятых годов?», писатель сердито ответил:

— Да, я по-прежнему все еще честный человек».

Понятно, что этот общий пафос служения общественно по-

лезному делу без показа конкретных путей борьбы за осуществление новых идеалов не мог устроить революционно-демократическую критику. Особенно резко осудил его ранние романы за «мелкость» тематики Салтыков-Щедрин. Мало кричать, что мир — засоренные дороги и гнилые болота, надо понять и вскрыть социальные причины этого явления, считал он. «При всем уважении к его либеральным намерениям, мы никак не можем признать удачными его попытки познакомить публику с типами «новых людей». Это даже не люди, а марионетки <...> трудно понять, о чем они хлопочут, чем они недовольны и в чем заключается тот либерализм, за который они страдают»,— писал Салтыков-Щедрин [1] о романе «Вразброд» (1870). Щедрин ставил в вину Шеллеру-Михайлову излишнюю тенденциозность и недостаточную художественность его романов, на что указывало и большинство современных ему критиков. В каждой рецензии на его романы отмечалась их публицистичность, рассудочность, книжность, теоретичность, резонерство, растянутость, обилие длинных монологов, сухих дневниковых записей. После выхода пяти томов его сочинений (СПб, 1873 г.) на писателя посыпались упреки в публицистичности, наносящей ущерб художественности (П. Н. Ткачев «Тенденциозный роман», А. М. Скабичевский «Сентиментальное прекраснодушие в мундире реализма» и др.). Спорили о том, что представляют собой его романы: фельетоны в диалогах, «монологи в цитатах»? Насколько жизненны его герои, насколько типичны и художественны? Считали, что его романы не «созданы», а «сделаны». «Его романы всегда занимательны и находят себе много читателей, хотя иногда слишком тенденциозны»,— писал 8 сентября 1888 года А. Н. Плещеев А. П. Чехову [2]. Салтыков-Щедрин также отмечал в творчестве Шеллера-Михайлова «чуждое ясности резонерство» и «непомерно скучное морализирование» [3]. Указывал на чрезмерную растянутость его романов и такой замечательный художник слова, как А. П. Чехов. Беллетрист и драматург И. Л. Леонтьев (Щеглов) записал в своем дневнике: «Чехов назвал меня дорогим писателем в том смысле, что моя тема и его укладывались в пол-листа, а Шеллер ту же тему уложит в 10 листах» [4].

Сам Шеллер-Михайлов говорил: «Вот я знаю, что после моей смерти будут указывать на нехудожественность моих произведений. Быть может, у меня и мало ее, но так ли это уж важно в писателе?.. Мои произведения будут дороги тем людям, кому до-

---

[1] Салтыков-Щедрин, т. 9, с. 363.
[2] «Литературное наследство», АН СССР, М. т. 68, 1960, с. 329.
[3] Салтыков-Щедрин, т. 9, с. 361, 445.
[4] «Литературное наследство», т. 68, с. 489.

роги идеи и мысли, сильно выраженные, о нашей жизни». И даже добавлял: «Мои типы не настолько художественны, чтобы ими измерять мое значение». Выступая противником «чистого искусства», признавая за литературой ее высокое общественное значение, Шеллер-Михайлов считал, что публицистические рассуждения, отступления несут такую огромную идейную нагрузку, что не могут снизить художественности произведения. Кроме того, он с гордостью замечает в «Гнилых болотах»: «Нам ли, труженикам-мещанам, писать художественные произведения, холодно задуманные, расчетливо эффектные и с безмятежно-ровным, полированным слогом?» Задачу литературы писатель видел в пробуждении гражданского чувства (и прямое морализирование, по его мнению, лишь помогает этой цели).

Поэзия также, считал Шеллер-Михайлов, должна служить обществу и нести воспитательную нагрузку. У него имеется более тома оригинальных стихотворений и переводов. Это не любовная лирика, а описание своей жизни в стихах. Он признавал, что большая часть его стихотворений «говорит о том, что было прожито и как прожито». Автобиографичны такие его стихи, как «Старый дом», «Друзья детства», «Отец и мать», «Мой род», «Недуг», «Слабый, больной, проживу я немного» и др. Большинство его стихотворений печальны и скорбны, ибо музу свою он посвятил горю народному: нужде, голоду, бесправию, рабству.

«К чему я призван в день рожденья,
Тем я останусь навсегда,—
Героем гордого терпенья
И всемогущего труда».

«Пролог».

И для своих переводов иностранных поэтов Шеллер-Михайлов, по его словам, выбирал стихотворения, посвященные «жизни тех людей, которым почему бы то ни было нелегко живется на свете. Эти произведения служат как бы дополнением к моим собственным стихам». Самым любимым поэтом, которого Шеллер считал одним из лучших поэтов Европы и большую часть поэзии которого он перевел на русский язык, был венгр Ш. Петефи. Шеллер-Михайлов хотел, чтобы в России узнали его поэзию потому, что «он бился и пером и мечом за права своего народа, как страстный общественный и политический деятель сороковых годов».

Неудивительно, что произведения Шеллера-Михайлова, писателя-демократа, писателя-гражданина, находили живой отклик в сердцах молодежи своего времени. Она сама переживает «каждую строку» его произведений, писал в 1895 году А. М. Скабичевский. И несмотря на «замкнутый круг кабинетной жизни» писателя, он поднимал на страницах своих произведений те вопросы, которые волновали прогрессивного читателя: критика

стяжателей всех толков и обывательской ограниченности, вера в необходимость общественно полезного труда, вопрос о положении женщины в доме и обществе, сложности семейного уклада. Тонкий и глубокий знаток человеческой психологии, Шеллер-Михайлов много внимания уделил проблемам семейной жизни, показав, как подчас простое неумение считаться с ближним, отсутствие такта или внимания может привести к трагедии (см., например, рассказ «Вешние грозы»). Острый интерес вызывал сюжет его рассказов и повестей, о его героях спорили, как о живых людях. «Шеллер умеет волновать, тревожить, завлекать читателя, освещая жизнь каким-то теплым светом, возбуждающим бодрость в молодых сердцах»,— отмечал критик «Северного вестника» (1894, № 5). Известный педагог В. Острогорский писал Шеллеру-Михайлову: «Как педагогу, мне особенно дорого то великое воспитательное значение, которое вы всегда имели для молодежи.» [1]

В 80 и 90-е годы, годы краха революционного народничества, время реакции, наложившее свой отпечаток на искусство и литературу, Шеллер-Михайлов резко осуждает ренегатство писателей и журналистов, тех, кто приспосабливался и «служил разным господам» одновременно. Он с горечью сравнивает 60 и 80-е годы, отдавая предпочтение протестующим нигилистам. «Там было что-то живое у этих Рахметовых, Базаровых... Грубое и смелое, циничное, но молодое и напускное...» Болезненно переживал он отход части интеллигенции от былых прогрессивных убеждений. Больной и одинокий, продолжал он работать на литературном поприще, начав свою деятельность сорок лет назад в «Современнике», а кончив в дешевой либерально-буржуазной газете «Сын отечества».

В октябре 1888 года общественность Петербурга отметила 25-летний юбилей литературной деятельности писателя. Сердечную телеграмму получил Шеллер-Михайлов от А. П. Чехова. В речах и приветственных телеграммах, письмах и поздравлениях отмечалась большая популярность беллетристики писателя. И это не было юбилейным преувеличением. «...Приветствую Вас не только как высокоталантливого писателя, какие будут и будут, но как высокую душу, честное и горячо бьющееся сердце, как дорогого друга всем тем, кому трудно и жутко» [2]. В этих нескольких словах писатель Вас. Немирович-Данченко прекрасно объяснил, чем был дорог и останется таким для читателей многих поколений Шеллер-Михайлов.

До преклонных лет, уже переступив рубеж 20-го столетия

[1] Фаресов, с. 114.
[2] Фаресов, с. 112.

(Шеллер-Михайлов умер 21 ноября/4 декабря 1900 г. в Петербурге), писатель был верен идеям 60-х годов, оставаясь все на тех же общедемократических позициях. Так воспринимали его и современники. «Будучи воспитаны на великих традициях лучших годов, Вы в течение всей своей литературной деятельности оставались верными этим традициям и в своих произведениях проводили дорогие Вам и мыслящей части общества идеи»,— писали ему студенты из Харькова. Не революционные идеи 60-х годов, а общий пафос защиты трудящихся пронес писатель через все свои годы. На фотографии Н. Г. Чернышевского, подаренной А. И. Фаресову, Шеллер-Михайлов сделал надпись:

«Самоотверженный и честный наш боец,
Он весь принадлежал иному поколенью,
Которое пробить успело, наконец,
Народу русскому пути к освобожденью» [1].

Многие романы Шеллера-Михайлова сразу же по выходе переводились на иностранные языки. Так, роман «Господа Обносковы» благодаря хлопотам писательницы Элизы Ожешко появился в переводе на польский язык, сделанном Густавом Воллком. В 1887 году этот роман был переведен на немецкий язык Готтгеймером и издан в Цюрихе.

Не потеряли своего воспитательного значения книги Шеллера-Михайлова и в наши дни. Они дороги нам своим оптимизмом, любовью к Родине и своему народу, глубокой верой в человека. Сейчас, почти через 100 лет, как нельзя более актуально звучит призыв писателя к высокой нравственности, честности и порядочности, красоте человеческих отношений, к труду во имя блага всего народа. Он призывал бороться со всякой ложью и пассивностью, безделием и пустопорожним времяпрепровождением, противопоставляя этому активное отношение к жизни. Надо идти вперед и самому завоевывать себе счастье в жизни. И прежде всего необходимо быть гражданином, подчиняя свои личные интересы общественно полезной деятельности. И сейчас нужно прислушаться ко многому из того, что он говорил о семейных отношениях, призывая дорожить любовью близких, оберегая ее от ненужных и мелких обид, грубостей, сплетен.

Один из современников Шеллера-Михайлова писал о нем: «Пусть в его сборниках нет таких женщин, пленительных и благоуханных, как у Тургенева, нет той щемящей сердце психологии, как у Достоевского, нет глубокого реализма, как у Толстого <...> Но у Михайлова есть великий дар внушения нравственного, способность волновать сердце не красотою, а *совестью* своего таланта» [2].

М. А. Соколова.

---

[1] Фаресов, с. 144.

[2] «Русь», 1898, 11 октября.

ГОСПОДА ОБНОСКОВЫ

РОМАН



I

Мать и сын

Из вагонов только что прибывшего из-за границы поезда Варшавской железной дороги выходили пассажиры. Это было в конце апреля 186* года. Среди оживленной, разнохарактерной и разноплеменной толпы приехавших в Петербург людей один пассажир, из русских, обращал на себя особенное внимание своими неторопливыми движениями и официально бесстрастной физиономией, с которой ни долгое скитание за границей, ни встречи с неусидчивыми деятелями не могли изгладить следов чиновничества, золотушности и какого-то оторопелого отупения. Это был сутуловатый, худощавый, некрасивый человек лет двадцати семи или восьми, с чахоточным лицом сероватого, геморроидального цвета и с узенькими тусклыми глазками, подслеповато выглядывавшими из-под очков. Наружные углы глаз, приподнятые кверху, придавали лицу путешественника калмыцкое выражение не то мелочной хитрости, не то злобной и холодной насмешливости. На этом господине была надета мягкая дорожная шляпа, порядочно потасканная во время ее долголетней службы, и какое-то немецкое пальто с стоячим воротником допотопного покроя. Такие пальто встречаются в Германии только на тех старых профессорах, которые обрюзгли, заржавели, обнеряшились и забыли все на свете, кроме пива, сигар, нюхательного табаку и десятка сухих, излюбленных ими книжонок. Казалось, в этом пальто молодой приезжий с незапамятных времен спал, ходил на лекции, лежал во время частых припадков болезни и предавался кропотливым занятиям в своем кабинете. Даже самая пыль, приставшая к этому пальто, придавала ему вид древности и напоминала о пыли тех выцветших фолиантов, над которыми отощал, сгорбился, засох и утратил блеск и обаятельную свежесть молодости обладатель этого полухалата.

В сущности, этого господина нельзя было назвать ни путешественником, ни ученым, как нельзя назвать писателем чиновника, составляющего доклады. Путешествовать, то есть ездить для удовольствия, для отдыха от занятий, для поправления здоровья, он действительно никогда и не думал. Он просто считал необходимым и очень удобным, ревностно исполняя поручение благосклонного начальства, переезжать в том или другом вагоне из одного города в другой. В городах его интересовали исключительно архивы, где было можно, не изменяя своей привычке к кабинетным занятиям, спокойно и дешево собрать нужные — не ему, а начальству — сведения из книг. Даже от самого вагона он не требовал никаких особенных удобств и ценил его только за те качества, за которые ценится и архив,— за общедоступность и тишину. Движение поезда могло быть медленно, вагоны могли подскакивать и шататься из стороны в сторону, прислуга могла быть груба,— все это не касалось до нашего путника, и только та ветвь железной дороги казалась ему прекрасною, где за проезд брали немного и где ему удалось в совершенном одиночестве или среди несообщительных спутников разобрать списанные в последнем посещенном им архиве документы и записать на память, что должно требовать из следующего книгохранилища. Выгружая таким образом из неразлучного с ним ручного чемоданчика десятки листиков, бумажных лоскутков, старых книжонок и проектированных им «донесений», он незаметно превращал самый вагон в архив и как-то тупо и растерявшись глядел на кондуктора, когда тот докладывал оглушительным голосом, что они приехали. Вероятно, не меньше изумился бы какой-нибудь похороненный в своем департаменте чиновник, если бы ему сказали, что он и его доклады, рапорты и отношения приехали. «Как? Куда приехали? В чужой, волнующийся действительною жизнью, шумный город, может быть, на людную площадь, где ведутся торговые сделки и идет борьба из-за куска хлеба!» Подобные крики неподдельного ужаса всегда готовы были вырваться из груди нашего путника при докладах кондуктора, но мало-помалу он привык к своему положению и, заслышав слово о приезде на место, торопливо засовывал в чемоданчик свои деловые бумаги, сознавая, что он приехал в новый архив.

Но, наконец, пришел день, когда его понес локомотив железной дороги в новое место, куда его принуждали ехать не одни архивы, не одни докладные записки, а что-то совсем другое. Там, в этом городе, когда наш соотечественник покидал его два года тому назад, сильнее чем где-нибудь копошились люди-муравьи; все свои неуходившиеся силы отдавали они разным вопросам дня, шумели, спорили, дорого платили за свой честный, молодой пыл, и их крики достигали даже до того мирного угла, где наш герой, имея в виду благосклонное поощрение начальства, рылся в разных стареньких скучных книжонках. «Крестьянский вопрос! Эмансипация женщин! Экономические отношения! Мировые судьи!» — назойливо жужжало у него в ушах, и он сотни раз проклинал этот гам тревожной жизни, так как этот гам нисколько не мог помочь, а только мог помешать при разъяснении красот, удачных оборотов или темных мест в тех или других классических произведениях древности... И вот снова приходится вступить в эти знакомые места... Вот и родные купола церквей мелькнули вдали, и фабрики с длинными трубами задымились по сторонам, а вот и кладбище с пестрыми подгнившими крестами, как-то уничиженно, как-то трусливо прижавшимися друг к другу вдали от кладбищенской церкви, и мраморными колоннами, и гранитными мавзолеями, гордо ставшими бок о бок с храмом. Раза три принимался молодой человек, подъезжая к этому городу, перечитывать Геродота, но дело как-то не шло вперед, и странное, неприятное волнение чуялось в груди. «Надо будет завтра же явиться к начальству»,— стал он думать, и вдруг, без его воли, в голове промелькнула мысль: «А ведь это все в холеру захоронено бедняками». Молодой человек пожал плечами и, сердито отвернувшись от кладбища, стал пересматривать свои бумаги. «Надо будет, как приеду, Плиния еще раз прочитать»,— рассуждал он мысленно, как будто желая этим чтением заглушить воспоминания о бедняках, погибших в холеру от голода, холода, дурных жилищ и невежества. Пока он еще рылся в бумагах, раздался свисток. «Что-то дядя, жив ли?» — опять подумал как-то невольно наш герой, замыкая чемодан, и вышел из вагона. Последняя мысль начала неотступно вертеться в его голове. Он с трудом дота-

щил чемоданчик до площадки подъезда, остановился и опустил оттянувшую ему руки ношу, едва переводя дух и с усилием вбирая воздух плоскою грудью.

— Леня, голубчик! — раздалось в эту минуту восклицание в массе шумевшего народа.

Молодой человек вздрогнул, обернулся в ту сторону, откуда послышался давно знакомый голос, и увидал немолодую, довольно плотную и еще свежую женщину; она угловато и бесцеремонно продиралась локтями сквозь толпу людей, озабоченно суетившихся на подъезде дебаркадера.

— Маменька! — вырвался крик у господина в профессорском пальто, и в ту же минуту его лицо покрылось десятками сочных и звонких поцелуев.— Как вы сюда попали?

— Тебя ждала, голубчик. Второй день дежурю здесь,— заговорила мать таким тоном и с таким размахиванием рук, что сейчас можно было угадать, что эта женщина нередко говорит: «Я своими рукам вскормила сына» и «Я его страшно люблю».

— А-а!.. А я думал, что вы по какому-нибудь делу приехали,— промолвил сын и поцеловал во второй раз руку матери.— Ну, спасибо! Только зачем тратились, ведь вам не легко делать лишние расходы из-за того, чтобы получасом раньше встретить меня.

— Голубчик мой, все-то ты обо мне заботишься,— произнесла мать и с сожалением добавила, осматривая сына и качая головой: — Мало ты поправился за границей-то. Все такой же худенький и слабенький. Дай-ка, Леня, я донесу твой чемоданчик.

— Донесите, я действительно утомился,— ответил сын и закашлял глухим кашлем.— Только подождите немного, покуда народ поразъедется; теперь, я думаю, к извозчикам приступу нет. Рады, мерзавцы, случаю содрать лишний гривенник, благо с ними дураки гуманничают, да таксы на них не налагают...

Мать и сын остались стоять на подъезде, не обращая никакого внимания на окружавший их народ. Мать, вопреки мнениям посторонних людей, постоянно считала себя бедною, носила старомодные крашеные шляпки с большими бантами наверху, была практична и воспитала сына, приучая его не делать лишних расходов. Но по какому-то непонятному капризу человеческого чувства, несмотря на ее скупость,

в эти минуты свидания ее менее обыкновенного радовало, что сын был по-прежнему трезв и рассудителен. В ней вдруг проснулась какая-то опасная потребность, наперекор судьбе и своим собственным привычкам, самой устроить себе праздник в однообразной будничной жизни. В то же время, задумчиво глядя на свое платье, на одежду и болезненную фигуру сына, она сознавала и всю свою бедность, и всю разумность вскормленного ею существа.

— А что дядя? — озабоченно спросил сын.

— Плох, очень плох!— послышался скорбный ответ, и в тоне этих слов почуялось поползновение к слезам.

— Но все-таки жив еще?

— Жив, голубчик, жив... Тебя ждет...

— Я для того и приехал ранее срока, чтобы застать его в живых... Признаюсь, я просто не мог работать, не зная наверное, что тут делается.

— Ох, что у нас там творится,— уму непостижимо...

Мать торопливо отерла слезы, сморкнулась и скороговоркою начала передавать сыну, что творится у дяди. Судя по пламенному тону речей матери и по вниманию сына, дело было очень важное для обоих. В минуту этих довольно скорбных описаний семейных событий на подъезде дебаркадера раздался оглушительный крик:

— Карету генерала Егунова!

Молодой человек быстро обернулся, и вдруг его лицо приняло мягкое, улыбающееся выражение.

— Мое почтение, генерал! — произнес он почтительно приветливым голосом и снял шляпу перед обрюзгшей, рыхлой, одетой в генеральское пальто особой с подстриженными по-солдатски волосами, с щетинистыми, тоже подстриженными усами и с ввалившимися, словно из пропасти, грозно выглядывавшими из-под нависших бровей глазами. Тучная особа шла мелкими шагами, тяжело опираясь на толстую сучковатую палку и постукивая ею на ходу, как костылем.

— Прощайте, молодой человек,— хриплым басом произнес генерал Егунов и выставил два плоские пальца левой руки, облеченные в просторную замшевую перчатку.

Молодой человек торопливо пожал генеральские пальцы.

— А вас, кажется, уже и встречать приехали,— заметил генерал, взглянув на женщину, стоявшую около нашего героя.

— Моя матушка,— отрекомендовал последний, наклоняя голову с почтительной улыбкой.

— У вас прекрасный сын, примерный молодой человек. Берегите его, сударыня! — внушительно произнес генерал Егунов.

— Ах, покорнейше благодарю, ваше превосходительство!.. Мне так лестно,— заговорила мать молодого человека, кланяясь не только головою, но и половиною туловища.

— Хорошо, хорошо! — кивнул головой генерал и, постукивая костылем, пошел к своей карете.

Молодой человек проводил его до ее дверцы.

— Позвольте! — грубо проговорил лакей, не очень вежливо толкнув нашего путника, и перед самым его носом, с быстротой, свойственной расходившимся лакеям и половым, захлопнул дверцы генеральской кареты.

— Кто это, Леня? Из твоего начальства кто-нибудь? — спросила мать, когда сын воротился.

— Нет... за границей познакомились,— ответил сын.—Чёрт знает, что за грубые животные у нас эти лакеишки! — бормотал он про себя.

В эту минуту кто-то быстро пробежал по площадке подъезда и, звонким юношеским голосом рассказывая носильщику, куда нести багаж, неосторожно толкнул мать нашего героя.

— Извините! — промолвил суетливый незнакомец и, увидав молодого человека в профессорском пальто, крикнул ему на ходу:

— Прощайте, Обносков!

— Прощайте,— холодно и сухо произнес Обносков.

— Что это за сорванец! Летит на людей, сломя голову. Ты его знаешь, Леня? — спросила мать у Обноскова, провожая сердитыми глазами суетливого господина, за которым едва успевал шагать носильщик.

— Знаю,— процедил сквозь зубы сын,— да и вы его знаете отчасти. Это Левчинов; помните, со мной

в гимназии был. Я ему давал уроки латинского языка...

— Господи! Как же не помнить! — воскликнула мать, считавшая все доходы сына и знавшая не только всех его знакомых, но даже их истории и истории их родственников, как ближайших, так и самых отдаленных.

— Теперь и лицо-то его вспомнила,— продолжала Обноскова.— Щеки лопнуть хотят, от великих занятий, должно быть!.. Слышишь, как гогочет! С жиру, верно, постоять на месте не может... Ведь вот знает меня, знает, а хоть бы подошел, хоть бы поклонился.

— Ветер в голове ходит, так ему ни до кого и нет дела,— заметил сын; он уже начинал, по обыкновению, сердиться под влиянием речей матери.

— И с тобой-то как холоден, точно не вместе учились, точно не ты его на ноги поставил... Усмешка такая ехидная... А чего смеется... Над бедностью?.. Вот ведь оттого и за знакомых нас не считает...

— И слава богу, что эти щелкоперы от нашего брата бегут,— уже совсем злобно проговорил сын.— Верхогляды, проповедники модных истин, перевешал бы их всех! Право, иной раз только то и дает возможность трудиться, что знаешь, что все эти подстрекатели добром не кончат, что мы твердо стоим в своем положении и разобьем их... Из своих рук, кажется, задушил бы их.

Сильный припадок кашля заставил Обноскова замолчать. Толпа между тем мало-помалу рассеялась. Два-три пассажира и несколько извозчиков еще оставались у станции. Обносков, крепко поторговавшись с извозчиком, прочитав ему сначала наставление и выбранив его потом очень сердитым тоном, нанял дрожки и, ворча вполголоса, поехал на Выборгскую сторону, где его мать нанимала квартиру и отдавала комнаты студентам. Давно уже существовала Марья Ивановна Обноскова этим промыслом, оставшись после смерти мужа-чиновника без всяких средств с малолетним сыном. Расчетливая, скупая, готовая кланяться всем, льстить, где нужно, прикрикивать, где возможно, она видела одно утешение в своем сыне — в примерном сыне. Он был покорен, скромен, доставал уже с четвертого класса гимназии деньги уроками, не заводил друзей из боязни развратиться, получал

похвальные листы и медали в гимназии и в университете, кончил курс первым кандидатом и был, как мы уже сказали, отправлен за границу благосклонным начальством. И мать и сын жили друг для друга и, так сказать, пополняли друг друга. Сын не обладал ни особенно блестящим умом, ни особенно сильною памятью и потому должен был весь отдаваться книгам, брать усидчивостью, и не имел времени для разных будничных практических занятий и вопросов. Зато мать, не имея надобности предаваться каким-нибудь ученым изысканиям и отвлеченным вопросам, занималась практическою деятельностью и за себя, и за сына. Она соображала, взвешивала вопросы о склонности своей кухарки к воровству, о развратной жизни своих жильцов-студентов, о каверзах и тайных интригах своих драгоценных родственников и знакомых и передавала сыну все эти наблюдения уже в виде художественно сложившихся, цельных и довольно длинных историй. Непрактичность сына доходила до того, что он однажды, во время своей студенческой жизни, очень серьезно спросил у матери: «Что за вещь *уполовник?*» Практичность матери достигала до такой гениальности, что госпожа Обноскова объявляла: «У-у! я уж по глазам вижу, кто что думает, насквозь вижу человека!» и глубоко скорбела она, видя, что все люди черны, если станешь их рассматривать насквозь. Мать и сын, по-видимому, считали, что все окружающее их живет исключительно для них, по крайней мере, жильцы, нанимавшие комнаты у Обносковых, непременно делались рабами хозяйки, получали выговоры за позднее возвращение домой, за шумные разговоры в своих комнатах и за свое поведение вообще. Это нисколько не мешало Марье Ивановне плакаться на свою участь, ругая неуживчивость своих жильцов и дерзкую требовательность домового хозяина, не позволявшего лить из окна помои.

Приехав домой, мать засуетилась над приготовлением чая и закуски для сына, а он размотал с шеи вязаный шарф, снял с себя пальто, сюртук и жилет, потом снова надел пальто вместо халата и, положив на стол очки, прилег на диван. Видно было, что он сильно устал в дороге. Его лицо было бледно и утомлено, узенькие глаза были красны и щурились более

обыкновенного. Надо признаться, что без очков его физиономия теряла все следы внушительности и вообще казалась очень непривлекательною и жалкою.

— Уф! вот я и дома! — вздохнул он, закидывая под голову руки.

— А хорошо, Леня, за границей? — спросила мать, суясь от комода к шкапу и от шкапа к комоду.

— Работать хорошо, а жить худо,— произнес полусонный Обносков.

— Отчего же, Леня, там жить худо? — по-видимому изумилась мать, шаря что-то в комоде и озабоченно бормоча себе под нос: «И куда это салфетка затерялась?»

— Покоя там нет, все волнуются,— лениво говорил сын.— В каждое дело свой нос суют. Каждая пешка в политику лезет. В каждом третьеклассном вагоне только и слышишь рассуждения о Бисмарке, о выборах. Одни Францию ругают, другие Россию клянут.

«Вот ведь, верно, Наташка сюда ее сунула! Негодница, право, негодница!» — вполголоса рассуждала сама с собой Обноскова и вдруг обратилась к сыну:

— Я тебя слушаю, слушаю, батюшка... Так это Россию они тоже ругают... Гм... Что же это она им-то помешала?.. Кажется, мы их не трогаем, войны не затеваем... Уж это не турка ли все пакостит?..

— Наше могущество и наша стойкость им поперек в горле стали,— ответил сын, зевая.

— Ох, ведь какой же народ эти немцы! — покачала головой, тяжело вздохнув, госпожа Обноскова.— А вареньица к чаю тебе принести? — перешла она к другому предмету разговора.

— Нет, так выпью,— ответил, потягиваясь, сын и начал пить чай.

Нисколько не интересный для собеседников разговор, который они считали своим долгом поддерживать некоторое время, кончился. Мать облокотилась на стол, опустила голову на ладони и любовалась сыном, глядя на его утомленное лицо. В небольшой, убранной старомодной мебелью комнате царила тишина, и только неугомонный раскипевшийся самовар пел свою однообразную, скучную песню, навевая какую-то беспредметную и все-таки безысходную тоску. Все жилище Обносковых, его обстановка и его

обитатели приводили в невольное уныние свежего человека. Потемневшие от времени обои, казалось, силились отодраться от стен, бесплодно напоминая людям, что они давно отслужили свой век, но люди, смотря на эти назойливо заглядывавшие сверху вниз клочья отодравшейся бумаги, говорили: «Не красна изба углами, а красна пирогами», и хмурились только тогда, когда слышали новый треск лопающейся на стенах бумаги; суеверно считая — и, может быть, не без причины — эти звуки за дурное предзнаменование, точно обои действительно стали угрожающими врагами своих владельцев. Не менее мрачно выглядела потерявшая свой лоск, пузатая, толстая, тяжелая мебель; каждый тяжелый стул продавил в половицах ямки и словно врос в них, словно пробовал сопротивляться человеку, задумавшему переставить его на новое место. Бронза, служившая в былые времена украшением комодов и предметом гордости хозяев, теперь стала совсем черною и напоминала оковы каторжников и тюремные скобы. Может быть, за этими оковами и скобами таились сокровища, но какой-то неведомый тюремщик сделал их невидимыми и похоронил навсегда от дневного света. Не привлекательнее этой обстановки выглядели и сами хозяева. Обноскова была печальна, но эта печаль была не из тех, которые вызывают слезы сострадания. Нет, в лице этой коренастой, здоровой женщины, даже в минуты печали, проглядывало какое-то выражение тупой злостности и сварливости. Она походила не на мать, опечаленную хилостью сына, а на жирного тюремщика, боящегося, что скоро ускользнет из его тюрьмы последний жилец. Но, боже мой, куда уйти этому исхудалому, освоившемуся с своим убогим казематом бедняку? Да и зачем? Жизнь не начнется сначала.

Вдруг среди этой тишины за стеной послышался стук отворившейся двери и полились полные, чистые и приятные звуки молодого голоса, напевавшего какую-то арию из оперы.

— Вот, слышишь, так-то всегда. Ни днем ни ночью покоя нет,— глухо заговорила Обноскова.— Голь ведь, голь перекатная, а поют, всё поют. Иногда так бы, кажется, и вышвырнула их из своей квартиры. На морозе бы живых заморозила!..

— Студенты, верно? — спросил сын, как бы про-

бужденный от тяжелого сна, навеянного родным жильем.

— Студенты! — с презрением ответила мать.— Других жильцов здесь не достанешь, а с этими хоть в петлю, так в ту же пору... Господи, прости ты мое согрешение! — перекрестилась Марья Ивановна.— Бежала бы, кажется, за тысячу верст от них, если бы не нужда. Она, проклятая, она одна заставляет все терпеть,— жаловалась мать.

Пенье в соседней комнате, между тем, делалось все тише и тише; было ясно слышно, как молодой певец стал раздеваться, отворял шкап и комод, переворачивал листы бумаги и, наконец, замолк совсем, вероятно, принявшись за дело или поддавшись наплыву разных забот и мыслей.

— Вот о коммунах еще толкуют, а попробуй с ними пожить деловой человек, так они ему своими песнями да шумом покою не дадут, всякую умственную деятельность смутят,— сердился сын, разгоряченный жалобами матери.— Что, я думаю, по-прежнему и кутежи, и попойки, и споры с криками у вас тут идут? — спросил он, указывая на соседнюю комнату.

— Уж сам знаешь, иногда всего бывает,— вздохнула мать.— Иной раз из театра чуть не в час ночи придут, первый сон перервут, ну, а потом и не уснешь. Такое наше дело, что все переносить приходится и роптать не смей.

— В театр ходят! — засмеялся с злобой сын.— А ведь искусство — зло? Ведь театры побоку нужно? Или теперь отрицать перестали, да как им за это их стриженные ушей не выдерут?

— К ним барышни не ходят,— наивно заметила мать.— Я с тем их и впускала, чтоб барышни не ходили.

Чай был допит. Ни одного отрадного слова, ни одной задушевной мысли не было высказано собеседниками. Кругом этих двух союзников на жизнь и на смерть веяло каким-то холодом; холодом веяло и от них самих... Наконец, сын простился с матерью и отправился в другую комнату, приготовленную для него. Он вынул из чемодана потертую книжку и осмотрел комнату, отыскивая что-то глазами. Повидимому, в комнате не нашлось отыскиваемого пред-

мета. Обносков задумался, взял стул, поставил его к изголовью постели, попробовал поставить на него свечу, положил карандаш, бумагу и лег. Но ему было неловко. Свеча была слишком близко у глаз, за карандашом было неудобно протягивать руку. Стул не мог заменить ночного столика. Сверх того, это было нововведение. Обносков не мог этого потерпеть. Он встал и позвал мать.

— Нет ли у вас, маменька, маленького столика? — спросил он.

— Какого, батюшка? Там у тебя два стоят!

— Нет, то большие. Мне нужен небольшой, к постели... Я знаете, привык свечу и все такое ставить, чтобы под рукою было...

Стол достали и поставили. Сам Обносков приловчил его к изголовью, поставил на него свечу, положил на него книгу, карандаш, бумагу и, кажется, был вполне доволен, не нарушив даже и в этот день одной из своих официальных привычек, уже превратившихся в ряд неизбежных обрядов. Теперь можно было почитать и потом погасить свечу...

II

Впотьмах

Чтение, однако, не шло вперед. От крепкого ли чаю, от жалоб ли матери, от приезда ли в родное гнездо, или вообще от какого-нибудь подобного, совершенно ничтожного обстоятельства у Обноскова тревожно билось сердце, и сотни каких-то смутных мыслей о мелочах жизни имели смелость возмущать спокойствие его серьезного ума. Его глаза перескакивали со строчки на строчку, почти не разбирая смысла напечатанных слов. Наконец, наш герой утомился от этих бесплодных усилий и решился заснуть. Он отложил книгу, затушил свечу, повернулся на бок, подложил руку под щеку и съежился. Сон, однако, не шел. Лежа в этом положении и глядя сощуренными глазами на комнату с закрытыми ставнями, едва озаренную лампадой, Обносков вспоминал былые годы, вспоминал их наперекор своему желанию.

Он начинал помнить события своей жизни с того серого, мутного зимнего дня, когда его мать была избита и выгнана в одном платье из дому своим пьяным мужем-чиновником. Маленький Леня долго сидел в кухне, забившись куда-то в угол, заткнув уши и вздрагивая всем телом. День между тем проходил среди панического страха обитателей небольшого жилища господ Обносковых. Хозяйка не смела вернуться домой, кухарка не смела подавать обед, ребенок не смел говорить. Казалось, где-то за дверями стоял какой-то ужасный невидимый призрак, готовый убить первого, кто посмеет проронить хоть один звук или сойти с места. Наконец, вследствие совета, настояния и даже угроз кухарки Леня должен был идти к своему «папаше» просить прощенья за мать. Дрожа, как в лихорадке, крадучись, подобно вору, совершенно неслышно отворил ребенок дверь отцовского кабинета и остановился в тупом ужасе: перед ним на полу с расстегнутым воротом рубашки, с отброшенным в сторону галстуком и разбитым штофом, лежал во весь рост отец с совершенно синим, обезображенным смертью от пьянства лицом. Ребенок не мог ни крикнуть, ни убежать и, широко открыв глаза, с выражением боязни, похолодев, плотно прижался к стене. Кругом не раздавалось ни звука, ни в комнате, ни на улице; казалось, во всем мире остались только эти два представителя самовольно загубившего себя существования и по чужой воле задушаемой в зародыше жизни. Зимний день, между тем, гас, и вечерние тени набегали на предметы, угрожая скоро задернуть навсегда могильной тьмой и этот быстро разлагавшийся труп, и этого неподвижного, окаменевшего, близкого к обмороку или сумасшествию ребенка. Минуты казались мальчику вечностью, и все-таки он не мог сойти с места. Уже на улице, покрытой снегом, было светлее, чем в комнате, когда вдруг ребенку послышалось, что кто-то возится и шебаршит за окном; он быстро обернулся: сквозь тощие цветы за стеклами смутно виднелась на улице какая-то широкая косматая фигура, готовившаяся закрыть ставни. Леня без крику, без вздоха, упал на пол... Долгое время он бредил о том, как запирали над ним крышку гроба... Говорят, с этой поры Леня из живого, здорового мальчика стал больным и слабым существом.

Разбитое однажды здоровье не могло возвратиться в гнилом воздухе мачехи-столицы, в одном из тех душных и сырых жилищ, в каких гнездится мелкое чиновничество, вдали от природы, от смолистого воздуха лесов, от простора безбрежных, облитых солнцем нив.

Во всем своем ужасе вспомнилась теперь Обноскову картина смерти отца, и он невольно открыл глаза и со страхом стал всматриваться в полутьму, царившую в его комнате; по его телу пробежала дрожь, перед глазами носился призрак почерневшего покойника с открытыми глазами.

— Простудился, кажется, я немного в дороге,— проговорил Обносков почти вслух, чтобы звуками своего голоса прервать роковое направление своих мыслей и рассеять страх.

Через минуту он натянул на голову простыню и закутался плотнее в одеяло.

Но сон все-таки не шел к нему.

Мало-помалу стали оживать перед ним воспоминания о детстве, гимназии и кружке веселых, здоровеньких детей. В ушах назойливо начал звенеть чей-то бойкий, резкий, заразительный смех. Не любил Обносков этого смеха. Первый раз услышал он эти звуки искренней веселости в тот день, когда его робкая, болезненная фигура появилась в кружке товарищей и когда рука какого-то буйного сорванца взъерошила его гладко прилизанные, жидкие и прямые волосы. «Драться или покоряться?» — вот вопрос, представившийся в этот памятный день ребенку. Но как воевать, не имея ни сил, ни здоровья, ни безумной отваги, разбивающей голову, но все-таки идущей на бой с неравными силами сплотившихся врагов? А покоряться разве легче? Разве и тут не нужно громадной силы воли? Особенно, если болезненная натура стала до мелочности восприимчива к обидам, если в маленьком, хрупком существе развилось нуждою до крайних пределов стремление к самосохранению, если крошечное сердчишко давно стало испытывать мучения зависти при виде веселого лица, здорового организма, бесшабашного удальства и неудержимо несущегося ко всем мировым радостям, взлелеянного в роскоши существа? Нет, тут о покорности не может быть и речи, тут нужно отделиться от всех,

пролагать свой собственный путь, пролагать тайно, и идти особняком, тихонько, и ждать, когда умаются те быстро бегущие люди, те клокочущие силы, смешаться с которыми — значит переживать в месяц год, подставлять себя под удары случайностей, может быть, выиграть что-нибудь или, что еще вернее, погибнуть в вихре неосуществимых стремлений. Нет! нет! Что хорошего в этой бесшабашной буре ощущений? Лучше ждать, когда угомонятся эти волны, когда они падут и гордо поднимется над ними неподвижная скала, которую они закрыли в своей бешеной пляске, в которую они плевали своей бешеной пеной, швыряли поднятой со дна грязью. Они считали ее униженной, подавленной, близкой к разрушению,— дети! дети! — падали только они, а скала в своей бездушной твердости даже не дрогнула под визгом их бешеной бури... Не сознавал вполне всего этого в те годы Обносков, но уже *так* действовал он и тогда. Вот в классе устраивается проделка с немцем-учителем. Обносков ходит в коридоре, чтобы не быть в числе союзников-шалунов. Немец вместе с ним входит в класс и даже сердито спрашивает у него:

— Зачем вы в коридоре все ходите, а не сидите в классе?

— Шумно там, я учиться не могу, потому и хожу всегда в коридоре в промежутках между уроками,— отвечает каким-то извиняющимся и обезоруживающим тоном Обносков.

В классе немец замечает проделку: у него подломан стул, на кафедре положена грязь, журнал подсунут не тот, который нужен, на потолке болтаются бумажные чертики, прилепленные жеваной бумагой... Немец зовет гувернеров, инспектора, директора. Идет допрос, всех спрашивают поочередно, доходит очередь до Обноскова.

— Его не было в классе, он вошел со мною. Ему самому мешают заниматься эти сорванцы,— говорит немец, и Обноскова оставляют в покое.

Виновный, между тем, не находится, товарищество крепко стоит за своих членов, приходится наказать весь класс.

— Обноскова, я думаю, можно исключить, он не мог знать, что тут делалось,— заступается снова немец за ученика.

Директор соглашается. Власти, окончив суд, удаляются. Обносков щурит свои калмыцкие глаза и насмешливо обводит ими кучку тех слабодушных товарищей, которые уже начинают каяться в своем проступке и негодовать на зачинщиков-подстрекателей.

— Это хорошо, что вы дали себя знать немцу,— смеется он.— Так их и надо учить. Умнее будут. Струсили, я думаю, они!

Бесконечным, подавляющим ехидством и иронией дышат его простодушным тоном высказанные слова, а глаза светятся жидким блеском злорадства. Кающиеся товарищи ничего не отвечают на эти речи, но при следующей проделке они не соглашаются быть сообщниками зачинщиков, выдают их при расспросах директора. Зачинщики ругают их, бьют,— но не бьют Обноскова, потому что Обносков их не выдавал, он не мог выдавать их, так как он в свободное от уроков время постоянно находился вне класса. Они говорят, что Обносков «долбило», что Обносков «профессор», что Обноскову нет дела ни до чего, кроме науки. Никто не знает, что во всех практических столкновениях с жизнью он поступает не по своей воле, а по наставлениям матери, имеющей мудрые ответы и советы при всех житейских затруднениях.

«Где лес рубят, там и щепки летят,— вбивает она в голову сына обносковские правила.— А ты стой в сторонке, в сторонке... Плетью, батюшка, обуха не перешибешь, а ласковый теленок двух маток сосет... И что тебе товарищи? Ума они тебе не прибавят, денег не дадут, только лишнее время своим знакомством отнимут, да сапоги истаскаешь, ходя к ним в гости, или на чай разоришься, принимая их у себя... Ну, а ласков с ними будь, это нужно: бросишь хлеб позади, а он очутится впереди. Будущее один господь, наш творец небесный, знает, не угадаешь, кто понадобится в жизни... Так отцы наши жили и нам так жить завещали...»

Товарищи не знали, что во имя этой обносковской мудрости совершаются все поступки Лени, и думали, что он просто страстно любит науку и потому удаляется от их проказ. От этого взгляда недалеко до уважения. Хилый Обносков тоже начал делаться какой-то силой.

Дети, робкие, бесхарактерные, вечно поддающиеся чужому влиянию, стали переходить на сторону Обноскова. Он им объясняет математические задачи, он помогает им переводить Саллюстия, он вступается за них перед учителями, беседуя с последними в коридоре. Да, он беседует теперь с учителями, он — один из всех гимназистов. Сперва он спросил у одного из них совета, какую бы латинскую книгу ему начать дома для практики. Потом этот учитель спросил его:

— Ну, что ваше чтение? Подвигается вперед?

— Да, я кончаю книгу,— ответил Обносков.— Мне скоро опять придется просить вашего совета насчет выбора новой книги.

— Хорошо, вот погодите, я вам подарю две книги из французского издания классиков.

— Что ему нужно? — сурово спрашивает директор, усмотрев ревнивыми глазами, что один из гимназистов «пристает» к учителю.

Учитель объясняет.

— А-а! — многозначительно произносит директор.— Занимайся, занимайся, это хорошо.

Обносков с поклоном, скромно отходит от директора, а тот говорит с учителем, что у них растет замечательный человек, что *теперь* это особенно важно, так как надо истребить этот... этот... дух.

На этот разговор подходят другие учителя, и вдруг Обносков делается предметом удивления, толков и надежд.

— Не люблю я его,— замечает учитель русской словесности,— в нем есть какое-то трусливое стремление выдать товарищей...

— Что вы! что вы! — ужасается немец.— Напротив того, он еще вчера объяснял мне в коридоре, что многие из его товарищей плохо учатся не от лени, а потому что им дома не у кого спросить совета. Мы даже с ним поспорили... Это очень светлая голова...

— Однако он из всех историй выходит чист, никогда не попадается,— возражает учитель русской словесности.

— Не попадается, потому что делом занят,— строго внушает директор,— но это не значит, что он выдает товарищей. Никто и никогда не слыхал от него сплетен на одноклассников... Надо быть осторожнее

в выражениях, особенно если дело идет о такой недюжинной личности.

Слышите, недюжинной!

Чрез несколько месяцев директор дружески останавливает Обноскова за плечо.

— Постойте,— говорит он.— Хотите давать летом уроки сыну графа Родянки?

Лицо Обноскова вдруг вспыхивает багровым румянцем.

— С удовольствием... я так вам благодарен...— волнуется он, ненавидящий всеми силами души надутых сыновей графа Родянки.

— Так я вас отрекомендую. Заходите ко мне вечером.

Вечером Обносков приходит к директору, взволнованный, робкий. Но его принимают отлично. Граф Родянка сидит тут же, изрекает какое-то поощрение Обноскову, называет его шутливо и фамильярно «господином профессором». Обносков чувствует, что граф Родянка трунит над ним, как над ничтожным, жалким бедняком; его лицо покрывается багровыми пятнами, он вежливо говорит, скромно улыбается судорожно дрожащими губами.

— Э, граф, этот человек пробьет себе дорогу без посторонней помощи. Это самобытная русская сила,— говорит немец-директор, дружески положив руку на плечо Обноскова.

Директор торгуется за Обноскова. Оставляет его пить чай, шутит с ним.

— А я ваш должник,— смеется директор еще через несколько месяцев,— вы занимаетесь даром с моим племянником.

— Ну, помилуйте, что тут за счеты! Вы и без того много для меня делаете,— улыбается семнадцатилетний Обносков, и в его манерах видна уже развязность и что-то вроде едва заметного пренебрежения к людям, стоящим почему-нибудь ниже его или обязанным ему.

Еще проходят дни, и он делается домашним человеком у директора. Обносков ездит с директором в театры. Обносков знает, какого мнения директор о тех или других учениках и учителях. Обносков уже носит очки, и только его одного не преследуют за это, только ему не говорят с презрительною усмеш-

кою: «Что вы модничаете-то?» Его полусерьезно, полушутливо уже называют «нашим будущим учителем»...

А в классе теперь — его ненавидят. За что? Он, кажется, такой уживчивый с товарищами. Они ругают Пушкина, он, ухмыляясь, говорит:

— Да уж известно, что такое Пушкин!

Они ему хвалят Пушкина; он, также ухмыляясь, говорит:

— Ну, так ведь это Пушкин!

В гимназии вводятся те или другие меры, он молча исполняет их, не рассуждая, худы ли, хороши ли они. В ней отменяются старые порядки, он очень спокойно отрекается от них, точно эти порядки, составлявшие еще вчера для него святыню, были сущею нелепостью и безобразием. Гимназисты собираются потолковать о чем-нибудь, он хихикает и молча щурит свои калмыцкие глаза.

— Читал ты, как раскатали учебник нашего учителя истории? — спрашивают его товарищи.

— Да,— ухмыляется он,— совсем уничтожили!

Но гимназисты пробуют отвечать по-своему или делать возражения учителю истории под свежим впечатлением прочитанной критики, а Обносков зубрит его учебник от доски до доски.

— Да ведь это ерунда,— говорят ему.

— Хи-хи-хи, известно, что ерунда! — хихикает Обносков.

— Тебя хоть магии заставь учиться, так ты будешь и ее зубрить,— замечают ему.

По лицу Обноскова видно, что он не отрицает и этого положения... Но вот кто-то грубо и резко говорит Обноскову:

— А ведь ты просто подлец.

Обносков вспыхивает на миг и вдруг потухает: улыбаясь, пожимает плечами и отходит.

Живо, до безобразия живо вспоминалось все это теперь нашему герою и пробуждало в нем злобу.

— Что вы мне? — шептал он.— Что вы вообще значите? Не думаете ли вы, что я стану с вами мальчишествовать? Пешки!

Он сердито перевернулся на другой бок.

— Господа, в одиннадцатую аудиторию соберитесь

в двенадцать часов! — послышался ему крик, и он невольно вздрогнул.

И вот он видит массу студентов, снующих по коридорам университета, слышит умные и глупые, но всегда искренние споры, рассуждения о составлении кассы, о помощи голяку, притащившемуся пешком из Саратова для ученья, о концерте в пользу неимущих; видит стриженых девушек с тетрадями под мышками; ловит их свободные, простые разговоры с молодыми мужчинами и сознает, что никто не замечает его, ставшего в стороне от этой толпы. Ей нет дела, что он отдалился от нее; ей нет дела даже до его существования. Она кипит юной жизнью, хохочет, волнуется, увлекается, а он ждет, ждет, когда исполнится пророчество его матери, что «бойкие кони устают скоро». Но время идет, а эти кони не устают. Все прибывает и прибывает их число; вот и офицерские эполеты блестят в их среде; вот носится слух и о старом профессоре, группирующем их около себя; вот какая-то личность со звездой на груди поощряет их... Обносков начинает сомневаться в том, что эти кони устанут; его стойкость отчасти колеблется, обносковскому уму становится страшным его одиночество; он решается на бросанье хлеба назад, думая, что и это может пригодиться впереди; пробует сойтись с этой толпой, сходится с ней, и вдруг ему слышится, что над ним безжалостно смеются, что кто-то угадал и его тайный образ мыслей, и узнал какие-то тайны его семейной жизни, и трунит над ним:

— Э, да твоя мать не только жильцов эксплоатирует, а и на проценты деньги дает, не хуже любого ростовщика. Этим она тебе кругленький капиталец сколотит из денег бедняков, недаром ты и социалистов, и Прудона ругаешь,— слышатся ему слова.

— Подлецы! шарлатаны! — пробормотал Обносков и перевернулся снова.

— Бессемейные, безродные проходимцы они, потому они и не понимают, что значат чувства матери. Для кого, как не для любимого сына, она сколачивала гроши? Во имя чего, как не во имя святой материнской любви, решалась на все? Уж не должен ли я был, ради их идеек, отречься от этой женщины, как от преступной ростовщицы?.. Да и почему же это преступно извлекать возможную пользу из своего ка-

питала? Или в самом деле давать без процентов по их теориям и благодетельствовать жильцам?.. Так тогда и работать нужно бы без возмездия. Капитал и труд — две совершенно равные силы. У них есть и свои равные права... Чем больше сила приносит пользы, тем лучше... Да, дурачье, не понимают они, хотя и прилагают это на практике, что только и существует одно право силы, какая бы она ни была: денежная, физическая или умственная...

Думы начинали бледнеть; еще какие-то смутные образы носились перед глазами Обноскова, еще изредка волновалось его сердце, но волнения были все слабее и слабее, на лице все чаще скользила самодовольная улыбка.

«В нас теперь сила»,— думал он уже совершенно смутно, и эта мысль стала бессвязно и бесцельно повторяться в его голове; наконец он уснул.

III

Умирающий Обносков в своей семье

После тревожно проведенной ночи Обносков проснулся довольно поздно. Он чувствовал себя не очень хорошо, голова была тяжела, и в теле замечался небольшой озноб. Однако болезненное состояние не помешало ему выйти из дома. Сначала он хотел ехать представляться начальству, но потом раздумал и решился отправиться с матерью с визитом к своим родным.

При входе в большую и богатую квартиру, где жил дядя Обноскова, уже пахло лекарствами и чувствовалось, что кто-то в доме нездоров. Прислуга ходила на цыпочках, в комнатах был некоторый беспорядок. В гостиной Обноскова и его мать встретили две родственницы, сестры хозяина. Это были женщины не первой молодости, худощавые, белокурые, с тонкими губами, с моргающими глазками и множеством веснушек. Сразу можно было сказать, что это две сестры, и никак нельзя было определить, которая из них старшая. Они сами и их физиономии обладали

крайнею подвижностью, точно и сами эти женщины и их взгляды и чувства хотели куда-то ускользнуть от наблюдателя. Заслышав в их голосе строптивый гнев, наблюдатель мог обратить глаза на лица этих женщин, но перед ним тотчас же начинали в смущении моргать и потом смиренно потуплялись их глаза и сжимались губы в мягкую, заискивающую улыбку. Иногда же слышались их вкрадчивые речи, но, неожиданно взглянув на их лица, вы вдруг ловили какой-то зловещий блеск в глазах двух девственниц, блеск, потухавший тотчас же, как только вы обращали на него внимание. Эти женщины с самой колыбели жили со своим братом, заботились только о нем, о своей невестке Марье Ивановне, о ее сыне Алексее Алексеевиче Обноскове и вообще были так погружены в семейные заботы, были так исполнены чувствами семейной любви, что не обращали внимания ни на что, стоящее вне их семейного союза, если только посторонние предметы и люди не вредили или не приносили непосредственной пользы этому союзу.

При появлении племянника они приветствовали его горячими поцелуями и радостным шепотом и, обменявшись первыми приветствиями, тотчас же слезливо прошептали:

— А братец-то совсем плох! не проживет долго, ангел наш... Слава богу, что ты приехал...

— Ах, что у нас делается, так и сказать стыдно! — воскликнула старшая сестра, Ольга Александровна Обноскова.— Втерлись в дом чужие люди...

Тетки и мать расплакались.

— Не плачьте, тетушка,— утешал Обносков.— Все пойдет хорошо.

— Знаю, знаю, умный ты наш. Тебя только и ждали, как красное солнышко. Мы женщины, что мы можем сделать, беззащитные...

Все помолчали...

— А что, дядя духовную написал? — спросил Обносков.

— Нет, ангел мой. Начинал он издалека, знаешь, говорит, что распорядиться нужно, да мы его утешаем, что болезнь не опасна... Уж мы с сестрицей и твоей маменькой его ни на минуту не оставляем, а то... Ох, шепчут ему в уши, шепчут, разлучники, недобрые речи... Греховодники! Целый век мы с брат-

цем душа в душу жили, все о нас, голубчик, заботился, не разлучался никогда, а теперь вот до чего дожили... Чужие люди хотят за ним ходить, хотят нас от его смертного одра отдалить...

Тетки снова расплакались. Мать Обноскова тоже стала всхлипывать.

— Не плачьте, слезами делу не помочь,— говорил Обносков, и его, пробывшего два года вдали от родного гнезда, отчасти удивило, что тетки, всегда гордившиеся своею образованностию и говорившие о ней всем имеющим уши, рассуждали теперь каким-то языком кухарок. По-видимому, это был их природный язык, а тот, книжный, жеманный, которым они говорили в другое время, казалось, был чем-то таким же напускным, как их кроткие улыбки и стыдливо потупленные взоры.

— Ох, солнышко наше. Дай ты нам выплакать свое горе... Родной наш, защити нас, на тебя только и надежда,— снова заговорили тетки, и младшая, Вера Александровна, склонная к сентиментальности и влюблявшаяся во всех, начиная с церковного певчего-тенора, даже припала к плечу племянника.

Этот ли смутный шепот достиг до ушей больного или просто больной почувствовал, что его сестры недаром остаются целый час в другой комнате, но ему захотелось узнать причину их необычайного отсутствия. Дверь в ту комнату, где собрались нежные родственники, отворилась, и на пороге появился юноша. Обносков с невольным любопытством обернулся к нему и, нахмурив брови и сощурив свои и без того узкие, калмыцкие глаза, стал пристально и бесцеремонно рассматривать незнакомого ему юношу, о котором до него долетали тысячи самых разнообразных слухов.

Только на семнадцатом году жизни может человек сверкать такою ослепительною, нежною свежестью, таким добродушием и такою откровенностью, каким сверкало лицо этого стоявшего на пороге комнаты мальчика. Здоровые, облитые теплым румянцем от недавнего сна щеки с едва заметным пушком; откинутые назад без всякой претензии на эффект и потому еще более эффектные, густые, вьющиеся волосы; большие глаза, честно, смело и откровенно смотревшие на людей,— все это вместе должно было произ-

водить на каждого такое впечатление, что невольно хотелось пожать с любовью, с доброй улыбкой молодую руку этого гостя на жизненном пути и сказать ему: «Храни тебя бог, милое дитя!»

— Скажите...— начал он, поглядывая с порога на Обноскова как-то нерешительно, точно боясь ошибиться.— Скажите... Кажется, вы господин Обносков? — кончил он в замешательстве неловко начатую фразу и покраснел еще более.

— Дядюшка проснулся? — холодно спросил Обносков, не отвечая на вопрос «смазливого мальчишки». Это название Обносков уже дал в своем уме юноше.

— Да... Он давно не спит...— проговорил юноша и с каким-то недоумением осмотрел своими большими глазами группу родственниц, точно стараясь понять, что они успели наговорить на него новоприбывшему гостю.

— Я пойду туда,— проговорил Обносков, обращаясь к теткам и матери.

— Иди, иди, Леня, и мы все идем,— заговорили, перебивая друг друга, женщины.— Как твой дядя рад будет!.. Никого-то около него нет из близких... Мы что? мы женщины! С нами ему скучно... Не с кем умного слова сказать, по душе побеседовать.

Тетки говорили эти фразы с такими ударениями на словах и бросали такие злобные и многозначительные взгляды на юношу, что его можно было счесть главным виновником всех несчастий их брата и их самих. Юноша же все еще стоял на пороге, точно он окаменел, созерцая головы этих медуз.

— Позвольте же пройти! — раздражительно проговорил Обносков, слегка отстраняя юношу, стоявшего в дверях.

— Вот так-то всегда,— зашептали тетки племяннику.— Это уж тебе дороги не дает, польское отродье, а нами-то просто помыкает, помыкает... Ох, господи, до чего мы дожили!

Юноша, прислонившись к открытой половинке дверей, задумчиво смотрел вслед за удалившимися родственниками. Каждая черта его лица дышала теперь невыразимою грустью и только в закушенной нижней губе слегка были заметны следы строптивого, но сдержанного гнева. По одной этой черте можно было уга-

дать, что у этого человека есть уже выработанный характер.

— Батюшка-барин, отдохнули ли вы? — послышался около него дребезжащий голос.

Он обернулся и увидал старое, потемневшее, сморщенное, как печеное яблоко, лицо хозяйского камердинера.

— Спасибо, Матвей Ильич, отдохнул,— ответил юноша, и его лицо вдруг прояснилось, снова стало откровенным и добродушным.

— Умаялись вы, ходя за папенькой! — говорил старик.

— Тс! Не говорите, Матвей Ильич, этого слова,— прошептал, делая знак рукою, юноша.— Знаете, *они* не любят, когда кто-нибудь назовет его моим отцом. Вам же неприятностей наделают... Это низкие, низкие женщины! — вдруг быстро проговорил мальчик, и по его лицу скользнуло, как молния, выражение не то презрения, не то ненависти.

— У-у! Про-кля-тые! — прошептал старик.— Ну, да недолго теперь поцарствуют! И я ведь терплю теперь потому, что барина жаль оставить, а то я ведь теперь вольный... Его-то жаль. Вот теперь вы сами видите, батюшка Петр Евграфович, что у нас в доме за жизнь шла. Целый-то век вашего папеньки заели эти аспиды, кровь из него высасывали. Чуть, бывало, шутя он заикнется о женитьбе, они и начнут его в три голоса пилить. Пилят, пилят, умается он, сердечный, и махнет рукой. А все оттого, что слаб он, сумнителен был, десять раз всякое дело, бывало, отмеряет, а ни одного не отрежет... И ведь сколько пытались узнать они, где ваша маменька живет, ведь верно извести ее хотели, от них всего станет... Да нет, только я и знал ваш домик; ну, а из меня хоть бы жилы тянуть стали — не выдал бы вас...

Юноша задумчиво слушал болтовню старика, бесцельно возившегося над стиранием пыли и приведением в порядок мебели. В последний месяц, когда мальчику пришлось поселиться в доме отца, Матвей Ильич не раз повторял эти речи.

— И, господи, ведь беда-то какая приключилася, что маменька ваша в Аршаве; не может в Петербург приехать. А уж как бы нужно-то ей теперь здесь быть, ох, как нужно!.. Вот, батюшка, никогда не да-

вайте никому себе на шею насесть, как папенька ваш позволили сестрицам себя оседлать. И вас заездят, и другим плохо будет.

Юноша улыбнулся и ласково взглянул на старика.

— Спасибо, Матвей Ильич, за совет,— промолвил он.— За что только вы меня так любите?

— За что? — переспросил, останавливаясь с тряпкой в руке, старик.— Да ведь вы и родились-то чуть не при мне. Помните, папенька вашей маменьке либо письмо, либо деньги со мной пошлет, бывало, а я вам от себя пряников куплю, да и потешаюсь, как вы лакомитесь?

Юноша засмеялся. Старик, по-видимому, понял причину этого смеха и шутливо махнул рукой.

— Вспомнили, видно, как я вас своими пряниками чуть на тот свет не отправил,— проговорил он.— Ну, глуп был, своих детей не имел, не знал, что и от пряников захворать можно... А уж натерпелся же я страху тогда. Рубль на свечи целителю Пантелеймону истратил...

Старик в тысячный раз стал распространяться об этом замечательном событии из своей одинокой бесцветной жизни барского преданного лакея. Этот сгорбленный, говорливый, переживший и горе, и радость старик, поспешно ловящий немногие остающиеся ему в жизни мгновенья, чтобы еще раз хотя в воспоминаниях пережить свое прошлое, и этот неопытный, задумчивый юноша, внимательно прислушивающийся к отголоскам чужого существования, еще с боязнью стоящий на пороге жизни,— эти два существа, связанные вместе взаимною любовью, составляли поэтический и трогательный контраст.

— Пошли бы вы, батюшка, к папеньке,— заговорил снова старик, прибирая в комнате.— Не ровен час наши-то аспиды, пожалуй, еще насплетничают что-нибудь... Вот ведь и наследник приехал!.. Наследник!.. Дохлый, право, дохлый... Головой не кивнул мне, в маменьку весь... Все ведь на него молятся, только от него спасенья и ждут, науку их всю произошел... Ступайте, батюшка, ступайте, а то смутят папеньку-то против вас.

— Не могу я, Матвей Ильич, с ними из-за наследства воевать, противно мне это,— с искренним отвращением заметил юноша.

— Эх, батюшка, знаю я, знаю... Оно бы и не родному сыну об этом думать, глядя на отходящего отца... Да ведь что вы станете делать? Не сделает папенька духовной,— ничего не получите, помяните мое слово.

— Да мне ничего и не надо, Матвей Ильич,— с жаром воскликнул юноша.— Я работать буду, я нужды не боюсь.

— Дитя вы, дитя! — покачал головой старик.— А маменька, а сестрица-малюточка, а братец что будут делать?

Юноша опустил голову.

— Ступайте, голубчик, ступайте! Из глаз вон — из ума вон,— говорит пословица: так и будьте же у папеньки на глазах.

Юноша вздохнул и пошел неторопливыми шагами в комнату отца. Едва слышно отворил он дверь, и, казалось, луч солнца прокрался в эту мрачную комнату больного, так мгновенно озарилось приветливой улыбкой лицо лежавшего на постели человека.

Это был исхудалый, умирающий человек с запуганным, нерешительным и измученным лицом. Выражение раздражительности и досады поминутно сменялось на этом лице тоскливою страдальческою покорностью.

Сын графского управляющего-чиновника, Евграф Александрович Обносков в детские годы исполнял роль тех крепостных девчонок, которых секли для примера, когда барские дети не знали уроков или шалили. Тяжело было ему учиться с графскими детьми и отвечать за их проступки, но, несмелый и нерешительный, он покорился своей участи и даже полюбил графских детей, забывая все оскорбления, за их малейшую ласку. Любил он и своего отца, и свою мать, оправдывая их грубое обращение с ним влиянием нужды и необразованностью. Поступив в Московский университет, он так же стал оправдывать лень графов-друзей влиянием пустой среды и работал за них. С годами его мягкое, любящее сердце все более и более размягчалось и находило оправдания всем людским порокам, всем гадостям. Семья воспользовалась этим и сделала его своим батраком, платя ему за все сладкими речами и нежными поцелуями. Было время, когда ему удалось вырваться на три ме-

сяца из дома, уехав с одним важным лицом в Варшаву по делам,— но среди чужих, трезво работающих, беззаботно веселящихся, не особенно любящих, не особенно враждующих людей его размягшему сердцу стало как-то пусто и холодно: он тосковал, не слыша нежных речей, не чувствуя сладких родственных лобызаний. «Прочь, прочь от этих безучастных, самодовольных людей!»,— уже восклицал он мысленно, когда произошел один неожиданный случай, изменивший и его намерения, и его взгляды на свою семью.

Однажды в одном из варшавских садов он сделался свидетелем одной грустной сцены. В довольно пустой аллее лежала в обмороке немолодая женщина, около нее хлопотала молоденькая девушка с побледневшим лицом и полными слез глазами. Евграф Александрович подошел и спросил у девушки, не может ли он быть ей чем-нибудь полезным.

— Ах, ради бога, ради бога, бегите за доктором,— ломаным русским языком воскликнула в отчаянье девушка, даже не взглянув на Обноскова.

Он бегом отправился за знакомым ему доктором и через несколько минут привез его. Оказалось, что со старухой сделался удар, и помочь ей уже не было возможности. Собралась полиция, чтобы взять труп.

— Я не хочу, я не хочу, чтобы мою мать таскала проклятая полиция. Везите ее домой! — ломая руки, рыдала дочь и крепко держалась за труп матери.

— Успокойтесь, я похлопочу, и вашу мать перевезут в церковь,— утешал Евграф Александрович молодую незнакомку, а у самого были на глазах слезы. — Где вы живете?

Кое-как адрес был передан. Обносков поручил девушку доктору, а сам поехал хлопотать. Хлопоты окончились успешно, так как у его начальника были связи в городе.

— Боже мой, если бы вы знали, сколько вы для меня сделали! — говорила молодая незнакомка, горячо сжимая руки Обноскова.

Оказалось, между тем, что эта девушка осталась совершенно одна и без всяких средств. Ее отец уже давно пропал неизвестно куда, о ее брате тоже не было никаких слухов. Она с матерью приехала в Варшаву по делам и проживала в одной из гостиниц. Обносков помог ей похоронить мать. То плача, то

проклиная судьбу, передала она Евграфу Александровичу свою историю.

— Сперва за нами ухаживали, когда с нами был мой отважный отец, когда около нас жил мой чудный брат,— говорила она.— А потом нас бросили; мы с матерью, как женщины, не могли быть полезны людям в их деле... Да и времена переменились тогда, старых друзей не стало...

— Что же вы теперь думаете делать? — спросил Евграф Александрович.

— Что делать? — почти с ужасом переспросила его девушка.— Что делать?.. Я сама не знаю, что я буду делать!.. Утопиться, что ли?

Она сурово нахмурила брови и опустила голову.

— Надо место приискать... в гувернантки,— начал нерешительно Обносков.—Только скверная эта жизнь... Учить испорченных детей и знать вперед, что их нельзя уже перевоспитать... Терпеть унижение и обиды за свой честный труд, встречать холодность...

— О, если бы я была мужчиной, я не спросила бы, что мне делать! — вдруг горячо перебила девушка вялые размышления Обноскова, и с ее языка полились живые, пламенные речи.

Стройная и тонкая, как тополь, черноволосая, с сверкающими глазами, она увлекла молодого человека и своей красотой, и своей страстной отвагой.

Каждый день стал Обносков посещать свою новую знакомую. Он давно привык слышать от женщин одни пустые толки о погоде, модах, балах и театрах, или рассуждения о хозяйстве, сплетни о кухарках и знакомых, и удивлялся, что эта девушка могла говорить и о политике, и о положении своего отечества, и о всем том, о чем говорится в кружках университетской образованной молодежи. Часто, сидя с нею, Обносков забывал, что он сидит не с товарищем, спорил, горячился и говорил, не приискивая тех приличных выражений, какие обыкновенно употребляются в разговорах с барышнями. Всякое стеснение, всякое желание рисоваться и нравиться пропали в молодом человеке, и нередко он жаловался на то, что он слабый, бесхарактерный человек.

— Интересы у вас узки, жизнь мелка, потому и характер не может развиться,— замечала она.— Вы живете узкою семейною жизнью, оттого вы и сил

не можете развить. Да и на что вам они? Чтобы есть, пить весь век и после умереть незамеченными, безызвестными, не сделав ничего для общества? Вы враги общества, если поближе посмотреть на вас, потому что частные интересы для вас выше интересов общества. Не будь у него ни хлеба, ни денег,— вы ничего ему не дадите, ничем не пожертвуете ему... Да если бы вы и вздумали пожертвовать чем-нибудь, так вас удержат за рукав или мать, или сестры, или вообще какие-нибудь любящие женщины...

Чрез две недели Обносков жил в той же гостинице, где жила Стефания Станиславовна Высоцкая. Он запросто являлся в ее номер; по-товарищески пожимал ей руку; полулежа на диване, курил у нее папиросы... Ему свободно дышалось в ее присутствии, и если у него было горе, то никто не сумел бы так нежно, так по-женски утешить и развеселить его, как это молодое, полное сил и страсти существо. Зато никто не умел так и выбранить его, как Стефания; часто она не шутя сердилась и приказывала ему удалиться из своей комнаты. Как-то раз, совершенно неожиданно для самого себя, наспорившись с нею досыта, он на прощанье поцеловал ее. Этот поцелуй был до того прост, что она только рассмеялась.

— Славный вы человек! — в восторге промолвил Обносков.

— Потому и нужно целовать этого человека? — засмеялась она, качая головой.

Еще чрез несколько времени он сказал ей:

— Знаете ли что? Я без вас не могу жить.

Стефания молча сидела на диване.

— Что же вы не отвечаете? — придвинулся к ней Обносков.— Я вам всю жизнь отдам... всю свою жизнь...

— Для чего? — как-то мельком, как-бы про себя, промолвила она и вдруг подняла голову.— Вы добрый, мягкий человек,— заговорила Высоцкая.— Положим, я отдамся вам,— что же из этого будет? Будем жить для себя, затворимся в своем доме, как в раковине, чтобы есть, пить, тешиться любовью и холодно смотреть, как гибнут люди, как страдают ближние... Ведь живой деятельности нет, да вы на нее и неспособны... Отчего это вы элегий о людских страданиях не пишете? — вдруг с едкой усмешкой спросила она.

— За что вы рассердились? — изумился Обносков.

— Вот знаешь, что около тебя стоят хорошие люди, добрые люди,— заговорила в каком-то странном волнении Высоцкая, заходив по комнате.— И в то же время сознаешь, что они ненужные, бесполезные люди... Их бы надо ненавидеть всей душой, потому что они-то и могли бы пользу приносить, они-то и могли бы работать, и все-таки сил нет на эту ненависть!..

Высоцкая, кажется, сердилась на себя за что-то. Она быстро села на диван и закрыла лицо руками, нетерпеливо и как-то нервно постукивая ногою об пол. Сквозь ее пальцы проступали слезы.

— Прости ты меня: я тебя встревожил,— с сожалением промолвил Обносков, впервые говоря ей «ты», и опять в его тоне послышалась такая нота, как будто он говорил со старым другом-студентом.

Он хотел уйти.

— Милый мой, милый,— бросилась к нему Высоцкая,— зачем ты такой, зачем в тебе нет энергии?.. С твоим умом, с твоею честностью можно быть великим человеком...

— Ну, вот ты и веди меня на этот путь,— целовал ее Евграф Александрович...

— Ну, а топиться теперь ты не думаешь? — смеялся на другой день Евграф Александрович, вспоминая один из первых своих разговоров с Стефанией.

— Не думаю,— засмеялась она стыдливым смехом и вдруг нахмурила брови и проговорила грустным тоном: — Милый, живи так, чтобы мне не пришлось медленно чахнуть в апатичном бездействии...

И началась для него с этого дня какая-то странная жизнь. Он стоял школьником перед этой женщиной, она журила его, она направляла все его действия на честный путь, она заставляла его служить обществу и решаться иногда на довольно смелые поступки. Часто приходилось ему краснеть перед этой подвижною, деятельною женщиною за свои мелкие слабости и только за одну слабость не бранила она его никогда, хотя именно за нее-то она имела более всего прав бранить Обноскова: он не имел смелости пойти наперекор своей семье и жениться на любимой женщине.

— Друг мой, эта ошибка страшным гнетом лежит на мне,— говорил он Высоцкой.

— Ошибка передо мною,— это ничего не значит... Другие ошибки, ошибки перед обществом важнее,— спокойно замечала она.

Счастье Обноскова в кругу образованной молодежи, собиравшейся около этой женщины, было полное... Не такова была его жизнь в своей семье, где он лежал больным в то время, когда застает его наш рассказ. Он хмурился и охал, окруженный нежными, любящими и не оставляющими его ни на минуту родственницами, пожертвовавшими для него всем своим временем, всеми своими желаниями. Довольно было ему обратить куда-нибудь свои потухающие глаза, чтобы все родные с недоумевающими и вопросительными взорами бросались наперерыв исполнять еще невысказанное им желание. Он поворачивал голову и тотчас же три женские руки протягивались поправить ему подушку, слышались три женские, заискивающие и сладкие голоса, спрашивавшие: «Вам, братец, верно, неловко?» Боже мой, сколько любви, заботливости и нежности было в этих словах, каким бархатным, шепчущим и ласкающим напевом произносились они!

— Благодарю, мне очень хорошо,— слабым голосом отвечал больной и закрывал глаза.

— Братец, вы, может быть, уснуть хотите? — шептали ему баюкающим тоном заботливые голоса.— Мы посидим, мы не будем говорить...

— Зачем же сидеть? Идите! — нетерпеливо возражал больной, почему-то воображавший, что его могут бросить хоть тогда, когда он уснет.

— Ах, братец, теперь мух так много. Они вас беспокоить будут,— шептали вкрадчивые голоса.

— Ничего, я не чувствую от этого беспокойства...

— Ангел, терпеливый страдалец! — слышалось восклицание, исполненное благоговейного умиления.— Вы всё беспокоитесь нас утомить... Да ведь мы всем, всем пожертвовали бы для вашего спокойствия... Приказывайте!.. Приказывайте нам!..

Больной сохранял молчание и тяжело вздыхал, не имея ни сил, ни охоты высказывать свои желания, тем более, что он знал, что сестры исполнят всё, всё, но только не решатся оставить его одного, не решатся не заботиться о нем. Требовать чего-нибудь подобного, значило бы требовать, чтобы любящий че-

ловек бросил своего любимца в минуту опасности, именно в ту минуту, когда и нужна помощь любящего существа. Конечно, на такие требования нельзя согласиться и трудно их предлагать. Теперь больной слушал рассказы приехавшего из-за границы племянника с выражением какой-то тупой рассеянности.

— Поди ко мне, дитя,— прошептал он с просветленным лицом, завидев появившегося в его комнате юношу.

Мальчик подошел к постели. Больной взял его за руку и обернулся к племяннику.

— Ты его еще не видал? — спросил он.

— Мы уже познакомились,— уклончиво отвечал Обносков.

— Добрый ребенок, очень добрый ребенок! — пожав руку юноши, сказал больной.— И характер матери...

У мальчика навернулись на глазах слезы. Он присел на кровать.

— Ах, вы лучше на стул сядьте,— заговорили ласково вкрадчивые голоса,— братцу неловко будет.

Юноша закусил нижнюю губу и сконфуженно привстал с места, но больной удержал его за руку и с упреком взглянул на сестер.

— Пусть сидит тут, как можно ближе ко мне сидит... Ведь недолго ему быть тут...— проговорил он и, подняв руку, опустил ее в кудрявые, шелковистые волосы мальчика.

— Добрый, добрый братец! — воскликнули сестры и готовы были прослезиться от умиления.— Всех обласкать, приголубить, пригреть хочет... Это надо ценить, ценить надо...

Юноша, с яркой краской обиды на лице и крупными, дрожавшими на ресницах слезами, сидел неподвижно на постели, обвив одною рукою больного, лицо которого едва было видно Алексею Алексеевичу Обноскову из-за груди мальчика.

— Ну, как тебе понравилось за границей? — лениво и безучастно расспрашивал больной.

Обносков стал рассказывать про заграничную жизнь.

— А что, твои занятия успешно кончились?

Обносков дал отчет и о своих занятиях.

— Ну, а как наша молодежь там живет? — продолжал расспросы больной, видимо довольный близостью к себе юноши и говоривший просто от нечего делать. Его вопросы совсем не занимали его самого; ему было уютно и тепло около молодого, драгоценного существа, и он смотрел на остальное совершенно равнодушно.

— Скверно живет она, дядя,— резко ответил Обносков.— Мало учится, мало работает.

— Не хорошо, не хорошо! — каким-то старчески добродушным, незлобивым тоном нараспев заметил больной и ласково вскинул глаза на юношу.— Вот мы не так будем заниматься, Петя; мы привыкли к труду,— по-детски шутил он, и был вполне доволен, увидав улыбку мальчика, вызванную этими шутливыми словами.

— Увлекается молодежь разными современными вопросами,— продолжал Обносков,— агитировать постоянно стремится, нахваталась разных либеральных идеек и носится с ними, как дурак с писаной торбой...

— Всё то же, всё то же, что и в наше время было,—шептал больной.— Не умирают юные силы... не задавить их...

— Но хуже всего эта эмансипация женщин, да то, что мальчишки развратничают, живут с эмансипированными любовницами, а толкуют о свободе женщины и о гражданском браке. Они...

Лицо больного сделалось вдруг тревожно. Его нежные сестры и мать Обноскова заметили это и вскочили с вопросом: «Не надо ли чего-нибудь братцу?»

— Петя, иди в залу, подожди доктора,—промолвил больной, обращаясь к юноше.

Юноша встал, чтобы идти, но больной притянул его к себе и поцеловал.

— Теперь ступай,— окончил он.

Мальчик вышел; его глаза сверкали гневом, точно последние слова Алексея Алексеевича Обноскова задели его за больное место.

— Послушайте... я хочу один остаться... с Алексеем,— обратился больной к сестрам.

Они и мать Обноскова повиновались и оставили комнату, где воцарилось какое-то тяжелое молчание.

Алексей Алексеевич из почтительности к старшему родственнику не прерывал этого безмолвия, а дядя, по-видимому, собирался с духом, чтобы заговорить. Казалось, что он собирается сказать что-то очень важное...

IV

Исповедь старого Обноскова

— Ты неосторожно поступил,— начал Евграф Александрович Обносков.— Таких вещей не должно говорить при *этом* ребенке.

Племянник не то сконфуженно, не то холодно молчал и как-то сострадательно и даже презрительно смотрел на встревоженное лицо дяди.

— Но я рад, что ты так или иначе вызвал меня на объяснение. Я уже давно думал поговорить с тобою о наших делах, хотел писать к тебе, но не мог... не мог решиться,— продолжал, запинаясь, нерешительный дядя, и по лицу его скользнула горькая усмешка.— Ты совершенно прав, нападая на разврат современного общества. Тебя, всегда осторожного, всегда рассудительного, должны возмущать промахи беззаботной юности, но, друг мой, клеймить ее только за одно это — грех...

Больной закашлял, и его лицо вдруг приняло свое обычное выражение нерешительности и изнеможения. Можно было легко заметить, что он говорит совсем не о том, о чем хочет говорить, и что до этого желанного предмета разговора он может дойти только после множества совершенно посторонних делу фраз.

— Мы больше всего виноваты, если современная молодежь и вступает в незаконные связи,— заговорил больной.— Мы все, люди отживающего поколения, жили с любовницами; одни при живых женах имели посторонние связи; другие просто не женились на любимых и близких им женщинах потому, что им не позволяли этого родные; третьи жили весь век с женщинами, не женясь на них потому, что считали сами женитьбу на них за неравный брак и не имели сме-

лости ввести в свой дом ту женщину, которая, несмотря на свое происхождение, хранила всю их жизнь и делала их счастливыми... Свет смотрел на эти связи сквозь пальцы, потакал им, так как его приличия не нарушались, в его кружки не вводились дочери людей темного происхождения, но, друг мой, тут приличиям приносилась в жертву человеческая личность.

Больной взволновался и замолчал. Алексей Алексеевич никак не мог понять, для чего это дядя толкует о вещах, не касающихся ни до которого из них.

— Дядя, вам надо бы отдохнуть теперь,— заметил он.

— Нет, нет! — замахал рукою дядя.— Я сейчас дойду до того, что я хочу сказать... Я договорю, договорю,— успокаивал он, кажется, не столько своего слушателя, сколько самого себя, как бы доказывая самому себе, что на этот раз, может быть, впервые в жизни, ему удастся победить свою нерешительность и высказать именно то, что ему нужно высказать.

— Никто не бросал в нас камня за то, что мы, подчиняясь условиям сыновнего долга, светским приличиям или своим сословным предрассудкам, налагали пятно на женскую личность, делали ее в глазах света развратницей,— объяснял больной.— Молодежь назвала эти связи гражданским браком. Она сильно ошиблась в практической стороне дела, но все-таки в ее стремлении есть много честности. Она как бы хотела сказать своим ближним: хотя вы не позволяете мне ввести в ваш круг любимую мною женщину, но я все-таки признаю ее моей женою, то есть не существом, которое я брошу по прихоти, которое я развращаю, а личностью, с которою я связываю себя навек перед своею совестью... Разумеется, это ошибка в практическом смысле, но виноваты в ней мы, только мы, люди отжившие. Мы поступали еще хуже, мы увлекали женщину, оставляя за собой право бросить ее, и в то же время называли ее позорящим именем любовницы...

Больной остановился. На его лице проступила краска. Алексей Алексеевич Обносков холодно следил за

муками этого человека, лишенного силы воли, и презирал его в душе за его стремление оправдать себя, оправдывая других. В голове Алексея Алексеевича мелькали теперь мысли о том, что «вот они, старые теоретики-то, фразеры, носящиеся в облаках и не знающие фактов, вечно ораторствуют, вечно стараются подвести все под какую-нибудь систему и любуются шумихой своих собственных фраз. А и подводить-то им под систему нечего».

— Дядя, вам, кажется, совершенно не нужно так длинно распространяться по поводу мельком высказанной мною фразы,— заметил племянник.

— Погоди, погоди,— удерживал его движением руки больной, думая, что тот хочет уйти.— Я буду говорить о своих делах... Были годы, когда ты каждое воскресенье проводил у меня. Были годы, когда ты постоянно присутствовал при наших толках о семейных делах, но ты был племянник, то есть младший член семьи, а я дядя — ее глава. Стоя в этих отношениях друг к другу, люди странно относятся до сих пор к своим ближним. Молодой человек откровенно высказывает своим старшим, что он читает, с кем дружен, что он видел в театре, но никогда не скажет он им о первой вспышке своей любви, никогда не скажет о первом проступке на этом пути. Точно так же старшие никогда не говорят при юноше о своих сердечных делах, все это считается за нечто неприличное. Но боже мой! Право, не так важно узнать, что юноша тогда-то пропустил несколько лекций в университете, как важно знать, не увлекался ли он недостойной любовью, не стоит ли он на краю пропасти, куда ведут первые порывы пробудившейся страсти. Лекции, пропущенные им, можно нагнать, но первый проступок на пути любви иногда делает отцом того, кого мы, старшие, считаем чуть не ребенком! То же самое можно сказать и про нас. Иной из нас не стыдился перед своею совестью иметь где-то на стороне семью, не стыдился называть прижитых в этой связи детей своими детьми, но считал постыдным знакомить с этою семьею одного из младших членов своего родственного кружка. Ему было бы оскорбительно, его самолюбие пострадало бы, если бы ему пришлось, краснея, признаться перед молодым

племянником в своей ошибке... Совестно! оскорбительно! — но ради этих мелочей он лишал своих детей, любимых детей, приязни родных и сам как будто признавал, что эти дети отверженные, что они не имеют места в объятиях его законной семьи...

Страшный кашель стал душить больного.

— Дядюшка, прекратимте этот разговор,— нетерпеливо проговорил племянник.

Больной отрицательно замахал рукою. «Эк его фразерство-то заело! Сороковым годам последнюю панихиду служит»,— подумал Алексей Алексеевич и, зевнув украдкой, докончил мысленно: «А поглупел же он во время болезни, прежде он все-таки меньше был способен на подобные словоизвержения». По-видимому, от внимания больного не ускользнули настоящие чувства и мысли, занимавшие племянника, так как на исхудалом лице появилось что-то похожее на неудовольствие.

— Все это тебе очень скучно, но я должен договорить,— заметил дядя.— Так поставил и я свои отношения к покойному отцу, к тебе, к сестрам. Вы не знали, что жизнь в вашем кругу, занятия по службе не могли наполнить всего моего существования... Мне нужно было более теплых, более страстных отношений. Сперва это было увлечение молодости, о котором я не сказал моему отцу, моей матери, моим дядям. В такой несообщительности не было ничего необыкновенного... Ведь и ты, вероятно, увлекался... Как? когда? кем? Кому ты сообщил об этом?.. Об этом неловко говорить со старшими, с опытными людьми и можно разве только смеяться над этими первыми увлечениями в кругу своих сверстников, таких же неопытных, таких же увлекающихся. Да, это так, и счастлив тот, у кого первая вспышка страсти прошла бесследно, если только может проходить бесследно что-нибудь,— но я после подобной вспышки вдруг очнулся отцом... Я никогда не шутил привязанностями... Иногда даже утрировал свои обязанности к ближним... Так я преувеличивал свои обязанности в отношении к сестрам... Скрывая от отца и матери до самой их смерти свою связь, я не мог открыть ее и сестрам... Они ухаживали за мной, они дрожали, когда я произносил слово о своем намерении жениться, они пла-

кали, говоря, что тогда им придется расстаться со мной, что они должны будут идти на места, в гувернантки, что они не захотят брать денег из рук невестки. Я был мечтатель, нежный и слабый человек... очень слабый человек.

Больной умолк на несколько минут. В голове племянника, хорошо знавшего дядю и подобных ему людей, промелькнуло: «Ну, бичевать теперь себя станет!»

— О, да будут прокляты мои мечты, моя нерешительность, моя слабость! — воскликнул с оживлением больной и поднялся на локте.— Мое воображение рисовало мне светлую картину свободного, но прочного союза... Ведь тогда, в мое время, мы об этом даже стихи писали,— горько усмехнулся он.— Я представлял себя и любимую женщину героями, идущими одним путем, наперекор предрассудкам, наперекор злословию... Но я рисовал себе это не потому, что я был убежден в необходимости полной свободы в любви, а потому, что я был человек-тряпка, потому что я не мог сделать решительного шага и ввести в этот дом, заставить сестер любить и уважать женщину, прижившую со мной детей, я не мог сказать сестрам, что если они любят меня, то они должны радоваться моему счастью. Я постоянно оправдывал их грубый эгоизм, их ложное понимание родственной любви, заставляющее выжимать последний сок из любимого человека для себя, только для себя... И ведь оправдывал-то я их потому только, что силы бы не хватило на борьбу, на разъяснение им их ложных отношений ко мне!.. Вот и прожил под опекой весь век... а дорогие мне личности едва смеют переступать порог моего дома...

Снова последовало мучительное молчание. Молодой Обносков был по-прежнему почтителен, но холоден.

— Это чудное дитя,— почти со слезами продолжал больной,— этот ребенок, сидевший на моей постели, мой сын... Только глядя на отношения к нему моих сестер, понял я вполне, как мало они меня любили. Мне теперь гадки, мне мучительны их ухаживания за мной, и если бы я встал еще с постели, то я загладил бы свою ошибку. Я только теперь окреп, увидел

истину... Но слишком поздно открылась она, эта истина,— открылась для того, чтобы я покаялся перед своею совестью... Верь мне, это страшное покаяние... Тебе тяжело меня слушать... но ты должен выслушать все... Люди страдают затем, чтобы другие могли избежать этих же страданий... Ты наследник моего имения, ты молод, ты воспитан в то великое время, когда глупые предрассудки начинают понемногу исчезать, потому я хочу поручить тебе заботы о моей семье... Да, о семье; я так называл ее перед своею совестью и перед богом, потому что мы честно прошли путь нашей жизни, как, может быть, не прошла его ни одна чета, приносившая ложную клятву перед алтарем бога.

Алексей Алексеевич молчал. Умирающий Обносков начинал все пристальнее всматриваться в холодное, официальное, почтительное лицо только что начинающего жить Обноскова и, кажется, хотел прочитать в душе этого человека его чувства и тайные помыслы.

— Не оставляй моих детей, моей жены,— заговорил дядя.— Я не сделал духовной, не мог ее сделать, но ты раздели все на ровные части, не обижай никого.

— Дядюшка, я все сделаю, что от меня зависит,— промолвил молодой Обносков.

Больной продолжал всматриваться в его лицо. Калмыцкие глаза нетерпеливо начали бегать из стороны в сторону и ускользали от взглядов дяди. Дядя, проживший всю жизнь страстным мечтателем, был почти смущен тем, что племянник не бросается ему на шею, не выражает горячих чувств и остается все тем же холодно-почтительным младшим членом семьи, выслушивающим с покорностью наставления старшего члена семейства, как выслушивает студент лекцию профессора или чиновник соображения директора.

— Тебе понравился мой сын? — с любопытством спросил дядя.

— Да, он недурен,— отвечал племянник.

— Красавец, красавец! — одушевился больной.— А ведь какая душа! А как он умен!.. Ты говорил с ним?

— Нет еще, не удалось.

— Поговори, поговори,— пристально смотрел на молодого Обноскова больной.— Я тебе поручаю его...

— Вам нужен отдых,— произнес Алексей Алексеевич и встал.

— Ничего, я не устал,— ответил дядя, тяжело дыша, и вдруг переменил разговор.— А ты как думаешь устроить свою судьбу?.. Женишься на Кряжовой?

— Да, я думаю...

— Что ж, ты будешь счастлив. Она хорошая девушка... Дай бог, чтобы она была счастлива...

Молодой Обносков пожал руку дяди и вышел из комнаты. Больной в утомлении перевернулся на спину. В его лице были следы изнеможения и отчаяния. Теперь его грызла мысль о том, что он не должен был объясняться с племянником, теперь он дорого бы дал, чтобы этого разговора не существовало. Тысячу раз в жизни мучился этот человек, желая и не решаясь высказать свои чувства и мысли, еще чаще решался он, после мучительных усилий над собой, высказывать желанное и терзался, через минуту после откровенного признания, за то, что сделал это признание. Все люди казались ему ангелами, покуда он не сходился с ними, но как только он узнавал их поближе, так тотчас же наступало разочарование и охлаждение. Теперь разочарование было еще сильнее. В течение последнего времени больной только о том и мечтал, что кроткий, почтительный и скромный племянник вернется из-за границы, встретит с распростертыми объятиями дядю, приласкает встреченного в доме дяди мальчика, потом услышит исповедь дяди и бросится с горячими поцелуями к юноше, узнав, что этот юноша — любимое дитя дяди-благодетеля. И все эти мечты обманулись! И упрекнуть даже нельзя было племянника за какое-нибудь чувство, неприличное в молодом человеке, стоящем перед старшим родственником. Нет, нет, почтительность, скромность, терпение — все это было в поведении племянника.

— А другом Пети он все-таки не будет! — проговорил больной.— Ведь Петя незаконный сын, ну, так и тревожиться о нем было бы незаконно, когда есть законные наследники. Ведь вор, укравший с голода, может быть и не негодяй, а просто несчастный чело-

век, но он вор — его и жалеть не следует. Тут жалость незаконна, так как ее всю нужно отдать на долю того, кто обокраден вором... Женщина была моим единственным верным другом, но она мне не жена — какое же им до нее дело? В их глазах это просто развратница — признать за нею все права жены — незаконно; это можно бы сделать из любви ко мне, но приличия и законы выше всего... Они правы, правы, тысячу раз правы!.. Ведь это только мы, все *наши* были теоретиками и мечтателями, а они всегда будут практиками... Как я их ненавижу... Я рад бы им отомстить.

Больной волновался. В эту минуту дверь в его комнату тихо приотворилась; он торопливо закрыл глаза и притворился спящим, зная, что это вошла одна из сестер, и не имея силы и смелости выгнать от себя одно из тех существ, которым он за минуту перед тем хотел отомстить за мучения всей жизни, глупо прожитой, глупо кончавшейся...

— Ну, как ты его нашел, Леня? — заботливо расспрашивали между тем родственницы у племянника о больном.

— Плох он, заговаривается порой,— ответил племянник.— Но проживет еще.

— Знаешь, Леня, мы вот здесь всё о тебе толковали,— озабоченно заговорила мать.— Женился бы ты прежде его смерти. А то, спаси господи, помрет он, тогда неловко будет после похорон сейчас за свадьбу приниматься.

— Так-то так,— задумчиво ответил Алексей Алексеевич,— но не знаю, успею ли я обделать все мои дела... Впрочем, я подумаю...

— Подумай, голубчик, подумай! Это и для здоровья твоего надо,— рассуждала мать и сообщила родственницам, что Лене еще за границей говорил доктор, что ему для здоровья нужно жениться, что он будет крепче, когда женится.

Обносков взялся за шляпу и уехал по какому-то делу, обещаясь приехать ночевать в дом дяди. Мать же и тетки остались беседовать между собою.

В доме больного в последнее время были совершенные праздники, в нем никто ничего не делал, постоянно гостила тут Марья Ивановна Обноскова,

каждый день приезжали сюда разные дальние родственники и знакомые, никогда не посещавшие дома в другие времена; почти не сходил со стола кофейник, а если и сходил, то только для того, чтобы уступить место самовару. Но страннее всего было то, что общество, находившееся теперь в квартире Евграфа Александровича, приняло какой-то мещанский характер. В былые дни сюда являлись сослуживцы хозяина и его старые друзья по университету, люди известные, важные, к которым никогда не выходили сестры хозяина. Тут шли речи о политике, о делах акционерных компаний, о реформах, о литературе. Теперь блестящие залы наполнялись какими-то вдовами-капитаншами, какими-то престарелыми девами, благословляющими благотворительниц. Теперь тут шли рассказы о чудесах и видениях какого-то Алексея Колокольчикова, о том, что Наполеон снова явился и опять на Россию идет, о том, что к братцу даже *сами* генералы как друзья ездят и, чаще всего, почти незаметно эти разговоры сводились к рассказам о скандалах, историях и сценах, происшедших в домах каких-то Постниковых, Лукошкиных, Анучиных и других тому подобных личностей, неведомых миру, а может быть, и самим разговаривающим...

Слушая все эти разговоры, трудно было поверить, что обе хозяйки дома были когда-то в институтах, правда, не кончили там ученья, но все-таки были. Все, что мог привить институт, сгладилось, стерлось среди домашних забот и соображений о намерениях братца, о поступках дальних родственниц, о склонности прислуги к воровству, о плутовстве лавочников и тому подобных предметах. При «братце» об этих предметах нельзя было говорить; при «братце» нужно было иногда книжку в руках держать, в театр ездить; при «братце» сестры делали томные глазки, говорили о прочитанных чуть ли не в институте французских романах, полагая, что это *благородный разговор*,— но теперь можно было сбросить тяжелый, узкий корсет европейского изделия и надеть широкий балахон домашней выделки. Много нужно усилий, чтобы втащить человека на вершину горы, и совершенно не нужно труда, чтобы он скатился с нее и увяз снова в грязной тине старого, родного болота...

V

Ех-профессор Кряжов, дальний родственник Обносковых

Женитьба Алексея Алексеевича Обноскова на дочери Кряжова должна была состояться через несколько дней. Это было уже в самый разгар лета. Свадьбой торопились именно потому, что Евграфу Александровичу бог не давал «ни смерти, ни живота», как выражалась Марья Ивановна. А она более всего хлопотала о бракосочетании сына с девицей Кряжовой, «так как Кряжов был человек достаточный и со связями, так как его дочь была красавица и не модница, так как Лене давно уже надо жениться, что говорил, как мы знаем, даже и доктор, лечивший Леню». Все эти причины заставляли Марью Ивановну напоминать сыну о Кряжовых перед отходом ко сну, заговаривать с ним о них после восстания от сна и тянуть эту песню изо дня в день при всех удобных и неудобных случаях и даже без всяких случаев. Это было какое-то заботливое подтачиванье любимого существа с припевом:

— Не упускай, голубчик, своего счастья!

Ответ слышался один и тот же:

— Ах, маменька, да я и сам хлопочу об этом!

Выгодность партии была ясно видна уже из того, что Марья Ивановна поступала теперь совершенно против своих правил. В былые дни Лене довольно было ласково взглянуть на какую-нибудь девушку или похвалить ее, чтобы Марья Ивановна начала топтать в грязь, порочить и поносить это существо, и если все это не помогало и Леня продолжал, хотя просто из настойчивости, хвалить невинное созданье, то мать начинала делать сцены этому невинному созданию, рыдать и жаловаться перед Леней, что он ее «меняет на какую-то девчонку, на негодницу, на шлюху, которая всем мужчинам на шею вешается, у которой стыда-то нет в глазах» и проч., и проч. Со своим ни в чем неповинным врагом Марья Ивановна церемонилась еще меньше. Обыкновенно продолжались эти сцены и рыдания до тех пор, пока девушка не начинала избегать встреч с верным сыном

любящей матери. Теперь было не то — значит, Кряжовы были люди, во всех отношениях достойные принять в свой круг Леню. Вероятно, и он был достоин их, хотя об этом, как водится, не могло быть и речи у Марьи Ивановны и вообще в семье жениха.

Ех-профессор Кряжов, член и корреспондент разных академий и ученых «Обществ» Европы, приходился сродни Обносковым — правда, он был им *дальним* родственником, но все-таки родственником. Это был колоссальный, широкий в кости, наделенный железным здоровьем человек, с огромной, немного обрюзгшей львиной головой, украшенной длинными, волнистыми, седыми волосами с свинцовым отливом. Из-под его густых бровей добродушно смотрели ввалившиеся голубовато-серые глаза, иногда сверкавшие каким-то веселым, плутоватым выражением, намекавшим не на то, что их обладатель может обмануть кого-нибудь, а скорее на то, что его надувают все, а он-то смеется над плутнями людей и остается спокойным, тогда как они, жалкие людишки, копошатся, составляют разные злостные планы, ночей не спят, завязывая узел интриги, и все из-за того, чтобы после всех своих усилий и трудов встретить те же спокойные черты лица и те же безмятежные, немного насмешливые глаза старого льва. Эти глаза как будто говорили:

— Ну, чего вы интригуете? чего бьетесь головой об стену? Ведь вы только свое здоровье портите, а меня вам не смутить.

Голова престарелого льва поддерживалась массивной шеей бронзового цвета, постоянно открытой и в холод и в жар и почти не стесняемой широким откидным воротником ненакрахмаленной рубашки. Воротник едва сдерживался небрежно повязанной черной косынкой. Расстегивать пуговицу у воротника рубашки вошло в привычку у ех-профессора, так как очень часто, сидя в многочисленном собрании серьезных и важных ученых и увлекаясь оживленным спором, он машинально подносил руку к воротнику, расстегивал пуговицу и старался ослабить обвивавший его шею галстук. Казалось, его душило всякое малейшее стеснение и, вероятно, потому-то он уединился в свой дом от людей, устроил себе какое-то независимое государство и хладнокровно смотрел на

все, как хорошее, так и дурное, что происходило за стенами его владений.

В давно, очень давно былые годы Кряжов был таким выносливым и беззаботным голяком, какие очень часто встречаются среди бессемейной молодежи. Он откровенно и честно высказывал те смелые идеи, которые зарождаются во все века в молодых, еще не отупевших головах, за что считался опасным вольтерьянцем,— в те времена эта кличка значила то же, что теперь значит кличка нигилист, хотя это обстоятельство и не мешает старым вольтерьянцам ругать нигилистов. Кряжов страстно увлекался женщинами и, обманутый ими, с свойственным ему юмором смеялся над тем, как его ловко провели за нос, и беспечно утешался в измене — за что его звали бессовестным, бессердечным волокитой. Он любил иногда попировать, выпить брудершафт и стяжал этим название кутилы. Он и с мужиком, и со студентом толковал о их нуждах их языком, как с равными себе, потому что сам происходил из бедных мелкопоместных дворян, недалеко ушедших от мужиков, и, рано увидав, что люди обманывают друг друга на каждом шагу, поняв, что не обманывает только одна наука, предался ей вполне и не имел времени задумываться ни над людским костюмом, ни над сословными разделениями — это доставило ему репутацию... чудака. Может быть, он и действительно был отчасти чудаком. По крайней мере ему как-то удалось начудить таким образом, что в его филологических лекциях, трактовавших о происхождении различных слов, были усмотрены следы опасного свободомыслия и даже атеизма, за что на него покосились где-то наверху и «попросили» его быть осторожнее, а он, не думавший никогда либеральничать и отрицать что бы то ни было, уперся, написал пространную «записку» о необходимости свободы в преподавании, заявил, что он никогда не отречется от своих взглядов и подал в отставку, как будто ему действительно приходилось поступиться в этом случае какими-нибудь заветными убеждениями, а не случайно проскользнувшими фразами. Выйдя в отставку, он продолжал заниматься своими изысканиями о происхождении тех или других слов того или другого языка, задумывался над объяснением того или другого

памятника древности и только тогда в первый раз вспомнил, что эти занятия ведут не только к уяснению истины, но и к знакам отличия, когда через долгие годы опалы о нем вдруг кто-то вспомнил там наверху, дал ему место и выхлопотал ему орден. Это было в то живое время, когда давались ордена и места всем обретавшимся не в авантаже в течение предшествовавших тридцати лет.

Кряжов надел орден на свой стереотипный, долгополый и широкий сюртук, подошел к зеркалу и, улыбнувшись детски-самодовольной улыбкой, как-то недоверчиво покачал головой. Вечером он совершенно забыл об ордене и удивился, когда во время его занятий что-то хрустнуло у него на груди, прижатой к столу. Ех-профессор озабоченно почесал в затылке и заходил по комнате с расстроенным видом, поминутно растягивая шейную косынку; казалось, ему попалась под руку какая-то древняя рукопись, написанная на бесследно исчезнувшем языке. Через полчаса он, как-то сконфуженно оглядываясь, снял с сюртука сломанный орден, поспешно спрятал его в стол, вздохнул и, снова садясь за рабочий стол, проговорил, махнув рукою:

— Где нам, дуракам, чай пить!

— Папа, а орден-то твой где? — спросила его молоденькая дочь, когда он пришел в столовую отдыхать и пить пиво.

— В столе, маточка, в столе! — серьезно проговорил ех-профессор и заходил по комнате в заметном волнении.— Знаешь, с такими вещами шутить не должно!.. Это доказательство, что мы недаром гнули спину весь век, что наши труды признаны людьми; признаны даже там... наверху... Да, даже они,— неопределенно заметил Кряжов, указав куда-то в сторону,— знают и помнят о нас!.. Ты это пойми... Нет, нет, такие вещи беречь нужно. Я привык к разгильдяйству, к неряшеству, мне только бы в халате ходить, мне не следует унижать подобной святыни, таская ее на своем затрапезном балахоне... А ведь это святыня, святыня; ты сама видела... А?

По мере того как ех-профессор увлекался этою речью, лицо его делалось все пасмурнее и озабоченнее; он тревожно потирал себе лоб, поправлял галстук, точно ему представлялся факт, которого он ни-

как не мог объяснить. Дочери стало тяжело видеть это постоянно веселое и безмятежное лицо в такой тревоге.

— Ну, брось, папочка, этот разговор,— приласкалась она к нему, гладя его волосы.— Вот тебе пиво.

— Да, да, голубка, бросим этот разговор, не нужно об этом говорить. И что нам в этих разговорах! Ну, сама посуди, что нам в них? — вздохнул широким вздохом ех-профессор.— Будем пить пиво, и да царствует наше семейное затишье!

Профессор поцеловал худенькую руку балованной дочери, взял кружку пива и угнездился в широком покойном кресле посредине комнаты, обратясь лицом к пылавшему камину. На полу у камина уселась его молоденькая дочь со щипцами в руках; у ее ног поместился полулежа мальчик, почти таких же лет, как она; он положил ей на колени книгу и, при свете горящих в камине дров и лампы с матовым шаром, стал читать вслух французский перевод Дон-Кихота. Профессор задумчиво слушал чтение своей любимой книги, и снова, в тысячный раз, вызывали на его лицо полугрустную, полунасмешливую улыбку похождения честного добряка, покидающего свой мирный угол для поисков за какими-то неведомыми подвигами, битвами и почестями.

Много различных дипломов на разные почетные звания, много знаков отличия получалось с этого памятного дня ех-профессором. Он был теперь в моде, в ходу. В самостоятельной, независимой и свободомыслящей республике науки стали теперь без боязни признавать ученые заслуги Кряжова, когда увидали, что с него снята опала и что его снова жалуют наверху и даже тщетно приглашают читать лекции какой-то особе. Но все дипломы, все медали прятались Кряжовым в заветный ящик стола и погребались там на долгие-долгие дни. По-прежнему спокойно сидел обленившийся труженик по целым дням дома, заставленный, как перегородками или щитами, грудами старых книг, заслонив слабые глаза одною рукою, приложенной ко лбу в виде зонтика. По-прежнему скупал он древние вещи, начиная с какого-нибудь почерневшего шкапа и кончая замасленной рукописью; аккуратно ходил он на толкучий к знакомому буки-

нисту отрывать подходящие старые брошюры; просиживал в лавочке два-три часа, потягивая принесенное собственно для него пиво и перекидываясь разговорами о житейских новостях со старым, похожим на распухнувшую древнюю книгу мещанином-хозяином запыленной лавочки книжного старья. Попрежнему по субботам заходил к Кряжову во время его занятий такой же старый профессор и академик, художник Трегубов, и Кряжов, не поворачивая головы, не отнимая руки от глаз, ласковым, певучим голосом говорил ему:

— А, это ты, Абрам Семенович, пришел!

— Я, голубчик, Аркадий Васильевич,— отвечал точно так же нараспев Трегубов.

— Ну, спасибо, что завернул!

— Да гулял, знаешь, шел мимо, думаю: дай, мол, погляжу я, что-то поделывает мой Аркадий Васильевич,— ну, и зашел.

Затем Трегубов садился в древние вольтеровские кресла с громадной почерневшей спинкой, брал газету или книгу и начинал читать. Минуты проходили за минутами, в комнате царила невозмутимая тишина, изредка едва слышно нарушаемая шелестом переворачиваемых листов, еще реже смущаемая отрывистыми фразами собеседников о том, что «погода-то того, портится» или что «ведь в Германии-то опять новый съезд ученых готовится».

— Да, брат, обленились мы с тобой, ух, как обленились! — замечал при этом Кряжов.— Вот ведь съездить бы надо туда, а подняться лень, к месту приросли... Помяни ты мое слово, пришибет нас когданибудь кондрашка!..

— Ну, нет, голубчик, Аркадий Васильевич, ты этого не говори,— возражал Трегубов.— Я подумываю на будущий-то год непременно в Германию махнуть и уж поеду, как бог свят, поеду!

— О-о? — бросал Кряжов удивленный взгляд на приятеля.— Ну что ж, с богом, с богом... А ведь знаешь ли что? И я посмотрю, посмотрю, да и махну с тобой туда... Отчего же бы мне в самом деле и не ехать? А? Ну, сам посуди, отчего не ехать?

— Вот то-то и есть, Аркадий Васильевич, что и я не вижу никакой причины, по которой тебе нельзя бы было ехать; решительно не вижу такой причины,—

глубокомысленно замечал Трегубов, разводя руками.

Потом снова наступало молчание между будущими путешественниками. Наконец, проходило три четверти часа; тогда, почти из минуты в минуту угадывая время, поднимался Трегубов, тщательно складывал газету, аккуратно клал ее на старое место и прощался:

— Ну, я пойду теперь, милый мой Аркадий Васильевич.

— Христос с тобой, голубчик, Абрам Семенович. Не забывай меня, заверни, если случай такой выдастся.

— Нет, как можно; вот мимо придется когда-нибудь идти, так и заверну,— заканчивал Трегубов, тихо выходя от Кряжова и постукивая палкой.

Ни тому, ни другому, по-видимому, не приходило в голову, что и без обещаний прогулка Трегубова должна повторяться из года в год, по крайней мере, раз в неделю для поддержания его здоровья, что и без просьбы придется ему отдохнуть только у Кряжова, последнего и единственного друга его и сверстника, что и Кряжов, постоянно ведущий сидячую жизнь, не видящий в течение недели почти никакого живого лица, кроме дочери и своего воспитанника, не обошелся бы и трех недель без этого посещения. Так шли многие годы для двух профессоров-друзей, постоянно сидевших сиднем в своих кабинетах и решавшихся на следующий год совершить далекое путешествие.

Кроме этой, так сказать, внешней стороны, была у Кряжова другая сторона в жизни. Он был не только ех-профессором, но и отцом. Женился он сорока с лишком лет на молоденькой немочке-гувернантке, жившей в том же доме, где он был гувернером. Решился он на этот шаг только потому, что ему вдруг досталось довольно большое наследство, а значит, и представилась необходимость завестись своим хозяйством. Так как ходить далеко за невестой было не в характере тяжелого на подъем человека и так как немочка была кротка, несчастна и находилась под рукой, то Кряжов и повенчался без всяких отлагательств и лишних переговоров с нею. Она, с своей стороны, пошла за него потому, что считала его ве-

ликим человеком. Бог знает, был ли он великим человеком, но добродушным человеком он был действительно, и мечтательница-немочка была счастлива, что, однако, не помешало ей через три года умереть, столкнувшись впервые с действительными, совсем прозаическими последствиями супружеской жизни — с первым ребенком.

Кряжов возился, как умел, с малюткой дочерью. В это время он жил уже богато в собственном доме и имел довольно прислуги для ухода за девочкой. Впрочем, это не мешало ему самому вмешиваться во все, что касалось ребенка, и даже можно было заметить, что он имеет сильное поползновение научить кормилицу, как нужно кормить детей грудью. Конечно, эти поползновения не могли иметь никаких последствий, так как вообще вся прислуга Кряжова хотя и любила его, но смотрела на него с каким-то высокомерным снисхождением, как смотрят на капризничающего шалуна-мальчугана. В своем кругу прислуга отзывалась с неуважением даже о занятиях ех-профессора и говорила посторонним:

— Э, *наш*-то ведь только целый день книжки читает! У него и дела-то другого нет!

В этих словах слышалось глубочайшее презрение к ученым трудам ех-профессора; еще с большим неуважением отзывались *люди* об его образе жизни:

— Да разве этак господа-то живут? — восклицали они.— Разве это порядок целый век взаперти сидеть? И какое это хозяйство! Ни до чего ему дела нет... Накупит разной рухляди, обтрепанных книжонок натащит, и тронуть не смей... Вот и теперь корзина с хламом в кабинете стоит... А это разве порядок корзины в кабинет ставить?.. Прибрать ничего не дает, так у него и пыли не сметай... Уж потонет он в ней когда-нибудь, прости господи!..

С трех лет дочь уже воспользовалась правом по целым часам сидеть на коленях отца во время его ученых занятий. Кряжов был так силен, а ребенок так мал, что отец иногда забывал о присутствии живого существа на его широких коленях, точно там лежала просто какая-то еще ненужная для его изысканий книга. Потом отец сделался учителем своей шестилетней дочери и в часы отдохновения, в убранной по-старинному столовой, учил девочку, потягивая

пиво, при свете пылавших в камине дров. Иногда среди занятий ребенку вдруг приходила в голову какая-нибудь странная, блажная фантазия.

— А ведь я тебе, папка, волосы взъелошу! — обращалась она к отцу совершенно неожиданно и без всяких видимых причин к появлению подобного желания.

— Ну, взъерошь! — хладнокровно улыбался отец, и детские пальчики уже путали седые волосы отца.

В комнате раздавался веселый хохот старика и ребенка.

Если являлись посторонние люди, то малютка сначала смотрела на них тайком, с каким-то напряженным любопытством, стараясь не обратить их внимания на себя, потом, рассмотрев подробно гостя, она начинала заигрывать с ним, кружилась по комнате подобно дикарке с каких-нибудь австралийских островов, наконец подходила к гостю, дергала его и очень решительно замечала:

— А ведь ты, Тлегубов, как я замечаю!

Вероятно, такое заключение являлось вследствие того, что она только и знала эту фамилию. Подобные детские выходки восхищали Кряжова, и ему не приходило в голову, что детский ум развивается как-то ненормально. Но через несколько времени отец стал замечать, что девочка грустит, худеет и становится все более и более странною, все сильнее и сильнее походит на австралийскую дикарку; он начал волноваться не на шутку.

— Что с тобой, голубчик, Аркадий Васильевич? — заботливо спрашивал Трегубов.— Ты на себя не похож становишься!

— Ребенка не могу найти! — развел руками в стороны Кряжов и даже раскланялся, должно быть, для того, чтобы Трегубов сильнее прочувствовал всю важность этого события.

— Господи! — ужаснулся Трегубов.— Что же нянька-то глядела?.. А? Вот ведь давно я замечал, давно замечал, что ветер у нее в голове ходит, только не говорил... Ах, ты, господи!.. И куда же это она девалась?..

— Не то, не то! — перебил Кряжов.— Груня, слава богу, дома... Ты меня, Абрам Семенович, не понял... Мне еще нужно ребенка.

Трегубов хлопнул себя в изумлении по коленям, покачал головою и потом глубокомысленно закусил два пальца правой руки, в знак сильного раздумья.

— Ну, как ты это сделаешь, уж я и ума не приложу,— развел он через несколько минут руками.

В один прекрасный день Кряжов повеселел и лукаво подмигивал, встречая Трегубова.

— А ребенка-то я нашел, ей-богу нашел! — говорил он и показал другу новый, очень невзрачный экземпляр человеческого существа, уже умевший говорить: «Ах ты чёльт, мазулик плоклятый».

Это был черномазенький мальчуган с вздернутым носом, немного приплюснутым лбом и сердитыми глазенками. Мальчик был сирота, сын чиновника; его отыскал Кряжов где-то в грязи, в людской и боялся, что ребенка не отдадут ему, но оказалось, что не только этого ребенка рады были отдать люди, но предлагали Кряжову еще нескольких таких же безродных сирот.

— Эх, брат, Абрам Семенович, видно, самый дешевый товар безродные дети,— говорил Кряжов своему другу.— Даром старого каталога не дадут, а тут еще кланяются, чтоб человек только взял ребенка. Не угодно ли, говорят, мы вам вот еще двух принесем, так те будут получше... Ишь ты, получше!..

VI

Дочь и воспитанник Кряжова

Маленький Павлуша Панютин сделался любимцем Кряжова и его дочери, немного повеселевшей в обществе нового товарища. Теперь все пошло отлично. Маленькое государство, где Кряжов был скорее последним подданным, чем президентом, благоденствовало. Груня и Паня росли вместе, горячо любили друг друга и прилежно, хотя и не бойко, учились. Росли дети совершенно одиноко. Кряжов, погруженный в свои работы, даже и не замечал, что прислуга ненавидит лишнюю обузу — приемыша, что гувернантка совсем не занимается детьми и читает романы, оставляя воспитанников без присмотра. Ха-

рактеры детей слагались как-то странно: Груня — божество прислуги — была задумчива, слаба и пуглива; Паня — илот прислуги — был мрачен, горяч и мстителен. Через несколько лет гувернантку отпустили, Паня поступил на казенный счет в гимназию, а к Груне стало ходить еще больше учительниц и учителей. Особенно мягким и добрым учителем оказался один студент, дальний родственник Кряжова. Он был такой робкий, почтительный и прилежный, что скоро сделался приятелем не только самого добродушного Кряжова, но даже и пугливой, несообщительной Груни. Зато с первой же минуты знакомства Паня взглянул на этого учителя, как на врага. С свойственною ему мрачною злобою следил он за учителем и обличал его перед Груней. Между детьми возникали горячие споры и даже ссоры из-за этого учителя. Не меньшею ненавистью отплачивал мальчику и наставник. Он был не кто другой, как наш знакомец, Алексей Алексеевич Обносков.

По целым часам готов он был слушать рассуждения Кряжова о новых исследованиях и очень часто сам просил советов старика по разным ученым вопросам, как когда-то просил он у латинского учителя советов насчет выбора книг для чтения. Через три года после своего вступления наставником в дом Кряжова Обносков был уже своим человеком в этом доме.

Оставаясь после уроков у Кряжова, Обносков беседовал с хозяином о различных предметах, волновавших в то время общество. А это была та кипучая пора, когда поднимались новые вопросы и ежедневно появлялись статьи, говорившие на все лады о том, кому нужно дать новые права и кому не нужно, кого надо сечь и кого не надо. Эти разговоры послужили новою причиною для Павла Панютина ненавидеть Обноскова. Обносков это замечал и искал случая дать генеральное сражение врагу.

Однажды, перед своим отъездом за границу, Обносков говорил об этих же животрепещущих вопросах с Кряжовым. Разговор коснулся розог.

— Давно пора было возбудить эти толки о розгах,— говорил Кряжов.— Я никогда не оправдывал жестокого обращения с детьми. Учителя не должны быть палачами.

— Но строгость, Аркадий Васильевич, нужна,— заметил Обносков скромным тоном.

— Ну, конечно, конечно! Без строгости нельзя,— согласился Кряжов, лаская дочь, присевшую на ручку отцовского кресла.

— Мне кажется, наши доморощенные гуманисты придают значению розог не тот смысл, какой они имеют на самом деле,— продолжал Обносков осторожно проводить свою мысль.— Эти крикуны, с одной стороны, видят что-то позорящее в розге и, с другой, предполагают в ребенке такой развитый ум, который можно наставить на путь истины убеждениями. Это двойная ошибка. Никто из нас не был опозорен тем, что его секли в детстве, и почти никто не может похвалиться, что он ребенком сознавал необходимость хороших поступков. Иногда он только из страха перед наказанием и не делался негодяем.

— А уж и пороли же нашего брата,— добродушно засмеялся Кряжов, вспоминая свое собственное детство.— Меня инспектор не любил,— я ведь был первым головорезом — так он, бывало, как придет суббота, так и зовет меня, раба божия,— ну, я уж и знаю, бывало, что порка будет... И что же это был за зверь-человек. Небо, бывало, с овчинку покажется... Он меня во едину от суббот так выпорол, что я и из школы бежал...

— Ну, такие звери теперь немыслимы; это просто ненужная тирания,— заговорил снова Обносков.— Но вот я сейчас имел честь вам говорить о наших гуманистах,— вернулся он к своей мысли.— Они признают нелепым действовать на ребенка физическою болью, требуют, чтобы его наставлениями довели до хорошего поведения, а между тем они же сами признают несостоятельность поучений и хороших примеров, когда дело вообще касается исправления преступников...

— Э, батенька, вы смешиваете понятия,— прервал его Кряжов.— Поучения недостаточны для исправления преступника, потому что он все-таки будет преступно действовать под влиянием таких обстоятельств, как нужда, неименье работы, сознание неравномерного распределения богатств. Вместо наставлений нужно или уничтожить эти причины его негодности, или пресечь ему путь к преступлению...

— Ну-с?

— Ну, а у ребенка нет этих причин для преступных действий, по крайней мере, школа старается их устранить. Ребенок бывает дурен больше по привычке да по неразвитости. Он ворует не оттого, что у него хлеба нет, а потому, что он не понимает дурной стороны этого поступка. И ленится он потому, что не понимает, как это вредно для него.

— Позвольте, Аркадий Васильевич, сделать вам возражение,— почтительно перебил Обносков.— Вы, смею вас уверить, ошибаетесь. Ребенок именно потому поступает дурно, что его принуждают к этому окружающие его обстоятельства, так же, как и всякого взрослого преступника. Совершенно устранить их нет никакой возможности, и еще менее есть возможность устранить их вдруг, потому-то наставления, хорошие примеры, ласки, все то, что проповедуют гуманисты, просто чепуха и пустяки. Соловья баснями не кормят. Тут нужно прибегнуть к устрашающим мерам. Да!.. Видя, что его богатый товарищ лакомится, ребенок не захотел перенести лишения лакомства,— а вы его накажите, да так накажите, чтобы он понял, что страданье от наказания за проступок сильнее того страдания, какое он испытывал, не имея лакомства. Ребенок видит праздных людей и хочет тоже ничего не делать, сибаритничать,— а вы накажите его за лень, чтобы он сознал, что лучше прилежно поработать, чем за минуту сладкой праздности подвергнуться тяжелому наказанию. Этим путем только вы и добьетесь чего-нибудь.

— Да ведь то скверно, что у нас наказания скоро переходят в истязания,— слабо защищал Кряжов детей, продолжая скучный для него диспут.

— А! что касается до жестокости, то я первый ее враг,— оживился Обносков.— Мера везде нужна. Жестокость, несправедливость — это гнусные крайности...

— Да, да, справедливость — это первое!

— Ну, кто же станет против этого спорить!..

— Вы сами порете детей или других заставляете их сечь, если они виноваты? — неожиданно спросил шестнадцатилетний Панютин, стоявший в полутьме, за креслом Кряжова.

Обносков вдруг вспыхнул и бросил гневный взгляд по направлению к своему нелюбимому ученику. Тот почти весь был скрыт высокой спинкой древнего кресла ех-профессора и над резьбой спинки виднелся один немного приплюснутый лоб мальчика с нависшими черными волосами, да сверкали, как два горящие угля, злые черные глаза.

— Какие глупости ты спрашиваешь,— заметил немного смущенный Кряжов.

— Если бы вас нужно было сечь, так я сам бы высек,— засмеялся насильственным смехом Обносков, плохо скрывая досаду.

— Ну, и поплатились бы своими боками,— спокойно ответил Панютин.

Обносков позеленел.

— Ступай вон, в свою комнату иди! — строго проговорил Кряжов.

Панютин пошел из комнаты, стуча по-мужицки ногами.

— Ишь, других, небось, заставляет сечь, а сам не хочет, боится, что плюх надают,— проговорил он вполголоса.

Некоторые из этих слов смутно долетели до слуха собеседников. Однако ни Кряжов, ни Обносков не сказали ни слова. Молчание было какое-то натянутое.

— Нехороший у него характер,— произнес через несколько минут Обносков.

Груня с замиранием сердца ждала ответа отца. Отец молчал.

— Вы его сильно балуете, с ним нужна строгость и строгость,— продолжал уже смелее Обносков.

— Папа, он добрый, ей-богу, он добрый,— неожиданно прижалась Груня к отцу.

В ее дрожащем голосе послышался испуг и слезы.

— Голубка, что ты так взволновалась? — изумился Кряжов и обнял одною рукою дочь, склонившую к нему на плечо свою головку.— Вели-ка лучше нам чаю подавать да скажи Павлу, чтобы не дулся.

Груня пошла.

— Чудное, нежное дитя! — прошептал как бы про себя Обносков.

Кряжов с чувством пожал его руку.

— А знаете ли что, Аркадий Васильевич,— вкрадчиво начал Обносков.— Ведь он уж не дитя, у него усики пробиваются над губой... Конечно, это не мое дело, но все же такая близость к девушке... это слишком близкие отношения. Тут опасная игра...

Кряжов изумился и обратил на Обноскова удивленные глаза.

— Что это вы? — покачал он головою.— Они брат и сестра...

— Чужие, Аркадий Васильевич, чужие! И притом обоим идет по семнадцатому году... Вы заметили сейчас это волненье у вашей дочери?.. Это недаром.

— Полноте, полноте! — замахал рукою Кряжов.

— Вы меня извините, но я так ваше семейство люблю, так люблю самого Павла, что...— Обносков засмеялся и потом окончил: — Его не худо бы удалить из дома.

— Ну, нет-с, уж этого-то я не сделаю,— почти рассердился Кряжов, входя с Обносковым в столовую.

— Что, молодой человек, вы, кажется, изволили на меня надуться? — шутливо потрепал Обносков Панютина по плечу, когда все собрались в столовой.

Панютин смотрел исподлобья куда-то в сторону и ничего не отвечал.

— Верьте мне, что я горячо желаю добра молодежи и вам первым уже потому, что вас любят и балуют те, которые дороги мне,— еще раз ласково прикоснулся Обносков к плечу Панютина.

Тот, грубо отдернув плечо, стоял по-прежнему безмолвно и, злобно обкусывая ногти, мрачно хмурил брови. Обносков с веселым и добродушным видом развязно отошел к камину, где поместился Кряжов, а Груня прошептала Панютину:

— Ты злой, злой!

Ей ясно послышалось, как в ответ на эти слова мальчик неприятно скрипнул зубами. У нервной, бледненькой и слабой девушки пробежала по телу дрожь от этого скрежета зубов. Она, стоя у стола, принялась разливать чай. По другую сторону стола стоял Панютин. В глубине комнаты сидели Кряжов и Обносков. Все молчали,— всем было не по себе...

Убранство комнат очень часто заставляет нас угадывать, какие лица появляются в них. Так, кабинет

с десятками трубок, с картинками вольного содержания, с соблазнительными статуэтками и с открытым скандалезным романом на столе сразу рисует в нашем воображении плотного, пожилого холостяка с довольным видом, масляными глазами и слегка красноватым носом. Так кружева, розовый атлас на мебели, пахучие растения, бронзовые и фарфоровые безделушки заставляют нас искать глазами кокетку, прилегшую где-нибудь на кушетке за плющом, и стоит только выскочить откуда-нибудь слезливой шавке или предстать нашим глазам колоде карт, чтобы мы не искали хозяйку этого будуара и угадали вперед, что этой кокетке уже давно перевалило за сорок лет. А бедное, сырое жилище, с ободранными обоями, поломанными стульями, разве не заставляет ожидать появления зеленовато-бледного, изнеможенного лица? Но редкие комнаты так гармонировали своей обстановкой с лицами своих обитателей, как гармонировала столовая Кряжова с собравшейся в ней группой людей.

Кряжов, как все профессора, занимающиеся археологическими, филологическими или вообще историческими изысканиями, скупал разные древности и получал их в дар как от своих ученых собратий, так и от уважающих его лиц. С годами этих вещей накопилось столько, что его жилище превратилось в музей редкостей, и нашлась возможность не громоздить эти редкости, как нечто случайно попавшее сюда, в беспорядочную кучу, наподобие вещей, сгроможденных в аукционной камере, а можно было рассортировать их со смыслом и вкусом по отдельным комнатам, из которых каждая имела свой характер. Столовый зал напоминал средние века и готическую архитектуру. Он был высок и мрачен; кроме большого окна, всегда полузакрытого тяжелыми темными драпри, падавшими на пол широкими складками, в нем был еще стеклянный просвет сверху. Кресла, стулья и два угольные дивана в этой комнате были массивны и сделаны из темного дуба в средневековом вкусе с остроконечными спинками. Такой же работы буфетный шкап походил на орган старой немецкой церкви. Камин напоминал собою открытый вход в пропасть могильного, готического склепа и огонь, пылавший в этой пропасти, кажется, служил

наглядным доказательством существования того ада, перед которым так трепетали в темные средние века. Несмотря на различие физиономий и лет, гармонировали с этою обстановкой и наши герои. Седой маститый патриарх Кряжов и зеленовато-бледный сухой Обносков казались выхваченными из средних веков и перенесенными в наше время личностями Фауста и Вагнера. Худенькое и хрупкое существо Груни, с двумя падавшими за плечами косами, несмотря на некрасивое лицо, напоминало Гретхен, а мрачный, безмолвный Панютин, продолжавший кусать ноготь большого пальца, казалось, только ждал темной ночи, чтобы улизнуть куда-нибудь в лес, либо на большую дорогу, где еще решаются ездить поздней порою неосторожные путники. Огонь, пылавший в комнате, освещал красноватым пламенем лица Кряжова и Обноскова; лица же Груни и Панютина казались еще бледнее от белого света лампы с матовым шаром. Кроме этого освещения наверху, в просвете потолка, виднелся какой-то угрюмый синевато-серый свет вечереющего дня.

Наконец чай был допит. Обносков простился с хозяевами, горячо пожал руку Груни и ушел. Через день он уезжал за границу...

— Павел,— позвал Кряжов воспитанника.

Тот подошел, молча потупив голову.

— Ты меня глубоко огорчаешь своим характером,— заговорил насколько мог строго старик, вообще не любивший и не умевший читать наставления.— Ты еще почти дитя; люди в этом возрасте должны быть мягкими, добрыми. Если они будут злы уже с этих лет, то что же выйдет из них после? Алексей, может быть, говорил такие вещи, которые могли тебе не нравиться, но нельзя же заставить других говорить только приятное нам и сверх того... сверх того...

Старика начинало смущать упорное молчание воспитанника, он тревожно потер себе лоб рукою.

— И вот,— начал снова Кряжов,— он же подошел к тебе с ласковым словом, а ты плечом-то дернул!.. Это нехорошо! Ты уже ради того должен бы быть с ним предупредительным, что он старше тебя, что он был твоим учителем. Он всех нас любит, ты это должен помнить и не отталкивать хорошего человека...

Панютин слушал с суровою покорностью речи путавшегося старика.

— Да, да, он и тебя любит,— вмешалась Груня.— Ты слышал, он сказал: я вам добра желаю. Зачем же ты не протянул руки, зачем продолжал дуться на него?

Молчавший в продолжение речей Кряжова Панютин теперь вдруг вспыхнул, как порох, услышав слова Груни.

— Да ты-то что за него заступаешься? — воскликнул он и бросил на нее сверкавший злобою взгляд.— Тебе-то он еще заплатит за это!..

Груня отвернулась.

— Оставь его, папа. Он сегодня не в духе,— проговорила она, обращаясь к отцу, и села к его ногам, придвинув маленькую скамейку.

Панютин, ворча что-то себе под нос, вышел из комнаты. «Лакеишки знают, что он подлец, а она не знает,— бормотал он в своей спальне, швыряя вещи.— Кухарки говорят, что он загубит ее век, а она сахарничает с ним. Все у них милые, добрые, а мне от последней судомойки житья нет!» Панютин толкнул ногою к столу первый попавшийся стул и с шумом опустился на него, облокотившись руками на стол и запустив пальцы в свои взъерошенные, косматые волосы. А в столовой, между тем, еще рассуждали отец и дочь.

— Боюсь я за Павла,— говорил в раздумье Кряжов.— И отчего это у него такой испорченный характер?

— Ничего, папа, он переменится, он умный,— утешала дочь.— Он только Алексея не любит, а ведь с нами он хорош, нас он любит...

— Любит ли,— это еще вопрос,— задумчиво промолвил Кряжов.

Груня вся зарумянилась, сама не зная почему, и почти шепотом, застенчиво, протяжно промолвила:

— Лю-бит!

Кряжов не обратил внимания на стыдливое выражение лица дочери, махнул рукою, как бы отстраняя опасения насчет судьбы воспитанника, и на другой день был по-прежнему приветлив с дорогими сердцу людьми. Груня и Панютин тоже были по-прежнему спокойны, читали вместе книги, радовались переезду в деревню и не разлучались ни на минуту друг с дру-

гом. Между ними царствовала примерная братская преданность, полная гармония, тихая нежность. Нередко Кряжов с восторгом смотрел, как из-за леса несся к его деревенскому дому легкий кабриолет, где сидела розовенькая от воздуха и быстрой езды Груня, не без страха прижавшаяся к своему молодому другу, у которого сверкали глаза каким-то ярким огнем дикой отваги и страсти...

— Пошли вам бог счастья, милые дети,— ласково говорил Кряжов, встречая их на балконе.

Груня звонко и без счету целовала отца, а Панютин с каким-то недетским, вызывающим улыбку выражением серьезности, крепко и мужественно пожимал руку старика, точно он был рыцарем этой девушки и хотел сказать своим ободряющим рукопожатием этому старику: «Не падай духом, старичина, я уж буду заботиться о ее счастьи!»

Смесь детства и мужества, братской любви и рыцарского обожания так и сквозили во всем существе некрасивого, но страстного юноши...

VII

Драма, которую вполне поймут ее герои только впоследствии

Каждое письмо Обноскова, присылавшееся из-за границы к Кряжову, кроме отчетов об ученых новостях, содержало в себе пространные приписки с вопросами о Груне, с поклонами ей. Деловая сторона этих писем с каждым разом все более и более возвышала мнение Кряжова об Обноскове, а теплые слова о Груне заставляли профессора все сильнее и сильнее любить юного ученого. Через год после разлуки Кряжов уже не иначе называл Алексея Алексеевича, как «нашим молодым другом», и постоянно беседовал о нем с Грунею, передавая ей содержание писем и в особенности приписок в письмах «нашего молодого друга». Старику непременно хотелось, чтобы дочь разделяла его восторг перед «нашим молодым другом». Однажды, во второй год пребывания Обноскова за границей, пришло от него од-

но письмо, отчасти встревожившее, отчасти обрадовавшее старика. Прочитав его два раза, старик бросил свои ученые занятия и долго ходил из угла в угол по своему кабинету, то потирая себе лоб рукою и ослабляя галстук, то тяжело вздыхая, то сладостно улыбаясь старческою улыбкой.

— А знаешь ли, голубка,— говорил он вечером, лаская Груню,— что пишет нам наш молодой друг?

— Нет, папа, не знаю,— простодушно покачала головой Груня.

— Не знаешь? — плутовато подмигнул отец.— Ну-ка, угадай!

— Право, придумать не могу...

— Наш молодой друг предлагает тебе свою руку,— торжественно объявил Кряжов и сделал такие испытующие глаза, как будто он действительно мог угадать, какое впечатление произведут эти слова на его дочь.

— Мне, папа, еще рано выходить замуж,— просто ответила дочь и прибавила: — мне так хорошо жить с тобою.

— Ну, голубка, вечно со мною нельзя жить,— заметил глубокомысленно отец.— Да я и стар, и слаб становлюсь. Ты не знаешь, а я чувствую, что мне уже недолго таскать ноги...

— Перестань, папа, что за мысли! — воскликнула дочь в волнении.— Не смей говорить о смерти! Слышишь, я не хочу этого слышать! — бросилась она целовать отца со слезами на глазах и улыбкой на губах.

— Ну, полно! — обнял ее отец.— Взволновалась ты... Ведь не сейчас же я умру. А что я старею́сь, так тут и удивляться нечему: нужно же когда-нибудь и костям дать покой... Таков закон природы, ласточка. Против него ничего не поделаешь... Да, да, голубка, а хорошо бы и мне еще внучат понянчить. Опять бы ребятишки вокруг меня завозились, ползали бы, как ты вот ползала... Славное это было время, Груня! Вспомнилось бы оно мне снова... Я чувствую, что ведь я помолодел бы; жизни мне на десять лет прибавилось бы... А то мы с тобою вот затворились совсем, детского смеха не слышим, день за день как в монастыре проводим... Это плохая жизнь. Нам оживиться надо, встрепенуться надо, чтобы около нас молодые силы кипели, чтобы твое бледненькое личико зарумянилось...

Старик оживился. Груня задумчиво слушала его и не говорила ни слова, в ее голове вертелись роковые слова отца: «Это мне на десять лет жизни прибавило бы».

— Но, может быть, ты его не любишь? — вдруг спросил Кряжов у дочери и снова взглянул на нее испытующими глазами.

— Я никого не люблю, папа,— бессознательно ответила она, не выходя из своего раздумья.

— Что это за ответ? — покачал головою отец.— Так ты и меня не любишь, не любишь и Павла?..

При последнем имени лицо Груни покрылось ярким румянцем. Ни она, ни старик не заметили этого.

— Полно, папа. Ты знаешь, что я вас всех люблю,— сказала как-то печально дочь.— Я не то хотела сказать... Я и Алексея люблю...

— Ну, вот видишь ли, ты и его любишь, а говоришь, что не любишь никого,— радостно поторопился перебить ее отец.

— Я не умею, папа, этого высказать тебе,— сделала нетерпеливый жест рукою Груня, досадуя на себя.— Но знаешь ли, я слышала... читала в книгах... что если человек любит кого-нибудь, то ночей не спит, думая все о милом, готов идти на край света, далеко-далеко,— показала рукой Груня куда-то вдаль,— рад душу отдать за милое существо...

— Ну, ну?

— Ну, а я об Алексее никогда так не думала...

— Это зависит от характера, от характера зависит,— заговорил отец.— Ты в меня... Мы с тобой сидни, люди с ленцой, тюфяки... Это уж натуры такие... Вот и я,— сам не знаю, как женился: не гадал, не думал и вдруг взял да и женился... А ведь я любил твою покойную мать... Право, любил!.. Славная она была женщина, добрая, честная!

Кряжов отер слезу, навернувшуюся на глаза, и смолк на минуту.

— Ведь вот, тебе и на балах скучно,— продолжал он,— а посмотри на других девушек, они ночей не спят, плачут, если им не удастся в собрании поплясать...

— Что ты это выдумал,— задумчиво улыбнулась Груня.— Кто же это станет мучиться из-за бала?

— Кто? Все, решительно все девушки, за исключением тебя,— утверждал отец.— Им все прыгать хо-

чется, болтать хочется, наряжаться хочется,— ну, а ты этого не любишь, потому что у тебя не такая подвижная натура... Ты более сосредоточенна, внутреннею жизнью живешь... Вот почему ты, голубка, ни о ком и не мечтаешь так страстно, не чувствуешь возможности уйти за кем-нибудь на край света.

— Кроме родных, кроме родных! — поспешила перебить Груня.

— Ну, голубка, и родные-то все твои — один я,— заметил отец.

— А Павел? — воскликнула девушка почти с негодованием на отца за то, что он забыл эту личность.— Ты не считаешь Павла родным?.. Но ведь я и за него, как за тебя, готова умереть,— да, да, умереть готова! — воскликнула она, и ее лицо снова запылало румянцем.

— Ну, конечно, конечно, добрая заступница! Ты знаешь, что я и сержусь на него, браню его, а не могу не любить его... Он мой приемный сын, твой брат... Я сам, может быть, менее любил бы тебя, если б ты не чувствовала привязанности к такому близкому нам обоим человеку... Жить вместе долгие годы, жить не разлучаясь, и не любить человека могут только черствые, недостойные уважения сердца... Ты, моя ласточка, не такова!..

Груня молчала и не начинала прерванного разговора об Обноскове. Отец вздохнул, видя ее потупленное, грустное лицо.

— Впрочем, голубка, ты не печалься,— заговорил он.— Я тебе не навязываю мужа насильно... Сохрани меня бог!.. Не выходи за Алексея, не выходи ни за кого, если не хочешь. Ты знаешь, ты мне не в тягость. Я не расстался бы с тобой, если бы ты и замуж вышла. Мы виделись бы каждый день... Да, да, непременно каждый день... Мы вместе бы нянчили детей, вместе бы радовались на их игры... Но не хочешь идти замуж,— не выходи! Проживем и так! Что же, ведь мне не привыкать стать жить в могиле своего кабинета, гнуть горб над книгами, не слышать юной зарождающейся жизни... Ведь и в прошлом только ты одна оживляла мой угол, развлекала меня детским лепетом во время отдыха,— тогда у меня был сплошной отдых, я не чувствовал, что у меня идет работа, я не уставал... Да, прошло это время,

и не вернуть его!.. Будем жить мирно, тихо тянуть день за днем, стариться и ждать могилы...

Груня молчала, опустив голову на грудь. По ее щекам струились одинокие слезинки.

— Ради бога, не печалься,— утешал ее опять отец, не замечая, что надрывал ей сердце.— Я не ропщу. Я спокоен. Видишь, я спокоен. Авось еще проживу, авось еще не скоро покину тебя. Ведь собственно обо мне и заботиться нечего. Моя жизнь прожита. Страшно мне только за тебя, как ты останешься одна после моей смерти никому не нужною девушкой!.. Ведь у тебя почти никого и знакомых-то нет... Да, надо тебе сближаться со светом, надо выезжать, рассеиваться... После будет поздно заводить знакомства, а без знакомых жить нельзя девушке-сироте.

— Папа, если бы я вышла за Алексея,— ты был бы счастлив? — задумчиво спросила дочь каким-то надорванным голосом.

— Дитя мое, зачем ты спрашиваешь? Я только тогда был бы счастлив, когда ты была бы счастлива...

— Ну, а ты думаешь, что я была бы счастлива с ним?

— Дитя мое, если ты его не любишь, то, разумеется, ты не будешь с ним счастлива... Но я вообще говорю о замужестве.

— Я еще никого не люблю из посторонних мужчин...

— Ну, значит, и оставим этот разговор, и оставим, будто его не было,— тяжело вздохнул отец.

Непривычное волнение утомило старика, и он ослабел. В его обрюзгшем лице было заметно какое-то болезненное выражение усталости. Это не ускользнуло от внимания дочери. Она поцеловала отца на прощанье перед сном. Ей показалось, что его поцелуй был холоден,— только *показалось*, но уже одно это могло доставить этому странному ребенку несколько часов бессонницы. Уединенная жизнь, ненормальное воспитание успели расстроить ее нервы и развить воображение. Кряжов же прошел в свой кабинет и заходил из угла в угол. Вспомнились ему светлые годы детства дочери. Вспоминалась кроткая фигура Алексея Обноскова и тут же промелькнули лица разных виденных им молодых хлыщей и фатов. Начались размышления о том, кто может скорее со-

ставить счастие его дочери,— эти ли блестящие, но пустые господа, или скромный, усидчивый, трудолюбивый домосед Обносков? Показалось старику, что этот человек напоминает его самого, Кряжова. И вот пошли думы о том, был ли он сам хорошим мужем. Совесть не подсказывала и не могла подсказать в этом случае ни одного упрека, напротив того, перед стариком ожила картина смерти его жены и послышались ему снова последние слова этой женщины: «Ты был счастием моей жизни!» Незабвенные, дорогие слова. Их повторила бы, может быть, и Груня, если бы она была женою Обноскова. Ведь и Груня любит только семейное затишье, ведь и она не будет счастлива с мужем-модником, гулякой, бальной куклой. А только таких мужей можно найти на всяком перекрестке. Обносковы редки... Так думал старик. Часы били двенадцать, час, два, три, шесть, а он все ходил и ходил по комнате. Наконец, он на что-то решился и сел писать отказ Обноскову. Взял бумагу, обмакнул перо в чернила и остановился...

— Бедный наш молодой друг, за что я тебя-то обижу резким отказом? — почти со слезами на глазах вздохнул старик.— Нет, подожду, подготовлю тебя к горькой новости... и если бы ты хоть меньше любил ее, меньше бы думал о ней! Все было бы легче... Эх, молодость, сколько ты горя приносишь и себе, и другим!..

И Кряжов стал писать Обноскову, что он еще не говорил дочери о его предложении, что он не хочет вдруг превратить ее из ребенка в невесту, что он ее подготовит к этой новости, что, может быть, и будет успех, хотя он, Кряжов, и не может ничего утверждать наверное, даже и предположений не решается делать, чтобы не обмануться, так как ведь все может случиться, все,— даже отказ... А день, между тем, занялся. Старик вечно проводил дни в спокойном сиденьи за книгами, а эту ночь он не спал и проходил в тревоге по комнате. Это отразилось на его физиономии. Дочь чуть не вскрикнула, увидав его обвисшее, тусклое лицо.

«Это начало смерти!» — промелькнуло в ее до болезненности впечатлительном уме, и опять ей вспомнились роковые слова отца: «Это мне на десять лет жизни прибавило бы».

От внимания отца тоже не ускользнуло, что дочь встревожена, и он удвоил свою нежность к ней. В этой нежности был какой-то грустный оттенок; казалось, старик спешил наглядеться в последние минуты жизни на свое обожаемое дитя. И вид старика-отца, и его ласки отозвались острою болью в сердце Груни. Она поспешила уйти в свою комнату, чтобы обдумать, обсудить все. Занятия отца шли плохо, и он раза три проходил по комнатам, надеясь встретить дочь. Но она не выходила из своей комнаты. Ему начало казаться, что Груня сердится и имеет право сердиться на него. Настал час обеда. Отец и дочь встретились в столовой.

— Маточка, ты не сердись на меня,— ласково и почти боязливо промолвил отец.— Забудь весь наш разговор и будем жить по-старому...

«А! значит, он все об этом думает!» — мелькнуло в голове дочери.

— Папа, папа, дай мне время подумать! — воскликнула она и расплакалась не на шутку.

— Полно, дитя, милая,— уговаривал отец, а у самого радостно билось сердце от обещания дочери «подумать» о замужестве.

Это слово подавало надежду.

С этого дня вопрос был почти решен: отец свободно хвалил Обноскова, чтобы задобрить в его пользу дочь и достигнуть исполнения взлелеянного им плана; дочь сознавала необходимость жертвы и даже уверяла себя, что она ничем не жертвует, так как Обносков ей нѐ гадок, а, напротив того, милее всех, решительно всех остальных посторонних мужчин, в число которых не входили только ее отец да Павел Панютин. Действительно, лучшей партии было трудно найти. Выходя замуж за Обноскова, Груня могла быть уверена, что ее прежний образ жизни не изменится. Будет в доме мужа то же затишье, то же спокойствие, будут там появляться те же лица, которые появлялись в доме ее отца, изредка, по-прежнему, они будут ездить в театр, читать какие-нибудь хорошие книги и безмятежно наслаждаться спокойствием и миром. Только одно отчасти пугало Груню — это слабое здоровье Обноскова. Но и тут она давала себе роль спасительницы и была уверена, что ее заботы и ее любовь сделают ее будущего мужа

и здоровым, и бодрым. Это казалось ей тем более возможным, что ее отец говорил, как и он в молодости был и слаб, и болезнен и стал здоровяком только на тридцатом году. Правда, ее любовь к Обноскову не была страстным чувством, но это была какая-то тихая, немного грустная приязнь. Груня, худенькая, бледная, с немного морщинистым лбом, как это бывает у болезненных детей, с большими, как-то вопросительно смотревшими, словно недоумевающими, глазами, была вполне ребенком, несмотря на свои лета. Ее развитие состояло только в кроткой любви, в понимании чужих страданий, которых ей приходилось видеть очень немного; но если бы ее оставить одну, без посторонней помощи и наставлений, то она, верно, не нашла бы себе исхода, не принялась бы ни за какое дело, и просто стала бы плакать и искать того доброго спасителя, под чье греющее крыло можно было бы приютиться ей, пугливой птичке. Жизнь за воротами ее дома представлялась ей точно такой же, какая шла в этом доме; разницу между своей и чужой жизнью она видела только в том, что у нее есть средства к такой мирной жизни, а другим приходится добывать средства к этой мирной жизни. Значит, главное различие было в количестве труда или денег. Это самостоятельно сложившееся понимание чужой жизни заставляло Груню при возможности помогать первому бедняку, просящему помощи, чтобы дать ему возможность наслаждаться таким же миром, каким наслаждалась она. Этот взгляд еще более укрепился в ней после нескольких уроков истории, прочитанных ей Обносковым. Она слышала от него, как такой-то народ наслаждался счастием под властью такого-то короля; как потом, под конец царствования этого короля, губительные войны разорили народ, и он стал несчастлив. Но новый король, вступив на престол, заключил мир, довел финансы до цветущего состояния, и народ снова стал счастлив, покуда, под конец царствования этого короля, не началась снова губительная война. Эти губительные войны в жизни народов казались Груне чем-то вроде болезней, смущающих иногда спокойствие семьи, и она понимала, что если болезнь кончится, то семейный кружок будет еще счастливее, еще теснее сомкнутся между собою его

члены. Множество вопросов возникало в ее головке по поводу разных известий, прочитанных в газетах, по поводу разных слухов, доходивших до нее. То она слышала про убийцу, убившего несколько человек, и ей казалось, что этот человек вел бы всегда свою мирную жизнь, если бы у него были деньги или труд, и, несмотря на свое добродушие, она жалела не убитых, а этого преступника. Иногда до нее доходили слухи, что муж кухарки, живущей в их доме, бьет свою жену, и ей казалось, что он делает это именно потому, что у них нет столько денег, чтобы жить вместе, а не служить по разным домам. Целый мир создан был Грунею, и неизвестно, насколько обитатели этого мира походили на Ванек и Анюток, мозолящих ноги на улицах больших городов и деревень, или на Пьеров и Жаннет, красующихся среди босоногой черни в своих бобрах и брюссельских кружевах. Груня была уверена, что она не ошибается, так как она на своем веку видела тоже немало людей. У разных родственников она видела кузин и кузенов, танцующих во время бала; видела горничных, приветливо и с искреннею любовью целующих ей руку; видела, как ее двоюродные тетушки заботливо составляют разные благотворительные общества и устраивают для бедных лотереи. На театре, правда, она видела иногда и злодеев, но когда опускался занавес, театр потрясали рукоплескания, то она видела, как вызванный публикой злодей превращался в улыбающегося и расшаркивающегося актера, прижимающего руку к своему сердцу в знак любви и благодарности к поощряющим его ближним, и Груня улыбалась, тяжелое впечатление, оставленное пьесой, исчезало, как сон. И потом, ночью, ей снилось, что злодеев нет в жизни, что злодеев только «играют» люди, добрые люди, похожие на ее старую няню, которая иногда так страшно басила, если приходилось в сказке говорить за бабу-Ягу. «Поваляются, покатаются на Ивашкиных косточках!» — чудится Груне в полусне басящий голос бабы-Яги, и Груня дрожит от страху, жмется к няне, а няня смеется так добродушно, по-детски или, лучше сказать, по-старчески смеется и тихо начинает баюкать Груню... Да! да! это не баба-Яга, а няня, добрая няня...

Такое просто сложившееся существо, как Груню, понимали все и звали ее птичкой-певуньей, невинным ребенком, мягким воском. Но никому и в голову не приходило, что если птичка поет, то она хочет, чтобы и все пело вокруг нее, чтобы и солнце светило над нею, чтобы и цветы цвели во всем мире; никто не думал, что невинный ребенок не вынесет без волнения чужих слез, хотя бы их проливал злодей, и скажет: «Надо помочь этому человеку: он плачет, значит, он несчастный». Никто не угадывал, что мягкий воск может отвердеть среди холодности и примет какую угодно форму под влиянием различных давлений со стороны...

К концу недели, решившей участь Груни, Кряжов повеселел: Груня дала свое согласие на предложение Обноскова... Настала суббота. Вечером пришел из гимназии Панютин. Они пили чай в столовой. Кряжов был весел, шутил, Груня, по большей части, молчала. Настала наконец пора идти спать.

— Останься здесь,— шепнула Груня Панютину.

Кряжов простился с «детьми» и ушел в свой кабинет. Груня проводила его и вернулась в столовую. В доме уже спали. Отворив дверь, Груня приостановилась на пороге, полузакрытая массивною темною портьерой. В полумраке большой комнаты Панютин едва был виден в глубине большого кресла Кряжова. Он задумчиво смотрел на огонь, облокотясь на ручку кресла и опустив на ладонь голову. Его некрасивое, но мужественное лицо было по обыкновению сурово и только едва можно было уловить в этой суровости оттенок грусти. На этой физиономии остались следы всего испытанного в жизни юношей. Грубость и боль от побоев в людской, где он провел первые годы своего существования; тоска однообразного безлюдного затишья в доме Кряжова; озлобление на тайные для всех нападки и щипки прислуги Кряжовых; злопамятное негодование на несправедливости учителей, все это не прошло бесследно над этой страстной и привыкшей к несообщительности натурой. Груня не переступала порога и, казалось, боялась начать задуманное ею самою объяснение. Наконец, должно быть соскучившись ждать, Панютин поднялся с места. Это заставило Груню войти.

— А, это ты,— промолвил он и пожал ее руку.

Они сели у камина. Бог знает почему, ни ей, ни ему не хотелось начинать разговора. Минуты проходили за минутами, и тишина не нарушалась.

— Холодно здесь,— вздрогнула Груня, прерывая тяжелое молчание.

— Такой уж проклятый дом,— угрюмо проговорил Панютин.

Груня, зная, что Павел не любит их старого дома, ничего не возразила и плотнее закуталась в платок. Через несколько минут Панютин встал, придвинул скамейку к креслу Груни и сел у ее ног. Он взял ее руки, начал их греть своими руками и потом прижал к ним губы.

— Меня отец замуж выдает,— проговорила она, не глядя на Панютина.

— Что? — спросил он быстро и выпустил ее руки.

— Меня отец замуж выдает за Алексея,— повторила она новость.

— Что ты это дразнить меня вздумала, что ли! — вскочил он с места и встал во весь рост перед нею.

— Дразнить?.. Тебя?.. Что это тебе пришло в голову, Павел? — просто спросила Груня и подняла на него глаза: он был бледен, как полотно.

— Дурак! старый дурак! — проворчал он и зашагал по комнате.

Шаги глухо отдавались в ночном затишье.

— Зачем ты бранишь отца! — упрекнула Груня.

— Погубят они тебя, совсем погубят! — воскликнул он, ходя по комнате и сжимая руки, так что было слышно, как хрустели пальцы.— И зачем ты идешь замуж, зачем соглашаешься!

— Отца убил бы мой отказ...

— Ну, так что ж? ну, так что ж? — строптиво спрашивал он, останавливаясь перед нею и смотря ей прямо в глаза.— А если ты погибнешь, это ничего?.. Молодая, хорошая, и погибнешь! — вдруг бросился он к ней и обвил ее рукою, присев на край широкого кресла. В его голосе слышалось и страстное чувство и рыдания.— Не выходи, любимая, не выходи за него... Ни за кого не выходи,— уже шепотом окончил он.

Груне было как-то страшно то странное чувство, которым было полно впервые в эту минуту все су-

щество Павла, но она чувствовала, что ей хорошо, отрадно сознавать близость этого энергичного человека, слышать его пламенные отрывистые восклицания, видеть эти сверкающие и гневом, и любовью глаза. Ее лицо горело, ей хотелось прижаться к губам этого юноши, покрыть поцелуями это лицо, и в первый раз в жизни ей было стыдно поцеловать этого друга детства, этого названого брата, которого она целовала так же, как и своего отца, при каждой встрече, при каждом прощанье, наедине и при всех. Точно так же новы были для Павла испытываемые им чувства. Он как будто опьянел; казалось, у него кто-то отнимает лучшую часть его существования, казалось, какой-то молот разбивает его сердце и все его надежды. Но какие же надежды разбивались у него? В чем заключалась его потеря? Ведь Груня не умрет, Груня будет по-прежнему его сестрою, по-прежнему будет обнимать его при встрече... Он сознавал все это, и все-таки его сердце и бушевало, и ныло.

— Если он сделает тебя несчастною, если я когда-нибудь замечу твои слезы или ты скажешь, что он заедает твою жизнь, я убью его,— шептал Павел, сжимая одной рукой талью Груни.

Огонь в камине давно уже погас, лампа едва горела. В неприветливой, мрачной комнате было темнее и холоднее обыкновенного. Груня жалась к Павлу, дрожа от холода и какого-то непонятного страха.

— Да будет проклята эта комната,— угрюмо произнес он, и эти слова мрачно зазвучали и как будто повторились в затишье большого покоя.— Здесь впервые мне сказали, что я нищий, подобранный в навозной яме; здесь от меня закрывали действительную жизнь этими архивными лохмотьями, архивным хламом и архивным сонливым добродушием, добродушием сытости; здесь мне отдали в сестры тебя, заперли меня в одну клетку с тобою, оставили мое сердце прирастать к твоему существу и здесь же оторвали, с кровью оторвали тебя от этого сердца.

Павел, неслышно рыдая, закрыл глаза руками и опустился на колени перед Груней... Вся в слезах, взволнованная, растерявшаяся, рассталась она с своим названым братом, едва смея, боясь угадывать и его, и свои настоящие чувства.

— Ведь он мой брат, ведь он еще дитя,— шептала она, забывая, что это дитя было только несколькими месяцами моложе ее.— Какие скверные у меня мысли. Ведь это грех нам так любить друг друга,— размышляла Груня.

Устроив свои дела по приезде в Петербург, Обносков женился. Решено было, что «молодые» будут покуда жить у Кряжова, который ради этого события не поехал в деревню, а нанял дачу в окрестностях Петербурга; после юная чета должна была переехать на новую квартиру вместе с матерью Обноскова. Расцеловав Груню, назвав ее тысячу раз ангелочком и душечкой, Марья Ивановна продолжала гостить у больного родственника и почти не заглядывала даже на Выборгскую сторону, где ее жильцы отдыхали в отсутствие хозяйки. Обносков тоже очень часто проводил время у постели дяди и возвращался к Кряжовым скорее как друг дома, чем как член семьи. Старая жизнь шла по-старому. Все не чувствовали никакой особенной перемены и успокоились, только старик ех-профессор сердился на своего Павла за то, что тот упорно отказался приехать на свадьбу Груни и остался в деревне, куда он уехал вскоре после возвращения Обноскова из-за границы. Иногда старик говорил, что Павел совсем от рук отбился; порой толковал Груне, что неприезд Павла на свадьбу ясно показал, как мало любит их Павел; подчас намекал на то, что вот Павел «других» (под этим словом подразумевался, вероятно, Обносков) упрекал за дурной характер, а сам-то оказался злопамятнее всех (тут, вероятно, был намек на ссору Павла с Обносковым). При всех этих рассуждениях Груня только бледнела и иногда, нахмурив брови, замечала старику, если они были вдвоем:

— Папа, за что ты стал нынче нападать на Павла?

— Ну, голубка, разве я нападаю? — смущался старик, как пойманный школьник.— Ведь ты знаешь, что я только тебя одну люблю больше, чем его. Мне просто обидно... что он нас бросил в такое время... А любить — я его люблю по-прежнему...

И между тем старик продолжал раздражаться при воспоминаниях о Павле: казалось, что ему не-

пременно нужно, чтобы именно Павел признал и достоинства Обноскова, и возможность счастья в новой жизни как для новобрачных, так и для самого Кряжова. И эти достоинства, и эта возможность счастья признавались всеми, и, кажется, никакого значения не могло иметь отсутствие одного человека среди жарких поцелуев этой вечно льстивой, вечно благодушествующей на чужих пирах толпы гостей, пророчащих блестящее будущее «молодым» и изливающихся в восторгах от красоты невесты и душевных добродетелей жениха. Между тем из всей этой массы народа тревожил семью один этот человек: он был той мрачной тучей на ясном небе, которая одна отравляет прогулку веселого общества, заставляя всех торопиться домой до начала грозы; он был единственным сомневающимся в массе верующих и выражением недоверия на своем лице смущал их благоговейные чувства, как живое доказательство возможности неверия.

VIII

Смерть старого Обноскова

Евграфу Александровичу становилось между тем заметно хуже. Однажды вечером, прощаясь с сыном на ночь, он успел украдкою шепнуть ему, чтобы сын пришел к нему в комнату утром в шесть часов и разбудил бы его, если он будет еще спать. Заботливые сестры, несмотря на свое усердное ухаживанье за больным, не заметили этого перешептыванья. Сын не спал почти всю ночь. Дня за четыре или за пять доктор сказал Матвею Ильичу, что больной не проживет и недели. Матвей Ильич сообщил об этом своему любимцу молодому барину, и оба дали об этом знать в Варшаву. Теперь юноше почему-то казалось, что отец непременно умрет завтра, и его мучила мысль, что мать не успеет приехать в Петербург вовремя. Ясное осеннее утро бросало свои лучи в комнату, где помещался Петр Евграфович, когда он взглянул на часы и начал торопливо одеваться. На цыпочках вошел он в комнату отца и подошел к по-

стели. Больной не спал. Он страшно быстро изменялся в последние дни и был крайне слаб, хотя старался более, чем когда-нибудь, быть бодрым и все толковал о скором своем выздоровлении.

— А, это ты, дитя,— ласково произнес он едва слышным голосом.— Садись... Вот так, ближе ко мне,— говорил он, лаская сына.— Вот мы и одни,— с детски-плутоватою улыбкою промолвил он, точно желая этим высказать, что они успели-таки перехитрить своих надзирательниц.

— Как тебе кажется, любит ли тебя Алексей? — спросил больной.

— Я... я, право, не знаю,— смешался сын.

— Не знаешь? — задумался больной.— Значит, не любит?

— Папа, я не могу этого сказать,— торопливо заметил сын.— Он просто не говорил еще со мною.

Больной промолчал.

— Я это знал... должен был знать,— произнес он, как бы рассуждая с самим собою.— Значит, я умно распорядился. Видишь ли, мне надо сообщить тебе одно важное дело... Возьми ключ, отомкни ящик моего стола и достань там пакет, на котором написан адрес твоей матери.

Сын повиновался и достал пакет.

— Передай это письмо матери, когда я умру,— сказал отец.— Я хотел сперва иначе распорядиться, но пришлось сделать так... Знаешь ли, когда написана бумага, лежащая в этом пакете? А?.. Пять лет тому назад... Мать это помнит... Я был тогда тоже болен... Но она не взяла в то время этого пакета...

— Отец,— начал сын дрожащим голосом,— зачем ты не позволяешь написать матери о твоем положении?

Больной испугался.

— Что ты! что ты, дитя! — воскликнул он.— Ты сам видишь, каково здесь смотрят на тебя... Тебя готовы унижать, готовы выгнать... Вообрази, что то же пришлось бы терпеть и матери. Еще больше пришлось бы ей терпеть... За что же заставлять ее страдать из-за меня?

— А ты думаешь, ей легче не видать тебя, не знать истины, приехать сюда, когда будет поздно? — спросил сын и смутился, сказав последние слова.—

Или ты, папа, все еще не веришь, что мы тебя больше всего, больше всего на свете любим!

— Ох, господи! — заметался больной.— Не верю! Я-то не верю!.. Да разве можно это говорить?.. Я просто сам такой слабый, ничтожный человек, что не могу... не могу понять, как бы я вынес на ее месте все то, что ждет ее здесь... Я не верю, не могу понять, что человек ради любви в силах перенести все... Ведь я иногда боюсь.

Больной вдруг остановился, и его взгляд принял какое-то отупевшее выражение. Сын испугался, хотя подобные внезапные перерывы умственной деятельности больного и повторялись нередко в последние дни.

— А? — вдруг спросил отец после тяжелого молчания.— Что ты сказал?

— Ничего, папа.

— Да, да,— потер больной свой лоб, вспоминая прерванный разговор.— Я вот, кажется, говорил, что я боюсь иногда, что ты, юноша, не вынесешь обращения с тобою моих родных... убежишь...

— Полно, отец! — сказал с упреком сын.— Что за странная мысль.

Через минуту он припал своим зарумянившимся лицом к груди отца.

— Я, папа, уже писал ей обо всем,— шепотом произнес он.

— Ну? ну? — насторожил уши отец.

На его лице выражались страх и надежда.

— И она приедет завтра или... или сегодня,— кончил сын, знавший, что мать приедет именно в этот едва начинавшийся день.

Отец захватил обеими слабыми руками его голову и покрыл ее поцелуями. Он и смеялся, и плакал, как дитя.

— Ты большой, ты умный,— бормотал он, стараясь шутить сквозь слезы.— Отец из ума выжил... Сын теперь всем распоряжается... знает, что́ отцу нужно. А то весь век отца под опекой держали... а он молчал... Под опекой!..— больной закашлял.

В это время в соседней комнате послышались торопливые, но осторожные шаги. Их едва можно было расслышать. Так вот кошки к своей добыче крадутся.

— Спрячь... спрячь... пакет спрячь! — тревожно и испуганно засуетился больной, продолжая кашлять.— Никто не должен знать!.. После смерти отдай... Никто...

Дверь в комнату тихо отворилась, и в нее просунулось озабоченное и улыбающееся заискивающей, сладкой улыбкой лицо Ольги Александровны. При виде юноши, сидящего на постели брата, сестра вытянула свое лицо до безобразия, и в ее глазах выразилось что-то похожее на вопрос: что же это такое значит? Ее подслеповатые, золотушные глаза заморгали от испуга и удивления.

— А вот мы с Петей беседуем,— усмехнулся брат, стараясь придать своему голосу выражение невинности.

— Что же это вы так рано его подняли? Братцу сон нужен,— заметила Ольга Александровна юноше с упреком.

— Нет... я по... позвонил... он и пришел,— поспешил солгать брат.— Я давно не сплю... так соскучился.

— Ах, боже мой, как же это я не слыхала? Вы звонили? Ах, господи, вот уж захочет бог наказать, так сон нашлет! — ужасалась сестра и бросила зловещий взгляд на юношу, но он совершенно спокойно продолжал сидеть на постели отца и, кажется, был бы рад, стал бы гордиться, если бы ему пришлось долго-долго сидеть подле этого слабого, бесхарактерного старика и чувствовать, что он служит утешением и защитой для этой угасающей жизни. Как мелки и пошлы начинали казаться ему все эти своекорыстные люди, а в его душе шевелилось сознание, что истинно счастлив и достоин зависти только тот, кто мог в своей жизни сказать: «Мне удалось озарить блаженством жизнь хотя одного человека в мире!» Вот честная гордость, вот никогда не забываемое наслаждение человеческой души. Прошумит гул вызванных нами рукоплесканий, и сменится он новыми, обидными для нашего мелкого самолюбия, хвалебными криками в честь другого, опередившего нас героя минуты; кончатся наши веселые пиры юношеских лет, и оставят они в наследство одни болезни, да зависть к тем, еще здоровым людям, которые еще могут пировать; окончатся опьяняющие нас победы

над врагами, и останутся нам в память о них наводящие грусть и, может быть, вызывающие раскаяние вражеские могилы, но минуты, когда мы были нужнее хлеба человеку, когда мы одни во всем мире заставляли его забывать все страдания, когда мы создавали, наперекор всем людям и самой судьбе, его счастье, которого не могла отнять никакая сила, эти минуты будут для нас вечной отрадой, вечным источником силы к жизни. Вот что сознавал этот юноша и чувствовал все это так, как можно чувствовать что-нибудь только в невозвратные дни светлой восторженной молодости.

Праздничное чувство счастия наполняло в этот день все его существо. Он не замечал никаких колкостей, щедро расточавшихся на его счет со стороны хозяек дома. Он не замечал холодности Алексея Алексеевича Обноскова, и только каждый звонок в передней заставлял его вздрагивать и заглядывать в прихожую, чтобы узнать, кто приехал. Это необычайно тревожное состояние мальчика и самого больного, постоянно посылавшего своего сына посмотреть, не приехал ли кто-нибудь, не ускользнуло от внимания заботливых хозяек, и они встревожились не на шутку. Им представилось, что братцу очень худо и что братец дал какое-то поручение сыну. Но какое? Этого не могли они угадать и только с ужасом говорили мысленно: «Господи, не вздумал ли он написать духовную!» Это предположение переходило почти в уверенность, и сестры, крестясь и бросая молящие взоры на образ спасителя, шептали пламенную молитву: «Не попусти, господи, его сделать это дело. Отврати от него эти мысли». За этою молитвою следовало восклицание: «Уж лучше пусть он умрет прежде, чем исполнит это несправедливое дело!»

Они с нетерпением ждали доктора. Наконец доктор явился.

Поминутно отирая глаза и слезливо сморкаясь, окружили доктора две сестры и мать Алексея Алексеевича Обноскова и пустились в расспросы о положении братца. Доктор был человек мягкий и не мог без волнения видеть слез женщин.

— Ничего, ничего,— говорил он,— ваш брат слаб, очень слаб, но, бог даст, он поправится... Вы не отчаивайтесь, не расстраивайте себя... Все зависит от бога.

— Господи, нас убьет, убьет его смерть! — плакали сестры.— Ведь мы всё с ним теряем, доктор!.. Единственного защитника и покровителя теряем...

— Берегите себя, ради бога, берегите,— успокаивал их доктор.— Вам надо теперь сохранять присутствие духа, крепиться...

В волнении вышел он от них и подозвал к себе Петра Евграфовича.

— Вы здесь гостите,— начал доктор,— значит, вы можете понемногу подготовить несчастных сестер больного к ожидающей их потере. У меня нет сил высказать им правду... Они такие любящие, слабые созданья. Вы, как посторонний человек, как мужчина, разумеется, хладнокровно перенесете, если что-нибудь случится.

— Разве моему... разве ему,— растерялся юноша,— так худо?

— Разумеется, он едва ли проживет до вечера,— проговорил доктор и удивился, что мальчик зарыдал.

— Помилуйте, что с вами? Не стыдно ли быть таким слабым? Вы мужчина,— говорил доктор, почти сердясь.— Что ж остается делать этим бедным созданиям, теряющим в брате все свое счастье, если посторонние теряют голову? Это нехорошо. Вы должны быть тверды. Еще в студенты готовитесь, а плачете, как баба! Нашему брату надо поддерживать слабых женщин, а не рюмить...

Доктор, раздраженный слабостью Петра Евграфовича, ушел. Нетерпению юноши теперь не было границ. День был осенний, яркий, солнце освещало все комнаты золотым светом своих лучей. В растворенные окна залы плыл свежий воздух, уничтожавший запах лекарств, которым была пропитана квартира. Юноша долго стоял у окна и все ждал. Каждый звук колес заставлял сильнее биться его сердце. Наконец, к подъезду подъехала наемная коляска. В ней сидела черноволосая женщина, лет тридцати семи, довольно стройная, моложавая и красивая собой. Тип лица был характерный, не русский. Она с озабоченным видом взглянула на окна дома и вдруг улыбнулась радостной улыбкой, увидав юношу. Он послал ей рукою поцелуй и бросился к дверям передней, потом с быстротою молнии переменил намерение и побежал к больному. Несмотря на все его

старания, он не мог войти тихо в эту комнату, не мог сохранить спокойного выражения на своем лице; оно было взволновано, его ноги дрожали. Больной торопливо приподнялся на локте в своей постели и, почти задыхаясь, крикнул сыну:

— Веди, веди ее сюда! — и в изнеможении опустился на подушку.

Сын исчез. Обнимая мать и целуя ей то руку, то щеку, вел он ее в кабинет отца, спрашивал ее о здоровье, объяснял, что он кончил экзамены, говорил, что отцу лучше. Это был какой-то хаос отрывочных мыслей, восклицаний, торопливого выражения заботливости, радости и счастья. Они вошли в комнату Евграфа Александровича. При их неожиданном появлении из груди двух сестер и Марьи Ивановны вырвалось только единодушное:

— Ах!

В этом восклицании послышался ужас. Три женщины вскочили с мест и, как бы окаменев, устремили неподвижные глаза на неожиданную гостью. Она не обратила внимания на эту немую, но красноречивую сцену.

— Милый, милый! — целовала она через минуту больного человека.— Не стыдно ли хворать и не написать даже о болезни?

— Да я... я поправляюсь,— шептал больной.— Я совсем здоров... слабость только... Право, только слабость... Ну, а что дети?.. Таня выросла, поправилась?.. Любимая, дай руку... Вот так... Да тебе неловко, может быть?.. Ну, вот я теперь и дома, и здоров...

— Братец, не говорите так много, вам вредно,— подбежала Ольга Александровна с умоляющим взглядом.

Она уже вышла из оцепенения и усиленно моргала глазами.

— Оставьте нас одних с женою,— обернул больной голову к сестрам.— Слышите?

В его голосе звучали строгость и решительность. В присутствии этой любимой женщины он постоянно овладевал собою и был тверд.

— Братец, вам может что-нибудь понадобиться,— начали сестры.

— Оставьте меня с женою... оставьте меня с сыном...— настойчиво повторил больной.

— Но *они* не знают... если что-нибудь понадобится,— попробовали возразить сестры, указав на Стефанию Высоцкую.

— Я вам выйти приказываю,— почти крикнул больной.

Сестры и мать Обноскова вышли с глубокими вздохами и покорностью угнетенных мучениц. В комнате больного начались живые разговоры, но он сам заметно ослабел после необычайного напряжения сил. Он больше слушал, чем говорил, и только улыбался, да притягивал к губам руку жены.

— Вот мы и в своей семье, дома,— рассмеялся он через несколько времени детским смехом, но улыбка его вышла какая-то странная, губы как-то сухо растянулись около зубов.— Бог с ними... с сестрами... Не обращайте на них внимания... На случай смерти...

— Не станем, милый, говорить о смерти, теперь жить надо,— прервала его жена.

— Жить надо... жить надо! — машинально повторил больной.— Я и жи-ву... жи-ву вполне...

Он помолчал довольно долгое время, находясь в забытье и слегка как бы бессознательно покашливая...

— Вот жена... вот сын... благослови вас бо-г!..— голос больного был тверд и ясен, но слова выходили из груди с расстановкою, медленно. В звуках было что-то сухое, резкое. Лицо его сохраняло еще выражение счастия и спокойствия, но приняло какой-то матовый, землянистый оттенок. В горле слышалась легкая хрипота, и глаза неподвижно глядели куда-то вдаль, точно им не составляла преграды противоположная стена. Через несколько минут грудь больного высоко приподнялась и, сделав гримасу верхней губой как бы от непосильного напряжения, он вытянулся, словно желая поправиться и принять более удобное положение. А его глаза все по-прежнему продолжали смотреть куда-то в неизвестную даль. Мать и сын переглянулись в испуге. Сын чувствовал, как начинала холодеть в его руке рука отца. Мать сделала движение; сын приложил палец к своим губам и тихо прошептал:

— Тсс!

В комнате можно было расслышать малейший шум. Тишина была полная. Опустив на грудь голову, сидела на постели стройная, еще прекрасная женщина с неподвижным, полным скорби лицом. Около нее стоял с поникшей головой задумавшийся юноша, и перед ними лежало холодное, успокоившееся навсегда человеческое существо. Сквозь белые опущенные шторы пробивался беловатый блеск яркого дня и играл по стенам комнаты какими-то бесформенными, смутными и неуловимыми пятнами света и тени. Минуты шли за минутами, и маятник столовых часов, словно сознавая, что он остался единственным живым существом в этой комнате, стучал громче обыкновенного, отчетливо и громко выбивая свое тик-так.

— Не надо ли чего братцу? — смутила это затишье своим ехидно-вкрадчивым вопросом Ольга Александровна, просунув в двери свое желтоватое, золотушное лицо и делая томные, чарующие глазки.

— Ему... ему больше ничего не надо! — воскликнула, поднимаясь с места, Стефания Высоцкая и зарыдала.

Слезы уже давно сдавливали ее грудь, теперь они хлынули при первом произнесенном ею слове.

— Матушка, матушка, не плачьте,— проговорил сын, едва сдерживая свои собственные рыдания, а у самого по щекам так и лились крупные, горячие слезы.— Простимтесь с ним и пойдемте.

— Братец, братец! — крикнули сестры и Марья Ивановна.

— Братец, голубчик, кормилец наш, пробудися! — тормошили они на постели застывающий труп, и было что-то страшное в его угловатых движениях.

— Вы, вы его убили! Губители! Убийцы! — пронзительно взвизгнула Ольга Александровна, обращаясь с яростными взглядами и сжатыми кулаками к плачущей подруге и жене покойника.

— Как вы смеете! — начал с негодованием юноша, становясь между обезображенною от ярости мегерой и огорченною матерью; но мать, услышав строптивый гнев в голосе сына, удержала его за руку.

— Дитя мое, здесь не место оскорбляться и оскорблять других,— строго прошептала она, так что эти слова слышал только он.

Даже не взглянув на сестер бывшего хозяина квартиры, она поцеловала покойника и вышла под руку с сыном из дома.

— Вон, вон из нашего дома! Развратница, развратница! — бесновалась, теребя свои жидкие желтые волосы, Ольга Александровна и потом снова припадала к трупу брата и тормошила его, впиваясь своими тонкими губами в губы мертвеца.— Братец, братец, убийцы твои твой последний вздох приняли. Не родные руки твои глаза закрыли.

— Тетушка, нужно за полицией послать, опечатать имущество,— проговорил Алексей Алексеевич, являясь в комнату покойника.

— Батюшка, зачем! родной наш, зачем! Никому-то теперь до нас дела нет! — метались тетки в каком-то диком отчаянии, раскачивая головами из стороны в сторону.

— Это необходимо, чтобы после историй не вышло,— объяснял племянник.— Может, у дяди долги есть...

— Какие у братца долги? На чистоту жил, голубчик... другим еще давал... Ой, ой, ой, не стало его у нас, родимого.

— Да мало ли что может случиться... Наследников будут вызывать...

— Все налицо, все налицо! Сироты горемычные! — зарыдали тетки.

— Эх, вы совсем потерялись,— махнул рукой Алексей Алексеевич.

— Да что ты с ними говоришь, батюшка? Распоряжайся, вот и конец весь,— проговорила мать Обноскова.— Ведь надо же имение привести в ясность, чтобы после споров не вышло.

— Конечно! Об этом же и я думал,— сказал Алексей Алексеевич и послал за полицией.

Труп между тем стащили на простыне на пол, и началось омывание...

— Постойте, постойте, колечко надо снять с руки братца... Еще обокрадут тебя, родимого... Ох, голубчик, голубчик ты наш! — рыдала Ольга Александровна, снимая с застывшей руки брата кольцо с брильянтом.

IX

Перед гробом ближнего

Только вступив в свое жилище, почувствовала Стефания Высоцкая вполне, как велика ее потеря. Весь вечер пролежала она на диване, то плача, то сожалея о том, что другие дети не успеют приехать к его похоронам. На следующий день сын обратился к матери с озабоченным лицом.

— Матушка, ты поедешь туда? — спросил он нерешительно.

— Разумеется,— ответила она.

Сын поцеловал мать, как будто благодаря ее за что-то. И он, и она понимали, что им может встретиться еще много мелких огорчений в том доме, где лежал дорогой для них труп.

В квартире покойного уже шла панихида, когда в ней появились Высоцкие. В комнате начался едва заметный шепот.

— Какова смелость! Вот бесстыдство-то! — волновались девственницы-сестры покойника и мать молодого Обноскова.

— Бедный братец, как его позорят. И после смерти не дают покою, на глаза людям выставляют его грех!

Стефания Высоцкая, стоя на коленях, не замечала ничего и тихо молилась. Но сын, стоя около нее на страже как отважный защитник, все видел, все слышал. В нем кипела кровь, лицо горело ярким румянцем негодования. Святое чувство скорби о смерти отца было нарушено, вытеснено на время грубыми людьми из его сердца.

— Не могу, не могу не высказать! — воскликнула Ольга Александровна, вечное запевало в семейном хоре, и подошла сзади к юноше, дернув его за рукав.

Он обернулся. Панихида уже кончилась.

— Идите сюда,— позвала его Ольга Александровна.

Он пошел за нею.

— Я очень хорошо знаю... Я очень хорошо знаю, что вы лишились всего, что братец кормил, поил и одевал вас,— заговорила она скороговоркою.— Но вы

должны сказать своей матери, что ей неприлично здесь быть и плакать при народе. Наша семья всегда, всегда была честною, и если братец сделал ошибку, то он за нее отстрадал, видит бог, отстрадал, и стыдно позорить его перед людьми, стыдно показывать всем, что он ошибался в жизни...

— Я вас не понимаю,— пожал плечами юноша.— Что вы хотите сказать?

— А то, что ваша мать не должна появляться в нашем доме.

— Моя мать и не будет появляться в нем, когда отсюда вынесут тело моего отца,— серьезно ответил юноша.

— Фью! Нет-с! Ее и теперь не велят впускать сюда. К нам ездят такие люди, к брату ездят графы Струговы, княгиня Валунова, которые не привыкли стоять на одной доске с подобными женщинами.

Юноша вспыхнул.

— Не смейте бранить мою мать! — почти крикнул он, дрожа от гнева, и почувствовал, что чья-то рука кротко прикоснулась к его плечу.

— Друг мой, полно,— произнес тихий голос над его ухом.— Запретить посещать покойника никто не решится, у христиан принято впускать всех в дом, где лежит покойник, и если сюда могут войти нищие, то можем войти и мы.

В этих словах Высоцкой звучало выражение такого холодного пренебрежения к хозяйкам дома, что не понять его могли только они одни. Их взбесило еще более то обстоятельство, что Высоцкая, не обращая внимания на них, готовилась уйти с сыном.

— Нищие, нищие! Так они не позорят покойника, а вы его позорите! — крикнула Ольга Александровна, обращаясь к Стефании Высоцкой.

— Какое у вас черствое сердце! — произнесла та невозмутимым тоном.

Высоцкая смотрела на родственниц покойника скорее с чувством сострадания и сожаления, чем с негодованием; казалось, что она стояла настолько выше этих женщин, что ни один комок грязи, брошенный ими, не мог долететь до нее.

— Тетушка, оставьте их,— проговорил Алексей Алексеевич Обносков, подходя к группе родственников.

— Не могу, голубчик, не могу! Позора братца не могу видеть!..

— Что сделано, того не воротить,— кончил племянник наставительным тоном.— Я вполне понимаю, что вам тяжело,— обратился он исключительно к Стефании Высоцкой.— Вы потеряли в дяде все. Я не могу вас содержать на свой счет...

— Ах, батюшка, да они этого и требовать не могут,— перебила его Ольга Александровна, но племянник не обратил на нее внимания и продолжал свою речь:

— Теперь вам придется жить одним *честным* трудом,— сказал он, подчеркнув слово «честный».— Бог поможет вам идти по этой дороге... Если у вас не станет средств воспитывать детей, то я готов за них платить в училища, сколько могу, разумеется...

— Ангел, ангел! — воскликнула Вера Александровна, склонная к восторженности, но племянник не обратил внимания и на нее.

— По закону вы не имеете никаких прав на какую-нибудь часть из имения дяди,— говорил он, попрежнему обращаясь к Стефании и стараясь не глядеть на ее сына.— Но я считаю своим долгом помогать его детям, насколько буду в силах.

— Благодарю вас. Но я от вас ничего не требую,— сказала Высоцкая, удивленная настойчивым желанием Обноскова покровительствовать ей.— Как бы тяжело ни было мое положение, я его перенесу, и вы можете быть покойны, что моя нога не будет в этом доме после похорон вашего дяди. Но теперь не время толковать о наших личных делах...

Обносков пожал плечами.

— Толковать о делах всегда время,— заметил он тихо.— И вы совершенно напрасно даете обещание не посещать нас. Вы еще не знаете, что такое нужда и труд, и пренебрегать моим предложением не следует. Я не желаю, чтобы дети *моего* дяди выросли неучами.

— Не заботьтесь о них, не заботьтесь обо мне и оставьте нас в покое,— твердо произнесла Высоцкая.— Я не прошу ни ваших черствых наставлений, ни вашего холодного покровительства.

— Согласитесь сами, что у меня нет никакой причины нежничать,— усмехнулся Обносков, сощурив насмешливо глаза.

— О, я у вас даже и этого не прошу! — с презрением вымолвила Высоцкая; на Обноскова она смотрела совершенно не так, как на его теток. Он не казался ей жалким, а был просто гадок.

— Но мне будет очень жаль, если вы станете пренебрегать воспитанием детей *моего* дяди,— повторил Обносков, снова делая ударение на словах, как будто желая внушить Высоцкой, что он хлопочет не о *ее* детях, но именно о детях *своего* дяди.— Конечно, я тут посторонний человек. Я не имею никаких прав заботиться о них насильно, против вашего желания. Но, повинуясь последней воле дяди, я сделал это предложение; вы его не принимаете, тут не моя вина. Но помните, что я буду готов помогать вам, если вы попросите помощи. А перед тем, что будет, я умываю руки.

— С этого вы могли начать,— проговорила молодая женщина и, поклонившись нежным родственникам покойника, вышла под руку с сыном.

— Какова? Какова? Она же еще и нос поднимает! — разразились громом восклицаний родственницы.— Ты ангел, Леня, ангел! — восхищались они племянником.

— У-у! У меня так вот и кипело, так вот и кипело в груди,— говорила Ольга Александровна.— Так вот и хотелось ее отделать! Ты ей благодетельствовать хочешь, а она голову вздергивает! Терпелив ты, голубчик, право, терпелив!

—Что же, тетушка, горячиться из-за пустяков? — промолвил племянник.— Право, все эти сцены не нужны. Я поступаю законно, и мне совершенно все равно, как смотрит она на это дело. Она, вероятно, думала, что ей достанется все имение дяди, но ведь я не виноват, что она не имеет на это права.

— Уж ты умник у нас! — воскликнула Вера Александровна.

— Пожалуйста, не делайте никаких сцен, если она будет являться в эти дни на панихиды,— заметил Обносков.— Это ни к чему не поведет. Только лишние волнения выходят.

— Миротворец, миротворец! — пришли в умиление тетки.— Вот к кому послала бы она сына учиться кротости. Руки бы твои целовать заставила, чтобы ты его от гордости-то вылечил, на добрый путь наста-

вил бы. А то, гляди, как голову поднимает полячишка. Земли под собой не чает! Ведь ты, Леня, не все видел, что мы от этого негодяя полячонка натерпелись. Ведь он барина из себя такого ломал, что проходу нам не было... Слава богу, что он не нашу фамилию носит, нашего имени не позорит... Уж дойти ему до беды... Повесят его, как пить дадут! Да!.. Видно, мало их перевешали... Братца только не хотелось огорчать, так всё терпели, всё терпели... Вот теперь без всего остались, на одного тебя, голубчика нашего, вся надежда,— зарыдали тетки.

— Полноте, ради бога, не плачьте! — холодно уговаривал их племянник.— Ну что же, кое-как достанет средств жить. Вот приведем все имение в известность, разделим...

— Не обидь, голубчик, сирот беззащитных! — молила Вера Александровна.

— Тетушка, как вам не стыдно,— вяло упрекнул Обносков.— Разве я могу утаить хоть грош, который следует отдать по закону другим?

— Кормилец, заступник наш! — воскликнула тетка Ольга Александровна.

— Однако я сильно утомился,— заметил Алексей Алексеевич, зевая.

— Отдохни, голубчик, отдохни! — засуетились тетки и повели племянника в другую комнату, приловчили ему подушку на диване и уложили его отдыхать.

— Вот колокольчик, позвони, если понадобится,— говорили они, заботливо ухаживая около Обноскова, гордости их семьи.

Обносков закрыл глаза и сделал вид, что желает уснуть. Тетки и его мать на цыпочках вышли в другую комнату.

— Расходы-то какие теперь. Народу-то что набирается,— совещались они между собою.

— Надо бы, сестрица,— говорила Марья Ивановна, почему-то начинавшая царить в доме, где она сперва старалась стушеваться и считала себя гостьею,— надо бы Матвея Ильича из дому уволить. Не надежен он мне кажется. Не стащил бы чего в суматохе.

— Пусть идет к своему Петру Евграфовичу,— воскликнула Ольга Александровна с злобной иронией,— он же его так уважал!

— Да уж, нечего сказать, человечек! — негодовала мать Алексея Алексеевича.— Не вы ли его кормили, поили? С детства ведь у вашего батюшки еще служил, а что вышло? — чужим угождать стал. Уж правду говорят, как волка ни корми, а он все в лес глядит. И то сказать, свой своему поневоле брат, благородным людям неприятности делал, а этим... прости господи, угождал!..

Марья Ивановна, должно быть, мысленно употребила какое-нибудь очень крепкое словцо и потому попросила прощения у бога за этот грех.

Матвея Ильича, между тем, призвали и с бранью объявили ему, что он может идти на все четыре стороны. Старик не сказал ни слова, ушел в свою каморку, связал в узелок свое мелкое имущество и с этим узелком и палкою в руках вошел в комнату, где лежал покойник. Безмолвно опустился старик на колени, тихо положил три земные поклона, медленно поднялся своим старым телом с пола, поцеловал в холодные губы мертвого барина и тихо, без слез, без упреков, вышел из дома, где он провел долгие годы, перенес тяжкие обиды, утратил здоровье в труде и бессонных ночах, домыкался до бессилья, до старости и откуда теперь выходил бессемейным, одиноким, искалеченным и никому не нужным стариком... Это был дворовый, не имеющий угла, дворовый калека, который, как на смех, не умер под ударами подлой судьбы и дострадал до поздней воли. Пес, стороживший двор, ослеп, оглох от побоев, и его выгоняли из дома, чтобы не кормить его даром... Если бы мертвецы чувствовали, что происходит вокруг них, то, может быть, именно эта безмолвная сцена прощанья прогоняемого из дома старого слуги больнее всего отозвалась бы в сердце Евграфа Александровича: ведь он был таким нежным, любящим существом.

— Куда же выписать вас и чемодан ваш отправить? — спросил старика дворник, качая головой при виде этой дряхлой фигуры.— Где вы жить-то будете, Матвей Ильич?

— У моей барыни, у Стефании Станиславовны Высоцкой,— гордо ответил старик.

Если бы можно было в настоящее время человеку сделаться крепостным, то Матвей Ильич, кажется, сейчас бы закрепил себя, вступая в дом обожаемой им семьи.

Надломленная, измученная Стефания Высоцкая возвратилась домой со своим сыном в совершенном безмолвии; в эти два дня она еще впервые вспомнила о своих материальных средствах и вспомнила о них только потому, что ее на эту мысль навели другие. Горе было слишком велико, чтобы думать о будущем, сводить денежные счеты. Но теперь она очнулась и увидала, что она стоит на краю пропасти. До сих пор ее жизнь текла мирно и хорошо. У нее было всегда довольно средств к жизни. Ей пришлось получить через год после смерти матери кой-какие деньги. Евграф Александрович тоже вносил в свою семью немалую помощь. Она экономничала, как умела, обшивала своих детей сама, учила их первым началам наук тоже сама и могла сказать с чистой совестью, что она была хорошею женою, хорошею матерью и не ела даром чужого куска хлеба. Мало или, лучше сказать, совсем не ценится работа женщины как хозяйки — экономки, как матери — воспитательницы детей,— но это тоже работа, требующая платы. Если муж приносит известное количество рублей, то на них немного приобрел бы он, если бы ему пришлось платить за труд экономке, за шитье детского белья швее, за первоначальное обучение детей гувернантке. Женщина, исполняющая все это честно в доме мужа, может сказать, что она не ест его хлеба, а живет на свой счет. Не вполне еще ясно это для всех, но в жизни встречаются семейства, где сознается и мужем, и женою их равноправность по приносимой ими пользе. Такою семьею была семья покойного Обноскова. Этот слабый по характеру, лишенный силы воли человек был добрым семьянином, хорошим мужем, честным отцом. Он занимал сперва значительное место вице-директора в одном департаменте, потом перешел в качестве директора в одну из акционерных компаний. Его средства с каждым годом делались все более и более, так что Высоцкая имела бы возможность скопить коечто. Но она была на это неспособна. Евграф Александрович совершенно справедливо называл ее дом «комиссиею для вспомоществования пострадавшим». Действительно, у нее постоянно шли сборы то на пользу какого-нибудь человека, принужденного ехать куда-нибудь за тридесять земель не по своей воле, то в пользу какого-нибудь неизвестно где погибшего

смельчака. Она вечно за кого-нибудь хлопотала, кого-нибудь определяла в училища, что-нибудь устраивала. Ее подвижная до крайности натура требовала деятельности, и никто не удивлялся, когда Стефании Высоцкой приходилось даже уезжать из Петербурга не по своим делам. Но не всегда работала она на помощь ближним; случалось ей с таким же веселым смехом, с такою же энергиею работать и на гибель людей. Какой-нибудь господин, загрубелый во взяточничестве и кляузах, бывало, наделает каких-нибудь подлостей в деле тех лиц, о которых заботилась Высоцкая, и она начинает подтачиваться под этого господина. Все возможные средства пускались ею в ход для достижения цели. В этих случаях большую пользу приносили важные друзья Евграфа Александровича, к которым Стефания обращалась с подобными просьбами об изгнании из службы мерзавцев и у которых зато никогда не просила денежной помощи для своих protégés... Теперь Евграфа Александровича не стало, и Высоцкая осталась почти безо всего; она могла просуществовать год или полтора, но не более. Она часто просила без всякой застенчивости для бедняков, но никогда не попросила бы она помощи для себя. Теперь приходилось работать из-за куска хлеба, копить и рассчитывать каждый грош и все-таки терпеть нужду, не иметь средств дать хорошее образование остальным детям. От деятельности, составлявшей всю цель жизни Высоцкой, приходилось отказаться совсем, заботиться о разных погибающих, собирать на них деньги можно было только тогда, когда у самой Стефании были средства: теперь она не решилась бы делать сборы, потому что и самые честные люди могут быть заподозрены в бесчестности, если они бедны. И сами эти люди становятся страшно щекотливы и отстраняют от себя всякие занятия, при которых их можно заподозрить в чем-нибудь дурном. Путь, на котором Стефания находила защиту для погибающих и отпор губящим, тоже закрывался со смертию Евграфа Александровича. Графы Струговы, князья Валуновы, из которых последний был женат на польке, делали все для своего покойного друга и оказывали глубочайшую симпатию и даже уважение Высоцкой, но теперь ведь и они откажутся от нее. Она еще боялась сообщить сыну о их общем положении, когда к ней вошел Матвей Ильич.

— А я к вам, матушка-барыня, служить пришел,— промолвил он с поклоном.— Не прогоните старика!

— Полноте, Матвей Ильич, живите у меня,— проговорила с болезненной улыбкой Высоцкая, глядя на эту живую развалину преданного слуги.— Живите, покуда у нас будут средства.

Старик покачал головой.

— Ох-хо-хо! Плохие времена пришли, матушка-барыня! — заговорил он.— Добрый был барин Евграф Александрович, только характеру у них не было. Сколько раз я ему говорил, чтобы сделал распоряжение, так нет! Осéтили его эти чертовки (не в этом раю будь сказано), вот и оставил семью ни при чем!

— Не грешите, Матвей Ильич! Покойников грех бранить,— серьезно заметила Стефания Высоцкая и испугалась своих невольно сказанных слов, вспомнив, что за несколько минут пред тем в ее уме тоже промелькнул горький упрек любимому человеку.— Перебьемся как-нибудь, все пойдет хорошо,— говорила она.— Я работать стану.

— Работать! Матушка-барыня, много ли нонче работой-то наживете!? — говорил старик, качая головой в раздумье.— У вас дети, за ними присмотреть надо. Где тут работать?

Стефания вздрогнула.

— Тяжело мне, Матвей Ильич; с силами я еще не собралась... После все обдумаю.

— Матушка, разве наше положение так нехорошо? — спросил сын, с участием заглядывая в глаза матери.

— Дитя, мы нищими можем скоро сделаться! — заплакала мать.

— Господи! Что же мы станем делать? — воскликнул он, обнимая мать, и стал ее утешать: — Не плачь, милая! Все пойдет отлично, я уроки буду давать, наши ребятишки будут дома у меня учиться, платить будет не нужно... Постой, постой! — закричал он, вспомнив что-то.— Как это я забыл! Ах! Боже мой, какой я ветреный. Вот бранить стоит! — говорил он отрывисто и торопливо шарил во всех карманах.— Ведь папа тебе письмо оставил, велел, чтобы я никому не показывал, кроме тебя... Ах, боже мой, уж не потерял ли я его!.. Нет, нет! Вот оно.

Стефания Высоцкая торопливо взяла письмо. Она читала знакомые ей строки и плакала, пожимая руку сына.

— Голубушка-барыня, да что же с вами? — спрашивал Матвей Ильич.— Успокойтесь, матушка!.. Постойте я водицы принесу...

— Матвей Ильич, мы грешили с вами, упрекая его, страшно грешили! — говорила Стефания Высоцкая.— Он нас обеспечил, мы будем счастливы... Дети мои, дети, вы не вырастите неучами, не пойдете по миру за подаянием... к Обносковым!..

Старик перекрестился. Стефания Высоцкая преклонила голову на плечо к сыну и долго-долго сидела безмолвно в этом положении, опустив на колени письмо и вексель, оставленный ей Евграфом Александровичем.

— Так я вам, матушка, не буду в тягость? — спрашивал старый слуга.

— Нет, нет, добрый мой, верный старик! Никто из моей семьи не будет мне в тягость,— а вы друг, член нашего семейства,— протянула Стефания руку старику.

Он бросился ее целовать.

Вечер мирно догорел в мирном кружке небольшого семейства. Все верили в светлое будущее и снова не заботились о грошах, не завидовали участи Обносковых...

На похороны Евграфа Александровича, кроме других значительных друзей покойного, явился и граф Стругов со своим сыном и братом. С графом Григорием Григорьевичем Струговым покойный Обносков вместе вырос, вместе воспитывался в университете и, наконец, вместе служил в обширной по делам акционерной компании «Водяных сообщений в России», где граф был одним из главных директоров. Дошедший до степеней известных, отчасти при помощи своего происхождения, своего образования и своих блестящих способностей и еще более при помощи своей красоты и уменья ловко вальсировать, граф Григорий Стругов был еще довольно привлекательным мужчиной, хотя и успел поседеть не от лет, а от тревожно проведенной разгульной в былые годы жизни. Но всему есть конец: вальс вышел из моды и не мог помочь на службе, тогда граф успел вовремя сделаться набож-

ным, а потому шел все вперед. Теперь он уже не кутил, занимал несколько должностей, состоял попечителем различных богоугодных заведений и членом различных акционерных компаний, одним словом, заглаживал и былые грехи, и былые долги. Спокойствие в манерах, тонкая, не лишенная гордого сознания своего значения и своих достоинств снисходительная деликатность в обращении, склонность к легкой, никого не оскорбляющей, но в то же время меткой насмешливости были отличительными чертами характера графа. Зная в совершенстве французский язык, он редко говорил по-русски, но в его русской речи попадались такие простонародные, не петербургские и не чиновнические обороты, что его принадлежность к числу родовитых бар, «отцов» бесчисленного множества крестьян была ясна, как день. Он более всего старался не быть «выскочкой», хотя и без его усилий никакой граф Стругов не мог бы быть сочтен выскочкой. Вследствие этой скромности он всегда старался становиться в задние ряды во всех многолюдных обществах и, кажется, не замечал, что именно это обстоятельство заставляло расступаться перед ним тех, кто стоит впереди, а значит, и обращало еще больше внимания на него, великодушно стремящегося стушеваться и скрыть свою личность за спиною толпы. На пышных раутах он забивался куда-нибудь в такой угол, где его было бы очень трудно отыскать, если бы через четверть часа этот угол не делался таким шумным и тесным, что многие тщетно добивались чести постоять хоть минуту в этом углу...

При появлении графа в комнате, где стоял гроб покойного Обноскова, Алексей Алексеевич тотчас же подошел к почетному гостю и предупредительно попросил его стать на самое удобное место.

— Пожалуйста не беспокойтесь,— ответил граф,— мне совершенно все равно, где стоять.

— Помилуйте, граф,— рассыпался Обносков,— тут постоянно будут сновать мимо вас и тревожить вас посетители.

— А я вот в уголок проберусь,— ответил граф и пробрался в уголок, скромно извиняясь перед теми лицами, мимо которых он пробирался и которых, по его мнению, а не в действительности, он потревожил.

Обносков сбил всех с ног, посылая гонца за гонцом торопить запоздавших попов, и снова возвратился к графу. Он, кажется, начинал мозолить глаза значительному гостю; это дало повод тому подумать, что Обносков напрашивается на разговор, и снисходительный аристократ счел своим долгом исполнить желание не отходившего от него ближнего.

— Вы, кажется, распорядитель похорон? — спросил граф, чтобы как-нибудь начать беседу.

— Да-с. У дядюшки не было других ближних родственников мужчин, кроме меня,— ответил Обносков, делая умилительно-почтительное лицо.

— А! так это вы, значит, ездили, как я слышал, оканчивать ученье в Берлин?

— В Гейдельберг,— поправил Обносков.

— Да, да, виноват, в Гейдельберг. Мне так и говорил мой покойный друг... Рано он у нас свернулся,— вздохнул граф.— Прекрасная была душа!

Обносков потупил глаза и тоже вздохнул, услышав эти теплые слова.

— Скажите, граф,— начал он нерешительно через минуту,— вероятно, общество «Водяных сообщений в России» выдаст какое-нибудь вспомоществование родственницам дяди?..

— Непременно,— утвердительно отвечал граф.— Я думал, что вы уже получили деньги на похороны, ему назначена тысяча рублей... Конечно, это небольшая сумма, но что прикажете делать: больше мы не могли выдать... Времена, времена плохие! — приподнял граф плечи.

— Кажется, в компании обыкновенно выдается годовое жалованье,— несмелым тоном заметил Обносков.

— Да, но это не идет в счет похоронных денег. Я уже озаботился, чтобы единовременное пособие было выдано жене покойного.

— Вы, вероятно, введены в ошибку: он не был женат, граф,— быстро перебил Обносков, и его лицо зарумянилось от волненья.

— Ну да, ну да,— повертел граф рукою в воздухе.— Не был венчан... Но это все равно. У них были дети.

— Помилуйте, это совсем не все равно,— уже совершенно серьезно проговорил Обносков.

— Ну, конечно, конечно, не все равно,— ответил граф совершенно спокойно, но у него слегка покоробило лицо, так что посторонний наблюдатель мог бы заметить под маскою этого наружного спокойствия следы подавленной досады.— Но я хотел сказать,— продолжал он,— что покойный мой друг жил столько лет с этой женщиной в гражданском браке...

— У нас, граф, не существует подобных браков,— холодно заметил Обносков.

— Э, боже мой, вы гоняетесь за словами! — нетерпеливо произнес граф, едва не топнув ногою.

— Не за словами, а за идеями, за идеями! Гражданский брак выдумали нигилисты, а это была просто незаконная связь...

—Ну, связь, прекрасно! Вам нравится это слово, возьмите его. Но эта связь продолжалась столько лет и была так серьезна, что ее нельзя считать простым развратом, и та женщина, с которой жил мой покойный друг, имеет право на нашу помощь.

— В этих делах, граф, давность по нашим законам ничего не поправляет,— настойчиво стоял на своем Обносков.— И никто не имеет права отдать этой женщине деньги, следующие наследникам моего дяди, никто!

— Я! — резко проговорил граф Стругов, уже метавший глазами молнии на Обноскова.—То есть наша компания,— вдруг спохватился граф, увидав, что Обносковым подмечено его раздражение, и принял снова свое холодно-спокойное выражение.

— Разве вы, граф, и ваша компания стоите вне общих государственных законов? — едко спросил Обносков.

— Нет-с, как можно! Мы подчиняемся им, как и все другие,— уже насмешливо ответил граф.

— Так как же вы отдадите наши деньги ей?

— Не ваши, а свои. Мы их и за окно можем бросить,— уже совсем весело усмехался граф и смотрел на Обноскова как-то сверху вниз, точно перед ним находилась какая-то маленькая, едва заметная букашка.

— Да ведь эти деньги нам следуют по закону! — волновался Обносков.

— По какому? — бросил на него насмешливый взгляд собеседник.— Где это вы нашли закон, что

компания обязана выдавать годовое жалованье родным ее умерших агентов?

На лбу Обноскова проступил холодный пот; это не ускользнуло от внимания графа; он сохранял спокойствие и смеялся в душе.

— Я, граф, принужден вам сказать, что, по моему мнению, вы просто желаете потакать разврату. Вы хотите покровительствовать тому, что преследуется нашими законами. Я готов все это считать шуткой, так как самое ваше положение в свете не оправдывает такого образа действий. Если бредни какого-нибудь безродного отрицателя брака и законных прав на наследство могут быть только смешны, то ваше поощрение, ваше признание прав любовницы и незаконнорожденных детей на наследство просто опасны.

Граф молчал, точно Обносков шипел где-то очень далеко внизу и его слова не могли долетать до той вершины, где стоял его гордый противник.

— Я, граф, должен вам заметить,— прошептал Обносков, задыхаясь от злобы,— что я буду требовать законным порядком.

— Вы? — спросил граф, взглянув сверху вниз прищуренными глазами, и вдруг начал усердно креститься.

Это взбесило Обноскова. Он готов был растерзать противника за эту злую выходку и даже не заметил, что в комнате уже началась служба.

— Я понимаю, что вы стоите так высоко, что я в сравнении с вами...— шипел он, забывая всех и все, кроме шести тысяч пособия.

— Вот вы меня в нигилизме заподозрили, а сами, как кажется, совсем не уважаете святости наших церковных обрядов,— отеческим шепотом заметил граф и добродушнейшим образом с упреком покачал головою.

Обносков опомнился и стал еще зеленее, а граф продолжал усердно молиться.

Отпевание кончилось. Родные стали прощаться с покойником; раздались дикие крики трех родственниц и утешения гостей. Стефания Высоцкая, закутанная в черную тальму, спускавшуюся почти до полу, стояла неподвижно в углу. Она была бледна, как мертвец. Сын стоял около нее и, кажется, боялся, что она упа-

дет в обморок. Наконец, гроб понесли. Граф Григорий Стругов, его брат и его друзья были в числе несущих. Высоцкая пошла за гробом в отдалении. Она едва переступала.

— Неужели вы до кладбища думаете идти пешком? — спросил ее кто-то по-французски.

Она вздрогнула, как бы пробуждаясь от тяжелого сна, и обернулась. Перед ней стоял граф Стругов.

— Ах, это вы, граф,— приветливо улыбнулась она грустною улыбкою.— Кажется, не дойду.

— Так садитесь в мою карету. Сыро сегодня. Я тоже еду с Мишелем,— пригласил граф Высоцкую и указал на своего сына Мишеля, учившегося в гимназии вместе с молодым Высоцким.

Товарищи уже разговаривали между собою.

Высоцкая согласилась на предложение. Все четверо стали садиться в карету графа.

— Гляди, гляди! Развратница-то, развратница-то наша! — высунулись из своей кареты сестры покойника, дергая за рукав задумчиво сидевшего против них племянника.— С графом села, в его карету села! Хоть бы братца-то, нашего голубчика, похоронить дала, да уж тогда и шла бы на все четыре стороны...

— А-а! — протяжно проговорил Обносков, что-то соображая.— Так вот он отчего ей покровительствует!

— И сына-то, сына-то не стыдится. При нем вешается на шею новому любовнику... Да и он-то хорош! Среди белого дня с публичной женщиной едет, грязью себя марает!

— Э, к ним ничего не пристает! — озлобленно прошептал Обносков и отвернулся в другую сторону.

X

Очень обыкновенная семейная жизнь

Только через месяц после свадьбы, то есть после смерти и похорон Евграфа Александровича, молодой Обносков переехал от Кряжова и устроился своим домом. До сих пор его жена не чувствовала никакой

перемены в своем положении. Только теперь она стала сознавать, что для нее началась новая жизнь. Мать Обноскова поселилась со своим сыном и рассталась как со своею квартирою на Выборгской стороне, так и со своими жильцами. С первых же дней после переезда на новую квартиру она принялась за хозяйство, за мелкие домашние распоряжения, за перебранку с прислугою и выказала явное намерение не выпускать из своих рук бразды домашнего правления.

— Вы уж, цветочек мой, Агриппина Аркадьевна, не заботьтесь о хозяйстве,— говорила она однажды за утренним чаем невестке.— Вам это дело новое. Хлопот с ним много. Возня с людишками только здоровье ваше испортит. Ведь у нас в Петербурге народ мошенник, выжига, у-у какой продувной!..

— Да я, Марья Ивановна, уже занималась хозяйством у отца,— заметила Груня.— Это совсем не так трудно...

— Из больших средств, не спорю, не трудно, не трудно... У вашего папеньки большие средства были,— заговорила частою дробью Марья Ивановна.— Вот у него и хозяйство совсем другое было, а здесь не то, совсем не то. Ваш папенька богач, а у моего сына средства-то маленькие, надо экономничать, по одежке протягивать ножки...

— Да, мамснька права,— заметил Алексей Алексеевич.— Тебе незачем попусту хлопотать и возиться с прислугой и обедами.

— Да я и не настаиваю особенно на этом, но просто мне не хотелось бы без дела сидеть,— промолвила Груня.

— Ну, ангелочек мой, дома дела найдется,— утешала Марья Ивановна.— Без дела не останетесь...

— Делайте, как вам угодно,— ответила Груня и стала пить чай.

Все помолчали.

— Вот вы, кажется, и обиделись,— вдруг упрекнула Марья Ивановна.

— Чем же? Я и не думала обижаться,— изумилась Груня.

— Нет, уж я вижу, что вам не по сердцу мое желание!.. Что ж, я не навязываюсь. Вы хозяйка теперь в доме, вам и книги в руки. Была бы честь предложе-

на, а от убытка бог избавил. Я ведь теперь здесь последняя спица в колеснице...

— Полноте, маменька,— недовольным тоном сказал Обносков.— Что тут за счеты, кто старше. Я не желал бы вообще, чтобы кто-нибудь считал себя здесь старшим,— строго заметил он и прибавил: — Хозяйничайте, распоряжайтесь и не обращайте ни на кого внимания, делая *свое* дело.

— Если ты хочешь, я готова, Леня, только, чтобы после претензий не было, что я худо распоряжаюсь или много трачу...

— Кто же это будет претендовать, уж не я ли? — спросила Груня, смущенная всею этою сценою.— Будьте уверены, что я не скажу ни слова, лишь бы Алексей был доволен...

— Алексей! Это вы кого же Алексеем-то величаете? — спросила едким тоном Марья Ивановна.— Уж не мужа ли? Ну, через месяц после свадьбы, кажется, рано бы его так называть. Можно бы и поласковее быть. Ведь это только холопов зовут Алексеями-то.

— Эх! — с досадой махнул рукой Алексей Алексеевич и нетерпеливо начал постукивать ногой.

— И меня-то вот вы все называете Марьей Ивановной да Марьей Ивановной,— не унималась старуха.— А ведь не грех бы и маменькой назвать. Ведь уж как вы там ни думайте, а я все-таки мать вашему мужу. Оно, может быть, по-вашему, по-новому, и не принято уважать старших — ну да ведь вам не с теми вертопрахами жить, которые старших-то в грош не ставят. Нет, голубчик мой, вы со старыми, с честными людьми живете.

— Да что это вы, матушка, левой ногой, верно, встали? — с раздражением заметил Обносков.

Марья Ивановна так и развела руками от удивления.

— Ну, батюшка, от тебя-то я этого не ожидала,— произнесла она и торопливо поднесла платок к глазам.— И то сказать, теперь жена тебе ближе, я третий человек, лишний человек в доме...

Алексей Алексеевич махнул рукою и вышел из комнаты.

— Вот полюбуйтесь, что вы наделали: сына с матерью поссорили,— упрекнула Марья Ивановна невес-

стку.— Сами матерью будете, поймете это... Чужие слезы отольются, рано ли, поздно ли, а отольются...

Груня наморщила свой лоб и сидела совершенно безмолвно, начав вышивать. Ей первый раз в жизни пришлось испытать такую пошлую, такую бесцельную семейную размолвку. Несколько раз у нее навертывались на язык ответы старухе, но известный такт, свойственный свежим и чистым натурам, не позволял ей вставить какое-нибудь слово в поток этих мелочных придирок. Молодая женщина была, по-видимому, даже спокойна, только игла в ее руке все попадала не туда, куда следовало, и слегка дрожала. Старуха Обноскова перемывала чашки и время от времени бросала злые взгляды на невестку и покачивала головой, видя, что та не обращает на нее внимания.

— Вот вы теперь молчите и дуетесь,— начала снова Марья Ивановна.— Вы в душе-то меня ругаете, а ведь я вам же добра желаю. Вы-то по глупости, да по неопытности что-нибудь при людях скажете, мужа Алексеем, как лакеишку, обзовете, либо мать, как чужую, Марьей Ивановной величать станете, а вас и осудят, и пойдут славить: «Вон они как живут, заговорит про нас народ, как кошка с собакой! У них и имени-то ласкового друг другу нет даже при людях, а уж что же должно быть, как они с глазу на глаз останутся». А худая-то слава бежит... Вы меня благодарить должны, что я вас семейной жизни учу. Ведь и я была молода, и меня учили. Ох, как учили!.. Вы вот и подумайте обо всем, да и поймите, правду ли я говорю; хорошенько подумайте!

Марья Ивановна поставила в буфетный шкап чашки и вышла из комнаты. Груня вдруг отбросила вышивку и залилась неудержимыми слезами.

— Что с тобой? — спросил Алексей Алексеевич, входя в столовую, чтобы проститься с женою перед отправлением на службу.

— Ничего... так,— прерывающимся голосом ответила Груня и закусила губу, стараясь подавить слезы.

— Как же *так?* Разве можно плакать без причины? — заметил муж.— Нездорова ты, что ли?

— Скажи, за что твоя мать целый час бранила меня? — воскликнула строптиво жена, поднимая свои большие глаза на мужа.

— Э, боже мой, начались дрязги! — недовольным голосом сказал Обносков.— Уж где две бабы сойдутся, там и пойдет война!

— Да ты, кажется, считаешь меня виноватою? — изумилась Груня.

— Да, разумеется! Ведь странно же связываться со старым человеком. У нее свои взгляды на жизнь, свои привычки, а ты еще молода и не выработала себе, не могла выработать убеждений, значит, тебе легче уступить. И вообще советую тебе уважать мою мать; хотя у нее и есть ошибки, как у всякого человека, но она опытная и дельная женщина.

— Да ведь она придирается ко...— начала Груня, но муж перебил ее.

— Прошу тебя,— сказал он строго,— раз и навсегда прошу не жаловаться мне на нее и не впутывать меня в эти домашние дрязги... У меня есть серьезное дело, и мне некогда мирить вас. Да я и не судья в этих историях, потому что насколько я люблю тебя, настолько же уважаю и ее. Ты не думай, что я когда-нибудь из-за тебя вышвырну ее из дому. Это было бы так безнравственно, что ты сама перестала бы меня уважать после подобного поступка... Да и вообще вы, женщины, взволнуетесь, потеряете несколько праздных часов времени, но убытка от этого нет,— а у нашего брата дело есть; если я стану волноваться да тревожиться из-за пустяков, то у меня не очень-то хорошо пойдут вперед мои серьезные занятия.

Опутив руки, стояла Груня перед мужем, и опять какая-то непонятная ей самой сила удерживала ее от возражений.

— Ну, прощай, маленькая плакса! — улыбнулся Обносков и поднял за подбородок лицо жены.

Она отдернула голову назад и нахмурила брови.

— Ах, ты капризница! — шутливо промолвил муж, игриво скользнув двумя пальцами около груди жены, как это делают с ребенком, когда ему говорят: «А вот я тебя забодаю!» — и вышел из комнаты. «Какая она хорошенькая, когда капризничает»,— промелькнуло у него в голове, и он готов был снова воротиться к жене, чтобы поцеловать ее, но ему приходилось спешить на службу, а потому это желание и отложилось до более свободного времени.

Груня решительно и быстро отерла слезы и, строптиво швырнув в сторону носовой платок, принялась опять за вышивку. Прошло довольно много времени. Груня продолжала вышивать. Внутреннее волнение замечалось только по излишней быстроте работы; наружность же молодой женщины, похожей на девочку, оставалась невозмутимо спокойною, только лоб морщился более обыкновенного, да изредка закусывались губы, как будто из желания физическою болью подавить мучения нравственной пытки. Наконец в комнату вошла Марья Ивановна.

— Что это вы сегодня все утро вышиваете,— заметила она, качая головой.

— А разве что-нибудь другое нужно сделать? — спросила невозмутимо холодным тоном Груня.

— Да ведь вот прачка белье принесла, ну и пересчитали бы все по записке и уложили бы в комод.

— Хорошо,— произнесла Груня тем же тоном и пошла в другую комнату пересчитывать и прибирать белье.

Через четверть часа туда же явилась и Марья Ивановна.

— Вы это как белье укладываете? — спросила она у Груни.— Не пересмотревши?

— Да.

— Ну, это непорядок!

— Значит, нужно пересматривать?

— А то как же? Ну, если прачка-то дурно выстирала, пятна оставила, так это ей и спустить? Нет-с, это не дело! Этак все белье перепортите. Да, надо посмотреть, нет ли и дыр где-нибудь, везде ли есть пуговицы, чтобы потом все исправить.

— Хорошо, я пересмотрю,— отвечала Груня попрежнему спокойно и холодно.

— Вот вы говорили, что дела не найдется в доме, кроме хозяйства, а вы если одною штопкою белья займетесь, так у вас день-то весь и уйдет.

Груня молчала.

— Сейчас на рынок ходила, наших там встретила, Ольгу и Веру,— заговорила дружеским и немного таинственным тоном Марья Ивановна, присаживаясь на стул около комода.— Грех, право, с ними да и только! Ха-ха-ха! Сшили это они себе траурные шляпки и, можете себе представить, по моде, как есть по первому

журналу. Ну, скажите, время ли тут о моде заботиться, когда брат помер и нужда на носу?

Груня перебирала белье и не отвечала.

— А вы, ангелочек мой, что-то хмурые сегодня такие, уж не чувствуете ли вы чего... знаете, ведь теперь такое время для вас... может, еще и на внучка скоро придется порадоваться...

— Я ничего не чувствую,— отвечала Груня и вспыхнула до ушей.

— Так уж не на меня ли вы сердитесь? — с добродушной укоризной покачала головой Марья Ивановна и, кажется, сама не верила своему предположению.— Грех вам зло помнить! Мало ли что в семье бывает. Час на час не придется. Мы повздорим, мы и помиримся. Нельзя всякое лыко в строку ставить... А вот я вам про себя скажу: у меня сердце отходчиво. И вот с тех пор, как я себя помню, всегда я была такою. Посержусь, покричу, выскажу человеку всю правду, выведу его на чистую воду, а потом и жаль мне его станет. Это бывало и с мужем, когда он запил; чего, чего я не натерплюсь, а ничего, все забуду, как только вот хоть на минутку он от глаз моих скроется. И станет мне его жаль, так жаль, так жаль, что вот так бы и бросилась к нему, моему голубчику, на шею. А ведь уж какой человек-то он был в ту пору, когда пить начал, тиран, одно слово тиран!.. Прежде он ничего, смирный был, выскажешь, бывало, ему всю правду, смолчит, уйдет только, а потом как зачал пить, так аки зверь сделался: и рвет, и мечет, и в драку лезет, ничем, бывало, его не укротишь... А вот ведь все вынесла и в церкви его поминаю, и господа об отпущении его грехов молю каждодневно... У меня сердце отходчиво, отходчиво... Да, цветочек мой, не должны люди зла помнить, и вы его не помните!

Марья Ивановна нежно поцеловала Груню, а у Груни по телу пробежала дрожь, точно к ней прикоснулось что-то нечистое, отвратительное. Время коекак прошло до обеда, то есть до четырех часов, когда обыкновенно возвращался Алексей Алексеевич, прикомандированный на время к министерству в ожидании кафедры в университете.

—Ну что, мы перестали капризничать? — улыбнулся он заигрывающей улыбкой жене, как мы улыбаемся детям, которых высекли и потом поспешили

простить, чтобы их хмурые лица не тревожили нас и не напоминали нам о нашем вышедшем из границ раздражении.

— Ты видишь, кажется, что я спокойна,— ответила Груня.

— Спокойна и холодна? — пошутил муж.

— У меня такой характер.

— Немножко избалованный? Не так ли?

— Может быть.

— Вот и я еще хочу баловать тебя,— засмеялся он и подал ей коробку конфет.— Это тебе, чтоб ты не плакала.

Груню оскорбило, что ее считают ребенком, но она удержалась от всяких объяснений по этому поводу.

— Merci,— сухо произнесла она и поставила коробку на стол.— Обед уже подан, пойдем.

За обедом Обносков и его мать говорили о разных семейных делах, в число которых вошли и сшитые по моде шляпки теток Обноскова. Мать была в этот день особенно предупредительна с сыном, как человек, заглаживающий ошибку. Груня сидела молча и очень мало ела. После обеда она ушла в свою комнату.

— Вы, маменька, будьте с ней осторожнее,— сказал сын матери.— Она очень избалована, и с ней надо поступать осмотрительно. Исподволь ее ко всему приучить можно.

—Ах, голубчик, да я ей ничего и не сказала обидного,— оправдывалась мать.

— Да я и не думаю этого, но все же старайтесь ее приучать к семейной жизни незаметно, постепенно. Этим капризным детям в душу не влезешь, никогда не узнаешь, что они думают. Они привыкли, чтобы все делалось по их желанию.

— Да уж, скажу откровенно, что скрытная она у нас. У-у какая скрытная! Ведь вот и теперь кажется такой спокойной, а я думаю, сердчишко-то так и рвется, так и рвется от злости.

— Ну, гнев уходится. Мало ли сколько раз человеку приходится сердиться в жизни.

— Уж, разумеется, не без того... А только скрытная, скрытная она у нас.

— А все баловством довели до этого. Старик отец ее своей добротой испортил. Всё по ней делали, вот

она и думает, что все под ее дудку плясать будут, что в жизни ни сучка, ни задоринки нет.

Алексей Алексеевич отправился к себе в кабинет, поработал, съездил на урок и, довольно поздно возвратившись домой, зашел на полчаса к жене, а потом совершенно спокойно проработал с час или два в своем кабинете, где он обыкновенно спал.

На следующий день Груня вышла к чаю такою же спокойною, такою же бесстрастною, какою была вчера, только почему-то она вздрагивала при ласках мужа и поцелуях Марьи Ивановны. Марья Ивановна почитала ей еще наставления и встретила в невестке полнейшую покорность и повиновение. По-видимому, невестка сочла своим долгом исполнять все, что ей прикажут, и вошла в роль подавленной узницы, которая не противоречит тюремщикам. Ни Марья Ивановна, ни Алексей Алексеевич не обладали тем деликатным чувством, которое заставляет человека лучше уступить, отказаться от своих требований, чем играть роль угнетателя и видеть собрата, безмолвно и тупо исполняющего из-под палки его волю. Алексей Алексеевич, напротив того, был рад покорности жены, даже поцеловал ее за это. Она не оттолкнула его, но и не ответила ему поцелуем. Он притянул ее к себе и потрепал по щеке. Она спокойно постояла около него, пока он не освободил ее от своих объятий, и отошла прочь, как только раскрылись эти объятия. Сын и мать успокоились совершенно, и Алексей Алексеевич подумал: «Хорошо, что я ошибся. Мне она казалась такою страстною натурой, какие встречаются у подобных развившихся взаперти, нервных девушек. Но она холодна. Это гораздо лучше для честной семейной жизни».

На том и покончились все рассуждения как о характере Груни, так и об устройстве семейной жизни. Пошли дни за днями в убийственном однообразии. Семейные обеды, питье чаю и кофе, время восстания от сна и отхода ко сну, прием гостей в неизменные четверги, ссоры из-за мелочей с глазу на глаз и претящие нежности при гостях, хождение мужа в должность и на уроки и его законные ласки, все это имело свой определенный, раз навсегда неизменный срок и перешло в обряды семейного культа в доме Обносковых. Ничто не было плодом увлечения, плодом вне-

запно вспыхнувшего желания. Сегодня было похоже на вчера, завтра будет похоже на сегодня и так должно было все продолжаться на долгие, долгие годы, пока бессмысленная судьба не пошлет в дом нового члена — младенца — или не пришибет кого-нибудь из семьи и не заставит действующих лиц разыгрывать на новый лад, уже не втроем, а вчетвером или вдвоем, всю ту же пошлую, будничную семейную пьесу. Но есть некоторые личности, которые видят возможность бороться или, лучше сказать, не могут жить без борьбы с судьбой. Она довольно ясно определит их роли, укажет границы их действий, а они, предназначенные к покорности, к верченью в беличьем колесе, вдруг начинают грубить, воевать, ломают колесо, вырываются на свободу и окончательно путают всех остальных актеров, разыгрывающих с ними одну и ту же пьесу. Эти люди хотят быть творцами той комедии, которую называют человеческою жизнью и которую создает по большей части бессмысленный случай. Такою личностью совершенно неожиданно для близоруких ближних оказалась Груня.

Груне никто не делал в жизни зла, и потому она не могла не возненавидеть человека, который первый сделал ей зло и, сверх того, такое бесцельное и бессмысленное, на какое была способна Марья Ивановна. Но Груня не была приучена предыдущею жизнью к пошлой борьбе, состоящей из мелких нападок, язвительных слов и будничных дрязг, а с Марьей Ивановной возможно было или вести именно такую борьбу, или разойтись окончательно. Находясь в таком положении, молодая женщина стала молча ненавидеть свою противницу и чувствовала, что не пойдет ни на какие сделки и соглашения, не заключит никакого перемирия с нею. Обе женщины жили вместе, но между ними уже с первой стычки лежала целая пропасть, через которую не могла перешагнуть ни та, ни другая. Марья Ивановна не замечала этого и с младенческим неведением усердно разрывала все глубже и глубже эту пропасть, продолжая неутомимо пилить свою невестку и обрывая с ней своими грубыми, грязными руками последние тонкие нити и без того слабой, неуспевшей окрепнуть привязанности. Алексей Алексеевич, успокоенный наружным спокойствием жены, не замечал ничего и погрузился всецело в свои серьез-

ные занятия. Никогда не был он так счастлив и так доволен своею жизнью, как теперь. У него были не только надежды на наследство, не только обеды, приготовленные под присмотром матери, не только теплый угол, заботливо убранный, но и молодая женщина, которую он, и только он, мог целовать и ласкать, когда им чувствовалась в этом потребность. Такая жизнь была полным осуществлением того идеала, к которому может стремиться и стремится на самом деле каждая мелкая обносковская натура. На желтом лице Обноскова стало появляться все чаще и чаще сияющее выражение самодовольства и даже гордости. Видя его, уютно развалившегося в креслах, безмятежно беседующего по четвергам в своем жилище с гостями, слыша его отчасти ласковые, отчасти снисходительные, покровительственные шутки с женой и матерью, можно было позавидовать ему и угадать, что этот болезненный человек скоро поздоровеет среди такого семейного счастия и что не за горами даже и то время, когда он обзаведется кругленьким брюшком и лоснящимися от жира и самодовольства щеками. Бесконечное блаженство стали доставлять Алексею Алексеевичу те минуты, когда в его дом начали заглядывать по четвергам не какие-нибудь голыши, а люди или заслуженные, или родовитые; когда сам генерал Егунов, которому Алексей Алексеевич сделал совершенно неожиданно визит, решился отплатить этот визит своему юному заграничному знакомому и остался доволен и обносковским обществом и обносковскими разговорами; когда ненавидимые Обносковым старые и молодой графы Родянки, которых Алексей Алексеевич тоже счел своим долгом посетить, тоже удостоили его своим посещением. Не забыл Алексей Алексеевич даже Левчинова, узнав, что один из родственников этого ненавистного ему господина занял видное место в министерстве. Блаженствуя в вечерние часы по четвергам, Алексей Алексеевич нередко проклинал в душе графа Стругова за то, что тот вырвал из его рук и отдал Стефании Высоцкой после смерти Евграфа Александровича шесть тысяч, на которые можно бы прожить еще лучше до получения всего наследства. Эта мысль, впрочем, не высказывалась никогда Алексеем Алексеевичем, хотя он и не упускал случая называть графа Стругова «опасным

человеком, нигилиствующим аристократом, нарушающим священнейшие законы государства и потакающим разврату». Окружая себя полезными связями, экономничая, чуть не голодая в течение шести дней, чтобы прикармливать на седьмой «нужных людей», создавая из них себе каменную стену, на которую потом можно опереться, или лестницу, по которой после можно дойти до степеней известных, блаженствуя сознанием своего упроченного в свете положения, Алексей Алексеевич, как разживающийся мещанин, чувствовал уже некоторую радостную гордость и тогда, когда хвалили что-нибудь, принадлежащее ему. Эти похвалы не могли быть часты, так как его дом не блестел еще особенною или даже какою-нибудь роскошью; но все же похвалы слышались, и вызывал их постоянно один и тот же, по-видимому, самый неблестящий, самый скромный во всем обносковском жилище, предмет. Этот предмет, эта вещь была жена хозяина. Замечая, что на нее смотрят, что ею любуются, он подзывал ее к себе и бесцеремонно целовал ее в лоб, удерживал около своего кресла и, небрежно продолжая разговор с гостями, поглаживал и похлопывал руку жены, которая, как бездушная статуя, стояла около его кресла и на которую он не поднимал даже глаз. Иногда после ужина, выпив пару рюмок вина и оставшись в более интимном кружке, хозяин доходил даже до того, что сажал жену к себе на колени и, по-прежнему не глядя на нее, шутил с гостями, точно желая наглядно доказать им, что она совсем ручной зверек.

— У него совсем буржуазная манера,— говорил, зевая, с гримасой и в нос молодой граф Родянка, проникнутый до мозга костей аристократизмом и презиравший в душе Обноскова, который тоже в душе ненавидел его.

— Просто немецкий гелертер. В Германии у профессоров то же пиво, камераден и бесцеремонные нежности с гаусфрау являются одновременно и без всяких стеснений,— замечал со смехом противный хозяину Левчинов, ненавидевший и немецких профессоров, и немецкую науку, и Обноскова.

— Но она удивительно пикантна! — восклицал со слюнками на губах кузен Пьер.

Он ел, пил и любил все, и больше всего любил женщин, а в женщинах, как и во всем остальном, выше всего ставил пикантность.

— Дитя мое, я вижу, что ты вполне счастлива. Теперь я могу умереть спокойно,— говорил трогательным голосом чуть не со слезами на глазах Кряжов, благоговейно целуя свою дочь.

Она, склонив голову, покорно принимала поцелуй и не возражала...

XI

Кузен Пьер — развиватель молодежи

Мнение, высказанное всеобщим кузеном Пьером насчет пикантности Груни, имело свое основание и было признано верным всеми юными старичками и старыми юношами, посещавшими дом Обноскова.

До замужества Груни на нее никто из мужчин не обращал особенного внимания. Она смотрела девочкой, такой худенькой, не развившейся, даже костлявой девочкой, что ни один из ее знакомых и не подозревал, что она вышла из детского возраста. В обществе она сама постоянно стояла в стороне от взрослых и пряталась в кругу детей. Теперь же эта малютка с миниатюрным личиком и большими вопросительно смотревшими глазами вдруг сделалась женщиной, и те люди, которые не обращали на нее внимания, стали засматриваться на нее и восхищались ею. В этом восхищении не было ничего удивительного. Никакая красавица не в состоянии так привлечь к себе разных развращенных старичков, изношенных roués[1] и пресытившихся юношей, как замужняя женщина-ребенок. Всех этих людей вы встретите на балетных представлениях, ожесточенно аплодирующими какой-нибудь воспитаннице-танцовщице. Она еще не умеет хорошо танцевать, у нее еще угловатые локти и плечи, не округлились колени, плоска грудь, но развратные старички, roués и юноши пожирают глазами этого ребенка: он уже выпущен на сцену жизни — зна-

[1] пройдох *(фр.)*.

чит, его уже можно развращать; пора этой детской неразвитости пройдет быстро, значит, нужно ловить редкий случай. Этот ребенок, может быть, сделается красавицей, но это уже будет обыкновенное явление: красота не редкость, красота продолжается долго. Замужество девушки-ребенка то же самое, что выступление на сцену воспитанницы-танцовщицы. Малютка замужем, значит, можно попробовать развратить ее. И как устоять против этого соблазна? Развратничать с опытной женщиной, развратничать с обольщающей кокеткой, развратничать с циничной камелией, все это так старо, так приелось, но вызывать своими любезностями смущение женщины-ребенка, постепенно открывать ей тайны разврата, вести ее, неопытную, трепещущую и робкую, по дороге к пропасти, о! это такое наслаждение для них, тут так много «пикантности». Среди толпы людей, обративших внимание на Груню, одним из первых был, как мы видели, кузен Пьер.

Может быть, читатель спросит: чей кузен? Да ваш, отвечу я, если вы столичный житель и имеете состояние. Если же он не состоит в прямом родстве с вами, то, вероятно, у него есть какой-нибудь друг, такой же, как он сам, кузен Пьер, который уж наверное родственник вам. Кузен Пьер, или иначе Петр Петрович Фетидов, розовенький брюнет с масляными глазами, с пробором посредине лба, похожий на подгулявшую гризетку в мужском платье, был enfant terrible et gâté[1] столицы, и провинция представлялась ему такой злой мачехой, к которой было лучше всего никогда не ездить. Столица глядела на него, как на своего человека, и могла во всякое время дня и ночи безошибочно сказать, что делает ее питомец, о чем он говорит и как он смотрит в данную минуту. Провинция ничего этого не могла бы даже и вообразить, потому что у нее еще не родилось подобных детей. Но если бы какой-нибудь провинциал увидал впервые кузена Пьера, то он непременно сказал бы: «А ведь я где-то видел этого человека». Провинциал, конечно, ошибся бы, он в провинции не встречал самого кузена Пьера, но видел один его оригинал — последнюю картинку парижского модного журнала.

[1] баловнем *(фр.)*.

Действительно, кузен Пьер был копиею картинки, тогда как все остальные смертные бывают оригиналами картин. Это нисколько не мешало ему быть интересной личностью, и он пленял сердца тридцатипятилетних женщин, получая в дар рысаков и эгоистки уже на семнадцатом году, когда при окончании ученья в «Лицее» или в «Правоведении», он стал являться в цирках и на загородных гуляньях неизменным спутником какого-то гусара. С тех пор прошли годы, но кузен Пьер перестал их считать, и потому трудно определить, каких лет он является на сцену нашего романа. Но с семнадцатилетнего возраста он вел регулярную жизнь, аккуратно сменяя рысаков, тридцатипятилетних поклонниц и спутников гусаров.

Он вставал в двенадцатом часу, надевал модный пиджак, пил черный кофе и чистил ногти, пробегая глазами столбцы газет или страницы новых журнальных нумеров. Так как газет и журналов много, то кузен Пьер читал во всех нумерах понемногу и тверже всего запоминал заглавия статей, чтобы иметь полную возможность основательно спорить и судить о каждой из них. Потом кузен Пьер делал визиты, гулял по Невскому проспекту или по Дворцовой набережной и в три часа пополудни его можно было застать у Вольфа, Бореля или Дюссо; здесь, с тартинкою в руке, с вброшенным стеклышком в глаз, с сверкающими взглядами, с живыми движениями, он увлекался горячим спором, говоря, как и все его друзья, немного в нос, отрывисто и очень громко о красоте Барбо, о пластичности Петипа, о плохих финансах России, о коварстве Наполеона, о рысаках Матильды, о последних вредных статьях русских либеральных журналов. Оживление было искренно и зажигательно, несмотря на предмет разговора. Толпа, окружавшая кузена Пьера и состоявшая большею частию из богатых студентов, лицеистов, правоведов и гвардейских юнкеров, увлекалась его беседами, овладевала им на остальную половину дня, и потому он обедал в кругу приятелей, ехал с ними в театр, несся на пикник с актрисами или в маскарад и часов в шесть утра возвращался домой, когда уже гасили фонари, чего, впрочем, он не видал, так как в его собственных глазах уже давно погас свет жизни. Только небо да камердинер кузена Пьера знали, как он добирался до посте-

ли, как раздевался и как проводил время до двенадцати часов дня,— этой тайны не знал и сам кузен Пьер, по крайней мере на другой день он не помнил вчерашнего дня, как будто этого дня никогда не существовало в его жизни: можно сказать смело, что кузен Пьер был каждый день новорожденным младенцем, не имеющим ничего прошлого и потому пламенно отдающимся настоящему. О будущем кузен Пьер тоже не думал и имел на это очень основательные причины.

— Помилуйте,— говорил он по-французски,— будущее — это неизвестность. Что же мне ломать голову и подлаживаться к неизвестному? Как ни подготовляйся, а оно все-таки будет ново и поразит неожиданностью. Стараться угадать его — то же, что стараться открыть философский камень или рассуждать о загробной жизни.

Кузен Пьер числился где-то чем-то на службе, может быть, был чиновником по особым поручениям или даже камер-юнкером, впрочем, это — одно предположение; сверх того он был членом покровителей животных, нищенского комитета, миссионерского общества, наблюдателем каких-то приютов, пожертвовал куда-то для чего-то корпию, за что-то заслужил иностранный орден, откуда-то получил какой-то почетный диплом и даже выказал два раза всенародно свою гражданскую деятельность. Однажды он приказал будочнику отправить, куда следует, какую-то нищую с ребенком, просившую подаяния и возбудившую в нем тошноту своею искалеченною на фабрике рукою; в другой раз он призвал городового для взятия в полицию оборванного и истощенного работника, мужика, через меру нагрузившего по приказанию хозяина телегу и заградившего остановившимся возом дорогу перед эгоисткою нашего героя. Но собственно служил он обществу на другом поприще: он, консерватор, был, как и большая часть даже самых отсталых людей в наше странное время, пропагандистом, популяризатором новых идей и понятий, хотя каждый серьезный ученый, каждый передовой человек смотрел на него, как на праздношатающегося, и никак не подозревал, что даже кузен Пьер может быть опасным отрицателем. Но это было так. Кузен Пьер отрицал все не потому, что он сознал справедливость отрицаний из-

вестного кружка людей, а потому, что он не мог ничего утверждать, за исключением французского языка, на котором он умел отлично говорить или, лучше сказать, causer romans et chiffons[1], как он выражался сам. Насмешки и двусмысленные остроты над всеми, и важными, и неважными предметами, лились с его бойкого языка неиссякаемым потоком, и особенно в то время, когда он заставал за чтением учебников и лекций какого-нибудь своего кузена из лицеистов, студентов или правоведов. История Смарагдова и латинский язык, лучшие произведения поэзии в хрестоматиях и лекции о русских законах или политической экономии, богомольность бабушек и строгость отцов равно делались мишенью для остроумных шуток кузена Пьера, и заучившийся юноша, впервые слыша, что «все это гиль и вранье и ни к чему не ведет в жизни», начинал понимать, что все эти предметы совсем не так серьезны, как они кажутся, и могут быть очень смешны, если взглянуть на них со стороны. Будуарные тайны богомольной бабушки, закулисные похождения нравственного и строгого папаши, нарушение на практике строгих законов, скандалезные анекдоты из жизни идеально чистых жрецов искусства, проповедовавших любовь к природе, стремление к свободе и развратничавших где-нибудь на водах, выжав всякими притеснениями последние деньги из своих крестьян, все это ярко умел изобразить кузен Пьер. Он же первый открывал своим шестнадцатилетним кузинам, что они хороши собою и что на свете есть любовь. Он же первый возмущался заодно с этими кузинами, развитыми им, если их хотели отдать против воли замуж, и похитил на своем веку двадцать родственниц, конечно, не для себя, но для тайного их брака с кем-нибудь из своих друзей. Подорвав таким образом двадцать раз родительскую власть, он не менее десяти раз явно нарушил крепость супружеского союза, устроив побег чужих жен с посторонними людьми; конечно, в этот счет не входят те бесчисленные случаи, когда побега не совершалось, когда кузен Пьер работал не в чужую пользу, а просто собственными поступками практически доказывал, что он стоит за свободу чувства в замужней женщине. Старухи и ста-

[1] болтать о романах и тряпках *(фр.)*.

рики часто журили за такое поведение кузена Пьера, но серьезно сердиться на него не могли.

— Ты весь в покойного своего отца! — говорили они ему, с добродушной укоризною покачивая головами, и в умах стариков оживало то время, как отец кузена Пьера помог им увезти их теперешних жен, а старухам вспоминалось, как отец кузена Пьера впервые практически доказал им всю сладость свободы чувства в замужней женщине.

. При этих воспоминаниях сам кузен Пьер казался старикам и старухам не просто сыном столицы, но отчасти и их собственным сыном. Кузен Пьер действительно играл по праву в их кружках роль любимого пасынка нескольких любящих отчимов и нескольких нежных мачех.

В один из четвергов, наговорив сотни любезностей и комплиментов Груне, кузен Пьер сидел и рассуждал в стороне с своими друзьями, Левчиновым и молодым графом Родянкою, о прелестях хозяйки дома.

— Да, она действительно очень мила,— соглашались с ним собеседники.

— Мила! — с увлечением воскликнул кузен Пьер тоном упрека.— Что вы мне говорите: мила! Она просто восхитительна! Эти худенькие, едва развившиеся женщины — огонь! Тут страстность таится, неукротимая страстность. Я ведь кое-что смыслю в этом деле.

— Что и говорить! Специалист по женской части! — усмехнулся Левчинов.

— Смейтесь, смейтесь сколько вам угодно,— хохотал кузен Пьер и выказал свои белые зубы,— а между тем эта специальность доставляет наслаждений в тысячу раз больше, чем всякая другая специальность. Вот ведь вы, не специалисты по этой части, говорите, что она мила, а я знаю, что она не только мила и наделена страстною натурою, но и вполне несчастлива с трупом своего мужа...

— Несчастлива? — изумились собеседники.— Кто это вам сказал?

— Опытность специалиста,— важно ответил кузен Пьер и опять оскалил зубы.— Да-с, милостивые государи,— балаганил он,— она несчастлива. А из этого следует, что она ищет счастия. Но счастие, в чем бы она его ни искала, найдется только в любви, а если оно может найтись только в любви, то... то... ну, од-

ним словом, надо попробовать, не можем ли мы послужить орудием для ее счастия.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Левчинов.— Вы всегда найдете предлог для волокитства.

— Фи! для волокитства! Какие тривиальные выражения вы употребляете! — воскликнул кузен Пьер, делая шутовски серьезную мину.— Тут не волокитство, а желание осчастливить ближнего, доставить ему то, чего недостает в его жизни.

— Нет, кроме шуток,— начал носовым голосом и с зевотой задумавшийся Родянка,— вы убеждены, что она несчастлива?

— Убежден ли я? Да, убежден, клянусь гробами моих отцов! — с комическою торжественностью произнес кузен Пьер и, вдруг сощурив глаза, пристально взглянул на графа Родянку.— А ведь и вы что-то замышляете, вы это недаром спрашиваете о действительности ее несчастия... Ну, что же, вы моложе, вы победите, вам честь и слава.

— А мне кажется, что у нее есть еще более молодые поклонники,— тихо заметил Левчинов, глядевший на кого-то сквозь плющ, за которым они сидели.

— Кто это? кто? — торопливым шепотом спросил кузен Пьер и устремил глаза по направлению в ту сторону, куда смотрел Левчинов.

— Не знаю, какой-то юнец, вон он сидит,— указал Левчинов.

Глаза молодых повес устремились на указанного юношу. Он был бледен, худ, с черными всклокоченными, курчавыми волосами; его черные глаза впились в хозяйку дома, сидевшую в кружке женщин в противоположном углу комнаты.

— Некрасив! — улыбнулся, зевая, граф Родянка.— Злое выражение и непричесанная физиономия.

— Может быть, такие растрепыши нравятся женщинам: как вы об этом думаете, господин специалист по женской части? — спросил шутливо Левчинов, обращаясь к кузену Пьеру.

— Вот оно что! — глубокомысленно соображал кузен Пьер, уже не слыша вопроса.— Здравствуйте, monsieur Поль! — громко проговорил он, выставляя свое цветущее личико из-за плюща.

Панютин — это был он — вздрогнул и, растерявшись, оглядывался во все стороны, чтобы отыскать то

лицо, которое назвало его по имени. Казалось, его мысли все это время носились где-то очень далеко. Наконец он увидал, что его манит к себе кузен Пьер.

— А, это вы, Петр Петрович,— поздоровался он, подходя к кузену Пьеру и пожимая ему руку.

— Вы это о чем же так задумались, что даже испугались, когда я вас позвал? — трепал по плечу Панютина кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов.

— Мало ли о чем иногда думается, не все же рассказывать,— отвечал тот.

— Тайна? А ведь в молодости только любовные тайны бывают, значит, вы думали о ней,— подшутил кузен Пьер.

— Вы ошибаетесь, я о *ней* не думал,— быстро ответил Панютин с румянцем на щеках и совершенно невольно обратил глаза в ту сторону, где сидела Груня.

Повесы засмеялись. Панютин сердито закусил губы, поняв свою неосторожность.

— Ну, как вы теперь живете, что поделываете? — стал расспрашивать кузен Пьер.

—Университет посещаю,— коротко ответил Панютин.

Он не имел никакого желания беседовать.

— Скучаете, я думаю, без сестры?

— Занятия есть, скучать некогда...

— Да, да, конечно! А вот у нее нет занятий, она и скучает. Вы заметили?

Панютин молча кусал губы.

— Как вы думаете, счастлива ли она? — спрашивал кузен Пьер, делая очень серьезное лицо.— Вот мы сейчас спорили об этом предмете. Я говорил, что она не может быть счастлива с трупом супруга, что ей нужен муж молодой, живой... вот, хоть бы такой, как вы.

Панютин снова вспыхнул и сухо заметил:

— Я не мешаюсь в дела сестры. Счастлива или несчастлива она — это ее дело.

— Так, так,— согласился кузен Пьер.— А я полагал, что вы так привыкли с детства друг к другу, что одного из вас всегда должны интересовать дела другого.

Панютина снова передернуло. Кузен Пьер опять стал изливаться в похвалах прелестям Груни. Паню-

тин стоял, как на горячих угольях. Он то краснел, то бледнел. Трое повес наблюдали за жертвой своей плоской шутки и продолжали дразнить ее, как дразнят голодного, запертого в клетку тигренка, показывая ему из-за решетки со всех сторон кусок мяса. Дикий тигренок сделал попытку скрыться, его удержали.

— Постойте, куда же вы бежите? — остановил юношу кузен Пьер и взял его под руку.— Садитесь. Мы так давно не видались. Поговоримте. Что это вы хмуритесь? Ну, что, на кладбище вашего воспитателя все по-прежнему появляются привидения похороненных мудрецов? Тень Трегубова по-старому ли восстает из своего могильного склепа и приходит во время шабаша осматривать мавзолеи кряжовского погоста? А мавзолеев все прибавляется или ими заставлены уже все углы? Находите ли вы теперь приятным свое пребывание в жилище мертвых? Иногда, я думаю, становится немного скучно?

— По крайней мере тихо, если не весело; заниматься можно,— ответил Панютин и поспешил прибавить: — Но я большую часть времени провожу в университете.

— А, да, в университете,— серьезно проговорил кузен Пьер.— Конечно, там скучать нельзя. Молодые профессора, новые, живые идеи приводят, животрепещущие вопросы поднимают; кружки молодежи составляются; товарищество крепко стоит за своих членов; споры, шум, сходки, заботы об участи бедных собратьев, все кипит, волнуется юною жизнью, жизнью дня... Чудное это существование.

— Нет... да...— начал в замешательстве Панютин. Ему очень хотелось выругать кузена Пьера, очень хорошо знавшего, что в университете уже не было никаких кружков, никаких сходок, никаких новых идей.

Трое повес захохотали дружным смехом. Юноша снова с злобою закусил губы и, оборвав лист плюща, скомкал его в руке; казалось, он хотел бы в эту минуту точно так же скомкать, отбросить и растоптать ногами свою собственную жизнь.

— Что вы ему сказки-то рассказываете? — проговорил Левчинов.— У вас, я думаю, нет ни одного товарища? Вы едва ли знаете кого-нибудь из студентов даже по имени,— обратился он к Панютину.

— Да, теперь студенты мало сходятся между собою,— отвечал неохотно Панютин.

— Жаль, жаль,— с сожалением произнес кузен Пьер, продолжая свое, начатое без всякой цели, шутовство.— Ну, да это не беда, поскучаете дома и в университете, так здесь отдохнуть можно, в добром родственном кружке...

— Что это вы, Петр Петрович, с умыслом или...— начал Панютин глухим голосом и не мог сразу подыскать слово,— или по вдохновению дразните меня? — окончил он.

Ему хотелось сказать не по вдохновению, а по глупости, но язык не повернулся на это.

— Дразню? Я и не думал дразнить вас,— изумился кузен Пьер и снова выставил свои блестящие зубы.

— Так что же вы расспрашиваете меня о моем житье-бытье? Ну, скверно оно, вы это сами знаете. Да вам-то что до этого?

Панютин сердито встал. Кузен Пьер ласково удержал его...

— Мне, право, жаль вас,— благодушно сказал он.— Вот вы все хмуритесь, скучаете, раздражаетесь, а между тем уходит то лучшее время, когда человеку нужно жить полною жизнью.

Панютин пожал плечами и выказал снова намерение уйти.

— Право, вам надо поближе с обществом познакомиться, там найдутся и друзья, и развлечения.

— На улицу, что ли выйти да прохожих в друзья скликать? — спросил Панютин.

—Зачем такая эксцентричность? Просто вот заходите ко мне, я вас и познакомлю с молодежью,— сказал кузен Пьер.

Панютин сухо поблагодарил его и ушел.

— Ха-ха-ха! — захохотали Левчинов и граф Родянка.— Для чего вы это такую комедию с этим диким зверем разыграли?

— Субъект интересный! — ответил кузен Пьер и выставил свои зубы.

Собеседники пожали плечами, как будто выражая этим то мнение, что не стоило начинать комедии из пустяков. Граф Родянка даже зевнул, выражая этим томившую его скуку. А кузен Пьер очень многозначительно взглянул на них и стал объяснять дело.

— Этот зверек очень сердит на свое положение и очень скучает,— начал он.— Сверх того, он очень неопытен. Из этого ясно следует, что его легко приманить какою-нибудь забавой к себе.

— Очень нужно нам всяких дураков приманивать,— презрительно промолвил граф Родянка и опять зевнул, точно зевота была задачею его жизни.

— Я не знаю, дурак он или умный, но мне он нужен,— сказал кузен Пьер.— Он, во-первых, мне передаст, любит ли его нареченная сестра своего мужа или не любит, счастлива ли она или нет, а, во-вторых, он передаст своей нареченной сестре, что я интересуюсь ею и жалею ее.

— Так он и станет ей это передавать, если он сам без ума от нее,— лениво заметил граф Родянка, пожимая плечами.

— Вы упустили из виду его неопытность. Он разгорячится и все выскажет сестре.

— Какое ужасное коварство! — с комическим ужасом произнес Левчинов и захохотал.

— Это будет целый роман,— тем же скучающим и носовым тоном промолвил граф Родянка.

Кузен Пьер оскалил свои белые зубы.

— А знаете, ведь действительно было бы интересно увидать первые шаги этого зверька в нашем обществе. Смеху доставило бы много.

— А черт его знает, еще скандал какой-нибудь учинит. Это, кажется, грубая натура,— снова зевнул граф.— Пошло все это и нисколько не весело,— добавил он и помолчал.

— Вы сегодня куда? — спросил он у собеседников через минуту.

— Не худо бы к мисс Шрам,— ответил Левчинов.

— Идет,— ответили остальные и, распрощавшись с обществом Обносковых, понеслись к мисс Шрам, одной из самых отчаянных наездниц цирка.

У нее уже собралась целая ватага разгульной молодежи. Трое новых посетителей были встречены с восторгом.

— Погодите, погодите, я вам скоро новичка привезу! — говорил кузен Пьер.— Дикаря с островов Тихого океана.

Левчинов и граф Родянка опять пожали плечами, как будто удивляясь странной настойчивости кузена

Пьера, и скоро среди шумной оргии у мисс Шрам забыли обо всей пошлой сцене и пошлых разговорах, происходивших между ними в скучном доме Обносковых.

Но у кузена Пьера не выходили из головы два молодые лица: лицо Павла и лицо Груни. Это были два новых актера, которых он мог заставить разыграть какую-нибудь комедию, еще не известного ему содержания, но во всяком случае потешную для него. Как всякий специалист, кузен Пьер принимался за новые, относящиеся к его любимому предмету опыты, не зная, что из них выйдет, но наслаждаясь вперед самым процессом этих опытов и возможностью не сидеть без дела. Сверх того, кузену Пьеру давно приелись азбука и зады его специальности; он заметно старел, не по летам, но по усиленной жизни этих лет, и начинал чувствовать, что и дружба с тридцатипятилетними женщинами, и кутежи с наездницами и актрисами, и возня с пресытившимися друзьями становятся крайне однообразными, что в этой музыке он наизусть знает каждую нотку. Ему нужно было что-нибудь новое, выходящее из ряда этого, по-видимому, бурного и разнообразного, но, в сущности, такого же скучного и однообразного существования, как и существования какого-нибудь канцеляриста с вечной перепиской похожих до крайности одна на другую бумаг.

XII

На краю пропасти

Павел Панютин со дня свадьбы Груни не находил себе нигде покоя, тосковал, худел и ходил, как человек, утративший нечто, составлявшее всю цель его существования. Действительно, в Груне он терял все.

С самого детства никто не следил за ним, не указывал ему дороги, не направлял его мыслей. Он рос, играл, учился, скучал, терпел нападки от людей, озлоблялся; его ласкали или бранили, лечили от недугов и наказывали за лень, но ни один человек не сумел или не счел нужным заглянуть в его душевный

мирок. Но было одно существо, которое никогда не успокаивалось на том, что Павла тогда-то наказали за лень, и спешило помочь ему приготовить трудный урок или решить не понятую мальчиком задачу. Это существо не считало прописанного доктором лекарства вполне достаточным для выздоровления Павла, когда он хворал, но оно проводило дни у постели больного, старалось угадать его желания и облегчить его бессонные ночи своими нежными речами, своим желанным присутствием. Все отношения этого существа к Павлу были проникнуты и согреты истинным чувством нежной любви, и потому каждая мелочь из этих отношений оставила неизгладимый след в сердце впечатлительного юноши. Он равнодушно, почти небрежно принимал дорого стоящие благодеяния Кряжова; не умилялся, получая от него хороший стол, уютную и мило обставленную комнату, отличную одежду и другие необходимые для жизни вещи; он как будто считал исполнение всех этих благодеяний обязанностью доброго старика. Но на его глаза навертывались радостные слезы, он становился весел и счастлив на несколько дней, он прыгал, как дитя, когда доброе существо, пригревшее любовью его сиротствующую душу, дарило ему в день его рожденья какой-нибудь ничтожный по цене кошелек своей работы.

— Милая, милая, ты не забыла этого дня! — в восторге восклицал мальчик, без счету целуя руки своего доброго ангела-хранителя, своей названой сестры.

Во время его недугов Кряжов тратил десятки рублей, сзывая нескольких докторов, покупая множество дорогих лекарств, но Павел не благодарил благодетеля за это, точно сознавая, что тот стал бы лечить и собаку, если бы она захворала, и не дал бы ей беспомощно выть от боли. Но едва владея ослабевшими в болезни руками, он протягивал их, заслышав ночью знакомую воздушную поступь, и когда на край его постели садилось легкое, одетое в белое платье существо, тогда ему вдруг становилось и сладко, и отрадно, и, кажется, никакие лекарства не могли помочь ему так, как помогала близость этого дорогого друга.

— Ты моя сестра, ты моя мама,— шептал он, обвивая исхудалою рукою стройную талию девушки.

— Если бы так вся жизнь прошла! — шептал он еще тише, впадая в забытье.

Ему становилось лучше. Кряжов удивлялся искусству докторов, заставлял Павла благодарить их за выздоровление, а глаза юноши, полные выражения святой признательности, обращались совсем в другую сторону и ловили взгляд той, которая одна могла спасти его жизнь.

Так постепенно в маленьком душевном мирке Павла возникла и развилась эта привязанность. С каждым годом, чем яснее сознавались обиды, чем труднее становилась работа, чем скучнее делалось бесцельное прозябание среди памятников древности, тем более крепла эта привязанность и, наконец, превратилась в страстное болезненное чувство, превратилось в манию, в idée fixe[1], поглотившую все мысли, все стремления, все существо юноши. Он мечтал, как будет счастлива, как будет гордиться Груня, если он выйдет из гимназии с медалью, и учился отлично, был первым учеником. Он знал, что Груня любит кататься летом в кабриолете, и старался наловчиться управлять лошадьми. Он полагал, что Груня скоро станет выезжать на балы, и развивал свою ловкость, чтобы *она* могла сказать, что с ним приятнее танцевать, чем с другими. Он, воспитанный на рыцарских сказках и романах, замечал, что Кряжов дряхлеет, ему казалось, что недалеко время смерти старика, и он заботился о развитии своей физической силы, чтобы быть защитником Груни. Во всем она — побуждение к деятельности, ее счастье — цель жизни. И никто никогда не заметил этого и никто никогда не указал ему ни других побуждений, ни других целей! И все это делалось им потому, что Груня — любимая и любящая *сестра* и не более, так по крайней мере полагал сам Павел. Впервые понял он, хотя и смутно, и степень своих чувств к названой сестре и их характер в тот скорбный вечер, когда она объявила ему о предстоящей своей свадьбе с Обносковым. У Павла в этот вечер точно что-то оборвалось в сердце. До сих пор он до того был удовлетворен своими отношениями к Груне, что никогда даже и не думал о каком-нибудь изменении их в будущем. Ни разу не представлялось

---

[1] навязчивая идея *(фр.)*.

ему, что Груня выйдет замуж, ни разу не мечтал он, что он сам может быть ее мужем. Он любил так чисто, так платонически, как может любить или, лучше сказать, обожать чистая натура на восемнадцатом году жизни. Но первое слово о замужестве любимой девушки вдруг пробудило тоску, злобу, ревность. Однако ни одной грязной и пошлой мысли не было еще в голове. Ни разу еще не представилось Павлу, что он мог бы стать на место Обноскова. Нет, ему просто хотелось сохранить прежнюю жизнь, прежнюю сестру, живущую рядом с ним, не считающую родным никого, кроме его, Павла, и старика отца. Но вот приехал Обноском. Первый поцелуй, первая ласка жениха вдруг перевернули все в груди и голове юноши. Он сознал, что братское чувство прошло и заменилось новым чувством, чувством страсти. Начались бессонные ночи с бредом наяву, явилось стремление бежать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы не видать ни Груни, ни ее жениха, не слышать, не читать о них. «В деревню! в деревню!» — мучительно восклицал Павел, шагая в своей комнате и крепко сжимая руками пылающую голову, как будто из желания сдавить этот мозг, уже богатый юношеским воображением.

Вот и деревня, вся в зелени лесов и полей... Чудные картины бодрой жизни и спокойствия природы встречаются повсюду. Птицы ли в густом лесу поют, пасется ли при блеске яркого дня мирное стадо коров на пастбище, несется ли с веселым ржанием табун лошадей, стуча копытами в вечернем затишье, во всем довольство своей долей, все как будто чувствует себя на своем месте. И среди этой благодати не нашел своей доли счастья только человек. Бедный, оборванный люд, пришибленный с детства судьбою, усиленным трудом добывает свой хлеб. Грязные, мозолистые, тут и там искалеченные руки не отдыхают с утра до вечера от работы. На загорелых, изнуренных лицах, облитых потом, виднеется не довольство, не счастье, но врезались следы тупой покорности и холодной безнадежности... И вот Павел чувствует впервые свое полное одиночество. Безучастный мир и яркий блеск природы не веют на него отрадой. Изнуренный народ вызывает его сожаление, но Павел не понимает, как может обтерпеться человек до такой

безропотности, и ему становится дикою эта безмолвно покоряющаяся судьбе масса. Он понимает, между прочим, что и ей показалось бы не менее диким душевное горе, горе сытого, обутого, одетого, полного сил и молодости человека. Они не поняли бы, осмеяли бы друг друга и были бы правы каждый в свою очередь. Итак, полное одиночество. Теперь Павла не волнение душит, не тоска сосет, не злоба будит от сна, нет, в нем какое-то новое чувство, чувство пустоты. Кажется, все живое смотрит на него без участья или, вернее сказать, совсем не смотрит на него, точно его нет на свете. «А ведь и точно, не будь меня,— на свете ничего не убавилось бы, как не убавилось бы ничего со смертью Кряжова или Обноскова»,— думается ему, и он понимает, что эта мысль верна, и что люди правы, не замечая его. Он пробует мечтать о будущем, но мысли не клеятся, и он сознает, что ему не о чем мечтать: не все ли равно ему, что с ним будет, чем он будет? Его самого не манит еще никакая деятельность, да он и не знает, в сущности, какой-нибудь деятельности. Цели у него также еще нет. «Быть доктором хорошо, ну, лечить людей буду; быть адвокатом тоже недурно, буду защищать подсудимых; быть технологом, и это можно, буду строить машины для перевозки, для прокормления людей, и все-таки никому не будет до меня дела, как никому нет дела до Кряжова, до Обноскова, до всех встреченных в жизни личностей». А давно ли у Павла были и побуждения, и цель для жизни? Попробовал юноша читать: стихи все воспевают природу, лунные вечера и ночи, описывают восторги дружбы, оплакивают разлуку с *ним,* славят *ее,* воспевают блаженство, безумие и муки любви; романы и повести тоже полны прелестями дружбы и восторгами любви; герои имеют друга — они блаженствуют; они имеют милую — цель их жизни достигнута, они на земле видят рай; умирает их друг — они не находят отрады на земле; покидает их возлюбленная — они умирают. Дружба, любовь, семья, вот все цели жизни, вот все ее мотивы. У Павла не было ни друга, ни милой, ни семьи, он сознавал и без книг, что его цель жизни утратилась, и незачем ему было еще бередить свои раны и подтверждать свое скорбное убеждение. И стоило ли для таких жалких истин писать книги? Он бросил книги, и снова

кругом и внутри его была пустота, пустота, одна страшная пустота!

Кто бы вы ни были, мой читатель, вспомните свои юношеские годы и не бросайте камня в моего искалеченного героя, он простое повторение вас самих. И вас в школе научили географии, истории, математике, латинскому и греческому языкам и множеству других наук и языков и выпустили на волю. Для какой цели вы вслед за своими родителями считали пригодными все эти знания? Если вы были пустым юношею, вскормленным страстными к чинам и деньгам людьми, то вы мечтали кончить курс в высшем учебном заведении, сделаться чиновным человеком, приобрести значение в свете и нажить состояние на радость любимым отцу и матери, потом жениться на богатой и прекрасной женщине, зажить мирно и широко, воспитуя детей,— и только. В этом состоял весь пошлый идеал вашей жизни, сытой, мирной, спокойной. Если вы были хорошим товарищем и запаслись с детства двумя-тремя друзьями, то к этому идеалу прибавлялось счастие этих двух-трех друзей. Если у вас, сверх того, уже успела вспыхнуть любовь на школьной скамье, то к идеалу прибавлялось еще одно желание — жениться непременно на царице своего сердца и доставить ей блаженство, равняющееся вашему собственному счастию. Дальше этого не могло идти ваше желание. Член семьи и не более по рожденью, вы могли только желать быть членом семьи и в будущем. Но если слепая судьба отнимала у вас одну за другою все эти немногочисленные личности, тогда что оставалось у вас, кого вы могли надеяться порадовать своим успехом, для кого вы могли желать трудиться? Для чужих, безучастно смотрящих на вас людей? Нет! Изломанные утратами всего близкого, вы опускали в отчаянии руки и проклинали эту безучастную, холодную толпу, а она, состоящая из личностей такого же развития, как вы, или проходила со своими семьями, со своими друзьями, не обращая внимания на вас, или давила вас с помощью этих семей и друзей, швыряя в вас грязью, как в лишнего человека, занимающего клочок земли и частицу богатства, отнятые у нее. Как член своей семьи, вы с колыбели были врагом всех других семей, а эти семьи, в свою очередь, враждебно относились к вам. Никто никогда

не разъяснял вам в золотую пору детства, что прежде чем сделаться членом в своей семье, вы сделались гражданином, членом обширной, не умирающей семьи — общества. Только оно могло дать средства вашим родителям, за их услуги ему, обзавестись своим домом и воспитать вас. Только оно, а не ваши родители, могло приготовить для вас школу. Только оно могло обещать вам в будущем и чины, и богатство, и возможность семейного счастья. Но для того, чтобы оно могло, не делая несправедливости, дать вам все эти блага, оно требовало вашей службы, вашей помощи, вашей любви к нему, одним словом, всего того, чего требовала и ваша частная семья. Но люди озлобленно ратуют на словах против эгоизма, стремятся убить речами этот неискоренимый, прирожденный инстинкт, и в то же время всеми своими поступками делают в детях этот инстинкт только еще более грубым и бессмысленным, тогда как, направленный ко благу, он мог бы быть началом всякого добра. Дети самых честных людей чуть не с пелен приучаются мечтать о своих чинах, о своем богатстве, о своей благотворительности, о своем счастье с любимым другом, с любимой подругой, с милыми родными; но никогда не научат ребенка тому, что это счастье может явиться только тогда, когда мы заслужим его от общества, что общество не должно ничего давать нам, если мы ничего еще не заслужили, что даже самая хвалимая благотворительность наша есть только грустное свидетельство нашего непонимания роли гражданина: гражданин не может быть благодетелем, как не может быть семьянин благодетелем своих отца, матери и детей; наша помощь ближнему есть просто служба, ради которой нас не выталкивают вон из общества и считают его членами. Если бы нас научили с пелен любить общество и считать себя прежде всего его членом, то никогда в жизни мы не потеряли бы жажды жить, никогда не осиротели бы, никогда не спросили бы себя: для чего я буду работать? для того, чтобы умереть незамеченным, нелюбимым, одиноким? Не было бы счета нашей родне, не было бы числа нашим друзьям, не было бы границ нашей деятельности и никогда не знали бы мы, что значит скука, отчаянье и бесцельность жизни. Теперь же, состоя на службе, вы видите первых своих врагов в

сослуживцах, как в людях, перебивающих у вас выгодное место; делаясь простым работником, вы видите врагов в ближайших к вам работниках, как в людях, могущих получить от хозяина большую плату, чем получаете вы; являясь проповедником известных идей, писателем, вы топчете в грязь именно тех, кто проповедует ваши идеи: вы видите в нем человека, могущего стать выше вас по своему значению. Служба, труд, идеи — это все только средства для вас достигнуть личного, узенького, подлого счастья для себя и для своей семьи.

Прошло для Павла тяжелое лето, наступила осень и время поступления в университет. Это не было началом студенческой жизни, а просто хождением на лекции, мало интересовавшие Павла и среди которых он узнавал иногда и такие вещи, что «не следует ни под каким видом читать Милля», что «Нимфа Эгерия помогала Нуме Помпилию при составлении законов», что «в петербургской губернии есть годные земли, продающиеся по пяти-десяти копеек за десятину», что «смертная казнь необходима» и что «законы составляются для подданных, а подданными называются люди, обязанные повиноваться законам» и т. д. Слушая среди многих полезных сведений и подобные диковинки, он охладел ради этих диковинок и к полезным знаниям, и скучал. Сотни студентов между тем ходили по университетским коридорам отдельно, поодиночке, как монахи в монастыре, углубленные в созерцание; между ними, кажется, не было и не могло быть ни малейшей внутренней связи. Если где-нибудь сходились три человека, то они спешили тотчас же разойтись, завидев начальство. Общие толки поднимались только по поводу составления литографированных лекций, и эти толки оканчивались резкими и грубыми ссорами, так как дело шло о приобретении лишней копейки бедняками, знавшими, что товарищество не поможет и не имеет возможности помочь им, если они будут голодать. Непривыкший без того к товариществу, Павел при этих жизненных условиях еще менее находил возможности сблизиться с кем-нибудь из студентов. Ему было скучно в этих стенах, среди этой отчужденной толпы, как бывает скучно какому-нибудь юному конторщику в немой, как могила, конторе за перепискою непонятных и противных бумаг,

от которых конторщик видит, может быть, пользу хозяину, но никак не себе. Не веселее было и дома. Единственный дом, где мог Павел встретить общество, был дом Груни. Но именно сюда-то и старался как можно реже заглядывать юноша. Он не сердился на Груню, но ему было тяжело видеть ее, если она казалась счастливой и веселою; ему становилось еще тяжелее, если она являлась опечаленною и несчастною. Да и сама она старалась избегать встреч и разговоров с ним. У нее на это были свои основательные причины. Она боялась разжигать любовь Павла и хотела, чтобы время охладило эту страсть; она смущалась, ожидая расспросов юноши о ее счастье, так как перед этим юношею она не могла ни за что на свете солгать и описать небывалое блаженство своего настоящего положения; она трепетала от страха, что первая откровенная беседа откроет ему в настоящем свете ее скорбную жизнь и отнимет у него возможность спокойно заниматься, подтолкнет его, может быть, на какой-нибудь необдуманный поступок, который без всякой пользы для кого бы то ни было из них сразу может открыть глаза и ее мужу, и ее отцу. Вообще в отношениях молодых людей проглядывала какая-то застенчивость и стремление отдалиться друг от друга. И здесь чувствовалась пустота.

В одно из редких появлений Павла в доме Обносковых мы слышали его разговор с кузеном Пьером. Этот разговор еще более уяснил Павлу, как скверно его положение, как важен для него недостаток товарищей и друзей. Но Павел не поспешил воспользоваться знакомством кузена Пьера и не пошел к нему. Он, напротив того, еще упрямее затворился в одной из келий кряжовского монастыря, среди памятников отжившего мира. Пустота в душе и пустота кругом делались между тем все страшнее и страшнее. В одни из дней непроходимой скуки, когда Павел лежал с книгою на постели и не участвовал мыслью в чтении, в его комнату шумно отворилась дверь.

— Вхожу к вам, милый послушник, без позволения игумена,— засмеялся кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов.— За это не будет выговора?

— Нет,— ответил Павел, поднимаясь с кровати и бросая книгу в сторону.

— И выходить из монастыря вы можете, не дожидаясь благословения отца-игумена? — шутил кузен Пьер, здороваясь с ним.

— Могу.

— Ну и отлично, потому что я хочу вас сегодня похитить отсюда. А у вас тут все по-старому,— осмотрелся кузен Пьер кругом: — Все памятники приросли к месту и находятся налицо.

— Куда же им деваться? — с досадою пожал плечами Павел, точно он желал, чтобы все эти древности провалились сквозь землю.

— Да, да, куда им деваться! На обыкновенные кладбища хоть воры забираются, воруют разные бронзовые крестики, а ваш монастырь даже и от воров-то каменною стеною отгорожен. Однако одевайтесь и поедем.

— Я сегодня, право, не расположен никуда ехать...

— Вздор, вздор! — зачастил кузен Пьер.— Уж вы потому должны ехать, чтобы загладить свою невнимательность ко мне: я вас звал к себе, а вы в течение двух недель не хотели найти свободной минуты на посещение и даже скрылись из дома Обносковых, чтоб не видать меня.

— Право, я этого не имел в виду,— начал с смущением Павел, совсем не привыкший к шуткам кузена Пьера.

— Пожалуйста, не отговаривайтесь,— с поддельною серьезностью говорил кузен Пьер.— Но, видя, что вы не являетесь туда для избежания встреч со мною, я, конечно, мог прийти к тому заключению, что мне должно оставить дом Обносковых, так как посторонний человек не должен быть причиною разрыва между близкими родственниками. Согласитесь, что вы должны убедить меня, что вы не из-за меня не бываете у родных.

— Поверьте мне,— начал оправдываться Павел, совершенно не понимая, насколько серьезности и насколько шутовства заключалось в речах кузена Пьера.

— Ну, ну, отговорки в сторону и одевайтесь! — командовал кузен Пьер.— Я сяду спиною, чтобы не стеснять вас.

Кузен Пьер действительно уселся спиною к Павлу. Тот стал одеваться. Но пробыть пять минут в одном и том же положении было не в характере кузена Пьера, а потому через минуту он не только сидел лицом к Павлу, но даже мешал ему одеваться, стоя перед самым его носом и с жаром объясняя ему, что проводить молодые годы в такой обстановке, в таком одиночестве нелепо и непрактично, что нужно жить полной жизнью и знакомиться с тем обществом, которому скоро придется служить. Затем следовали описания какого-то блестящего маскарада, далее речь перескочила к кобыле графа Родянки, помявшей какую-то нищую на Невском, от этой кобылы был сделан скачок к одной заезжей наезднице, которую подавали где-то во время десерта au naturel. Наконец, Павел, стыдившийся одеваться при кузене Пьере, красневший от цинизма его рассказов, был одет.

XIII

Продолжение предыдущей

— Куда же мы поедем? к вам? — спросил он, выходя из дому.

— Нет, в цирк. Сегодня бенефис мисс Шрам. Прекрасное создание. Грация какая, сила в ногах, просто чудо! — восхищался кузен Пьер, садясь вслед за Павлом в роскошные сани с медвежьею полостью.

Бородатый толстый кучер едва успел застегнуть одною рукою эту полость, как нетерпеливый рысак рванулся с места и понес путников, взметая снег, по гладкой зимней дороге.

— Чудная лошадь! — вырвалось невольное восклицание у Павла.

— А вы любите лошадей? — спросил кузен Пьер.

— И лошадей, и быструю езду,— ответил Павел, любуясь рысаком и вспоминая свои летние катанья с Грунею в деревне.

— Черты русской широкой натуры,— вскользь заметил кузен Пьер, оскалив зубы.

Павел молча наслаждался поездкой. Морозный, зимний вечер, блеск фонарей, неистовые «пади» бой-

кого кучера, мелькание экипажей и ярко освещенных магазинов — все это представляло какую-то дикую, не лишенную непонятной прелести картину. Наконец, сани сразу остановились у освещенного подъезда цирка среди густой массы извозчиков, карет, пешеходов и надрывающих горло полицейских и жандармов. Кто-то подскочил отстегнуть полость саней кузена Пьера, помог ему выйти, распахнул перед ним дверь; в коридорах солдаты, хранящие верхнюю одежду публики, низко раскланялись с кузеном Пьером и сняли на ходу его пальто; буфетчик спросил его о здоровье; какой-то волтижер, еще одетый в собственное пальто сомнительной новизны и сомнительного достоинства, с заискивающей улыбкой пожал милостиво протянутую ему руку кузена Пьера.

— Не забыли-с, что сегодня бенефис мисс Шрам,— осмелился он, улыбаясь во весь рот, заметить ломаным русским языком.

Кузен Пьер ответил ему что-то по-английски, на что волтижер дал ответ на ломаном английском языке. Кузен Пьер сказал на это какую-то французскую фразу и получил исковерканный ответ на этом же языке. Затем последовали две немецкие фразы, из которых одна была сказана неправильно.

— Десятью языками владеет и все десять подлые,— заметил кузен Пьер Павлу, поворачиваясь спиной к волтижеру.

— Кузен Пьер! Фетидов! Петр Петрович! — раздались со всех сторон восклицания, и Павел вдруг был отрезан от кузена Пьера толпой блестящей молодежи.

Тут были военные мундиры, статские щегольские пиджаки, треугольные шляпы с невообразимо шикарно загнутыми кверху носами, красные и зеленые воротники, офицерские эполеты и юнкерские погоны, стеклышки в глазах, pince-nez на носах, блеск мишуры и газовых огней, шум сабель и оглушительный вой и визг гадейшего из самых гадких оркестров; французские полированные фразы и петушье пение клоунов, пискотня нарумяненных наездниц, одетых еще в свои платья, и ржанье коней в соседней конюшне, запах bouguet de l'Impératrice и вонь навоза, матушкины сынки и конюхи, свежесть едва начинающейся розовой молодости и морщины гнусной, истасканной в раз-

врате старости. Толпа волновалась, сходилась и расступалась в широком проходе между ареной и занавесом в конюшни, и потому было видно, что она здесь своя, что все ее члены — члены одной семьи и принадлежат к цирку, а не к той терпеливо и тупо сидевшей публике, которая купила себе места, чтобы полюбоваться, как люди за ее деньги ломают шеи для ее потехи. Эта публика впивалась глазами в наездниц и наездников, рассматривая подробно этих голодных смельчаков, готовых искалечить себя из-за куска хлеба; для этой публики отважные смельчаки были какой-то диковинкой. Но не обращала никакого внимания на штуки этих смельчаков та толпа «своих людей цирка», среди которой очутился кузен Пьер и за которой стоял Павел. Эта толпа только подавала сигналы глупой и не посвященной в тайны публике, когда надо хлопать и когда следует хранить молчание. Это клакеры, платящие большие деньги за право хлопанья. Это кормильцы и поильцы голодной стаи балаганных кривляк. Это жалкие остатки прежних владетелей крепостных актеров и актрис.

Павел был ошеломлен этим шумным, блестящим и непривычным для него зрелищем и не мог сразу опомниться, к тому же у него почти под ухом проклятый оркестр гремел и визжал, заливаясь персидским маршем. Мужественные трубы и литавры, казалось, силились заглушить бабий визг пискливых скрипок, а скрипки, в свою очередь, наперерыв друг перед другом старались взвизгивать, как можно резче и чаще, точно это был шабаш ведьм, не слушающих басовых приказаний сатаны замолчать.

— А где же мой юный друг? — очнулся кузен Пьер и, увидав Павла, представил его толпе своих друзей.— Охотник до лошадей,— отрекомендовал он.

— А до наездниц? — спросил кто-то носовым голосом.

— Все придет, все придет своим чередом! — успокоил кузен Пьер.

К Павлу протянулась рука графа Родянки.

— А ты заметно стареешь,— насмешливо шепнул кузену Пьеру Левчинов.— Начинаешь делаться наставником и покровителем юношества.

— Что делать, что делать! — воскликнул с ироническим добродушием кузен Пьер.— Надо что-нибудь

новое, свежее, вы все стали до крайности однообразны, повыдохлись и приелись.

— Это значит платить тою же монетою,— засмеялся Левчинов.

— Господа, чур сегодня не вызывать Маньку! — обратился кто-то в толпе к окружающим.— Маньку надо проучить. Она ласковее, когда ее проучат.

— За себя ручаюсь. Я сегодня буду аплодировать только юному Банье. Да здравствуют юноши и их свежесть! — воскликнул кузен Пьер.

— Пойдемте в буфет, теперь дура Лорен будет трясти свои старые кости на старой кляче, а потом Феликс будет ломаться,— проговорил кто-то раздражительным голосом.

— И черт их дергает высылать таких уродов ребят, как Феликс, или таких старых ведьм, как Лорен! — заметил кузен Пьер.— Кому они нужны!

Толпа, с громом сабель и шумом речей, хохота и брани против распоряжений цирка, двинулась в буфет через конюшни, где приготовлялись волтижеры и украшались лошади.

— Сейчас начинается,— заметил, раскланиваясь, содержатель цирка своим дорогим посетителям.

— Что начинается-то? — ответили ему.— Скелет вашей Лоренши будут волочить по арене? Толстый живот и кривые ноги вашего слюнявого Феликса будут показывать зевакам?

— Пра-о, к вам по-адочные люди пегестанут ездить, если вы так будете состаа-лять афиши.

Содержатель цирка, привыкший понимать язык клоунов, понял и эти произнесенные в нос и исковерканные слова и униженно раскланялся, постарался подобострастно улыбнуться и робко заметил:

— Что делать, что делать! Хороших сюжетов мало и они капризничают, не хотят себя утомлять. А надо как можно более нумеров для афиш. Публика ценит продолжительность представлений.

— Ка-а-кая публика? Эта-то? — с презрением кивнули в толпе головами по направлению к массе, терпеливо ожидающей представления.— Много она принесет вам доходу!

— Ду-аки эти ди-ектога цигков,— говорил кто-то в толпе.— Не понимают, что все эти ка-а-мелии никогда

не заглянули бы к ним, если бы пгедставления длились всю ночь, но не было бы нас. А с гайка сбог невелик.

Павел остался между тем на своем месте и не пошел в буфет.

Первые два нумера прошли вяло: протаскала по арене разбитая кляча Фанни такую же разбитую клячу Лорен, и обе пошли отдыхать в свои стойла, и, вероятно, стойло Фанни было гораздо лучше, уютнее и теплее стойла Лорен, давно приютившейся среди обносков и хлама старых тряпок в грязной каморке, не то гардеробной, не то кладовой в богатой квартире мисс Шрам, у которой Лорен занимала место среднее между горничной и — как бы это прилично выразиться — секретарем в юбке, объявлявшим поклонникам мисс Шрам, *что* нужно сделать, чтобы добиться знакомства юной повелительницы. После старых кляч Фанни и Лорен на арене показал свои действительно кривые ноги и действительно толстый живот, облеченный в трико тельного цвета, Феликс. О! лучше бы он никогда не облекался в трико, лучше бы никогда не появлялся на арене со своими вывихнутыми ногами! Он поломался, погнулся по-змеиному, потряс во все стороны тысячу раз своею большой головой, как привязанным на нитке узлом ненужного тряпья, потом скрылся и под рукоплескания райка выбежал снова, перекувырнулся десять раз в навозной земле арены и встал в позу летящего амура, отставив одну кривую ногу назад, выпятив вперед живот и поднося с лакейскою ловкостью правую руку к губам, что должно было означать благодарственный воздушный поцелуй публике со стороны этого милого младенца. После такой любезности милый младенец легко повернулся на одной кривой ножке и убежал, снова вызвав новые рукоплескания райка. Лицо этого невинного младенца тотчас же изменилось, как только за ним задернулась занавеса. Там он обернул голову по направлению к публике и, искривив свое невинное личико уродливой гримасой, высунул язык. Воспользовавшись удобным случаем, ему кто-то из милых малюток цирка подставил ногу, и Феликс грохнулся на землю. Завязалась драка. В это время выводили лошадь для мисс Шрам, и берейтор очень бесцеремонно и дружески хлестнул своим бичом по невинно забавлявшимся

малюткам. На лице одного из невинных младенцев осталась розовая от выступившей крови полоса.

Начался плач, но шум сабель и говор заглушили эти хныканья и прекратили сцену; за лошадью мисс Шрам из-за занавесы высыпала толпа конюхов и молодежи; между этими членами семейства цирка порхнуло воздушное, коротенькое газовое платье, усеянное камелиями, и легкие ножки, обтянутые в шелковое трико, резво помчали по направлению к коню мисс Шрам, рассыпавшую во все стороны воздушные поцелуи рукоплещущей публике.

— Бра-о, бра-о! — неистовствовала толпа клоунов и кутящей молодежи.— Бра-о!

Клоуны коверкали язык для возбуждения сильнейшего смеха в публике своим полнейшим унижением и исключением себя даже по языку из человеческого общества; блестящая молодежь коверкала тоже свой язык, но только из чувства сознания своего достоинства, не позволяющего говорить языком людей.

— Без буфф! — радостно шепнул кузен Пьер, помещаясь возле Павла.

От кузена Пьера пахло шампанским.

Кузен Пьер продолжал делать свои замечания, одно циничнее другого, но Павел уже не слушал его и впился глазами в носящуюся по арене мисс Шрам.

В этой, еще прекрасной, хотя и не первой молодости, женщине было действительно какое-то безумное, бесшабашное и опьяняющее ухарство. Она неслась по арене, щелкая бичом и прерывистым диким криком подстрекая лошадь, неслась с такою быстротою, как будто за ней гналась стая голодных и бешеных волков, и у нее самой была тысяча жизней и все одна другой ненужнее, одна другой постылее. Вся масса кровожадно приковалась глазами к этому летающему в воздухе существу. Только гиканье берейторов и мисс Шрам да хлопанье бичей нарушали тишину. Вдруг какой-то клоун зазевался и не успел продернуть полотна, через которое прыгала мисс Шрам, и она на всем скаку слетела с лошади на землю. Павел вскрикнул и вскочил... Но в ту же минуту мисс Шрам снова неслась на лошади и, погрозив пальцем неосторожному клоуну, снова кричала прерывающимся, диким голосом, и цирк оглушали неистовые рукоплескания одуревшей, опьяненной толпы дикарей. Казалось, что

сотни обитателей сумасшедшего дома собрались сюда устроить свой бешеный шабаш. Какой-нибудь африканский дикарь, привыкший к самым звероподобным кривляньям, удивился бы при виде этого безумного ломанья цивилизованной толпы. Но каково было бы его удивление, если бы он мог понять, что на эти ломанья бросаются десятки тысяч образованными людьми? Но мы присмотрелись к этому безумию и давно потеряли способность удивляться чему бы то ни было.

— Чего вы испугались, юноша? — промолвил рукоплещущий кузен Пьер.— Это часто бывает. Беды большой нет. Декольтирует на минуту свои ножки, вот и все.

Но хладнокровие и уверенность мисс Шрам уже были потеряны. Строптивая и раздражительная, она смотрела гневно, с ее лица исчезла приветливая улыбка, и глаза сверкали злобой; в ее ноге чувствовалась легкая боль, но скачки наездница не прекращала. Еще было сделано два круга, на половине третьего круга мисс Шрам снова зацепилась за обруч и полетела, но уже не на арену, а по направлению к бенуару; стукнулась коленями о барьер, перекувырнулась в воздухе и без чувств упала под ноги какого-то офицера. Неосторожный клоун с обручем в руке тоже покатился в ложу и всей массой своего тела стукнулся о голову другого господина, сбив с него шляпу. Мисс Шрам не вставала; ее подняли и повели под руки к конюшне, хотя лучше было бы ее нести, так как ее ноги не двигались. Часть публики двинулась к конюшне, но туда допускали только «своих людей», в число которых попал и Павел по протекции кузена Пьера, а остальным говорили, что «все пустяки», что «последствий не будет». На арене уже кувыркались и пели петухами клоуны... Через четверть часа мисс Шрам под крики «бра-о» раскланивалась публике.

— Вы так испугали этого молодого человека, что он крикнул и чуть не упал в обморок,— заметил ей кузен Пьер, указывая на Павла и скаля зубы.

— Thank you![1] — мелодическим голосом произнесла она и дружески сжала на ходу руку юноши.

Он воротился на свое место в восторге.

— Если вы не выгоните этого мерзавца, я отказываюсь ездить,— говорила между тем мисс Шрам со-

[1] Спасибо! *(англ.)*

держателю цирка за занавесой злобным голосом и с искаженным от гнева лицом.

Человек, названный ею мерзавцем, стоял, понурив голову. Его лицо было худо и старо и разрисовано зеленой, красной, желтой и черной красками. В этом положении он был похож на какого-то голодного черта в отставке и казался тем смешнее, чем жалостнее было выражение его лица. Плач шута всегда вызывает смех. Около него стоял оборванный и тоже худой мальчуган — его сын. Дома лежала больная жена и копошилось еще четверо детей.

— Мисс Шрам, я штраф внесу,— проговорил он жалобным тоном.

— Что мне в вашем штрафе? — сердито ответила она и скрылась в толпе клоунов и своих поклонников.

— Сходи к Лоренше, авось, устроит дело,— сказал кто-то попавшему в опалу клоуну.

— А штраф ты все-таки внесешь,— сурово произнес содержатель цирка.— Без этого уж не обойдется, любезный друг! Пользы не приносите, а только гадите! Кому ты нужен? Кто тебе аплодирует? Как ни раскрашивай свою харю, а все на одра похож. Смотреть гадко! Тьфу! Ты думаешь, публике нужна такая старая сволочь, как ты?

Клоун стоял, понурив голову; он сам сознавал в душе, что он давно уже не слышал рукоплесканий себе, что он давно пережил ту пору, когда его дарили, когда его приветствовали, когда он мог являться перед толпой с природным румянцем на молодых, покрытых первым пухом щеках, в полупрозрачном шелковом трико, возбуждая восторг зрителей своей фигурой Аполлона! Теперь он был похож на поросшую мхом, отвратительную руину, полную гнилья, летучих мышей и червей, мозолящую глаза зрителя среди прелестей новых, сверкающих свежестью и красотою зданий.

А представление шло своим чередом. Крики «бра-о» не умолкали. Клоуны выделывали свои невообразимые штуки, присяжные посетители, «свои люди цирка», громко выражали свои мнения. Кузен Пьер разжигал своего юного ученика и нового друга своими замечаниями насчет удалых наездников и наездниц. Павел не мог преодолеть своего увлечения красотою лошадей и отвагой людей. Для него, для новичка в

этом месте, было что-то одуряющее во всей этой массе разнообразных впечатлений. Его душу волновали то страх за наездников, то восторг за удачное окончание трудных прыжков, то удивление перед пламенным оживлением артистов, то иногда проскальзывало живое чувство грусти за унижение человека. Но каковы бы ни были все эти чувства, они все приводили к одному результату — к опьянению. Оно усилилось еще более, когда в антракте Павлу предложили бокал шампанского; когда кто-то подошел к нему со словами: «паа-зольте закугить паа-пи-осу!» и начал восхищаться артистками, рассказывая, что они еще пламеннее вне цирка; когда мисс Шрам в мужском охотничьем платье стала танцевать ирландский танец на натянутом канате, то поднимаясь на воздух, то садясь на эластический канат и сразу поднимаясь с него снова на воздух,— Павел пожирал глазами эту пламенную, черноволосую и черноглазую женщину и не мог оторвать от нее взоров, когда она на время останавливалась и, пронзая насквозь зрителей своим взглядом, с минуту, не смигнув, мрачно глядела жгучими глазами исподлобья на кого-нибудь из них. Казалось, в эту минуту она выбирала свою жертву и ставила себе задачею смутить эту жертву одним своим медленным, пронзающим, жгучим взглядом. Один этот взгляд вызывал бешеные рукоплескания, а мисс Шрам, только натешившись вполне смущением избранной жертвы, только наслушавшись досыта рукоплесканий, прояснялась улыбкой и снова порхала по канату. Павел не мог сдерживаться и неистово рукоплескал ей. Ему казалось, что страсть, кипевшая в нем самом в памятный для него скорбный вечер у Кряжова, должна была именно так отражаться на его лице, и ему чудилось, что мисс Шрам так же, как он сам, тщетно жаждет любви и, может быть, страдает.

Когда представление кончилось, кузен Пьер промолвил Павлу:

— Ну, вы довольны?

— Да,— ответил бессознательно Павел.

— Здесь по крайней мере не скучно и нет вялости. Черт знает, как отупляют человека скука и вялая жизнь. Я пригласил бы вас и на пикник с нами, но на первый раз с вас довольно... А то послушали бы, как поет мисс Шрам английские песни и как танцует

джиг. Чудо! Это огонь женщина!.. Ну, да время не ушло; увидите еще!

Павел стал прощаться.

У подъезда стояло несколько троечных саней, и около них толпилась, хохотала и шумела буйная масса блестящей молодежи и раздавались веселые и звонкие женские голоса. Все ждали только мисс Шрам, чтобы тронуться в путь; кони давно уже храпели от нетерпения. Вдруг среди этой суматохи и этого шума Павел услыхал за собою смелый и скорее юношеский, чем женский голос; этот голос напевал одну из элегических наивных песен Бёрнса. Павел настолько знал по-английски, чтобы понять простые и трогательные слова этой песни. Он обернулся, перед ним стоял стройный юноша, с немного откинутой назад головой и вьющимися черными кудрями.

— Бра-о, бра-о! Мисс Шрам! Мисс Шрам, вас ждут! — раздались крики у саней, и юный певец шаловливо, с громким смехом, вскочил в сани.

Все заговорило, захохотало, в воздухе раздался свист разгульных троечников, прозвучало ржанье коней, голос кузена Пьера произнес: «Прощайте, Поль!», шаловливый юноша-певец крикнул: «Adieu, my poor boy!» [1],— и через миг кругом Павла все было тихо, темно и безлюдно, а в его ушах все еще звенел веселый хохот и серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!» Ему чудились блестящие огнями загородные залы богатого отеля, танцы, веселье, беззаботный хохот, стройный юноша-певец с жгучими, впивающимися в душу глазами, и среди этого веселья и шума слышались серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!» У Павла шумело в голове шампанское, его била то лихорадочная дрожь, то бросало в горячечный жар; с трудом дотащил его на своей хромой кляче ночной извозчик до дома, с трудом добрел он до своей мрачной, безмолвной, похожей на могильный склеп комнаты, с трудом улегся он в холодную постель, тоскливо стараясь уснуть и заглушить эти неотступные, благословляющие его на сон и в то же время отгоняющие сон серебристые звуки: «Adieu, my poor boy!»

Отныне долго не будет он знать спокойного сна!..

---

[1] «Прощай, мой бедный мальчик!» *(англ.)*

XIV

Домашний ад и случайное перемирие

Груня все чаще и чаще стала подумывать об объяснении со своим мужем насчет отношений к ней Марьи Ивановны и выжидала удобной минуты. Ей становились невыносимы нападки свекрови, и она еще верила отчасти в возможность как-нибудь уладить дело с мужем. Но, прежде чем она успела привести в исполнение свое намерение, в их доме случилась неожиданная тревога, отвлекшая еще более внимание Алексея Алексеевича от его жены и ее положения. Он случайно узнал о поданном ко взысканию векселе в пятнадцать тысяч, данном Стефании Высоцкой покойным Евграфом Александровичем. Расстроенный и раздраженный вернулся Обносков домой, узнав эту новость. Его лицо вдруг пожелтело более обыкновенного, губы дрожали и кривились какой-то неестественной улыбкой.

— Каково! — улыбаясь, говорил он задыхающимся от злобы голосом, обращаясь к матери и жене.— Высоцкая представила вексель, подписанный дядею. Пятнадцать тысяч требует.

— Да она взбесилась, что ли! — неистово воскликнула Марья Ивановна, всплеснув руками.— Кто это ей их даст? Вот нашла дураков!

— Да как же вы не дадите-то? — с негодованием прохрипел сын и засмеялся каким-то глухим смехом.

— Да ведь ты, батюшка, законный, единственный наследник всего имущества дяди.

— Ну, что ж из этого? Законный наследник! А что я наследовать-то буду? Много ли останется имущества за вычетом пятнадцати тысяч?

— Да ты уж и впрямь не хочешь ли уплатить ей эти деньги? — изумилась мать.

— Да поймите вы, что у нее в руках законно написанный вексель!

— А ты скажи, что она украла его. Ведь я образ со стены сниму, к присяге пойду, что она его украла.

Она с сыном и придушила братца и выкрала, верно, бумаги.

— Да что вы говорите? Это не сохранная записка, а вексель, вексель! Понимаете ли вы? Тут никакой речи не может быть о воровстве. Украла или нет, а все-таки уплатить по нем деньги нужно.

— Что же мы делать-то будем? Беззащитные мы горемыки! Господи, за что ты на нас испытание посылаешь? — хныкала Марья Ивановна, ломая руки.

— Я думаю съездить к ней, образумить ее... Ведь она грабит законных наследников... Должна же у нее быть хоть капля совести,— говорил Обносков, совершенно теряя рассудок и самообладание.

— Мне кажется, Алексей,— вмешалась Груня,— что тебе и хлопотать не о чем. Слава богу, что дядя так честно распорядился и не оставил нищими законных наследников.

— Ты с ума сошла? Дура! — с гневом сказал Алексей Алексеевич и, плюнув, вышел из комнаты.

— Да вы это кого законными наследниками-то называете, матушка? — воскликнула Марья Ивановна, отирая торопливо слезы.

— Детей дяди и его жену,— ответила Груня.

— Господи! До чего мы дожили! — всплеснула руками Марья Ивановна.— Вы бы стен-то постыдились! Публичную женщину женой называете, незаконнорожденных выкидышей законными детьми признаете! И хоть бы кто-нибудь чужой это говорил, а то говорит родная, по закону венчанная жена... Не вы бы говорили, не я бы слушала!.. Да вам муж-то что? Пешка? Вы на чей счет-то живете, что его деньгами не дорожите? Уж не на свой ли? Нет, ваш милый папенька баловал вас, холил, а капитала, небось, за вами не дал. «Я, говорит, буду ежегодно давать на содержание»,— пискливо произнесла Марья Ивановна, должно быть, подражая басу Кряжова, и плюнула.— Ишь какой добрый! Нет, а ты дай весь капитал, весь капитал дай, а на одном содержаньи не отъезжай! Старый надувало! Скряга поганый!

— Марья Ивановна, я долго терпела,— заговорила Груня взволнованным и дрожащим голосом,— но теперь терпение лопнуло. Всему бывает конец. Вы ежедневно придирались ко мне, я молчала. Но с некоторого времени вы стали делать намеки на то, что

я ничего не принесла за собою, бранить моего отца... Вы сами знаете, что это гнусная ложь, что вы и мой муж живете, большею частию, на деньги, выдаваемые моим отцом. Я об этом напоминаю вам затем, чтобы вы не смели более упрекать меня и бранить моего отца.

— Ах, матушка, расхвасталась своими деньгами,— с пошлой иронией развела руками Марья Ивановна.— Да что ваши деньги? Тьфу! Плюнуть и ногой растереть. За Леню и не такую бы нищую отдали, как вы. Нашли бы мы и получше невесту.

Груня с отвращением взглянула на свою свекровь.

— Если бы я не уважала себя, то только в таком случае я могла бы говорить с вами,— промолвила она.— Но я еще уважаю себя и считаю невозможным препираться с вами вашим же площадным языком; другого же языка вы не понимаете и не поймете. Но замечу вам раз и навсегда, и прошу вас это понять и помнить, что мы не можем жить вместе...

— Ну, матушка, не с сыном ли меня разлучить думаете? — перебила Марья Ивановна.— Так ошибаетесь, ошибаетесь! Дудки! Далеко кулику до Петрова дня. Не видать вам этого, как своих ушей без зеркала. Не выжить вам меня отсюда.

— Я и не говорю, что я непременно вас выживу,— холодно ответила Груня.— Я утверждаю и повторяю только одно то, что вместе мы жить не можем.

— Так уж не вы ли думаете мужа бросить? — крикнула Марья Ивановна, хлопая себя по коленям.

— Не знаю, что будет. Но вместе с вами я жить не могу,— ответила Груня.

— Погодите, погодите! Дайте Лене с делами справиться, тогда он вас научит, как нужно его мать уважать,— грозила Марья Ивановна.

— Я Алексея еще плохо понимаю,— сдержанно промолвила Груня.— Но, во всяком случае, или он сам не станет меня учить уважению недостойной женщины, или я не стану учиться этому. Таким вещам не учат. Уважение заслуживается людьми.

— Скажите, пожалуйста, какая умница. Обо всем говорит, как расписывает! — хлопнула себя еще раз по коленям Марья Ивановна.

Груня с омерзением отвернулась и ушла в свою комнату. Ей было отвратительно это грубое и пошлое

создание. Бедную женщину давили сотни мыслей. Она не могла ничего сообразить и прежде всего старалась успокоиться. Но это было не так легко сделать в обносковском доме. Марья Ивановна не оставила невестку в покое и явилась через час к ней снова.

— Хоть бы лампаду-то затеплили,— заговорила свекровь укорительным тоном, вставая на стул, чтобы достать лампаду.— О боге бы больше думали, так дурь и не лезла бы в голову. Вспомнили бы, что сегодня суббота, люди ко всенощной идут. А у вас и мысли-то о господе нет, богоотступница!

— Ступайте вон из моей комнаты,— вскочила Груня со своего места и указала на дверь стоящей перед образом на стуле свекрови.— Чтоб ваша нога никогда не была здесь. Слышите!

— Да вы хоть греха-то побоялись бы, поглядели бы, за каким я делом здесь стою,— проговорила Марья Ивановна, не сходя со стула и держа в руке лампаду.

— Говорят вам, идите вон! Не то я людей позову, дворников позову и велю вас вытащить отсюда силой,— вышла из себя Груня, сверкая большими глазами.

Марья Ивановна впервые услышала такие страшные звуки в голосе человеческом и струсила. Она вышла. Груня замкнула дверь на ключ. Минут через десять Марья Ивановна постучалась снова в дверь.

— Отворите,— промолвила она довольно мягким тоном.

— Вам сказано, что вас сюда не будут пускать,— ответила ей Груня.

— Да мне лампаду надо поставить. За что вы на бога-то сердитесь?

— Не нужно мне никаких ваших лампад. Идите прочь! — крикнула Груня, и снова в ее голосе послышались страшные ноты. Это не был жидкий, полудетский крик, но слышались полные и твердые звуки гнева.

— Господи, да что же это такое? Светопреставление начинается, что ли? Разврат, безбожие, беззаконие. Сын на мать, жена против мужа идут,— вопила Марья Ивановна.— Вы лампаду-то возьмите, я ее на окно здесь поставлю,— продолжала она немного по-

годя.— Вы богу угодите, а он, творец наш небесный, вас не оставит.

Груня не трогалась с места и оставила лампаду теплиться на окне.

Алексей Алексеевич Обносков несся, между тем, к Стефании Высоцкой. Он совершенно не верил в успех своей поездки, не был нисколько уверен в ее необходимости и все-таки ехал. Его била лихорадка, душила злоба, и ему нужно было сорвать на ком-нибудь эту злобу, высказаться до конца и уже тогда начать размышления о необходимости примирения со своей судьбою. Он хитрил теперь даже с самим собою и уверял себя, что его поездка должна иметь благие последствия, что должна же быть и у Стефании Высоцкой совесть, которая не позволит ей ограбить законных наследников и пустить почти по миру двух сестер покойника. Возбуждение было так сильно, что Обносков храбрился всю дорогу и струсил только тогда, когда в его руке уже дрогнул колокольчик у дверей Высоцкой. В эту минуту Алексей Алексеевич готов был вернуться домой и отложить визит до другого времени, но дверь отворилась. Перед Обносковым появилось приветливое морщинистое лицо сгорбленного старика, через минуту с этого лица пропал всякий признак приветливости; оно вдруг приняло то грубое выражение, на какое способны только старые лакеи из крепостных; спина старика выпрямилась, голова поднялась.

— Кого вам? — сурово спросил Матвей Ильич, это был он.

— Высоцкую,— ответил Алексей Алексеевич и боком прошел мимо заслонившего дорогу старика. Он сам сбросил с себя пальто и выказал явное намерение пройти в комнаты.

— Да вы это куда? — остановил его Матвей Ильич.— Надо прежде доложить. Спросить: желают ли принять... А то — на! Без доклада прямо в горницы прут! Какой это такой порядок! — ворчал старик и пошел из передней в комнаты, захлопнув дверь у самого носа Обноскова.

— Старая бестия, лягается! — прошептал Алексей Алексеевич, ходя по передней нетерпеливой походкой.

— Ну, вот, доложил,— заворчал Матвей Ильич, снова являясь пред гостем и садясь в угол, где он до того что-то портняжил.

— Ну, что же велели сказать? — спросил Обносков в ярости.

— Что?! Видите, дверь открыта,— ну и ступайте,— ответил старик, не обращая на него внимания, и заворчал что-то себе под нос.

Под влиянием этой сцены у Алексея Алексеевича прошла минутная трусость, и на место ее явилось дерзкое желание быть грубым до последней степени и выместить на ком-нибудь проглоченную обиду. Он вошел в простую, но уютную гостиную. Перед ним, почти на середине комнаты, стояла Стефания, спокойная, прекрасная, без всяких гримас и признаков волнения. Она молчала.

— Здравствуйте,— скороговоркой пробормотал Обносков.— Меня привело в ваш дом только дело... Вы подали ко взысканию безденежный вексель, выпрошенный вами у дяди.

Стефания молча слушала, ее лицо оставалось попрежнему спокойным. Глядя на нее в эту минуту, можно было подумать, что эта женщина сумеет владеть собою на каком угодно допросе.

— Вы, вероятно, нехорошо понимаете, что вы делаете,— заговорил снова Обносков, отчасти удивленный этим бесстрастным спокойствием.— Требовать не свои деньги — вообще низко; но если притом они отнимаются у законных наследников, то подобному поступку трудно приискать название.

Стефания все молчала и слушала. Обносков вышел из терпения.

— Что же вы молчите? — спросил он ее.

— Что же мне отвечать? Вы выражаете свои мнения, я их слушаю,— улыбнулась Стефания невозмутимо-холодною улыбкою.

— Я совсем не затем приехал, чтобы высказывать свои мнения,— с досадой вымолвил Алексей Алексеевич, взбешенный этой улыбкой.

— Но покуда ваши слова имели именно этот характер,— заметила Стефания.

— Я очень слаб, мне тяжело объясняться стоя,— произнес с одышкой Обносков и с злобной иронией

прибавил:—Я сяду, хотя вы, кажется, и не желаете этого.

— Мне совершенно все равно,— равнодушно сказала Стефания и первая опустилась в кресло.

Обносков тоже сел. Оба помолчали. Он измерял ее яростными глазами, она же смотрела просто и невозмутимо спокойно — казалось, что ей очень удобно сидеть на мягком кресле и слушать гостя. Так как Стефания не изъявляла никакого желания начать беседу, то ему снова пришлось заговорить первому.

— Вы должны отчасти знать,— начал гость,— что у моего покойного дяди, кроме меня, прямого наследника, было две сестры. У этих женщин нет ничего, они почти нищие. Вся их надежда заключалась в помощи брата и в тех деньгах, которые могли достаться им после его смерти. Состояние дяди оказалось, против всяких ожиданий, гораздо менее, чем мы думали. Я не стану упрекать в чем-нибудь вас, хотя я знаю, что вы были главной причиной, уменьшившей состояние дяди. Но этого не поправишь... После его смерти осталось имущества столько, что если уплатить вам деньги по взятому вами векселю, то в остатке получится почти нуль; если же вычесть из этого остатка следующую мне часть, то сестрам покойного достанется просто несколько рублей.

По лицу Стефании скользнула едва заметная усмешка при упоминании об этом вычете законной части Алексея Алексеевича из имущества, равняющегося нулю.

— Эти две несчастные женщины, плохо образованные, не привыкшие к труду,— продолжал гость,— останутся нищими. И причиной этого будете вы. Загляните в свою совесть. Не должны ли пробудиться там стыд и раскаяние. Вы — любовница, извините за название, но вы добровольно принимали его, живя с дядей; ваши дети — незаконнорожденные,— чьи они — это не наше дело,— и вы берете деньги, грабите их у законных наследников, пуская последних по миру. Это такое позорное преступление, это такой несмываемый грех, перед которым человек не может не краснеть в своей душе.

Стефания спокойно полулежала в кресле и упорно продолжала молчать.

— Вы, кажется, хотите сыграть со мною комедию,— раздражился Обносков,— хотите отмолчаться, вывести меня из терпения и выгнать вон своим молчанием?

— Что же я буду вам отвечать? — снова спокойно спросила Стефания.— Вы опять выражаете только свои мнения, я их слушаю. Ваше дело такого рода, что вам приходится ограничиться именно одною этою ролью. Вы понимаете, что другого исхода для вас нет.

— Вы так думаете-с? — едко спросил Обносков, разозленный тем, что Высоцкая сразу поняла и бесплодность его разговоров, и характер его роли.— Но положим, что я только и могу делать в этом деле одно — высказывать свои мнения. В таком случае, мне хотелось бы слышать *ваше* мнение.

— Мое мнение высказано гораздо раньше вашего,— равнодушно ответила Стефания.

— Да вы всё молчали! — увлекся Обносков и не сразу сообразил сущность ответа Стефании.

— Да, теперь я молчала, потому что высказалась уже прежде, подав ко взысканию вексель,— улыбнулась Высоцкая.

Обносков позеленел и, вскочив с места, заходил по комнате.

— А! Так вы смеетесь над нами! — заговорил он в гневе.— Прекрасно! Вы думаете, что мы так оставим это дело? Вы полагаете, что мы не станем требовать судом своих денег? Нет-с, я последний грош отдам, чтобы показать вам, что у нас любовницы и незаконнорожденные дети не могут ни при каких условиях грабить законных наследников. Вы думали, что вы нашли выход обойти закон? Вы хотели насмеяться над этим законом, жили без венчанья с человеком, грабили его, чтобы заставить общество поклоняться вам и уважать вас за деньги; дураки даже называли вас, любовницу, женою этого человека; потом вы вынудили его дать вам вексель, и теперь вы опять хотите торжествовать, пуская по миру законных наследников и показывая всем, что и разврат может торжествовать над честностью и беззаконие над законностью. Но вам этого не удастся, слышите вы, не удастся!

Обносков, весь покрытый потом, искривленный от злобы, опять бросился на стул и тотчас же вскочил снова.

— Кто же вам мешает действовать судебным порядком, а не раздражать себя криčаньем здесь? — почти с участием спросила Стефания своего измученного гостя.

Гость сжал кулаки и снова тяжело опустился на стул, облокотившись на стол и стиснув голову руками.

Стефания неторопливо встала и позвонила. Вошел Матвей Ильич.

— Матвей Ильич, подайте господину Обноскову воды,— обратилась она к старику и, тихо наклонив голову, прошла мимо гостя в другую комнату.

Матвей Ильич подал воду. Обносков молча выпил. Теперь он был похож на ослабевшего ребенка. Его можно было заставить делать что угодно.

— Прикажете нанять извозчика? — спросил Матвей Ильич довольно мягким голосом и с невольным сожалением покачал головой, глядя на это вдруг осунувшееся лицо с мутными глазами.

— Да... ехать... больше нечего делать...— бормотал Обносков, как пьяный.— Нужно было!..— треснул он кулаком по столу, не докончив своей фразы.

Стефания, между тем, вошла в свою комнату, и ее лицо приняло вдруг озабоченный вид.

— Что с тобой, матушка? — спросил ее старший сын, знакомый читателю. Теперь он уже был студентом Технологического института.

— Надо будет съездить к Обносковым,— сказала она и потерла в раздумье свой лоб рукою.

— К Обносковым? — изумился сын.

— Да, к сестрам покойного твоего отца,— продолжала мать и потом прибавила каким-то тоном удивления: — Вообрази, они чуть не остались нищими. У отца оказалось совсем не такое большое состояние, как все думали. Надо будет успокоить этих несчастных женщин.

Сын помолчал.

— Матушка,— начал он нерешительно через минуту.— Должно ли и полезно ли помочь им? Они много сделали тебе зла.

— Что же? Мстить? — спросила мать с упреком в голосе.

— Нет, нет,— отрицательно покачал головою сын.— Но они вредные женщины.

— Они нищие и будут еще вреднее, если им не помочь,— промолвила мать.— Они привыкли держать себя чопорно, жить без труда и порядочно одеваться. Если у них не будет средств, они пустятся в разврат или станут обирать других, отнимая кусок хлеба у бедняков своими происками.

— Они и теперь отнимут хлеб у бедняков. Их долю ты могла бы отдать другим...

— Но я не могла бы тогда иметь влияния на них.

— Ты думаешь их исправить?

— Нет, но для сдерживанья их у меня будут в руках средства.

Сын замолчал.

— А я уж думал,— начал он снова уже веселым тоном,— что ты к этому подлецу хочешь ехать,— указал он на ту комнату, где был за минуту Алексей Алексеевич.

— Да, он подл и вреден,— с отвращением произнесла мать и потом весело засмеялась.— Глуп он невообразимо!

Сын тоже засмеялся и нежно поцеловал руку матери, точно благодаря ее за что-то.

В доме Алексея Алексеевича шла уже в это время суматоха. Хозяин был привезен домой совсем больным и с трудом дотащился до своей постели. Его била лихорадка, душил кашель, во всем теле чувствовалась непомерная слабость.

— Леня, голубчик, что с тобой? — всплеснула руками Марья Ивановна.

— Пошлите за доктором! Я умираю! Дышать трудно! — прошептал больной и закрыл глаза.

Марья Ивановна бросилась из комнаты, послала за доктором, выругала за неповоротливость кухарку и, захватив с вешалки из передней что-то из верхнего платья, кажется, салоп, бросилась в комнату сына. Здесь она прикрыла его принесенной теплой одеждой и снова побежала чем-то распоряжаться. Груня еще ничего не знала. Наконец приехал доктор, новые хлопоты, новая беготня. До ушей Груни достиг весь этот шум, она позвала горничную и спросила о его причине.

— Барин умирает-с! — отвечала горничная.

Груня побледнела и поспешно отправилась в кабинет мужа.

— Поздно, поздно пожаловать изволили,— прошипела Марья Ивановна.

Груня вздрогнула.

— Как? — воскликнула она и бросилась к постели мужа. Он, тяжело дыша, спал.

Видя, что он жив, Груня с негодованием взглянула на Марью Ивановну, перепугавшую ее.

— Полюбуйтесь! Хорош? — шипела свекровь.— Вы всё довели его до этого. В семье-то радостей нет, так не поздоровеешь.

— Здесь не место ссориться,— шепотом заметила Груня.— Вам надо заботиться об его выздоровлении, а не добивать его огорчениями... Надеюсь, что эта потеря тяжелее всего отзовется на вас.

Груня вышла.

— Уж на ком же больше, как не на мне! — воскликнула Марья Ивановна, и вдруг ее воображению представилась возможность смерти Лени. Что тогда делать? Опять нищета, опять содержать студентов-жильцов, прокармливать себя подаяниями благотворителей? «Господи, спаси его и сохрани! Услышь материнские слезы»,— шептала она, глядя на образ и мысленно сравнивая настоящее свое сытое довольство с пережитой нуждою. Ей стало страшно за свое будущее. Но мало-помалу она начала понимать, что ее настоящее довольство только отчасти и очень мало зависит от жалованья Лени, которое прекратится с его смертью; она начала сознавать, что главный источник этого довольства заключается в деньгах, выдаваемых отцом Груни, что часть этих денег стала бы выдаваться и ей после смерти сына, если бы она была в хороших отношениях с невесткой. Прошлого нельзя воротить, но можно управлять своими отношениями к людям в настоящем. Сойтись с невесткой, ухаживать за ней, подделываться к ней стало теперь целью Марьи Ивановны. Казалось ей, что все надо перенести, что надо кошке поклониться в ножки, только бы обеспечить свое будущее. Тяжелая, бессонная ночь прошла для нее у постели умирающего сына. Не менее тягостную ночь провела и Груня в своей комнате. Она не молилась, не плакала, подобно свекрови, она даже не содрогалась при мысли о смерти мужа. Нет, какое-то страшное чувство боязливой радости было в ее душе при мысли о смерти этого человека, и Груня даже не

стыдилась этого чувства. Только теперь она поняла, что ее связь разорвана не только со свекровью, но и с мужем.

Однако у нее не стало сил не пойти в комнату этого чуждого ее сердцу человека. Она говорила себе, что надо ходить даже и за чужими больными, а тем более за теми, с кем нас связали законные узы брака.

— Голубчик, ангел мой кроткий, вот и вы пришли сюда,— воскликнула Марья Ивановна, встретив на другой день Груню в комнате Алексея Алексеевича.

Груня изумилась этому приветствию.

— Простите вы меня! — всхлипывая, говорила свекровь.— Наделала я вам в жизни неприятностей!.. Вспыльчива я, а вы сердиты, вы неуступчивы... Если бы вы хоть раз приласкались ко мне, так я бы ножки ваши целовала, как собачонка за вами бегала бы... Ведь я горя в жизни натерпелась много, меня жизнь испортила... Разве я виновата, что мой характер таков?.. Забудьте вы все старое. У одра смертного люди сходятся, врагам прощают. А ведь это сын мой умирает,— зарыдала Марья Ивановна,— сын мой.

У Груни дрогнуло сердце, но она не шевелилась с места.

— Простите меня, грешную, глупую! — еще раз простонала Марья Ивановна и быстро поднесла к губам руку невестки.

— Что вы, что вы делаете! — закрыла лицо руками Груня и впервые зарыдала какими-то истерическими слезами.— Зачем это люди жить не умеют друг с другом, зачем они губят друг друга, когда и в их сердцах есть и любовь, и нежность! — восклицала она и тихо поцеловала свекровь.

Молодое, неопытное существо было растрогано, потрясено голосом матери, рыдающей у постели умирающего сына... Сыну не стало в эту минуту легче, но горячо любящая мать успокоилась: у нее явилась надежда избавиться от нужды даже и тогда, когда он помрет...

Настало затишье и перемирие в обносковском семействе. Все дружно хлопотали о выздоровлении больного, совещались, проводили вместе вечера, дружески говорили между собой, не скупились на поцелуи, и никто не думал заглянуть в свою душу и прямо спросить себя: изменилась ли хоть какая-нибудь

существенная черта в их характерах и убеждениях? Полюбили ли они друг друга и может ли быть естественным этот мир, если ничто внутри примирившихся личностей не изменилось? Этих вопросов не делал никто: одни по расчету и подлости, другие по неопытности и доверчивости.

XV

Во время выздоровления Алексея Алексеевича Обноскова

Алексей Алексеевич поправлялся медленно.

Долгие дни, проведенные в постели, в одиночестве, не прошли для него даром и внесли еще более желчи в его и без того желчный характер. По целым часам во время болезни размышлял он о недавних событиях, возмутивших мирное течение его жизни.

То представлялось ему, как граф Стругов, аристократ по рождению, консерватор в душе, оказал покровительство «развратной женщине», назвал ее любовную связь гражданским браком и отнял для нее деньги от законных наследников. То вспоминалось ему, как его дядя, человек постоянно уважавший законы, сумел обойти закон в пользу своих незаконнорожденных детей и, не имея сил и смелости написать духовное завещание, все-таки передал бо́льшую часть имущества этой же развратнице. Все это будило злобу Обноскова, но еще большую злобу пробуждала в больном та мысль, что и граф Стругов, и покойный дядя, и наконец, эта низкая женщина, видимо, насмеялись над ним, над честным человеком, стоявшим за свои законные права. «Одни хитры и ловко работают для достижения своих преступных целей,— думал Алексей Алексеевич,— другие по своей слабости потакают им, третьи же без всякого сознания роют яму тем принципам, за которые они стоят и должны стоять по своему положению в свете. Как посмотришь со стороны, то подумаешь, что и дядя стоял по убеждению, а не по жалкой слабости, за гражданский брак; подумаешь, что и граф Стругов признает в принципе,

а не в виде исключения, право незаконнорожденных детей на деньги законных наследников. И ведь не сознают подобные дураки, что значат исключения, что значат примеры в подобных делах. Если бы они сознавали это, то они сами испугались бы своих поступков. Ведь чем чаще открываются подобные лазейки, чем больше надеются найти их наши противники, тем смелее они действуют. Сегодня выйдет счастливо из дела одна Стефания Высоцкая, завтра явятся десять таких Высоцких. Да и страшнее всего то, что все эти Струговы не по неосмотрительности, не по необдуманности так поступают, нет! Это на них дух времени отразился. Теперь они мягче стали смотреть на то, против чего воевали и еще воюют сами. Прежде, сколько бы ни жила развратная женщина с человеком, она все-таки оставалась в их глазах любовницей, развратницей, а теперь, извольте видеть, давность связи в подобных делах смывает, по их мнению, пятно. Дураки! Да эта давность, эта продолжительность связи делает пятно только более ярким, более несмываемым... Тут уже не может быть оправдания в минутном заблуждении, в минутном увлечении, а это просто сознательное попирание законов государства и нравов общества... Дух времени, дух времени, да будет он проклят! Скоро честному человеку нельзя будет жить на свете среди иезуитски хитрых противников и до глупости слабых и неосмотрительных сторонников. Теперь нужно бороться, теперь или никогда...»

Характер Алексея Алексеевича, несмотря на свою желчность, вялый по природе и заметно клонившийся к самодовольному добродушию под влиянием наслаждений нового строя семейной жизни, стал теперь заметно живее и — если можно так выразиться в этом случае — воинственнее. Действительно, Обносков начал чувствовать теперь не одну потребность копошиться в канцелярии министерства, собирать материалы для исследования разных древностей и изредка шипеть на жизнь, но ему хотелось бороться и воевать с обществом, идущим, по его мнению, к пропасти под влиянием духа времени. Презирая с давних пор всех газетных и журнальных болтунов, он стал теперь чувствовать потребность пустить в свет несколько шипящих статеек по тем или другим современным вопросам. Насмехаясь постоянно над нашими ораторскими

излияниями на разных торжественных обедах и собраниях, он теперь мечтал о первой возможности произнести где-нибудь и от своего лица какую-нибудь речь. Такое тревожное состояние духа немало поддерживалось в нашем герое и нашептываниями его матери. Да и сами текущие события как общественной, так и его собственной жизни были не такого свойства, чтобы он мог успокоиться: наставала пора дележа имения.

— Леня, как же ты теперь с тетками-то разделаешься? — спрашивала Марья Ивановна сына, сидя однажды в его кабинете.

— Понятно, как разделаюсь: дам им все, что им следует по закону,— ответил сын.

— То-то! А я уж думала, добрый ты мой, что нам придется все им отдать, так как твою-то часть захватила эта мерзавка...

— Что вы выдумываете! — раздражился Алексей Алексеевич.— Она не мою часть захватила, а нашу общую, и если от этого уменьшилась моя доля наследства, то точно так же уменьшилась и доля теток... Им почти ничего не придется, ну, да мне не из чего благодетельствовать. Пусть на нее и плачутся, если им мало достанется!

— И-и, батюшка, что за мало! На первый раз станет. Проживут кое-как; руки, слава богу, есть, надо ведь и потрудиться, не все же за чужой спиной на свете жить. Бог труды любит!..

— Что они там будут делать, это не мое дело,— отвернулся Обносков от матери и взял книгу, чтобы прекратить разговор.

— Ну, занимайся, занимайся, я тебе не стану мешать,— проговорила мать и на цыпочках вышла из комнаты.

Сестры покойного Евграфа Александровича пришли просто в ужас, узнав, что им достается из имения «братца» такая малая часть, на которую нельзя жить ни при какой экономии. Со слезами на глазах и мольбою в голосе явились две девственницы к племяннику просить помощи. Они немного опустили крылья в последнее время и были более кротки, чем в недавно прошедшие времена. Призрак нужды заставит присмиреть хоть кого...

— Поймите, что я рад бы всей душою помочь вам,— говорил им Алексей Алексеевич,— но мне самому жить нужно, у меня семья... Вы получили законную часть, так же как и я, никто из нас не виноват, что наши части так малы... Если мы можем на кого-нибудь пенять, так это на покойного дядю, да на ту, которая ограбила нас всех.

— Проклятая! проклятая! Она нас обобрала, по миру пустила,— воскликнула Марья Ивановна.— И вы, сестрицы, кругом виноваты!..

— Мы? — всплеснули руками от удивления сестры.

— Да, да, вы... Не могли отвлечь от нее братца! — упрекнула Марья Ивановна.— Вот и были бы теперь все и богаты, и счастливы. А то, на-ко, жили весь век с братцем, а не могли узнать, к кому он ходит, в кого деньги садит... Вы только подумайте, что он ей при жизни-то передавал?

— Да что же мы могли сделать, сестрица? Братец все так тайно делал, мы и мешаться в его дела не смели,— заплакали сестры.

— Не смели, не смели! — передразнила их пискливые голоса Марья Ивановна.— А вы разве не могли его в руках держать? Где так востры, а на это ума не хватило!.. Да на что же и женщина на свет создана, как не для того, чтобы мужчину в руках держать? Да дай-ка им, мужчинам-то, волю, так что же после этого и со светом-то сталось бы? В разор разорились бы все... Нет, нет, уж вы-то кругом виноваты, только дрязги умели заводить, а дела делать не умели.

— Грех вам, Марья Ивановна, нас обижать,— проговорила слабодушная Вера Александровна.

— Это, видишь, потому, что мы бедны стали,— едко заметила уже начинавшая сердиться Ольга Александровна.

— Ну да, бедны, а вот эта-то мерзавка теперь и смеется над нами по вашей милости да по вашей слабости,— кричала Марья Ивановна.— По миру пойдете — гроша не подаст!

— Ну, это вы не подадите, а она подаст,— раздражительно ввернула сестра Ольга.

— Она... она... вот и теперь хотела нам помочь,— хныкала совсем растерявшаяся сестра Вера,— да мы на Леню надеялись.

— Что-о?.. Да вы ее где это видели? — изумилась Марья Ивановна.

— Она к нам заезжала,— ответила меньшая сестра.

— Да, матушки, так вы вот как поступаете! — хлопнула себя по коленкам Марья Ивановна и вся раскраснелась от гнева.— Так это вот какая механика-то подведена была! Вы это, значит, стакнулись с ней! Уж и вексель-то братец не по вашей ли милости ей выдал?

— Что вы! что вы, сестрица! — молящим тоном воскликнула перепуганная Вера Александровна.

— Да чего тут: что вы! Все, все теперь ясно, как день; это вы Леню-то ограбить хотели, втроем пятнадцать тысяч разделить задумали!.. Ай да роденька! Отлично!.. Ну, не ожидала я этой подлости от вас!

— Оставьте, маменька! — сердито заметил Обносков, все время ходивший в нетерпении по комнате.— Что вам за охота вечно начинать истории!

— Нет, батюшка, не оставлю, и ты мне уж в этом деле не мешай, потому что не успокоится моя душенька, пока я этим низким девкам всей правды не отпою! И нечего тебе нас слушать, потому что дела у нас свои и мы женщины, а ты мужчина и ничего этого не понимаешь! — отстранила Марья Ивановна своего сына.

Он пожал плечами и вышел. Сестры тоже изъявили видимое поползновение скрыться от раздраженной родственницы.

— Стойте, стойте! — удержала их Марья Ивановна.— Вы это так улизнуть от меня хотите, голубушки. Нет!.. Так это как же она к вам приезжала? Зачем?

— Ах, Марья Ивановна, да что вы к нам пристали? — грубо промолвила Ольга Александровна.— Почему мы знаем, зачем она приезжала? Приехала, говорит: я вам помочь хочу, вот и все!

— Помочь! Скажите, пожалуйста, какие нынче благодетельницы есть! Так прибегут с ветру — мы, говорят, помочь вам хотим!.. Да статочное ли дело, чтобы она помогла вам, если бы вы во вражде весь век прожили? Ну, где это видано?

— Да чем же мы-то тут виноваты, сестрица? — произнесла Вера Александровна.

— Ах, лицемерки! ах, лицемерки бездушные! — всплеснула руками Марья Ивановна.

— Да что вы, в самом деле, раскричались на нас! — вышла из себя Ольга Александровна.— Мы вам не позволим браниться, потому что мы много горя перенесли от вас и без того, а больше переносить не станем. Вы бы хоть постыдились, старую нашу хлеб-соль вспомнили бы, вспомнили бы, как мы братца упрашивали вам и вашему сыну помочь!

— Да вы обязаны, обязаны были это делать. Ведь мой сын-то родной племянник был вам, ведь он наследник дядин был. Вот чем упрекать вздумали! А вы думаете, мне сладка была ваша хлеб-соль? Слезами я обливалась, унижением перед вами каждый кусок покупая! Бог да Леня знают, что я слез пролила, видя, как вы мной помыкаете, как вы меня от братца заслонить хотите.

— Грех вам, грех это говорить! — воскликнули сестры разом.— Вы сами нашептывали братцу на нас, мы вас с ним ни минуту одних оставить не смели... Вы и нас ссорили; мы только теперь, в горе нашем, узнали, как вы наговаривали нам друг на друга.

— Да вы сами одна другой бока мыли. Откуда бы я узнала всю вашу подноготную, как не от вас самих! — кричала Марья Ивановна.

— Пойдем, сестрица, пойдем скорее! — прошептала Вера Александровна, дрожа всем телом.

— А-а! К своей сообщнице пойдете! Погодите, погодите, еще развратничать научит! Так все три вместе и живите. Отлично будет! — кричала Марья Ивановна вслед удаляющимся сестрам.— Вы, Вера Александровна, еще не стары, если подрумянитесь немного... Певчему-то своему глазки опять начнете делать. Ведь вы к Троице-то недаром ходите, всё против клироса становитесь!.. Теперь, небось, не придете к нам денег клянчить!..

Долго еще не умолкал и лился неудержимый поток брани и сальных намеков раздраженной Марьи Ивановны. Все надувательство, все обоюдное лицемерие, все тайные сплетни, все низкие интриги, склеивавшие до этой поры в тесный союз мирную и любящую обносковскую семью, поднялись теперь с своего дна, как грязная и отвратительная липкая почва в стоячей воде пруда, внезапно возмущенного и приведенного в брожение набежавшею на него бурей. Эта буря уничтожила и сорвала покров ярких, но почти не

имевших прочного корня цветов и рыхлых листьев болотных растений, плававших на поверхности и служивших внешним украшением спрятанной под ними грязи. Родственная любовь, уважение к старшим в семье, заботы о младших и слабых ее членах, снисходительность к ошибкам тех или других стоявших в обносковском союзе лиц, все эти цветы, как оказалось, питали здесь свои непрочные корни соком корыстолюбия, ловких сплетен, лицемерного самоунижения, стремления каждого члена в свою очередь высосать последнюю каплю жизни из всех остальных членов-союзников. Теперь членам обносковской семьи не оставалось возможности прикрывать цветами лицемерия свою грязь: она всплыла наружу и била в глаза. Оставались два пути: нужно было или отречься навсегда, очиститься, по возможности, от этой грязи, или щеголять ею, хвалиться ею, говорить, что эта-то грязь и должна составлять настоящую подкладку жизни.

Ольга и Вера Обносковы стояли теперь друг перед другом почти нищими, то есть такими созданиями, которым нужнее всего сходиться в тесный союз, и вдруг они узнали, что каждая из них в свою очередь была виновна перед другою в мелких сплетнях, в мелких интригах. Им было совестно взглянуть в глаза друг другу, им было совестно за себя в душе. Только теперь они поняли всю бесцельность своих грязных поступков, своей поддельной преданности своим родственникам, своих безобразных нападений на неизвестную им женщину, которая одна протягивала теперь им руку помощи. Они чувствовали, что они втянулись по уши в эту грязь, что в их душах почти нет незагрязненного места, что они еще не могут вполне честно относиться одна к другой. Но они уже раскаивались, они уже как-то стыдливо, но искренно ухаживали одна за другой. Они понимали, как добра опозоренная ими женщина, но какое-то бессознательное чувство стыда не пускало их идти к этой женщине, пресмыкаться перед нею, лгать ей о своем раскаяньи и выпрашивать у нее куски хлеба своим унижением. Они видели, что лесть на этом пути дала бы им средства к существованию, и все-таки не шли на этот путь. Жалкие создания не знали, хорошее или дурное это чувство, но покорились ему...

Совсем в другом положении стояла Марья Иванов-

на. Она терпела в течение всей своей жизни нужду и не понимала значения честного труда. Ей приходилось по необходимости с каждым годом все глубже и бессознательнее втягиваться в этот омут, где она видела все свое спасение. Она окунулась в него до такой степени, что у нее даже не было никакой потребности выйти из него теперь. Казалось, что эта женщина родилась в этой грязи и вне ее не видела жизни. Разругавшись с «сестрицами», она по целым дням распространялась о том, какие они подлые, какой дурачина и филя был их брат, сколько она натерпелась горя от них, как они продавали на каждом шагу одна другую, как Верка в каждого военного певчего влюблялась, как Ольга всем домом вертела и Веркой командовала, как теперь они с Степанидкою Высоцкою «гулять» будут, одним словом, все, что может быть грязного в закулисной жизни каждой человеческой семьи и личности, то было на языке Марьи Ивановны. Алексей Алексеевич, Груня, кухарка, дворник, все равно годились, по мнению Марьи Ивановны, на роль слушателей, и число их все росло и росло.

С странным чувством вслушивалась в эти речи Груня.

Тысячи мыслей и вопросов осаждали ее головку.

«Неужели могут люди в течение всей своей жизни лицемерить и уж не лицемерит ли теперь Марья Ивановна и передо мной? — спрашивала она себя.— Честно ли я делаю, что поддаюсь ее ласкам, презирая ее в душе? Но что заставило ее вдруг примириться со мною? Неужели необходимость жить на мои деньги?.. Но я-то для чего примирилась с нею наружно? Для того, чтобы избавиться от волнений, от правдивого объяснения человеку, что я с ним не могу жить, что я его не могу уважать и любить? Это подло!.. Но что же за женщина эта развратная Высоцкая?.. Неужели и она ради каких-нибудь видов предложила помощь двум ненавистным ей и ненавидящим ее женщинам?.. И как может она так спокойно, так равнодушно переносить свое постыдное положение, за которое ее клеймит и должно клеймить все общество?.. Я хотела бы увидеть ее. Я никогда не видала еще таких наглых женщин... Однако за что же я браню ее? Ведь я ее еще не знаю, я слышала о ней только от тех людей, которых я не люблю и не уважаю. Так, но она раз-

вратница, это-то я знаю наверное... Развратница? Почему? В чем ее разврат?.. Это просто, может быть, несчастная ошибка».— Груня совершенно терялась под наплывом этих вопросов. Разврат и честность, беззаконие и законность представлялись ей теперь чем-то смутным и иногда доводили ее до странных, неразъяснимых парадоксов: «Я, остающаяся верною нелюбимому мужу, с отвращением позволяющая ему ласкать себя ради своего брака с ним,— честная женщина; а Высоцкая, обожавшая в течение всей своей жизни одного человека, остававшаяся верною ему даже без всякой внешней принудительной причины,— развратница. Алексей и его мать, не любившие покойного своего родственника, связанные с ним чисто случайными узами родства,— законные его наследники; а его любимые дети, часть его самого,— незаконные грабители чужого имущества». Вот чего не могла разрешить в своем уме неопытная, мало знающая условия жизни Груня...

Время, между тем, летело все вперед и вперед...

Однажды Груня гуляла и встретилась с Верой Александровной Обносковой. Та сухо поклонилась Груне и холодно спросила ее о здоровье.

— Слава богу, я здорова,— равнодушно ответила Груня и с участием спросила, как живет сама Вера Александровна и ее сестра.

Груню давно тяготила мысль, что эти жалкие девушки терпят нужду по милости ее мужа.

— Ничего, живем кое-как,— ответила Вера Александровна.—Конечно, теперь не то, что было при братце... Но, дай бог здоровья Стефании Владиславовне, она нас не оставляет.

— Вы с ней видитесь? — изумилась Груня.

— Как же не видаться-то? Что же стали бы мы делать без ее помощи?.. Вот уж не родная, не знакомая, а лучше всех родных и знакомых!.. Сама отыскала нас, приехала, утешила и помощь оказала... Загладит она свои грехи перед богом своею добротою...

Груня задумалась.

— Однако, прощайте, меня сестрица ждет дома,— промолвила Вера Александровна и хотела идти; Груня удержала ее.

— Позвольте мне зайти когда-нибудь к вам,— сказала она дружеским тоном родственнице.

— Милости просим... Что ж, вы не виноваты, что ваш муж так дурно поступил с нами. Вы меня извините, а уж ему я по гроб, по гроб этого не прощу...

— Поверьте, мне самой очень совестно за него,— поспешила заметить Груня.— Если бы я могла что-нибудь сделать...

— Что уж можете вы сделать! Я думаю, в ежовых рукавицах вас самих держат. Знаю я вашу свекровь-то и мужа вашего знаю,— махнула рукой Вера Александровна.

Груня покраснела, но не заступилась за близких ей людей, как заступилась бы она за своего отца или за Павла Панютина.

Через неделю она посетила сестер покойного Евграфа Александровича. Они жили в довольно уютной, но очень маленькой квартире. Обе сестры приняли довольно чопорно, но вежливо свою молодую родственницу. Разговоры шли о разных предметах, но часто как-то неловко обрывались. Видно было, что какая-то черная кошка пробежала между женщинами и им было как-то неловко сидеть рядом друг с другом. Нередко Груня краснела, упомянув имена свекрови или мужа; еще чаще прорывалась строптивая Ольга Александровна бранью против этих лиц, на что сентиментальная Вера Александровна постоянно замечала, указывая на Груню:

— Полноте, сестрица; *им* неприятно слышать подобные вещи.

Уходя от родственниц мужа, Груня готова была дать себе обещание не заглядывать более к ним, но какое-то непреодолимое и непонятное любопытство увидать Стефанию влекло ее туда. Через несколько времени она сделала новый визит к двум сестрам и застала их за работою. Они шили детское белье.

— Что это вы шьете? — спросила она, рассматривая работу.

— Стефания Владиславовна просила помочь ей сшить белье на детей,— ответили сестры.

— А я думала, что это какой-нибудь посторонний заказ.

— Нет, где же найти сразу заказы, а эта работа и нетрудная и выгодная.

— Она вам платит?

— Конечно... Вот не навернется ли у вас работа, так дайте нам... Теперь времени-то свободного много...

— Ну, ведь у вас и прежде было немного работы,— заметила Груня.

— Да работы-то не было, но зато, бывало, то сами ходим в гости, то к нам кто-нибудь придет... Отлично мы при братце жили,— вздохнула Вера Александровна и отерла слезу.

— Да, отлично жили, все гости да гости, а теперь никто вот и не заглянет, когда объедать да обпивать нельзя,— с желчной иронией ввернула Ольга Александровна и сердито дернула иглу, так что у нее оборвалась нитка.

— Это все урок... Бог это посылает,— заметила смиренно меньшая сестра.

— Ну, уж кто там ни посылает, а людишек вдоль и поперек узнали,— еще раз сердито пробормотала старшая сестра и снова рванула нитку.— Не дай бог вам никогда горе узнать,— обратилась она к Груне.

— Чужая душа потемки,— прошептала Груня.— Жаловаться не стоит, никто не поможет...

— Уж конечно!

— Нет, сестрица, это грех говорить,— заметила младшая сестра.— Вот и нам помогла же Стефания Владиславовна.

— Много ли таких-то! — рассердилась Ольга и передернула свою работу.

За этими словами полился со стороны Веры Александровны поток благословений Стефании, а Ольга Александровна опять прорвалась бранью на мужа и свекровь Груни, за что получила замечание от сестры. Еще два, три визита были сделаны Грунею родственницам мужа; она дала им какую-то работу и мало-помалу сошлась довольно близко с младшею из сестер, хотя и не открывала ей своей внутренней жизни — подобные признания и жалобы были не в характере Груни. Черная полоса, разделявшая этих людей, с каждым днем все более и более бледнела и становилась незаметною... Но желанной встречи с Высоцкою все не было.

Наступил день рождения Ольги Александровны. Груня тревожно ожидала этого дня, точно готовилось для нее какое-то необычайное событие. Наступил и он... В маленькой квартире двух сестер собралось не-

большое общество: двое, трое из старых знакомых да семья Высоцкой. Все были довольно веселы, и Груня услыхала смех гостей уже при входе в квартиру родственниц. Ее встретили радушно и отрекомендовали знакомым. Начались разговоры; Груня вмешивалась в них, делала свои замечания и очень зорко наблюдала за каждым словом, за каждым движением Высоцкой, точно это было какое-то особенное существо. Высоцкая была, по обыкновению, проста, весела, спокойна, но она не обращала ни малейшего внимания на Груню. Раза два Груня прямо обратилась к ней с какими-то вопросами и получила односложные ответы. Ее немного удивила и задела за живое такая, по-видимому, ничем не заслуженная холодность, близкая к невнимательности. После завтрака Высоцкая уехала, очень вежливо, но холодно поклонившись Груне и даже не протянув ей руки. В душе молодой женщины закипело чувство негодования. Она была оскорблена, что перед нею, перед честною и чистою, держит так высоко голову это падшее создание. Но в то же время молодая женщина не могла не сознаться, что в этом падшем создании много привлекательной грации, беспечной веселости и подкупающего прямодушия, хотя все эти обаятельные качества сразу исчезали, как только это падшее создание обращалось лицом к Груне, и заменялись выражением спокойной, бесстрастной холодности.

— Скажите, пожалуйста, Высоцкая, кажется, не любит меня? — спросила Груня Веру Александровну, уловив удобную минуту, когда они остались вдвоем.

— Нет, милочка, ангелочек, она всех любит, она добрая,— сентиментальничала по старой привычке младшая Обноскова.

— Зачем вы говорите неправду? — пристально посмотрела Груня на ее смущенное лицо с моргающими глазками.— Она не любит меня?

— Да... то есть, душечка, она не вас не любит... она вашего мужа не любит,— конфузясь, объясняла Вера Александровна.

— Но чем же я виновата, что мой муж дурен? — спросила Груня, нахмурив брови.

— Ну, полноте, милочка! Ах, какие вы, право, строптивые! — увивалась Вера Александровна, желая ускользнуть от ответа.

— Нет, однако... Она, верно, говорила вам что-нибудь по этому поводу,— настаивала Груня.

— Ах, да ведь это сплетни будут, если передавать...— мялась младшая Обноскова.

— Какие же это сплетни? Мне очень нужно знать, как она смотрела на меня, чтобы не напрашиваться напрасно на встречи...

— Вы не сердитесь на нее, она добрая...

— Но что же она говорила? Что я виновата в том, что мой муж дурен? Что я его в руках держать не умею? — насмешливо спрашивала Груня.

— Нет... Она... Ах, да вы рассердитесь!.. Она говорит, что с дурным мужем может жить только дурная жена,— совсем растерялась слабодушная Вера Александровна и еще более заморгала глазами.

— У нее совсем извращенные понятия! — холодно произнесла Груня, вставая с места.

— Вот вы и рассердились!.. По глазам вашим вижу, что рассердились,— слезливо шептала младшая Обноскова, целуя Груню.

— Нисколько! Эта женщина, несмотря на свое доброе сердце, просто жалка,— холодно ответила Груня.

Это свидание с Высоцкой и разговор с Верой Обносковой могли отбить навсегда в молодой женщине охоту продолжать начатое знакомство, и Груня действительно решилась не напрашиваться на встречи с Высоцкой и готова была при случайном свидании с нею поднять также гордо и высоко свою молоденькую, почти детскую головку.

«Передо мной ей нечем гордиться,— думала Груня: — я чище и честнее ее... Я не жила с посторонним мужчиной и не убегу от законного мужа...»

XVI

Внутренний разлад

Чем заметнее поправлялся Алексей Алексеевич, тем более охладевала Марья Ивановна к своей невестке, видя, что беда миновала их семью, и не имея сил продолжать мирную жизнь. Груня не могла не заметить этой перемены, так как переход от ухаживанья к нападениям был довольно резок и не походил на

случайные семейные недоразумения, которых было немало и во время болезни Алексея Алексеевича. Случаев для придирок к невестке находилось всегда довольно: то свекровь сердилась, что невестка неизвестно куда отлучается иногда из дома, то она злилась на ее холодность, то просто упрекала ее за вялость и нерадивость характера. В один прекрасный день эти мелкие нападения перешли в серьезную сцену и не остались бесплодными. Началось, по обыкновению, с пустяков: Алексею Алексеевичу попался в руки разорванный платок, и он заметил жене, что надо поаккуратнее смотреть за бельем. Этого было вполне достаточно для Марьи Ивановны, чтобы начать бурную сцену, как только ее сын ушел в должность.

— Вы и за мужем-то ходить не умеете! — проговорила она, обращаясь к Груне.— Вам до него и дела нет. Он трудится, он работает, а вы живете себе барыней и ни на что внимания не обращаете. Болен ли он, здоров ли, вам все равно, в вас и перемены никакой не заметишь. Точно рыба, прости господи, какая! Вам бы вот статуем быть, комнаты украшать собою!

Груня с безмолвным удивлением выслушала эти неожиданные комплименты.

— Дивлюсь я, право, на вас,— продолжала свое пиленье свекровь.— Ни ссорами, ни ласками ничего из вас не поделаешь... Я-то, дура, думала: ну, вот, у нее муж при смерти лежит, авось, она одумается, авось, к семье привяжется, так нет! куда! То же самое вижу, что и прежде... И куда вы это из дому стали бегать? Каких таких знакомых нашли?

— Кажется, я не обязана отдавать вам отчет, куда я хожу,— вспыхнув, заметила Груня.

— А кому же и отдавать отчет, как не мне? — воскликнула Марья Ивановна.— Кажется, мне Леня-то сыном приходится, недаром меня матерью называли, мне его честь дороже всего...

— Что же это вы, подозреваете меня в чем-нибудь? — с невольным отвращением спросила невестка.

— Кто вас знает? Вы рядитесь, за вами ухаживают, вам комплименты разные говорят, а голова-то у вас молодая да ветреная, так ведь и бог знает, что вам на ум взбредет.

— Да кто же это за мной ухаживает здесь? — пожала плечами Груня.

— Мало ли кто! Да вот хоть бы Петра Петровича, например, взять,— прошипела Марья Ивановна и зорко посмотрела злыми глазами на невестку.— Разве вы думаете, что никто не замечает, как он за вами увивается да что-то нашептывает вам?.. И с чего вы с ним при мне по-французски говорите? Верно по-русски-то нельзя этого говорить?.. Стыдно замужней женщине позволять чужому мужчине ухаживать за собою, а ведь он вам чужой, хоть вы его и называете родственником. Этакой-то родни не оберешься!

— Так вы убеждены, что я его люблю? — усмехнулась горькой улыбкой Груня.

— Ну, матушка, если бы я убеждена-то в этом была, так я не так бы с вами заговорила! — угрожающим тоном произнесла свекровь.— А я только предупреждаю вас, говорю, что вам не след разговаривать с подобными подлипалами.

— Как же это я не стану с ним говорить, если он бывает у нас в доме? Скажите лучше Алексею, чтобы он не принимал его.

— Вот-с как! Ради вас гостей не принимать, знакомств не заводить. Ну, это уж непорядок! Нет-с, каждая женщина сама себя должна соблюдать. Муж приводи кого хочет, а она себя соблюдай. Так и отцы наши жили и нам так жить велели.

Груня усмехнулась, хотя ей давило грудь от волнения и негодования.

— С чего это вы, матушка, смеетесь-то? Уж не надо мной ли? — воскликнула Марья Ивановна.

— Над вами,— с презрением ответила невестка и пошла в свою комнату.

Это было ее единственное убежище, ее единственная защита в этом доме.

— Да ты это что выдумала? А? Что ты задумала? — кричала ей вслед свекровь, выходя из себя от необузданной ярости.— Уж не завела ли и впрямь какие-нибудь шашни на стороне? Да я тебя тогда со свету сживу!.. А, смеется! надо мной смеется!.. Да так прямо и говорит, что надо мной. Да ты где этой храбрости набралась? Погоди, погоди, я тебе, голубушка, крылья-то пообшибу!

Вечером в тот же день Марья Ивановна прошла в кабинет Алексея Алексеевича и долго разъясняла ему,

что он должен, наконец, взять жену в руки и присматривать за нею.

— Ты-то, Леня, такой слабый, хилый, а она все здоровеет,— говорила Марья Ивановна жалобным тоном,— так за ней нужен глаз да глаз. Ей молодежь-то голову вскружила похвалами, а надеяться-то на нее нельзя...

— Что это вы, маменька, какие глупости выдумываете! — сердито заметил сын и взялся за книгу, надеясь этим обыкновенным приемом прекратить беседу с матерью. Но она, против своего обыкновения, не замолчала, увидав, что сын хочет читать.

— Нет, батюшка, я ничего не выдумываю. Уж какая я выдумщица! — проговорила она с горечью.— А только она теперь все одна по гостям ходит...

— Не сидеть же ей все дома одной.

— То-то и плохо, что ей дом-то опостылел. Другая бы жена, видя, что муж для нее целый день горб гнет, сидела бы дома да старалась бы, как бы для мужа родное гнездо уютить, а у нашей-то этого и в мыслях нет. Ты в должность, а она за дверь, а, между тем, на нее засматриваются...

Лицо Алексея Алексеевича вдруг омрачилось, что-то как будто укололо его в самое сердце.

— Да кто же засматривается? — нетерпеливо спросил он и отложил книгу в сторону.

— Мало ли кто!.. Ты за Петром Петровичем-то наблюдай, за ним смотри,— шепотом произнесла мать и боязливо оглянулась во все стороны, как будто боясь, что кто-нибудь их подслушивает.— Ухаживает, ухаживает,— протянула она.— Уж я эти подходы-то знаю. Сама...

— Тьфу! Этого только недоставало!— произнес с гневом и досадою Алексей Алексеевич.— И что вам за охота постоянно смущать мое спокойствие?

— Да как же, Леня, голубчик, о ком же мне и заботиться, как не о тебе? Ведь ты родной мне. Хуже, если чужие на смех поднимут да пальцами на тебя указывать будут... Ты думаешь, мне легко, что тебя обманывают?..

— Да разве вы уже знаете что-нибудь? — вскочил с места Алексей Алексеевич.

Он был страшно бледен. Его маленькие калмыцкие глаза впились в лицо матери, точно он хотел прочи-

тать на этом лице все сокровенные мысли этой близкой ему женщины. Но оно было невозмутимо.

— Наверное, батюшка, ничего не знаю, но смотрю за ними, в оба смотрю,— ответила мать.

Алексей Алексеевич махнул рукою и большими шагами заходил по комнате в страшном волнении. Впервые он понимал, что за чувство может испытывать человек, когда ему угрожают отнятием его старой собственности, его достояния. Марья Ивановна следила за сыном с скорбным участием, умиленными и сострадательными взглядами, полными той совершенно своеобразной материнской любви, на какую была способна Обноскова.

— Вы у меня целую ночь покоя отняли! — желчно упрекнул ее сын, на минуту останавливаясь перед нею.

— Бедный ты мой, бедный! — жалобно промолвила она, качая с сожалением головой.— Не понимают люди, как ты их любишь. Вот теперь одна весть о их глупости да ветрености тебя на целую ночь расстроила, а что было бы, если бы ты-то вовремя не узнал об этом, да вдруг дождался бы того, что они по глупости да по ветрености и грехов натворить успели бы?.. Не ночь бы тогда тебе они отравили, а всю жизнь твою драгоценную!

Еще довольно долго распространялась Марья Ивановна убаюкивающим тоном о негодности людей и следила за тревожно шагающим по комнате сыном нежными глазами. Наконец, она обняла его и ушла в свою спальню, где набожно опустилась на колени перед образами и начала свои обычные молитвы за сына.

Но сыну не спалось.

«А что, если мать не все сказала мне, что она знает? — думалось ему.— Меня целые дни дома нет, я некрасив, я слаб, а она молода, хорошеет с каждым днем, кругом разная молодежь вертится, книжки разные под руку попадаются, долго ли закружиться голове! Да ведь нынче и в моде бегать от мужей!..— Я, скажет, миленький, ошиблась, я тебя не любила, мы не сошлись характерами, и я ухожу с другим... Коротко и ясно!.. Нет-с, со мной этого не сделать!.. Я этого не допущу, не позволю!.. Впрочем, что я!.. И с кем она уйдет!.. С Петром Петровичем?.. Вот глупости! Он волокита, но он не увезет чужой жены, не навяжет ее

себе на шею... От него можно ее предостеречь... Эх, если бы я мог не принимать подобных негодяев! Да ведь ему весь город родня, связи у него... Связи! Связи! Будь они у меня самого, так я бы на порог не пустил этой сволочи, всех этих Петров Петровичей!.. Но надо поговорить с нею, поговорить с нею надо...»

Походив с час по комнате, выпив два стакана воды, Алексей Алексеевич прошел в комнату жены.

— Что у вас там опять вышло с матерью? — спросил он жену.

— То же, что и всегда выходит у меня с нею,— ответила Груня недовольным тоном.— Она придралась ко мне без всякой причины и разбранила меня.

— Но...— начал Алексей Алексеевич.

— Позволь,— перебила его Груня.— Ты от кого узнал, что между нами произошла ссора?

— Мать сказала...

— А-а! Так ты ей позволяешь говорить про меня, и только я не имею права говорить тебе про нее? Или ее сплетни не мешают твоим серьезным занятиям?

— Да ведь нельзя же.

— Пожалуйста, не оправдывайся! Я это так заметила, чтобы знать, в каком положении я стою в этом доме.

Груня отвернулась от мужа.

— Послушай, Груня, ты сегодня какая-то странная,— промолвил Алексей Алексеевич, удивленный тоном Груни, от которого веяло холодом и в котором слышалась необычайная твердость.— Я не хочу передавать тебе, что говорила мне мать, но замечу только одно: веди себя осторожнее и не играй с огнем. Ты...

— Ах, это идет речь насчет подозрений!

— Да, но я им не верю; ты должна понимать это,— произнес Алексей Алексеевич и пытливо взглянул на жену.

— И очень умно делаешь,— сухо ответила она.

— Ты настолько честная женщина и настолько знаешь обязанности жены, что...

— Пожалуйста, избавь меня от школьных наставлений,— резко перебила его Груня.— Я никого не люблю, я ни с кем не кокетничаю, и, значит, об этом нечего и говорить.

— Но, знаешь, люди видят иногда то, чего еще и нет, и выводят...

— Я тебе сказала, что об этом нечего говорить! — почти крикнула Груня и встала с своего места.— Неужели все вы так тупы, что не можете понять, как вы оскорбляете женщину разъяснением ей ее обязанностей? Или ты считай меня честною женщиной и никогда не учи меня моим обязанностям на этом пути, или прямо признай, что я одна из тех, которые могут пасть, и тогда принимай свои меры и не толкуй о своей вере в мою честность.

Лицо Груни пылало негодованием, она как-то чересчур горячо отстаивала себя от подозрений мужа. Алексей Алексеевич и обрадовался, и растерялся от этой неожиданной вспышки. Он вдруг увидал, что его жена принадлежит к разряду тех женщин, которые выше всего ставят исполнение своего супружеского долга, и ему стало совестно, что он мог, хотя в течение минуты, подозревать ее и сомневаться в ней. Снова он был готов благодарить судьбу за то, что у его жены холодная, а не страстная натура. Почти совершенно успокоенный, ушел он и лег спать, нисколько не думая о том, что его жена, может быть, не уснет во всю ночь после этой сцены...

При всех своих обширных и, может быть, для чего-нибудь необходимых знаниях Алексей Алексеевич все-таки был плохим психологом и совершенно не знал человеческого сердца. Он восхищался теперь тем, что его честная жена так горячо приняла к сердцу его несправедливые подозрения, и не раздумывал о том, что эта вспышка была, может быть, результатом начала той внутренней борьбы, вследствие которой человек переходит от старых убеждений к новым, и тем горячее отстаивает свои старые убеждения, чем сильнее побивают их против его воли жизненные факты. Действительно, Груня переживала именно такую пору внутренней ломки: все ее прежние, освященные преданием и обычаем, отношения к близким людям, видимо, побивались фактами жизни. Она начинала сознавать, что, слепо поддавшись желанию отца, она погубила себя, и что-то шептало ей, что подобная покорность была в этом случае нелепостью, что отец, может быть, и даже наверное, не умер бы, если бы она не вышла замуж за мало известного ей человека, а что она наверное зачахнет теперь с тоски и горя под гнетом вечных раздоров и при отсутствии любви. Она, как мы

видели, уже задавалась вопросами о том, честны ли ее хорошие отношения к нелюбимой свекрови, честен ли обман, и жизнь опять подсказывает ей, что обман не может быть честным и что, насилуя свои чувства, она ничего не выиграет, а только сделается игрушкою в руках своей противницы. Не утешительнее был вывод из размышлений об отношениях к нелюбимому мужу, и стоя на этом опасном и скользком пути, уже нередко спрашивала Груня у себя: «Да для кого же я жертвую собою, своею молодостию, своим счастием, своею жизнию? Для отца, который выдал меня замуж ради своих старческих причуд? Для мужа, которого не люблю? Для свекрови, которую ненавижу? Нет, нет, не для них! Но я сделала ошибку, и мой долг переносить ее последствия»,— горячо заключила Груня, отстраняя какие-то другие мысли, а в голове без ее воли возникали роковые, опасные вопросы: «Но признавать неисправимыми последствия ошибки,— не фатализм ли, не глупость ли, не сонливость ли это? Последствия всякой ошибки могут быть пресечены, по крайней мере, человек должен к этому стремиться. И что за ад был бы на земле, если бы не было возможности исправлять хотя отчасти прошлые заблуждения и прошлые ошибки? Но что же делать? Уйти от мужа, порвать все связи, сделаться предметом переговоров, сплетен, произвести скандал, являться в обществе с ярлыком бежавшей от мужа жены, развратницы, быть выкинутою из порядочного круга? Не будут ли эти публичные мучения страшнее тех закулисных дрязг и ссор, от которых я хочу спастись? Теперь, по крайней мере, никто не смеет сказать, никто не смеет подумать, что я бесчестная, никто не смеет наложить на меня тень подозрения. Да, да, в этом и только в этом осталось мое счастье!..»

Так думалось Груне в те дни, когда на нее внезапно посыпались упреки свекрови, упреки за стремление кокетничать с Петром Петровичем. Груня улыбалась, слушая эти подозрения, Груня глядела спокойно, но внутри у нее словно что-то оборвалось: казалось, что у бедняка сжигают последний, единственный угол, где он надеялся найти спасение и приют от непогоды. Груня могла еще владеть собою при разговоре с ненавидимой ею свекровью, но когда муж высказывал ей намеки на те же подозрения, то она стала с ожес-

точением отстаивать это последнее шаткое убежище, в котором она видела единственную награду за все свои жертвы. Ей хотелось в эту минуту застраховать себя перед целым светом от грязных подозрений и крикнуть всем людям: «Поймите вы, что я страдаю, но переношу страдания потому, что я честная женщина!» А что, если у нее отнимут и имя честной женщины? Если и ее заклеймят клеветой, как клеймят бесчестных женщин? Во имя чего будет она тогда исполнять свой долг и терпеть все муки за свою прошлую ошибку? Во имя собственного сознания своей честности? Но в том-то и горе, что у Груни уже подрывалось жизнью и это сознание, и она сознавалась перед собою, что она лицемерит и лжет на каждом шагу: лжет перед мужем, выказывая ему любовь, лжет перед свекровью, с отвращением отвечая на ее поцелуи, лжет перед целым светом, говоря о довольстве своею судьбою. «...Но почему же не они все, а я одна должна страдать? — строптиво спрашивала себя Груня, все глубже и глубже разрывая перед собою эту бездонную пропасть сомнений.— Неужели я одна совершила эту ошибку, а они были правы?» «Нет,— отвечала она себе,— отец также виноват; он мог понять, что я не люблю Алексея, я ему говорила об этом; он просто исполнял свою прихоть, выдавая меня замуж, и погубил меня. Алексей тоже не любил меня так, как должно любить жену, он выше меня ценил и ставил свою мать; он знал, что я неопытна, что наши характеры несходны, но он гнался за смирной девочкой, за игрушкой, за ребенком, за деньгами и хотел просто приобрести рабу, а не жену-подругу, он тоже виноват. А Марья Ивановна,— боже мой, да разве может быть не виновата эта низкая женщина, отравившая с первой минуты моего вступления в этот дом и мое счастье, и мой покой? За что же они должны быть счастливы, а я должна быть несчастна? За что же они должны терзать меня, а я обязана покоряться? За что я одна являюсь жертвой, а они палачами?»

У Груни кружилась голова от этих проклятых, безысходных вопросов, дум и сомнений, но она бодро, настойчиво шла им навстречу и не старалась закрыть перед ними глаза. Она забыла все окружающее и жила теперь этою лихорадочною внутреннею жизнью. Люди и мелкие события внешней жизни мелькали пе-

ред нею, как смутные тени в китайском фонаре. Отец, Павел, книги, всё, всё забылось ею. Постоянно рассеянная, постоянно задумчивая, она пропускала мимо ушей и любезности гостей, и брань свекрови, и даже не замечала, что муж иногда следит за нею то тревожными, то ревнивыми глазами. Ей было тяжело жить в этом омуте, но разорвать внешнюю связь с мужем она не решалась: отдаленная от него по своим чувствам, она жила под одной крышей с ним и холодно играла роль его жены. Еще ничто не манило ее из этого дома. Она видела и за его стенами то же горе, ту же безрадостную, одинокую, отрезанную от всех и бесцельную жизнь для себя. Она даже не решалась строить планы какого бы то ни было счастливого существования, возможного за стенами этого дома, как будто там была безлюдная, неприветная пустыня.

Время тянулось убийственно медленно и вяло. Дни были похожи, как две капли воды, один на другой. Все чаще и чаще нападала свекровь на невестку; все угрюмее и подозрительнее делался Алексей Алексеевич, тревожимый странною задумчивостью жены, и не на шутку начал он ревновать ее ко всем людям, которые ухаживали за нею. Иногда он делал ей сцены... Эта ревность была так заметна, что о ней уже говорили посторонние.

— Вот мещанство-то; даже скрыть не умеет, что жену считает принадлежностью своего имущества,— с презрением замечал своим носовым голосом граф Родянка.

— Немецкие профессора не любят, чтобы посторонние даже заглядывали в их книги, а уж не то, что читали бы их,— хохотал Левчинов.

— Надо его побесить. Это презабавно, когда он становится зеленым,— скалил свои белые зубы кузен Пьер и подсаживался к Груне.

— Я боюсь и подходить к вам, кузина. Ваш муж смотрит на всех такими ревнивыми глазами, что становится жутко,— смеялся он.

— Вы ошибаетесь: он очень хорошо знает, что ревность тут не у места,— холодно и равнодушно замечала хозяйка.

— Да ведь это чувство невольное. Хорошеньких женщин мужья ревнуют ко всем, а подруги этих хорошеньких женщин завидуют им, подозревая их в маленьких шалостях.

— На эти подозрения прежде всего нужно иметь право,— вспыхивая, но так же холодно произносила Груня.

— Помилуйте, кузина, какие тут права? Молодость, красота, милое far niente [1], немножко скуки, и вот вам неизбежная почва для романа,— осклаблял свои зубы кузен Пьер.

— Ну, не неизбежная!

— Уверяю вас, что неизбежная. Рано ли, поздно ли, но он начнется, и, право, лучше начинать рано, чем поздно...

— И лучше поздно, чем никогда? — улыбнулась хозяйка скучающею улыбкой.

— Последнего я не добавил, потому что считаю роман неизбежным в жизни молодой женщины. Разница в том только, что одни романы делаются популярными, а другие хранятся только для двух-трех заинтересованных лиц, как недосягаемые сокровища.

— Кузен, у вас все так смотрят на женщин?

— Все, кузина.

— Очень жаль.

— Почему же? Разве лучше было бы, если бы на них смотрели, как на бездушных кукол, продающихся с аукционного торга в крепостное владение тем или другим господам мужьям? — усмехнулся кузен Пьер.

— Но ведь не всегда же женщина продается, иногда она идет замуж и по любви...

— Да, да, это бывает... Но, кузина, свет всегда сначала задает себе вопрос: могла ли быть любовь между такою-то и такою-то личностями? И потом, получив отрицательный ответ, делает свои предположения насчет предстоящего романа.

— Свет очень любит мешаться в чужие дела,— сердито проговорила Груня и взяла со стола альбом с визитными карточками.

— Люди — братья, кузина; значит, их дела не чужие, а свои свету,— засмеялся кузен Пьер, выставляя свои зубы.

---

[1] безделье (*ит.*).

У Груни вертелся на языке довольно щекотливый вопрос: «А про меня что говорят?» Но она удержалась от него, взглянула на играющего в карты в смежной комнате мужа, сутуловатого, худого, некрасивого и желтого, и мысленно решила, что про нее свет говорит, что она не могла, не может и никогда не будет любить своего мужа. «Значит, тоже подозревают в разврате. Да как же и не подозревать, когда сам муж дает право на эти подозрения, не выпуская меня из виду, делая мне сцены... Хотела бы я знать, есть ли хоть один человек, который считал бы меня чистою и честною?»

Груня снова впала в раздумье...

XVII

Жизнь Павла

Так проходил и кончался для Груни второй год ее замужней жизни. Всегда задумчивая и тоскующая, она не могла никому поверить своих тяжелых и безвыходных дум. Только сентиментальная Вера Александровна считала своим долгом мягко и нежно обходиться с Груней; но эта необразованная, очень слабая по уму и характеру девушка внушала молодой женщине скорее чувство снисходительной жалости, чем ту горячую привязанность и уважение, которые необходимо нужно питать к человеку, чтобы сделать его своим поверенным. Все остальные люди смотрели на Груню или холодно, или враждебно, или были сами настолько слабы, что не могли дать ей ни дельного совета, ни твердой опоры. Правда, был один человек в мире, который понял бы ее и искренно разделил бы ее горе, пошел бы на борьбу за нее, но именно от этого человека она сама старалась по возможности стоять в стороне. Этот человек был Павел Панютин. Такое насильственное отчуждение от любимой личности стоило Груне также не малой внутренней борьбы, и еще большая боль пробудилась в ее сердце, когда она стала замечать, что и сам Павел начал все реже и реже посещать их дом. Бросая тайно зоркие взгляды на Павла, молодая женщина заметила в последнее

время значительную перемену в своем любимце. Он уже давно перестал быть ребенком и застенчивым, едва вступающим в жизнь юношею; он стал развязнее, был более ловок; его прежняя угрюмость и угловатость пропали совершенно. В его одежде, во всей его фигуре появилась какая-то неуловимая изящность, в его голове роились широкие планы и в речах слышалось стремление ловить минуты молодой жизни: он переживал свой праздник — молодости годы. Иногда он даже решался подсмеиваться над Груней и говорил ей:

— Не понимаю я, как может человек киснуть в своем углу, когда в жилах молодая кровь кипит, когда жить каждым нервом хочется, когда знаешь, что второй молодости не будет.

— Нельзя же веселиться, когда веселья нет,— вскользь заметила Груня.

— Надо отыскать его! — отвечал Павел.— Уж, по-моему, лучше закружиться, опьянеть от жизни, чем заснуть непробудным сном. По крайней мере, хоть будет чем помянуть молодость. А то иные только тем и помянут молодую жизнь, что продавливали они весь век в своем углу свое место, ели, пили до отвала, да высиживали праздную скуку.

— Этих людей жалеть надо, а не смеяться над ними,— заметила Груня,— потому что, верно, они не из любви к праздной скуке, а только по необходимости подчинялись ей.

— По необходимости! Вот вздор говоришь! — смеялся Павел.— Развлеченье всегда найдется. Один работу найдет, если он ее любит, да такую работу, что день для нее мал будет! Другой в кутеже завихрится, если ничего лучшего жизнь не дает, и птицей промчатся его молодые годы! Третий, если ему своя среда надоела, может взять котомку за плечи, палку в руки, да идти от постылых людей смотреть на другие земли, на другие народы, да учиться, как люди иначе на свете живут.— Походит, посмотрит, а глядишь, скука-то и устанет шагать за ним по пятам.

— Ты который же путь выбрал? — несмело спросила Груня, а у самой сердце от чего-то сжалось.

— Всего понемногу хочу попробовать. Сперва поработаю, да покучу, а там палку в руки, котомку на плечи и поминай как звали,— махнул рукой Павел и

засмеялся.— Здесь оставлять будет нечего, пойду за границу.

— На это нужны средства...

— Глупости! Немцы в Америку и без средств уходят, да богатеют...

— Иные и погибают...

— Ну, так что же, что погибают? Их и дома задавили бы; так уж лучше гибнуть там, где и просить о помощи не имеешь никакого права... Тяжелей гибнуть дома, слыша, как смеются, да, может быть, тебе же яму роют ближние...

Груне хотелось что-то заметить, но ей было трудно высказать желанное слово.

— А вот мы,— продолжал Павел, поддаваясь своим заветным мечтам,— потому и сидим на месте, потому и высиживаем праздную скуку, что всё боимся со своим насиженным гнездом расстаться. И не то, что уж куда-нибудь в Америку боимся ехать, нет! Просто в глубину России боимся уйти. К Петербургу приросли...

— Еще бы не прирасти, здесь все родное,— промолвила Груня с грустью.

— Могилы?.. Что мне в них?

— Ну, есть и живые люди из ближних... Я думаю... и у тебя есть что-нибудь дорогое здесь...

Груня чуть не заплакала.

— Конечно, конечно,— задумчиво промолвил Павел.— Но что я могу сделать для дорогих лиц?.. Отец живет в своем кабинете и не умрет от тоски обо мне, имея около себя твое любящее существо... Ты... ты замужем, счастлива; для тебя не может быть большой потери в том, что я не стану являться раз или два в месяц в твоем доме... Да и сколько сил убивается даром только потому, что мы пришиты к своему семейному кружку, что мы дальше его ничего не знаем и не видим. Мы затянулись в своей дороге, тащимся по грязи; нам надо проветриться, набраться новых сил, новых понятий, и, может быть, тогда откроются для нас новые пути, новые не грязные, не скучные дороги...

— Это все мечты! — вздохнула Груня.

— Может быть, может быть! Но и все начиналось с молодых мечтаний: Робинзон или Гус со своими друзьями, протестанты или социалисты шли пропове-

довать свои доктрины, все было плодом восторженных мечтаний, вдохновений великими идеями!.. Чтобы что-нибудь сделать, нужно лихорадочно ловить минуты и рисковать жизнью. Или будь она такою, какою мы желаем ее, или пропадай совсем!

Груня задумчиво покачала головой и ничего не ответила Павлу; ей было тяжело думать, что он в один прекрасный день придет к ней, весело пожмет ей руку и скажет: «Прощай, я уезжаю отыскивать себе счастья!»

Но что же он делал, как проводил свою молодую жизнь покуда?

С того памятного дня, когда кузен Пьер свез его в цирк, в образе жизни Павла произошло много перемен. Во-первых, Павел не на шутку увлекся на время отважною мисс Шрам и непременно хотел познакомиться с нею; во-вторых, у Павла сперва явилось много так называемых шапочных знакомых, к которым он стал ходить в гости и которые посещали иногда и его. Это была по большей части молодежь, лишенная всякого серьезного дела и старающаяся убить как-нибудь свое время и угомонить кипящую кровь. Кутежи от скуки, кутежи от избытка сил, кутежи от праздности, обусловленной обеспеченным положением, вот тот путь, на котором тратилась молодость этих людей, и, может быть, не они одни были виноваты, что для них не нашлось лучшего и более честного занятия. Павла давила та же скука, мучил тот же избыток молодых, еще не початых сил, и он иногда был рад забыться среди буйного кружка кутящих юношей. Но у него не было больших средств для постоянных кутежей с ними и было много гордости для того, чтобы кутить на чужой счет. Это обстоятельство дало его образу жизни совершенно своеобразный характер. Павел, чтобы не отказывать себе ни в чем, стал искать работы: уроки, переводы, это все не выпускалось им из рук. Труд, лихорадочно совершаемый с каким-то смутным желанием забыться и утомиться до истомы, кипел и поспевал в течение нескольких недель, а там вдруг Павел задавал себе праздники и в каком-то опьянении летел куда-нибудь на пикник за город, на какой-нибудь чересчур свободный бал. Такая жизнь не могла принести пользы его здоровью, и иногда во всем его теле чувствовалась истома, у него ломило ко-

сти, ныла грудь, тогда он заваливался у себя дома и «отсыпался», по его собственному выражению. Таким образом, проходил ли период работы, кутежа или «отсыпанья», а опомниться все-таки не было времени, да Павел, кажется, и боялся этого пробуждения, боялся той пустоты и безлюдности, которые давили его в предшествовавший год.

Подобное существование могло окончательно загрязнить его в нравственном отношении. С первого же пикника он мог попасть в когти мисс Шрам, на которую он так заглядывался в первое свое посещение цирка. Но эта женщина, вечно вплетавшая в свои фразы слова всех известных ей языков, это существо, изображавшее на своей физиономии оттенки всех известных ей чувств, этот клоун женского рода, одетый то в шотландский, то в балетный, то в женский, то в мужской костюмы, изображавшее собой то невинную девочку, то едва возмужавшего мальчика, одним словом, эта мисс Шрам любила прежде всего деньги, деньги и большие деньги, а потому могла заигрывать, могла любезничать с Павлом, но не могла приковать его к себе и протащить за собою в омут мошеннических игр и возмутительных оргий, покупаемых на занятые, украденные, добытые всеми неправдами и подлостями деньги. Обыкновенно степень любезности этих женщин прямо указывает на степень близости ласкаемых ими людей к долговому отделению или к подлости и преступлению. Застрахованный своим материальным положением от этой опасности, Павел нашел себе спасение и в чистоте своей натуры, еще не загрязненной нашею столичною жизнью. Цинизм новых знакомых, рассказывавших Павлу со смехом возмутительные биографии всех тех личностей, на красоту которых глядел юноша любопытными глазами,— этот цинизм сразу оттолкнул Павла как от описанных личностей, так и от самих рассказчиков. Под прилизанной внешностью рассмотрелась грязная подкладка. Видя, как эти люди пляшут, слыша, как они острят и хохочут, Павел не мог удержаться от молодого, легко возбуждаемого смеха, но какое-то неприятное ощущение являлось в его сердце, когда эти люди слишком близко и фамильярно прикасались к нему. Ему в эти минуты хотелось сказать им: «Стойте подальше, вы мне и так видны, а больше мне ничего не надо». Он

мог быть наблюдателем, мог случайно стать действующим лицом, но не мог вполне втянуться в этот круг. Приезжая домой с пикников, он бросался на постель, старался скорее уснуть и на следующий день лихорадочно принимался за работу.

Кряжов, сидя в своем кабинете, ничего не знал о поведении своего воспитанника и был очень доволен, когда слышал, что тот дает уроки и занимается переводами. Иногда старик добродушно распространялся в обществе даже о том, «что нынче славная, трудящаяся молодежь, что, правда, у нее много разных непригодных к жизни идей, но что это все перебродится, осядет, когда пройдет молодость, и не пройдет только привычка к труду, к усидчивым занятиям».

— Вот хоть бы и мой Павел,— доходил добряк до желанной цели разговора,— денег я ему даю довольно, позволяю своею рукою брать, все у него есть, знает, что я ему и капитал оставлю, мог бы жить без труда, так ведь нет! Работает, работает, так что я иногда журю его, советую поберечь себя и не утомляться. Ведь даже худеет, право худеет!

Все приходили в изумление от достоинств Павла, а Кряжов гордо потирал руки и самодовольно улыбался: вот, мол, какого человека я воспитал!.. Он с каждым днем привязывался все сильнее к своему воспитаннику. И не мудрено. Выдав замуж Груню, Кряжов отчасти обманулся в своих надеждах; он думал, что его дочь и зять будут постоянно пребывать в его доме, но вышло совсем иначе. Марья Ивановна не согласилась жить в доме Кряжова «под надзором», как выражалась она, а Алексей Алексеевич, имея много занятий, не мог каждый день ходить с женою к старику в гости. Таким образом, старик остался один и скучал. При встречах с Грунею радости было не больше: она не жаловалась на судьбу, говорила, что ей хорошо живется, но была грустна, молчалива. Старик потирал лоб, снимал шейную косынку, начинавшую душить ему горло, и не мог ничего выдумать для развлечения своей дочери и для разгадки ее сердечных тайн. При таком положении развязность и веселость, явившиеся в характере Павла, были чистою находкою для старика. Он хохотал над выходками и проделками юноши, иногда даже добродушно позволял ему трунить над собою и замечал только при этом:

— Что с ним поделаешь, всех на смех поднимает! Таков уж паренек уродился!

Час, два, проведенные Кряжовым с воспитанником, успокаивали его на целый день. Иногда старик, сидя в своем кресле, мечтал вслух, как он поедет с Павлом за границу.

— И Груню хорошо бы взять с собою? — в виде вопроса говорил он.

— Отчего же бы и не взять, возьмем,— утвердительно решал Павел.— В студенты ее определим,— смеялся он.

— Ну, вот ты балясничаешь, а я не шутя говорю, что ей надо рассеяться,— серьезно говорил Кряжов.

— Надо, надо, батюшка,— уже задумчиво и грустно замечал Павел.

Кряжов вздыхал, но Павел вдруг начинал смеяться, представлял, как изумится Трегубов, когда узнает, что они едут за границу, как он сам захочет ехать с ними и как его не пустит туда его старая ключница, которую он все-таки впервые в жизни надует, вылезет ночью в окно и уедет с чужим паспортом. Затем следовала не менее интересная история о путешествии обманутой ключницы вслед за Трегубовым за границу... Старик смеялся...

— Славный малый ты у меня, и как это ты так вдруг развернулся,— ласкал иногда старик воспитанника, удаляясь в свой кабинет.

Все неровности вспыльчивого характера юноши прощались теперь стариком, и он скорее умолкал сам, чем настаивал на усмирении этой «горячей головы»... Так жили эти два младенца на жизненном пути — один, едва вступая на этот путь, другой, подходя по нем к близкой могиле...

Добряк Кряжов был прав, считая Павла добрым и честным человеком. Но не таким считал его Алексей Алексеевич Обносков. Давно уже привык он относиться с ненавистью к молодому человеку и следил зорким глазом отъявленного врага за ненавистным ему «мальчишкой». Бог знает, была ли эта ненависть следствием тайного предчувствия в ревнивом муже, что его жена еще слишком сильно любит это существо, злился ли просто Обносков за прежнюю близость Груни к этому «мальчишке», или просто боялся он, что

этому юноше оставят большую часть капитала, следующую дочери Кряжова, но только Алексей Алексеевич ненавидел Павла еще сильнее, чем прежде, и выискивал всевозможные случаи, чтобы отмстить своему врагу, подорвав его кредит в глазах Кряжова. Был один незначительный случай, которым думал с успехом воспользоваться Обносков для своих целей. Павел, кроме своих кутящих знакомых, которые уже порядочно надоели ему, стал в последнее время встречаться и с иными людьми, жившими трудом. В этом кружке часто говорились довольно смелые речи, еще чаще делались сборы незначительных сумм в пользу различных неблагонамеренных личностей. Павел участвовал и в этих разговорах, и вносил свою долю помощи в эти сборы. Он никогда не думал, что из этого может выйти что-нибудь серьезное. Но однажды в квартиру Кряжова неожиданно явилась ночью полиция и произвела обыск в комнате Павла. На следующий день его пригласили к допросу... Все кончилось очень благополучно. Но Кряжов струсил не на шутку за участь своего воспитанника.

— Как это ты так неосторожно ведешь себя! — говорил он ему по окончании всего дела.

— Да что ж тут такого важного? Ну, обыскали, допросили, одним опытом больше прибавилось, вот и все,— смеялся Павел.— От этого не убережешься. Все под полицией ходим.

— С тебя все, как с гуся вода! — смеялся остроте старик и не думал журить своего воспитанника за знакомство с опасными людьми; к таким же опасным людям хаживал и он в былые годы, были они во все времена.

Но не так взглянул на дело Алексей Алексеевич. Узнав о происшествии, он заметил Кряжову:

— Вот до чего доводят разные идеи-то! Эти нигилисты все вверх дном хотят перевернуть, чем бы о деле думать... Вам надо следить за Павлом! Он и себя погубит, и на нас набросит тень.

— Что это ты, Алексей Алексеевич, говоришь? — недовольным тоном ответил Кряжов.— Кто же станет подозревать меня? А он молод, горяч и всегда может проговориться, сколько бы я ни присматривал за ним... И мы были молоды и увлекались... Да и не дитя он, чтобы я стал следить за ним.

— Я не знал, что вы оправдываете эти ребяческие толки о предметах, которых и мы-то с вами не должны касаться,— ехидно заметил Обносков.— Но все-таки советую вам, добрейший Аркадий Васильевич, построже смотреть за мальчиком ради собственного его блага... Тут опасность, а не шутки. Взгляните, сколько сил гибнет теперь ради того, что их не направили, а распустили старики... После поздно будет тужить...

Слабый по характеру старик, несмотря на свое заступничество за поведение Павла, призадумался и в тот же вечер прочел проповедь своему воспитаннику, ероша себе волосы и потягивая галстук.

— Что с тобой, батюшка? — спросил недовольным тоном Павел.— Уж не с Обносковым ли ты обо мне поговорил?

— Да, с Алексеем,— ответил старик.— Он человек осторожный, рассудительный.

— Старая тряпка он! — сердито проговорил Павел.— Но что бы он ни был, а я попрошу тебя никогда не говорить с ним обо мне. Не люблю я подобных опекунов, да и вообще опеки не потерплю... Я уж, слава богу, вышел из детского возраста.

Павел нахмурился; это не ускользнуло от внимания Кряжова.

— Нехорошо, что ты так относишься к Алексею,— попрекнул он.

— Не говори лучше со мною о нем,— раздражился еще более Павел.— Если хочешь, чтобы мы были с тобой друзьями, то не упоминай его имени при мне. На этой точке мы всегда разойдемся в разные стороны.

Кряжов загорячился и стал отстаивать своего зятя.

— Послушай, батюшка,— серьезно сказал Павел.— Потакать твоим похвалам ему я никогда не буду, на ложь у меня нет способности; бранить же его, высказывать все, что я вижу, у меня духу не хватит. и если бы мне пришла необходимость или прямо объясниться об Обноскове с тобой, или уйти навсегда отсюда, то я выбрал бы последнее,— кончил, бледнея, Павел.

— Спасибо за привязанность! — горько произнес старик.

— Ты не сердись. Это любви моей к тебе не убавит, но ты должен же знать, как я, продолжая любить тебя, поступил бы в подобном случае.

После этого объяснения Кряжов дня три дулся на Павла, но отношения Павла к старику не изменились, он был по-прежнему мягок, весел, предупредителен, и старик забыл случайную размолвку со своим любимцем, как за два года перед тем забыл умышленное отсутствие Павла на свадьбе Груни.

Увидав неудачу своей попытки поселить раздор между Кряжовым и Панютиным, озлобясь еще более при виде торжествующей и вызывающей физиономии последнего, Обносков искал новых данных для достижения своей цели, рассчитывая довольно верно, что нужно не много усилий для того, чтобы вывести из терпения строптивого и непокорного врага. Из случайно сказанных различными личностями слов о поездках Павла на пикники и загородные гулянья, Обносков начал с некоторых пор составлять себе очень непривлекательное понятие о поведении молодого человека и, наконец, решился очень обязательно поделиться своими сведениями с Кряжовым.

Старик был как-то в гостях у зятя. Зашла речь о Павле. Кряжов хвалил его.

— Плохо вы за ним смотрите, добрейший Аркадий Васильевич,— промолвил со вздохом Обносков.— Вас ослепляет ваша честная привязанность к нему и ваша доброта.

— Ну, Алексей Алексеевич, ты этого не говори! — горячо вступился Кряжов за своего любимца. Вы ведь у меня все почему-то коситесь друг на друга, так потому и относитесь так строго один к другому... А Павла и посторонний человек не может не похвалить. Это честный, добрый и умный малый. Горяч он, строптив, ну, да это пройдет с молодостью, а ты погляди, как он быстро развился в последнее время, как обо всем трезво судит...

— Не спорю, не спорю, это-то так, добрейший мой Аркадий Васильевич, но...

Обносков вздохнул и остановился, не договорив начатой фразы. У Груни сжалось от страху сердце, она заметила, как по лицу ее мужа скользнула едва заметная насмешливая улыбка.

— Ну, что же ты не договорил? — спросил Кряжов.— Начал и не договорил. Так, брат, обвинять голословно нельзя; если начал, так и досказывай.

Обносков сделал какую-то сострадательную мину.

— Мне неприятно огорчать вас, добрейший мой друг...

— Ты, Алексей Алексеевич, уже огорчил меня,— сухо заметил Кряжов.— Не люблю я недосказанной клеветы! Против нее защищаться даже нельзя.

Обносков вспыхнул, как порох.

— Не клевета-с, Аркадий Васильевич, а правда,— заговорил он скороговоркой и с одышкой.— Недосказанная правда — это так, но только потому недосказанная, что мне тяжело открывать вам глаза...

Груня, вся бледная и дрожащая от негодования, пристально следила за мужем; в эту минуту ей хотелось взять и увести отца из их квартиры.

— Ваш Павел,— продолжал Обносков, взвешивая слова и придавая им особенную важность,— ваш Павел сошелся с развратниками, картежниками и негодяями, для которых нет ничего святого. Среди грязных и циничных камелий, среди отвратительных оргий и пьянства проводит он ночи и пропивает там и свой ум, и свое здоровье, и те деньги, которые вы, надеясь на его честность, позволяете ему брать из вашего стола без счету...

— Это ложь! Это ложь! — с горячностью воскликнули разом Кряжов и Груня.

— Нет-с, это правда... Я знаю из верных источников, я справлялся,— увлекся Обносков.

— Чтобы вооружить отца против Павла? — промолвила Груня задыхающимся от волнения и гнева голосом.

— Нельзя ли помолчать? — проговорил шепотом Обносков, обращаясь к жене.— Я говорю с твоим отцом о близком ему человеке...

— Он точно так же близок и мне,— перебила его жена.

— Я не знаю, может ли быть близким человек тебе только потому, что ты жила с ним под одной кровлей,— сухо промолвил Обносков, зеленея.— Но мне было бы приятнее, если бы, кроме меня, никто из посторонних мужчин не был близок тебе... Назвал же я Павла близким человеком твоему отцу,— продолжал

громко Алексей Алексеевич,— потому, что твой отец взялся воспитать его и даст за него, за каждый его проступок, ответ перед людьми и богом.

Кряжов в волнении ходил по комнате из угла в угол.

— Моя жена отвлекла меня от нашего разговора,— заговорил зять.— Я всегда принимал участие в судьбе Павла, хотя я и не имею способности выражать участие и любовь послаблениями и потачками. Не без сожаления выслушивал я в последнее время различные толки о его прискорбном поведении. Я ни слова не говорил об этом вам, боясь огорчить вас этим. Может быть, я дурно поступал в этом случае, так как жертвовал судьбою этого «мальчика» сохранению вашего спокойствия, но сегодня вы сами заставили меня высказаться, не удовлетворившись одним моим советом смотреть за ним.

Кряжов молча ходил по комнате.

— Я не знаю, насколько успел втянуться этот мальчик в разгульную жизнь,— продолжал Обносков.— Но я знаю, что она стоит денег, что эти деньги ему приходится или придется занимать где-нибудь, или брать у вас без спросу...

— Павел не вор, что вы мне рассказываете! — сердито пробормотал Кряжов.

— Я и не думал обвинять его в воровстве,— простодушно произнес Обносков.— Хотя эта пропасть втягивает во все пороки, и если он теперь, добрейший Аркадий Васильевич, обманывает вас, не говоря, где он бывает, или унижается, кутя на чужой счет, то после ему придется дойти и до более крупных ошибок, может быть, просто до преступлений... Я говорю это потому, что мне кажется необходимым вовремя принять меры и удержать его на краю пропасти...

— Удержать! Удержать! — бормотал Кряжов, потирая себе лоб.— Легко это сказать!

— Тут, добрейший Аркадий Васильевич, строгость нужна,— говорил Обносков.— Нужно добиться признания, хотя это и трудно, и потом принять свои меры... Если вам трудно объясниться с ним, то я согласен, хотя это и тяжело для меня, переговорить с ним...

— Папа, ты, вероятно, *сам* поговоришь с ним? — быстро заметила Груня и обратила к отцу вопросительный взгляд.

— Конечно, конечно,— утвердительно кивнул головою старик и тревожно стал поправлять ворот своей рубашки, точно она его душила в эту минуту.— Ох, уж мне эти объяснения! — махнул он рукою.

— Необходимость, необходимость заставляет,— пожал с прискорбием своими узенькими плечами Обносков.— Или своим спокойствием, или человеком жертвовать приходится...

Кряжов взял фуражку и простился с дочерью и зятем. И дочь, и зять пошли за ним в переднюю.

— Ты бы ушла отсюда; простудишься, пожалуй,— заметил заботливо Обносков жене, желая на минуту остаться вдвоем с Кряжовым.

— Нет, мне нужно с отцом поговорить,— прямо ответила жена, вышедшая в переднюю с тем же намерением, как и муж.

— Вот не могла этого сделать в комнате!

— Мне *одной* нужно переговорить с ним.

— Значит, я мешаю? — сердито спросил муж.

— Да, я попросила бы тебя оставить нас одних,— спокойно произнесла она.

— Я и не знал, что у тебя есть тайны от меня,— злобно усмехнулся он и прибавил, обращаясь к Кряжову с усмешкой: — Дитя еще, как видите, все хочется шептаться!

Пожав руку тестю, он вышел.

— Папа, не верь, пожалуйста, ему, это все клевета! — торопливо заговорила Груня, когда за мужем затворилась дверь.

— Дитя мое, какая же может быть цель у Алексея для клеветы на Павла? — покачал головой Кряжов.— Нет, это правда, Павел обманывал меня, низко обманывал, говоря, что он работает. Обман обиден!

— Папа, милый мой, как ты скоро всему веришь! — с грустью воскликнула Груня.— Алексей ненавидит Павла, он видит в нем врага.

— Что ты, что ты! — замахал руками старик.

— Да, да, это ничтожный, мелкий и злой характер! — воскликнула молодая женщина, выходя из себя.— Он готов погубить всех, кого он ненавидит, а Павлу он завидует, к Павлу он ревнует.

— Кого это? — бессознательно спросил ошеломленный неожиданными открытиями дочери старик.

— Меня.

— К брату-то? К твоему брату? — покачал головою отец.— Дитя, дитя, всегда-то ты готова взволноваться из-за любимых тобою людей... Но нехорошо, что ты так дурно думаешь о своем муже, который тебя любит...

— Любит! — как-то горько произнесла Груня и снова стала просить отца: — Но, ради бога, осторожнее говори с Павлом. Ты знаешь его строптивый характер. Он не потерпит ни грубости, ни полицейского надзора в доме... Позволь лучше мне переговорить с ним...

— Ну, хорошо бы ты поговорила с ним! — улыбнулся Кряжов.— По головке его же погладила бы.

— Ну, так дай слово быть осторожным,— настаивала Груня.

— Хорошо, хорошо! Ведь не зверь же я, в самом деле,— успокоивал ее Кряжов, задумчиво качая головой и выходя из дверей.

Груня, бледнее обыкновенного, возвратилась в комнаты. Обносков нетерпеливо ходил взад и вперед по гостиной.

— Скажи, пожалуйста, что за секреты могут быть у тебя с отцом,— остановился он перед женой, зорко и ревниво щуря свои калмыцкие глаза, сверкавшие злобным светом из-под очков.

— Если это *секрет* от тебя, то, значит, именно его-то содержания я и не могу передать тебе,— холодно проговорила жена и пошла в свою комнату.

— Однако ты с некоторого времени принимаешь все чаще и чаще в обращении со мною такой тон, какого я не желал бы слышать,— внушал он ей, пытливо всматриваясь в ее лицо.— Прошу тебя раз и навсегда не играть в эту игру.

— Мне кажется, что нам скоро придется перестать играть в какую бы то ни было игру,— твердо сказала жена.— Тем более, что здесь, кажется, все только и умеют играть в кошки и мышки: кто кого поймает, тот того и давит.

— Что с тобой? — нахмурился муж, как осенняя ночь.— Уж не этому ли негодяю обязан я всей сегодняшней сценой?

— Нет, ты во всем обязан одному себе,— насмешливо ответила молодая женщина, улыбаясь болезненной улыбкой, и вышла из гостиной.

Обносков походил большими шагами по комнате и решился объясниться с женою на другой день при первой удобной минуте. Однако на следующий день его жена ускользнула от объяснений и вышла со двора гораздо раньше, чем Алексей Алексеевич собрался начать важные для него переговоры...

XVIII

Две порванные связи

Проснувшись в тревожном состоянии на другой день после описанной нами сцены, Груня решилась идти к отцу, чтобы по возможности внести примирение в его переговоры с Павлом. Одевшись наскоро, она вышла из дому и пришла в дом Кряжова,— оказалось, что ее отца не было дома. Он ушел с утра, не сказав никому куда; Груня очень хорошо знала все привычки отца и потому не могла не встревожиться, услышав о его выходе из дома: старик по привычке покидал свой кабинет только в определенные с давних пор часы и уходил из своей квартиры не в определенное время только вследствие головной боли или неспокойного состояния духа.

— А Павел Петрович где? Дома? — спросила молодая женщина у лакея.

— Никак нет-с,— ответил он.

— Давно он ушел?

— Со вчерашнего дня не изволили возвращаться.

— Значит, отец не видал его вечером?

— Нет-с, не видали. Приказывали это они вечером позвать к ним Павла Петровича, коли они придут, да только Павел Петрович так и не пришли... Уж и мы беспокоимся, не случилось ли чего... Пожалуй, как ономедни, полиция забрала...

— Полиция? — испугалась Груня.

— Да-с, вот как тогда, когда их обыскивали-то...

— А-а!

Груне самой стало совестно, что она не сразу поняла лакея и подумала, что Павла брали в полицию за какое-нибудь буйство. Встревоженная больше прежнего, она не знала, что делать,— приходилось идти домой, где ее ждали расспросы и подозрительные взгляды мужа и свекрови. Ей стало как-то особенно тяжело возвращаться к ним, и она медлила.

— Я отдохну немного,— сказала она лакею и прошла в столовый зал отца.

Все стояло по-старому в этой большой, убранной по-старинному комнате. Те же высокие, темные кресла, те же тяжелые, темные драпри, тот же мрачный, как пропасть, камин. Но все было пусто, угрюмо, в камине не пылал веселый огонек, как в былые годы. И между тем каждая из этих вещей, каждый из этих углов напоминали молодой женщине какие-нибудь счастливые или трогательные события из ее мирного детства и девической жизни. И со всеми этими событиями неразрывно связывалось воспоминание о двух дорогих сердцу и теперь отчужденных от нее существах — воспоминания об отце и Павле. С безмолвным, сжимающим сердце чувством безнадежной грусти смотрела Груня на все эти предметы, а слезы сами собою катились по ее щекам. Так смотрят люди на заросшие травою, безответные могилы, где безвозвратно схоронены дорогие им личности. А вот и то старое кресло, где она, Груня, впервые со страхом в сердце узнала, *какою* любовью любит ее Павел, где впервые на ее губах прозвучал страстный, не братский поцелуй юноши, тогда почти еще мальчика, теперь — молодого возмужавшего человека. Невольно, бессознательно опустилась молодая женщина на колени перед этим креслом и закрыла лицо руками, точно перед нею носился призрак Павла и она просила у него за что-то прощенья. Какой-то тайный, внутренний голос шептал ей: «Взгляни, как все здесь стало пусто. Твой брат, твой друг, твой возлюбленный бежал отсюда, чтобы спастись отсюда. Твой нежный, привыкший к семейному затишью отец бросил свой обычный труд и ушел, тоже бог знает куда, от этих безответных стен. И ты сама, несчастная, не любимая в своем доме, ненавидящая этот дом, рыдаешь здесь о своем утраченном счастье. Останься здесь, и *они* снова придут сюда. Им не достает только тебя... Ты

помнишь, что они не бежали отсюда, когда здесь раздавался твой голос приветный, твой смех молодой... Зачем же ты колеблешься? Решайся!.. Помнишь, твой брат говорил тебе, что мы все гибнем, потому что ничем не рискуем, всего боимся... Или жизнь такая, какою мы желаем жить, или смерть...»

— «Нет, нет! — быстро вскочила Груня.— Мне надо бежать, бежать отсюда!.. Это мой долг, мое наказание за прошлую ошибку,— это наше общее наказание, потому что мы все виноваты и теперь все равно несем свой крест. Да, я теперь только поняла, что не я одна — жертва, что наказание постигло всех виновных...»

Торопливо отирая слезы, накинув шляпу, она поспешными шагами ушла из дома отца, как будто кто-то гнался за нею следом и хотел силою удержать ее в этом доме.

— Где это ты пропадала? — спросил ее муж, когда она, испуганная и трепещущая, вернулась домой.

— Я нездорова,— проговорила она вместо ответа.

Он взглянул на ее лицо и изумился: ее глаза были еще красны от слез, щеки пылали горячечным румянцем, губы запеклись.

— Что такое случилось? — тревожно спросил муж.

— Ничего... мне нужно лечь, успокоиться... Я стоять не могу...

— Да ты не к отцу ли ходила?

— Ради бога, не спрашивай меня ни о чем! — с невольным ужасом произнесла молодая женщина, чувствуя, что первое грубое слово теперь разорвет последнюю, туго натянутую нить ее связи с мужем.— Мне нужно отдохнуть, успокоиться... Тебе же будет хуже, если мы станем теперь объясняться,— почти с угрозой говорила она.

Алексей Алексеевич пожал плечами, но не решился продолжать допрос. Что-то зловещее и грозное было в выражении лица его жены. Он позвал горничную, чтобы та уложила в постель барыню, и хотел ехать за доктором. Жена не велела звать врача... Покуда Обносков беспокоился и добирался в своем уме до причины всего случившегося, покуда мать настаивала, чтобы сын пугнул жену,— в доме Кряжова происходили сцены совершенно другого рода.

Не застав дома Павла при своем возвращении от Обноскова, старик Кряжов велел слуге сказать, когда возвратится Павел, и стал ходить в ожидании по своему кабинету. Время шло своим чередом, а лакей все не являлся с докладом. Чем более сгущалась ночь, тем чаще звонил старый ех-профессор и спрашивал слугу, не пришел ли Павел Петрович.

Ответ получался отрицательный.

— Часто он не ночует дома? — спросил Кряжов.

— Иногда не ночует-с,— ответил заспанный лакей.

— Иногда! Иногда!.. Тебя спрашивают: часто ли? — рассердился старик.

— Не то чтобы часто, а иногда бывает-с, что ночевать не изволят, коли где-нибудь запоздают...

— Дурак, толком не умеешь ничего сказать! Ступай!

Кряжов снова ходил по комнате и ждал. Павел не являлся.

— Ну, что ж, и с нами то же бывало в молодости,— утешал себя старик.— А пожурить надо, все-таки надо... Однако в какое общество он попал? Ведь совсем погубят!.. И зачем он меня обманывает? Разве не мог он откровенно все рассказать мне? Обман, обман, вот что гадко!.. Пожалуй, в карты играет, долги делает... Ну, вот и погибнет. А кто виноват будет? Я? Я потачку давал, не умел строгим быть, по головке гладил, волю дал, вот и плоды!.. Нет! Строгость, строгость нужна, в ежовых рукавицах надо их держать... Мы откровенности их дожидаемся! Гм! Хороша откровенность!.. Смеются, поди, над старым дураком, что он спит и не знает, где гуляет его воспитанник!.. Спит! Спит! Нет, я не сплю, тут не уснешь, когда человек, близкий человек гибнет!.. Может быть, он уже и в полиции сидит, а я вот хожу, жду... Долго ли у нас-то до беды!

— Иван, Павел Петрович не приходил?

— Никак нет-с.

«Ну да, ну да, и не придет, знает, что я сплю, что я не забочусь о нем, что я верю ему!» — снова думал Кряжов, а утро уже бросало свои бледные лучи в его кабинет.

На следующий день старик не мог работать и, как мы уже знаем, ушел из дома, чтобы освежить свою голову. Часам к четырем он вернулся домой. Павла

все еще не было. Кряжов один сел обедать. Старик уже не сердился, но просто грустил и беспокоился. Через несколько минут в передней послышался звонок. «Наконец-то!» — подумал Кряжов, и очень изумился, когда на место Павла к нему явился Обносков. Алексей Алексеевич пришел для объяснений со стариком насчет Груни и хотел узнать, между прочим, где она была утром.

— Ба! Какими судьбами ко мне завернул? — спросил Кряжов.

— Пошел проветриться, голова что-то болит,— ответил рассеянно Обносков.

— У меня тоже побаливает. Перед погодой, верно,— сказал Кряжов, зная, что у него совсем не перед погодой болит голова.

— Должно быть,— согласился зять, хотя тоже знал, что его голова болит не перед погодой.— Жена тоже не так здорова...

— Что с ней? — встревожился старик.

— Так что-то привалилась немного,— ответил обносков.— Странная она какая-то стала в последнее время, все капризы...

— Да, да, но, может быть... знаешь, Алексей Алексеевич, у женщин время такое бывает...

В эту минуту раздался сильный звонок в передней. Так обыкновенно звонил только Павел. Кряжов постарался нахмурить брови. Дверь в столовую шумно отворилась, и Павел развязно и весело вошел в комнату.

— А, наконец-то! — проворчал сквозь зубы Кряжов, хмуря брови.

— Опоздал, извини, батюшка,— промолвил молодой человек и, кивнув головой Обноскову, наклонился к Кряжову и поцеловал его в лоб.

Это была одна из тех ласк Павла, которую более всего любил старик Кряжов.

— Обедал? — по-прежнему хмуро спросил старик.

— Нет, голоден, как собака,— отвечал Павел, бросая перчатки на стол, и пристально взглянул на старика.— Ты здоров? — спросил он озабоченно.

— Здоров, что нам делается! Спим целые ночи, да и днем ходя спим,— с иронией и раздражением ответил Кряжов и бросил такой взгляд на Обноскова, как будто посылал его в душе ко всем чертям.

Старику хотелось поскорей высказаться, поворчать, и в то же время он не мог говорить при Обноскове с Павлом. Любовь и раздражение боролись в душе старого добряка.

— Хорошо, если бы молодежь и днем и ночью спала по-вашему,— не без едкости заметил Обносков, кажется, и не думавший об уходе.

Кряжов нахмурился еще более.

— А! Вы все на молодежь по-прежнему нападаете,— развязно засмеялся Павел, бросив бойкий взгляд на Обноскова и усердно истребляя суп.— Я вот действительно не могу ни к какой регулярности привыкнуть: и сплю и работаю запоем.

— И кутите запоем? — обозлился Обносков за эту развязность своего веселого врага.

— О! Уж разумеется; тут-то регулярности и подавно не может быть. А то, пожалуй, пришлось бы начать, что вот такого-то числа, в такой-то час, такого-то месяца я кутить буду... это уж вышло бы слишком комично,— весело засмеялся Павел.

— Вам, вероятно, сегодня все покажется смешно, потому что вы, как я замечаю, находитесь именно в таком настроении, в каком люди бывают, вернувшись с кутежа.

— Ну, уж если пошло на сравнения, то ваше настроение похоже на настроение человека, выпившего какой-то горькой дряни,— засмеялся Павел.

Кряжов, который привык в последнее время забавляться выходками Павла, невольно улыбнулся, но тотчас же снова закусил губу, увидав, какое впечатление произвела последняя фраза Павла на Обноскова.

— Хорошо вы шутите, Павел Петрович, да плохо живете,— промолвил Обносков шипящим тоном.

— Ай, вы опять за наставления хотите приняться! — махнул рукой Павел и продолжал преусердно истреблять жаркое.

— Да-с, за наставления! И хорошо, если бы вы слушались их. Это вам скажет и добрейший Аркадий Васильевич, который, вероятно, еще не успел объясниться с вами,— обратился он к Кряжову.— Но я зайду после, а теперь оставлю вас одних; вам, я думаю, нужно переговорить друг с другом после всего того, о чем мы говорили с вами...

— Н-да... пожалуй...— почему-то смешался Кряжов, у которого уже успел остыть гнев при виде Павла не пьяным, здоровым и веселым.

— Нет, постойте,— удержал Павел Обноскова, изменяясь в лице, и обернулся к Кряжову.— Ты, батюшка, действительно за что-нибудь недоволен мною?

— Н-да, есть причины... то есть, как бы это сказать, не то, что причины, но подозрения...— совсем растерялся Кряжов от прямодушного вопроса Павла.

— И ты говорил об этих причинах или об этих, как ты их назвал, подозрениях с Алексеем Алексеевичем? — еще более задушевно и уже грустно спросил Павел.

— Н-да... то есть не я говорил... но... это он говорил,— совсем спутался Кряжов.

— Ну, и прекрасно, значит, вам по праву следует первое место занимать при объяснениях отца со мною, как судье в семейных делах.

Павел отодвинул от себя тарелку, у него вдруг пропал всякий аппетит и исчезли последние следы веселости. Его голос дрожал от гнева.

— Что же, батюшка, я слушаю,— пробормотал он.

— Да это пустяки, мы переговорим одни,— заметил Кряжов, увертываясь от объяснений.

— Зачем же?.. Уж если ты про меня за глаза говорил дурно с ним,— небрежно указал Павел на Обноскова,— то в глаза-то и подавно можно.

— Да чего ты злишься-то? — треснул по столу кулаком Кряжов, досадуя, кажется, более на Обноскова и на себя, чем на своего виновного воспитанника.

— Да как же и не злиться, когда ты жалуешься на меня черт знает кому, совсем посторонним людям,— ответил запальчиво Павел.

— Стыдись! — упрекнул Кряжов.— Алексей тебе не чужой.

— Я его никогда не считал своим родственником, ты это знаешь.

— Ну, если так смотреть на вещи, так ты и меня с Груней можешь считать чужими.

— Ты знаешь, что я уважаю тебя, как отца, и люблю ее, как сестру,— ответил Павел.— А его все-таки считал и считаю чужим.

— Насильно мил не будешь! — проговорил Обносков, иронически улыбаясь.— Но оставимте разговор обо мне, а перейдемте лучше к делу... Вы приняли такой тон, который совсем не подходит к вашей роли. Вы огорчили своего воспитателя своим поведением и теперь грубите ему же.

— Да, да, ты меня огорчил,— проговорил Кряжов, постоянно терявшийся, когда ему приходилось делать строгие выговоры или принимать крутые меры.

— До Аркадия Васильевича дошли слухи, что вы кутите...

— Это вы сообщили ему подобные слухи? — дерзко перебил Павел.

— Ну, хоть бы и я, так что же? — спросил Обносков.

— Очень вам благодарен,— насмешливо поклонился Павел.

— Да ты и должен благодарить его, потому что он заботится о твоей судьбе,— ввернул свое слово Кряжов, очень усердно и наивно подливая масло в огонь, который ему хотелось потушить.

— Но дело не в вашей благодарности, а в вашем ответе на вопрос: имеют ли основание эти слухи? — допрашивал сухим, учительским тоном Обносков.

— Ты уполномочиваешь этого доносчика и на роль инквизитора? — угрюмо спросил Павел, обращаясь к Кряжову.

— Да, это будет тебе наказание. Ты обошелся и обходишься с ним дерзко, так и отвечай теперь ему же,— сказал Кряжов, обрадовавшись этому случаю отделаться от несвойственной ему роли и не видя возможности прекратить допрос.

— Да,— ответил совершенно побледневший Павел: — я кучу иногда, если вам так угодно называть мои случайные поездки и пикники и загородные гулянья.

— Вы, кажется, считаете эти удовольствия очень невинными?

— Не невинными, но очень естественными в молодости, если еще прибавить, что этой молодости скучно.

— То есть если она дела не делает, а бьет баклуши...

— Ну, в этом-то не я виноват.

— Вероятно, среда?

— Может быть, среда, а может быть, характер. Во всяком случае, вы не поймете, почему иному человеку тошно сидеть в четырех стенах, жить без людей, без деятельности и корпеть над бесплодной работой, которую он даже не считает серьезным делом...

— Так-с! У вас широкая натура, вам, верно, гражданской деятельности нужно, так вы и ищете ее в среде развратников и развратниц.

— Клевещете! Я там просто думаю иногда рассеять скуку, но и это теперь иногда не удается, наскучило...

— Полно, наскучило ли? — злобно улыбнулся Обносков.— Но дело в том, что эти милые кутежи стоят денег, и очень жаль, что вы не так богаты, чтобы кутить на свои деньги...

— Что же, не думаете ли вы, что я на чужой счет веселюсь? — строптиво спросил Павел.

— Я ничего не думаю, но именно этот вопрос мог интересовать добрейшего Аркадия Васильевича. Вы живете на его счет, у вас нет ничего своего, ни гроша за душой, а потому не худо бы знать, на что и какие деньги вы тратите? — отчеканивал Обносков.

— Я зарабатываю деньги,— старался сдержать себя подсудимый.

— Ну, их, вероятно, не достанет на всех этих камелий и на все эти разъезды, может быть, картежные игры.

— Батюшка, и ты тоже не веришь, что я трачу на эти глупости только свои деньги? — спросил Павел, обращаясь к Кряжову.

— Ну...— начал Кряжов, все время задумчиво чертивший что-то ножом по тарелке.

— Аркадий Васильевич так честен и добр,— перебил Обносков,— что поверит всему, что вы говорите ему. Но если даже вы и тратили действительно только свои деньги, а не его, не взятые в долг на стороне, то и тогда подобная жизнь не могла бы найти себе никакого оправдания и непременно должна повести вас ко всем мерзостям, до которых доходят подобные вам голяки, вздумавшие тянуться за богачами.

— Ну, пожалуйста, не переходите из роли допросчика в слишком почетную для вас роль наставника,—

оборвал его Павел.— Наставлений ваших я не стану слушать. К этому не может принудить меня и отец...

— Я говорю вам только то, что сказал бы и он,— произнес Обносков.

— Да, да, все это и я хотел сказать тебе,— заметил Кряжов, не слышавший половины разговора и размышлявший о своей собственной бурной молодости, полной молодого разгула, молодых увлечений и ошибок.

— Вы видите, что я имею право давать вам наставления, хоть это и неприятно вам,— улыбнулся Обносков.— Но что бы ни было в прошлом, оно непоправимо... Поэтому самое лучшее будет с вашей стороны сознаться, не сделано ли вами долгов, и если, к счастью, вы не успели их сделать, а могли обойтись теми деньгами, которые вы всегда можете достать здесь, то вас попросят на будущее время изменить образ жизни и побольше думать о деле, а не о разврате.

— Да, да, Павел, сделай мне это удовольствие и веди себя порядочно,— ласково промолвил Кряжов, полагая, что вся история пришла к концу.

— Во всяком случае, добрейший Аркадий Васильевич и я, мы постараемся следить за вами более зорко, чем следили прежде,— ввернул Обносков.

— Что же это я буду жить под надзором домашней полиции и шпионов-любителей? — гневно воскликнул Павел.

— Вы это своего воспитателя шпионом называете? — едко спросил Обносков.

— Нет, вас! — резко ответил Павел.

— Ты опять-таки говоришь дерзости,— рассердился Кряжов.— Ты благодарить должен Алексея, что он заботится о тебе, заботится потому, что я прошу его об этом... Н-да!

— Ты просишь? — бледнея произнес Павел.— Так ты думаешь, что я когда-нибудь стану уважать этого человека или подчиняться ему?

— Да, да, и будешь, если я заставлю! — сказал Кряжов с какою-то старчески-добродушною и настойчивою уверенностью.

— Ну, нет!

— Не нет, а да! И если я тебя жить у Алексея заставлю, так и жить там будешь. Да! — настаивал Кряжов, до комизма стараясь быть строгим.

Он так сжился с Павлом, что все еще видел в нем того самого ребенка, который сиживал у него когда-то на коленях.

— В таком случае, я лучше заранее уйду из твоего дома,— промолвил Панютин.

— Этим-то, вероятно, и выразится ваша любовь к отцу? — спросил Обносков и с умыслом впервые назвал в этот день Кряжова отцом Павла.

— Какой я ему отец! Мы чужие! Вы видите: жил-жил на квартире, а теперь не понравилась, так на другую переехать хочет,— с горечью промолвил старик.— Ну, что ж, переезжай! Да поскорей переезжай! Что долго раздумывать? И тебе, и мне покойнее будет.

— Покойнее всех будет вот этому мерзавцу,— вымолвил Павел, стискивая зубы, и указал на Обноскова.— Он погубил одну половину твоего счастия, теперь губит и последнюю. Жаль мне тебя, отец.

Обносков позеленел.

— Что? — вскочил Кряжов со своего места.— Ты, подобранный с улицы, наплевал на меня за все мои благодеяния, да ты же еще смеешь оскорблять горячо преданных мне и избранных мною людей?

— Э, какое тут благодеяние, если подберут щенка да потом станут его на веревке водить и позволять каждому негодяю с улицы ломаться над ним! — проговорил, задыхаясь Павел.

— Если бы вы не были мальчишка, так вы расквитались бы со мною за свои дерзости,— прошипел Обносков.

— Напротив того, только из того, что вы не расплачиваетесь со мною, я и понимаю, что я уже не мальчишка,— рассмеялся нервным смехом Павел.

— Ступай вон!.. Иди!.. И не смей более являться ко мне на глаза! — кричал Кряжов.

Павел вышел. Кряжов зашагал по комнате, развязал на ходу шейную косынку, швырнул ее в сторону и расстегнул ворот рубахи.

— Негодяй, как он расстроил вас,— проговорил Обносков.

Кряжов ходил по комнате, изредка отирая ладонью свой лоб.

— И ведь черствость сердца какая,— еще решился произнести Обносков.

Кряжов все ходил молча. Взял со стола салфетку, отер ею вспотевшую шею и стал засовывать салфетку в карман.

— Я пойду, добрейший Аркадий Васильевич. Прощайте,— поднялся со своего места Обносков, совершенно сконфуженный молчанием тестя.

— Хорошо... Прощай!..

Кряжов даже не взглянул на зятя и продолжал шагать по комнате из одного угла в другой.

Изредка потирая себе лоб, старик размышлял о тысяче предметов. Думалось ему, что не умел он составить ни своего счастья, ни счастья любимых детей. «Ведь вот и Павел обозлился, нагрубил, уходит от меня, а все-таки ему не сладко. И у Груни есть какое-то горе, что-то случилось у нее с мужем, отчего-то она худеет... Теперь хоть в могилу ложись, да умирай! И как это Алексей так повел дело, что разозлил Павла... Ведь и в самом деле, не мальчишка же Павел, не ребенок он. А я чего смотрел, чего молчал, покуда Алексей говорил? Ведь я своими руками подложил огня к ссоре... Ну, да и то сказать, мог бы и помолчать передо мною Павел. Ведь не грубила же, покорялась же мне Груня?» И вдруг в голове Кряжова возникли вопросы: нашла ли счастие за свою покорность Груня? Наслаждается ли она семейными радостями в доме навязанного ей мужа? Доставила ли эта покорность наслаждение хотя самому ему, Кряжову? — На все эти вопросы он готов был отвечать скорее отрицательно, чем утвердительно. Начались думы о том, что и сам Кряжов вел такую же жизнь, какую вел Павел, что и он еще мальчишкой бежал из школы, потом студентом бежал от своего дяди, потом профессором вышел в отставку по капризу из университета.

— Что же, уж не мне ли прощения просить у Павла? Нет, молод еще он для этого! — рассуждал старик.— И какой черт дернул Алексея впутаться в это дело! — топнул он ногою, вытащил из кармана салфетку, чтобы отереть лоб, посмотрел на нее с каким-то тупым удивлением и швырнул на пол.— Прав-

ду Груня говорила, что ни я, ни Алексей не сумеем повести дело,— продолжал он.— Однако почему она так скверно говорила о муже? На что намекал Павел, говоря, что Алексей погубил уже половину моего счастья? Что у них там делается? Скрытная она, молчит все... Вот и Павел такой же был... За дурака они меня считают, за бессильного ребенка... Да я ребенок и есть, не умею я жить... Везде что-нибудь напутаю!..

Кряжов махнул рукой и снова шагал из угла в угол по комнате. Тревожный день взаимных недоразумений окончился бессонной ночью. Рано утром Кряжов спросил у лакея:

— Павел дома?

— Никак нет-с, вчера ушли...

— Ничего не брал с собою?

— Книги, кажется, взяли-с... Так, узелок маленький несли-с под мышкой...

— Ступай!..

Кряжов опять ходил по комнате.

— Ну, бог с ним, бог с ним! — шептал старик.— Я спокоен, я свое дело сделал, я проживу и один. У меня дело есть, мне некогда тосковать. И что мне он?.. Чужой... Правда, привыкли жить вместе, привыкли... Ну, да это ничего не значит. Отвыкну... Как не отвыкнуть!.. К тому же он в последнее время часто не бывал дома... Ведь я и без того почти всегда один был.

Кряжов надувал и старался уверить себя, что Павел не каждый день сидел в столовой, пока старик пил пиво.

Протянулось кое-как утро, настало время обеда. Кряжов вошел в столовую. На большом столе стоял только один прибор, и стол выглядел каким-то пустым. Слуга подал суп и ушел. Кряжову не с кем было говорить, некого было поджидать, не на кого было посердиться за поздний приход... Он молча принялся за суп, зачерпнул ложку и остановился; перед его глазами носился образ какого-то чумазого ребенка; вот мало-помалу образ ребенка превращается в образ бойкого, но сурового и строптивого мальчика; вот он становится задумчивым юношею с страстными глазами, наконец, это уже совсем возмужалый молодой человек, быстро развернувшийся, стройный, лихорадочно подвижный, иногда увлекательно веселый,

иногда как-то трогательно грустный, но всегда ласковый, даже в минуты вспышек...

— Прикажете принять суп? — спросил лакей, появляясь в комнате и видя, что Кряжов не ест.

— Убирай!.. Я не буду обедать,— очнулся Кряжов и встал.

Он провел рукой по лицу, оно было мокро; он опустил руку на грудь, на рубашке были капли слез...

Точно забыв что-то и тщетно стараясь вспомнить забытое, пошел Кряжов в свою комнату, обвел ее глазами, пошарил что-то на полках, повертел какую-то книгу, положил ее снова на место и бессознательно вышел из дома. Через несколько времени он сидел в доме Обноскова перед диваном, на котором лежала Груня; она не была больна, но чувствовала непомерную слабость и истому.

— Нехорошо, нехорошо хворать,— говорил старик, стараясь придать шутливый тон своим словам.

— Да ты сам, папа, как-то дурно выглядишь сегодня,— заметила Груня, всматриваясь в его лицо.

— Ничего, я-то здоров. Что мне делается!

Все помолчали.

— Ну, а что Павел? Говорил ты с ним?

— Да, да, все пустяки.

— Ну, я так и знала, что ты неправ,— обратилась Груня к мужу с торжествующим лицом.

— Аркадий Васильевич говорит про ничтожность объяснения, а не про самый факт, заявленный мною. Оказалось, что Павел действительно кутил, мотал деньги и даже, вдобавок, вместо раскаянья наделал грубостей отцу и мне,— произнес Обносков, не обращая внимания на таинственные знаки тестя, приглашавшие его замолчать.

— Ты разве был при их объяснении? — поднялась Груня на локте, чтобы лучше видеть лицо мужа, на котором она научилась читать все тайные помыслы.

— Был.

— Ну? Ну? Что же? Чем же кончилось? — спрашивала она, уже не помня, что говорит, и дрожа всем телом.

— Пустяки, пустяки все! — заговорил Кряжов и тихонько замахал рукою, делая очень выразительные глаза.

— Кончилось тем, что он ушел из дому твоего отца,— объяснил сухо Обносков.

— Как ушел? — крикнула Груня.

— Совсем... Неблагодарный мальчишка!..

— Что я наделала, что я наделала! Зачем я бежала из отцовского дома, когда я могла спасти брата! — закрыла лицо руками Груня и зарыдала.

— Дитя мое, что с тобою? Когда же ты бежала из моего дома? — подошел поспешно к ней с утешением Кряжов, думая, что Груня говорит о своем замужестве, и не зная о ее вчерашнем посещении его дома.

— Она бредит, я за доктором съезжу,— сказал Обносков.

— И как вы допустили его уйти,— рыдала Груня.— Вы оба, оба погубили его! Знали, что он гибнет, что он стоит над пропастью, и в эту минуту решились оттолкнуть его от себя! Куда он пойдет? К тем развратным женщинам, у которых он, по вашим словам, проводил время? К тем гнусным кутилам, с которыми, как вы говорите, он был дружен? Ведь вы знали, что у него нет других знакомств, что вы держали его взаперти, вдали от общества. И как тебе-то не стыдно, отец! Если Алексей умеет только ненавидеть всех, только рыть яму всем, то у тебя-то такое мягкое, доброе сердце...

— Дитя мое, дитя мое, успокойся,— говорил старик и поспешно вызвал Обноскова в другую комнату.

— Съезди за доктором, она больна,— сказал он.

Через полчаса явился доктор, нашел в своей пациентке маленький жар, маленькое нервное раздражение, маленькую слабость, объявил, что, может быть, все пройдет само собою, что, может быть, болезнь разовьется, но что, во всяком случае, больной прежде всего нужно спокойствие. Послали за лекарством, заплатили доктору за визит и оставили больную одну. Иного средства для успокоения нет...

— Мне надо объясниться с вами,— сказал Обносков Кряжову.

— Извини, Алексей Алексеевич, я сегодня не способен ни на какие объяснения. Довольно вчерашнего... Береги свою жену, а я зайду завтра,— проговорил старик и ушел.

Обносков не спал всю ночь. Он был встревожен, его мучила ревность, в голове роились разные подозрения.

— Что же это, мальчишка — соперник? — шептал он в ярости.— Отлично! отлично!.. он хорош собою, он ловок, здоров, а я слаб, болен, дурен, как же не полюбить его! И это так удобно исполнить, имея занятого делом мужа: муж в должность,— жена на свидание; муж горб гнет,— жена хохочет в это время с молокососом-возлюбленным... Никто ведь не узнает! Это не девушка развратничает, улик нет... Потому мы и замуж пошли, не любя, свобода была нужна. Не за гимназиста же было, в самом деле, выйти... Не ждать же, когда он подрастет... ха-ха-ха! Славные люди, славное поколение растет!.. Подлецы, подлецы! Сгниете вы у меня оба, я вас придушу, медленно придушу,— медленно, как вы опутывали меня сетью своих интриг... И за что это, господи? За что все против меня? Потому, что я иду прямым путем, потому, что я стою за правду, за свои права... Ведь умри она, ее же назовут жертвой... Палача назовут жертвой... Ведь нужно допускать свободу чувства, кормить развратных жен, воспитать незаконнорожденных детей! Это все модные идеи!.. Господи, у меня голова кругом идет! — восклицал Обносков и, почти рыдая, в изнеможении падал на диван.

На следующий день он пошел в должность в самом тревожном настроении духа. Ему хотелось остаться дома, пролежать день, но манкировать службой было не в его характере.

Около двенадцатого часа Груня позвала к себе горничную.

— Барин ушел? — спросила она.

— Ушли-с.

— А Марья Ивановна?

— На рынке-с.

— Одень меня.

Горничная помогла Груне одеться.

— Найми извозчика.

— Что вы, барыня, вам нельзя выезжать.

— Найми извозчика: мне надо ехать...

— Ох, да ведь меня бранить будут, со свету сживут...

— Ничего не сделают... милая, сходи за извозчиком... Я тебя возьму к себе... в дом отца.

— Да разве вы совсем хотите уехать отсюда? — изумилась горничная.

— Совсем.

Через полчаса Груня, шатаясь от слабости, входила в квартиру своего отца.

— Дитя мое, как тебя отпустили, как ты сюда попала? — всплеснул руками старик и бросился поддержать дочь.

— Папа, я более не уйду от тебя,— слабым голосом произнесла она, теряя последние силы, и прижалась к груди отца.— Они меня измучили... Я презираю, я ненавижу их. Я лучше пойду в могилу, чем вернусь к ним.

Кряжов отшатнулся от нее, но она едва не упала от слабости. Старик бросился к ней и обнял ее.

— Расскажи, что случилось, что случилось,— говорил он, обнимая и поддерживая ее, свое единственное сокровище.

— Не спрашивай, я ничего не стану рассказывать. Но не выгоняй, ради бога, не выгоняй меня! — еще крепче прижалась Груня к отцу.

— Дитя мое, дитя мое, могу ли я выгнать тебя! — воскликнул старик, поднял Груню и, как ребенка, как в былые годы ее детства, донес дочь до ее старой девической спальни.— Вот ты и опять здесь, как прежде, как жила девочкой!..

Груня в изнеможении закрыла глаза и впала в забытье. Кряжов сидел над ней, понурив свою львиную седую голову, и о чем-то думал. Невыносимой тоской дышала каждая черта его честного, обрюзглого старческого лица...

Груня не шевелилась.

XIX

Отец и муж

Кряжов сидел у постели дочери, не замечая, как летит время, и не делал никаких распоряжений, даже не посылал за доктором. Он был совершенно ошеломлен неожиданною бедою. В его голове был какой-то

хаос, мысли путались и не вязались одна с другою. Старик не знал, что начать делать, как поправить случившееся несчастие. С самого детства не умел он справляться с житейскими невзгодами и в самых крайних случаях находил спасение себе только в бегстве: так он бежал от розог из школы, бежал от неволи из дома своего дяди, бежал от стеснительных для его преподавания мер из университета, вероятно, убежал бы и от своей жены, если бы она была дурна. Но в настоящем положении патентованное средство никуда не годилось и на место его требовалась дипломатическая тонкость для объяснений с зятем; а именно этой-то способности и не было у Кряжова, не умевшего, как мы знаем, ни в каких случаях объясняться с людьми. Старик теперь кипятился и злился, хотя именно в эту минуту ему всего нужнее было спокойствие и хладнокровие. Резкий звон колокольчика в передней вывел его из оцепенения и заставил поспешить в другую комнату, чтобы встретить непрошеного гостя. Входя в столовую, Кряжов встретился лицом к лицу с зятем. Обносков был встревожен не менее тестя.

— Что у вас там вышло с женою? — сурово спросил Кряжов у зятя, не подавая ему руки.

— Она здесь? — торопливо спросил Алексей Алексеевич задыхающимся от волнения голосом.

— Здесь.

— Слава богу, слава богу! — обрадовался Обносков и, вздохнув свободно, отер со своего плоского лба крупные капли пота.— Фу, как я струхнул!.. Ведь я уж думал, что в бреду горячки она бог знает куда убежала... Вы не можете себе представить, как это меня перевернуло... Мать прискакала в должность, говорит: «Жена убежала!», я ничего не могу в толк взять, в голове какой-то туман,— отвратительная минута!..

Обносков налил себе воды и залпом опорожнил стакан.

— Не в том дело,— прервал его Кряжов, хмуря брови.— Я спрашиваю, что у вас там вышло с женою?

— Ничего не выходило,— отвечал уже более спокойно Обносков.

— Как ничего не выходило?

— Я ее со вчерашнего вечера, когда вы у нас были, и не видал даже.

— А как вы с ней постоянно-то обращались? Как жили? — раздражительно промолвил тесть.— Мучили ее!

— Что с вами, добрейший Аркадий Васильевич?— изумился зять, слыша строптивый тон старика.— Живем мы, слава богу, мирно, тихо... Вы сами знаете, что иначе я и не могу жить при моих занятиях... Но меня удивляет, добрейший...

— Убирайтесь вы к черту со своим «добрейшим»!.. Что я вам за добрейший достался! Вы меня за мокрую курицу считаете, что ли? — вышел из себя плохой дипломат и ближе подступил к Обноскову, отступившему на шаг назад.

Начало не сулило ничего хорошего.

— Что с вами?

— А то, сударь, что вы измучили мою дочь. То, сударь, что она, Груня, мое дитя, не воротится больше в ваш дом!.. Понимаете вы это?

Обносков в изумлении довольно широко открыл свои подслеповатые глазки и еще на шаг отступил перед угрожающей фигурой старого экс-профессора.

— Что же это такое? — прошептал он, слегка изменяясь в лице.— Разрыв... бегство... это уже не бред, не горячка...— потер он рукою лоб.— Да нет! Вы расстроены, вы сами не знаете, что вы говорите! — промолвил он и выпил еще стакан воды.— Глупости какие-нибудь пришли в голову женщине, а вы из мухи слона сделали... Где она? Я пойду к ней... Надо переговорить...

Обносков совсем растерялся.

— Я вам сказал, что вы ее не увидите и она не воротится в ваш дом,— сердито топнул ногою Кряжов и заходил по комнате.

— Помилуйте, кто же ей позволит оставаться здесь? — нетерпеливо пожал плечами зять.

— Я! Слышите вы: я! — крикнул Кряжов, точно он хотел, по крайней мере, перекричать, если не убедить зятя, и рванул с шеи свою косынку.— Я ее не пущу к вам; не пущу, если она сама захочет идти к вам... Мало того, что вы сами мучили жену, так вы позволяли своей матери мучить ее... Вы от чужих прячете эту бабу; она за кулисами, когда у вас

гости; вам стыдно показать это неотесанное чучело посторонним людям, но не стыдно заставлять жену жить изо дня в день с этою грубою тварью...

— Послушайте,— начал задыхающимся, но сдержанным голосом Обносков.— Я извиняю ваши дерзости только потому, что вы стары и не помните, что говорите... Вы раздражены... Я понимаю ваше положение. Вы слепо любите свою дочь, вы не можете видеть ее слез... Она, вероятно, рассердилась на меня и на мою мать за какую-нибудь мелочь, пришла к вам жаловаться, расплакалась и расстроила вас окончательно... Вам надо успокоиться...

Кряжов молча продолжал шагать по комнате, опустив на грудь свою седую львиную голову.

— Вы знаете,— продолжал зять, успокоиваясь под мерное течение своей речи,— что я человек не светский, не паркетный шаркун, не праздный остряк... Я не умею и не желаю быть любовником своей законной жены, я считаю брачный союз слишком священным для того, чтобы осквернять его мелким развратцем любезностей, ухаживаний и бесконечных поцелуев... Может быть, моей жене,— извините меня за этот упрек вам,— начитавшейся в вашем доме разных современных развратных романчиков, захотелось на миг иметь именно такого мужа-любовника. Но она, как умная по природе женщина, испорченная только воспитанием, скоро поймет, что церковь не для этого освящает союз мужа и жены. Теперь поветрие на бегство жен от мужей, это зараза в воздухе, внесенная десятком развратных сорванцов, подтачивающих все основы честной, законной и, говорю смело, христианской жизни... Не нам с вами, добрейший Аркадий Васильевич, потакать этому злу. Мы призваны на борьбу с ним,— вы по летам, я по убеждениям...

Кряжов давно уже сидел у стола, скорбно опустив на руки голову, и, кажется, не слышал речей Обноскова.

— Помилуйте, друг мой,— продолжал зять, сверкая узенькими глазами,— сколько раз мы толковали с вами здесь, в затишье семейного кружка, об этих прискорбных, все чаще и чаще повторявшихся заблуждениях? Вы смотрели с таким же неподдельным ужасом, как и я, на этих несчастных жертв, бежавших при первой размолвке от законных мужей. Мы

знали, что их ждет разврат, позор и гибель. Как же вы хотите, чтобы я, зная ваши убеждения на этот счет, хоть на минуту поверил, что вы желаете содействовать разврату и гибели своей любимой дочери?

Кряжов молчал. Все ниже и ниже склонялась его седая голова, все более скорбным становилось выражение его лица. Обносков с невольным удивлением, почти с любопытством, смотрел на эту безмолвную, полную тоски и горя фигуру старика.

— Успокойтесь, бедный мой друг,— с покровительством и участием произнес Обносков, подходя к старику и дотрогиваясь до его плеча.— Дело поправимое!

Этот тон снисхождения внезапно вывел Кряжова из забытья. Старик вскочил и поднял голову.

— Прочь, негодяй! — крикнул он, встряхивая с омерзением плечом, до которого дотронулся зять.— Я тебя из своих рук задушу, если это будет нужно для свободы моей дочери. Я через твой труп перенесу ее на волю, бездушная, пресмыкающаяся тварь!.. Сожаление!.. Ты смеешь жалеть меня!.. Понимаешь ли ты, что ты наделал?.. Ты человека загубил! Мою дочь загубил!.. Да что я говорю: дочь! Ты загубил нас всех, все наше счастие, весь наш семейный мир... Слышишь ты? — тряс Кряжов зятя за плечи, как бы готовясь вышвырнуть его за окно на улицу.

— Что же это, убийство? — прошептал Обносков глухим голосом, обессилев в могучих руках старика, и его лицо исказилось от страха.

Кряжов опомнился и с отвращением оттолкнул от себя это больное, слабое и трусливое создание. Обносков едва переводил дух и тяжело опустился на кресло.

— Ты лучше не являйся ко мне на глаза,— ворчал с угрозой старик, шагая в волнении по комнате.— Ты умеешь говорить... ну, а я не привык с такими подлецами объясняться... Н-да, не умею и, слава богу, что не умею!.. Не готовился в дипломаты,— ворчал вполголоса Кряжов.

— Вы... вы... не забудьте,— с усилием шептал зять, дрожа от недавнего испуга и злобы,—что у нас... у нас есть законы...

— Да... есть законы!— пробормотал Кряжов, разводя руками.— Ну, и обращайся к ним, когда я тебе расшибу голову! — скрипнул он зубами и вышел в

другую комнату.— Есть законы,— говорил он сам с собою, шагая в другой комнате.— И нечем оправдать бегство жены от такого мужа: тихий, скромный, не развратник, ну, и должна жить вместе! Ведь и точно, не потакать же гнусным прихотям всякой развратницы, захотевшей бежать от законного мужа! Ведь ее не насильно за него выдавали!.. Да, это значит: погубить ее же, если позволить ей бежать... Да, да, это все *мои* слова, *мои* убеждения!.. Дитя мое, дитя мое, что я с тобой сделал! — рыдал, как ребенок, старик, припадая к постели лежавшей без движения дочери.— До седин дожил, общество всю жизнь учил, а не научился понимать людей, не сумел понять, что выйдет из того, что я делаю... Старый дурак, палач в шутовской одежде!

Кряжов рванул ворот своей рубашки так, что у него отлетели пуговицы. В эту минуту, должно быть под влиянием восклицаний отца, Груня стала бредить во сне.

— Что же доктор не идет? — очнулся старик.— Ведь я, кажется, посылал за ним... Нет!.. Забыл... Дурак, дурак!.. Недостает еще, чтобы сам ее уморил теперь!

Старик бегом отправился в людскую и поднял на ноги всю прислугу... Беготня, толки докторов, посылка за лекарством, хлопоты около больной, и все это утихло только к ночи, когда, наконец, в доме настала тишина и покой. Везде погасили огонь, все уснули, и только едва-едва теплилась лампа с темным абажуром в спальне лежавшей без памяти Груни, у постели которой не спал Кряжов: он сидел в полумраке в большом кресле, опустив на грудь и поддерживая одною рукой свою седую голову.

Идут дни за днями своим чередом. Кряжов не заглядывает в свой любимый, уютный кабинет. Пусто и тихо в этой комнате. Пыль покрывает книги; до них никто не дотрогивается; некоторые из них так и остались открытыми, как бросил их хозяин, выбежав навстречу к своей дочери, пришедшей искать спасения, может быть, спокойствия могилы в отцовском доме; как-то неприятно действуют на глаза эти открытые страницы, занесенные густым слоем пыли, словно они говорят о скоропостижной смерти труженика, словно напоминают, что у этого труженика не

было в мире ни одного близкого существа, которое закрыло бы с священной скорбью недописанную им страницу. Такое любимое существо было у Кряжова, и у его-то постели проводит он теперь дни, для этого-то любимого существа бросил он недописанные страницы своих изысканий и не заботится ни о пыли, оседающей на свежие чернила, ни о мышах, которые могут, если им вздумается, обгрызать эти исписанные листы. Все это писалось для науки, для общества, для потомства, может быть; но что за дело теперь старику до этих любимых умом предметов, когда судьба отрывает у его сердца всю его жизнь — его любимую дочь? Он должен быть здесь: у ее постели его место. Это место его нравственной пытки, его лобное место, но старик не хочет, ради чего бы то ни было, уступить это место другому. Оно надрывает его старое сердце, но оно дорого ему. Тянется долгий мучительный день,— старик чутко прислушивается к каждому шороху и трепещет, что вот-вот раздастся звонок в передней, отворится дверь и появится в этой комнате зять, чтобы потребовать к себе свою жену. Как подействует его появление на больную? Не убьет ли оно сразу это хрупкое существо? Может быть, и убьет, но как предупредить это естественное появление зятя, как устранить от постели дочери ее законного мужа?.. Но, слава богу, день проклятый, истомивший нервы, меркнет: муж дочери не приходил, теперь можно успокоиться до следующего дня. Успокоиться? Едва ли! Наступает ночь, воцаряется тишина,— но старик тщетно старается задремать в своем большом кресле. Сон не идет, а идут новые страшные думы. Эта проклятая ночь не разгоняет их, она как будто только для того и тиха, и беззвучна, чтобы не нарушать этих дум,— и они все растут и растут. Что будет, если дочь выздоровеет? Не должна ли она идти на новые муки, не будет ли ее выздоровление только средством заставить ее переносить новые страдания, новые сцены, новые болезни? Так лечили преступников, чтобы они имели возможность получить недоданные им удары палача... Так неужели же нужно желать, чтобы она умерла? Отцу желать смерти любимой дочери?.. У старика болезненно сжимается сердце, и он начинает тревожно прислушиваться к дыханию дочери: жива ли она, уж не умерла ли и

в самом деле? Но вот она бредит, вот она чуть слышно шепчет его имя, имя мужа, имя Павла... Новые воспоминания, новую пытку переживает старик. Где Павел? За что разорвана связь и с этим дорогим существом? Что оно делает? Не гибнет ли в омуте столичной жизни?.. А бред дочери все продолжается, вот слышатся слова любви... Она говорит о любви, уж не любила ли она Павла более, чем брата? Он был хорош, она молода; они росли вместе, они сжились вместе по чувствам, по мыслям, по стремлениям... Да, да, они любили друг друга... Любили! Они и теперь любят друг друга... Безнадежная любовь эта — источник новых мук. Жить с ненавистными людьми, терпеть от них гонения и знать, что где-то близко есть любящее, дорогое существо, с которым можно бы прожить счастливо всю жизнь, да ведь это невыносимо... Но где же исход, где исход?.. Опустив на руки свою измученную голову, сидит старик до утра, и болью отдается в его сердце каждое слово, произнесенное в бреду его дочерью, и такою же болью сжимается его сердце, когда кругом воцаряется могильная тишина, и дочь лежит, подобно трупу, без всякого движения на постели...

Да, это лобное место для Кряжова. Даже нет в его голове мысли, что он наказан без вины, что он прав. Даже не ищет никакого оправдания себе этот честный и прямодушный старик. Он сознает, что он не подлец, не негодяй, но он слабый человек, неопытный младенец в делах жизни, а это хуже подлости. Подлец имеет определенную цель, подлец знает, кого он должен погубить своею подлостью, подлец знает, что его может встретить наказание за его поступки; но ничего этого не знает слабый и неопытный человек: нет у него уменья достигнуть полезной цели, не предвидит он, кто может погибнуть от его бессознательных и неумелых поступков, не понимает он, что и его может ждать казнь за эти поступки, бесполезные, может быть, даже для него самого. Подлец с полным сознанием губит врагов и стоит за своих сторонников; слабый человек очень часто бессознательно помогает врагам и запутывает положение своих друзей...

Жизнь в эти дни казалась Кряжову каким-то тягостным сном, невыносимым кошмаром, горячечным

бредом. Его заставило отчасти очнуться и вспомнить о необходимости действовать письмо зятя:

«Ваше возмутительное обращение со мною при нашей последней встрече,— писал, между прочим, зять в своем длинном послании,— заставило меня отказаться от личных переговоров с вами и прибегнуть к письменным объяснениям. Я узнал от вашей прислуги, что моя жена опасно больна. Очень естественное чувство заботы о ее здоровье заставляет меня не требовать ее немедленного возвращения в мой дом в настоящую минуту. Мне тяжело не видать ее, но приходится в этом случае покориться судьбе. На ваш уход за нею я надеюсь вполне, зная, как вы любите ее, и потому я покоен хотя в этом отношении. Не желая тревожить и раздражать ее, покуда она будет слаба, я обещаюсь вам не являться ей на глаза. Но за эти уступки *вы обязаны*, как честный человек, как человек почтенных лет, приложить все свои старания для внушения своей дочери твердых понятий о ее долге. Не думайте, многоуважаемый Аркадий Васильевич, что вы этим сделаете только услугу мне, нет! Вы спасете честь своего семейства, спасете свою дочь и избавите себя от скандала и огласки всей этой прискорбной истории. *Вы должны* подготовить свою дочь к лучшему пониманию супружеских обязанностей, потому что *именно вы* должны загладить этим свое прошлое неуменье воспитать честную женщину — жену и мать семейства. Вы должны исправить прошлое и ради того, чтобы для вашей дочери началась мирная и счастливая жизнь в доме ее мужа. Поймите, что только моя любовь к жене заставляет меня временно уклониться от тех мер, на которые я имею полное, неоспоримое и, так сказать, священное право. Я даю вам срок уладить все прочнее, спокойнее, без ломки, без шуму. Но я должен предупредить вас, что никто не заставит меня отказаться от моих законных прав. Я не из тех, которые грабят, и не из тех, которых грабят. Законность для меня выше всего, и я еще не считаю себя вправе думать, что вы серьезно придерживаетесь другого образа мысли. Живую или мертвую, но я ворочу в свой дом свою жену и не позволю ни одному мерзавцу смеяться надо мною. Мы, слава богу, живем в таком обществе и в такие времена, что можем найти справедливый

суд и расправу. Говорю все это вам, чтобы вы смотрели серьезнее на свою задачу примирителя и не думали, что есть какой-нибудь незаконный путь для удовлетворения каприза вашей дочери. Этого пути нет. Вы знаете, что она должна или вернуться ко мне в дом, или идти в монастырь; последнего она, конечно, не сделает, тем более, что я имел случай узнать ее, к несчастию, очень печальный взгляд на такие предметы, как монастыри».

Кряжов опустил руки, прочитав послание. Он увидал необходимость выпросить у зятя отсрочку для вступления Груни в дом мужа... Начинаются переписка, свидания, переговоры. Обносков держит себя холодно, спокойно, с достоинством, иногда язвительно подсмеивается над стариком. Кряжов сначала просит, почти умоляет, потом раздражается, бушует и вдруг приходит в себя, сознает свое положение и снова переходит к просьбам. Но оба выглядят невесело, нехорошо, лица обоих осунулись, пожелтели; Кряжов ходит неверною походкою, Обносков сильно кашляет.

— Скорей надо ковать железо, скорей! — говорит Обносков на прощаньи с Кряжовым.— Вы видите, чего нам обоим стоит эта история. Мы оба в гроб смотрим и уходим себя, если не кончим дела скорее...

— Подождите, дайте ей совсем поправиться, тогда я ее подготовлю к свиданию с вами... Ради бога, подождите, теперь она так слаба,— умоляет старик.

— Вы видите: я жду... Ведь надо удивляться, как иногда бывают снисходительны тираны-мужья,— насмешливо и злобно заключает Обносков,— и как не снисходительны их страдалицы-жены. Тиран-муж боится жене на глаза показаться, чтобы не повредить ее здоровью излишними волнениями, а страдалица-жена позорит мужа, бросает его по капризу, доводит его чуть не до могилы... Дивные дела бывают на свете!

Кряжов молча и задумчиво выслушивает эти желчные слова, и в его голове вертится мысль:

«А что, если *он* умрет через полгода? Как бы протянуть это время?»

Старик пристальнее всматривается в лицо зятя: оно желто, изнуренно и местами на щеках горит пятнами зловещий румянец.

«Умрет, скоро умрет!.. А может быть, еще десятки лет проживет!» — думается старику, и он боится этой последней мысли; гонит ее от себя... Да, он, честный, прямодушный, не стыдится теперь желать смерти ближнему; старик не стыдится желать смерти молодому человеку!

XX

Заря новой жизни

— Дитя мое, не холодно ли здесь... Не простудись... И зачем ты ходишь одна, ты еще так слаба,— так говорил однажды Кряжов, заботливо суетясь около дочери, перешедшей в столовый зал без его ведома.

Она была еще слаба и бледна, но уже могла ходить без посторонней помощи. Закутанная в большую шаль, она полулежала теперь в дорогом ей по воспоминаниям кресле и, не слыша слов отца, задумчиво смотрела на огонь, пылавший в камине.

— Позволь, я проведу тебя в твою спальню,— уговаривал ее старик.

— А-а! Ты здесь,— очнулась молодая женщина от забытья.— А я мечтала... Все воспоминания... Скажи мне, что ты знаешь о нем? — отрывисто говорила она, как будто отец должен был знать, о ком она думала во время своих мечтаний.

— Как бы тебе сказать, дитя мое,— смешался старик, не понимая ее вопроса и не желая показать этого.— Покуда я ничего не могу сказать наверное... Я не знаю...

— Так ты справься... Я хотела бы знать, что он делает, как живет... Неужели ты совершенно разлюбил его?.. Ведь он рос на твоих руках, он был близок тебе, как сын... Не понимаю я, как это могут люди забывать друг друга только потому, что не родные!..

— Что ты, что ты, голубка! Я его и теперь помню, люблю, как сына,— поторопился сказать Кряжов, поняв, о ком идет речь.— Я на днях пошлю узнать... Это время все о тебе хлопотал, совсем потерялся... Хорошая моя, напугала ты меня!

Кряжов ласкал дочь, но она была как-то апатично холодна. Казалось, что вместе с здоровьем отцвела ее любовь, погибла ее нежность. Постоянно задумчивая, постоянно молчаливая, она не ласкалась, как прежде, к отцу, не говорила с ним по целым часам и как-то рассеянно слушала его болтовню. Он же никогда не был так говорлив, как теперь. Казалось, что он хочет вознаградить себя за долгие дни молчания и одинокой тоски. Под его говор нередко засыпала дочь в своем большом кресле. У старика навертывались на глаза слезы, когда он замечал, что дочь не слушала его и заснула, но он быстро оправлялся и тихо, осторожно отвозил больную в кресле в ее комнату, где, при помощи горничной, укладывал дочь, как ребенка, в постель.

— Дитя мое, я справился о нем,— толковал, радостно потирая руки, Кряжов на другой день после расспросов дочери о Павле.

— Ну и что же? — спросила молодая женщина.

— Ничего, работает, здоров.

— Не думает зайти к нам?

— Как бы тебе это сказать... Он заходил, то есть не то чтобы заходил, а справлялся о твоем здоровье у дворника... почти каждый день справлялся... Я это от лакея вчера узнал... Да этого и нужно было ожидать. Я всегда был уверен, что Павел нас любит. Строптив он, непокорен, но нас никогда не забудет. Добрая душа!

Дочь молча слушала болтовню разговорившегося старика.

— Н-да, справлялся и не зашел,— качая головою, рассуждала она как бы про себя.— Он и не зайдет сюда, никогда не зайдет...

— Отчего же, дитя мое, отчего же! — торопливо прервал ее отец.— Теперь вот ты поправилась, говорить можешь, он и зайдет непременно...

— Нет, отец, он не зайдет... И незачем ему заходить сюда... Мы его оттолкнули от себя... Ты позабыл о нем, я... что я ему теперь?

— Что за мысли, что за мысли! — воскликнул старик, подергивая шейную косынку.— Зачем этот тон? Разве мы враги с ним? Разве он не знает, что мы любим его, как родного?.. И отчего это ты вдруг могла сделаться чуждою его сердцу? Разве он так

черств? Вот уж этого я не люблю, когда так думают о ближних...

Старик горячился и путался, но дочь уже не слушала его речей и дремотно смотрела на огонь в камине. Какие-то неуловимые и смутные видения носились перед ее глазами, в голове роились отрывки воспоминаний, клочки разговоров; иногда ей вдруг представлялось на мгновение будущее и по ее лицу пробегало выражение ужаса, плечи слегка вздрагивали... Но слабость сделала свое дело, и молодая женщина снова заснула, как убаюканное дитя.

На следующий день Кряжов весь сиял, не мог посидеть на месте, не мог наговориться.

— А знаешь ли, голубка, где я был вчера? — весело спрашивал он у дочери и как-то лукаво подмигивал добродушными глазами.

— Почему же я знаю! — ответила рассеянно дочь.

— У него, у нашего Павла,— торопился высказать старик.— Я знаю его, он упрям, непокорен, он не пришел бы первый... Да ему и не след было приходить первому. Я старше его, я должен был первый показать ему, что прошлое забыто... Вот я так и сделал... Обрадовался он, целует... Все о тебе говорил... Он теперь придет. Только поправляйся скорее, он тогда и придет.

— Это он тебе сказал?

— Да, да, он сказал, что придет, когда тебе будет лучше.

— Он это обманул тебя, успокоить хотел,— промолвила молодая женщина.— Он не придет. Я теперь поняла это... Ему *нельзя* придти сюда... И для чего?.. Ну, скажи мне, для чего придет?

— Как для чего? — растерялся старик и засуетился, не вынося пристального взгляда дочери.— Вот ты увидишь, я сам его приведу!

— Зачем? — еще пристальнее и неотступнее взглянула дочь.

Старик растерялся окончательно и начал развязывать шейную косынку, подергивая и запутывая узел.

— Зачем? — продолжала в раздумье дочь.— Увидаться на минуту, погоревать вместе, еще более убедиться в том, что в будущем тьма и безысходность... Стоит ли для этого видеться?.. И одной надоело страдать, ныть...

— Что у тебя за мысли! — тревожно проговорил старик, чувствуя, что дочь касается именно того предмета, о котором он старался не думать, обманывая себя насчет ее будущего возвращения к мужу.— Мы должны быть все вместе... Старую жизнь начнем...

— Ты веришь в возможность этого? — с упреком в голосе спросила дочь.

— Да, да, мы будем счастливы,— увернулся от ее взгляда отец.— Пожалуйста, не возражай! Ведь ты хочешь увидать его? Хочешь?

— Отец, что ты спрашиваешь! Зачем ты это спрашиваешь!.. Все, все отдала бы я, чтобы он был здесь,— оживилась на миг молодая женщина, и вдруг снова на ее лицо набежала какая-то мрачная тень.— Да нет, зачем! — раздражительно проговорила она.— Не напоминай мне об этом... Это мечта, бред... Лучше приготовить меня перенести действительность, близкое будущее... Ты не мог отвратить его, так, по крайней мере, постарайся облегчить...

Что-то суровое и почти черствое было в этих словах дочери. Отец опустил на грудь голову, и его говорливость внезапно сменилась тоскливым молчанием. Он почти боязливо ждал, что вот-вот дочь еще заговорит и поразит его сердце сотнями упреков за прошлые и предстоящие страдания. Но она молча поднялась с места и тихо, почти шатаясь, пошла в свою спальню.

Отец бросился поддержать ее.

— Оставь, я дойду одна,— проговорила она холодным тоном.

— Дитя мое, ты сердишься,— начал старик.

Дочь остановилась на минуту; выражение ее лица стало совершенно мрачным.

— Пора все кончить, пора кончить игру в прятки,— отрывисто проговорила она, поддаваясь нервному раздражению.— Чем скорее, тем лучше... Я тебя не упрекаю, но зачем ты не сказал мне прямо, что исхода нет?.. Надо было принудить меня жить с мужем: закрепостили, так и нужно было разъяснить это... А то от слуг приходится узнавать, что муж может через полицию вернуть... через полицию!.. А ты... ты еще новые сны навеваешь... точно нарочно хочешь сделать более страшным мое пробуждение...

Скорее, скорее кончай все, как-нибудь, но кончай... или я сама развяжу узел...

Дочь отвернулась от отца и прошла, шатаясь, в свою спальню.

Он, как оглушенный громом, стоял без движения на месте, и опять ни одного оправдания себе не находилось в его уме. «Виноват, кругом виноват!» — шептал он, и казалось, что ему недалеко было до сумасшествия.

Странные чувства овладели теперь Кряжовым: он не сердился, не смел сердиться на дочь за ее резкие слова; нет, напротив того, он еще более понял всю тягость ее положения и страдал за нее более прежнего. До сих пор любовь молодой женщины к Павлу казалась одним предположением старику, теперь же он уверился в справедливости своих догадок. Несколько дней, как мы уже видели, он тешился, радуя свою дочь рассказами о Павле, и готов был продолжать эти невинные, по его мнению, толки о молодом человеке. И вдруг несколько отрывочных фраз дочери открыли ему, к чему он ведет ее этими подогреваниями того чувства, которое она старалась насильно задушить в себе, вырвать с корнем из своего сердца. «Что делать?» — спрашивал себя старик. Снова целую ночь провел он без сна, снова взвешивал все обстоятельства и тщетно старался найти исходный путь. Наконец он на что-то решился. Дня через три он явился к дочери опять с сияющим лицом.

— Дитя мое, тебе лучше? У тебя сегодня и цвет лица свежее,— говорил старик молодой женщине.

— Да, я почти здорова,— отвечала она.

— Ну и отлично, и отлично! — радовался отец, потирая руки.— А что если бы... Только ты будь покойна, не волнуйся, не волнуйся... Если бы, знаешь, вдруг теперь вошел...

— Папа, он здесь? Здесь?.. Веди его сюда, милый! Я хочу его видеть, в последний раз видеть! — волновалась дочь, и ее щеки вспыхнули ярким румянцем.

— Ну, полно, полно, успокойся... Погоди...

— Павел, Павел, друг мой! — поднялась молодая женщина с кресла и опустила свою голову на грудь Павла, быстро подошедшего к ней.

С минуту длилось молчание. Никто не мог выговорить ни слова. Первый очнулся Кряжов.

— Ах, я и забыл, мне еще нужно к Трегубову съездить. Ты побудь здесь, Павел, покуда я не возвращусь,— засуетился старик и торопливо, почти бегом скрылся из комнаты.

— Милый, милый, как я счастлива! — шептала молодая женщина, любуясь лицом своего друга.— Как ты изменился, похудел... Как ты жил это время? что делал? Я все хочу знать...

— После, после расскажу все,— говорил Павел, целуя руки Груни и сидя у ее ног на скамейке.— Теперь надо думать не о прошлом, а о будущем.

— О будущем? — вздрогнула Груня, и по ее лицу скользнуло выражение боязни.— Друг мой, не лучше ли не заглядывать в это будущее? Там мрак.

— Там свет, там счастье! — говорил Павел оживленным и страстным тоном.— Будущее наше. Будущее создаем мы.

Молодая женщина вздохнула.

— Это мечты!

— Нет, не мечты! Надо действовать и добиться счастья. Надо искать исхода.

— Я, по крайней мере теперь, не в состоянии ничего придумать... Я думала — ничего не выходило: впереди была все та же безрассветная тьма... Практической, действительной жизни я не знаю... Я думала сперва, что так легко отделаться от мужа...

— Полно! Я все устрою, я все отдам, но устрою наше будущее. Говорят, нет для нас исхода. Глупости! Найдем исход!.. Он есть везде для всего. Ленивые и трусы только не находят его... Какой исход был у меня, когда я вышел отсюда из дома без гроша в кармане? Какой исход был у меня, когда три дня я питался куском хлеба и водой, оставшись без помощи в этом чуждом для меня обществе? Однако же я выбился из нужды. Я готов был кули таскать, готов был в лакеи идти, только бы выбиться своим трудом из рук голодной смерти, и выбился. И всякий человек выбьется из ее рук, если в нем есть энергия, если он не станет плакать, что у него не явится сразу богатства. Но только был бы кусок хлеба да силы, а то явится и остальное. Или борьба с случаем, или смерть. А исходы будут всегда. Биться, биться нужно до последней капли крови и победить или умереть. И то и другое благо, и то и другое освобождает от гнета...

— Я сама думала о смерти,— задумчиво проговорила Груня.

— Думала о смерти, не начав борьбы? — горячо проговорил Павел тоном строптивого упрека.— Умереть, не померявшись силами с врагом? Убить себя прежде битвы, чтобы прямо уступить ему поле сражения? Да разве тут есть смысл?.. Нет! Надо все средства испробовать, надо не сдаваться до последней минуты... И разве это так трудно тебе сделать? Ты не из-за хлеба бьешься, ты деньги имеешь для борьбы, а это уже не малое подспорье.

— Укажи мне путь, и я пойду на него,— произнесла Груня.— Но еще раз повторяю, что я теперь ничего не могу придумать... У меня есть решимость, но нет опытности... Веди меня куда хочешь. Я вся твоя. Что бы ни случилось, я перенесу все. Позор, лишения, труд — все, все перенесу, только бы вырваться из этой грязи, отделаться от этой лжи, прикрытой маской нравственности, набожности и серьезности...

Молодая женщина горячо и крепко сжимала руки Павла.

— Ну, вот, дети мои, мы и вместе, и опять по-старому живем, дружно, мирно,— говорил Кряжов, появляясь в комнате.— А ты, Павлушка, уж не дуешься на меня? А? — шутил он с своим воспитанником.

Тот пожал его руку.

— Береги мою Груню, береги! Я слаб, я стар, а ты теперь не дитя, тебе можно вверить ее,— говорил старик, и в его словах было какое-то особенное значение.— Ну, а ты довольна? счастлива? — спрашивал он у дочери.

Она притянула к себе его седую голову и поцеловала ее. Она была веселее, оживленнее, чем во все предшествовавшие дни.

Отец снова чувствовал, что дочь любит и прощает его. В ее ласке было даже что-то похожее на благодарность. Вполне довольный переменою в настроении дочери, старик был весел и болтлив, но почему-то он как будто считал своею обязанностью поминутно ускользать из комнаты и, не выдерживая, возвращался снова к своим детям... Вечер кончался, Павел стал собираться домой.

— Переезжай к нам теперь,— сказал ему Кряжов.

— Хорошо,— ответил Павел и простился с Груней.

— Мне нужно поговорить с тобой,— заметил он шепотом Кряжову и пошел с ним в кабинет.

Кряжов встревожился.

— Скажи, как ты уладил дело с ее мужем? — спросил Павел у старика.

— Покуда ничего не мог уладить,— заговорил старик.— И нельзя ничего сделать... вот посмотри его письма.

Павел прочитал послания Обноскова.

— Но думаешь ли ты, что он оставит у тебя Груню хоть на несколько месяцев еще? Можешь ли ты сделать хоть это? — спросил Павел.

— Я думаю... надо хлопотать... просить,— волновался Кряжов.

— Я к тебе не перееду,— серьезно заметил Павел.— Мой переезд сюда заставит Обноскова сильнее настаивать на возвращении Груни в его дом.

— Ну, это почему? — с недоверием промолвил старик, сильно желавший переезда Павла в его дом.

— Почему? — в раздумье повторил Павел.— Он меня ревнует к ней.

— Глупости!

— Не глупости, а правда. И он имеет на это полное основание,— отчетливо проговорил Павел.— Каковы бы ни были наши отношения до сих пор, они не могут остаться навсегда такими... Подумай об этом и ты... Но что бы там ни было в будущем, а все-таки дело в том, что я жить здесь не буду для пользы Груни... Хорошо, если бы ты запретил и людям рассказывать, что я буду ходить сюда... Надо выждать время, обдумать все... До весны бы протянуть...

— А тогда?

— Тогда... Я сам не знаю покуда, что будет тогда, но нам надо выиграть время, чтобы успеть все сообразить и чтобы она поправилась совсем, стала бы бодрее... Вдруг ничего не придумаешь...

— Делай, как знаешь,— проговорил Кряжов и растроганным голосом прибавил: — Тебе я поручаю спасти ее, тебе отдаю ее...

— И даже не спрашивая, какие выйдут из этого последствия?

— Спасение, спасение, вот все, что я жду от тебя,— проговорил Кряжов.

Павел крепко сжал его руку, и казалось, что он, как в былые времена, хотел этим ободряющим рукопожатием сказать ex-профессору: «Не падай, старичина, духом, я спасу твою дочь!»

С этого дня выздоровление Груни пошло быстрее, силы возвращались с каждым днем. Она снова была весела, говорлива и почти не чувствовала боязни при взгляде на будущее. Если же эта боязнь и закрадывалась в ее душу, то Павел всегда умел рассеять это мимолетное чувство своими горячими речами. Он приходил не часто в дом Кряжова и оставался здесь не долго; Груня знала, что у него есть занятия, что он поступает так недаром, и не настаивала на частых визитах. Их братские, прежние отношения восстановились вполне. Любовных объяснений, порывов страсти не было никаких. Они были по-прежнему свободны в своих отношениях, и в этом было их счастье. Иногда в доме Кряжова появлялись сестры Обносковы. Сентиментальная Вера Александровна даже оставалась изредка ночевать у Груни. Она стала приносить своей молодой родственнице известия, что Высоцкая справляется о ее здоровье; потом от Высоцкой стали приноситься поклоны; она теперь как будто напрашивалась на знакомство с Груней; наконец Груня поручила попросить ее приехать в их дом. Отношения этих двух женщин изменились совершенно: Груня уже не упрекала в душе Стефанию за разврат, Стефания, в свою очередь, не считала Груню ни дурной, ни слабой женщиной. Нередко встречал Павел Высоцкую в доме Кряжова и начал любить и уважать ее, как любила и уважала ее теперь Груня. Дни между тем шли вперед.

— Что ее муж? — спрашивал Павел потихоньку у Кряжова.

— Бунтует, не хочет более терпеть, хочет огласить все дело, если Груня не вернется,— печально говорил старик.

— Постарайся затянуть еще на несколько времени дело. Ей надо совершенно оправиться.

— Хорошо, хорошо, попытаюсь.

Проходили еще дни.

— Друг мой, я боюсь, что ты ничего не придумаешь для моего спасения,— грустно говорила Груня Павлу.

— Не бойся. Все уладится,— утешал он.— Я давно нашел средство, его легко было найти. Но я боюсь еще за твои силы, тебе еще нужен уход близких людей.

Прошла еще неделя.

— Ну, брат, ничего, кажется, больше не поделаешь,— говорил Кряжов Павлу.— Алексей Алексеевич требует объяснения с женою.

— Может объясняться сколько ему угодно дней через пять,— улыбнулся Павел.— Груня теперь здорова и может решиться на все.

Вечером в этот же день у Кряжова были в гостях Высоцкая и сестры Обносковы. Груня была как-то особенно мила и оживленна в этот вечер. Высоцкая смеялась и шутила.

— Вы удивительно помолодели и похорошели в последнее время,— говорила она Груне.

— Это потому, верно, что волосы обрезала, так и выгляжу девочкой,— улыбнулась Груня.

— Премиленькой, надо добавить,— ласково промолвила Стефания.— Но как вы думаете устроить свои дела? Я слышала от Веры Александровны, что в доме вашего мужа собирается гроза. Надо бы подумать о громоотводе.

— Не знаю, право, это зависит от... случая,— проговорила, краснея, Груня, бросив взгляд на Павла.

— И, может быть, от вас,— заметил он.

— О, если от меня, то она будет счастлива,— горячо произнесла Высоцкая.— Даже не из одной любви к ней, а ради мести этому человеку я готова все сделать... Это первый человек в жизни, которого я ненавижу... Но что же я могу сделать?

— Достать ей заграничный паспорт,— промолвил Павел и пристально взглянул на Кряжова: он боялся, что придуманная им мера встретит несогласие со стороны старика, и потому решился молчать до поры, и вдруг сделал быструю атаку.

— Как же это я достану ей пас? — спросила Стефания.

— Да, то есть вы возьмете на свое имя...

— Ха-ха-ха! Это мило! — засмеялась звонким смехом Высоцкая.— Там не пишут примет?

— Нет.

— Отлично! А то, пожалуй, мне пришлось бы ради этого стриженого ребенка обрезать свои длинные косы... Душа моя, так вы через несколько дней будете называться Стефанией Высоцкой...

Груня, изумленная и взволнованная, не могла выговорить ни слова. Кряжов тревожно ходил по комнате.

— Молодость, молодость! — бормотал он, качая головой, и вдруг остановился перед Павлом.— Но, знаешь ли ты,— начал он,— что это... это может отрезать ей дорогу на родину?..

— А возвращение к мужу не отрежет ли ей дороги к жизни? — строптиво спросил Павел, и его лицо нахмурилось.

— Что ты! что ты!.. разве я что-нибудь возражаю,— поторопился оправдаться старик.— Я только сказал, чего она может ожидать... Пусть едет... Не мне давать теперь советы, довольно я давал их и прежде.

В голосе старика послышалась горечь. Ему было тяжело помириться с мыслью, что его дочь бежит, может быть, навсегда за границу, бежит с чужим паспортом. Он молча, понурив голову, ходил по комнате.

— Что ж, и я не прикован к месту, и я поеду,— бормотал он, утешая себя хоть этим.

— Да, но покуда тебе лучше остаться здесь,— заметил Павел.—Ты мог бы сказать ее мужу, что не знаешь, куда она уехала, чтобы тебя не считали сообщником в деле этого бегства...

— Сообщник... сообщник в противозаконном деле! — шептал Кряжов в раздумье и опять внезапно, как-то неестественно ободрился.— Хорошо, хорошо,— заговорил он.— Я покуда здесь дела приведу в порядок... Все отлично пойдет, отлично!

— А как же ты? — взглянула Груня на Павла боязливыми глазами.

— Приеду весной к тебе. Мне здесь работать надо... Да и тебе лучше пожить тихой, покойной жизнью, отдохнуть, собраться с силами.

— Вера Александровна, не поедете ли вы со мною месяца на три, на четыре? — спросила Груня у младшей Обносковой.

— Ах, мой ангел, помилуйте, как же это я вдруг за границу попаду! — застенчиво захихикала Вера Александровна.— Мне, право, совестно!

Груня закусила себе губы, чтобы удержаться от смеху.

— Чего же совеститься? Вы очень, очень обяжете меня этим,— пожала она руку младшей Обносковой.

— Ах, нет, это вы обяжете меня,— воскликнула Вера Александровна.— Мне так хочется видеть заграницу! — восторженно воскликнула она и захихикала снова.

— Вот воображаю я изумление нашего взаимного родственника и его матушки,— рассмеялась Высоцкая.

— Так им и надо, аспидам! — злобно промолвила Ольга Александровна.— Ехидные люди!

Начались толки о будущем. Составлялись планы поездок за границу в гости к Груне. В семейном кружке царствовало то оживление, которое всегда бывает, когда один из членов семьи едет в далекий путь. Все как будто хотят наговориться, вознаградить себя за долгое время предстоящей разлуки и рассеять невольную грусть, стесняющую подчас сердце в эти последние минуты свидания.

Приготовления к отъезду пошли быстро. Груня и Павел были особенно нежны с Кряжовым в эти дни: они понимали, чего стоит старику согласие на отъезд дочери. Но он старался бодриться, старался шутить и смеяться; только иногда он говорил Павлу:

— Ну, теперь ты побереги меня, покуда я не уеду к ней.

— Я перееду к тебе тотчас же, как только она уедет,— отвечал Павел.

— Спасибо, спасибо, брат. Теперь мне нужна нянька. Стар я становлюсь! — вздыхал Кряжов, и на минуту его лицо темнело от грусти.

Настал день отъезда.

— Все ли вы отправили? все ли вы уложили? — заботилась Ольга Александровна как практический человек.

— Никогда, может быть, я не увижусь с тобою? — плакала чувствительная Вера Александровна, обнимая сестру.

— Чудесно, чудесно, все кончится сегодня вечером,— радовалась Высоцкая.— Корабли сожгутся, и возврата не будет.

— Ах, разве мы на корабле поедем? — испугалась простодушная Вера Александровна.

— Нет, не на корабле.

— А вы о каких-то кораблях говорили.

— Да,— засмеялась Высоцкая,— я хотела сказать, что Агриппине Аркадьевне нельзя будет вернуться на старый путь.

— А! А уж я испугалась!

— А вы-то не боитесь, сжигая корабли? — спросила Высоцкая у Груни.

— Нет, я спокойна,— твердо ответила молодая женщина.

В кабинете Кряжова шел между тем разговор другого рода.

— Павел, если мне не удастся ехать весною к дочери, то поручаю ее тебе, береги ее, не покидай ее,— говорил Кряжов.— Я сделаю распоряжение насчет имения, оно все перейдет вам обоим. Надеюсь, что ты не бросишь ее...

— Ты сомневаешься во мне? — спросил Павел.

— Нет, мой друг,— задумчиво проговорил старик.— Правда, ты молод, ты моложе ее на несколько месяцев, но... но ты тверд и любишь ее, как добрый друг. Ты не бросишь ее, никогда не бросишь... Скажи мне, успокой старика, обещаешь ли ты мне не бросить ее?

— Отец, ты совсем не то думаешь, что говоришь,— мягко и задушевно произнес Павел.— Может быть, я отчасти угадываю твои мысли... Скажу тебе одно, это не минутная вспышка, это даже совсем не вспышка, это привязанность, выросшая со мною с колыбели, и она умрет только тогда, когда умру я сам... Может быть, ты боишься того, что скажет свет...

— Сын мой, друг мой, я ничего не боюсь,— обнял Кряжов Павла.— Стар я, стар я, трудно мне себя ломать, свои взгляды изменять трудно... Ну, да сам виноват! Тут выбора нет: или ваше несчастье, или ломка своих убеждений... Да благословит вас бог, да благословит вас обоих, неразлучных!

Через несколько минут старик позвал дочь в свой кабинет.

— Груня, может быть, мне не удастся приехать к тебе летом,— заговорил он.

— Милый, почему же? — печально спросила дочь.

— Я ничего не говорю положительно, но, может быть, может быть... Все мы под богом ходим,— промолвил отец.— Лучше предвидеть все дурное, чем тешиться розовыми мечтами... По опыту узнал я это!.. Да, так если я не приеду или приеду позже Павла, то я передаю тебя в его руки. Он твой друг, твой защитник... Будьте счастливы!

— Папа, да зачем же этот мрачный, прощальный тон? Мы еще увидимся,— сказала дочь.

— Да, да, может быть, увидимся... Но... но бог знает, что может произойти в вашей жизни, прежде моего свидания с тобой... Я вас благословляю.

Старик отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Груня, я не хочу,— начал он твердо после нескольких минут молчания,— чтобы говорили, что *я* обманут дочерью... Нет, я теперь все вижу, знаю, что было прежде, что будет дальше. В прошлом виноват я, и если за будущее кто-нибудь станет упрекать тебя, то пусть этот упрек падет на меня, а не на тебя. Ты не виновата, ты не должна краснеть... Я неосторожной рукой хотел вырвать взлелеянную мною самим траву, которая должна была расти... И вот она не погибла, но только пробилась другим путем... Вы не должны краснеть за мою ошибку...

Груня тихо сжала руку Павла, и оба стали успокоивать старика. Его мучила мысль, что его Груня не может сделаться женою Павла, и в то же время он знал, что отношения брата и сестры должны непременно кончиться между молодыми людьми. Старику непременно хотелось найти оправдание новым, предстоящим в будущем отношениям этих людей. Но сами молодые люди не искали этого оправдания и очень спокойно и трезво смотрели на новый, открывавшийся перед ними путь...

XXI

Обносков навсегда лишается жены

Нелегко жилось в это время Алексею Алексеевичу Обноскову. Огорченный бегством жены, боящийся пуще всего огласки, раздражаемый постоянно вопросами посторонних людей о Груне, не находил он утеше-

ния и спокойствия даже тогда, когда оставался один в своем доме и стремился забыть все случившееся за книгами, за учеными занятиями. Эти занятия постоянно прерывались приходом его матери и ее то плаксивыми сожалениями, то подзадоривающими нашептываниями. Он чувствовал себя нездоровым: у него, как это обыкновенно случалось с ним при всяких неприятностях, начались сильные припадки кашля и лихорадочное состояние. Большую часть свободного времени он проводил лежа на диване, загромоздив стулья и неизменный ночной столик книгами и бумагами. Марья Ивановна, видя, что ее сын часто «приваливается», как она выражалась, ухаживала за ним и советовала ему, хотя бесплодно, бросить на время занятия. По возможности она старалась как можно чаще быть около сына, вязала в его кабинете чулок и сообщала ему грязные сплетни о жене или читала ему наставления.

— Ох, Леня, Леня, что люди-то про нас толкуют,— вздыхала она, пощелкивая вязальными спицами.— Весь город говорит, что уж это недаром наше-то сокровище у своего отца находится. Никого не обманешь, никого не уверишь, что она так гостит у своего отца, с твоего согласия. Да как и поверить? Какой муж позволит гостить жене у отца, когда отец живет в том же городе и без того может видеть каждый день свою дочь.

Обносков упорно молчал.

— Ну, да и она хорошо ведет себя,— продолжала мать.— Наших-то мерзавок, Верку и Ольку, зазвала к себе, с ними компанию ведет. Видно, нам бока моет. Нечисто что-то у них, что-то они затевают...

— Ну, скажите, что они могут затевать! — раздражительно говорил Обносков.— Что они могут затевать?

— Не знаю, батюшка, не знаю, только уж недаром к ним Степанида-то стала ходить,— провязывала мать новую спицу своего вязанья.— Разузнавала я — не ходит ли кто-нибудь из мужчин, людишки не говорят, подкуплены... Все подкуплены... А сдается мне, что кто-то ходит. Вчера я своими глазами видела, как кто-то шмыгнул к ним на подъезд. Уж не Павлушка ли, чего доброго.

— Да перестаньте вы меня раздражать! — сердито вскрикивал Обносков.— Кто бы там ни ходил, а я все это на днях покончу.

— Ох, хорошо, если бы покончил,— качала головой мать.— Да нет! Ты такой добрый, все потакаешь им.

— Да что же вы прикажете делать! — поднимался на локте Обносков.— С полицией ее тащить? Вы поймите, что я на виду стою, я скандала боюсь, я своего имени не хочу отдать на пересуды, я свою карьеру не хочу портить. Ведь все надо огласить. Что они вздумают наговорить на меня, это еще неизвестно... Вы думаете, легко мне будет, когда все пальцами станут указывать на меня? Вон и теперь Петр Петрович, Родянка, Левчинов, все они перестали ходить, а если и придут, так в каждом слове слышится насмешка...

— Ах, батюшка, да пусть их смеются!

— Пусть смеются! Хорошо вам говорить, а я через это уроков могу лишиться. Эти болтуны не мою жену чернить станут, а меня, меня!.. Теперь во всем одни мужья виноваты, бабье царство настало...

— Так это, значит, так и нужно позволить ей жить у отца? — всплеснула руками мать.

— Нет, нужно запугать Кряжова, чтобы он выгнал ее из дому; нужно заставить ее, чтобы она сама пришла в мой дом, за прощеньем пришла... Вот чего я добиваюсь и добьюсь! Кряжов уже в моих руках, он кланяется, он понял, что право на моей стороне,— говорил сын.

Вечером он писал новое письмо к Кряжову с угрозами и настоятельными требованиями. На следующий день к нему приходил уклончивый ответ с обещаниями скорого примирения. А мать снова вязала чулок в кабинете сына и снова пилила его.

— Береги себя, Леня,— заботливо и плаксиво говорила она.— Брось ты свои занятия. Теперь тебе укрепиться надо, голубчик, чтобы собраться с силами и поехать за нашей негодяйкой. Она со своим папенькой-то, я думаю, рада, что успела уходить тебя. Поди-ко, полагает, что ты так и оставишь ее на воле гулять на все четыре стороны...

— Ничего она не полагает,— злился сын.— Я ей писал, что не оставлю ее у отца, и она знает, что это мое *последнее* решение.

— Э, голубчик,— вздыхала мать,— мало ли что в письмах-то пишется, бумага все терпит, да на нее

никто и внимания-то не хочет обращать! Ты ей пишешь одно, а она в свой нос дует!

— Погодите, одумается! Ведь и она, и ее отец очень хорошо знают, что я не шучу, и что право на моей стороне...

— Плохо мне что-то верится, что они знают это... Для них, видно, и прав-то никаких нет, такие уж беззаконники!

— А вот увидим: поеду к ним, как немного поспокойнее буду. Все это проклятое нездоровье затянуло дело... Кажется, все бы отдал, чтобы быть теперь здоровым! А то от первого волненья чуть не в обморок падаю... Тут твердость нужна...

— Уж что и говорить! Больным не поедешь к ним,— вздыхала мать.— А ты бы мне позволил переговорить с ними.

— Э, вы только хуже испортите дело!

— Ну, батюшка, если уж ты такой дурой меня считаешь, так это твоя воля! — оскорблялась мать.— Мы ведь вот стары да глупы, а все же в наши-то времена не делалось таких делов. Жили с мужьями честно, терпели все, да никто и не знал, чтó мы терпим. Да если бы в наше время такая история случилась, так мы бы дело-то мигом уладили бы, церемониться не стали бы... Ну, а теперь люди умны стали, порядки другие; что-то только из этого выйдет, не пришлось бы кому-нибудь эту кашу-то расхлебывать...

Сын молчал.

На следующий день шла та же песня, то же нытье. Алексей Алексеевич почти привык к этим беседам и очень часто не произносил ни одного звука во время сетований матери. А эти сетования принимали все более и более угрожающий тон.

Однажды Алексей Алексеевич возвратился домой с одного урока и хотел пройти к себе в кабинет, но был остановлен на пороге матерью. Ее вид не предвещал ничего хорошего, глаза сверкали каким-то злорадным блеском, движения были торопливы и тревожны.

— Ну, что, дождался? — едко заговорила она скороговоркою.— Радуйся теперь, обманули, провели!..

— Что такое? Будете ли вы когда-нибудь толком говорить! — раздражился сын.— Что случилось?

— Ничего, батюшка, ничего! — язвительно говорила Марья Ивановна.— Мать у вас дура, мать ничего не понимает, ее слушать не стоит. Ну, и прекрасно, и наслаждайтесь, как из вас дурака делают.

— Да станете ли вы говорить, как следует? Что вы меня-то пилите? Понимаете ли вы, что вы измучили меня? — почти простонал сын.— У вас святого-то ничего нет! Вы, вы меня сводите в могилу!

Марья Ивановна вдруг разрыдалась.

— Прости, родной мой, прости! — застонала она.— Не могу я, не могу сдержать себя при этаком-то позоре! Ведь наша-то развратница, душегубка-то наша, сбежала!

Обносков тяжело опустился на диван.

— Сбежала за границу с любовником, верно, сбежала, с Павлушкой, верно! Без ножа зарезала! Срам-то, срам-то какой! Что теперь говорить-то будут!

— Что же это такое? Надо идти, справиться,— бормотал Обносков.— Да это ложь, у нее не было паспорта... Ложь! ложь!.. Кто вам сказал?

— Людишки, людишки их,— рыдала мать.— Лица этакие поганые с улыбочками делают, радуются нашему горю, нашему позору... Подкуплены, бестии, подкуплены!

Обносков с усилием поднялся с дивана...

— Батюшка, я с тобою поеду, ты слаб,— засуетилась мать.

— Подите прочь,— оттолкнул ее сын с непривычной грубостью.

В его глазах сверкала злоба.

— Не смейте никому рассказывать об этом до моего возвращения. Слышите?

— Слышу, слышу,— робко произнесла мать, и в ее голове вдруг промелькнула мысль: «Что это он точно мой покойник муж сделался!»

— Ступайте в свою комнату, а то вы с прислугой болтать станете. Привыкли к сплетням! — еще более резко и сухо проговорил сын, и, действительно, в эту минуту он был похож на своего забитого отца, когда тот бывал пьян и грозен.

Обносков вышел. Его походка была нетороплива, но тверда. Во всей его фигуре было что-то зловещее и мучительное. Худой и истомленный, но сдержанный появился он в доме Кряжова и приказал лакею доло-

жить о своем приходе старому ех-профессору. Он сел в столовой и устремил глаза на дверь, из которой должен был выйти Кряжов. В этом не было ничего рассчитанного на эффект, но этот пристальный взгляд, встретивший Кряжова при первом его шаге в столовую, смутил старика и заставил его впервые потупить глаза перед зятем. Обносков не спускал с него глаз. Оба они страшно изменились за последнее время, на обоих страдание наложило свою неизгладимую печать. Кряжов молча поклонился и сел. Он как-то совсем сгорбился.

— Что же это значит? — неторопливо заговорил Обносков довольно твердым голосом.— Я жду ваших объяснений!

— Что же мне объясняться! — произнес старик.

— Где ваша дочь?

— Не знаю,— солгал Кряжов и глянул в сторону, избегая встречи с испытующим взглядом зятя.— Она уехала куда-то без моего ведома...

Старику было непривычно, мучительно лгать, и еще перед кем, перед презираемым человеком.

— Без вашего ведома? — засмеялся Обносков, и в его голосе уже послышалось лихорадочное волнение.— Без вашего ведома! И вы думаете, что я вам поверю? Не в ваши бы годы прибегать ко лжи. Вы когда-то так гордились своею прямотою.

Кряжов промолчал; он ясно слышал насмешку в словах зятя, но говорить не мог.

— И что вы хотите этим выиграть? — продолжал Обносков.— Не думаете ли вы, что вашу дочь не вернут назад?.. Да я ее из могилы отрою, я ее с того света верну! — вдруг прорвался Обносков болезненным восклицанием.— Знаете ли вы, чего мне все это стоит! Жизнью, жизнью я поплачусь!

Кряжов молчал. Какую-то тупую боль пробудил в нем измученный вид этого больного человека, както странно звучал в его ушах этот хриплый, задыхающийся голос, прерываемый глухим кашлем. Старик возненавидел зятя в последнее время, но теперь ему было жаль этого человека, и в глубине своей честной души он слышал упреки совести, чувствовал, что и он виноват, может быть, более всех виноват и в горе, и в теперешней болезненности этого человека. Здесь резко отразилась противоположность

характеров этих двух человек: Кряжова страшно мучили упреки совести, а Обносков не упрекал себя ни в чем и считал себя вполне правым и безупречным.

— Полно, Алексей Алексеевич,— промолвил старик,— мы оба равно несчастны, мы оба равно ошиблись.

— Ошиблись! — гневно проговорил Обносков, сверкнув глазами.— Значит, и вы ошиблись во мне? Но я все тот же, каким я был прежде. Зачем же вы выбирали меня в мужья своей дочери? Где были тогда ваши глаза?.. Вы ошиблись во мне и потому решились принести в жертву *меня*. Стыдитесь! Стыдитесь!

Кряжов смутился и опять отвел в сторону свои глаза, чтобы не встретить взглядов зятя.

— Полно, полно, Алексей Алексеевич,— снова промолвил старик.— Я говорю, что мы оба несчастны, и нам остается только примириться со своею участью.

— Примириться? Никогда, никогда! — крикнул Обносков, волнуясь все более и более.— Я призову вас к суду, как сообщника в деле ее бегства. У меня найдутся и улики, и свидетели. Я призову к допросу вашу прислугу. Вы подкупили ее, но я разожму ей рот... Я опозорю вас, а все-таки заставлю сознаться, заставлю!

Старик поднялся с места и выпрямился во весь рост. Его колоссальная, величавая в своей скорби фигура была прекрасна в эту минуту.

— Ну, и что же будет дальше? — спокойно спросил он безмятежным и твердым тоном.— Опозоришь и заставишь сознаться, а дальше-то что?

Голос старика был необыкновенно ясен. Обносков не отвечал.

— Я опозорен уже и тем,— продолжал старик, не изменяясь в лице,— что моя дочь *должна* была бежать от мужа, выбранного мною. Я опозорен уже и тем, что я выбрал такого зятя, как ты. Ты хочешь наказать меня, но я уже наказан, видит бог, что я наказан. Ты видишь, я один, я оставлен дочерью, я чувствую себя виноватым перед нею и не нахожу оправдания себе даже в своей совести. Чего же мне бояться еще? Публичного скандала? Но его боятся только те, кто не боится суда своей совести; для ме-

ня высшее наказание ее суд. Этот суд я перенес, тут я уже отстоял свой законный срок у позорного столба... Ты видишь, я постарел на десятки лет, а моя натура не легко ломается...

Обносков как-то тупо молчал и слушал эту странно спокойную, безмятежную и все же потрясающую по своей глубокой скорби речь старика.

— Итак, ты хочешь скандала,— продолжал Кряжов все тем же тоном.— Все в твоей воле. Объявляй, жалуйся. Пусть судят меня, я не испугаюсь. Я мог бы испугаться, если бы суд мог воротить в твой дом мою дочь. Но, благодарение богу, на земле нет такой власти, которая могла бы сделать это. Здесь ваши законы бессильны...

— Ошибаетесь, ошибаетесь! Ее вернут, непременно вернут! — вскричал Обносков.

Старик сострадательно усмехнулся.

— Ты убежден в этом? — промолвил он.— Подумаешь посерьезнее, увидишь, что это ошибка, что никто не смеет вернуть ее, никто... И откуда вернуть? Где она? Кто это скажет?.. Значит, вся польза из скандала будет в нашем позоре с тобою. Я не боюсь суда и публичности, как я уже сказал тебе. Но загляни поглубже в свою душу; ты, как видно, считаешь себя безупречным и не знаешь, что значит страшный суд совести. От этих мучений ты сумел избавиться, к несчастию. Да, к несчастию, потому что это суд всех честных людей!.. Но не дрогнешь ли ты перед гласностью? Не побоишься ли ты сделаться без всякой пользы для себя предметом салонных толков? И будет ли говорить в твою пользу тот свет, который уже насмотрелся на подобных тебе мужей? Не будет ли колоть тебя каждое двусмысленное слово, каждый намек, каждое насмешливое сожаление? Твоя совесть покуда спокойна и не видит твоих ошибок, но тогда ей укажут на каждую мелочь, на каждый промах, тебе разъяснят, что за женщина твоя мать, каково жить с нею, насколько было честно отдать жену под ее гнет, и едва ли даже ты сохранишь свое спокойствие. Что ж, поступай, как знаешь. Я на все смотрю уже так холодно, как можно смотреть, только стоя одной ногой в могиле, а ты — ты привык волноваться даже из-за пустяков, из-за отнятых у тебя грошей...

— Надели петлю, затягивают ее и глумятся, доказывая, что ее нельзя снять! — почти зарыдал Обносков и треснул кулаком по столу.

— Бог свидетель, что я глубоко жалею тебя и каюсь за свою ошибку,— потрясенным голосом произнес Кряжов.

— Будьте вы прокляты с вашим сожалением! — крикнул Обносков и направился, шатаясь, к дверям.

— Не нам проклинать друг друга, и рассудит нас только бог,— тихо и грустно промолвил Кряжов.

Опять долго проходил он по комнате в глубоком раздумье. В его душе не было волнения, не было тревоги, но какое-то торжественное спокойствие хладнокровного взвешиванья своих дел и мнений, спокойствие молчаливой проверки своего прошлого царило в этой старой, честной душе. Что-то покорное, тихое, хотя и не лишенное следов мучения, отражалось на похудевшем и обрюзгшем лице старого ех-профессора.

Вечером за чаем он мельком заметил Павлу о посещении Обноскова.

— Что, он обещал выдать ей паспорт? — спросил Павел.

— Мы об этом не говорили, он очень расстроен,— ответил Кряжов.

— Жаль его; с пелен совсем искалечили человека! — проговорил Павел с неподдельным чувством.

Кряжов вздохнул и особенно горячо пожал на прощанье руку своего названого сына. Старику было крайне приятно, что Павел не сказал ни одного резкого слова про Обноскова.

Не в таком безмятежном настроении духа возвратился домой Алексей Алексеевич. Он был угрюм, раздражен и нетерпелив. Марья Ивановна вышла к нему навстречу, желая расспросить о результатах его визита к Кряжову, но увидала выражение его лица и струсила. Опять лицо сына напомнило ей лицо мужа, когда тот бывал в буйном настроении духа.

— Не надо ли тебе чего-нибудь, Леня? Чаю не хочешь ли? — боязливо спросила она.

— Оставьте меня одного,— проговорил он, не обращая на нее внимания.

— Утомился ты, бедный! Ты прилег бы,—с участием проговорила мать.

— Оставьте меня одного, слышите ли вы? — топнул ногою Алексей Алексеевич.— И меня выжить из дому хотите, что ли? — гневно остановился он перед матерью.

— От тебя-то этого я не ожидала! — захныкала Марья Ивановна.

— Идите в другую комнату плакать, довольно я насмотрелся на ваши слезы,— сказал сын и отвернулся от матери.

Она украдкой поспешно отерла слезы и вышла походкой наблудившей кошки... Алексей Алексеевич стал ходить по комнате. Сотни дум роились в его голове, он мысленно обвинял во всем случившемся тестя, жену, Павла, свою мать, но ни разу не пришло ему в голову, что и он виноват не менее их всех. Он представлял себя мучеником испорченных людей, испорченных нравов современного общества и отчасти даже с гордостью думал, что чаша еще не выпита до дна, что он еще будет страдать за свою честность, за свои права. Эта мысль отчасти давала ему силы смотреть без особенного страха на предстоящую ему в свете роль обманутого и брошенного мужа. Он знал, что в глазах света всегда прав победитель и смешон побежденный, но Обносков теперь презирал и ненавидел этот свет, как скопище мерзавцев, подрывающих все основы спокойствия, и дураков, не умеющих бороться против этих нарушителей порядка. В его голове возник вопрос: что делать? Объявлять ли о бегстве жены или выдать ей паспорт? Сначала ему хотелось во что бы то ни стало произвести скандал. Но мало-помалу он склонился к мысли о выдаче паспорта. Трусость перед гласностью взяла верх над желанием опозорить Кряжова и его дочь. Алексей Алексеевич видел ясно, что его дело проиграно безвозвратно, что жену воротить нельзя, что Кряжов слишком зарекомендован в мнении общества для того, чтобы к нему пристала грязь, что, наконец, борьба будет неровная, так как он, Обносков, располагает очень небольшими материальными средствами и связями, а Кряжов заручился и тем, и другим. Первый раз Обноскову приходилось поступить против своих убеждений, и это было причиною самых сильных мучений. Но на ком выместить злобу? Кого обвинить за необходимость такой поблажки против-

никам? Под рукой была мать. Она уже давно вызывала негодование Алексея Алексеевича своим нытьем, своими упреками и сплетнями. Более чем когда-нибудь чувствовал он в настоящее время на себе весь гнет ее безобразного характера. Теперь он обвинял ее более всех других людей за бегство жены.

— Леня, что же ты теперь будешь делать? — говорила она на другой день ноющим и слезливым тоном.

— Паспорт жене выдам,— ответил он с усмешкой.— Пусть гуляет и радуется, что обманула меня.

— Что ты это, голубчик, шутишь! — воскликнула мать.— Как же это можно такую негодяйку прикрывать!

— А вы что прикажете делать? Не угодно ли вам, чтобы Кряжов рассказал, почему его дочь бежала от меня? Да вы знаете ли, что она из-за вас бежала? — злобно взглянул Обносков на мать.

— Господи! Да кто же поверит этому! — всплеснула руками мать.

— Все, все поверят! Вы думаете, что ваши кухарки, ваши родные, ваши знакомые не знают, что вы за женщина? — ядовито и раздражительно говорил сын.— Вы не только ее жизнь отравляли, вы теперь мою жизнь отравляете!

— Грех тебе, Леня! Ответишь ты богу за меня на том свете! — заплакала Марья Ивановна.

— Никогда не отвечу! — гневно произнес сын.— Я и теперь избегаю скандала, чтобы спасти вашу репутацию. Я своею грудью заслоняю вас, я свою жизнь отдаю за вашу честь, я своим убеждениям изменяю для спасения вас от сплетен... Полноте плакать, слезы тут не поведут ни к чему! Много я их видел на своем веку! Если бы вы не были моей матерью, то я отшатнулся бы от вас при первой встрече. Но вы мне мать — и моя обязанность отстаивать вас перед обществом. Да, поймите все это!

Понимала Марья Ивановна все эти рассуждения довольно плохо, но они все-таки имели довольно благотворное влияние как на ее сына, так и на нее. Обносков, высказав эти мысли, пришел к убеждению, что он делает невольную уступку жене для спасения чести своей матери, и возгордился этим великим подвигом. Марья Ивановна, слушая его речи, поняла то,

что сын хотя и сердится на нее, но все-таки не выгоняет ее из дому, и потому в глубине души тоже успокоилась и даже подумала: «Пусть его поутихнет, тогда и поговорю с ним толком, ведь это не в первый раз молодая-то кровь в нем расходилась. Вот так же сердился, как я ему на первой невесте жениться не позволила, да ничего, утих, и меня же потом благодарил. Ох, уж эта молодежь, словно порох, вспыхивает; только беги в сторону, чтоб не опалила». Приняв смиренный вид угнетенной невинности, мать стала надрывать сердце сына ежеминутными вздохами и невообразимою предупредительностью. В его комнату она входила не иначе, как на цыпочках. Говорила почти шепотом. Если ему нужно было что-нибудь, то она не шла, а бежала за понадобившейся вещью. Таким образом, Обносков и его мать играли роль двух мучеников и показывали вид, а, может быть, даже и верили сами, что они принесли себя в жертву друг другу и своему долгу...

XXII

Затишье после грозы

В первых числах июня Кряжов собрался за границу к немалому удивлению Трегубова, который никак не мог помириться с мыслью, что его старый друг уезжает один, не дождавшись его. Павел ехал вместе с Кряжовым. Всю дорогу шли у них бесконечные разговоры о Груне, о нетерпении поскорей увидаться с нею и, кажется, оба путешественника считали чуть ли не минуты, остающиеся до их свидания с любимой ими женщиной. Оба они походили на школьников, вырвавшихся на свободу. Павел сознавал, что Кряжов желает видеть дочь едва ли не сильнее его самого, и потому он чрезвычайно удивился, когда старик неожиданно сказал ему в один прекрасный день:

— А вот мы теперь расстанемся. Ты поезжай прямо к ней в Женеву, а я заеду в Баден-Баден.

— Что тебе это вздумалось? — в недоумении посмотрел Павел на старика.

— Полечиться надо немного,— проговорил Кряжов, избегая испытывающих взглядов своего спутника и принимая равнодушное выражение лица.

— Однако ты прежде не хотел лечиться!.. Ты разве чувствуешь себя худо? — встревожился Павел и еще пристальнее взглянул на Кряжова.

— Нет, нет! — поспешил старик успокоить его.— Но знаешь... вот я полечусь и недели через четыре приеду к вам...

Павел не спускал глаз с смущенного ех-профессора и, кажется, хотел прочитать его затаенные мысли.

— А вы, между тем, обживетесь, приготовите все для моего приезда...

— Да там все приготовлено...

— Ну да, ну да, приготовлено,— совсем спутался старик.— Но... но... лишний я буду теперь при вашем свидании,— отвернулся он в сторону.

Павел весь покраснел и не мог сказать ни одного слова. Ему хотелось поблагодарить Кряжова и в то же время было почему-то совестно. Он был особенно весел вечером в этот день. Старик тоже шутил и забавлялся, как малое дитя. Рано утром на следующий день им приходилось разъехаться в разные стороны. Они горячо обнялись и поцеловались.

— Скажи Груне, что я здоров, весел и спокоен,— промолвил Кряжов.— Непременно скажи ей это.

— Мы сами к тебе дня через три приедем,— сказал Павел, обнимая его.

— Смотри, чтобы месяцы за дни не показались! — сшутил старик, а в тоне его слов все-таки послышалась невольная грусть.

Тщетно старался Кряжов в последнее время скрыть этот оттенок грусти, он невольно примешивался теперь к его речам даже в самые счастливые минуты.

Однажды, недели через две после приезда в Баден-Баден, Кряжов возвращался с прогулки и еще издали увидел стройного молодого человека, шедшего под руку с молоденькой женщиной. Молодые люди были, по-видимому, вполне счастливы, очень близки друг к другу и вели оживленный разговор. Старик с волнением стал всматриваться в них слабыми глазами, узнал эту пару, хотел ускорить свою старче-

скую поступь и не мог сделать ни шагу; ему пришлось поскорей опуститься на первую попавшуюся скамью. Молодые люди, наконец, тоже заметили его и бросились бежать к нему вперегонку, крикнув:

— Кто скорее?

— Я прежде! — ответил молодой человек, добежав первым к старику.

— Ну, зато ее на закуску поцелую! — весело поддразнил молодого человека старик и обнял дочь.— Милые, милые, спасибо вам, что и теперь вспомнили обо мне!

Молодые люди, краснея, переглянулись между собою и улыбнулись.

— А ты думал, что ты лишний между нами? Как тебе не стыдно! — ласково упрекнула старика дочь и покрыла горячими поцелуями его лицо.

— Теперь ты не должен расставаться с нами,— говорил Павел.— Вместе жизнь будет полнее.

— Будет кого нянчить? — улыбнулся ех-профессор.

С этого дня для маленького семейного кружка, в среде которого была и Вера Александровна, более всего удивлявшаяся тому, что она здесь все по-французски говорит, началась мирная счастливая жизнь. Кряжов с каждым днем все более и более привыкал к новым отношениям своих любимых «детей», и все реже омрачалось его старое лицо грустными думами. В эти немногие минуты на выручку являлась простодушная Вера Александровна: ее неумолкающая болтовня, ее наивное удивление перед разными иностранными обычаями, ее смешно сентиментальные выходки развлекали старика, и он в конце концов говаривал ей:

— Ну, оставимте нашу молодежь да пойдемте бродить по городу, мы с вами тоже пара не хуже их!

Вера Александровна приходила в восторг, брала под руку старого ех-профессора и гордо смотрела на всех проходящих, полагая и, может быть, не без основания, что все удивляются и дают невольно дорогу ее спутнику: действительно, редкий встречный проходил, не взглянув с видимым любопытством на прекрасную львиную голову, с волнистыми, совсем седыми волосами, и с открытым взглядом, на колоссальную фигуру широкоплечего старика, всегда просто,

но оригинально одетого, все в тот же заветный, просторный и длинный сюртук, все с тем же откидным, широким воротником на рубашке, все с тою же, едва завязанною около шеи косынкой.

— Ах, ваш папаша такой удивительный человек! — восторженно шептала Вера Александровна Груне.

— Папа, папа, Верочка влюблена в тебя,— шутила со смехом Груня.

Вера Александровна краснела до ушей и, моргая глазами, умоляющим тоном чопорно шептала молоденькой шалунье:

— Ах, что вы меня конфузите!

— Ничего, ничего, Вера Александровна, пусть их смеются над нами, вот и мы когда-нибудь над ними подшутим,— дружески говорил Кряжов своей постоянной спутнице по прогулкам.

Пробыв недолго в Баден-Бадене, семья переселилась в Швейцарию, где и было проведено время до поздней осени. Осенью Павел стал собираться в Россию, с ним уезжала и Вера Александровна, но только на время, для свидания с сестрою: без нее уже не могли обойтись здесь, да и она сама отвыкла от прежней жизни и чувствовала горячую привязанность к приютившим ее людям. Груня порядочно грустила перед разлукою с Павлом, но старалась скрыть свою грусть и обещала работать и учиться до возвращения своего друга. Он рассчитывал приехать снова к ней зимою на месяц.

— Береги, отец, Груню,— говорил Павел Кряжову перед отъездом.— Я должен тебе сказать,— начал он в смущении нерешительным тоном,— что теперь ей нужен особенный уход... Ты, может быть, это заметил.

— Положись во всем на меня. Я все знаю, все вижу,— задушевно перебил его старик, положив руку на его плечо. Но старик запнулся на первом слове и только через две-три минуты собрался с духом.— Ты знаешь,— сказал он,— что ребенок может быть записан законным, хотя это...

— Нет, нет, ради бога,— быстро перебил его Павел,— даже и не упоминай о существовании ее мужа! Пусть мой ребенок носит какое хочешь имя, какое хочешь звание, но только он не должен быть Обносковым!

Кряжов тихо вздохнул.

— Не сердись на меня,— кротко проговорил он.— Тяжело мне мириться со всем этим, очень тяжело! И не потому тяжело, что я гляжу на мнение света или придаю значение названиям вещей, но мне все еще больно, что именно *я* виноват во всем...

— Полно, отец! Ты видишь, что мы спокойны; зачем же тебе тревожить себя? Будем жить мирно, и пусть люди говорят про нас, что им угодно.

Пошли дни, недели, месяцы без особенных волнений, без особенных событий. Все герои этих семейных сцен стали мало-помалу отдыхать от пережитых тревог и бурь и сознавали, что их жизнь принимает ровное и правильное течение. Это было затишье после грозы; все чувствовали, что над ними прошумела гроза, что она оборвала многие листья, обломала многие ветви, только сами они не согнулись перед ней и остались целы. Эти уцелевшие люди не считали себя окончательно поломанными людьми и им, может быть, не без основания казалось, что под грозой погибли только те части их самих, которые уже давно были гнилы и только могли мешать развитию здоровой части их организма. Павел работал в Петербурге особенно усиленно, без прежних порывов, но зато постоянно и осмысленно; счастье опять придало ему силы и ни разу думы о Груне, желание свидания с нею, смутные стремления dahin[1] не прервали его занятий; напротив того, он именно потому работал бодро, что только этим путем он надеялся спокойно, не разлучаясь жить с нею в будущем. Кряжов, испытавший, что значит полное одиночество, стал теперь искать людского общества и поселился со своею дочерью на время в одном из немецких университетских городов. У них образовался небольшой кружок знакомых: у Груни собиралась большею частью русская молодежь; у Кряжова сходились иногда немцы-профессора попить пиво и поспорить. Неизвестно, почерпнул ли что-нибудь вполне довольный своею судьбою Кряжов из этих бесед, но Груня развивалась с каждым днем, жадно хватаясь за каждую новую мысль, за каждое новое знание, и уже в ее голове бродили смелые планы различных предприятий, которым ей хотелось отдаться по при-

[1] туда (*нем.*).

езде в Петербург. Но когда настанет этот день? Эта мысль иногда заставляла молодую женщину строптиво хмурить брови и впадать в глубокое раздумье. Но облако печали проходило снова и опять являлась бодрость, пробуждались силы и надежды. А время шло. Вот и зима наступила; воротилась за границу Вера Александровна с наивными рассказами, как она, в качестве девицы, боялась ехать одна; пришло Рождество, прикатил Павел к своей семье на елку, как он говорил; прошли праздники, и Павел уехал снова в Россию; все чаще и чаще стали приходить от него письма не к Груне, а на имя ее отца с вопросом о ее здоровье, наконец, получилась телеграмма на имя Кряжова со словами: «Благодарю тебя, отец, и да сохранит судьба младенца. Целую Груню»,— а желанный день возвращения в Россию все не наступал.

Дело в том, что Алексей Алексеевич, выдав жене заграничный паспорт, никак не хотел выдать ей постоянный вид для отдельного свободного проживания в России. Сделав поневоле, по необходимости одну уступку, он никак не решался согласиться, чтобы его жена жила в России; по его мнению, ее поездка за границу могла еще не вызывать толков и не походить на формальный развод, но ее отдельная жизнь в Петербурге прямо давала возможность обществу заглянуть в закулисные тайны их семейной жизни и делать свои нелестные выводы. Кряжов уже решился не хлопотать о выдаче для дочери вида на жительство, тем более что и она сама на время успокоилась и перестала думать о возвращении в Россию, так как Павел окончил курс в университете и переселился в Германию, где впервые увидал маленькое дорогое ему созданьице, носившее имя Аркадия Панютина. Семья окончательно устроилась на месте и, по-видимому, позабыла совершенно, что где-то далеко есть человек, который может и, по всей вероятности, не затруднится вдруг смутить ее семейное затишье, хотя бы просто из чувств зависти и мести. Перестав на время думать о возвращении на родину, Груня радовалась, что Павел пробудет с нею неразлучно два года, и нянчилась со своим младенцем никак не менее, чем нянчилась Вера Александровна с другим младенцем — со стариком Кряжовым...

XXIII

Заключение

Совсем иная жизнь шла в это время в доме Обноскова. Алексей Алексеевич, несмотря на болезненное и раздраженное состояние своего организма, весь отдался работе и старался забыть все невзгоды своей действительной жизни среди памятников давно забытой и чуждой ему древности. Между ним и его матерью царствовала заметная неприязнь. Сын всячески избегал бесед с нею и стал затворять от нее двери своего кабинета; если же она случайно врывалась в это последнее убежище сына, то он прямо говорил ей:

— У меня работа есть, не мешайте мне!

Сухой и холодный тон этих слов делал невозможным какое бы то ни было возражение. Мать вознаграждала себя за потерю сыновней любви жалобами на невестку, говорила всем и каждому, что эта змея подколодная ее с сыном рассорила, что он теперь в меланхолию впал, не ест, не пьет и ни с кем говорить не хочет, что он чахнет, как свеча перед образом тает, и что каково же все это материнскому-то сердцу видеть! Откуда-то Марья Ивановна узнала, что «Павлушка» за границу ездил к своей «полюбовнице», что «старый греховодник-отец сам, сам повез к своей доченьке любовника, и что, если бы Леня-то захотел, так ей бы, жене-то его, публично выдали бы такой, знаете, билет, какие развратным женщинам выдают, а то еще, может быть, в монастырь на покаяние засадили бы; да только Леня-то духом, духом упал и ничего не хочет с ними, с мошенниками-то, с кровопивцами-то делать, хоть он теперь волен в их смерти и животе: захочет сказнит, захочет помилует!..»

— Ах, дела, дела! — разевали рты слушательницы, по большей части принадлежавшие к сословию кухарок.

Эта сфера была самая достолюбезная для Марьи Ивановны, так как только здесь ее называли «барынею», преклонялись перед ее великим чином титулярной советницы и считали ее Леню каким-то грозным судьею, имеющим право казнить и миловать не только жену, но и всех ее родных и близких. Неизвестно, какие думы мучили в это время Обноскова: тосковал ли он о жене, придумывал ли для нее ка-

кую-нибудь месть или боялся людских толков, сплетен и огласки, но только он действительно избегал общества и выезжал лишь на уроки, в должность или на университетские диспуты, где постоянно вступал в ожесточенные и колкие споры, преследуя каждую живую и новую мысль. Он сам готовил диссертацию, полную тонких и едких намеков на совершенную безграмотность, на верхоглядство и дилетантизм в науке; ожидая полного успеха своему труду, он надеялся скоро получить кафедру и уже вперед говорил, что у него на экзаменах пройдут счастливо только те, которые будут знать его предмет, по крайней мере, не хуже его самого. Среди этих занятий и надежд ему представился еще один случай публично высказать свои мнения.

Дело в том, что в Петербурге приготовлялось одно из часто повторявшихся в последнее время торжеств; десяток докторов и ученых готовил юбилейный обед для одного престарелого, заслуженного доктора из обрусевших немцев, известного несколькими, написанными на иностранных языках статьями. Несмотря на свое несомненно немецкое происхождение, доктор Гренинг был известен за ярого славянофила; несмотря на свою принадлежность к миру медиков, доктор Гренинг прославился одной наделавшею шуму статьею, где выражалось то мнение, что только классические науки развивают ум и нравственность человека, а естествознание ведет к безбожию и неверию. Эта статья прославилась еще более, когда один естествоиспытатель стал доказывать, отвечая на нее, что именно естественные-то науки и развивают веру, и указал при этом на нескольких верующих и даже служащих обедни иностранных естествоиспытателей. На эту статью явилось возражение какого-то литератора, который заметил: «А! Так вы своих учеников заставляете все принимать на веру? А я думал, что первая обязанность естествоиспытателя — заявить своим слушателям, что каждый их вывод, каждый их взгляд должен быть основан на фактах и опытах, что без фактов и опытов нельзя составлять никаких понятий и заключений, и что понятия, составленные иным образом,— ерунда». Воспользовавшись этим возражением, доктор Гренинг тонко указал кому следует, какие идеи

проповедуют естественники, и вышел победителем из спора. Помня эту бурю в стакане воды, можно было ожидать очень многого от юбилейного обеда, тем более что и все другие подобные обеды не проходили без шума и курьезов. Петербург, да и вся Россия, как, вероятно, заметил каждый, так же стремительно бросились на путь ораторства, как несколько лет тому назад они бросились на путь обличительной литературы; бог знает для каких целей развиваются теперь эти ораторские способности, но вероятнее всего, что в результате получится то же, что получилось от обличительной литературы, то есть почти полнейшее исчезновение с лица земли. Но что бы ни было в будущем, а покуда мы ораторствуем, видим от этого великую пользу, относимся к «речам» с неподражаемо комичною серьезностью и глубокомысленно с какою-то боязливой оглядкой называем эти невинные упражнения «подготовкой к будущему», а потому юбилейный обед доктора Гренинга, как и обед для братьев славян, как и все другие обеды, казался чем-то важным, каким-то событием в жизни всех сограждан и всей России, наверное не одному Обноскову. Что ж мудреного, что и он поспешил воспользоваться возможностью свободно, с дозволения начальства, высказать свои мнения и подписался чуть ли не первым на обед. Этому гражданскому подвигу он даже жертвовал своим здоровьем и сильнее всего боялся только того, что его нездоровье разовьется не на шутку до дня юбилея. Он употреблял неимоверные усилия над собою, чтобы казаться даже в своих собственных глазах здоровее, чем он был на самом деле, и уверял себя, что и кашель, и лихорадка были просто следствием неопасного гриппа. Накануне давно ожидаемого дня Обноскова бросало и в пот, и в дрожь; от нетерпения он почти не мог ничего делать, двадцать раз ложился и снова вставал и набрасывал на бумагу речь, которую, подобно всем другим ораторам, хотел произнести на обеде, конечно, экспромтом. Наконец настал и желанный день. Алексей Алексеевич приободрился и оделся, посмотрел на часы и увидал, что еще слишком рано ехать на обед.

— Не ездил бы ты, голубчик, сегодня,— сказала ему мать.— На тебе лица нет, а сегодня мороз такой, что нос страшно на улицу показать.

— Что вы выдумываете! — рассердился сын.— Я совсем здоров, да если бы и был болен, то все-таки надо ехать.

— Ох, Леня, уж неужели начальство и на болезнь-то не смотрит...

— Какое начальство? Я на обед еду...

— Господи, уж будто ты дома-то пообедать не можешь! Слава богу, живем мы...

— Ничего вы не понимаете, а суетесь во всякое дело!

Обносков повернулся к матери спиною, вышел, хлопнув дверью, и подумал: «Вот и живи век с такою круглою невеждою! И как это она умеет во все свой нос сунуть. Мало ей кухонного царства!»

Приехав на обед не в очень хорошем настроении духа, Алексей Алексеевич имел несчастие неожиданно встретить там Левчинова. Это обстоятельство еще более раздражило Обноскова. Левчинов, по обыкновению, довольно пошло балагурил и хохотал громким смехом.

— Что, Алексей Алексеевич, от скуки по торжественным обедам разъезжаете? — сказал он Обноскову, фамильярно хлопая его по плечу в качестве старого товарища.

— Вам подражаю,— хмуро ответил Обносков.

— Я-то по обязанности здесь, нужно «отметку» веселенькую настрочить о том, как это люди будут немца за русский патриотизм выхвалять и доктора славить за борьбу против естествознания. Ну, да после такого драматического представления и на балет посмотреть хочется.

— На какой балет? — сердито спросил Обносков.

— А как наши престарелые тузы вприсядку ради патриотизма пойдут.

— Что вы выдумываете?

— А вот увидите. И трепака пропляшут. Ей-богу! Вот его превосходительство доктор Винтер непременно вприсядку пойдет. Ему уже не впервые этим художеством заниматься, навострился!

— Удивляюсь я, как вам не надоест всякой чепухе верить. Негодяи где-нибудь распустили пошлую выдумку, а вы верите.

Обносков ходил по зале, желая скрыться от Левчинова, но тот, как тень или верный пес на травле, следовал по его пятам.

— Ой, какой вы сердитый нынче стали! — смеялся он.— Ну, а что ваша супруга? Здорова ли? Скоро ли мы ее снова увидим?

— Она еще не поправилась,— прошипел Обносков и бросил свирепый взгляд на Левчинова, как будто он хотел его уничтожить.

Левчинов не унимался.

— Как жаль, как жаль! — говорил он с участием в голосе.— Где же она теперь? В Ницце или в Швейцарии?

Обносков закусил губы. Он не знал наверное, где живет теперь его жена, и боялся явно и смешно проврагься, если Левчинову почему-нибудь известно настоящее местопребывание Груни.

— Не хотите ли вы навестить ее? — постарался он отделаться от прямого ответа и поспешно улизнул в толпу, увидав какое-то знакомое лицо.

Но Левчинов не отступал от своей жертвы и тешился травлею со всею нахальностью и неотвязчивостью праздношатающегося повесы. Во время обеда он уселся возле Обноскова и отравлял своими шутками каждый кусок старого приятеля. Каждая речь, каждый тост давали повод к насмешкам и остротам. Обносков кусал губы и молчал. Обед между тем делался все шумнее, некоторые голоса уже звучали как-то неверно, местами уже слышались приглашения выпить на «ты»; приходилось торопиться произнести речь. Алексей Алексеевич встал, попросил слова и начал говорить... Желчная и едкая речь Обноскова о необходимости борьбы с модными идеями развращенного поколения материалистов, реалистов и нигилистов уже начала возбуждать внимание, как вдруг Левчинов крикнул:

— Нет, нет, господа, теперь примирение нужно! Да погибнет вражда и распри! Мы все дети одной матери, какие бы ярлыки и клички мы ни носили, и наш почтенный юбиляр служит ярким доказательством истины моих слов: он немец по фамилии, но он русский в душе!

— Да, да, ты наш брат русак! — крикнул кто-то неверным голосом.

— Качать его, качать!

Десяток пожилых и еще не старых людей, пошатываясь, окружил юбиляра, и началось качанье.

— Пей, брат, пей и докажи, что и ты русский! К черту шампанское! Подавай нам родной сивухи! — сипло раздавалось в одном углу.

— Ну-ка, Эдуард Карлович, пройдемся,— говорил кто-то почтенному доктору Винтеру, размахивая взятым за угол носовым платком в знак приготовления к русской пляске.

Среди этого хаоса ошеломленный и безмолвный Обносков остался один, не досказав своей строго обдуманной речи. Кто-то подошел к нему и ударил его по плечу. Обносков обернулся и увидал перед собою улыбающегося старикашку с лысой, словно обмазанной салом, лоснящейся головой; он не знал этого человека.

— Вы Обносков? — спросил старикашка, едва стоя на ногах и умильно улыбаясь.

— Да,— ответил Алексей Алексеевич.

— Ну, и выпьемте за вашу будущность! Выпьемте, потому что я люблю вас, люблю всю такую молодежь.

— Я не могу много пить,— сухо ответил Обносков.

— Глупости! Брудершафт выпьем... На «ты»... Ну, давай! К черту церемонии, к черту скуку! Мы здесь в своей семье, и все мы братья!

Обносков выпил бокал вина через руку с лысым старичком. Последовало лобзание. Старик потащил Обноскова в другую комнату, усадил на диван, велел подать кофе и подлил в него рому. Началась беседа; старик со слезами на глазах рассказывал о своей студенческой жизни, выболтал все свои семейные тайны, пожаловался на жену и на непокорных детей и налил еще стакан вина Обноскову, заставив его насильно выпить.

— Нет, ты пойми, каково мне жить,— рыдал подгулявший лысый старичок, полируя носовым платком свою лоснящуюся голову.— Сын у меня, Николашка, разбойник, говорит: «Не хочу я с мачехой жить...» Ну, говорю, и убирайся к черту!.. «Да я, говорит, и сестер с собой возьму, потому что не хочу, чтобы они на безобразие смотрели...» Ну, говорю, и бери их на свою шею, а я вам гроша не дам... Хорошо! Ушли, бросили меня... А она-то, жена-то моя, обманывает меня, на каждом шагу обманывает... А? Каково мне это сносить?.. Вот ты молодой человек, а как бы ты это снес, если бы тебя жена обманывать стала?.. Ну, скажи мне откровенно, скажи,— приставал лысый старичок, рыдая.

Обносков молчал и, неизвестно почему, тоже горько плакал. Он захмелел окончательно.

— Нет, ты скажи мне: ты мне друг? А? — приставал лысый старичок.

— Господа, не здесь ли юбиляр? — громко спросил кто-то, вбегая в комнату, где сидели наши собеседники.

— Не-ет,— ответили они, оглядывая комнату мутными глазами.

— Боже мой, он пропал! Кучер его ждет, а его отыскать нигде не могут.

— Надо идти! Иска-ать! — заговорил старичок путающимся языком, громко икая, и потащил за собою Обноскова, говоря ему: «Поддерживай нас, стариков, поддерживай, молодой человек!»

Бесплодно отыскивая пропавшего юбиляра, толпа подкутивших гостей вышла на улицу без шуб и шляп, чтобы расспросить кучеров. Один из гостей отправился на дом к юбиляру. Через полчаса он возвратился и объявил, что юбиляра увезли в чужой карете и что он спокойно спит в своей спальне.

— Ура, пить за его здоровье! — крикнули сиплые голоса...

Обносков, шатаясь, улизнул из комнаты и вышел на крыльцо, где едва отыскали ему шубу. Он чувствовал себя скверно и не мог дать себе отчета, что делается с ним.

— Едешь уже, Алексей Алексеевич? — нежным и печальным голосом спросил его, появляясь на крыльце, Левчинов, говоривший уже со всеми на «ты» и с чрезвычайною сладостью и мягкостью.— А у нас, голубчик, жженка устраивается, Gaudeamus споем,— еще более огорченным тоном добавил он.

— Нет, ты свинья! Ты глубоко, глубоко оскорбил меня! — почти плача произнес Обносков заплетающимся языком.— Ты подлец!

— Полно! Ну, что ты ругаешься? Ну, подлец я, подлец, а ты прости меня,— полез с открытыми объятиями Левчинов к своему старому приятелю.— Ну, какие мы враги? Что нам делить-то! Все мы мученики подневольные...

— Да ведь больно мне, больно! — разрюмился Алексей Алексеевич, лобзаемый Левчиновым.— Ты думаешь, я подлец, ты думаешь, я не понимаю вас?

Я очень понимаю... Но я за закон, за закон... Ну, зачем вы не закон? А, зачем?.. Ну, и я бы с вами, за вас бы... за конституцию...

— Ну, останься, останься, голубчик, хоть теперь с нами,— умолял огорченный Левчинов.— Ведь ты не поверишь, как я тебя люблю. Будь ты женщиной, я бы женился на тебе. Ей-ей! — объяснялся он в любви.

— Нет, я поеду, измучился я,— бормотал Обносков, бессмысленно мотая головой.

— Ну, не хочешь оставаться, бог с тобой! Давай я тебя провожу, давай я тебя усажу! Помнишь, Леша, я тебя маленького на руки подымал... Маленький ты такой был, сла-абенький...

— Эх, бра-ат, горько мне, о-очень горько! — шептал Обносков совсем заплетающимся языком почти в полусне.

Левчинов, обнимая и целуя приятеля, отвел его на улицу, усадил в сани и закутал, подняв воротник его шубы до самых ушей. Извозчик уже хотел ехать, когда Левчинов еще раз облобызал Обноскова и пробормотал:

— Постой, голубчик, я тебя перекрещу!

Левчинов сотворил крестное знамение над лицом приятеля. Обносков во всю дорогу заливался слезами...

Рано на следующий день поднялась Марья Ивановна и, узнав от кухарки, что барина привел дворник «не в своем виде», прошла на цыпочках в комнату сына. Он, нераздетый, лежал на спине на своем диване в страшном жару. Марья Ивановна попробовала разбудить его, он не просыпался. Она позвала служанку и кое-как с ее помощью раздела сына. Он что-то пробормотал во сне, но не открыл глаза. Его пылающее худое лицо было покрыто пятнами. К вечеру сын все еще спал, но бредил. Пришлось звать доктора. Доктор покачал головою, сказал, что дело плохо, прописал лекарства и уехал... Прошло недели две, Алексей Алексеевич был уже в памяти, но надежд на выздоровление не было никаких.

— Священника позовите,— слабым голосом говорил он однажды матери.

Она расплакалась.

— Не плачьте... мне надоели слезы,— прошептал он и отвернулся.

— Какая она в девушках была веселая,— бормотал он через минуту в забытьи.

— Про кого это ты, голубчик, говоришь? — с участием спросила мать.

— Вы еще здесь? — очнулся больной.— Ступайте за священником... Что ж, одну жизнь отняли, так и другую хотите отнять? — с испугом на лице бормотал больной.— Священника, священника!..

Он потянулся за колокольчиком.

— Что ты, Леня? — спросила мать.

— Священника!.. Вы меня губите... Ад... ад...— стонал больной.

Мать вышла.

— А потом она была всегда такая печальная,— снова через несколько минут бормотал Обносков в забытьи.

Пришел духовник и попросил Марью Ивановну выйти из комнаты.

— Да, да, уйдите, вас не надо,— проговорил больной.

Мать повиновалась и вышла. Началась исповедь. Больной отвечал несвязно.

— Жена меня не простит... проклинать будет,— совсем тихо произнес он, принимая причастие, и опять на его лице появилось выражение мучительного испуга.— Жену! жену! — громко и звучно крикнул больной почти с ужасом.

— Не хотите ли, чтобы я что-нибудь передал ей? — спросил священник.— Подумайте.

Он помолчал, чтобы дать больному время подумать, и стал укладывать крест в небольшой ящик. Прошло несколько минут.

— Ну, что же, не имеете ли вы еще чего-нибудь сказать?

Священник обратил свои глаза на больного: тот не шевелился и лежал с открытыми и неподвижными глазами. Священник тихо начал читать над ним молитву...

От Обноскова остался один бездушный труп, да несколько никому не нужных начатых работ... На лице покойника, когда он лежал на столе, виднелось все то же выражение испуга; казалось, что он именно для того закрыл глаза, чтобы не видать окружающих людей и кипящей кругом жизни, а может быть, в этом

выражении отразился его последний страх перед тою жизнью, в которую он так боялся вступить... Марья Ивановна дико кричала, рвалась и билась у гроба...

Похороны совершались довольно торжественно, и нашлось много людей, придавших какое-то особенное значение покойнику. «Он был, как Россия, весь в будущем!», «Мы хороним наши лучшие надежды на будущее!», «Это был стойкий и глубоко убежденный человек, способный направить на путь новое поколение»,— раздавалось со всех сторон и кто-то даже тиснул в этом роде статейку: бог знает, заставило ли выкинуть эту штуку искреннее убеждение или просто желание сказать, что и автор статейки был тоже знаком с порядочными людьми, или, может быть, побуждение было еще мельче и просто явилось следствием желания зашибить лишнюю копейку...

На могиле один из провожатых совершенно неожиданно решился произнести речь и принял приличный случаю вид.

— Господа, кого мы хороним? — торжественно спросил оратор и обвел собрание глубокомысленным, немного отупелым взглядом, как это обыкновенно делается при подобных вопросах во время надгробных речей.— Кого мы хороним? — еще торжественнее повторил он, выкатывая глаза и многозначительно качая головой.

— Сына моего, батюшка, сына моего... Обноскова...— зарыдала Марья Ивановна, услышав вопрос и совершенно не зная, что на подобные вопросы в речах обыкновенно отвечают сами же ораторы.

По лицам присутствующих промелькнули неприличные, плохо сдержанные улыбки, а оратор совсем растерялся, остолбенел и, потеряв нить своей речи, мог продолжать ее только через несколько минут. Но, к сожалению, ему надо было торопиться, так как Марья Ивановна окончательно решилась вступить с ним в разговор и поминутно отвечала на все похвалы оратора.

— Это точно, батюшка! Так, так! Ох, он, мой голубчик, если б он знал, как его люди-то хвалят! Вот уж видно, что вы добрый человек! Не имею чести только знать, как вас зовут...

Вследствие этих возгласов надгробная речь, против всякого ожидания, превратилась в какой-то стран-

ный диалог; оратор, посылая чуть не к черту Марью Ивановну, спешил, путался, а недоумевающая публика смотрела на это необычайное зрелище совсем не с похоронным настроением духа.

— Фу! — отер оратор со своего лица пот, окончив речь, и отошел от могилы.— Нет, каково эта баба-то ко мне привязалась! Совсем, разбойница, доехала! — восклицал он в кругу своих знакомых.— Это ведь черт знает, что за положение!

— Позвольте-с, засыпать надо! — проговорили могильщики и, поплевав на ладони, принялись за лопаты.

Комки мерзлой земли глухо застучали о крышку гроба.

— О-й, пустите меня к нему, к моему голубчику! Ох, отцы родные, не могу я без него жить! Тошнехонько мне!.. Леня, ангел мой, ненаглядный, разочек дай взглянуть на себя! — рвалась Марья Ивановна из поддерживавших ее рук.

Провожатые начинали понемногу расходиться... Раздосадованный оратор обдумывал теперь, что надо бы еще сказать на обеде, и решился иначе начать свою новую речь, надеясь на более удачный конец...

— Не пожалуете ли, сударь, на чаек?.. За копанье могил... умаялись... Здесь грунт-от, пусто бы ему было, чистая глина, да и замерзло все... Пока копаешь, так сам десять раз в яму носом ткнешься,— рассуждал один из могильщиков, пока распорядитель похорон шарил в своем кошельке, отыскивая мелочь.

— Батюшка, им заплачено... Ох, всем заплачено, всем! — вмешалась, рыдая, Марья Ивановна.— Мошенники здесь обобрать норовят... Жалости-то в них нет!.. Ох, я сирота горемычная!.. На кого ты меня оставил, кормилец ты мой!..

— Ишь ты, полтину на трех дал,— с укоризной рассуждал могильщик, когда и Марья Ивановна была уведена с могилы.— Ну, кулак народ! И ведь экое время-то, ни к чему приступу нет...

— А вот погоди, хлеб-от, говорят, еще подорожает,— заметил другой могильщик, сердито прибивая лопатою землю на могиле Обноскова.

— Черти, черти проклятые! — ругался собеседник, не менее сердито оканчивая свою работу.— Довольно, и так не встанет! — отер он пот с лица и поднял лопату на плечо, как солдат ружье.

От кладбища уже мчались на похоронный обед кареты, и шли в них веселые, беззаботные разговоры о житейских делах, о сегодняшнем дне, о вечернем спектакле... Сегодня похороны, завтра свадьба; утром погребальное пение, вечером обнаженные плечи Деверий или балет чуть не голых фей; один умер, другой родился; Алексея Алексеевича Обноскова похоронили, а где-нибудь с нетерпением и радостью ждут рождения какого-нибудь его однофамильца; покойник стоял за чистую, отвлеченную от жизни науку и, к сожалению, не кончил своего поприща, даже не начал настоящей борьбы за свои идеи, но, может быть, новорожденный его однофамилец будет успешнее бороться за те же самые идеи; ведь не сегодня началась эта борьба, не завтра кончится; наука не скоро унизится до того, чтобы сойти в простую кухню или в грязный подвал мастерового, ну, да и жизнь-то обходится без науки, не много нужно знать, чтобы весело прожить... Зимой кутили в пользу несносных голодающих, летом поедем на воды за границу мотать последние деньги; на наш век всего хватит, а внуки пусть сами о себе думают; старые порядки, может быть, и худы, да не ломать же нам себя, а новые, может быть, и хороши, ну, так и пусть их вводят, когда нас не будет... Житейские речи, житейская мудрость! Плохо живется на свете с этой мудростью...

В Германии стояла уже давно чудесная весна. Однажды небольшой семейный кружок Кряжова и несколько коротких знакомых Панютина и Груни уселись в саду пить после обеда кофе. Между собеседниками шли те не слишком торопливые, отчасти задумчивые разговоры, к которым обыкновенно располагает послеобеденная пора. Толки шли о России, о газетных известиях, о голоде, о женском вопросе, о просьбе женщин позволить им слушать университетский курс естественных наук. Одни выражали свои молодые надежды, другие, более опытные, покачивали головами и повторяли свой вечный припев: «Ничего не выйдет!» Вопрос перешел к тому, отчего ничего не выйдет? Начались споры, и беседа оживилась. Не вмешивалась в разговоры в этот день только Груня. Она в последнее время с особенным нетерпением ждала вестей из Петербурга, так как оттуда должен был приехать старший сын Высоцкой, а может быть, и она сама.

Споры еще продолжались, как вдруг Груня быстро поднялась с места, взяла на руки ребенка и быстро побежала с ним по аллее сада.

— Куда ты? — с удивлением спросил Павел.

— Она, она приехала! — крикнула Груня, продолжая бежать.

— Милая, дорогая! — раздавалось у калитки сада. — Сколько времени мы не видались.

— Давай ребенка! — послышался мелодический голос Стефании Высоцкой.— Боже мой, какой он у тебя бутуз! Ты чем его кормишь?

— Не смей смеяться над ним!

— Ну, а уж щипать я его непременно буду!

— Так я тебе и позволю!

— Да вы не поссорьтесь на радостях! — засмеялся Павел и нагнулся к руке Стефании.

— Бог мой, какой он цивилизованный стал за границею! — захохотала она, подставив ему свободную руку.

— Всё по-прежнему веселы, живы,— ласково промолвил Кряжов, здороваясь с приезжею.

— Что мне делается!

— А сын, другие дети где?

— Все, все со мною. Возятся в отеле.

— Ну, уж это не дело, изволь сюда переезжать,— произнесла Груня и побежала распоряжаться о перенесении вещей Высоцкой в их дом.

— Да ведь это такой гвалт здесь поднимется, что вы убежите из своего кабинета,— обратилась Стефания к Кряжову.

— Ну, я и без того изленился здесь, постоянно бегаю от работы. То внучонка понянчить хочется, то милейшая Вера Александровна без меня скучает, ее утешать надо,— смеялся старик.

— Ах, а где же она? Ведите меня к ней! Она все по-старому влюблена в вас?

— Да смейтесь, смейтесь! А мы такими друзьями стали, что жить друг без друга не можем,— шутил Кряжов, действительно привыкший, как к близкой родной, к наивной и немного сентиментальной старой деве.

Когда поутих первый шум и гам веселого свидания, Стефания осторожно завела речь об опасной болезни Обноскова.

— Говори прямо: он умер? — изменяясь в лице и пристально глядя на Высоцкую, спросила Груня.

— Да,— ответила Стефания.

Все разом замолчали. Кряжов, опустив голову, заходил по комнате и время от времени по старой привычке подергивал шейную косынку. Груня чертила что-то на песке и по ее щеке катилась едва заметная слеза.

— Что же, этого надо было ожидать, этим должно было все рано или поздно кончиться,— проговорила Стефания.

Груня не поднимала головы.

— Знаю,— прошептала она, украдкой отирая упавшую на руку слезу,— но мне тяжело, что я могу воротиться в Россию, только перешагнув через его могилу.

— Да ведь и всегда приходится шагать чрез чьи-нибудь могилы к новой жизни! — ответила Высоцкая серьезным тоном.— Мы-то это знаем по опыту.

— Да, ты говоришь о великих событиях, а тут мелкие семейные интересы...

— Ну, зато и могил немного,— ответила Высоцкая.— Это грустно, да ведь свет не переделаешь. Не перешагнешь ты через могилу врага,— он перешагнет через твою... Остается то утешение, что не мы виноваты в таком порядке дел.

Павел подошел к Груне и взял ее за руку.

— Ты не согласна с нею? — тихо спросил он.

— Согласна, но ты знаешь, как трудно приучить нервы к выносливости в этих случаях,— ответила Груня.

Павел тихо поцеловал ее и, взяв ее под руку, удалился с нею в глубину сада. Между ними зашел серьезный разговор о будущем.

Что будет далее с нашими героями — неизвестно, но во всяком случае их дальнейшая история, несмотря на все их ошибки, недостатки и промахи, не может принадлежать к истории господ Обносковых. Мы могли бы поговорить здесь о Марье Ивановне, но подобные женщины не изменяются до гробовой доски, и потому с ними довольно познакомиться раз, чтобы уже никогда не желать продолжения начатого знакомства. Носятся слухи, что она снова переехала на Выборгскую сторону и наклеила на окна объявления об отдаче комнат для студентов. Что ж, это очень вероятные слухи: такая жизнь все-таки доставит ей утешение ежедневно изо всех сил пилить кого-нибудь и горько плакаться перед каждым встречным на угнетение судьбы и на сиротскую долю.

НАД ОБРЫВОМ

РОМАН





Первая глава

I

У мухортовских господ ожидали приезда молодого барина. Этот торжественный случай с самого раннего утра поднял на ноги всю дворню в помещичьем доме. Более всего суеты замечалось в правом боковом флигеле, где должен был поселиться на месяц молодой барин. Здесь переставлялась с места на место мебель, обметалась со всего пыль, протирались стекла. В сущности, приготовления были вовсе не сложны, так как в доме уже с месяц жила сама госпожа Мухортова, мать молодого барина, и все было давно уже приведено в порядок. Дворня, по-видимому, просто придралась к случаю, чтоб выказать свое рвение и поразмяться, так как месяц, проведенный в деревне, был месяцем отдыха как для самой госпожи Мухортовой, так и для ее верных слуг; а их у нее было немало. Софья Петровна Мухортова, вдова заслуженного генерала, урожденная княжна Щербина-Щедровская, была старою барынею, сохранившею все привычки провинциального барства и, прежде всего, привычку окружать себя целою ордою толкавшегося в людских, слонявшегося по парадным комнатам и почти ничем не занятого народа. Теперь весь этот народ толпился во флигеле с озабоченными физиономиями, передвигая по десяти раз одну и ту же вещь, стирая по десяти раз пыль с одного и того же места.

Во всей этой ненужной возне не принимала участия только одна молоденькая девушка с гладко зачесанными густыми русыми волосами, с длинными загнутыми вверх ресницами, с правильными чертами чисто русского лица. Она сидела у открытого окна, склонившись над пяльцами, и, по-видимому, усердно вышивала. Но, наблюдая за ней, можно было заметить, что она то и дело взглядывала в окно и, сощуривая свои большие голубые глаза, всматривалась

вдаль; из окна, выходившего на двор, была видна железная решетка с такими же воротами, а за нею тянулась лента большой дороги, теперь вся залитая светом полуденного солнца. На дворе стояла знойная весна.

— Что это ты, Полинька, уж не хочешь ли первая Егору Александровичу на шею броситься, что от дороги-то глаз не отводишь? — неожиданно раздался в комнате резкий и визгливый голос.

Молоденькая девушка вздрогнула от неожиданности и повернула лицо к заговорившей с нею особе.

Это была высохшая, желтая, морщинистая женщина лет сорока пяти с ввалившеюся грудью и жиловатою длинною шеей. Она была одета немного пестро, с претензиями на моду, с множеством бантиков из полинялых лент. Ее жиденькие волосы были сильно взбиты и лежали на низеньком лбу затейливыми фестонами над нарисованными бровями.

— С чего вы это взяли, Агафья Прохоровна? — спросила ее молодая девушка.

— Да как же? Вышивать осталась на галдарее, а сама все на дорогу смотришь, не едет ли наш сокол? — ядовито продолжала Агафья Прохоровна.— Я тут целый час сижу, да к тебе присматриваюсь, просто одурь взяла... Только уж смотри не смотри, а толку мало: не попасть вороне в высокие хоромы. Побаловать он с тобою побалует, а уж жениться-то на холопке не женится.

У молодой девушки щеки покрылись еще более ярким румянцем, и на глаза навернулись слезы.

— Бог вас знает, что вы такое говорите,— тихо, подавленным голосом сказала она и со вздохом снова принялась за вышиванье.

Старая дева ядовито засмеялась.

— Скажите! Не знает, что говорят! Невинность в мешочке!..

Она как-то фыркнула со злобой в сторону и торопливо принялась за прерванное на минуту вязанье шерстяного платка. В комнатке с минуту слышалось только щелканье деревянных вязательных спиц.

— Носы-то вы все очень уж задрали,— продолжала спустя минуту старая дева, с озлоблением перебирая вязательными спицами.— Насели на Софью Петровну всей родней и думаете, что и Мухортово ваше,

и вы сами мухортовские господа. Погодите еще, голубчики, рано распетушились... Может быть, еще самим по шапке дадут... И хорошо сделают! А то от вас благородным людям житья нет... Как собаки, прости господи, проходу не даете... Гришка уж на что щенок, еще драть надо его, а туда же! Давеча иду искупаться и слышу, как он говорит кучеру Дорофею: «В холодной воде, дяденька, поди не отмоешь такую шкуру, в щелоку бы надо...». Тьфу! Побежала к Софье Петровне жаловаться, а тут твоя тетушка, Елена Никитишна почтеннейшая, и ну хохотать... Дура старая, право, дура... Что она меня выжить, что ли, отсюда хочет? Так я и сама уеду, когда вздумаю... Я не дворовая здесь, я в гости приехала, потому что мне жаль Софью Петровну... одна она здесь! Не с вами же ей компанию водить, не господа еще...

В эту минуту раздался стук копыт и колес. Поля быстро вскочила с места и двинулась к окну, невольно прижав руку к сильно забившемуся сердцу. Старая дева заметила это движение.

— Беги, беги, бросься на шею! — визгливым, насмешливым тоном проговорила она.

Поля сконфуженно, бессильно опустилась на стул.

— Что, видно, силы-то нет?.. Эх ты! Говорю я тебе, что ни за грош пропадешь,— продолжала Агафья Прохоровна и, придвинув стул поближе к молодой девушке, более мягко прибавила: — Я тебе же добра желаю. Знаю я этих господ. Поиграют с вашей сестрой и бросят. Что хорошего-то? Теперь не прежние времена, когда вашу сестру за своих же дворовых с брюхом замуж выдавали, и все такое...

Она наклонилась к девушке, и ее лицо приняло заискивающее выражение.

— Ты мне скажи, голубка, что? как у вас там? Зашло-то далеко?

— Оставьте вы меня в покое! — болезненно вздохнула девушка.— Вам-то что за дело? Разузнать все хочется, чтоб по всей губернии потом сплетничать.

— Скажите пожалуйста! Сплетничать! — воскликнула Агафья Прохоровна с раздражением.— Да чего же мне больше знать, чем я знаю. Захочу и стану везде рассказывать. Антересу-то только мало в вас... Ваш же щенок Гришка сказывал, что видел в замоч-

ную скважину, как ты с Егор Александровичем целовалась...

— Врете вы!— крикнула потерявшая всякое терпение девушка.

— Не я вру, а Гришка врет... да еще бабушка надвое сказала, врет ли...

— Низкая вы душа, вот вы что!

— Ах, боже мой, какая сердитая, да не страшная! Ты-то, простая душа, барской любовницей хочешь быть... И то сказать, мать твоя тоже беременною от барина была, когда за твоего отца, за Прокофья-то, ее выдали... Через шесть месяцев и ты родилась... Барская родня вы все... Хамы...

Потом, взглянув с презрением и злобой на молодую девушку, она прибавила:

— А вот если бы ты не грубила, когда благородные люди с тобой разговаривают, так я бы тебе сказала, что мне Софья Петровна говорила насчет своих прожектов женить своего Егора Александровича.

— Женить! — воскликнула с испугом Поля.

— Да-с, женить!.. И невеста уж есть... Не ты, не ты, голубушка!.. Говорить-то только я с тобой теперь не желаю, после твоих грубостей... На край света от вас уехала бы...

Старая дева свернула свое вязанье, вздернула высоко голову и с гордым видом зашагала к выходу. Молодая девушка, опустив на колени руки, замерла на месте.

Агафья Прохоровна направилась к левому флигелю, носившему у Елены Никитишны, мухортовской домоправительницы, название «страноприимного покоя». Когда в деревню приезжала генеральша Мухортова, к ней тотчас же собирались разные приживалки и странницы. Кормить этот люд, потешаться над ним, выслушивать всякие деревенские сплетни, это было одной из слабостей Софьи Петровны. Войдя в среднюю комнату страноприимного покоя, Агафья Прохоровна прошла на маленькую террасу, выходившую в глухую боковую часть сада, охватывавшего барский дом с трех сторон. Здесь на ступенях сидела опустившаяся и обрюзгшая пожилая женщина, вся в черном, с головой, покрытой, несмотря на полуденный зной, большим шерстяным черным платком. Услыхав за собою шаги, женщина тяжело и глубоко вздохнула, сжав

в трубочку толстые губы и подняв вверх заплывшие жиром глаза. Ее лицо вдруг приняло, на всякий случай, набожное выражение, точно она молилась в душе.

— Что вздыхаешь, мать Софрония? — небрежно спросила Агафья Прохоровна, присаживаясь тоже на ступеньку.

— О мире, мать моя, о мире сокрушаюсь,— отозвалась мать Софрония, снова тяжело вздыхая.

— Да, уж нечего сказать, нынче свет! — раздражительно проговорила Агафья Прохоровна.— Не смотрела бы на людей!

Она помолчала с минуту.

— Сегодня меня с самой ранней зари на черта посадили! — со злобой отрывисто произнесла она.— Только проснулась, Гришка дерзостей наделал... таких, таких, что и теперь всю мутит!.. Без порток в его годы-то еще мальчишки ходят, а он туда же, дерзости! Пошла жаловаться Софье Петровне, так Елена Никитишна меня же вышутила! Шутиха я им досталась!.. Потом пошла смотреть флигелек Егора Александровича, как там всё и прочее, а Прокофий, старый хрен, вдруг мне и выпалил: «Вам тут не место: молодой барин еще приедет, да увидит, так рассердится: приживалок-то да салопниц, сами знаете, он не жалует!» Это я-то приживалка, я-то черносалопница! И тоже точно королевича какого ждут, возню подняли, все скребут и моют. В трубу все выпустят, тогда и в грязи еще находятся! Невеста-то еще пойдет за него либо нет, а без женитьбы... долгу-то тоже больше, чем волос на голове. А тоже не всякая пойдет, видя, как дом-то весь хамы в свои руки захватили, да что он и сам с хамкою связался... А еще ученый, философ!..

— Ох, грехи, грехи! — с набожным вздохом проговорила Софрония.— Правда уж, что хамы всем правят. Не угоден им — и Софье Петровне не мил будешь...

— Уж чего! По их дудке пляшет! —произнесла Агафья Прохоровна с презрением.— И ты посмотри, сколько их, и все одна семья. Ты посчитай: губернаторша мухортовская, Елена Никитишна,— раз, потом двоюродный ее братец, Прокофий, дворецкий,— два, принцесса его доченька, Пелагея Прокофьевна,— три, Гришка щенок, крестник Елены Никитишны,—

четыре, Дорофей, кучер, тоже свояк им,— это пять, да почитай что все — и Митюшка-повар, и Глашка-горничная, и Анна-скотница, да все, все роденька Елены Никитишны... Вот уж истинно саранча насела... Только вот не знаю, кто теперь при Егоре Александровиче камердинером состоит. Кажется, у них некого было из своих-то к нему приткнуть...

Она вдруг что-то вспомнила и засмеялась.

— Впрочем, и то сказать, между собою родня, да и Мухортовым не чужие. Елена-то Никитишна, известно,— дедушкин грех, мухортовская кровь. Ну, и Прокофий-то, говорят, когда еще в казачках состоял, старой барыне уж больно потрафить умел, а потом жену взял на третьем месяце беременную. Пелагея-то тоже ведь барского рода... Только таким-то... вот у нас поп такой-то дочери вдовой солдатки имя Епистимьи дал. Солдатка взвыла, а он и говорит: «Какие же имена я после того законным детям буду давать? Твоя незаконная, пусть Епистимьей и будет». Так ее и зовут теперь Епистимья да Епистимья... Другого и прозвища нет...

— Уж что говорить! Известно, по грехам и наказание,— сонливо согласилась Софрония.

— А наши хамы думают и точно, что они мухортовские сродственники,— продолжала горячиться Агафья Прохоровна.— А таких-то сродственников ради одного стыда держать бы в доме не следовало! И ведь как забрали в руки Софью Петровну! Так ею и вертят, так и вертят... До чего только дойдет: как крепостные-то были, так можно было эту орду содержать да ублажать, а теперь капиталы-то подбираться что-то стали, именье-то заложено-перезаложено... Тоже ведь Елены Никитишны братец управлял, охулки на руку не положил, теперь только за прекращением живота вакансию оставил... Кого-то выберут в управители... Да, уж нечего сказать, в разор разорили господ. Только разве женитьбой и поправятся...

В это время послышалось легкое сопенье с присвистом. Агафья Прохоровна, круто оборвав речь, взглянула на свою собеседницу: та сладко спала, медленно кивая головой. Агафья Прохоровна с досадой сплюнула и шумно поднялась с места. Софрония проснулась и, сладко зевая, спросила:

— Что, али завтракать звали?

— Ну, да, так тебя и позовут сегодня завтракать. Принц-то, Егор-то Александрович, нашу сестру не любит! — досадливо сказала Агафья Прохоровна.

— Так как же? — растерянно спросила Софрония.

— А вот погоди, покланяйся Елене Никитишне, чтоб соблаговолила что-нибудь дать...

В эту минуту в комнате послышались шумные шаги, и что-то сильно зазвенело. Обе женщины обернулись разом.

В комнату вошел мальчуган лет двенадцати с подносом. Он почти бросил поднос на стол и, обращаясь к обеим женщинам, резко и грубо сказал:

— Есть принес!

И тотчас же повернулся к ним спиною и вышел.

— А, каков подлец Гришка!.. Есть принес!.. Точно псам каким, прости господи,— воскликнула Агафья Прохоровна, отплевываясь.

— Первые будут последними, а последние первыми, сказал господь наш,— с покорным вздохом произнесла Софрония.— Что ж, пойдем, мать, закусим, а там и соснуть можно до обеда...

— Эк тебя развезло, походя спишь! — сказала Агафья Прохоровна.

— Ночь-то молишься, устанешь тоже,— ответила, позевывая, Софрония.

— Молишься! — проворчала Агафья Прохоровна, враждебно посматривая на нее, точно хотела сказать: «Знаю я, как ты молишься, за десять комнат храп слышен!»

II

В это время в столовой, отделанной дубом и уставленной цветами, уже сидели за завтраком Мухортовы: сама Софья Петровна, очень красивая, видная, хотя уже значительно обрюзгшая женщина лет пятидесяти; ее сын, Егор Александрович, молоденький гвардейский офицер, с тонкими чертами лица, с темно-серыми глазами, с вьющимися темно-русыми волосами, с едва пробивавшимся на верхней губе пушком, и брат ее покойного мужа, Алексей Иванович Мухортов, бывший военный, а теперь агроном и земец, тучный весельчак, переваливший за пятый десяток. На Софье Петровне было шелковое платье

цвета сурового полотна; оно было сшито по последней моде и щедро отделано шелковыми плетеными кружевами под цвет материи; из-под длинного шлейфа с широкими плиссе виднелись густо собранные, ослепительно белые кружева; на гладко, но не без искусства причесанных, сильно уже поседевших волосах, сверх широко заплетенной косы, была накинута косынка из кружев того же цвета, как платье и его отделка; длинные лопасти косынки, спускавшиеся за ушами, ниспадали на грудь и здесь, связанные крупным бантом, были приколоты изящной брошью, изображавшей пучок колосьев с брильянтами вместо зерен. На Егоре Александровиче был надет щеголеватый белый китель, замечательно ловко охватывавший стройную фигуру молодого гвардейца. Щеголеватость и изящество проглядывало здесь во всем: в наряде хозяев, в украшениях столовой, в сервировке стола, даже в одежде прислуживавшего за столом Прокофья, серьезного и почтенного на вид старика, в белом галстуке, в белых перчатках и в черном фраке, и в одежде Елены Никитишны, приготовлявшей на спирту кофе в серебряном кофейнике, одетой в коричневое шерстяное платье с такой же пелеринкой и в белом чепчике с коричневыми шелковыми завязками; ее полную и белую шею охватывал гладкий, белый воротничок, а из-за таких же гладких белых манжет выставлялись выхоленные, мягкие и белые руки. Полную противоположность с этим изяществом, щеголеватостью и степенною сдержанностью представлял только Алексей Иванович Мухортов: это был коротконогий, короткошеий, короткорукий, крайне подвижный толстяк в коротких серых панталонах, вытянутых на коленях и измятых под коленями, и в таком же пиджаке или, как выражается он сам, балахоне, залитом на груди жиром, капавшим во время обедов и завтраков с длинных усов совершенно лысого, вечно жестикулировавшего, вечно покрытого потом, вечно лоснящегося старика.

— Я тебе очень благодарна, Алексис,— говорила протяжно и немного нараспев Софья Петровна,— что ты тотчас приехал...

— А ты думала, что я приеду, когда светопреставление будет? — ответил Алексей Иванович, засмеявшись жирным, утробным смехом, всколыхавшим его живот.— Дела, так их надо делать скорей...

— О, эти противные дела! — с томным вздохом проговорила Софья Петровна и подняла глаза к потолку.

— Да, как сажа бела,— по-русски заметил Алексей Иванович, махнув рукою.

Разговор велся на французском языке, заметно стеснявшем Алексея Ивановича. Софья Петровна усмехнулась и укоризненно покачала головой.

— Ты неисправим, Алексис,— заметила она.

— Что ж, матушка, что правда, то правда! — сказал толстяк, разводя руками.

— Знаю, что правда,— со вздохом сказала генеральша,— но зачем же людям знать...

— Да, дядя,— вмешался в разговор Егор Александрович,— неужели действительно дела наши уж так безнадежны?..

— Ах ты, фертик! — проговорил по-русски Алексей Иванович и, увидав молящий взгляд Софьи Петровны, расхохотался и сплюнул.

Генеральша укоризненно покачала головой.

— Неужели так безнадежны,— передразнил дядя племянника, заговорив опять по-французски.— А ты думал, что ты с матушкой мотать будешь, а дела будут все улучшаться? Нет, брат, нынче не такие времена. Нынче хочешь жить — умей работать, да так работать... Вот ты посмотри...

Толстяк протянул к племяннику свои руки.

— Когда молотилки рабочие назло мне стали ломать,— этими руками я и молотил, и двум рабочим скулы свернул,— пояснил Алексей Иванович, снова прожорливо принимаясь за еду, заткнув за воротник рубашки угол упавшей на его колени салфетки.

По лицу племянника скользнула брезгливая усмешка. Софья Петровна вздохнула.

— Но ведь это только хозяйственные занятия,— продолжал толстяк,— а на мне еще сколько общественных обязанностей лежит. Ты посчитай: я член земской управы, я и за школами слежу, я и опекун в соседнем имении, над детьми Борисоглебских, я и почетным мировым судьею был, я и в банке губернском принимаю участие, я и подряд взял на поставку дров на железную дорогу.

Исчисляя свои обязанности, толстяк, отложив нож и вилку, поднял руки и стал загибать свои жирные

пальцы один за другим, так что, в конце концов, против племянника были подняты два широкие здоровенные кулака.

— Ах ты, американец! — рассмеявшись, проговорил племянник.

— Да, будешь американцем, когда людей — раз-два, да и обчелся,— сказал толстяк, опять порывисто принимаясь за еду.— Вы вот там, в Питере, в канцеляриях сидите, на парадах журавлиным шагом выступаете, а есть-то вам, поди, нужно приготовить?.. Мы вот здесь и работай, чтоб на всех вас хлеба хватало, чтоб мужики пóдать вносили вам на жалованье. Не работай мы здесь, у всех у вас дела-то безнадежны бы стали.

Алексей Иванович говорил по-французски не бойко и поминутно прорывался русскими фразами. Это заметно беспокоило Софью Петровну, и она, наконец, сказала:

— Пойдемте пить кофе на террасу, там можно свободнее говорить...

Все встали и пошли на большую террасу, где среди цветущих растений стояла мягкая и удобная мебель. Прокофий принес кофе и оставил господ одних.

— Ну, теперь, Алексис, ты можешь не стесняться,— сказала Софья Петровна с добродушной и снисходительной усмешкой.

— Да я, матушка, и там не стеснялся,— наивно ответил Алексей Иванович.— Или ты думаешь, что твои люди не знают лучше тебя твоих дел? Слава богу, до нынешней весны твоей же Елены Никитишны братец делами твоими под моим присмотром управлял. Тоже, бывало, придет и чуть не ревет дурак: «Как же, говорит, закладывали имение, чтобы машины купить, чтобы постройки сделать, а ухлопали все на балы да на домашние спектакли!..» Как же, матушка, твоей-то челяди не знать твоих дел, на глазах у всех мотали...

— Алексис, пощади! — ведь мне двух дочерей надо было выдать,— с упреком сказала Мухортова.

— Так и надо было для этого мотать? Может быть, они бы скорее вышли замуж, если бы имение-то было в порядке...

Егор Александрович, откинувшись удобно на мягком кресле, подравнивал в это время крошечным но-

жом свои красивые ногти. Приподняв немного голову и устремив тревожный взгляд на дядю, он спросил:

— Так что же теперь придется делать, если дела в таком состоянии?

— Поселиться здесь придется, работать, да прежде всего вот это вышвырнуть вон,— ответил Алексей Иванович, проводя рукой в воздухе.

— Что это?

— А вот эти все камелии, азалии, родо-дендроны... Тьфу! и не выговоришь даже!.. Теперь не оранжереи, не парники, не теплицы нужны, а хлеб да капуста...

Софья Петровна презрительно усмехнулась.

— Ты говорил еще о другом исходе,— заметила она.—Я говорила об этом Жоржу...

— Ах да, женитьба на Протасовой! — в один голос воскликнули дядя и племянник.

— Что ж, это дело! — сказал дядя.

— Я ее почти не знаю,— раздражительно заметил племянник.

— Ты же играл с нею в детстве, потом ты ее видал у Барб, Жорж, когда Протасовы приезжали в Петербург,— сказала мать.— Протасов, правда, из купцов вышел в люди...

— Ошибаешься, матушка, просто из сиволапых мужиков,— поправил дядя.

— Но она очень милая особа, образованна, богата,— продолжала генеральша, как бы пропустив мимо ушей замечание Алексея Ивановича.

— Ты напрасно перечисляешь ее достоинства, я все равно могу жениться только по расчету,— холодно сказал сын.— Ты знаешь, что моя сердечная привязанность уже помещена в другие...

— Жорж! — с укоризною воскликнула мать.— Я тебя просила не говорить об этом! Я этого не знаю, не вижу, не хочу видеть! Зачем ты хочешь мучить меня?

Она в волнении обратилась к Алексею Ивановичу и начала жалующимся тоном будирующей институтки:

— Ну, рассуди сам, Алексис, зачем мне знать все эти пошлости и шалости? Мало ли их у каждого из вас, противных мужчин?

— Сюзетка какая-нибудь завелась? — спросил Алексей Иванович.

— Ах, нет,— с тяжелым вздохом сказала генеральша.— Хуже! Я очень, очень недовольна Жоржем в этом случае... Уж если начали говорить, то надо говорить все... Видишь ли, мы изволили соблазнить Полину...

— Какую Полину? — спросил Алексей Иванович.

— Ты помнишь, дочь Прокофия. Ты ее видел... Я любила и люблю эту девушку, как родную. Сажала ее в классную, когда студент учил моих Барб и Зизи. Думала пристроить за какого-нибудь чиновника. Ведь дядя Жак мог бы найти в своем министерстве такого чиновника. Приказал бы там кому-нибудь... И вдруг слышу, что Жорж изволит дурачиться с нею...

Софья Петровна говорила теперь таким тоном, как будто жаловалась маленькая девочка на то, что ее обидели.

— Что же, жениться намеревался? — спросил со смехом Алексей Иванович...

Егор Александрович вспылил.

— Тут шутки вовсе неуместны! — проговорил он.— Люди в моем положении на горничных не женятся. Но я нисколько не скрываю, что я ее очень люблю...

— И соблазнил ее обещаниями жениться? — спросил дядя.

В глазах молодого человека сверкнул недобрый огонек. Генеральша пожала плечами.

— Она вовсе на это и не рассчитывала сама... Да и никто об этом не думает... но мне неприятно, что это в моем доме.

— Ну, не новость... Это только свидетельствует, что Егорушка по дедушке пошел,— сказал Алексей Иванович.

Мухортова вздохнула и покачала головой с упреком.

— Ты, Алексис, смотришь на все ужасно легко. Тогда были другие времена, другие нравы. Тогда на это никто не обращал внимания. Теперь дело другое. Я ужасно, ужасно опечалена этой историей...

— Выдать ее замуж, вот и все,— решил толстяк.

— Она ни за кого не пойдет,— решительно заметил Егор Александрович, не отрывая глаз от подчищаемых им ногтей.

— Пойдет! — сказал дядя не менее решительно.— Да это пустяки. Нужно прежде всего самому на что-нибудь решиться, иначе ведь по миру придется идти. Теперь вам нужно ухлопать не один десяток тысяч, чтоб выкупить имение и привести в порядок хозяйство, а эти деньги на земле не валяются. Протасов будет рад отдать за тебя дочь...

— Я думаю! — сорвалось с языка Егора Александровича презрительное восклицание.

— Ну, ты о себе-то много не мечтай! — сказал Алексей Иванович.— Таких-то женихов много, смазливых голышей, но не у всех есть дяди Жаки, министры. Вот что важно для Протасова. Он банки устраивает, он подрядов ищет. Потому-то ты для него и находка. Ему все равно на взятки нужно ухлопать десятки тысяч, так лучше их зятю отдать и через него заручиться протекциями.

Генеральша не то с скучающим, не то с брезгливым выражением проговорила:

— Барышники вы здесь какие-то!

— Ну да, а вам бы только готовые пенки со всего снимать! — ответил Алексей Иванович.— Впрочем, дело не в том. А вы скажите, когда мне к вам Протасовых привезти? Нужно ковать железо, пока горячо. Закинет Протасов удочку в министерстве, дав взятку, тогда вы на кой черт?

Генеральша нетерпеливо передернула плечами.

— Я думаю, самое лучшее зазвать к нам девочку с одной из ее теток послезавтра на обед. Вы тоже приедете. Ты-то, впрочем, уже видаешься с ними?..

Мухортова утвердительно кивнула головой.

— Ну, и отлично. Надо только вот его свести с барышней поближе... Устрою обед, приглашу их, вы приедете и начнем варить кашу.

Егор Александрович горько усмехнулся.

— Не худо бы и меня спросить,— заметил он.

— Чисти, Егорушка, ногти, а уж дело-то мы будем делать,— ответил Алексей Иванович, похлопывая его по плечу.— Кушать тебе надо, да и вкусы-то у тебя, поди, изысканные... Чистое это божеское наказание, когда денег в кармане нет... Я вон, как вол, стал работать ради этих вкусов...

III

День приезда молодого барина был тревожным днем в мухортовском доме. С утра пришлось все мыть и чистить, потом был завтрак, к обеду приехали жена, сын и дочери Алексея Ивановича и только часов в девять все смолкло. Гости разъехались, генеральша удалилась на свою половину. В деревне она обыкновенно ложилась очень рано: ляжет в постель, призовет кого-нибудь из приживалок, побеседует с ними, пока Елена Никитишна убирает ее платья, потом милостиво отпустит словоохотливых женщин, возьмет французский роман и в тишине, при мягком свете лампы, укрывшись розовым шелковым одеялом, вся в кружевах, читает далеко за полночь, уносясь воображением то в Париж, то в Лондон, то в девственные леса Америки. Где-где она ни побывает в иную ночь и каких приключений ни насмотрится. Иногда ужас охватывает ее, когда она вместе с героями романа попадает в руки злодеев; порою льются из ее глаз горячие слезы, когда страдает угнетенная невинность; подчас же всю ее охватывает такое сладостное чувство, когда романический *он* хватает романическую *ее* в свои объятия, впивается в *ее уста своими* страстными устами и влечет ее в укрытый от любопытных взоров уголок,— и кажется ей, генеральше Мухортовой, при виде таинственных точек в романе, что она сама еще может увлечься, что в ней еще не все угасло...

На этот раз она тоже позвала к себе и мать Софронию, и Агафью Прохоровну.

— Я вас, мои милые, сегодня почти и не видала,— мягко сказала она.— Уж извините, день такой выдался. В родственном кругу нужно было о многом поговорить...

— Ах, что вы, благодетельница, извиняетесь! — воскликнула Агафья Прохоровна и бросилась целовать в плечо генеральшу.

Софрония поцеловала ее в другое плечо.

— Кормили ли вас? — участливо спросила генеральша.

— Всем довольны, ваше превосходительство, мать наша,— униженным тоном сказала Софрония.— Елена Никитишна, дай ей бог здоровья, всего наслала...

— На Егора Александровича-то только и глазком не удалось взглянуть,— заметила Агафья Прохоровна сладеньким голосом.— Я думаю, совсем жених, как есть...

— Еще бы! — сказала генеральша.

— Вот погоди, Агафья Прохоровна, увидит, опять «крысиным хвостом» станет звать,— со смехом сказала Елена Никитишна.

— Пусть их тешатся,— ответила Агафья Прохоровна слегка зашипевшим голосом.— Тоже шутник был ребеночек... Да ведь это от радости душевной, а не от злобы, как иной хам, не здесь будь сказано, издевается...

И, сделав совсем ехидное лицо, она прибавила:

— Вот женить бы здесь Егора Александровича! Хоть одним глазком взглянула бы на свадьбу.

Елена Никитишна, прибирая последние вещицы, еще разбросанные на туалете, насмешливо заметила:

— Сватать невесту, верно, хочешь?

— Отчего ж и не посватать? — ответила Агафья Прохоровна.— Вот денисьевские барышни — краля к крале и отец в генералах состоит. Тоже львовская барышня из себя субтильная...

— Ах, что это за невесты! — со вздохом сказала Мухортова.

Агафья Прохоровна назвала еще несколько фамилий соседних помещиков, но ее зоркие глаза тотчас угадали, что не этих девушек прочат в невесты. Она терялась в догадках. Кого же, если не их? В окрестностях, кажется, больше и девиц не было.

— Ну, покойной ночи! — сказала Мухортова.— Устала я сегодня!

— Как не устать, как не устать, благодетельница! — сказала Агафья Прохоровна.

— Шутки ли, как за день-то умаешься,— заметила, в свою очередь, Софрония, незаметно зевая в руку.

Обе женщины прикоснулись губами к плечам генеральши и на цыпочках вышли из комнаты. Генеральша, отпустив и Елену Никитишну, взялась за роман.

— Теперь и соснуть можно,— сказала Софрония, направляясь в боковой флигель.

— Ах, нет! Вечер такой благодатный, что и спать не хочется,— ответила Агафья Прохоровна.— Я еще

помечтать пойду в сад. Страсть как я люблю мечтать в эту пору...

Они прошли в «страннопримный покой». Агафья Прохоровна отворила дверь на балкон.

— Вон луна светит, звезды мерцают, аромат плывет,— проговорила она певучим голосом,— и не спала бы я, кажется, до бела дня в такие ночи... Молодости, чувств этих самых во мне много...

Она широко вдохнула воздух, закатив ввалившиеся и поблекшие глаза. Вечер действительно замечательно хорош: тихий, теплый и ясный, он манил на воздух. Сад был весь в цвету: все было пропитано ароматом. Легкой и неслышной поступью крадущейся кошки сошла Агафья Прохоровна в сад, обогнула барский дом и незаметно очутилась против правого бокового флигеля, где помещался Егор Александрович.

Во флигеле была освещена только одна комната — спальня молодого Мухортова. Из этой комнаты так же, как и в «страннопримном покое», вела дверь на террасу. Только здесь терраса была густо уставлена цветами. Шторы в комнате еще не были спущены, и Агафья Прохоровна могла видеть, как молодой Мухортов, с папиросой в зубах, ходил взад и вперед по комнате. Прошло несколько минут. Послышались чьи-то мелкие шаги в саду. Агафья Прохоровна притаилась за деревом. Вдоль стены флигеля скользнула чья-то тень. Агафья Прохоровна увидала фигуру женщины, поднимавшейся по ступеням террасы. Раздался легкий стук в дверь. Мухортов быстро подошел к двери, отпер ее и, вскрикнув от неожиданности, сжал в своих объятиях Полю.

— Голубчик, истомилась я... весь день не видала вас! — раздался шепот Поли, прижавшейся к его груди.

— Ах, бесстыдница, бесстыдница! Сама к нему ходит! — мысленно вскричала в волнении Агафья Прохоровна.

— Пойдем в комнату, здесь может кто-нибудь застать,— сказал Егор Александрович.

— Пусть!.. Мне-то что? Никого я не боюсь... Все и так знают... Да и пусть знают,— говорила Поля.

Она опять прижалась губами к его лицу; он тихо ввел ее в комнату. Агафья Прохоровна чуть не полз-

ком стала пробираться к окну. В эту же минуту перед ее лицом стала постепенно опускаться штора. Агафья Прохоровна торопливо стала подкрадываться к другому окну. Но и тут тоже опустилась штора, а вслед за нею упали тяжелые портьеры у дверей.

— Ах, срамница! Ах, срамница! — озлобленно твердила старая дева, хлопотливо и нестерпимо отыскивая хоть какой-нибудь щелки.

Заглянуть в комнату не было никакой возможности. Агафья Прохоровна отошла от флигеля, взглядывая на окно. На белых, ярко освещенных шторах мелькали тени двух фигур; через несколько минут не стало видно и этих отражений. В саду и в доме была полнейшая тишина. Где-то далеко слышалось лошадиное ржанье, петух пропел спросонья на птичнике. Опять все стихло, точно замерло. В воздухе стало свежее. Откуда-то потянуло сыростью. Агафья Прохоровна вздрогнула.

— Нет, уж я тебя, голубушка, дождусь! — прошептала она и села на скамью.— Будь я не я, если я тебя не укараулю, да не выведу на свежую воду...

Не прошло и десяти минут, как Агафья Прохоровна почувствовала, что скамья отсырела. Она вскочила и, быстро оправив промокшие юбки, стала снова ходить, как дежурный часовой, около дома. Где-то в комнатах пробили часы: било двенадцать. У Агафьи Прохоровны ноги устали от ходьбы. Она решилась опять сесть на сырую скамью. В ее груди учащенно билось сердце. Ей поскорей хотелось накрыть «подлую девчонку». Наконец, портьеры в комнате Егора Александровича раздвинулись, отворилась дверь и на пороге появились молодые люди. Егор Александрович еще раз обнял Полю. Она, набросив на голову платок, стала спускаться с террасы... Агафья Прохоровна знала, по какой дорожке должна пройти Поля, и быстро обошла другой дорогой, чтобы встретить молодую девушку. Поля шла, ни на что не обращая внимания, и дошла до большой террасы, занимавшей половину главного фасада барского дома. Вдруг раздался у ее ног крик испуга, и со ступеней поднялась, присевшая на них, Агафья Прохоровна.

— Тьфу ты, господи! С нами крестная сила! Чур меня! — вскричала старая дева.

Поля вздрогнула и отступила на шаг.

— Кто это? — продолжала Агафья Прохоровна.— Ты, Пелагея, ночью по саду бродишь?

— А вы? — спросила Поля.

— Так я тут сидела, у дома, набожным размышлениям предавалась... А ты? Уж не к Егору ли Александровичу изволила ходить? — насмешливо закончила старая дева.

Поля бойко подняла голову.

— Ну, а если б и к нему? Вам-то что? — спросила она задорно.— Ну, была у него, была. Что же такое?

— Ах, ты, срамница, ах, срамница! Да если бы Софья-то Петровна это узнала...

— И знает, знает, все знают,— резко сказала Поля.— Вот в том-то и беда ваша! Жаловаться-то некому! Ни от кого мой грех не скрыт, и никого я не боюсь. Перед всем миром скажу, что люблю Егора Александровича и хожу к нему, и не боюсь никого!

Агафья Прохоровна даже руками развела.

— Да ты, девка, не в своем уме! Головы ты своей не сносишь!..

— Ах, что мне моя голова теперь! Пока он любит, до тех пор и жива...

Она стала быстро подниматься на террасу.

— А жаловаться станете,— сказала она, остановившись на минуту и обернувшись к Агафье Прохоровне,— самим же хуже будет. Софья Петровна сына на вас не променяет, а он — жить мы друг без друга не можем!..

Она говорила с уверенностью в его любовь, вся сияющая от счастия, вся еще охваченная обаянием его ласк. Агафья Прохоровна растерянно смотрела ей вслед. Короткая весенняя ночь уже начинала бледнеть, в саду слышались предрассветные голоса пробуждавшихся птиц.

— Ну, Содом и Гомор, истинно говорю: Содом и Гомор! — проговорила Агафья Прохоровна, разводя в стороны руками.— И погибайте вы все окаянные, и слезы об вас не выроню... Ах, развратники, ах, развратники!

Вторая глава

I

— Куда я иду?.. Люблю одну, рассчитываю жениться на другой... И все потому, что первая мне не пара, а вторая может поправить мои денежные дела!.. Как все это пошло, как все это низко! — в сотый раз повторял мысленно Егор Александрович, волнуясь и сердясь на себя, и в его душе поднималось ощущение брезгливости чистоплотного человека, заметившего внезапно, что он весь забрызган грязью.

Мухортов не мог сказать, что он безукоризненно честный человек, так как в прошлом он жил жизнью тепличного, выхоленного растения, защищенного от всяких стихийных случайностей, бурь и гроз. Но он мог смело сказать, что покуда он не совершил никакой подлой сделки со своею совестью, так как идти на эти сделки ему до этой поры вовсе было не нужно. Весть о разорении была первой бурей, налетевшей на него, и она поразила его, как гром, грянувший в безоблачном небе. Вся движимая и недвижимая собственность Мухортовых принадлежала Егору Александровичу, но, даже сделавшись совершеннолетним, выделив мать и сестер, он никогда не интересовался ни размерами этой собственности, ни приносимыми ею доходами, предоставив матери продолжать распоряжаться всем имуществом, как она распоряжалась им в годы опеки над сыном. Практическая жизнь интересовала молодого человека менее даже, чем светская жизнь. Светской жизни он отдавал хотя какую-нибудь дань, по необходимости являясь иногда на балах, в блестящих салонах, на пирушках золотой молодежи. Мать убеждала его, что это нужно «для поддержания связей». Отбыв волей-неволей эту повинность, он запирался в своем кабинете и отдавался чтению любимых поэтов, философов, историков, проводил время в обществе студентов. В его голове начинали созревать планы серьезных научных трудов, и с каким-то благоговейным чувством подготовлялся он к деятельности ученого, как к священнодействию, еще не доверяя своим собственным силам и в то же время испытывая радостное чувство при мысли, что, может быть, и он

когда-нибудь станет рядом с теми, кому он теперь поклоняется сам. Просматривая как-то биографию Бокля, он вдруг точно прозрел: вот именно та жизнь, которой жаждал он,— ученье в тишине кабинета, вдали от всяких житейских дрязг, долголетняя серьезная работа, создание крупного, зрело обдуманного труда. У него как раз есть все необходимое для такой жизни: средства для существования без работы из-за куска хлеба, мать, заведующая делами, охота к чтению, развитая в нем еще в детстве его дорогим наставником и другом, стариком-швейцарцем Жеромом Гуро, когда-то состоявшим при Мухортове в качестве гувернера... И вдруг, среди этих радужных грез, когда он уже окончательно решил вопрос об отставке, о поступлении в университет, весть о разорении заставила его упасть с неба на землю.

— Жорж, Жорж, это ужасно! Мы стоим на краю пропасти! Мы погибли! — восклицала Софья Петровна, передавая сыну весть об этом событии, мелодраматически ломая руки.

Еще накануне она давала бал, поглотивший не одну тысячу рублей.

Егор Александрович даже не мог понять сразу, о чем ему говорит мать.

— Успокойся! — проговорил он.— Что с тобою?.. Ты вечно все преувеличиваешь... Не могло же так все погибнуть вдруг?.. Может быть, можно еще поправить как-нибудь дела... Конечно, можно!..

Он сам плохо понимал, что он говорит.

— Нет, нет! Алексис пишет, что все погибло... что имение не сегодня, так завтра продадут с молотка... Это ужасно, ужасно! — восклицала генеральша и металась на софе, как от приступов невыносимой боли.— И завтра, завтра нужно еще уплатить по счетам модистки!..

— Да ты не волнуйся и объясни, что случилось,— уже нетерпеливо допрашивал сын.— Как это так, вдруг...

Его лицо покрылось смертельною бледностию.

— Ах, разве я знаю... разве я понимаю что-нибудь в этих делах! — брезгливо сказала Софья Петровна, как будто речь шла о чем-то грязном и сальном.

Она вела дела в течение пятнадцати лет.

— Я знаю одно, что Алексис пишет ужасные вещи... по миру пойдем... публиковать о продаже будут... Публиковать о нашем разорении!.. И все, все прочтут в газетах...

С ней сделался истерический припадок.

Впервые в жизни Егора Александровича охватило чувство страха. Несмотря на все усилия, он не мог отделаться от этого чувства. Он злился на себя, он с презрением называл себя мысленно человеком-тряпкой, мелкой натуришкой, но тем не менее страх перед будущим охватывал его всего, мешал ему думать, соображать. В голове проносились только какие-то отрывки мыслей, соображений, картин, без всякой логической связи. Нищий, что он станет делать? Он ни к чему не способен! Надо будет покончить все разом! О, как трудно, как тяжело умирать, когда так хочется жить! А Поля? Бедная девушка! Он погубил ее нравственно, теперь он должен заставить ее испытать весь ужас материальных лишений. Если бы ему удалось обеспечить хоть ее. А что, если она сделается матерью? Ведь это будет его ребенок, обреченный при рождении на нищету, на гибель. Да, прежде всего нужно спасти эти два существа. Но что же делать?

— Жорж, дядя пишет...— начала опять в том же тоне героини французского романа генеральша,— дядя предлагает... Но мне страшно даже сказать... Ах, нет, это ужасно... Это страшная жертва!.. Он там в деревне нашел какую-то невесту тебе...

— Ах, до невест ли теперь,— раздражительно воскликнул Мухортов.

— Я понимаю, дитя мое, как это ужасно... в твои годы и жениться не любя, без страстного увлечения!.. Алексис, конечно, этого не может понять... он так огрубел там в деревне... Но он пишет, что это может нас спасти...

— Спасти? — почти бессознательно повторил Егор Александрович.

— Да, она очень богата... Ты ее знаешь... это Мари Протасова. Правда, ее отец из купцов, но он образованный, жил долго в Англии... и в чинах... Нынче ведь им дают чины... Статский советник, кажется... Право, не знаю наверное... Что-то в этом роде... Впрочем, со стороны матери у Мари Протасовой очень почтенная родня, из старых дворян...

В ее голосе звучала нотка презрения. Мухортов ходил по комнате, почти не слыша, что говорила мать, погруженный в свои думы.

— Если бы я могла просить тебя, умолять на коленях об этой жертве! — продолжала Мухортова, поднимая закатившиеся глаза и трепетные руки к потолку.— Но разве я смею!.. Я женщина, я мать, я понимаю, чего будет это стоить тебе... О, эти браки без любви!.. Разве я сама не была жертвой всю жизнь?.. Но мы должны спасти свою честь...

Сын рассеянно ответил:

— Что ж, если это единственный исход!

— О Жорж, Жорж! Я буду на коленях молиться за твое счастье! — воскликнула генеральша.— Бог услышит молитвы матери!..

— Ты понимаешь, я не могу еще ничего сообразить, обдумать,— нетерпеливо ответил Мухортов, всегда раздражавшийся при виде трагических ломаний матери.— Это все слишком неожиданно!

— А я, а я? Разве я ожидала? Разве я могла ожидать?

— И как не стыдно дяде Алексею... Не предупредил... не предостерег заранее,— задумчиво заметил сын.

— Ах, он говорит, что предупреждал... Но разве я могла верить?.. Они там всегда так в деревне: вечно угрожают, жалуются на безденежье, на неурожаи... И вечно у них какие-то платежи!.. Я не читала даже этих иеремиад... Сколько лет все угрожал!.. А теперь... О, это, как гром, поразило меня... Я все, все вынесу, но не позор!.. Позор меня убьет.

И затем полился целый поток трогательных просьб о жертве и трагических восклицаний о позоре. Егор Александрович соглашался сделать все зависящее от него, но он говорил, точно во сне. Мать, занятая только собою, не замечала состояния его духа и слышала одно его согласие с планом дяди Алексея Ивановича.

— Я на этих же днях должна бежать отсюда,— с трагизмом продолжала Мухортова, любившая употреблять страшные слова.— У нас есть срочные долги... Придут кредиторы... Нет, нет, я не способна лгать и притворяться!.. Я должна уехать на время, и если тебе удастся жениться — наша фамильная честь будет спасена... Ради бога, Жорж, бери скорей отпуск, при-

езжай в деревню... Покуда все не уладится — я не буду жить!..

В доме начались суетливые сборы к отъезду в деревню. Генеральша была серьезно убеждена, что ей остается одно спасение в бегстве, и легкомысленно повторяла себе: «Ах, это точно в романе». Мухортов бродил среди страшного хаоса в своей квартире, как тень, не находя успокоения, и, смотря на укладыванья в чемоданы и сундуки вещей, испытывал ощущение беглеца, спасавшего свои последние пожитки от наступающих врагов и сознающего, что, в сущности, спасти уже ничего нельзя. Ему крайне смутно представлялось его собственное положение: он не знал и теперь настоящего состояния своих дел и только слышал раздирательные стоны матери о том, что они стоят на краю пропасти, что их ждет позор. Его душевное настроение было так же смутно и тягостно и через месяц после отъезда Мухортовой в деревню, когда туда, по условию, должен был отправиться и он. О женитьбе он старался не думать, хотя его самого бесило это стремление не глядеть прямо в глаза обстоятельствам, это стремление обмануть самого себя; он чувствовал, что он поступает подобно глупым птицам, прячущим ввиду опасности головы под крылья; он тоже прятал голову под крыло, боясь прямо сказать себе, что он идет на бесчестную сделку ради материальных выгод. Это его возмущало и лишало веры в свои нравственные силы; хорошо он будет жить в будущем, если при первой житейской невзгоде он уже идет на подлую сделку...

И что это за девушка, на которой он должен жениться?..

Он очень смутно представлял ее себе. Он помнил, что когда-то, в дни его отдаленного детства, лет десять или одиннадцать тому назад, к ним в Мухортово изредка приезжали какие-то полупомешанные и чопорные старые девы Ададуровы в ярко-красных и ярко-синих платьях, в широчайших кринолинах, с грубо накрашенными бровями, щеками и губами, и с ними приезжала маленькая черномазенькая девочка Маша. Это был странный ребенок, походивший на отощавшую в неволе обезьянку; то она сидела, съежившись, угрюмо и молчаливо, как ушедшая в раковину улитка, и в эти минуты казалось, что у нее болит грудь, что

она скоро зачахнет; то вдруг она становилась дико и необузданно развязною и приводила в ужас всех гувернанток и барынь, лазая по деревьям и плетням, подскакивая верхом на палочке, как уличный мальчишка, и в эти минуты она казалась просто безумной дикаркой, зверьком, способным защищать зубами свою свободу.

— C'est une fille mal élevée,[1] — говорили про нее дамы.

Эту фразу о Маше повторяли на все лады и прибавляли к этому со вздохом:

— И то сказать, она растет так одиноко, в таком забросе!

Егора Александровича в те годы очень мало интересовала эта девочка: он страдал глазами и вел отчужденную от детских кружков жизнь в обществе Жерома Гуро, читавшего ему вслух иногда по целым дням величайшие произведения европейских гениев. Из всех встреч с этой девочкой Мухортов запомнил только одну. Как-то раз эта девочка, наскакавшись и набегавшись вволю, подбежала к большой террасе мухортовского дома и увидала Жоржа: он сидел один на ступенях лестницы с зеленым зонтом, защищавшим от света его больные глаза. Девочка остановилась перед ним, как вкопанная, в немом изумлении, потом вздохнула и жалобным, протяжным голосом проговорила:

— Бедный слепенький, хочешь я тебя повожу?

Потом его часто в шутку называли «бедным слепеньким»...

Затем он совсем забыл Машу Протасову и только год тому назад увидал ее снова у своей сестры Барб на балу,— увидал мимоходом, мельком. Маша превратилась уже в Марью Николаевну и была не маленьким тщедушным ребенком, а свежею, как только что распустившаяся роза, девушкой с здоровым, загорелым по-деревенски, цветом кожи, с роскошными черными волосами, с серьезными и строго правильными чертами лица, с большими задумчивыми черными глазами. За ней увивалась целая толпа блестящей молодежи. Мухортов обменялся с нею парою незна-

---

[1] Это плохо воспитанная девочка *(фр.)*.

чительных фраз и запомнил только слова своей сестры, сказавшей ему:

— Маша Протасова сегодня опять, как улиточка, ушла в свою раковину!.. Странное создание!.. Совсем не умеет держать себя в обществе...

Далее случай как-то развел их, помешал им встретиться,— и вдруг теперь он, Мухортов, должен играть роль влюбленного в нее, влюбить ее в себя, свататься за нее! Он делал все усилия, чтобы не разбирать вопроса, насколько это нравственно и честно,— делал именно то, что было всего труднее для него, привыкшего под влиянием одиноко проведенного болезненного детства, под влиянием Жерома Гуро, копаться в своей душе, отдавать себе отчет во всех своих душевных движениях. Он старался теперь даже уверить себя, что он считает такую женитьбу в порядке вещей. Свое волнение он пробовал приписать только одной заботе об участи Поли.

Действительно, что будет с нею, если он не женится? Не ждет ли ее нищета, не погибнет ли она и, может быть, не одна, а с ребенком? Но что ждет ее, если он женится? Перенесет ли она это? Да, это было для него страшнее всех других вопросов...

II

Связь с Полей была единственным темным пятном в светлом прошлом Мухортова. Он сошелся с этой девушкой нежданно-негаданно. За несколько минут до этого события он возмутился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что это событие случится. Он как сейчас помнит эту роковую минуту. Дело было на Пасхе. Он приехал домой поздно вечером, несколько возбужденный шампанским, и встретил в коридоре, проходя в свою комнату, Полю.

— А я с тобой еще не христосовался нынче! — с веселой улыбкой сказал он девушке и подошел к ней.

Он обнял ее и в ту же минуту почувствовал на своих губах град страстных поцелуев вместо трех обычных холодных поцелуев христосованья.

— Поля! — прошептал он в волнении, с легким упреком в голосе.

— Голубчик, простите! — тоже тихо, но порывисто и страстно проговорила она.— Не могу я скрываться... люблю я...

Она залилась слезами и, схватив его руки, уже покрывала их горячими поцелуями. Он смутился, растерялся. До этого времени он вел почти аскетическую жизнь, настойчиво сторонясь от женщин. Ему казались бесчестными интрижки с чужими женами за спинами обманываемых мужей; в нем пробуждали брезгливое чувство связи с продажными женщинами, ласкающими за деньги сегодня одного, завтра другого. Над ним сильно подтрунивали приятели, говоря, что он дал обет девственности. Он впервые слышал теперь страстный шепот любви. Перед ним стояла полная здоровья, молодости и чистоты девушка. Он забыл все и вполне отдался первому порыву этой неожиданно пробудившейся страсти. Не прошло и часу, как он уже отрезвел от этого опьянения и почти со слезами, целуя руки этой девушки, просил у нее прощения, проклинал себя.

— Что вы, что вы, милый, дорогой! — страстно заговорила она.— Я сама на это шла... Мне все равно!.. Любите меня только... хоть немного...

Она стала говорить, как давно она его любит, как давно только он и снится ей во сне и наяву. Он, может быть, и не замечал, как она следила за ним, как не спускала с него глаз. В коридоре подстерегала она его, когда он возвращался домой, чтобы взглянуть на него хоть глазком. Это была страсть, поглотившая все ее существо, наполнявшая все ее мысли. Она его любила, как только простая девушка могла любить красавца-барина...

Сначала никто в доме и не подозревал, что случилось. Гришка, в качестве домашнего шпиона, первый подсмотрел, как барин целуется с Полей, и тотчас же оповестил об этом «крестную». В награду за сообщение «крестная» надрала ему ушенки. Тем не менее она стала сама наблюдать за Полей. Как человек опытный в любовных делах, она быстро убедилась в истине слов Гришки. Не прошло и двух дней после этого открытия, как все стало уже известным и генеральше. В доме начались тревожные перешептыванья. Генеральша на тысячи ладов восклицала капризным тоном:

— Ах, противный мальчишка!.. Тоже мужчиной сделался!.. Подумайте!..

В доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых ни для кого не казалось странным в былые времена, когда кто-нибудь из господ обращал особенное внимание на одну из дворовых девушек. Делалось это, по большей части, очень просто.

Барин, положим, говорил:

— Послать ко мне Глашу!

Затем через несколько месяцев он призывал когонибудь из слуг и говорил:

— Тебе пора жениться; женись на Глаше!

Тем все и кончалось. Облагодетельствованный барским выбором дворовый женился; барин был отцом посаженым; барин крестил детей. Так делалось прежде. Теперь же все точно сконфузились, когда с Полей случился «грех». Долгое время все делали вид, что никто этого не замечает, и в то же время все усердно подкарауливали молодых людей, точно еще не веря в совершившийся факт. Всех мучил один, никому не приходивший в голову в былые времена, вопрос:

— Что же будет дальше?..

Все без исключения сознавали, что Егор Александрович не может призвать и не призовет никого из слуг, чтобы сказать:

— Тебе пора жениться; женись на Поле!

Все сознавали и то, что Поля, вероятно, никак не согласилась бы на подобный брак, если бы даже Мухортов и мог устроить его. Все инстинктивно чувствовали, что, несмотря на то, что связь господ и дворовых повторялась с незапамятных лет в доме князей Щербино-Щедровских и господ Мухортовых,— связь Поли с Егором Александровичем была явлением новым, небывалым, влекущим за собою немало забот и хлопот. Это явление до того смутило всех, что Елена Никитишна втихомолку даже всплакнула; Прокофий как-то напился пьян (что с ним бывало часто) и, бушуя, ругался за то, что в нынешние времена отец и за косу девку оттаскать не может; Софья Петровна сентиментально заметила сыну, что она им очень недовольна. Спокойнее всех были сами любовники. Егор Александрович старался не думать о будущем, давая в душе юношеские обеты, что и в будущем он не бросит Полю. Поля, со своей стороны, иногда смущалась мрач-

ными думами, но стоило ему приласкать ее, и все эти думы рассеивались перед светом охватывавшего ее счастья. Люди привыкают ко всему. Через два месяца в мухортовском доме начали привыкать и к тому, что Егор Александрович живет с Полей. Все как будто старались уверить себя, что эти отношения так и будут продолжаться всегда, что никаких печальных последствий не предвидится...

В это время между тем назрело то, о чем еще более, чем о грехе Поли, старались не думать, не говорить в доме: событие это было — разорение. Дела Софьи Петровны Мухортовой были уже давно не в блестящем положении, что не мешало ей жить широко и беспутно. Генеральша, впрочем, могла себя оправдать тем, что иначе она и не может жить. Нельзя же ей не принимать дядю Жака, князей Щербино-Щедровских, разных других Мухортовых, всю свою богатую или заслуженную родню. Долгое время Мухортова при помощи Алексея Ивановича кое-как изворачивалась, закладывая и перезакладывая имение, продавая по частям лес. Наконец, она дошла до того предела, когда изворачиваться дальше было нельзя. В это-то время Алексей Иванович, даже не спросив Егора Александровича, закинул удочку к одному из своих компаньонов по разным подрядам и круто заявил Мухортовой, что Протасов — заводчик, подрядчик и банковый делец, ворочающий миллионами,— вероятно, охотно отдаст за ее сына свою дочь. Эта женитьба была единственным средством спастись, то есть выкупить имение, начать новое хозяйство, обеспечить себя вполне в близком будущем. Выбора в средствах к спасению не было, приходилось согласиться на эту сделку. Мухортова согласилась. Она уговорила и сына согласиться на эту «жертву». Однако ни Софья Петровна, ни Егор Александрович не говорили об этом громко в своем доме. Об этом не говорил никто и среди дворни, хотя все угадывали, что Егора Александровича собираются на ком-то женить; недаром же знала Елена Никитишна, что значит слово «марьяж». Но всем, начиная с господ и кончая слугами, было как будто совестно сознаться, что женитьба Егора Александровича — дело решенное. Среди разных других соображений возникла снова и мысль о том, что будет с Полей? Это заставляло иногда трогательно

вздыхать Софью Петровну, высоко закатывавшую глаза к потолку. Это же заставляло иногда Елену Никитишну, совершенно одиноко занимавшуюся какой-нибудь работой, бессознательно замечать вслух:

— Ах, девка, девка, что ты наделала!

Но, волнуясь и тревожась, все тем не менее старались умалчивать о предмете своих тревог и волнений, делали вид, что ничего особенного не должно случиться. Молчали об этом даже Поля и Егор Александрович. Она молчала потому, что она не хотела верить в возможность его близкой женитьбы, отдавшись всецело страстному чувству, охватившему ее, и махнув рукой на все остальное. Она уверяла даже сама себя, что все слухи о женитьбе Егора Александровича пустяки, так как он первый сказал бы ей об этом. Она была убеждена или старалась убедить себя в этом. Он же молчал потому, что ему неловко было сказать ей правду. Мягкий и добрый по натуре, мечтатель и идеалист, живший в мире книг, он боялся чисто по-женски всяких потрясающих сцен, а потрясающие сцены — он это предвидел — непременно должны были произойти, как только он объявит Поле о своей женитьбе. Могла ли она принять спокойно известие о его женитьбе? Она разрыдается, будет умолять его не жениться, придет в отчаяние, наложит на себя руки! Ему хотелось отдалить минуту этого объяснения, придумать средства успокоить бедную девушку, любившую его так беспредельно, так страстно. Он был для нее идолом, божеством. Она не могла наглядеться на него. Каждое его желание было для нее законом. Скромная, стыдливая, чистая, она не останавливалась ни перед чем, чтобы наслаждаться его любовью, чтобы пробыть лишнюю минуту с ним...

А время между тем шло. Настал день обеда у Алексея Ивановича, где Егор Александрович должен был сойтись поближе с Марьей Николаевной Протасовой.

Не без тяжелого чувства поехал Мухортов на этот обед — на смотрины невесты. Всю дорогу он презрительно подшучивал над этим оригинальным в его положении сватовством, но на душе у него было далеко не спокойно. Ему было не то гадко идти на такую сделку, не то досадно на свое безвыходное положение. Не без горечи иногда он спрашивал себя в душе:

«Ну, а вдруг сорвется? Вдруг она, эта мужичка, не соблаговолит принять мое предложение?» Он ощущал к ней что-то вроде ненависти, хотя еще почти вовсе не знал ее. Эти чувства накипали еще сильнее под плаксивые, томные замечания вечно бестактной матери о том, что он должен постараться понравиться, что он должен быть любезным. Эти фразы раздражали его, точно кто-то давал ему щелчок за щелчком.

Мухортовы приехали на обед к Алексею Ивановичу первыми; их встретили жена, дочери и сын хозяина. С первых же слов Егор Александрович угадал, что вся семья отлично знает о цели этого обеда, и почувствовал себя еще более неловко. Семья Алексея Ивановича (его жена Антонида Павловна, его сын Павел, его дочери Люба и Зина) была такою же откормленною и беззаботною, как он сам; все эти жирные, довольные судьбой, практичные люди, казалось, сожалели Егора Александровича за то, что он очутился в незавидном положении, и душевно, с добродушием сытых людей, желали ему помочь. Его же бесило их сытое довольство и их непрошеное участие; он, как капризный ребенок, злился даже на то, что вся семья дяди звала его, Егора Александровича, Егорашей, точно в этой кличке было что-то оскорбительное для него. Ему нужно было вооружиться всей своей светской сдержанностью, чтобы быть покойным и невозмутимым по виду. Наконец, приехала и невеста. Она приехала по обыкновению с одной из своих теток, Ольгой Евгениевной Ададуровой. Егор Александрович, представленный дядею дамам, быстро окинул их глазами. Марья Николаевна, как ему показалось, еще более похорошела за последний год; но ему сразу бросились теперь в глаза ее несколько резкие манеры и странный тон, слишком развязный для салона. Ольга Евгениевна была сухая, сморщенная, но густо накрашенная, напоминавшая издали рождественскую маску, старуха, с тупым выражением лица, с нестерпимой привычкой переспрашивать, вследствие легкой глухоты, каждую фразу. Ее Егор Александрович узнал сразу, хотя не видал давно. Ему показалось даже, что он еще в детстве видел ее красное платье с белыми широкими полосами, широко расходившееся в стороны на громадном кринолине. С первых же слов, когда все уселись на террасе, она, лорнируя

Егора Александровича, стала расспрашивать его, вертятся ли в Петербурге столы? Он с недоумением взглянул на нее, не зная, что ответить.

— Да вы сами-то разве в спиритизм не верите? — спрашивала Ольга Евгениевна и тотчас же сухим, наставительным тоном обратилась к Софье Петровне: — Это все нигилизм. Мари тоже не верит. А как же не верить?.. В Петербурге дочери священника Чудакова какой хотите стол заставят вертеться.

— Вероятно, сильные барышни! — с усмешкой заметил Егор Александрович.

— Как вы сказали? — спросила Ададурова, продолжая бесцеремонно рассматривать его в лорнет, как вещь.— Сильные барышни? Вовсе не остроумно! Тут не сила, а вера нужна. Без веры ничего нельзя сделать... И стуки у Чудаковых в доме такие, что раз сам отец Николай... Вы отца Николая знаете?

— Не имею чести...

— Что вы сказали? Не имеете чести знать? Очень, очень жаль! Таких людей отыскивать надо молодым людям, учиться у них надо! Всем теперь ясно, до чего нас довело нынешнее безверие... Отец Николай — почтенный человек, ученый; трактат теперь пишет, в каком виде будет загробная жизнь и как мы там будем жить. Три тома уже написал... Так вот, вышел он раз утром в столовую и говорит дочерям: «Вы там, как хотите, а чтобы по ночам у меня этих духов не слышно было; я не потерплю...»

Егор Александрович уловил резкое нетерпеливое движение Марьи Николаевны, стоявшей в стороне с дочерьми Алексея Ивановича. В ее глазах сверкнул гнев. До его слуха ясно долетели слова:

— Любовников, верно, по ночам принимали!..

Он встал, подошел к группе барышень, обратился к Протасовой и любезно заговорил с нею.

— Это черт знает, что такое! — раздражительно сказала она с первых же слов.— Во всякую ерунду готовы верить. Выживут из ума и носятся со всякою чепухою...

Егор Александрович широко открыл глаза: девица была несколько чересчур энергична. Она развязно продолжала:

— Поневоле девушки будут рваться из дома, когда с одной стороны матушки и тетушки шамкают о

душах умерших, а батюшки и дядюшки высчитывают, сколько может дать барышей та или другая душа живых. Я иногда сама просто бежать готова да и...

Мухортов усмехнулся.

— Вам, я думаю, вырваться нетрудно,— заметил он.

— Ну, это смотря,— ответила она бойко и сделала презрительную гримасу.— Замужество? Ну, так за старикашку какого-нибудь я не пойду. За молокососа, если он влюбится в меня, как сумасшедший, тоже не выйду...

— Это почему? — невольно спросил Егор Александрович.

— Ах, это скучно! Он вечно и будет ходить, как тень, за моей юбкой. Брак должен давать полную свободу мужу и жене, а не стеснять их, как цепь каторжников.

Она проговорила это, как прилежные девочки отвечают отлично вызубренный урок.

По лицу Мухортова опять скользнула усмешка.

— То есть, он может идти направо, а она налево? — спросил он.

— Ну, да, если им так захочется! Муж и жена должны быть равноправными, а не крепостными друг у друга.

— У вас оригинальные взгляды на брак! — заметил он.

— Я знаю одно, что я бы не стеснила с этими взглядами мужа, ни ему не позволила бы стеснять себя,— ответила она.— Да я и никому не позволю себя стеснять...

Потом она обернулась к одной из дочерей Алексея Ивановича и спросила:

— А ваш плантатор куда скрылся?

— Папа?.. Он отправился на спичечную фабрику; там сейчас несчастие случилось: мальчик утонул; пошел за водой, вздумал выкупаться и утонул,— ответила старшая дочь Алексея Ивановича.

— Ах, пойдемте туда,— сказала Марья Николаевна.— Я давно хотела осмотреть вашу спичечную фабрику. Отец мне о ней говорил: «Нынче, говорит, всякая мерзость в руках ловкого человека доход дает».

Зина и Люба сконфуженно переглянулись между собой.

— Нет, Мари, туда неловко идти,— заметила Зина.— Там ужасный воздух и, кроме того...

Она наклонилась к Протасовой и что-то, смеясь, шепнула ей. Марья Николаевна захохотала.

— Скажите, чего боятся!

Она обратилась к Егору Александровичу:

— Стыдно, видите ли, что рабочие ходят чуть не голые.

Она пожала плечами.

— Развращенное у вас, как у институток, воображение! Мне это решительно все равно. Пойдемте, Егор Александрович, вдвоем, если они не идут.

Мухортов поспешно согласился. Его заинтересовала эта девушка. Бойкость, развязность, откровенность и даже разнузданность, все это сразу бросалось в глаза. Ему живо теперь вспомнилась черномазенькая Маша, к ужасу всех женщин лазавшая на деревья и скакавшая верхом на палочке. Ловко подобрав одной рукой платье, она пошла с Мухортовым скорыми, крупными шагами, в ногу с ним. Дорогой к фабрике она много болтала и, между прочим, заметила про барышень Мухортовых:

— И что это у них за стыдливость? Вот чего я никогда не знала! Ну, голый человек, так голый, пьяный, так пьяный, мерзавец, так мерзавец! А им вечно флер надо накидывать и на тело, и на нравственность.

— Да, но есть вещи, которых девушка не должна бы знать или видеть,— осторожно заметил он.

— Ну, это еще вопрос! Да дело не в том, так это или нет, а в том, что все всё и видят и знают, только одни в щелку подсматривают, а я открыто предпочитаю смотреть.

Она усмехнулась.

— Вы бы порылись в душах этих скромниц, послушали бы их разговоры между собою. Актрисы и притворщицы — вот и все! Прикрываются фиговыми листочками, чтобы никто не заметил, что за ними делается.

Когда они дошли до фабрики, Марья Николаевна смело вошла в мастерские, где работали почти без одежды дети и подростки, среди убийственной жаркой атмосферы. Фабрика походила скорее на скверно построенный сарай, чем на мастерскую. Протасова поговорила с рабочими, справилась, как что делается, во-

шла в самые мелочные подробности. Потом, выйдя из мастерских, она направилась к речке, на берегу которой лежало под рогожею тело утонувшего мальчугана. Она смело открыла рогожу, посмотрела на утопленника и спросила у сидевшего тут же и курившего коротенькую трубку мужика:

— Большая семья у него?

— Какая семья... пареньку двенадцать годков всего было,— ответил мужик.— Матка и отец есть... двое братьев и сестренка махонькая есть...

— Что же, бедные, верно?

— Нешто богатеи послали бы на фабрику? — ответил мужик.

Затем она начала расспрашивать, сколько рабочим платится на спичечной фабрике, с каких лет начинают работать, много ли умирает народу. Поговорив минут с пять с мужиком, она обернулась к Егору Александровичу:

— Выгодное дело это у Алексея Ивановича. Гроши затрачивает, а рубли собирает! Вот они наши американцы-то; куда ни обернись, везде у них Калифорния под руками. Быстро состояние составит...

— Чужим потом и кровью,— вставил Мухортов.

В нем все виденное им пробудило брезгливое чувство.

— А то как же иначе? Прежде оброками выбивал деньги, теперь работой! — ответила Протасова.

— Вас, по-видимому, это не возмущает? — спросил он.

Она расхохоталась.

— А вас разве возмущает? — задорно спросила она.

— Конечно! Это бесчеловечно,— начал он горячо.

Но она резко и грубо перебила его.

— А вы шампанское пьете и устриц едите? — спросила она.— И не возмущаетесь? Ведь деньги-то и на это из народа выбиты.

И, сделав презрительную гримасу, она добавила:

— Я, право, не понимаю, почему нравственнее жить на чужой счет, стараясь закрыть глаза, чем жить на чужой же счет, сознаваясь в этом. Я привыкла все называть настоящим именем; эксплоататор — так эксплоататор, вор — так вор!

Потом она с усмешкой прибавила:

— Вот ваши кузины в обморок бы здесь упали, а абонемента в итальянскую оперу все-таки потребовали бы от папаши. Ну, а я — в итальянскую оперу и я езжу, но я знаю, точно знаю, чем платится за абонемент, сколько Сидоров и Иванов должны идти ради этого по миру.

Егор Александрович никак не мог разобраться, чего больше в этой девушке: естественной прямоты или искусственного цинизма, придуманного или вычитанного. Он навел речь, нет ли у нее заветных планов относительно будущего; не думает ли она сделаться какой-нибудь благотворительницей, не мечтает ли о женском труде? Ему представилось, что перед ним стоит одна из так называемых «эмансипированных девиц» или из «quasi-нигилисток», вроде Кукшиной в зародыше.

— Благотворительность? — спросила она с изумлением, широко открыв свои черные глаза.— Это — та же кража рубля в одну сторону и раздача копеек в другую. Если бы было противоположное, то благотворители сами стали бы предметом благотворительности.

О женском труде она коротко заметила:

— Я же не нуждаюсь! Мне работать — это значит отбивать работу у бедных! Женщинам в моем положении остается только жить, то есть пользоваться удобствами жизни, наслаждаться, вот и все...

— И вы думаете, что это не наскучит? — спросил он.

— Вовсе не думаю!.. Я очень хорошо знаю, что эта жизнь в конце концов доводит до разных безумий; одни развращаются, другие делаются спиритками или ханжами, третьи подательницами грошей; даже пить начинают многие... Но ведь не раздать же мне все нищим, чтобы сделаться самой нищею?.. Разве только из-за желания сильных ощущений. К несчастью, я вперед знаю, что вышло бы из этого, и вовсе не желаю проделывать подобных экспериментов с собою...

По ее лицу вдруг скользнула тень.

— Теперь мне стоит клич кликнуть — и сотни людей будут у моих ног, а сделайся я нищей, все скажут...

Она вдруг рассмеялась с горькой иронией.

— Помните у Гейне:

Как несет чесноком от графини,
От m-me la comtesse Gouldefeld.

Молодые люди возвратились в дом Мухортовых к самому обеду.

Когда после обеда дядя Алексей Иванович отвел в сторону племянника и спросил его:

— Ну, как она тебе показалась?

Егор Александрович засмеялся.

— Дикая кобылица какая-то! — ответил он с несвойственною ему грубостью.

Алексей Иванович даже руками развел.

— Ты что же это... Вот выдумал!.. Наутек, что ли, хочешь, Егорушка?

— Нет, дядя, сватайте! Она хоть прямо говорит, что стеснять мужа не будет...

Он нервно шутил и смеялся, а в его душе была какая-то тревога и горечь. Он сознавал, что эта девушка способна сказать ему прямо и дерзко: «Сколько вы хотите содрать с моего отца, взяв меня за себя?» От нее можно было этого ждать, и хуже всего было то, что он, Мухортов, не сумеет, не может ничего ответить на этот вопрос. Да, он точно готов жениться на ней, чтобы содрать с ее отца тысяч сто или больше на поправку имения.

Вернувшись домой, он хотел объясниться с Полей, поговорить с нею о своей невесте, громко насмеяться над последней, уверить Полю, что он никогда не полюбит эту девушку. Но явилась Поля, и вместо объяснений посыпались поцелуи. Мухортову хотелось скорей забыть, что он готовится продать себя...

III

Вопрос о женитьбе Мухортова особенно сильно заволновал всех, когда был назначен обед в мухортовском доме для Протасовых. В этот день вдруг точно прорвалась какая-то плотина и всем, начиная с Агафьи Прохоровны, стало ясно, что Мухортов женится, и на ком женится. В доме шли необычайные приготовления к приему гостей. Даже сама Софья Петровна, всегда невозмутимо спокойная в подобных случаях, немало волновалась и заботилась, чтобы ни-

что не было забыто. Уже утром, сидя с сыном в столовой за чаем, она несколько раз обращалась к слугам то с тем, то с другим приказанием.

— Прокофий, скажи Грише, чтобы он непременно ожидал у ворот,— говорила она, обращаясь к старому дворецкому.— Как завидит гостей, пусть тотчас же доложит мне, чтоб не заставить ждать; а то вы все здесь разбредетесь, вас не дозваться.

— Слушаю-с,— степенно ответил Прокофий.

— Да ты сейчас же поди и накажи Грише, а то забудешь. Память-то тебе нынче изменяет...

Прокофий вышел.

— Ты, Елена, посылала в город за фруктами? — обратилась генеральша к Елене Никитишне.

— Все привезено,— ответила старуха.

Мухортова вздохнула и обратилась к сыну:

— Вот Алексис упрекает, что на оранжереи тратимся. А какие у нас теперь оранжереи? Прежде все фрукты свои были, а теперь...

Потом она опять что-то вспомнила и обратилась к Елене Никитишне:

— Пожалуйста, Елена, присмотри, чтобы у всех были свежие перчатки. Прокофий совсем из ума выживает; в прошлое воскресенье бог знает в каких перчатках служил у стола, точно из трубы вынул, и все пальцы развороченные... Хорошо еще, что свои только были за обедом.

— Стар, совсем стар становится! — проговорила Елена Никитишна.

Егор Александрович горько усмехнулся.

— Я тебя впервые вижу такой взволнованной,— заметил он матери по-французски.— Точно царей ждем к обеду...

— Ах, Жорж, мы переживаем такие решительные минуты! — с грустью и пафосом ответила она, закидывая голову назад.— Надо сделать все, чтобы это знакомство кончилось победой. Алексис еще раз вчера повторил мне, что мы на краю пропасти. Это ужасно!

Она на минуту закрыла рукой глаза, точно стараясь не видеть разверстой перед нею пропасти.

— Конечно, я уверена, что ты, если захочешь, одержишь победу. А все же как-то жутко. Алексис меня так запугал в последнее время, что мне все мерещатся какие-то ужасы. Сны даже страшные вижу... право!

Она взглянула на часы и испугалась: было уже одиннадцать часов, а на ней был еще надет утренний наряд. Ей нужно одеваться. У нее процесс одевания занимал всегда так много времени. Она встала и пошла поцеловать в голову сына.

— Бедный мой мальчик, я знаю, что и тебе нелегко,— сказала она томным голосом.

Он ничего не ответил, тоже поднявшись с места и выходя из столовой. Какое-то враждебное чувство против матери шевелилось в его душе.

В столовой продолжался звон посуды. Елена Никитишна заставляла при себе перебрать все парадное серебро и хрусталь, чтобы убедиться в их чистоте. Потом она также тщательно освидетельствовала столовое белье. Пересматривая все, она в то же время перебрасывалась отрывочными фразами с приходившей и уходившей прислугой. На минуту в столовую забежал Гриша.

— Ты это что? Тебе приказано у ворот ждать? — сказала Елена Никитишна.

— Да я услышу, крестная! — ответил он.

— Ступай! ступай!

— А кого ждут-то?

— А вот приедут — увидишь!

— Важных господ?

— Ах, ты, постреленок! Говорят тебе: иди!

— Агафья Прохоровна говорит...

— Брысь, каналья!

Гриша скрылся.

— Видно, сегодня решать будут,— со вздохом обратилась Елена Никитишна к Прокофию.

— Что это решать? — спросил Прокофий.

— Сам-то не понял?.. Женить хотят Егора Александровича на Протасовой... Тоже нашли партию... Дед-то ее на моих глазах кабак содержал... Егору-то Александровичу не хочется, да женят... Дела-то уж очень плохи стали... Ну, смотри ты, старый, какие ты стаканы в буфет поставил?.. Ах, право, в хлеву бы вас держать... На, перетри!..

Она вынула несколько немытых стаканов и отставила их в сторону, придвинув к Прокофию.

— Вот как-то только они нашу Полю пристроят? — со вздохом сказала она.

— Бить бы ее надо; косу выдрать, вот что! — сурово заметил Прокофий, порывисто перетирая стаканы.

— Дурак неотесанный, так дурак и есть! Пользы-то что за косу таскать? Красоты от этого ей, что ли, прибавится?.. Не доглядели, так уж теперь не воротишь!..

На минуту разговор оборвался. Прокофий сосредоточенно тер стаканы, ворча себе под нос: «Ишь, проклятые, как испакостились, не ототрешь!» Елена Никитишна углубилась в пересмотр белья.

— Конечно, теперь Поле, может быть, и приданое, и все такое дадут,— продолжала Елена Никитишна.— Так-то тоже ничего бы не дали...

— Ишь чему обрадовалась! — проворчал Прокофий.— Стыда-то нет. Одной ногой в гробу стоишь, а такие речи говоришь!

— О, типун тебе на язык! Сам на ладан дышит, а других хоронит!..— отплюнулась Елена Никитишна.— И какие я такие речи говорю? Ну, забаловалась девка, так этого не вернешь... Надо думать, как ее пристроить...

— Пристроишь! — отозвался сердито Прокофий.

— Впервые у нас, что ли?

— Сама-то гуляла, так и другим потакаешь!

— Тьфу ты, тьфу! Пес старый! — обозлилась Елена Никитишна.— Нашел чем меня попрекать! Я, может быть, слезьми обливалась, когда меня на грех-то силой повели... Вы-то все только радовались тогда, потому через меня в люди вылезли... А теперь попрекать!.. На себя обернулся бы... Ты-то тоже знал, чай, кого брал...

Прокофий, в свою очередь, отплюнулся.

— С тобой не сговоришь! Покойницу в гробу, и ту не забыла...

— На твои же речи, дурак, отвечаю...

В эту минуту в комнату неторопливо вошел человек в черном фраке, в белом галстуке, с бакенбардами в виде котлет. Это был Данило Николаевич Волков, камердинер Егора Александровича. Сразу трудно было решить — лакей это или чиновник; степенность, сдержанность, солидность, внешняя порядочность, все это сразу бросалось в нем в глаза. Ему было лет двадцать восемь, хотя он смотрел гораздо старше своих лет. Лакейская жизнь не молодит, а он

служил в лакеях с семнадцати лет. На его затылке уже виднелся зачаток плеши с медный пятак величиною.

— Прокофий Данилович, вас Егор Александрович зовут,— сказал он, обращаясь к Прокофию, и потом обратился к Елене Никитишне: — Выдайте шоколад, повар просил передать, что для мороженого нужно, да поскорей просил...

— Не горит, подождет! — ответила сухо Елена Никитишна.— До обеда-то еще далеко.

Данило Николаевич переминался с ноги на ногу, не решаясь, по-видимому, о чем-то заговорить.

— Правда это, Елена Никитишна, что я слышал? — начал он.— Конечно, это Агафья Прохоровна болтает, а все же... Говорят, что Егор Александрович женится на Марье Николаевне Протасовой.

— А тебе-то что? — спросила Елена Никитишна, пытливо взглянув ему в лицо.

Он, подняв брови, сделал совсем скромную мину невинной овцы.

— Так-с... Мне что же! — ответил он и еще осторожнее и смиреннее прибавил: — Я только потому, что как же тогда Пелагея Прокофьевна?

Елена Никитишна даже оставила разборку столового белья и скрестила около тальи руки.

— А Пелагея Прокофьевна тут при чем же? — сурово спросила она, и ее глаза сверкнули угрозой.

Но Волков выдержал ее взгляд и со вздохом заметил:

— Что же, шила в мешке не утаишь...

И тотчас же прибавил:

— И зачем это такую, с позволения сказать, сволочь генеральша допускает в дом, как эта Агафья Прохоровна или эта мать Софрония... И невинного человека этакие аспиды замарают, а не то, что... Тут уж, конечно, и со стороны видно...

Елена Никитишна презрительно усмехнулась.

— Ишь, какие глазастые выискались!.. А видишь, так и молчи...

— Это точно-с,— скромно согласился Данило.— Только жаль девицу... Такая, можно сказать, красавица и кротости...

Елена Никитишна еще презрительнее сверху вниз взглянула на него и спросила насмешливым тоном:

— Жениться, что ли, из жалости хочешь?

— Отчего же бы и не жениться? — почти радостно воскликнул лакей.

Елена Никитишна покачала головой.

— Губа-то, видно, не дура!..

Потом, отвертываясь от него, она проворчала:

— Нет, за такую-то невесту покланяться нужно...

— И покланялся бы,— начал Данило.

Но она перебила его:

— Ну, ну, бери шоколад! Сам торопил, а теперь лясы точишь... Ступай.

Она говорила грубо, как привыкшая властвовать барыня с слугой. Волков взял плитки шоколаду и вышел. Его слова сильно взволновали Елену Никитишну, точно он открыл ей нечто новое. Продолжая рыться в буфете, она с порывистыми движениями ворчала про себя:

«Выискался какой! Губа-то, видно, точно не дура, язык не лопатка, знают, где сладко! Я бы не прочь жениться! Что и говорить: кусок лакомый! Софья Петровна и Егор Александрович Полю не оставят, приданое дадут, мужа пристроят. Кому это не лестно. А Данилке чего лучше! Так бы сейчас в купцы и полез. Скаред человек! Уж теперь, ничего не видя в холопском своем звании, на проценты деньги господам дает. Четвертную займут, две возвращают. Жоха! Далеко пойдет».

На минуту она перестала перебирать вещи и с видом усталости присела, подперев голову рукой. Какая-то новая мысль вертелась в ее голове.

«В самом деле, как это никому нам в голову не приходило, что за Данилу можно выдать Полю? Не за чиновника же ее выдать? — Да с чиновником и нужды натерпится, знаем мы эту дрянь; а Данило копейку сбережет, Поле-то только он по сердцу не придется. Ну, да и то сказать: кто ей теперь по сердцу будет, когда она от Егора Александровича в омрачении находится? Сердце-то у нее горячее, а рассудку нет. Обезумела совсем!»

Елену Никитишну неожиданно вывел из раздумья голос Поли. Молодая девушка, бледная, как полотно, пугливо озираясь, поспешно вошла в столовую и прямо обратилась к тетке:

— Тетушка, голубушка, вы здесь?.. Что я сейчас слышала от Агафьи Прохоровны и от Данилы... Ведь это неправда?..

— Что ты, что ты?.. Что слышала-то? — отрывисто проговорила Елена Никитишна, испуганная внезапным появлением племянницы и выражением ее лица.

— Да вот они говорят... будто Егор Александрович женится... что...

— Ну?

— Что эта самая Протасова и есть его невеста?

— Ну, да, женится,— ответила Елена Никитишна.— Тебе-то что?.. Ох, девка, девка, совсем ты ошалела!.. Понятиев лишилась... Ведь не на тебе же ему жениться... Вот то-то...

Поля страстно перебила тетку:

— Знаю, что не на мне!.. Да ведь он ее не любит!.. Какое же это счастье будет, если не любит?..

— А ты почему знаешь, что не любит? Может, и любит!

— Разве я не понимаю! Двух разом не любят... Уж это никогда!.. Да нет, может, это они со злобы... Не может этого быть... Навек он себя несчастным сделает...

Елена Никитишна рассердилась.

— Ах, дура, дура! Нашла о чем убиваться! Ты о себе-то думай! Надурила, так...

— Что я!.. Мне уж о себе нечего думать! Загубила себя... не воротишь... Мне умереть бы, если он...

— А ты не дури!.. Умереть-то еще успеешь, а пока жива, думай, как жить... Вот пристроим, замуж выдадим!

— Что вы, что вы, тетушка! — с ужасом воскликнула Поля, замахав руками.— Как замуж? Нет, уж не замужница я... Вы мне только скажите, слышали ли вы сами, что точно...

Елена Никитишна хотела что-то ответить и вдруг шепотом проговорила:

— Молчи... Сам Егор Александрович идет... Уходи!..

Действительно, с террасы в столовую входил Егор Александрович. Он обратился к Елене Никитишне.

— Елена Никитишна, вас maman зовет...

Потом, заметив Полю, он не без удивления сказал:

— И ты здесь?

Елена Никитишна заперла буфетный шкап и направилась на половину Софьи Петровны.

Молодые люди остались вдвоем. Поля старалась скрыть свое смущение, свои заплаканные глаза.

— Что с тобой? — спросил Егор Александрович, не без тревоги.— Ты на себя не похожа!..

— Я?.. Нет... Это так,— ответила отрывисто Поля.

— Как *так?* Ты не здорова?

Он подошел к ней поближе. Она бросилась к нему.

— Егор Александрович... дорогой мой... скажите, скажите... ведь это неправда? — порывисто спросила она, хватая его за руки.

— Что? — в волнении спросил он и тотчас же понял, что ей все известно.— А, тебе уже успели рассказать! Что же делать, Поля!.. Ты понимаешь, я не могу теперь на тебе жениться... Но верь...

Она страстно перебила его:

— Голубчик вы мой, я не о том!.. И в мыслях этого не было!.. Вот вам крест!.. Разве я не понимаю. Но как же на ней, на Протасовой... Вы ее не знаете...

— Что делать, Поля,— перебил он ее, в свою очередь.— Необходимость заставляет... она богата...

— Да разве в деньгах счастье?.. Не будете вы с ней счастливы... сгубит она вас.

— Милая, ты все обо мне... Ты-то как...

— Я что! Вы обо мне не думайте... Себя вы поберегите, добрый вы мой, хороший вы мой... Душу бы я за вас отдала, на все бы пошла.

Она покрыла поцелуями его руки. Он хотел ее обнять, расцеловать и боялся.

— Полно, полно, не волнуйся,— сказал он в смущении.— Мне надо идти... Сюда еще войдут, пожалуй... После... вечером приходи, когда уедут...

— Да вы не соглашайтесь!.. Бог с ней и с ее деньгами! — говорила Поля.— Успеете еще... найдете другую... За вас всякая пойдет... Будь у меня миллионы, я бы за вас пошла... Кажется, все, все отдала бы...

— Ну, после, после поговорим... Обоим нам не сладко...

Он торопился уйти от нее. Ему было страшно, что их могут застать здесь вдвоем.

Поля опустилась на стул, закрыв лицо руками. Она забыла, что здесь было не место плакать. Не прошло десяти минут, как в столовую снова завернул Данило Волков.

— Прокофий Данилович... Елена Никитишна,— проговорил он с порога и, точно удивляясь их отсутствию, прибавил: — Да где же они? Все разбежались... А это вы, Пелагея Прокофьевна... Что это: плакать изволили? Да, да, все о том же... Вот дела-то какие вышли... Да вы не тужите!.. Замуж еще выйдете... Кажется, если бы вы мне словечко одно сказали, я бы... в огонь и в воду...

Молодая девушка порывисто встала. Ее лицо теперь выражало гнев и презрение.

— Да я лучше петлю на шею надела бы! — воскликнула она, быстро проходя мимо Волкова к выходу.

В его глазах сверкнула злоба.

— Ну, петлю-то успеешь еще надеть, а прежде замуж вот за меня выйди,— проговорил он с иронией.— Другого такого-то случая я в десять лет не дождусь, а она — петлю на шею!.. После давись сколько угодно, когда замуж выйдешь...

По его лицу скользнула недобрая, циничная усмешка...

IV

Нетерпеливо ожидаемые гости уже съехались к Мухортовым. Софья Петровна в качестве светской женщины умевшая вообще быть любезною хозяйкой, на этот раз, казалось, старалась превзойти себя. Она заметила Марье Николаевне Протасовой, что та «сегодня просто очаровательна»; она дала обещание Ольге Евгениевне попробовать повертеть с нею столы; она кидала умоляющие взгляды на сына, чтобы побудить его начать атаку богатой невесты. Алексей Иванович Мухортов, его жена и дети, в свою очередь, делали все зависящее от них, чтобы внести в общество оживление и в то же время оставить как-нибудь Егора Александровича одного с Марьей Николаевной. Им очень хотелось, по доброте душевной, спасти

и пристроить «Егорушку». Вся семья считала его «таким глупеньким», так как он вечно только книжки читал. В то же время они искренно любили его за доброту.

Позже всех приехал Протасов. Это был высокий, державшийся очень прямо, еще не старый мужчина с серьезным и холодным лицом. Он, видимо, старался казаться англичанином — это проглядывало в покрое его одежды, в его прическе, в его рассчитанно-сдержанных манерах. С первых же слов он ввернул фразу: «в бытность мою в Лондоне», и потом много и дельно говорил о коммерческом гении Англии. Англия, где он случайно провел лучшие годы ранней юности,— почти детства,— была его коньком.

Обед прошел довольно оживленно и весело, так как все Мухортовы наперерыв старались показать, что в их семье все люди «добрые малые». Это был своего рода подкуп. Как только кончился обед, Протасов обратился к Алексею Ивановичу, напомнив, что последний хотел показать какие-то новые машины Мухортовых. Алексей Иванович начал объяснять чуть ли не в сотый раз Протасову, что Мухортово, в сущности, золотое дно, но что для «постановки» его нужно затратить не один десяток тысяч. Поясняя это, Алексей Иванович имел в виду еще раз доказать Протасову, что сделка, то есть брак молодых людей, представляет выгоды для обеих сторон: Протасов даст деньги, Мухортовы поднимут имение. Кроме того, для Протасова имела, конечно, еще большее значение и родственная связь Мухортовых «с дядей Жаком». От «дяди Жака» в значительной степени зависели все коммерческие предприятия Протасова. Старики всесторонне и осмотрительно обсуждали этот вопрос, как будто дело и точно шло не о женитьбе, а о денежной сделке — и только. Жена Алексея Ивановича, Софья Петровна, и Ольга Евгениевна тотчас же после обеда уселись играть в карты. Сын и дочери Алексея Ивановича вдруг куда-то ускользнули, и Егор Александрович волей-неволей очутился с глазу на глаз с Марьей Николаевной. Ему нужно было быть любезным с молодой девушкой и «подвинуть дело вперед». Это было не особенно легко сделать на этот раз. Марья Николаевна явилась с отцом к Мухортовым в таком настроении, что Егор Александро-

вич сразу вспомнил о том, что эта девушка иногда уходит, как улитка, в свою раковину. Это настроение было заметно не только по выражению ее лица, по ее вялым манерам, но даже и по тому, что она, несмотря на теплый весенний день, куталась в наброшенный на ее плечи тонкий оренбургский платок, точно ее знобило.

— Вам сегодня, кажется, нездоровится? — спросил ее Мухортов, когда они остались вдвоем.

— Мне?.. Нет! — рассеянно ответила она.— Холодно что-то... Это со мной часто бывает... Станет вдруг так скверно на душе, тоскливо... а потом дрожь начинает пробирать... С вами этого не случается?

— Нет.

Они помолчали.

— Пройдемтесь по саду,— предложил Егор Александрович.

Она лениво и апатично поднялась с места и пошла с ним.

— Это с вами и в детстве случалось,— сказал он.— Вы часто у нас то резвились не в меру, то вдруг как-то съеживались, уходили в себя...

Она бросила на него мимолетный взгляд.

— Вы разве это еще помните?— спросила она не без удивления.

— О, как же! — поспешно сказал он и прибавил: — Воспоминание о вас живо сохранилось в моей памяти...

Она грустно остановила его:

— Полноте!.. Зачем фразы! Ни в ком я не оставила живых воспоминаний...

Он хотел что-то возразить, но она прибавила:

— Я слышала от Павлика, Зины и Любы, что вы мягкий и добрый человек, но это вовсе не обязывает вас помнить о девочке, которая только тем и была замечательна, что ее считали mal élevée, да называли жалкою...

Он не нашел, что ответить ей; его поразил ее глубоко грустный тон, хватавший за сердце. Они прошли несколько времени молча. Она заговорила первая.

— Как тяжело сознавать с самого детства свое одиночество, свою отчужденность,— проговорила она.— Я никогда никого не любила и всегда чувствовала, что никто не любит меня. Иногда забудешь это

и являешься какой-то дико бесшабашной, а потом опять вспомнится это, и съежишься, уйдешь в себя, пробирает дрожь... Расти без любящей матери — это истинное несчастие для человека... особенно для девушки...

— Но как же вы говорите, что вас никто не любил? — сказал Мухортов.— У вас были отец, тетки, подруги...

Она нетерпеливо пожала плечами.

— Отец — делец; он, может быть, любил бы сына, но меня, дочь,— он почти не обращал на меня внимания; тетки — они, кажется, родились с поврежденными мозгами; подруги же, которых мне давали отец, стремившийся в высший круг, и тетки, не забывшие, что они принадлежат к потомкам хоть и захудалого, но все же древнего рода,— разве эти подруги могли любить дурно воспитанную девочку?..

Она усмехнулась.

— У меня, правда, есть одна подруга, которую я люблю и которая меня любит, но, к несчастию, с ней о многом нельзя говорить; она многого не понимает...

— Кто же это?

— Дочь моей кормилицы, бывшей потом у нас коровницей... Я в детстве любила бегать смотреть, как доят коров, и пить парное молоко... Здесь я познакомилась с дочерью мамки... Она двумя годами старше меня... мы с ней и теперь дружны... Это единственный человек, любящий меня... она и ее сынишко, мой крестник... Она уже три года как замужем...

— Да, это грустно,— сказал Мухортов.— Но ваша жизнь впереди... вы еще полюбите... выйдете замуж...

Он в смущении оборвал речь, казалось, он и сам испугался своих слов, и испугал ими свою собеседницу. По ее лицу скользнула горькая усмешка.

— Замужество в моем положении не что иное, как простая сделка,— ответила она просто.— Я выгодная невеста.

Мухортова точно кольнуло в сердце. Он заметил горячо:

— Так нельзя смотреть! Разве вы не можете полюбить, разве вас не могут полюбить? Если смотреть с вашей точки зрения, то нельзя и верить.

— Я и не верю,— ответила она сухо.

Он растерялся. Для чего это она говорит? Или она поняла его намерение и хочет сразу прекратить всякие искательства с его стороны? Значит, все кончено? сорвалось? Ему было стыдно. Он не привык играть унизительные роли. Они шли и молчали. Это молчание становилось тягостным. Она опять заговорила первая.

— И что хуже, что обиднее всего,— сказала она, и в тоне ее послышались и горечь, и презрение,— так это то, что те, которые сватаются за меня, даже не доставят себе труда сделать так, чтобы я поверила им... Им даже этого не нужно: им нужно взять приданое, а люблю ли я их, доверяю ли я им — им все равно... У меня ведь много уже было женихов: увидит человек раз или два и идет к отцу просить моей руки... Еще счастие, что отец дал мне, наконец, полную свободу...

Мухортов испытывал нечто такое, как будто ему давал кто-то пощечину за пощечиной. Он был бледен и серьезен.

— Вы знаете, я ведь уходила от него,— продолжала она.— Шесть месяцев прожила в углу у своей Марфуши... Сделала скандал на весь уезд... Отец не выдержал и сдался.

Она усмехнулась.

— Напрасно поторопился... сама бы пришла с повинною... Я ведь все же белоручка, и крестьянский труд не под силу мне... Вон жать пробовала, так чуть руку не отрезала...

Она подняла свою тонкую, прекрасную руку и указала на белый шрам.

— Где уж нам бороться с нищетой! — со вздохом сказала она.

Они медленно возвращались к террасе. Когда послышались их шаги на ступенях террасы, все присутствующие обернулись с сияющими и вопросительными лицами к молодым людям, прервав оживленный разговор о том, что имение Мухортовых превосходно и может дать при хорошем хозяйстве отличные доходы, и о том, что дядя Жак все может сделать, что захочет, а он захочет сделать все, о чем его попросит Софья Петровна. Этот оживленный разговор, сопровождаемый веселым смехом, прямо приводил к тому, что сделка выгодна для обеих сторон и долж-

на состояться непременно, если только молодые люди пойдут на нее, а что они пойдут на нее — в этом никто не сомневался. Недаром же они так долго загулялись с глазу на глаз. И все точно окаменели, увидав этих приближавшихся к их группе молодых людей: впереди шла Марья Николаевна с побледневшим лицом, с грустно опущенными вниз глазами, кутаясь в свой платок; за нею шел медленными шагами Егор Александрович, также бледный и необычайно серьезный, почти суровый. Софья Петровна пугливо взглянула на Алексея Ивановича; тот передернул плечами.

— А мы вас искали, искали! — заговорили барышни Мухортовы, подбегая к Протасовой.

— Да? — каким-то странным тоном спросила она.— Зачем же?

— Да как же, скрылись вдвоем...

— И вам стало страшно за меня? — спросила с иронией Протасова.

Алексей Иванович между тем сорвался с места и, забыв всякие приличия, уже шепотом расспрашивал Егора Александровича:

— Ну, что, что?

— Нужно быть подлецом, чтобы просить ее руки! — ответил коротко Егор Александрович.

Толстяк в изумлении развел руками...

Третья глава

I

Стояла душистая, тихая и беззвучная весенняя ночь. Мухортовский сад был весь залит лунным светом. На террасу правого флигеля отворилась дверь, и лунный свет озарил две фигуры. Это были Егор Александрович и Поля. Он был в белом кителе, она в светло-сером платье. Они ярко выделялись среди зелени расставленных на террасе растений, стоя в отворенных дверях, как в раме, окруженные золотистым фоном освещенной комнаты Мухортова. Послышался страстный шепот прощания.

— Милый, дорогой мой, так не женитесь? Не женитесь на ней?

— Нет, нет, я же сказал тебе.

— И меня не бросите?

— Поля! Как тебе не грех!

— Знаю, знаю!..

Она порывисто обвила в последний раз его руками, горячо поцеловала его и скользнула неслышными торопливыми шагами с ступеней террасы. Он постоял с минуту, смотря, как мелькало ее светлое платье среди деревьев, потом вздохнул и вошел в комнату. Он запер дверь, прошел в раздумье по кабинету и остановился перед письменным столом. Здесь стоял акварельный портрет старика с развевавшимися в стороны седыми волосами, с воспаленными старческими глазами. Всматриваясь в этот портрет, Егор Александрович становился все грустнее и грустнее. Этот старик был единственным человеком, знавшим душу Мухортова. Впервые теперь Егор Александрович почувствовал, что он одинок, вполне одинок. Одиноким он был везде и всегда: в обществе матери, в кругу товарищей, даже на свиданиях с только что ушедшей девушкой. Он задумался о ней. Что она давала ему? Ласки, поцелуи, страстные наслаждения, и только! Ее не интересовал его душевный мир, так как она его не понимала; его не заинтересовали бы, вероятно, ее интересы, если бы они были у нее, но у нее их вовсе не было, так как она вся жила одной любовью к нему, к Егору Александровичу. Невольно в памяти Мухортова воскресло прошлое...

Нечто странное, небывалое совершилось в его душе. Еще несколько дней тому назад он думал о своей женитьбе «по расчету» на почти незнакомой ему девушке с брезгливостью, но и только. Ему гадко было сознаться, что он должен жениться на первой встречной ради поправления своего материального положения, но тем не менее он готов был идти на эту сделку как на нечто неизбежное. Он не задумался даже о том, насколько счастлива будет избранная им девушка. И стоило ли об этом думать? Десятки молодых людей из его круга женятся так, и их жены счастливы. В подобных браках никто не видит ничего выходящего из ряду вон, ничего чудовищного. И вдруг, когда все окружающие его, Егора Александ-

ровича, были убеждены, что ему стоит сделать шаг, и все будет кончено, с его языка сорвалась фраза: «Нужно быть подлецом, чтобы сделать ей предложение». Почему? Он сам не сознавал этого, когда произнес эту фразу. Она не была плодом серьезного размышления, плодом определенного убеждения; она сорвалась у него с языка под влиянием какого-то смутного ощущения стыда за свое намерение; этот стыд был вызван первой откровенной беседой с этой девушкой. Егор Александрович впервые почувствовал, что есть люди, перед которыми стыдно лгать. Ему теперь казалось, что если бы он стал лгать перед Протасовой, то ему было бы больно, физически больно; эту боль он испытывал теперь при одной мысли о необходимости лгать. Это было странное, непонятное для него ощущение, но оно было в нем. В его воображении рисовалась теперь ярко картина, как он пришел бы просить руки Протасовой, как он стал бы говорить о своей любви, как вспыхнуло бы от стыда его лицо, а она — она, сознавая, что он лжет, взглянула бы на него с болезненным упреком. Он уже подметил этот взгляд, полный грусти и горечи, когда он попробовал сказать ей, что помнит ее еще ребенком. Он покраснел и смутился от этого взгляда; еще больше смутился бы он, когда пришлось бы настойчиво лгать о своей любви. Но Протасова не ограничилась бы одним этим взглядом, она прямо сказала бы ему: «Вы ведь вовсе не любите меня!» О, тут можно провалиться сквозь землю. Нет, никогда, никогда он не сделает подобного шага; хотя бы пришлось умереть с голоду...

Умереть с голоду... Впервые Мухортов взглянул вполне серьезно на свое положение, и на него напал панический страх. До этого времени он жил, как тысячи разных матушкиных сынков: в доме шла широкая жизнь, мать и сестры, дяди и тетки, кузены и кузины, все сорили деньгами направо и налево, не подводя итогов, черпая пригоршнями деньги из неиссякаемого источника всяких благ — из имений: случался неурожай — в имение писалось о продаже леса; недоставало и этого — имение закладывалось; проедалась ссуда — имение закладывалось во вторые руки. Известие о том, что неиссякаемый источник иссяк — было совершенной неожиданностью, каким-

то страшным сном, от которого хотелось пробудиться и со смехом увериться, что это невозможно в действительности. Теперь Егор Александрович уже понимал, что это не сон, что это страшный, неотразимый факт. Какое-то горькое чувство шевельнулось в его душе против матери. Она легкомысленно тратила деньги без счета и приучала сына к тому же мотовству. Правда, он не сделался таким мотом, каким он мог бы сделаться при такой системе воспитания, но тут мать была ни при чем, тут явился на помощь юноше случай. Два года у Егора Александровича болели глаза, так что ему почти нельзя было заниматься. Доктор, призванный к двенадцатилетнему ребенку, сказал: «О, эти глаза с поволокою прелестны, но очень опасно шутить с ними; мальчик до́лжен оставить на время ученье, иначе он может ослепнуть». Ученье было оставлено, и к мальчику был приставлен гувернер, долженствовавший, насколько возможно, развивать и учить ребенка, не давая ему в руки книг. С этой минуты начался новый фазис в развитии ребенка. Гувернер, старый швейцарец, стал много гулять с мальчуганом и еще больше читать ему вслух. Долгие прогулки посвящались серьезным беседам, объяснениям, ознакомлению с природой и людьми; долгие чтения открывали перед мальчиком новый мир человеческой мысли. Жером Гуро держался того убеждения, что для ребенка хорошо всякое великое произведение, если ребенок его хотя сколько-нибудь понимает, и потому читал мальчику не одни какие-нибудь сказки Перро или Робинзона, а познакомил его и с «Королем Лиром», и с «Макбетом», и с «Дон-Кихотом», и с «Разбойниками». На пятнадцатом году Жорж Мухортов был знаком серьезно и основательно со всем, что создали лучшего великие гении-писатели. Он их полюбил страстно, как можно любить только лучших друзей в лучшие годы жизни. Он бежал от шумных собраний к этим друзьям и к тому, кто познакомил его с этими друзьями, к старику с широкими красными руками, с слезящимися от избытка чувствительности и от старости глазами, с всклоченными седыми волосами, с небрежным туалетом — то с развязанным галстуком, то с запачканной нюхательным табаком манишкой, то с расстегнутыми пуговками у брюк. Софья Петровна начинала приходить

в ужас: ее Жорж не умел держать себя в обществе; ее Жорж был дикарем; ее Жорж был неряшлив. Надо было отпустить поскорей этого противного старикашку Гуро, выжившего из ума; надо было отдать Жоржа в кавалерийское училище, чтобы лошади заставили забыть разных философов, а верховая езда придала ловкость онемевшим среди сиденья за книгами членам. Егор Александрович живо помнил минуту прощания с Гуро. У старика дрожали губы, когда он стал говорить своему воспитаннику приготовленное накануне, как приготовляются проповеди пасторов, витиеватое прощальное слово, а по впалым щекам его медленно текли слезы, более красноречивые, чем слова.

— Ты умен,— говорил старик,— остроумен даже. Но, мой друг, сколько умных и остроумных людей были злодеями. Воспитай в себе добрые чувства и честность. Вот что всего нужнее в жизни для всякого, для простого смертного и для гения. Лучше бы не родиться гению, если он не любит человечества, если он не знает чувства чести. От ошибок не застрахован никто, но, сделав ошибку, старайся, по возможности, исправить ее и, главное, следи за собою зорко, чтобы не сделать сознательно злого и бесчестного дела...

По мере того, как старик говорил, губы его вздрагивали все сильнее и сильнее, слезы катились обильнее по щекам, наконец, он совсем потерял способность произносить слова и, не докончив своей затверженной еще накануне речи, поднял старческие, трепещущие, красные руки на голову юноши.

— Видит бог, что я желал тебе добра,— прошептал он, разом оборвав недосказанную речь.

Жорж схватил его руки и покрыл их поцелуями, рыдая навзрыд...

Спустя час, когда он, немного успокоенный, вошел в гостиную, мать заметила ему с презрительной усмешкой:

— Фи! Тебя табаком перепачкал monsieur Гуро!

И она с гадливой гримасой указала на табачное пятно, оставленное на сорочке юноши. Жорж вспыхнул и почти с ненавистью проговорил:

— Какая ты бездушная!

Потом он повернулся и вышел вон. Ему казалось, что мать его глумилась над святыней лучших

чувств, толкуя в такую тяжелую для него минуту о каком-то пятне на сорочке...

Но как далеки были эти годы, эти чувства теперь! Великих гениев сменили лошади; жизнь в тишине библиотеки заменилась жизнью в манеже; беседы с чудаком философом отодвинулись куда-то далеко перед сальными рассказами о преждевременном разврате золотой молодежи. Недавно еще все будило ум, теперь все пробуждало чувственность. И вечная верховая езда, и скабрезные разговоры, и сальные карточки, и приятельские пирушки, и бальная атмосфера, пропитанная запахом одуряющих духов, полная голых женских рук и плеч,— все, казалось, было приспособлено к тому, чтобы даже мечтатель-юноша мало-помалу превратился в разнузданное животное, отдающееся только всем своим похотям. Известная чистоплотность, известное физическое отвращение к женщинам, к которым ездят все и каждый, иногда целыми партиями, спасали долго Егора Александровича от разврата. Но это же довело его до того, о чем он вспоминал иногда просто с ужасом, до сближения с Полей. Он не искал себе оправданий за этот проступок в том, что он сошелся с ней случайно, не думая, не гадая, не ухаживая за ней, а просто в минуту страстного возбуждения; он не оправдывал себя и тем, что она сразу отдалась ему, без сопротивления, с увлечением, так как она чуть не с детства была влюблена в него; он не старался успокоить свою совесть и тем, что девушка знала, на что она идет, и шла добровольно, говорила, что в этой любви было все ее счастие, что больше ей ничего не нужно. Он сознавал только то, что ее жизнь навсегда испорчена им и что загладить своей ошибки он не может. Жениться? Эта мысль ни на минуту не приходила ему в голову, так немыслим был этот союз, вследствие различия его и ее положений. Продолжать вечно жить с нею в незаконной связи? Именно это в порыве увлечения обещал он ей, говоря, что он ее никогда не бросит; этим удовольствовалась бы вполне она. И вдруг нежданно-негаданно, по-видимому, без всяких внешних поводов он остановился теперь на вопросе: может ли его удовлетворять всегда этот союз? Что связывало его с этой девушкой? Она приходила к нему, или он пробирался к ней, начинались поце-

луи и ласки — и только. Это была чисто физическая связь. Она не поняла бы ничего из того, что интересовало его, о чем он думал, над чем он просиживал целые ночи; он ни разу не заглянул в ее душевный мирок, и, может быть, даже боялся заглянуть в этот мирок, опасаясь встретить там ту страшную пустоту, какую можно найти у девушек ее положения. В этом мирке не было ни страстных стремлений к чему бы то ни было, ни заветных надежд и желаний, ни глубоких дум о каких бы то ни было вопросах, людских отношениях; девушка росла в барских хоромах, была одета, обута, сыта; ее баловали и ласкали все; никто, в сущности, не задумывался о ее судьбе; все знали, что ей хорошо живется, что она выйдет впоследствии замуж, если подвернется подходящий человек, а подходящий человек непременно подвернется, так как она была хороша и скромна, за ней дадут хорошее приданое и даже пристроят жениха, если будет нужно. Оторванная от народа и не приставшая ни к какому кругу людей, о чем могла она думать, кому могла она сочувствовать? Если с некоторых пор о чем-нибудь и начала думать эта девушка, так это о красоте, о добре, о ласковости молодого барина. Когда впервые стала она заглядываться на него? — она не давала себе отчета в этом, но, должно быть, давно. По крайней мере она сама не помнила того времени, когда бы он не казался ей лучше и милее всех людей. Стоило ему случайно натолкнуться на нее и, под влиянием молодого возбуждения, приласкать ее, чтобы она сама бросилась в его объятия. С этой минуты мысль о нем наполнила весь ее душевный мир, она ходила как бы в сладком полузабытьи, с светлой улыбкой на лице, нося в душе только его образ, только воспоминания о каждом его слове, о каждой его ласке. Теперь Егор Александрович, как-то помимо своей воли, задумался над вопросом: «Что же будет с ней, если мне придется ее оставить?» Оставить? Зачем же? Но нельзя же продолжать эту связь, когда женишься? Отчего нельзя? Еще чуть ли не вчера он был убежден, что можно. Но это гнусно обманывать молодую жену, отдающуюся своему мужу с полной верой в его любовь. Почему же это кажется гнусным сегодня и не казалось гнусным вчера? И, наконец, именно сегодня ему нечего вообще заду-

мываться об этом вопросе, так как предполагавшаяся женитьба не может состояться, искать же еще новую невесту с крупным приданым он вовсе не думает. Он даже не понимает, как он вообще согласился попробовать идти на эту сделку? Ну, а что же делать, если не идти на эту сделку! Работать, как советовал дядя? Да разве он умеет так работать? В душе Мухортова поднималась какая-то горечь. Он то ходил в раздумье по своему кабинету, то бессознательно останавливался перед письменным столом и глядел на портрет Жерома Гуро.

— Что бы ты сказал, старина, если бы заглянул в мою душу? — проносилось в голове Егора Александровича.

Старик смотрел на него кроткими и добрыми глазами. Егору Александровичу стало невыносимо тяжело. Он снова и снова сознавал, что подле него теперь нет решительно ни одного человека, могущего поддержать его, как когда-то поддерживал его Гуро. А поддержка была так нужна именно теперь. Он стоял над обрывом, один неверный шаг, и он мог погибнуть нравственно, погибнуть, презирая самого себя за гнусные сделки со своею совестью...

II

Софья Петровна дала слово Протасовым приехать к ним на обед через три дня. Она напомнила об этом обещании сыну. Он с озабоченным видом, думая о чем-то другом, коротко заметил ей:

— Я поеду, но мне кстати по дороге надо будет заехать к дяде, потолковать о делах.

— О делах? — с удивлением спросила Мухортова.

— Да, надо же взглянуть когда-нибудь беде прямо в глаза,— ответил сын.— Ведь мы только толкуем о том, что мы стоим на краю пропасти, а в сущности мы даже не знаем, стоим ли мы только на краю ее или уже летим в нее неудержимо вниз головою...

Генеральша томно и медленно вздохнула.

— Ах, лучше и не заглядывать туда...— ответила она, закрывая на минуту глаза рукою.— Но я надеюсь, что ты произвел впечатление на Мари...

Сын сделал нетерпеливое движение. Он избегал всяких разговоров с матерью об этом щекотливом предмете, чутьем угадывая, что мать не поймет его чувств.

— Я не желаю ни покупать невесты, ни продаваться,— ответил он коротко и сухо.

Мать испугалась и широко открыла глаза.

— Разве ты раздумал?.. Да нет, это невозможно!.. Дядя же говорил, что другого исхода нет,— заговорила она растерянно.— Ах, Жорж, неужели эта связь мешает тебе?.. Ведь нельзя же, милый...

— Не будем покуда говорить об этом,— перебил он, по-прежнему коротко и сухо, как бы отрывая всякую возможность к продолжению разговора.

Мать и сын отправились к Протасовым. Немного в стороне было имение Алексея Ивановича. Доехав до него, Егор Александрович приказал кучеру остановиться и сказал матери, что он явится к Протасовым через час, через два, пешком. Он направился к дому дяди.

Старик Мухортов в своем коломянковом сером балахоне стоял на надворном крыльце и о чем-то горячо спорил с двумя работниками, сильно жестикулируя и пересыпая речь отборною непечатною бранью, поминая и сыновей, и матерей. Он кричал так громко, что его голос был слышен издалека. Он очень удивился, увидав племянника.

— Я тебе помешал? — спросил Егор Александрович.

— Нет, я уже кончил... Хозяйственные распоряжения кое-какие делал,— ответил старик.

Молодой человек слегка улыбнулся.

— А я думал, что ты уже там, у своей прелестницы,— сказал старик.— Надеюсь, что блажь-то прошла из головы! И с чего ты взял, чудак, отказываться?..

— Я заехал поговорить с тобой о деле,— проговорил Егор Александрович, не отвечая на вопрос.

— О деле? О каком таком деле? — удивился дядя.

— Пройдем в дом,— сказал Егор Александрович.

Старик наскоро отдал последние строгие приказания работникам, пригрозив опять и «бараньим рогом», и «местами, куда Макар телят не гоняет, а ворон костей не заносит», помянул еще раз родителей и срод-

ственников и повел племянника в свой кабинет. Здесь было целое столпотворение: массы бумаг, шнуровых книг, образцы каких-то семян, картофеля, какая-то машина, спичечные коробки разных образцов — все это было нагромождено так, что трудно было отыскать свободное место на стуле или на диване.

— Ну, какие такие дела могут быть у тебя, Егорушка? — спросил шутливо дядя, отирая пот.— Вот у нас так дела! С утра сегодня с работниками всех родителей поминаю и не могу доказать подлецам, что цены им не след поднимать, если зиму голодать не хотят...

— Не можешь ли ты обстоятельно выяснить положение наших дел? — спросил племянник, не слушая его.

— Ха-ха-ха! Вот выдумал! Чего тут выяснять: прогорели совсем, вот и выяснение,— ответил дядя таким тоном, точно он говорил о какой-нибудь комической истории.— Впрочем, ты должен это знать, так как я все подробно писал твоей матери.

— Ты думаешь, она читала твои деловые письма? — сказал Егор Александрович с презрительной усмешкой.

— Ну, а ты?

— Я никогда не вмешивался в дела.

— А кутить умел?

— Ты ошибаешься... Я жил, относительно, очень скромно... Но дело не в том... Мне нужно знать точно и определенно, можно ли вывернуться в нашем положении... К сожалению, мне ты никогда и ни о чем не писал... и я теперь не знаю, что начать...

— Да ведь это решенный вопрос: ты женишься...

— Я сказал, что я не женюсь,— коротко ответил Егор Александрович.— Мне нужно знать, есть ли другой исход?

— Да ты с ума сошел! — воскликнул старик почти с испугом.— В какое положение ты меня ставишь перед Протасовым. Ведь он на это рассчитывает...

Он хотел что-то сказать еще, но Егор Александрович перебил его:

— Можно ли покрыть долги продажей большей части имения, оставив себе такую часть, которая давала бы средства к скромному существованию?

— Да ты что задумал, Егорушка? — спросил с тревогой старик, кажется, серьезно подозревая, что молодой человек сошел с ума.

— Видишь ли, что. Я хотел бы честно расплатиться с долгами. Если у меня останутся кое-какие крохи, я поселюсь здесь, бросив службу в полку. Здесь со временем можно будет, конечно, пристроиться как-нибудь, если я попривыкну к здешней жизни...

Дядя смотрел на него широко открытыми глазами. Это было для него нечто новое.

— А мать?

— У матери есть пенсия...

— Но она же не привыкла кое-как жить, замашки широкие...

— Мало ли у кого какие замашки, но если другого выхода нет... Впрочем, дядя Жак питает к ней такие родственные чувства, что не оставит ее,— сказал молодой Мухортов, и какая-то нехорошая нотка прозвучала в этих словах.— Я серьезно прошу тебя сообразить все, что можно сберечь, ликвидируя дела... Я хочу расквитаться навсегда с долгами, но мне надо знать, с чем я могу начать новую жизнь. Если не останется ровно ничего, то мне, конечно, нечего и думать об отставке, а придется перейти в армию и не думать об университете. Это нужно решить на днях же, так как в гвардии я во всяком случае не могу больше служить...

Алексей Иванович потер рукою потный лоб, точно он все еще не мог сообразить вполне того, что происходит.

— Право, Егорушка, в толк я ничего не возьму, не ожидал я от тебя этого,— говорил он, ходя по комнате.— Как же так, все уладили, все пошло, как по маслу, и вдруг... У нас тоже с Протасовым свои планы были... этакая неловкость выходит... Да тебе и не выжить тут... Где тебе!

— Да ты же меня совсем не знаешь,— просто заметил Егор Александрович.— Наконец это мое дело: выживу я или нет. Ты только сообрази чисто деловую сторону; я сделал бы это и сам, но все бумаги, касающиеся имения, у тебя, я ничего тут не соображу один...

Егор Александрович говорил спокойно и серьезно. Алексей Иванович раза два снова наводил речь на

женитьбу, но племянник упорно подтверждал, что он никогда не женится на Протасовой, хотя бы ему грозила нищета. Почему — этого он не объяснял, сказав просто, что он не любит ее, а жениться без любви он не намерен. Старик только покачивал головой и наконец со вздохом заметил:

— Смотри, Егорушка, не прогадай! После близок будет локоть, да не укусишь... А впрочем...

По лицу старика скользнула ироническая улыбка.

— Попробуй... поскачи по-нашему... Скоро вы устаете, питерские франты...

Егор Александрович ничего не возражал и стал прощаться с дядею.

Он пешком направился к Протасовым. Они жили в старинном помещичьем доме. Дом принадлежал когда-то трем теткам Марьи Николаевны, сестрам ее матери, девицам Ададуровым. Дом производил неприятное впечатление по своей скучной архитектуре,— это была какая-то прямолинейная большая казарма, выкрашенная казенной желтой краской с белыми плоскими колонками около подъезда, с прямыми окнами. За домом тянулся столетний мрачный и однообразный парк. В комнатах веяло тою же строгостью, однообразием и скукою. Старинная тяжелая мебель стояла «по ранжиру», точно вросла в пол. Белый зал в два света казался приемной комнатой в каком-нибудь присутственном месте. В гостиных выцветшие штофные стулья и диваны, казалось, были набиты не волосом, а кирпичами. Но каждая вещь говорила, что все это стоит здесь «со времен очаковских и покоренья Крыма». Три тетки Марьи Николаевны Протасовой: Аглая, Серафима и Ольга Евгениевны Ададуровы тоже больше напоминали век Екатерины, чем наше время. Чванные, сухие, отдалившиеся от всего живого, старые девы в своих ярких платьях и в давно вышедших из моды кринолинах были бы очень смешны, если бы от каждого их слова не веяло скукой. Они жили с незапамятных времен в своем имении; было время, когда они чуть не потеряли этого имения, проев последние крохи; в это время явился к ним на помощь Протасов, посватавшийся за их младшую сестру. Долго колебались они согласиться на этот неравный брак, но перспектива разорения и продажи имущества заставила их принести эту

«жертву». Младшая Ададурова вышла за Протасова, имение было приведено в порядок; Протасов же, кроме хорошенькой жены, приобрел довольно сильные связи и протекции в Москве, где Ададуровы всегда проводили три зимних месяца ежегодно. Протасов овдовел давно, обзавелся в Петербурге побочной семьей, и его дочь росла под надзором трех старух-теток, не умевших никогда справиться с девочкой. Они говорили со вздохами, что в ней сказывается плебейская кровь, когда она убегала к деревенским мальчишкам и девчонкам, лазила на деревья, играла в лошадки или ходила в поле жать с бабами. Тетки чуть не прокляли ее, когда она почти ребенком, года полтора тому назад, вдруг убежала от них из Москвы от какого-то престарелого жениха генерала и приютилась у своей подруги-крестьянки. Эта история наделала шуму, смутила даже вечно холодного и невозмутимого Протасова. Отыскав дочь, он попробовал пригрозить ей, но сразу наткнулся на железную волю, на характер такой же твердый, как его собственный. Старик сдался и раз навсегда дал слово не приневоливать дочь в деле замужества. Это все, что отвоевала она себе. С той поры ей стало дышаться легче и вольнее, хотя скука и тоска остались прежние.

В гостиной Ададуровых, пройдя через анфиладу пустынных комнат, Егор Александрович застал трех раскрашенных хозяек дома, свою мать и двух каких-то измятых и пожелтевших старцев со звездами на груди. Оба старца говорили, пришепетывая, и глубокомысленно пережевывали свои губы в минуты молчания. Они говорили о событиях времен Александра Благословенного и сообщали анекдоты, смешившие людей лет пятьдесят тому назад. С первого раза Егору Александровичу показалось, что он попал в кабинет движущихся восковых фигур, где показываются публике представители прошлых веков. Несмотря на жаркий весенний день, окна в гостиной были заперты, так как один из старцев, маленькое и распухшее, как от водянки, создание, прерывая свои анекдоты, замечал:

— А все-таки здесь откуда-то дует. Ты замечаешь, Пьеруша?

Причем другой старец, длинный и худой, как палка, владевший только одним огромным глазом, обво-

дил взглядом комнату, ворочая на длинной и тонкой шее свою голову, как на пружине, и произносил:

— Да, Женюша, дует! Но все заперто! Странно!

Это были графы Пьеруша и Женюша Слытковы, два близнеца, прожившие до пятидесяти лет под опекой матери. Когда настал год их совершеннолетия, они просили оставить мать их опекуншею, «так как,— писали они в прошении об опеке,— они по слабоумию сами управлять делами не могут». Эта опека прекратилась, когда им минуло пятьдесят лет,— прекратилась за смертью матери, которую они горько и долго оплакивали, хотя все их беседы с нею сводились к тому, что она спрашивала их: «Ведь вы у меня глупыши?» Они же отвечали ей: «Да, глупенькие!» Тем не менее глупыши достигли до чина тайных советников, ни разу, впрочем, не посетив того присутственного места, где числились на службе. Злые языки в свете говорили, что им дали чины за девственность и благонравие. Они остались на всю жизнь старыми холостяками, ни разу не разлучались друг с другом, жили одиноко, по виду напоминали скопцов, и только в последнее время у них поселился сын их покойной сестры, камер-юнкер Николай Александрович Томилов, известный в кругу знакомых и родных под именем «мрачного Коко». К нему должны были перейти не только их богатства, но, вероятно, и титул, так как род графов Слытковых прекращался с Пьерушей и Женюшей.

Попав в этот кружок, Егор Александрович почувствовал себя очень скверно и с ужасом заметил, что здесь не было даже Марьи Николаевны, то есть единственного существа, с которым он мог бы перекинуться живым словом. Ему было не только досадно, что она его оставила на жертву этому обществу,— ему почему-то показалось, что это было сделано не без умысла... Не хотела ли она помучить? Или, может быть, тут было своего рода глумление над ним — над искателем богатой невесты. Это задело его самолюбие, и он решился лучше остаться в этой душной гостиной, чем идти искать Протасову.

Присутствующие, между тем, почти не обратив на него внимания, продолжали беседу, перешедшую теперь к вопросу о необъяснимых видениях.

— Я как сейчас помню, это было перед четырна-

дцатым декабрем,— продолжал рассказывать, пришепетывая, Женюша Слытков.— Мы собрались у генерала Арбузова. Были: я, Василий Богданович Адамович, два князя Вадбольских и Зубов. Разговор коснулся наполеоновских войн и численности его армии в сражении под Эйлау. Арбузов и Адамович горячо заспорили. Наконец Арбузов и говорит: «Да что же ты споришь, Василий Богданович, когда я читаю историю этого времени. Книга даже раскрыта у меня в кабинете на том самом месте, где говорится о числе войск».— «А я готов биться об заклад, хоть бы черту душу пришлось отдать,— сказал Адамович,— что прав я».

Побились об заклад, и все двинулись в кабинет.

— Удивительная история! — начал, захлебываясь, Пьеруша, ворочая голову на длинной шее и обводя всех одним круглым и большим, как у неоперившейся птицы, глазом.

— Нет, ты погоди, Пьеруша, дай мне досказать,— серьезно и строго остановил его порыв Женюша.— Вот идем мы в кабинет, отворяем двери и видим: у стола сидит сам Арбузов и держит развернутую книгу. Мы переглянулись: все были бледны, как полотно. Арбузов, то есть настоящий Арбузов, стоящий с нами, тяжело дышал. Он тихо подошел к своему двойнику, встал за его спиною и заглянул через его плечо в книгу.— Виноват, Василий Богданович,— громко проговорил он.— Ты прав! Недоброе пари заставил я тебя предложить...» Призрак моментально исчез при этих словах,— подошли мы к столу: книга лежит на столе, и никого нет.

— Удивительная история! — уже совсем восторженно воскликнул снова Пьеруша, опять обводя общество своим одиноким глазом.— Женюша всегда ее так рассказывает. Всегда! И когда — слушайте, это ужасно знаменательно! — пришел он домой,— я не был на этом вечере, горло болело,— пришел он домой, взглянул я на него и говорю: «Женюша, с тобой случилось необычайное событие!» — «Ты почему, Пьеруша, знаешь?» — спрашивает он.— «Я не знаю, но я чувствую»,—ответил я.— «Ты прав»,— сказал он.

— Нет, а ты расскажи, Пьерушка, про истории в Петербурге у Лотгаммер, как стулья там ходили,—

сказал Женюша.— Дом этот на углу Большой Садовой и Могилевской улиц доныне существует и квартира...

Егор Александрович задыхался: его душила злоба на молодую хозяйку дома, оставившую его на жертву этим старцам. Однако он все же дал себе слово не выходить из этой комнаты на поиски беглянки. Но это ему не удалось исполнить. Софья Петровна, изнывавшая за сына, сделала неловкость и спросила у одной из хозяек дома:

— А где скрывается Марья Николаевна?

— Мари, должно быть, на террасе с monsieur Томиловым,— ответила старуха и крайне сухо обратилась к Егору Александровичу: — Пройдите туда, если угодно, она, верно, там.

Егор Александрович закусил от досады губу, но волей-неволей должен был идти отыскивать молодую девушку.

Он вышел на террасу. Здесь, внизу, на ступенях, сидела Марья Николаевна в странной позе: она обхватила руками одно колено и смотрела бесцельно перед собою; эта поза была скорее прилична мальчугану или юноше, но никак не барышне. Около молодой девушки стоял худощавый и болезненный господин с очень некрасивым, неподвижным лицом, обрамленным с боков небольшими баками. Ему было лет тридцать, но его темные волосы, зачесанные не без искусства, были крайне редки, и, несмотря на тщательную прическу, сквозь них просвечивало тело. Его серые глаза, смотревшие через стекла pince-nez, были холодны и тусклы. Это был Коко Томилов, как узнал потом Мухортов. Он что-то рассказывал Марье Николаевне, но она, видимо, не слушала его, смотря бесцельно перед собою. Егор Александрович стал спускаться по лестнице. Протасова заметила его только тогда, когда он уже совсем близко подошел к ней.

— А, это вы!— сказала она, лениво протягивая ему руку.— Бежали из общества мертвецов, которых забыли похоронить?

— Не бежал бы, если бы они сами не изгнали меня, заставив отыскивать вас,— ответил он.

— А, вот что! — проговорила она.— Значит, они заинтересовали вас?

— Да, оригинальная коллекция развалин,— сказал он небрежно.— Я их слушал не без любопытства.

Томилов, не представленный Мухортову, отошел в сторону, как-то враждебно и косо окинув его взглядом с ног до головы. Протасова сделала гримасу.

— Ну, я по доброй воле и минуты не провела бы с ними,— продолжала она начатый разговор, не обращая внимания на удалившегося Томилова, и в ее тоне послышалась ирония.

— Да ведь и я не по доброй воле явился в их общество,— ответил Мухортов с известной резкостью.

Она вопросительно взглянула на него. Ему показалось в этом взгляде не то презрение, не то насмешка.

— Волей-неволей приходится отдавать визиты,— пояснил он с несвойственною ему неделикатностью, почти дерзостью.— К тому же в деревне нельзя и выбирать, куда ездить, куда не ездить...

— Я предпочитаю уж лучше вовсе не ездить никуда,— сказала она.— Силой иногда куда-нибудь вывезут, и то ведь это редко бывает.

— Я, вероятно, также последую вашему примеру,— заметил он.— Я только буду счастливее вас, так как меня некому силой возить в гости.

— Ну, да вам так недолго придется здесь жить...

— Вы ошибаетесь, я поселюсь здесь надолго...

— Вы?

— Да.

— А служба?

— Я выхожу в отставку.

Она посмотрела на него не без удивления.

— Зачем? Устали служить?

В ее тоне была нескрываемая насмешливость.

— Нет, просто потому, что мои средства не позволяют служить в гвардии,— просто ответил он.

По ее лицу скользнула улыбка, нехорошая улыбка, задевшая его за живое.

— А разве отставка поправит ваши средства? — спросила она.

— Еще бы. Здесь жизнь дешева вообще, и можно до последней степени ограничить свои потребности,— ответил он.— Может быть, мне удастся попри-

выкнуть и к сельскому хозяйству, если, конечно, останется что-нибудь для этого хозяйства.

— То есть как это что-нибудь останется? — спросила она в недоумении.— У вас же большое имение...

— И еще бóльшие долги,— ответил он.— Я должен продать все, что потребуется продать для уплаты этих долгов.

Ее лицо сделалось совершенно серьезным. Она немного сдвинула брови и, видимо, находилась в сильном недоумении. Она только накануне узнала, что Мухортов намеревается свататься за нее. Она страшно рассердилась на него. Если бы он подвернулся ей в ту минуту, она наделала бы ему страшных дерзостей. Ей и теперь стоило немалого труда сдержать себя хотя немного при встрече с ним и не наделать ему дерзостей. Теперь его слова сбили ее с толку. У нее было непреодолимое желание прямо задать ему вопрос о его желании просить ее руки, хотя она и сознавала, досадуя, впрочем, за это на себя, всю неловкость этого вопроса. Но, тем не менее, она не выдержала и с иронией сказала:

— А мне говорили о каких-то других ваших планах...

Он пристально, почти дерзко взглянул на нее, точно делая ей вызов, точно говоря ей: «Что же вы не договариваете? Попробуйте!» Она впервые смутилась от холодного и серьезного взгляда этого человека и глянула в сторону.

— У меня нет и не будет никаких других планов,— ответил он твердо и отчетливо.

Разговор вдруг оборвался. Между молодыми людьми повеяло каким-то холодом. Они почуяли один в другом врагов...

III

Егор Александрович, вернувшись домой, тотчас же с лихорадочной поспешностью засел за разбор разных счетов и отчетов, доставленных ему дядею, и не без страха раздумывал, сумеет ли он одолеть все эти ряды цифр. Дело для него было совершенно новое. Но это нужно было сделать, чтобы уяснить себе, как поступать дальше. Не уяснив себе этого, он испытывал

такое ощущение, как будто на нем были надеты колодки, мешавшие ему свободно двигаться. Работа должна была занять у него не день, не два, и он сознавал, что ему придется потратить много времени даром, так как он не умел приняться за дело, как следует. Тем не менее, он решился добиться результатов без чужой помощи, почему-то стыдясь просить указаний у дяди. Его постоянное пребывание в своем кабинете за бумагами сильно смущало Софью Петровну. Она не знала, что хочет предпринять сын, для чего ему понадобилось просмотреть эти противные дела. В то же время ее мучило подозрение, что Егор Александрович действительно хочет отказаться от женитьбы на Протасовой. Почему? Мухортова не находила ответа на этот вопрос. Ее томила тоска. Ей грезились во сне и наяву Баден-Баден, Биарриц, Трувилль. Она вдруг стала чувствовать, что у нее и тут болит, и там ноет, и здесь колет. Как бы хорошо теперь уехать куда-нибудь на воды. Это так необходимо для ее здоровья. Но об этом и думать нечего, если Жорж не женится. Она металась и не находила себе места. Ее даже не развлекала болтовня Елены Никитишны, Агафьи Прохоровны, матери Софронии. Мрачное настроение генеральши не ускользнуло от зорких глаз ее приживалок и дворовых. Об этом шушукались во всех углах. Агафья Прохоровна интересовалась этим более всех.

— Матушка, Софья Петровна, что это вы, ангел наш, все нынче в омрачении находитесь? — говорила она как-то, развлекая лежавшую в своем будуаре на кушетке совсем больную генеральшу.— Смотрю это я на вас, благодетельница, и думаю: нет, нет, это не наша Софья Петровна, не она, не она! Ей-богу!

— Да, милая, точно я на себя не похожа,— со вздохом произнесла Софья Петровна и томно закатила глаза.— Радостей-то мало...

— А что такое, ангел вы наш?.. Не случилось ли чего, помилуй, господи! —воскликнула в волнении Агафья Прохоровна и учащенно заморгала глазами.

— Хотелось, вот, Жоржа женить,— лениво ответила Мухортова.—Тоже при жизни еще пристроить бы желала...

— Матушка, ангел вы наш, да вы это что же о смерти-то говорите! — поспешно воскликнула Агафья

Прохоровна и бросилась целовать ручку генеральши.— Вам жить, да жить еще надо. Нас-то кто же хоронить будет без благодетельницы. Поверх земли без вас-то мы наваляемся! Спаси вас, господи!

Она быстро начала креститься.

— Все же, кто знает, что случится! Предчувствие у меня! — произнесла Софья Петровна таким печальным тоном, точно она и действительно умирала.— Да, предчувствие. Под ложечкой это, знаешь, так засосет, засосет, ну, и идут в голову такие мысли... Да, хотелось бы при жизни видеть Жоржа счастливым.

— Ну, и что же? и что же?

— Не хочет... Нашла ему и невесту — не нравится.

— А-ах, а-ах! — протяжно вздохнула Агафья Прохоровна, качая с соболезнованием головой.— Не нравится! И с чего бы? Разве, может, у самого Егора Александровича другая невеста намечена? Ну, тогда другие, конечно, по вкусу и не придутся.

— Нет, где же! — сказала генеральша.

— И точно, где же!..

Агафья Прохоровна подперла подбородок правою рукою и, покачивая в раздумье головой, заметила как бы про себя:

— Уж не может же быть, чтобы это из-за этого... Нет, это что и говорить, не может быть, пустяки совсем!

— Ты это про что, Агафья Прохоровна? — спросила генеральша.

— Так, ангел вы наш, глупые мысли пришли в голову... Известно, где же у нас умным мыслям быть... Сами мы глупые, и мысли у нас глупые...

— Да ты говори! Что такое?

— Я вот про Полю, что она-то не пристроена еще...

Агафья Прохоровна вдруг словно спохватилась и торопливо прибавила:

— Благодетельница, виновата! Язык мой — враг мой! Может, вы и не знаете ничего про Полю!

Мухортова махнула безнадежно рукою.

— Все, все знаю!

— Ну, так вот не беспокоится ли Егор Александрович, что она-то не пристроена? Ведь это бывает. Конечно, не ему на ней жениться, не помеха она ему при свадьбе, а все же, пока не пристроена она, серд-

це-то по ней и сохнет. Добр он! Была бы чужемужняя жена — дело другое было бы, отрезанный ломоть...

— Это правда, конечно,— в раздумье согласилась генеральша.

Ей самой приходила в голову эта мысль.

— Вот Данило Волков, камердин Егора Александровича, я думаю, в ногах бы вывалялся, чтобы жениться на ней.

— Ты полагаешь? Но он же, вероятно, все знает?

— Ах, благодетельница, это вы по своим благородным чувствам рассуждаете, а ему что, что он знает? В их сословии это ни за что не считается. Просто так себе: тьфу!.. Да и то сказать, чего же тут такого? Не с мужиком каким-нибудь жила, а барин приласкал, так ведь это за счастье он почитать должен, потому и ее, и его не оставят господа.

— Ах, разве я кого-нибудь обижала! — воскликнула с чувством Мухортова.— На меня-то уж роптать люди не могут! О, нет...

— Что и говорить! Что и говорить! Благородные люди такой жизни были бы рады! Как у Христа за пазухой живут!

Софья Петровна помолчала и потом спросила:

— Так ты думаешь, что Данило был бы согласен?

— Ничего я наверное, ангел вы наш, не знаю, потому не мое это дело. Что мне в чужие дела соваться? Меня бы не обижали, а я человека не трону. Живи он, как знает... Но думаю я по своему глупому рассуждению, что должен бы Данило только радоваться и бога благодарить за такое счастие.

Генеральша вздохнула.

— Надо будет с Еленой поговорить...

— Благодетельница, только не выдавайте вы меня, что я это говорила,— сказала Агафья Прохоровна униженным тоном.— Не любят люди, чтобы в их дела чужие нос совали. Может быть, у нее свои планты есть. В чужую душу не влезешь...

— Ах, что ты глупости говоришь! Стану я рассказывать!

— Тоже понимают ведь, что пока Пелагея не замужем, будет она в руках Егора Александровича

держать. К чужемужней жене сердце-то его сейчас охладеет...

Агафья Прохоровна поспешила оставить Мухортову одну и, пробираясь в страннопримный покой, не утерпела, забежала к Даниле Николаевичу Волкову.

— Готовьте дары-то, да на свадьбу зовите,— бойко сказала она ему, заглядывая в его комнату.

— А что, Агафья Прохоровна?— торопливо спросил он, соскакивая с дивана, где лежал с газетой в руках.

— А то же, что у генеральши речь пойдет с Еленой Никитишной о вашем бракосочетании,— ответила Агафья Прохоровна, приседая в дверях.— За хлопоты-то сумейте по обещанному отблагодарить.

— Мы свое слово держать умеем,— развязно ответил он.— Как же разговор-то у вас вышел?

— Ну, после, а то еще шпионы выследят, дело напортят,— ответила она, быстро удаляясь от дверей с поднятой гордо головой.

Софья Петровна, между тем, глубоко раздумывала о словах Агафьи Прохоровны. Ей самой не раз приходили эти мысли в голову. Действительно, Егор Александрович бросит тотчас же Полю, как только она сделается чьей-нибудь женою. Не станет он делиться ею с лакеем. Фи! Этого только недоставало! Это, вероятно, понимают и Поля, и Елена Никитишна. Уж и точно, не думают ли они прибрать к рукам Жоржа? Надо похлопотать, как бы сбыть девушку. Ах, как все это скучно, несносно!

Не прошло и получасу после ухода Агафьи Прохоровны, как уже в будуаре у Мухортовой шел разговор с Еленой Никитишной.

— Я с тобой, Елена, хотела поговорить о Поле,— сказала Софья Петровна.— Ужасно беспокоит меня ее положение.

Елена Никитишна махнула безнадежно рукой.

— Уж и не говорите, сама я ночей не сплю! Докуролесила девчонка до того, что хуже и быть не может...

— А что? — с испугом спросила генеральша.

— Известно, что! Оба молоды, матерью, пожалуй, будет.

— Елена, что ты говоришь! — с ужасом вскричала Мухортова.— Это ужасно, ужасно!.. И скоро?

— Не знаю, ничего не знаю! От нее ничего не допытаешься, а вижу, что дело не ладно.

— Боже мой, этого только недоставало! Незаконный ребенок! Это ужасно!.. А я думала пристроить бы ее за кого-нибудь...

— Пристроить! Вон и жених есть, да разве с нею сговоришь!..

Елена Никитишна опять махнула рукой.

— Жених? Кто это? — полюбопытствовала генеральша.

— Данило сватается.

— Данило? Что же, он человек трезвый, порядочный...

— Да ей-то все равно, кто ни сватайся, хоть принц заморский, все равно не пойдет.

Софья Петровна покачала укоризненно головой.

— Ах, Елена, Елена, разве можно так говорить. Разве девушка понимает что-нибудь в этих делах! Надо уговорить, резоны представить. Ведь и все мы почти всегда не по своей воле шли замуж. Разве я по своей воле, по страсти шла? Так я не она!.. Если бы волю-то нам дать, так мы бы... Да вот она сама пример: дали мы волю, и что вышло?

— Знаю я, сама знаю это! Да нынче насильно-то к венцу не потащишь...

Мухортова пришла в ужас.

— Ах, что ты, что ты, Елена! Разве можно такие слова говорить: насильно! Да я первая возмутилась бы! Надо убеждением подействовать! Надо резоны представить! А то насильно, вот выдумала. Совсем ты стара становишься, тоже из ума выживаешь! Насильно!..

Генеральша была возмущена.

— Говорила я с ней, да разве ее уговоришь,— ответила Елена Никитишна.

— Ты говорила уже?

— Да так, стороною,— пояснила Елена Никитишна, уклоняясь от прямого и откровенного ответа.

Она уже несколько раз пробовала усовещевать «девку», под влиянием какого-то смутного страха, чуя, что в доме делается что-то неладное. Практический смысл прямо подсказывал ей, что нужно ковать желе-

зо, пока оно горячо, что теперь еще можно «сорвать» что-нибудь с господ на приданое, а что после, может быть, будет уже поздно. Сорвать можно было, только выдав Полю замуж; обеспечивать судьбу обольщенной девушки, не выдавая ее замуж,— этого еще не случалось в практике мухортовских господ и дворни и, кроме того, просить об этом было неловко, так как подобная просьба могла быть принята за недоверие к господам. И на воле у Елены Никитишны остались понятия и взгляды крепостной.

— Ну, и что же? — продолжала расспрашивать Софья Петровна.

— И слушать не хочет! Вот уже истинно нажили горе! Конечно, если бы сам Егор Александрович ей сказал, может быть, она и согласилась бы.

Генеральша ухватилась за эту мысль. Действительно, это было проще всего. Он должен уговорить эту молодую девушку и загладить свой проступок.

— Я с ним поговорю...

— Не станет только он ее уговаривать! — с сомнением возразила Елена Никитишна.

— Ну, вот еще выдумала! Должен же он понять, что надо уладить это дело... Наконец, я мать, я могу ему приказать... Ты, с своей стороны, Елена, постарайся разъяснить ей ее положение, а я поговорю с Жоржем... Надо кончать скорее!..

— Ах, девка, девка, сколько она хлопот наделала! — вздохнула Елена Никитишна.

— Ну, не горюй, Елена, что делать! Авось, все уладится!.. Поверь, что я постараюсь сделать все, зависящее от меня... Ну, а ты помоги со своей стороны...

Генеральша милостиво отпустила Елену Никитишну и твердо решила переговорить с сыном. В последнее время он как будто избегал разговоров с матерью, и генеральша совершенно не знала его планов относительно будущего. Она знала только, что он для чего-то просматривает «противные» отчеты по имению, и не понимала смысла этих занятий. Чего уж просматривать старые счеты, если стоишь на краю пропасти?..

Улучив удобную минуту, она пригласила сына к себе на половину и сказала ему:

— Жорж, мне нужно серьезно поговорить с тобою...

Он не без удивления взглянул на нее, но тотчас же заметил:

— Я очень рад, потому что и мне нужно поговорить с тобою.

— Я насчет Поли,— начала генеральша, когда Егор Александрович опустился в кресло около ее кушетки.

— Насчет Поли? — с еще большим удивлением спросил он.— Что такое случилось?

— Кажется, ты должен бы знать лучше меня, в каком она положении.

— А,— со вздохом проговорил Мухортов.— Я знаю... то есть подозреваю... этого нужно было ждать...

— Меня огорчает, мой друг, твое равнодушие,— сказала с упреком мать.

— Почему ты знаешь, что я равнодушно отношусь к этому? — спросил он.— Но воротить прошлого нельзя, и сколько бы я ни волновался, поправить дела тоже нельзя!

— Нужно поправить!— тоном строгого наставника заметила генеральша, делая особое ударение на слове «нужно».

Потом она прибавила:

— Да, нам надо позаботиться о ее судьбе и о судьбе ее ребенка... твоего ребенка... Это наш святой долг!..

— Я именно это и хочу сделать, но прежде всего мне нужно привести в порядок наши собственные дела,— сухо ответил сын.

— Что же общего между нашими делами и ею? — пожимая плечами, произнесла генеральша.— Странное сопоставление!.. Мы должны постараться ее пристроить за кого-нибудь, вот в чем наш долг.

Он усмехнулся.

— Хорошо заглаживанье проступка: сделать ее еще несчастнее. Она, впрочем, никогда не выйдет ни за кого замуж.

— Надо ее уговорить.

Он нетерпеливо пожал плечами.

— Это бесполезно! Да на ней никто и не женится,— сказал он с горькой усмешкой.— Кому же нужна брошенная любовница, да еще с ребенком...

— О, мой друг, поверь, что в их кругу на это смотрят не так, как у нас. Дадим приданое, найдется и жених, и она...

— Вот именно этот-то вопрос меня и занимает теперь,— начал он.

— Так ты думал ее пристроить? — обрадовалась генеральша.

— Нет, я не о ней говорю, а о деньгах,— сухо ответил сын.— Я почти окончил проверку отчетов по управлению имением... Но я не знаю еще одного. Сколько у тебя долгов в Петербурге?

— Где же мне помнить,— с пренебрежением сказала Мухортова.

— Их надо вспомнить; иначе придется плохо... Ты что-то говорила перед отъездом сюда о модистке?

— Да, там я должна пустяки какие-то... пятьсот или семьсот рублей... Там еще какой-то долг обойщику... тоже пустяки...

— Это вовсе не пустяки, потому что у меня и так почти ничего не остается,— заметил Егор Александрович.— Мне надо знать точно цифру твоих долгов, и я тебя серьезно попрошу дать мне в этом отчет... Я, конечно, свято расплачусь за тебя, но это будет в последний раз...

Его тон был необычайно тверд и резок. До этой минуты он никогда так не говорил с матерью.

— Жорж, что с тобой? — воскликнула генеральша и сама возвысила голос.— Каким тоном ты говоришь это? Я не привыкла...

Он перебил ее.

— Я тебя попрошу не волноваться! — стараясь быть сдержанным, заговорил он.— Ты еще недавно сама говорила о необходимости спасти честь нашей фамилии. Именно это я и решился сделать, не пятная себя новым бесчестьем — продажею себя. Только теперь я вижу, что мы с тобою действительно летели головами в пропасть, ты — по незнанию дел, я — по глупому стремлению не заниматься этими делами.

— Ты меня обвиняешь?

— Я гораздо более обвиняю себя, потому что, отстраняясь от дел, я все же пользовался всеми удобствами, бывшими нам не по средствам... Притом я должен был понять, что ты не имеешь призвания к делам...

— Что же ты хочешь делать?

— На днях предстоят платежи процентов по залогу имения. Я продам все, и если что останется за уплатою долгов — я здесь же куплю клочок земли и поселюсь на нем. По моим соображениям, если у тебя петербургские долги не слишком велики, мне останется столько, что в пять-шесть лет я стану, может быть, на ноги, устрою себе безбедную жизнь. Ты же — в эти годы ты можешь жить на свою пенсию...— у дяди Жака, наконец... а если вздумаешь жить у меня большую часть года, то у тебя хватит даже средств проводить два-три месяца в год в Петербурге по-своему... Конечно, мы должны распустить всю орду слуг и приживалок, обирающих нас теперь...

В его голосе не слышалось ни волнения, ни горечи. Он говорил, как человек, ясно сознававший свое положение — положение, если и не блестящее, то не безысходное. Генеральша молчала, точно пораженная громом, не понимая вполне, что происходит вокруг нее.

— Вот почему,— продолжал он,— всякие мечты о выдаче замуж Поли, о награждении ее за мой проступок нужно откинуть в сторону. На это у меня нет средств. Что я ее не брошу — это понятно само собою. Она останется при мне...

— Жорж! — воскликнула с ужасом Мухортова, как бы очнувшись от тяжелого сна.— Ты будешь жить здесь вдвоем с нею, сделаешь ее...

— Не будем говорить о моих делах: они касаются только меня, меня одного! — перебил он ее.— Нам прежде всего нужно распутать наши общие дела, и это в значительной степени зависит от тебя, как я уже сказал, так как я не желал бы, чтобы векселя и счеты из Петербурга посыпались мне, как снег на голову...

Софья Петровна неожиданно разрыдалась и, ломая руки, застонала.

— Жорж, Жорж, ты решился убить меня! Я не переживу этого! О, как ты жесток, как мало ты любишь меня!

— Полно! Зачем ты говоришь эти фразы,— нетерпеливо сказал он.— Люди переживают и худшие несчастия. Мы, по крайней мере, можем выйти еще чистыми из всей этой истории. Это даже не несчастие, а только урок...

Потом, видя, что мать продолжает истерически рыдать, он поднялся с места и сказал:

— Я пошлю к тебе Елену Никитишну помочь тебе...

Он вышел, не оборачиваясь, из комнаты. Он был убежден, что вопроса о выдаче Поли замуж больше не поднимут...

Четвертая глава

I

Егор Александрович успел уже давно разобраться в делах, и теперь для него весь вопрос заключался в том, чтобы повыгоднее продать имение. Ему хотелось сохранить за собою, если возможно, клочок своей родовой земли, прилегавший к владениям Алексея Ивановича. Здесь ему не только нравилась местность, но и было то удобство, что ему можно было тут, не тратясь на постройки, найти себе приют. В этой части мухортовского имения стоял отличный, заново отделанный, деревянный дом. Этот дом, носивший название «охотничьего домика», был некогда построен для отца Егора Александровича и, хотя не отличался грандиозными размерами, но был довольно просторен и прочен. Еще недавно тут жил брат Елены Никитишны, бывший управляющим в имении. Дом стоял на возвышенной местности. Около него протекала небольшая река Желтуха, по берегу ее тянулась деревня с деревянною церковью и кладбищем на краю. Обдумав все свое будущее, Егор Александрович отправился к Алексею Ивановичу, чтобы сообщить ему все, что он придумал, и попросить его советов. Когда он пришел в дом дяди, его особенно приветливо встретили кузины и кузен; но Егор Александрович сразу заметил в их лицах какое-то особенное участие и жалость. Так добрые люди смотрят на разных «несчастненьких». Егору Александровичу, неизвестно почему, вспомнилась та сцена с Машей Протасовой, когда девочка сказала ему: «Бедный слепенький, хочешь, я тебя повожу». По его лицу скользнула невольная улыбка. Родственники разом вскрикнули, вглядываясь в него:

— Егораша, что с тобой, голубчик?

Мухортов удивленно и вопросительно взглянул на них.

— На тебе лица нет! Ты нездоров был?

Егор Александрович сам не знал, что он так изменился в какую-нибудь одну неделю.

— Нет, сидел много за делами, так, верно, с непривычки отощал,— ответил он, усмехаясь.— Вот начнется охота, поправлюсь... Дядя дома?

— Дома, дома! — ответили родственники, тревожно переглядываясь между собою, и тут же прибавили: — Ты бы бросил все эти дела, где уж тебе возиться с ними!

Мухортов, не отвечая на это замечание, сказал:

— Дядя в кабинете?

— Да, да!.. Ах, бедный, бедный, как ты исхудал!..

— Так я пройду к нему,— сказал Егор Александрович.

Ему уже становилось досадно слушать эти жалостливые восклицания откормленных и краснощеких деревенских здоровяков.

Он направился в кабинет Алексея Ивановича и, переступив порог, сразу увидал при виде дяди, что и дядя смотрит на него как-то странно. Старик, несмотря на свою вечную веселость, смотрел теперь озабоченно, с каким-то не то недоумением, не то смущением на племянника, точно готовился рассказать или выслушать что-то неладное. Егор Александрович поздоровался с ним и с первых же слов просто и откровенно стал выяснять дело. Ему хотелось поскорее высказать все, что было у него на душе. Он искренно любил старика, как замечательно доброго родственника, каким и был в действительности старик Мухортов. Кулак и аферист в одну сторону, он с другой стороны был нежнейшим мужем, отцом, дядею. Он не остановился бы перед необходимостью прижать к стене кого бы то ни было, снять с ближнего рубашку, но в то же время он готов был на всякие жертвы для своих. Эти две нравственности уживались в нем вместе, как это бывает сплошь и рядом. Егор Александрович начал с того, что задал старику простые вопросы: можно ли свести концы с концами, хозяйничая по-старому в Мухортове, то есть платя проценты за ссуду, не делая новых долгов? Можно ли поступать ина-

че или, лучше сказать, можно ли принудить Софью Петровну поступать иначе, покуда имение будет номинально принадлежать ему, Егору Александровичу? Не выгоднее ли продать теперь же имение, оставив за собой небольшой участок земли, где можно исподволь начать, если вздумается, маленькое сельское хозяйство не с голыми руками, а с кое-каким капиталом, вырученным хотя от продажи разной движимости, если не от продажи самого имения? Старик не без изумления увидал, что Егор Александрович обдумал дело не хуже, чем обдумал бы это он сам. Он поднялся с места и, потирая лоб, стал ходить быстрыми шагами по комнате, повторяя:

— Так, так!.. Экая ведь досада, что у меня теперь нет свободных денег... Я бы тебя, Егорушка, выручил, верь мне... Ну, да это не беда... Приищем покупщика... Что бы ты сказал, если бы Протасов...

Он взглянул испытующим взглядом на племянника, точно хотел прочитать в его душе, какое впечатление на молодого человека произведет этот вопрос.

— Мне, дядя, все равно, кто купит, лишь бы больше взять,—спокойно ответил Егор Александрович.

— Больше Протасова никто не даст... Ему имение нравится, да и с руки ему...

Егор Александрович нерешительно заметил:

— Но, дядя, вы не берете одного в расчет... Я не знаю почти вашего Протасова и потому не могу судить о его характере... Но не прижмет ли меня именно он... Эта глупая—вы меня извините — история с сватовством могла его разозлить.

Алексей Иванович замахал руками и вздохнул.

— Ну, Егорушка, ты уж о сватовстве-то не говори... Провалились мы на нем... Ах, как провалились!.. Ты, верно, еще ничего не знаешь? А я боялся за тебя... Тоже у тебя гонор... Во-первых, барышня сказала прямо отцу, когда он ей заикнулся о твоих планах, что за тебя она никогда не выйдет, что за первого встречного дурака пойдет, а не за тебя, и, во-вторых, конкурент у тебя явился опасный — Томилов... Старые девы на стену лезут, только бы женить его на Марье Николаевне... Еще бы, камер-юнкер и в будущем граф Слытков-Томилов. Не шутка!..

— Ну, и дай бог им совет да любовь! — равнодушно сказал Егор Александрович.

— Мы тут в семье толковали, как бы поделикатнее сообщить тебе об этом, и ума не приложили.

— Да я же сам отказался от женитьбы...

— Ну, так тебе и поверили! — сказал дядя.— А вот как Протасов мне сообщил об отказе дочери, так тут уж нельзя было не поверить. Меня точно водой холодной обдало... Думаю: «Что теперь Егорушка станет делать?» Мои тоже чуть не ревут: «Бедный Егораша, ах, Егораша».

Егор Александрович не выдержал и разразился смехом.

— Так вот почему вы все на меня с такими постными физиономиями смотрели! — проговорил он, продолжая смеяться.— А я сразу и понять не мог...

— Да, тебе смех, а ведь штучка-то выгодная ускользнула из рук,— сказал Алексей Иванович.

Потом он заговорил уже более веселым тоном.

— Протасов даже немного повздорил с дочерью и извинялся передо мною в неловкости,— продолжал Алексей Иванович и засмеялся.— Я великодушно простил!

— Значит, вместо убытка барыш? — шутливо сказал Егор Александрович.— А я со своей стороны боялся, что ты на меня дуться будешь, что я испортил твои отношения к Протасову...

— Нет, брат, мне во всем удача: вон в Москве у меня дом сгорел — продать бы его, и десяти тысяч не дали бы, а сгорел — сорок получил из страхового общества. Полоса теперь такая у меня, чтобы только не сглазить...

— Ну, вот ты и мне с легкой руки помоги выпутаться...

— Хорошо, хорошо!.. Я что, это твоя мать-то, Егорушка, мне вот насчет Поли твоей плела... Не то ты законным браком жениться на ней хочешь, не то... черт знает, что ты придумал...

— Все пустое, дядя,— ответил Егор Александрович.— Жениться я на Поле не могу, хотя, может быть, это и следовало бы сделать. Но это выше моих сил...

— Ну, какая же она тебе пара?!

— Нет, дядя, не то!.. Не потому не могу я жениться на ней, что я лично считаю ее неровной мне, а потому, что мне пришлось бы порвать связи со всеми родными... Ведь даже ты, добрейший мой человек, не

пустил бы своих дочерей ко мне, если б она была моей женой?.. Да?

— Что и говорить.

— Ну, а отказаться от всей родни, от всех связей я не в силах... Бесчестно это или нет?.. Может быть, я тут сам с собою играю в прятки... сам я еще не могу разобраться в своей душе, но это так... Но, не женясь на ней, я не брошу ее. Она будет иметь место в моем доме, ей по духовной я оставляю после своей смерти все, что имею...

— Ну, умирать-то тебе еще рано...

— Кто знает... Камень с крыши может упасть и убить.

— Ну его к черту, этот камень... Ты о жизни думай, а не о смерти... Тяжело тебе, Егорушка, будет ради нее обречь себя на холостую жизнь...

Егор Александрович пожал плечами.

— Кататься умел, дядя, нужно и саночки уметь возить... Впрочем, ты ошибаешься, если думаешь, что я не люблю ее, или она не любит меня... Я счастлив и этой любовью, а другой — найдешь ли ее еще? Любовь и счастие — мало билетов с этими выигрышами в жизненной лотерее!..

И, переменяя разговор, он еще раз спросил Алексея Ивановича:

— Так ты одобряешь мои планы?

— Еще бы! Другого выхода и нет! Станешь путаться с новыми займами — все ухлопаешь на одни проценты, да еще и мать будет требовать на широкую жизнь. Ведь нельзя же сокращать свои расходы, когда владеешь таким имением, как Мухортово! Тоже мотовка она у тебя!

У Егора Александровича стало совсем легко на душе. Вернувшись из кабинета дяди на террасу, где барышни Мухортовы вышивали русские полотенца, а сын хозяина дома читал вслух какую-то книгу, Егор Александрович не мог не рассмеяться, подметив снова обращенные на него не то участливые, не то пугливые взгляды. Он подошел к кузинам и весело проговорил им:

— Ну, а теперь позвольте вас расцеловать за участие. Я не умираю, не погибаю и чувствую себя более счастливым, чем когда-нибудь!

Он притянул к себе этих румяных, откормленных и добродушных девушек и не без удовольствия расцеловал их прямо в губы. Кузен тоже поднялся с места и протянул ему широкую, полную, белую руку и, крепко сжимая ею руку Егора Александровича, с чувством проговорил:

— Молодец, Егораша; наплюй на все! Свет не клином сошелся. Мы тебе другую найдем...

— Нет, уж ты мне лучше на хорошие места на охоте укажи, Павлик,— ответил, смеясь, Егор Александрович,— а невесту я сам найду.

Павел Алексеевич, очень походивший на откормленного теленка, с крупными розовыми губами и большими простодушными молочно-голубыми глазами, бросился обнимать кузена, звонко и сочно целуя его.

— Знаешь, Павел, когда ты так целуешь, аппетит возбуждается,— со смехом сказал Егор Александрович.

— Меня, что ли, съесть хочешь? — в свою очередь, засмеялся сын хозяина.

Егор Александрович с любовью взглянул на него и взял его за подбородок.

— Что ж, аппетитный кусок!

— Нет, уж я лучше велю завтрак подать! — ответил Павел Алексеевич.— Кстати, и мама посмотрит на тебя. А то она, бедная, боялась и выйти к тебе. «Взгляну, говорит, на него и разрыдаюсь».

II

Был третий час дня в исходе, когда Егор Александрович возвращался домой от дяди. Погода стояла превосходная. Кругом все было залито солнцем, в бездонном голубом небе не было ни облачка. Кругом царила невозмутимая тишина. Егор Александрович шел неспешными шагами домой по берегу Желтухи. Кое-где в стороне виднелись покосившиеся избы, ветхие крестьянские постройки. Смотря на них, Егор Александрович невольно вспомнил про недавно просмотренные им счеты. Здесь нищета, быть может, голод, а там в этих счетах значились цифры вроде пятисот рублей, заплаченных за кружевные манжеты и воротничок, вроде тысячи шестисот франков за одно до-

машнее платье, сшитое в Париже. Ему вспомнилось и то, что он сам проигрывал иногда в ландскнехт сотни рублей, бросая эти деньги, взятые у народа, как бросают ненужные тряпки. Сколько мерзостей и подлостей делают люди, даже считающие себя и считающиеся честными людьми,— делают только потому, что не задумываются над своими поступками, не отдают себе строгого отчета в своих действиях. Ему вдруг вспомнились почему-то слова Протасовой: «Шампанское пьете и устриц едите?» Его мысли перешли к ней. Какая странная эта девушка! Сколько в ней отталкивающего и сколько привлекательного. Но что же в ней привлекательного? В этом он не мог дать себе отчета, не мог указать на что-нибудь определенное. Определенными у нее были только недостатки. И с чего это он задумался о ней? Что она? Пустая болтунья, понадергавшая фразы в разных книжках, вот и все, что можно сказать о ней. Тут нет ни глубины, ни искренности, а все напускное, начиная с ее пресловутой резкости и откровенности и кончая ее не то мужицкими, не то мальчишескими манерами. В ней, кажется, нет даже нравственной чистоты. Он иронически усмехнулся, сделав этот приговор. Не говорит ли в нем зависть? Как же, она выбрала Томилова, какого-то Коко Томилова, а не его! Ему ли не злиться на нее!

— А, это вы? Какими судьбами вырвались из своей берлоги? — вдруг послышался голос откуда-то снизу.

Егор Александрович оглянулся и увидал внизу, у берега реки, образовавшей в этом месте маленький залив, лодку у стоявшего тут плота. В лодке сидела Марья Николаевна и господин с pince-nez на носу,— это был Томилов. Молодые люди удили рыбу. Мухортов раскланялся с Протасовой.

— А вас нынче нигде не видно,— сказала она.

— Дела много,— ответил Егор Александрович, спустившись на плот и пожимая протянутую ему руку.

— Вы не знакомы? — спросила она Егора Александровича, указывая ему на сидевшего с нею в лодке господина.— Я вас, кажется, не представила в прошлый раз...

— Нет,— ответил Мухортов.

— Наш сосед, Николай Александрович Томилов,— сказала она.

Молодые люди холодно раскланялись. Егор Александрович облокотился на перила плота.

— Вы, впрочем, знакомы с его дядюшками... Помните графов Слытковых?..

Потом, с гримасой отвернувшись от своего спутника, она заговорила, со смехом обращаясь к Егору Александровичу:

— А я уж думала, что вы скоропостижно умерли или уехали. Справлялась у ваших кузин, говорят: «Бедный Егораша сидит все за делами».

Она ловко передразнила тон кузин Мухортова. Он усмехнулся.

— Отчего же «бедный»? Я, напротив того, именно теперь чувствую себя отлично, вследствие обилия дела.

— Вот как! А я и не подозревала, что вы такой любитель заниматься,— проговорила она с иронией.

— Я же всю жизнь провел, работая в своем кабинете,— ответил он и шутливо прибавил: не будь этого, я бы, вероятно, хандрил, как вы.

— Кто вам сказал, что я хандрю? Никогда я не думала хандрить! Вот выдумали!

— Да? — коротко спросил он и хотел откланяться.

— Как, вы уже убегаете? — спросила она.

— Чтоб не мешать вам... Вы, вероятно, страстно любите уженье рыбы?.. Это, должно быть, точно интересное занятие... Говорят, многие могут целые дни проводить за ним...

Он говорил серьезно, но Марье Николаевне послышалась в его тоне насмешка. Она вспылила и задорно сказала:

— Вы, кажется, хотите сказать, что это глупое занятие? Но ведь не всем же заниматься такими серьезными делами, как вы...

— Еще бы,— ответил он просто,— когда дело идет о том, чтоб спасти хоть кое-что и не пойти по миру, так уже это, наверное, серьезнее уженья рыбы, но это вовсе не значит, что я должен смеяться над теми, кто удит рыбу, не имея нужды думать о куске хлеба...

Она вдруг сделалась серьезною и поднялась с места. Лодка сильно закачалась от резкого движения. Томилов схватился за плот.

— Как вы неосторожны! — проговорил он, видимо, струсив.

Она не обратила внимания на его замечание.

— Присмотрите за моими удочками,— сказала она ему тоном приказания.

— Вы уходите? — чуть не с испугом спросил он.

— Не могу же я целые часы не сходить с места!.. Я пройдусь с monsieur Мухортовым, а вы ждите меня...

Она пошла с Егором Александровичем и быстро заговорила:

— Извините меня! Я рассердила вас. Я ведь слышала, что вы действительно заняты серьезным делом, приковавшим вас к дому. У меня скверный характер, я часто смеюсь над тем, пред чем надо преклоняться.

— Вы всё впадаете в крайности,— спокойно ответил он.— Над моим положением нельзя смеяться, но и преклоняться тут не перед чем. Я сижу за работой, потому это неизбежно. Вот и все.

— Ну, вам стоило...— быстро сказала она и вся вспыхнула, оборвав фразу.

Но тотчас же, оправившись, она переменила разговор.

— Зачем вы сказали при Томилове, что ваши дела плохи? Это дрянной фатишка, смотрящий с презрением на всех, кто беден.

— Мне же нет никакого дела, как он будет смотреть на меня,— сказал Мухортов.

— Да, но все же вам придется встречаться, а он по глупости не умеет даже соблюдать приличий... и сплетник он.

— Я, вероятно, никогда и не встречусь с ним. Ко мне он не приедет, а я к нему тоже не поеду, а где-нибудь в другом месте — я, право, не надеюсь бывать, где бы то ни было... по крайней мере, теперь...

— То есть, как же? — спросила она.

— Деревня тем и хороша, что можно уединиться, уйти от людей,— пояснил он.— Я ведь по натуре домосед, кроме того... помните те годы, когда вы назвали меня «бедным слепеньким»... я тогда уже пристрастился к уединенной жизни.

Она живо вспомнила этот случай.

— Да, да, я вас поводить тогда по саду хотела из жалости...

— И очень огорчились, когда я сказал, что я вовсе не хочу ходить, что мне очень хорошо и в моем одиночестве...

Она вдруг впала в раздумье. Выражение ее изменчивого лица сделалось грустным.

— Да, я уж такая... всегда являюсь невпопад и с своими насмешками, и с своими сожалениями,— задумчиво проговорила она.

И как-то резко, оборвав речь, протянула руку Мухортову.

— Ну, прощайте! — сказала она, поворачивая по дороге в обратную сторону.

Его несколько озадачила эта неожиданность.

— Как, опять удить? — спросил он.

— А то как же!.. Мой поклонник, я думаю, уже соскучился... Ведь это новый претендент на мою руку,— сказала она с горькой усмешкой.— Он вполне уверен в успехе. Это очень забавно...

— Зачем вы шутите тем, чем вовсе не следует шутить,— заметил Мухортов искренним тоном.

— Чем это?

— Чужим спокойствием, чужим сердцем.

Она засмеялась.

— Сердцем пошлого фата! Вот нашли кого жалеть! Какие сентиментальности!

Он смотрел на нее совершенно серьезно.

— Может быть, это и точно смешно, но я, право, не стал бы для шутки давить даже червей и улиток. Впрочем, в детстве, а оно всегда жестоко, это иногда доставляет удовольствие...

Он откланялся и пошел вперед. Она что-то хотела крикнуть ему вдогонку, раздражительно топнула ногой, как рассерженный, капризный ребенок, и, до боли закусив губы, пошла поспешно к своему спутнику.

Он по-прежнему сидел на лодке, у плота, пристально смотря безжизненными глазами на поплавки. Но его губы были надуты, брови сдвинуты, лицо выражало неудовольствие. Марья Николаевна подошла к плоту, облокотилась на перила и стала бесцельно смотреть на воду. Томилов искоса поглядывал на нее, ожидая, что она заговорит первая. Но она, по-видимому, даже забыла о его существовании. Наконец ему надоело это безмолвие, и он спросил ее:

— Вы больше не желаете удить?

— Нет,— ответила она, очнувшись, и провела рукой по глазам, как человек, пробужденный от тяжелого сна.

— Значит, можно ехать? — спросил он.

— Да, поедемте,— рассеянно проговорила она.

Она сошла с плота в лодку, села и опять задумалась. Томилов собрал удочки и взялся за весла. Приходилось грести против течения. Томилов, как непривычный гребец, греб с трудом; по его бледному лицу струился пот. Он тяжело вздыхал. Наконец он заговорил:

— Вы меня страшно мучите, Марья Николаевна.

— Что же, не мне ли прикажете грести? — с иронией спросила она, очнувшись.

— Я не о том,— ответил Томилов.— Я говорю о том, что вы играете со мною, как кошка с мышью...

— Я?

— Да вот хоть бы сейчас. Подошел этот господин... как его?.. Мухортов?.. И вы тотчас же бросили меня...

Он перестал грести, лодку потянуло по течению назад.

— Если вы не будете грести, мы никогда не доедем, и я сейчас же выйду,— резко заметила она.

Он опять принялся грести.

— Какое право имеете вы требовать, чтобы я ни с кем не говорила, ни с кем не ходила? — сказала она.

— Я этого не требую, не смею требовать,— ответил он.— Но господин Мухортов... Он сватался за вас... он ухаживает...

— Вы лжете! — резко оборвала она его.— Никогда он не сватался за меня, не ухаживал... Очень нужно ему заниматься мною...

Ее голос оборвался.

— Весь уезд знает, что этот Егораша...— начал с презрением Томилов.

— Не смейте его так называть! Вы не имеете права, да, не имеете права! — загорячилась она.

Он передернул плечами.

— Вы влюблены в него?

— Да!

У него выпали из рук весла. Лодку опять понесло назад.

— Причаливайте к берегу, я пойду пешком,— резко командовала она.

Он сделал усилие, чтобы совладать с собою, и с горечью заметил:

— Вы жестоки! Можно ли так издеваться над человеком, как вы издеваетесь надо мною! Вы знаете, что я предан вам всей душою, что вы для меня все...

Она уже не слушала его и опять забылась. В ее душе совершалось что-то странное, непонятное для нее самой. Перед ней носился образ Егора Александровича. Она злилась на себя за то, что не могла отделаться от дум о нем. Что он ей? Он ее не любит. Он почти порвал с нею всякие сношения. Он, может быть, презирает ее. Да, он смотрит на нее, как на пустую девушку, на капризную барышню. Впрочем, она первая отказалась выйти за него замуж. Да, отказалась и никогда, никогда не вышла бы, если бы он даже и попросил ее руки. Ни за что на свете не вышла бы! Она даже не замечала, что по ее щекам текут слезы. Но это не ускользнуло от внимания Томилова. Он встревожился.

— Вы плачете? — тихо спросил он.— О чем?

Она опомнилась и, собравшись с силами, еще не без смущения, ответила:

— Вы ведете себя непозволительно!.. Пользуетесь, что я не могу уйти, и допрашиваете... Ведь не в воду же мне броситься!.. Я вам не дала еще права на эти допросы... Хуже инквизитора!

— Я этого жду так долго,— сказал он.

Она отерла слезы и уже насмешливым тоном спросила:

— Так долго, что даже соскучились?

— Исстрадался!

— Говорят, страдать из-за любимого человека так сладко... Я вот и доставляю вам случай испытать это наслаждение...

Она передернула плечами.

— Да гребите же проворнее! Это, право, скучно... Сидеть целые часы tête-à-tête[1]!..

Они причалили к берегу и остановились у плота, от которого шла дорога к протасовскому саду. Марья

---

[1] наедине *(фр.)*.

Николаевна быстро выскочила из лодки и направилась к дому. Привязав лодку, Томилов пошел за нею. Он дышал тяжело от усталости и отирал платком покрытое потом лицо. В сотый раз он бесился в душе на Марью Николаевну за то, что она заставляла испытывать его: она то заставляла его скакать с нею сломя голову на лошади, то водила его до усталости по лесу, собирая разные ягоды, то держала при себе по целым часам за уженьем рыбы, и потом он обязан был грести, то засаживала его читать ей вслух какие-то русские романы, капризничая и сердясь за то, что он читает без чувства, как дьячок. И зачем он все это делает, если она любит другого? Да точно ли она любит? Может быть, это просто каприз, новая шутка над ним, Томиловым? А если она точно любит? Ну, так что же, эта любовь пройдет, так как Мухортов не любит ее. Если бы сказать ей, что он находится в связи с горничной? Об этом весь уезд уже знает через каких-то приживалок. Как жаль, что их нельзя свести с нею. Они открыли бы ей глаза. Но разве может он, Томилов, сказать ей это? Правда, она иногда сама говорит о таких предметах, что ее останавливают, приходя в ужас от ее невоспитанности. Но все же ему неловко. Он не знал, на что решиться...

III

Эта встреча не оставила почти никакого следа в душе Егора Александровича. Он только мельком подумал: «Хорошо еще, что эта девушка не вздумала поиграть так со мною, как она играет с Томиловым». Потом в его уме мелькнула мысль: «И какое счастие, что я отказался от нее, что этот брак не состоялся; с нею я никогда не был бы счастлив; эти вечные переходы от необузданности к грусти, эти капризные ребяческие выходки измучили бы меня». Затем он совсем перестал возвращаться к вопросу о Протасовой, так как более серьезные события всецело поглощали его внимание. Не говоря уже о том, что он приготовлялся к близившейся продаже имения, он должен был круто и резко порешить вопрос о Поле. Несмотря на его отказ уговорить девушку выйти замуж или, вернее, вследствие этого отказа, на нее напали все

с приставаньями, чтобы она шла замуж. В доме был целый заговор дворни; вся эта родня почуяла, что разорение на носу, что надо урвать поскорее все, что можно, и потому без конца судила и рядила о выдаче замуж Поли. В отказе Егора Александровича уговорить Полю выйти замуж все видели желание барина избавиться от лишних неизбежных расходов на приданое. По целым вечерам «пилила» теперь Полю Елена Никитишна, та самая Елена Никитишна, которая так долго делала вид, что она даже не замечает связи своей племянницы с барином. Прокофий, подвыпив для храбрости, дошел даже до того, что хотел в самом деле оттаскать дочь за косы. Теперь в дело впутались и Дорофей кучер, и Глашка горничная, и Анна скотница, и Матюшка повар, уже не боявшиеся, что на них «зыкнет» тетушка Алена Никитишна, и понимавшие, что «девку нужно долбить и долбить, пока она не восчувствует». Несмотря на все пренебрежение Елены Никитишны к Агафье Прохоровне, последняя была тоже «натравлена» на Полю мухортовской домоправительницей, так как теперь не приходилось «брезговать» никем и ничем.

— И глупа же ты, Полинька, как я посмотрю на тебя,— заговорила Агафья Прохоровна в то самое утро, когда Егор Александрович ходил к дяде за советом.

Поля по обыкновению вышивала на галерее. Агафья Прохоровна сидела около нее со своим вечным вязаньем.

— Своего счастия ты не понимаешь,— продолжала старая дева.— За тебя жених сватается, а ты — вот бог, а вот порог. Разве это дело?

— Одного любить, за другого замуж идти? — проговорила Поля.

— Да кто тебе мешает любить-то? Люби, сколько влезет. Ты голову-то свою прикрой только; ребеночка-то — ведь не ровен час и это будет — законным порядком роди. Так-то, что он будет? Сласть какая ему, когда подрастет, да узнает, что он от девицы рожден. Уж это самое последнее дело, от девицы родиться! И еще будь богачка какая — куда ни шло. А то и срам, и бедность! Нечего сказать, хорошую долю ребенку готовишь...

— Его Егор Александрович не оставит,— со вздохом сказала Поля.

— Что же, ты просила его дать на ребенка-то денег?

Поля вспыхнула.

— За деньги разве я люблю?

— Глупая, глупая! Не за деньги! Да ребеночек-то что станет делать без денег? Или ты думаешь, что Егор Александрович сам его сейчас обеспечит? Так на это господа-то недогадливы. А-ах, как недогадливы! А случись, что умрет Егор Александрович вдруг, тогда и иди с дитей по миру...

— Что вы такое пророчите, господи боже! — чуть не плача воскликнула молодая девушка.

— Не пророчу! Пусть живет! Мне что? Не мой хлеб ест... А в животе и смерти бог волен. Умрет — поздно будет думать, как дитя прокормить...

Агафья Прохоровна на минуту смолкла, постукивая с раздражением вязальными спицами. Потом, как бы про себя, заговорила со вздохом:

— Вот уж, поистине, таким-то, как ты, матерями не следовало бы быть. Повеситься милому дружку на шею, себя потешить,— на это вас хватит, а материнского чувства, заботы этой самой о своем детище — этого от вас не жди. Ни боже мой!.. Что вам дитя? Родила его, да и бросила, хлопот меньше. Пусть голодает да холодает!

Поля чувствовала, что по ее телу пробегает дрожь. Она сделала над собой усилие и сказала:

— Говорю я вам, что Егор Александрович не оставит нас...

— Ну, а я говорю, что это вилами на воде писано. А вышла бы замуж, он бы и дал обеспечение. Боишься-то ты чего? Муж-то в твоих руках будет, когда капитал при тебе будет. Хочешь — живи с ним, хочешь — нет. Будешь только знать, что и твой грех прикрыт, и дитя, чье ни на есть, а все же законное...

Потом, тяжело вздыхая, она прибавила:

— И Егору Александровичу-то руки развязала бы, вздохнул бы он свободнее... знал бы, что ты пристроена, значит, и он свободен: хочет — женится, хочет — нет...

—Никогда он не женится! — воскликнула Поля.

— Еще бы, когда ты его по рукам связала. Тоже человек он честный, да добрый...

Поля подняла голову и как-то растерянно взглянула на Агафью Прохоровну.

— Может быть, он никогда тебя, замужнюю, не бросит, так все же будешь ты знать, что это он по доброй воле тебя не бросает, а не потому, что стыдно так девку без угла, без призора оставить... Конечно, сам он не станет приневоливать замуж идти, а поди, загляни в душу-то ему — возликовал бы, если бы сама своей волей пошла замуж...

— Да вы-то, вы-то в его душу заглядывали? — с укором сказала Поля.

— Знаю я их всех, господ-то этих!.. Тоже и он мало ли что Софье Петровне говорит... «Не могу, говорит, я жениться, покуда Поля не пристроена»... Ну, вот не сегодня, так завтра и пойдет с сумой...

— Как с сумой?

— Скажите, пожалуйста, она не знает, что у нас все продавать будут... От богатства-то имение с молотка не продают!.. Вот женился бы на Протасовой, так дело-то иначе пошло бы... Да и то сказать, кто ж за него пойдет, если у него полюбовница есть в доме... Будь ты замужем — никто бы на тебя и внимания не обратил, мало ли господ к чужим женам приваливается...

Перед Полею открывалась какая-то пропасть. Как? Егор Александрович из-за нее пойдет по миру? Ради нее ему отказывают невесты? Что же он молчал! Да и то сказать, мог ли он, такой добрый, такой нежный, высказать ей это? Агафья Прохоровна продолжала «долбить девку», но Поля уже не слушала ее. В порыве великодушия она готова была сейчас же бежать к Егору Александровичу и сказать ему, что она выйдет замуж, лишь бы спасти его. «А сама в воду!» — вдруг пронеслось в ее голове, и ее охватило холодом. А ребенок? Душу детскую загубить? Она вдруг бессознательно перекрестилась, открещиваясь от греховной мысли.

— Ты это что? — спросила удивленно Агафья Прохоровна и даже испугалась выражения глаз Поли: они смотрели совсем безумными.

— Не говорите вы больше, Агафья Прохоровна,— дрожащим голосом произнесла Поля, а ее глаза про-

должали смотреть с тупым выражением ужаса.— На грешные мысли навели вы меня!.. Бог вам не простит, если я...

Она не договорила, машинально оставила работу, встала и медленно, с устремленными бесцельно вперед глазами вышла из комнаты. Ее била лихорадка, так живо представилось ей, как она бросилась в воду и в то же время почувствовала, когда уже не было возврата к жизни, последнее биение ребенка под сердцем. Войдя к себе в комнату, она, как подкошенная, упала на колени перед образами и долго билась головой об пол, прося прощения у всевышнего...

Когда вечером она вошла к Егору Александровичу, он изумился происшедшей в ней перемене. При первом его вопросе, что с ней,— она разрыдалась и рассказала все. Мухортов пришел в бешенство. Он видел, что кругом него составляется целый заговор. Целуя и обнимая Полю, он давал ей самые страстные клятвы никогда не бросать ее. Он убедил ее, что даже мысли не было у него о том, что она служит ему помехой в чем-нибудь. Но ей не нужно было уверений: два-три страстных поцелуя разогнали разом все мрачные думы, все сомнения. Она забывала всех и все, людей и будущее, себя и ребенка, наслаждаясь ласками любимого, обожаемого ею человека. Мухортов успокоился не так легко. Когда она ушла, он долго ходил по своей комнате, обдумывая, что делать. Он пришел к заключению, что прежде всего нужно «сжечь корабли»...

Рано утром он призвал Данилу Волкова и, дав ему жалованье за месяц вперед и деньги на проезд в Петербург, отказал ему от места. Этой развязки не ожидал никто в доме...

Пятая глава

I

На следующее утро в «страннооприимном покое» происходила горячая беседа. Данило Николаевич Волков не без злобной иронии и напускной развязно-

сти рассказывал Агафье Прохоровне, что ему «неожиданный реприманд сделали».

— Уволили-с! Оно, конечно, сгубить девчонку легче, чем наградить ее приданым,— развязно ораторствовал он.— Да и то сказать, слухом земля полнится: говорят, что сами ни с чем в трубу вылетят. Где же тут приданое давать! Жалованье, может быть, не из чего давать слугам...

— Ну, господа! Этакой пакости от них я и не ожидала! — восклицала Агафья Прохоровна, разводя руками.— И как же, так-таки и сказал, чтобы вы уезжали?

— Да-с, не нужен стал. Говорю вам: жалованья, может быть, не из чего платить! Ну, и придрался к случаю... Вот-то бы я дурака свалял, если бы женился, а после ничего не дали бы. Конечно, у них связи, пристроить бы могли. Да ведь нынче разоренные-то господа втуне находятся. Богатые-то с ними: бонжур, бонжур![1] — и на другую сторону улицы переходят, свой, значит, карман тоже берегут. Много у нас в столице этаких-то господ панели оббивает...

— Как же вы-то теперь, Данило Николаевич? — полюбопытствовала Агафья Прохоровна.

— Что же я? — небрежно ответил Волков.— Мест мало, что ли? У меня лучшие господа в Петербурге знакомы, деньгами даже кавалергардов ссужал. Меня многие знают. Встретят,— «а, говорят, Данило, как поживаешь?..» Я, признаюсь, и рад, что не навязал себе на шею гулящей девчонки. За меня всякая пойдет: чиновничьи дочери и те за счастие почтут. Притом же я еще в цветущих годах. Жаль было только девчонку, потому сгоряча и присватался. Это ведь так было, точно осенение какое. А теперь, как пораздумал, так и вижу, что закабалить себя хотел. Тоже еще погулять самому хочется...

Он стал развязно прощаться с Агафьей Прохоровной, пожимая по-приятельски ее костлявую руку. Когда он удалился, она рассмеялась ироническим смехом.

— Бахвал, право, бахвал! — проговорила она.— И как это стыда у человека нет врать. Кошки, чай, на сердце скребут, что сорвалось, а туда же, комедию

---

[1] здравствуйте, здравствуйте! (от фр. bonjour)

ломает. Ну, да он что! А вот наши-то хамки напоролись на историю, как-то выкрутятся?

Не прошло и полчаса, как Агафья Прохоровна уже завела беседу с Еленой Никитишной об отставке Волкова. Старая дева заговорила с мухортовской домоправительницей, перемывавшей чашки в столовой, самым невинным и мягким тоном:

— Что это я слышала, Елена Никитишна, будто Даниле-то отказал Егор Александрович от места? — спросила она.

Елена Никитишна смотрела озабоченно и рассеянно ответила:

— Да, да, отказал...

— Неужто правду это Данило-то говорит, что будто потому ему отказали, что он за Полиньку посватался? Оно, конечно, Егору Александровичу обидно так ее выдать, да ведь и то сказать, нужно же пристроить ее, обеспечить-то...

Против всякого ожидания Елена Никитишна не вспылила и не оборвала Агафью Прохоровну. Она была, видимо, подавлена какими-то нерадостными соображениями. Отставка Волкова подействовала на нее удручающим образом. Проект устройства участи Поли при помощи выдачи девушки замуж уже улыбался старухе. Он казался ей единственным счастливым выходом из затруднительного положения.

— Ведь уж не сам же Егор Александрович женится на Полиньке,— продолжала Агафья Прохоровна.— Как никак, а все же выдать ее замуж следовало бы. Разве только что так обеспечит, наградит ее. И Софье Петровне это, должно быть, очень огорчительно, потому, думала она, что вот устроят девушку...

— Устроишь ее! — ворчливо проговорила Елена Никитишна, поднимаясь с места все с тем же озабоченным выражением на лице.

— Да уж совсем она от этой любви в омрачение пришла, своих интересов не понимает,— сказала Агафья Прохоровна.— У вас-то, я думаю, голубушка, душа за нее изныла. Тоже не чужая.

Елена Никитишна только махнула рукой. Она поставила чашки в буфет и вышла из столовой, не говоря ни слова. Агафья Прохоровна ехидно улыбалась. Она видела впервые Елену Никитишну в таком настроении. Та была как в воду опущенная, растерянная

и подавленная. Старая дева с злорадством глядела ей вслед, очень хорошо понимая все, что творилось в душе ее главного давнишнего врага...

В самом деле, Елена Никитишна никогда не переживала более скверных минут, чем теперь. Она чуяла, угадывала, что разорение в доме было полное, что не сегодня, так завтра должна настать ликвидация дел. Что останется у Мухортовых? Будут ли у них средства содержать всю семью старых дворовых? Нежелание Егора Александровича пристроить Полю равнялось нежеланию выдать девушке несколько тысяч в виде приданого. Но даст ли эти деньги Егор Александрович так, без замужества девушки? Найдутся ли эти деньги после продажи имения, после уплаты долгов? И где будет жить Поля? У Софьи Петровны? Но Софья Петровна, может быть, останется с одной пенсией? У Егора Александровича? Но разве он, холостой человек, может жить с Полей в Петербурге вместе? А хватит ли у него средств держать ее на содержании отдельно от себя? В голове привыкшей властвовать, гордой по-своему старухи был невообразимый хаос. Она не могла ни до чего додуматься. В душе поднималась тайная злоба против Егора Александровича...

Старуха прошла в спальню Софьи Петровны, чтобы выслушать кое-какие приказания последней. Ее лицо было сурово, брови сдвинуты, губы сжаты. Софья Петровна с первых же слов своей домоправительницы заметила, что та не в духе. С Еленой Никитишной это случалось нередко, и тогда она становилась невыносимо груба с генеральшей, доводя последнюю чуть не до слез.

— Что это, Елена, ты, кажется, опять левой ногой сегодня встала? — сказала Софья Петровна недовольным тоном.

— Что же мне прикажете хохотать, что ли, когда на сердце кошки скребут,— отрывисто ответила Елена Никитишна.

— Да что случилось? — спросила генеральша.

— А то, что Егор Александрович отказал Даниле за то, что тот посватался за Полю. Вот что случилось!

— Как отказал?

— Обыкновенно, как отказывают нашему брату. Сегодня ему, завтра, быть может, мне, Прокофью,

Поле. Нищих-то еще мало по миру ходит! Прибавить нужно!..

— Да не ворчи ты, старая, а говори по-человечески! — нетерпеливо проговорила генеральша.— Что у тебя за манера раздражать! Хочется, верно, чтоб у меня мигрень сделалась!

— Ах, у меня у самой в глазах темнеет,— отрывисто ответила Елена Никитишна.

— Елена, да не мучай ты меня! — молящим тоном воскликнула Софья Петровна.

Она походила на слезливую просительницу; Елена Никитишна на суровую барыню.

— Сама я измучилась, сама! — с укором сказала старая служанка.— Вот думала, хоть пристрою девку, если уж греха не поправить. Так нет, выгнал Егор Александрович Данилу. Что же он думает с девчонкой сделать? Поиграть, да и бросить? Ведь ни на ней, ни перед ней ничего нет. Стыд один у нее, а больше-то эта самая любовь ей ничего и не принесла!

— Это надо разъяснить! — вскричала Мухортова.— Зачем он отпустил Данилу? Что думает делать?

— Ну, уж это не приходится мне-то у Егора Александровича расспрашивать! — резко сказала Елена Никитишна.— Не мать, не тетка я ему. Мне он отчета не обязан отдавать, хоть Поля-то мне и не чужая. Он и говорить со мной не станет, если уж с вами не советуется... Вот уж не ожидала я от него таких поступков! Этого наш брат, холоп, не сделает! Сгубить девчонку и бросить!..

— Молчи ты, Елена! Перестань ворчать! Это невыносимо! — заговорила генеральша.— Сын отбился от рук, ты нервы раздражаешь, тут эта свадьба не состоялась... Право, я слягу... Да, слягу, вот тогда и ходите за мной!.. Поди, попроси ко мне сейчас же Жоржа...

Елена Никитишна молча повернулась к выходу.

— У, злая! — детски капризным тоном произнесла генеральша ей вслед.

Она под влиянием чтения нового романа была в это утро в самом благодушном настроении, как будто в доме все шло наилучшим образом, не грозя никакими невзгодами в близком будущем. Слова Елены Никитишны спугнули это светлое настроение, и она те-

перь готова была капризничать, как избалованный ребенок, у которого отняли игрушку.

Егор Александрович удивился, когда его позвали к матери. Вообще он редко беседовал с ней; в последнее же время эти беседы были еще реже; он сам избегал их, сознавая, что ему предстоит вынести немало неприятностей и без них. Тем не менее он тотчас же пошел на половину матери. Он застал ее лежащею на кушетке с книгой в руках. Услышав его шаги, она отложила книгу в сторону, сделала строгое лицо и обратилась к сыну с вопросом:

— Жорж, я слышала, что ты отказал Даниле? Как же это?.. Он сватался за Полю...

— Вы за этим звали меня? — спросил сын, садясь на стул.

— Да. Надо же серьезно подумать о ее судьбе. Я тебе это говорила. До сих пор...

— Предоставьте это мне,— перебил он мать.— Я уже тоже говорил вам это...

— Нет, Жорж, так нельзя, так нельзя! — загорячилась Мухортова.— Девушку нужно выдать замуж, обеспечить. Это наш долг...

Он сделал нетерпеливое движение.

— Я вас попрошу более не говорить об этом,— резко произнес он.— На днях мое имение перейдет в чужие руки. Тогда...

— Жорж! — воскликнула генеральша, с ужасом приподнявшись на кушетке.

— У меня останется только охотничий домик над обрывом. Я поселюсь там. Поля будет жить у меня.

— Жорж! — снова повторила генеральша, точно не находя слов для выражения своих чувств.

И неожиданно поднялась во весь рост с места. Она была страшно взволнована. В ее глазах сверкнул недобрый огонек.

— Я тебе этого не позволю! Слышишь, я мать! Ты, ты будешь жить вдвоем с нею, как с женой? Никогда, никогда!

Она заходила по комнате.

— Я, наконец, теряю терпение! Продать все, сделать скандал, огласить разорение, сойтись, как с женою, с мужичкой... Ты с ума сошел? Да, да... Тебя лечить надо... лечить... И что скажет дядя Жак? Наконец, я могу попросить предводителя дворянства...

Ты еще мальчишка... давно ли стал совершеннолетним!.. Книг начитался!.. Студенты, должно быть, твои так живут... санкюлоты!.. Набрался идей и думаешь, что так тебе и позволят ходить с ними... Да, я обращусь к властям... есть же права...

Он, весь бледный, с дрожащими от гнева губами, тоже поднялся с места и повернулся к выходу.

— Попробуйте! — коротко и сухо сказал он матери.

В тоне его слов было что-то беспощадно суровое и холодное. Так иногда в былые годы говорил с ней ее покойный муж. Генеральша вздрогнула и вдруг с пронзительным криком бросилась за сыном.

— Жорж, Жорж, пощади! — воскликнула она, хватая его за рукав.— Я не вынесу, я умру!.. О, как ты жесток... Ведь это позор... Мне нельзя будет никуда глаз показать... Ну, сделай что-нибудь... извернись... займи... Я не знаю, что надо... Но нельзя же так, Жорж!.. Вспомни, кто мы!..

Она упала к его ногам, с театральным трагизмом простирая к нему руки.

— Ты видишь, я у твоих ног!.. Мать у твоих ног!..

Он передернул плечами. В его душе поднималось чувство гадливости, отвращения.

— Даже в горе ты разыгрываешь комедии,— прошептал он с горечью.

Его лицо выражало полное презрение к ней.

— Ах-ах-ах! — послышались истерические рыдания Мухортовой.— Изверг... бездушный... нигилист!.. Бог... бог... ах-ах-ах!.. отплатит тебе!.. В отца весь!..

Она билась на ковре в истерических конвульсиях. Егор Александрович был уже за несколько комнат. Ему становилось омерзительно это ломанье матери. Прежде все эти кризлянья, переходы от возвышенных фраз к истерикам, от жалующегося тона институтки к возгласам трагической героини, от угроз к пресмыканию у ног — только слегка раздражали его нервы, теперь он просто презирал эту женщину. Она изломалась, искривлялась до того, что в ней было все напускное: и горе, и радость, и пафос, и мягкость, и самые слезы. Про нее нельзя было сказать, что она притворяется; притворяются сознательно, она же вечно играла комедию, не сознавая даже, что она ее играет; она могла истерически рыдать и биться об пол

и в то же время испытывать что-то вроде того наслаждения, которое испытывает актриса, доходя в своей новой роли до настоящих обмороков. Егор Александрович очень хорошо знал, что его ожидает не борьба с матерью: генеральша была неспособна бороться; но его ждало худшее — ряд трагикомических сцен, ряд раздирательных криков о пощаде, ряд мелодраматических объяснений. Все это когда-то отравило жизнь отцу Егора Александровича. Все это нужно было вынести, так как нельзя было покуда ни выгнать ее, ни уйти от нее самому...

II

Единственным средством поскорей прекратить все домашние сцены была продажа имения сейчас же, не дожидая срока, когда придется продавать его с молотка по требованию кредиторов. Егор Александрович хорошо понимал это и боялся, что Протасов станет оттягивать дело или откажется от покупки. Имение было велико, и трудно было ожидать, чтобы покупка его произошла чуть ли не в один день; Егор Александрович понимал, что такой практический человек, как Протасов, десять раз подумает, прежде чем решится пойти на сделку. Надо было побудить дядю всеми силами налечь на Протасова. Егор Александрович пошел к Алексею Ивановичу с твердым намерением окончательно переговорить с ним обо всем. С первых же слов старик спросил племянника:

— Так ты бесповоротно решился на это?

— Да, но я боюсь оттяжек со стороны Протасова.

Старик усмехнулся.

— Младенец ты, Егорушка, в делах,— сказал он, дружески похлопав его по плечу.— Протасов ждет не дождется, чтобы захватить твое имение в свои лапы. Мы с ним, почитай, сто раз все осматривали. Ведь имение-то твое при деньгах — золотое дно. Будь у меня теперь свободный капитал, да я бы и заглянуть в твое имение не дал Протасову. Он целый год, да нет, больше году за мной ухаживает, чтобы эту сделку устроить...

Егор Александрович немного даже смутился и изумился, вопросительно взглянув на дядю. Он никак

не воображал, что за его спиной столько времени уже рассуждали о его неизбежном разорении. Они тут толковали об этом, делили, так сказать, его ризы, а он преспокойно смотрел на пиры и балы, даваемые его матерью на последние вытянутые из его имения деньги. В его душе поднималось горькое чувство обиды, досады на себя, на дядю.

— Конечно, если бы женитьба твоя состоялась, ему было бы еще выгоднее,— продолжал разъяснять дядя: — все равно имение-то прибрал бы он в свои руки, так как ты — какой же ты хозяин? Ну, и кроме того, новые связи явились бы у него; один ваш дядя Жак целого имения стоит. Ну, да сорвалось это — ничего не поделаешь; теперь Протасов много и торговаться не станет, лишь бы имения не упустить. С одной стороны, твой лес ему на руку, с другой — ведь у него тогда, с твоим-то имением-то, чуть не весь уезд в руках будет.

Старик помолчал, потом прибавил:

— Только вот что, Егорушка, ты все мне предоставь обделывать. Сам ты продешевишь. Протасов мужик умный и где можно своего не передаст; а ты сейчас выскажешь, что тебе приспичило скорей да скорей продать. Я не то; конечно, я ему добра желаю, потому мы рука об руку с ним идем, я у него, так сказать, на пристяжке покуда; но все же ты моя кровь — братнин сын. Протасову я уважить рад, но тебя пускать по миру мне не рука. Ты мне верь, я как перед богом говорю, я человек простой; выгоднее я это дело устрою для тебя, чем ты сам.

Егор Александрович усмехнулся.

— Не клянись, дядя, я и так поверю. К тому же я все более и более убеждаюсь, что я точно непрактичный, неумелый человек...

— Ох, Егорушка, правда, правда! Книги вас, нынешнюю молодежь, идеи губят,— вздохнул старик.— Политические экономии разные вы изучили, говорить станете — просто ахнешь, а приди к тебе первый встречный безграмотный кулак, так он тебе такую политическую экономию в глаза вотрет, что без рубашки из его рук выйдешь. Ей-богу!

— Знаю, дядя, знаю! — сказал со вздохом племянник.

— Ну, так по рукам!

Старик начал расспрашивать, хочет ли Егор Александрович оставить за собою известное количество земли или ему нужнее деньги. Егор Александрович объяснил, что он желает выторговать у Протасова для себя домик над обрывом, построенный когда-то для его отца. Земли ему почти не нужно, так как он не думает вовсе сделаться сельским хозяином. Деньги ему нужнее. Беседа длилась долго. На душе молодого человека было тяжело. Продажа родного, родового гнезда, скопленного в десятки лет скарба, сознание, что при известной практичности в этой продаже не было бы необходимости, все это было далеко не сладко. Его утешала одна мысль, что, принося эту жертву, он загладит все сделанные в прошлом глупости и промахи, что он сделается свободным от долгов, от матери, от прошлой беспутно-роскошной жизни на чужой счет.

Не прошло и трех дней, как к нему заехал с Алексеем Ивановичем сам Протасов. Софья Петровна в этот день была приглашена в гости к Алексею Ивановичу; старик озаботился устроить это так по просьбе Егора Александровича; Егор Александрович боялся, что мать сделает какую-нибудь бестактную сцену Протасову и как-нибудь испортит дело. При встрече с Протасовым Егор Александрович невольно изменился на минуту в лице. Его точно что-то кольнуло при виде этого человека, знавшего всю глубину его разоренья, всю его несостоятельность, как дельца, и смеявшегося, может быть, над ним в глубине души. Но Егор Александрович тотчас же совладал с собою и с холодной, светской вежливостью принял старика. От того веяло той же самой холодной сдержанностью. Они заговорили о продаже имения,— заговорили таким тоном, как будто это дело казалось пустяками для обеих сторон: одному не было вовсе нужды в продаже, другому — в покупке имения.

— Я буду очень рад сбыть всю эту обузу,— спокойно и небрежно сказал Егор Александрович, когда гости уселись в кабинете.— Сам я не умею хозяйничать, а нанимать бог знает кого — это значит разорять себя окончательно.

— Да, это правда,— ответил Протасов, закуривая сигару.— Мне тоже не особенно легко увеличивать

свое хозяйство, но просто хочется округлить некоторые части своего имения...

Потом он спросил Егора Александровича:

— А вы разве думаете все-таки здесь жить? Алексей Иванович говорил, что вы хотите удержать за собой охотничий домик...

— О, это прихоть! — ответил Егор Александрович.— Просто, как дачу, хочу удержать его за собою. Притом же это воспоминание об отце... А разве вас стесняет уступка его мне?

—Ну, это такие пустяки... К тому же не у места построен...

— Да, да,— вмешался Алексей Иванович.— Знаешь ли, Егорушка, говорят, что это место обрушиться может; Желтуха подмывает песчаный берег; сад, пожалуй, когда-нибудь обвалится...

— Не думаю, дядя. Об этом толкуют столько лет. Впрочем, если это случится — что ж делать. Авось это сделается не в то именно время, когда я буду там...

Егор Александрович улыбнулся.

— Купаться с домом во всяком случае не хотелось бы!

Затем Протасов заметил, что он хотел бы осмотреть дом.

— Вы ведь и всю движимость продаете? — спросил он.

— Да, не хотелось бы вывозить все это в Петербург... Притом я еще не знаю — буду ли я долго жить в Петербурге... Меня манит в один из заграничных университетов...

— Ну, да, знаем мы эти университеты! В Париже кутнуть хочется,— вставил Алексей Иванович, похлопав по плечу племянника.— Эх вы, молодежь!

— Отчего же и не отдать дани молодости? — заметил Протасов.— Это так естественно!

Все поднялись и пошли осматривать дом. Протасов останавливался перед такими вещами, которые, по-видимому, не имели никакой цены, и делал о них свои замечания. Все ценное он как будто пропускал без внимания.

— А тут был небольшой Теньер? — вдруг заметил он, окинув глазами стену одной из гостиных.— Вы его вынесли?

Егор Александрович растерялся. Он сам не знал, была ли тут картина Теньера или нет. Алексей Иванович поспешил ему на выручку.

— Нет, картина повешена на половине у Егорушки,— сказал он.— Тут ничего не унесено, все сполна осталось!..

Протасов ничего не ответил ему и, обращаясь к Егору Александровичу, сказал:

— Алексей Иванович говорит, что менее двухсот тысяч вы не возьмете?

Егор Александрович весь вспыхнул на минуту и чуть не вскрикнул от радости, пораженный сразу размерами цены и забывший о долгах. Но Алексей Иванович заметил это неосторожное движение племянника и быстро сказал:

— Это же действительно такая цена, которую каждый даст.

— Да, конечно, я и не спорю. Кому очень нужно,— ответил Протасов.— Я бы не дал, если бы надо было тотчас выдать всю сумму... Но на имении долги, уплату которых можно отсрочить.

Егор Александрович теперь только сообразил, что крупная сумма денег, обрадовавшая его, в сущности, перейдет не в его руки, а в руки его кредиторов.

— Алексей Иванович передал мне список долгов, они довольно значительны,— продолжал Протасов,— и это отчасти побуждает меня принять условия. Теперь у меня свободных денег не особенно много, соберутся только осенью... Вам придется выдать, кажется, тысяч двадцать с небольшим...

— Я могу,— быстро начал Егор Александрович, готовый рассрочить следовавшие ему деньги, лишь бы разделаться с имением, но дядя перебил его.

— Да, двадцать три тысячи. Их, конечно, нужно сейчас же выдать. Ведь ты, вероятно, очень не долго засидишься здесь, Егорушка.

— Право, не знаю,— сконфуженно ответил Егор Александрович.

Старик Мухортов чуть не ругнул его, угадав, что племянник готов рассрочить даже выдачу ему этих двадцати трех тысяч, лишь бы скорее все продать. Егор Александрович понял это и с усмешкой проговорил:

— Во всяком случае, я вас попрошу все деловые

переговоры окончить с дядею, он имеет от меня полную доверенность и знает все мои условия.

— Да мы уже все и обговорили,— заметил Алексей Иванович.

— Я тороплюсь продать имение, потому что моя мать на днях уезжает, а я сам — мне мешают все эти хлопоты в моих занятиях,— сказал Егор Александрович.

Они переменили тему разговора и, вернувшись в кабинет Егора Александровича, еще с полчаса беседовали о совершенно посторонних вещах. Егор Александрович делал все усилия, чтобы казаться спокойным; Протасов смотрел тоже равнодушно, как будто в эту минуту он и не помышлял о том, что он достиг одной из своих желанных целей. Даже Алексей Иванович усомнился в том, действительно ли Протасов уж так страстно желал купить это имение, как казалось ему, Алексею Ивановичу. Сам Алексей Иванович принадлежал к числу тех людей, которые не умеют скрывать свои чувства; он даже и не пробовал когда-нибудь надевать на себя маску, что, впрочем, не мешало ему быть ловким дельцом и человеком себе на уме. Он сам про себя говорил: «Я человек русский, я люблю говорить правду-матку» и прибавлял при этом: «Язык мой — враг мой, все выболтает»; он забывал прибавить при этом только одно, что, говоря правду-матку, он всегда как-то ухитрялся выдоить эту матку в свою пользу, и что его язык никогда не выбалтывал именно того, чего не следовало выбалтывать.

Когда гости уехали, у Егора Александровича точно гора свалилась с плеч, и в то же время он вдруг почувствовал страшный упадок сил. Ему казалось теперь, что если бы ему пришлось еще с час пробеседовать с Протасовым, то он расплакался бы, как нервная женщина. Несмотря на все доводы рассудка, он испытывал нечто такое, как будто его кто-то унижает, как будто он действительно переживает минуты позора. Но разве разорение позор? Разве желание честно расплатиться с долгами, заявив это прямо и открыто, может быть унизительным? Он задавал себе эти вопросы и все-таки не мог побороть какого-то обидного чувства, вызывавшего на его лицо краску стыда...

Софья Петровна вернулась домой от Алексея Ивановича только вечером и привезла сыну письмо от старика Мухортова. Дядя извещал, что дело улажено, и тут же не без юмора замечал, что дело, в сущности, было улажено еще несколько месяцев тому назад, но что Протасову нужно было комедию осмотра разыграть. «И что осматривал,— писал старик,— то, что как свои пять пальцев изучил. Небось, Теньера вспомнил! Его, брат, на кривой не объедешь. Он не то, что мы, простаки!» Не прошло и получаса, как подали чай. Егор Александрович с тревогой в душе, но стараясь сохранить наружное спокойствие, вышел в столовую, где уже сидела Софья Петровна, просматривавшая привезенные без нее письма.

— Ах, этот cher oncle Jacques! [1] — воскликнула она, читая одно из писем.— Я так и знала, что он будет на моей стороне!..

Она обратилась к сыну.

— Он очень, очень недоволен тобой, Жорж... Я так и знала это вперед!.. Он тоже советует мне в крайнем случае обратиться к предводителю дворянства, если ты не послушаешь и его советов...

Егор Александрович рассеянно поднял глаза на мать, не поняв сразу, о чем она говорит.

— Каких советов?

— Не продавать Мухортова, извернуться, ну, как-нибудь там все уладить... Тысячи людей входят в долги и изворачиваются же... Кто же теперь из порядочных людей не в долгу?.. Все по уши в долгах!.. Мы не кто-нибудь, слава богу...

— Что же, он предлагает деньги? — насмешливо спросил Егор Александрович.

— Жорж! Разве ты не знаешь, что бедный дядя Жак сам вечно без денег? — воскликнула Мухортова.— Разве он, будь у него средства, стал бы служить,— он, любящий так жизнь!.. Не будь его дела в таком страшном положении, он давно бросил бы службу, уехал бы в Париж... Разве его место в Петербурге, в этих противных канцеляриях?

Егор Александрович насмешливо усмехнулся.

— Ну, а советы без денег не ведут ни к чему,— ответил он.— И дело, слава богу, кончено к тому же...

[1] милый дядя Жак! *(фр.)*.

Генеральша всплеснула руками.

— Как кончено? Как? Я тебя не понимаю!

— За мною останется охотничий домик,— сказал Егор Александрович.— Ваши долги я уплачу... Их на несколько тысяч... Вам я не могу предложить более двух-трех тысяч... И это мне будет нелегко... у меня не останется почти ничего... Вы же... у вас пенсия... масса ненужностей, которые можно обратить в деньги, и... вы к тому же, вероятно, поселитесь у дяди Жака... Ему это даже будет приятно при его одиночестве...

— Боже мой, боже мой, что ты говоришь! — вскричала Мухортова.

Егор Александрович поднялся с места, предчувствуя начало раздирательной сцены. Он был страшно бледен и взволнован.

— При себе я оставлю только некоторых слуг,— продолжал он.— Елена Никитишна, конечно, не расстанется с вами, Григорий молод и легко найдет место у какого-нибудь мастера... Если нужно, я помогу... Глаша тоже... Другие могут поселиться покуда у меня. Места хватит. Выгнать их было бы грешно. Мы сделали их негодными ни к какой службе...

Он чувствовал, что он дальше не может говорить. Его самого душили невольные, непрошеные слезы, и в то же время в душе поднималась злоба против самого себя за это малодушие. Софья Петровна закрыла лицо руками и разрыдалась. Он вышел из столовой и неожиданно наткнулся на Елену Никитишну. Она, как ему почему-то показалось, подслушивала у дверей.

— Елена Никитишна, мать, вероятно, на днях уедет отсюда навсегда,— сказал он.— Я продал имение... Вас, конечно, должна заботить участь Поли.

Елена Никитишна вдруг поднесла платок к глазам и, тихо плача, проговорила:

— Бог вам судья, Егор Александрович.

— Не плачьте... она не будет брошена... Я сделаю для нее все, что могу,— сказал он серьезно.— Она останется с отцом при мне, и что бы ни случилось,— они будут обеспечены.

Елена Никитишна смотрела на него растерянным взглядом, не понимая, в сущности, что он говорил. Она не верила, что он мог оставить при себе Полю,

жить с нею, как с женою, здесь, на виду у родных. И в то же время она не понимала, как он обеспечит ее племянницу, когда он разорен. Останется ли у него что-нибудь? Передаст ли он что-нибудь Поле? Эти вопросы вертелись на языке у старухи, и в то же время она не смела произнести их. Она только прошептала:

— Бог вас накажет, если вы ее бросите!.. Погубили вы девчонку!..

Он ничего не ответил и прошел на свою половину. В комнате было душно. Он отворил дверь и вышел на террасу. Летняя ночь пахнула ему в лицо теплом и ароматом. Он прислонился к косяку двери, и вдруг в его душе воскресли воспоминания прошлого. В этом доме он родился. По этим аллеям он бегал, играл в детстве. Здесь, на этой террасе, он просиживал долгие часы у ног любимого старика, читавшего ему вслух величайшие создания поэзии. С удивительною ясностью в его воображении прошли различные эпизоды прошлой жизни. Неизвестно почему, он вспомнил одну сцену: в большой зале, на черном катафалке, лежал старик с седыми, коротко остриженными волосами, с седыми же длинными усами, с покойным, серьезным лицом; в ногах старика, перед аналоем, стоял монах и читал псалтырь; кругом теплились толстые восковые свечи; во всем доме пахло ладаном. Бедный отец! Это он успокоился здесь после долгой боевой службы и после долгих семейных дрязг, доведших его до того, что он, герой двенадцатого года, умолял перед смертью не впускать к нему ее, жену. Как его любил его маленький сын,— любил за бесконечные рассказы о великой войне двенадцатого года, о геройских подвигах, где одинаково великими сынами отечества являлись и безусые юноши офицеры, только что сошедшие с паркета, и простые огрубевшие солдаты, покинувшие далеко-далеко полуголодных жен и детей. Как горько плакал около этого катафалка он, маленький Жорж, украдкой пробравшись «к папе». Он вдруг вздрогнул теперь, припомнив, как он испугался в этой зале, стоя около трупа отца. На его плечо тогда внезапно опустилась чья-то грубая, точно обтянутая опойком, мозолистая рука и послышался мужицкий голос: «Вот и помни, помни, каким он, твой отец, был! И сам будь таким! Теперь баловать

начнут, а ты помни его — вон как он смотрит строго и всю жизнь так будет глядеть на тебя. Да!» Мальчик поднял пугливо глаза к говорившему и увидал загорелое, суровое лицо, обросшее седеющими и выцветшими волосами. Это был отец Иван, их деревенский поп. Софья Петровна ненавидела его и никогда не допускала на свою половину, говоря, что от него «навозом пахнет». Но он был духовником покойного генерала и теперь приходил к покойнику по нескольку раз в день, не спрашивая позволения у Софьи Петровны, не обращая на нее внимания. Что сказал бы отец, если бы знал, что он, Егор Александрович, продает свое родное гнездо? Егору Александровичу вдруг стало как-то горько, что он не посетил до сих пор даже могилы отца. «Бедный, бедный отец, все тебя забыли»,— прошептал он. И вдруг, рядом с этим воспоминанием, воскресло другое из более близкого прошлого: он вспомнил один сентябрьский вечер, когда Гуро впервые читал ему, Жоржу, Гамлета,— вспомнил до такой степени ясно, как будто это было вчера: обстановка, отдельные фразы, мелкие замечания, все, все ожило перед ним. Почему? Не потому ли, что потом чуть ли не месяц — нет, больше, больше! — он воображал себя Гамлетом, применяя восторженные фразы Гамлета об отце к своему отцу и сравнивая свою мать с преступной матерью Гамлета. Здесь, из этих окон, он, еще вполне чистый юноша, видел, как она, его мать, склонялась на плечо дяди Жака, и юноша вдруг угадал, почуял, какая грязь окружает его. Открытие позорной семейной тайны наполнило горечью его молодую душу, пробудило его мысль, заставило его попристальнее вглядеться в окружающую его жизнь. Везде и всюду он увидал ту же нравственную грязь, прикрытую приличною оболочкою и громкими фразами. В страстном увлечении юноша дал себе обет быть честным человеком, не отделять слова от дела. В те годы он еще часто молился, и в его молитвах звучала одна просьба, чтобы бог дал ему силы «быть цельным человеком». В эти годы он часто повторял слова своего любимого поэта:

«От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви».

Эти годы прошли, эти чувства уцелели...

В воздухе почувствовалась предрассветная свежесть. Егор Александрович вздрогнул и очнулся. Казалось, он проспал несколько времени с открытыми глазами. Он провел по лицу рукою. Оно было влажно от слез. Он отер слезы, тряхнул головой и громко проговорил:

— Нет, пора покончить со всем прошлым! Прощай, прощай...

В эту минуту он, кажется, обнял бы и этот дом, и этот сад, прильнул бы губами к этой родовой земле, глотавшей его слезы и в радости, и в горе... Ему теперь не хотелось ни о чем больше думать. Его охватила жажда физического движения, деловых хлопот, разъездов по поводу разных формальностей, сопряженных с продажей имения. Если бы можно было, он уехал бы тотчас же в губернский город, в Петербург, в Москву, лишь бы бежать отсюда...

В шесть часов утра он уже был на ногах и направился к охотничьему домику над обрывом. Там жил только один сторож. Егор Александрович обошел с ним весь дом, начал намечать, что надо переделать и поправить, сообразил, как он поместится здесь, где будет его комната, где поместить Полю. В десять часов он был уже у дяди и застал всю семью в сборе за чайным столом. Алексей Иванович, поднимавшийся летом с петухами, завтракал в это время. Перецеловавшись со всеми, Егор Александрович сказал, что он страшно проголодался и, к великому изумлению всех, выпил большую чарку водки. Он был сильно возбужден и неестественно весел, придираясь ко всякой шутке, чтобы захохотать чуть не до слез, поминутно навертывавшихся на его глаза. Все время он упрашивал дядю навалить на него как можно больше хлопот, на что старик шутливо отвечал, что их выше головы и без того будет...

III

Над крутым обрывистым берегом не широкой, но быстрой и местами очень глубокой речки Желтухи возвышался небольшой одноэтажный деревянный дом, с садиком и двумя просторными надворными

пристройками. В одной из пристроек были кухня и помещение для прислуги, в другой — конюшня и хлев. Желтуха делала в этом месте крутой поворот, и домик, казалось, висел над нею со своим садом и пристройками. Сад доходил до самого обрыва. Здесь, не дожидая окончания разных формальностей по продаже имения, поселился Егор Александрович — поселился без матери, уехавшей гостить в имение «дяди Жака» после целого ряда мелодраматических сцен, истерик, слез. Он удержал при себе только Полю и несколько слуг — старика Прокофья, кучера Дорофея, скотницу Анну, повара Матвея. С переселением в новый дом для Мухортова настали дни отдыха после целого ряда хлопот, неприятностей, тревог. Смотря на него, можно было сказать, что этот человек пережил тяжкую болезнь, но и только. Он похудел, побледнел, но попрежнему смотрел спокойно, сдержанно и холодно. Холодное и сдержанное выражение лица часто вырабатывается у родовитых бар и выскочек-дельцов. У первых его вырабатывают для того, чтобы они казались выше всяких мелочных дрязг, вторые вырабатывают его для того, чтобы скрыть под неподвижною маскою все гнусные мелочи своей души. У первых оно является следствием дрессировки со стороны матерей и отцов, гувернеров и гувернанток; у вторых — следствием долголетних житейских трепок. Но и у тех, и у других за этою маскою равнодушия и холодности скрывается иногда целый ад мучительных страданий и невыносимых сомнений — ад, в который порою не удается заглянуть ни одному непосвященному взгляду посторонних людей. Именно таким недоступным для посторонних уголком был душевный мирок Егора Александровича. Вводить туда первого встречного — на это Мухортов был неспособен ни по характеру, ни по воспитанию; а те, кого он, может быть, впустил бы туда, вовсе не поняли бы его. Вся семья дяди Алексея Ивановича, полная родственных чувств к Егору Александровичу, жила чисто животною, утробною жизнью: они были сыты, обуты и одеты и потому счастливы; они видели, что Егораша выпутался из беды и сохранил кое-какой достаток, и потому считали его тоже вполне счастливым. Разные упреки совести, самобичевания, тяжелые сомнения и тоскливое

сознание своего нравственного одиночества, все это, если бы семья Алексея Ивановича и узнала об этом, заставило бы всех ее членов широко открыть глаза и наивно спросить:

— Да чего же теперь тебе недостает, Егораша?

Поля... Ее всеми силами души желал Егор Александрович подготовить к тому, чтобы она могла хотя отчасти делить с ним его радости и горести, его надежды и сомнения, но покуда она жила чисто растительною жизнью. Это был прелестный, роскошно распустившийся махровый цветок, но и только. Цветами можно украшать свое помещение, можно любоваться ими, но уж, конечно, нельзя делиться с ними своими думами, сомнениями и надеждами.

Перебравшись в новое помещение, Егор Александрович прежде всего решился в свободные часы мало-помалу приучать Полю к чтению. Он страстно желал выработать из нее подругу своей жизни, сознавая, как тяжело иметь около себя только наложницу. За чтением он проводил с нею летние вечера, сидя в беседке, находившейся в саду над самым обрывом...

Был один из таких вечеров, тихих и ясных, с медленно наступающими сумерками. Егор Александрович и Поля сидели в беседке. Он читал вслух «Преступление и наказание». Сам он уже не раз перечитал это произведение, но тем не менее он ощущал и теперь то же волнение при чтении его, какое ощущал, впервые читая этот роман. Он читал страстно, увлекаясь, с разгоревшимися щеками, весь поглощенный болезненным, но тем не менее великим произведением. Поля не спускала своих больших глаз с чтеца, и по ее миловидному лицу с полуоткрытым розовым ротиком блуждала блаженная улыбка. Ни страшная сцена убийства, ни рассказ Мармеладова не спугнули, не изменили этой блаженной улыбки. Мухортов раза два, перевертывая страницы, бессознательно подметил это выражение лица своей слушательницы, и оно, совершенно помимо его воли, безотчетно стало его смущать, охлаждать его увлечение. Так нередко бывает с чтецами, не уловившими ухом, а только заметившими взглядом, что где-то шепчутся во время их чтения; этот неслышный, только угаданный шепот развлекает внимание, расхолаживает, конфузит; при нем словно

стыдишься своего увлечения, умеряешь пафос, стараешься вслушаться в неслышимые речи. Наконец, Мухортов спросил ее:

— Ты, Поля, понимаешь, что я читаю?

— Читайте, читайте, голубчик,— ответила она, как бы сквозь сон, улыбаясь еще блаженнее.

— Тебе нравится?

— Да... Как, право, вы читаете, точно поют где-то! — восторженно сказала она.— В саду вот так весною: выйдешь, а кругом тебя все поет — где, и сама не знаешь... Я вот все сижу и все думаю, какой вы красавец... Все лицо опять зарумянилось... так и пышет огнем... А я уж, по правде сказать, боялась, ах, как боялась, что вы бледнеть за последние дни стали... думала все, не болезнь ли какая... ведь тоже не долго... Совсем запугалась!..

Он вздохнул.

— Ты все обо мне!

— О ком же мне думать, милый мой, ненаглядный!..

Она поднялась и обвила его шею руками, смотря в его глаза страстными и в то же время добрыми, ласковыми, глупыми глазами.

— Любите? Да?

— Зачем ты это спрашиваешь?

— Все боюсь еще, что разлюбите! Кажется, каждый день, каждый час, каждую минуточку хотела бы слышать, что не разлюбили, что не разлюбите!..

Она начала его целовать. Он закрыл книгу.

— Темнеет, пора кончить чтение... Распорядись, голубка, чаем...

Она еще раз поцеловала его и побежала распоряжаться чаем. Он встал, облокотился на перила беседки, стал рассеянно смотреть на воду и забылся.

— Один, один, вечно один! — проносилось в его голове, помимо его воли.

И в то же время точно кто-то посторонний задавал ему вопросы:

— А она, Поля? Разве она не с тобою? Разве она не любит тебя? И еще как любит!

В его воспоминании, неизвестно почему, воскресла одна недавняя сценка. Он вошел в комнату. У ши-

фоньерки стояла Поля и укладывала его чистое белье. Когда он входил в комнату, молодая девушка поднесла к губам его носки и поцеловала их. Он так сконфузился, смутился, что не мог даже сказать ей: «Что за глупости ты делаешь!» и сделал вид, что не заметил. Ему было стыдно за нее. Тут было все — любовь, страсть, обожание, безумие. Все существо молодой девушки было поглощено им. Ей нужно было быть с ним в сутки двадцать четыре часа и еще несколько минут. Она отдала ему все и хотела бы отдать ему еще жизнь. Ему недоставало в ней только понимания того, чем он жил, что он думал, о чем он желал говорить. Только! Когда он просиживал часы над любимыми книгами, она не ревновала его к ним, потому что они не мешали ей любоваться им, но она в душе ненавидела их, потому что ей казалось, что он утомляет себя за ними, бледнеет и худеет, занимаясь ими так долго. Но, боясь этого, она, верно, очень бы изумилась, что его может утомить этот вечный восторг им. Он же сознавал это, и что-то вроде раздражения пробуждалось в его душе, когда, вместо разговоров, вместо тихой беседы, сыпались только поцелуи и ласки. Он старался подавить в себе это раздражение и утешался тем, что этот слишком долгий медовый месяц любви должен будет наконец кончиться, и настанет более трезвый период взаимной приязни; но что же будет тогда?..

Что, если она вечно останется такою?

Вечное одиночество в своем доме, в семье?

Он как-то тупо, бессознательно загляделся на воду, быстро протекавшую под обрывом. Уже совершенно стемнело, и речонка казалась совершенно черной. Делая крутой поворот около обрывистого берега, она как-то зловеще, едва слышно шумела внизу, точно ворча с подавленной злобой. Мухортову вдруг вспомнилось, что, по преданию, во время постройки дома и разбивки сада над обрывом именно в этом месте свалился вниз и утонул рабочий. Одни говорили, что он сам бросился в воду, другие толковали, что он был под хмельком и упал случайно. Но, так или иначе, все говорили, что это плохое предзнаменование и пророчили, что речонка когда-нибудь в половодье окончательно подмоет песчаный берег, и беседка с частью

сада обрушатся в воду. Нечего ждать добра от дома, когда и постройка-то его началась с самоубийства! Недаром же в нем и не заживался никто подолгу: год поживут,— глядишь, или помрет кто, или по какой-либо другой несчастной случайности удалится в другое место, и опять стоит дом с заколоченными окнами. И мысли Мухортова вдруг перескочили к его собственному положению. Легче ли будет ему протянуть так всю жизнь здесь, где нет ни одной родной души, чутко могущей откликнуться на призывы его души, чем разом броситься в эти темные волны? Что значит эта минутная страшная смерть перед целым рядом скучных дней чисто животной жизни? Жить для других, для общества,— но разве он, связанный теперь неизбежными заботами о беспомощной девушке, о будущем ребенке, может быть, о многих и многих детях, может жить для пользы общества? Его песня спета, его тянет кто-то вниз, в тину — из тех высших сфер, куда еще так недавно рвался он. Он вздрогнул и очнулся как бы от страшного кошмара. С чего это ему пришла мысль о самоубийстве? Видно, все последние события не прошли даром для нервной системы! В нормальном состоянии о самоубийстве не думают. Он вспомнил внезапно слова бездомного, бессемейного, вечно нуждавшегося, но стоически твердого старика Жерома Гуро.

— Самоубийство,— с обычной витиеватостью объяснял как-то Гуро своему воспитаннику после чтения Вертера,— это или сумасшествие, или жалкая трусость мелочного эгоизма. Великие люди, жившие в самые страшные, в самые мрачные эпохи падения и разложения человеческих обществ, конечно, страдали много, страдали страшно; но они не налагали на себя рук, а стремились бороться с обществом, с его пороками, проповедовали великие истины, идеи правды и любви, шли за эти идеи на гильотины, на костры, на виселицы с твердой верой, что их мучения принесут в будущем пользу, тогда как самоубийство никогда и никому не приносило пользы, если оно не было совершено за человечество, как великая жертва, принесенная Лукрецией, покончившей с собою, чтобы возбудить к мщению сограждан. Самоубийство, если оно не сумасшествие и не пожертвование собою для родины,— это сознание, что человек бессилен, что он ни-

чего не может сделать ни для себя, ни для ближних, а такое сознание всегда признак трусости: кто смел, тот идет на борьбу, а не бежит с поля битвы укрыться от врага в убежище смерти. Из-за чего люди посягают на свою жизнь: из-за личных несчастий, из-за личных неудач, по большей части, из-за пустяков, уподобляясь тем капризным и настойчивым детям, которые, когда не исполняются их мелкие капризы, бьются головами об пол, доходят до судорог, стремясь настоять на своем. Дети — бессмысленные эгоисты, самоубийцы — почти всегда тоже такие узкие и тупые эгоисты. Кто любит искренно ближних, тот никогда не убьет себя, зная, что он им нужен, что он может им помочь, только оставаясь в живых, что решиться на самоубийство, значит, решиться на дезертирство во время решительного боя...

Все эти мысли Гуро живо вспомнились теперь Мухортову, и какой-то внутренний голос говорил ему:

— Ищи дела, сложного, поглощающего всю душу, и тебе никогда не придут в голову мысли о самоубийстве, как бы ни была печальна твоя частная жизнь. Ведь не приходили же эти мысли тебе в голову в те недавно прошедшие дни, когда ты энергично и деятельно устраивал свои дела, как того требовала твоя честь, а между тем это было нелегко.

И перед Мухортовым пронеслись картины недавнего прошлого: весть о разорении, поразившая его, как громом; возбудивший в его душе омерзение проект его женитьбы по расчету; разрыв с матерью, ради его желания честно расквитаться с долгами и загладить свой проступок относительно Поли, продажа имения Протасову на глазах соседей, смотревших на него, Мухортова, как на жалкого разоренного человека; тяжелые, раздражающие сцены истерик и обмороков матери, когда он решился поселиться на новом месте с Полей,— все это нелегко было пережить,— пережить не в долгие годы, а в несколько недель, в несколько дней; но пережил же он. Нужно только верить в свои силы; не следует отступать, надо работать...

Но где же эта спасающая от всяких сомнений, поглощающая всю душу работа?..

Шестая глава

I

Мародерство во всех его видах неизбежно сопутствует всяким общественным бедствиям вроде войны, мора, пожара и тому подобного. Грабители среди смятения и шума пользуются удобным случаем для захвата чужой собственности. В частной жизни есть тоже мародеры, старающиеся урвать себе какой-нибудь кусок при дележе имущества после покойника, при продаже с молотка чужой собственности. Из породы таких мародеров была Агафья Прохоровна. Смерть чужих матерей, теток, жен и сестер всегда пробуждала в ней желание урвать тайно или явно клок наследства, и она постоянно выходила с добычей из дома, где был покойник,— с добычей на помин души или на память. Эта жажда мародерства должна была пробудиться в ней в еще большей степени, когда старая дева узнала, что в Мухортове все поступит в продажу и что Софья Петровна навсегда уедет из своих палат. Ее охватило какое-то бешенство грабежа. Как ворон над падалью, носилась Агафья Прохоровна над открытыми чемоданами и баулами генеральши и разгоравшимися глазами следила за каждой укладываемой в них вещью. Она садилась на корточки около этих чемоданов, считала каждую вещь, дрожала при виде новых и новых сокровищ. Никогда она не была так униженно льстива, как теперь, с генеральшей, с Еленой Никитишной и даже с Глашкой-горничной; никогда она не ненавидела их так страстно, как теперь.

«Пять дюжин шелковых чулок! Семь манто! Кружев — десять человек обмотать можно! И куда это все теперь Софье Петровне!» — восклицала она мысленно, точно Мухортова должна была завтра же умереть, и всеми доступными ей способами подговаривалась ко всему, что можно было присвоить.

Ее глаза горели, как уголья, от зависти и злобы, а запыхавшийся от волнения голос был так певуч, точно она старалась убаюкать своих слушательниц, чтобы их ограбить во время сна. Она обыкновенно ругала наследников покойников, после которых ей

давали старые тряпки,— ругала за скаредность. Теперь она чувствовала, что она будет ругать Софью Петровну, так как все, что ей давали, казалось ей недостаточным. Никогда она еще не чувствовала такой потребности вылить ушаты грязи на Мухортову, как в эти минуты, когда все доставшееся ей являлось в ее глазах таким ничтожным в сравнении с оставшимся у генеральши. Но эта злоба дошла до бешенства, когда Елена Никитишна в одно прекрасное утро не досчиталась кружевных воротничка и манжет.

— Агафья Прохоровна, это ты взяла? — грубо спросила мухортовская домоправительница у старой девы.

— Что-о? Я? Я взяла чужие вещи? — воскликнула Агафья Прохоровна в волнении, и на ее щеках выступили красные пятна.

— Ну, ну, подавай! Кроме тебя взять некому! Не тебе только носить брюссельские кружева! Нашла тоже, что скрасть.

— Скрасть? Да как ты смеешь? Как ты смеешь обижать благородную особу? — визгливо закричала приживалка.

Они сразу перешли на грубое «ты», грызлись без всяких стеснений.

— Говорят тебе, сейчас подай! Не то во всех платьях карманы обыщу,— прикрикнула Елена Никитишна, топнув ногой.

— У меня? Карманы обыскивать? У меня?

— А вот увидишь у кого!

— Руки еще коротки.

— Я тебе покажу, коротки они или нет!

— Попробуй! попробуй!

— И попробую!

Елена Никитишна быстро направилась к странноприимному покою. Агафья Прохоровна бросилась вперед туда же и точно обезумела. Она захватила со стола скатерть, быстро начала срывать с вешалок платяного шкапа свои вещи и, сваливая их в кучу, стала связывать узел, комкая все свои пожитки.

— Духу моего после такой пакости здесь не будет! Минуты я здесь не останусь! — кричала она вбежавшей за нею в комнату Елене Никитишне.

— Да ты обезумела, что ли? В нашу скатерть свое тряпье увязываешь! — в свою очередь, крикнула

мухортовская домоправительница, хватаясь за скатерть.

Началась положительная борьба. Манжеты и воротничок из брюссельских кружев были забыты. Бой шел из-за скатерти. Обе женщины вдруг позабыли свои роли,— одна свое благородство, другая свой ранг старшей из слуг,— и ругались, как последние базарные торговки, дергая в разные стороны узел. Казалось, они были готовы разодрать все, чтобы только не уступить.

— Не съем вашу скатерть! Только вещи донесу и пришлю. Подавитесь ею! Грабители!

— Ты грабительница, а не мы! Мы трудом кормимся! Это ты бродяга бездомная!

— Хамы поганые!

— Сама хамка! Погоди еще! Так не уйдешь! На дороге догола разденут да обыщут.

— Посмейте!

— А вот увидишь!

Елена Никитишна, вся покрытая потом, выбившаяся из сил, бросилась докладывать Софье Петровне, что «Агашка» их обворовала. У Мухортовой была мигрень, и она только замахала в отчаянии руками.

— Пусть грабят, пусть! — застонала она.— Мне ничего не надо! Ради бога, избавьте меня от новых скандалов!

В это время Агафья Прохоровна уже набросила на плечи бурнус, надела второпях набок шляпу с красными маками и неслась через двор из дома.

— Погодите, погодите, голубчики, я вас расславлю! — кричала она в бешенстве.— На весь уезд, на всю губернию!..

И расславила. Это было тем более удобно, что судьбою Мухортовых интересовались все.

Егор Александрович на некоторое время неизбежно должен был сделаться героем дня в своем муравейнике. Весть о разорении Мухортовых, о продаже их имения, о продаже их наследственной движимости, серебра, картин, мебели — все это привлекло внимание всех окрестных помещиков к Мухортову, и, хотя Мухортов старался обделать дело с глазу на глаз с Протасовым, покупавшим все, что продавалось, тем не менее нашлось немалое число любопытных, желавших взглянуть на молодого человека, поговорить с ним,

чтобы потом рассказывать, как он поражен разорением, как он перенес этот удар. Все были несколько разочарованы, встретив в «бедном молодом человеке» какое-то необъяснимое для всех спокойствие и равнодушие. Сперва стали говорить, что он ловко притворяется, потом пришли к убеждению, что он поступил, как герой. С своей точки зрения эти люди, может быть, и были правы. Действительно, для них казалось героизмом стремление распутаться разом с долгами ценой пожертвования родовым имением; они на месте Мухортова, наверное, попробовали бы изворачиваться до последней степени, влезать в новые неоплатные долги, лишь бы не ликвидировать своих дел на глазах у всех. Разорены, в сущности, были чуть ли не все в уезде и даже в губернии, за исключением Алексея Ивановича и Протасова; большинство не видело впереди никакой возможности выкупить свои имения, особенно ввиду падения нашего рубля, и с трудом выплачивало даже проценты; но все изворачивались до последней возможности, шли на всякие сделки и с своею совестью, и с совестью ближних. Увидав же, что за Мухортовым, согласно предварительному условию с Протасовым, уцелел небольшой участок земли с домом, узнав, что, кроме того, у Мухортова осталась не одна тысяча наличных денег от продажи движимости и недвижимости, молодого человека начали звать сумасбродом, несмотря на все протесты Алексея Ивановича, доказывавшего всем и каждому, что его племянник поступил крайне практично, что он теперь «чист от долгов, как стеклышко», что, не разрубив разом гордиева узла долгов, он только запутался бы в новых займах под бременем непосильных процентов. Упорное заступничество Алексея Ивановича за племянника навело многих прямо на мысль, что Алексей Иванович просто опутал племянника, оплел его заодно с Протасовым. Сплетня найдет везде пищу. Сначала все были убеждены, что Мухортов, распродав все и публично явившись разоренным человеком, тотчас же уедет из имения, чтобы скрыться от «позора». Но Мухортов спокойно остался жить в имении и имел такой вид, как будто с ним не случилось никакого несчастия. Это сделало его интересным, особенно в глазах барынь, желавших посмотреть на него, как на чудо.

Однако, к величайшей досаде любопытных, молодого Мухортова было нелегко встретить в так называемом порядочном обществе. Он с первых же дней переселения в охотничий домик повел странную жизнь. Он стал ежедневно совершать отдаленные прогулки, посещая то ту, то другую деревню; где было возможно, он подолгу беседовал с мужиками, присматривался к их жизни, вникал в их быт, изучал все, что поддавалось изучению. Перед ним была открыта новая книга — книга народной жизни, и он жадно стремился заглянуть хоть в некоторые ее страницы, сознавая не без горечи, что именно в этой области у него является громадный пробел знаний. Это стремление не ускользнуло от наблюдательных глаз ближних, и в какую-нибудь неделю или две создалось толков о Мухортове чуть не на год. Одни утверждали, что Мухортова видели у опушки леса сидящим в кругу оборванных бродячих нищих; другие рассказывали, что он посетил в одной деревне кабак с партией фабричных рабочих; третьи говорили, что к нему ходят толковать и спорить местные сектанты, проповедующие равенство людей во всех отношениях и даже в имущественном. Преувеличения росли не по дням, а по часам, принимая иногда чудовищные размеры. До простой мысли о том, что человек хочет поближе узнать свой родной народ, не доходил никто. Но каковы бы ни были эти нелепые или комические рассказы, они все оканчивались одним зловещим припевом:

— Это недаром! Теперь такие времена!

Все как будто ждали, что вот-вот молодой человек произведет нечто страшное, нечто такое, за что не похвалят. Связь с Полей, сплетни Агафьи Прохоровны, рассказы недовольного барином Прокофья о житье-бытье в охотничьем домике — все это только подливало масло в огонь. Толкуя о связи Мухортова с Полей, Агафья Прохоровна говорила:

— Он всем благородным девицам афронт нанес. Где бы с хорошими людьми, где барышни заневестились, сойтись, а он с хамкою в амуры вошел. Повенчаться хочет. Говорят, теперь и в облачении мужицком ходить стал, а туда же, дворянином считается! Тоже слыхали мы, что таким-то долго на воле ходить не позволяют. Родная мать и та хотела дворянскому предводителю жаловаться! Так ведь он чуть не убил

ее. Ну, известно, женщина слабая, от греха и уехала. Как есть разбойник на большой дороге!.. В церковь, в храм божий, никогда не заглянет!.. И как это Алексей Иванович к нему своего Павлика пускает? А впрочем, тот-то тоже хорош; из седьмого класса гимназии за бунт выгнали...

Прокофий тоже негодовал на молодого барина со своей точки зрения.

— Ни к нему никто из господ не ездит, ни сам ни к кому не заглянет,— говорил он.— Прежде как-никак, а все же, бывало, господа заедут, на чай перепадет... А теперь, коли и придет кто, так мужик. С собой сажает, чаем поит... У нас при барыне в передней мужик, бывало, постоит, так курить амбре велят!.. Тоже выдумал моду: дрова сам колет, гряды копает. Сказал я ему, что не господское это дело, так меня же вышутил: «Глупый ты, говорит, это я для здоровья, силы набраться хочу...» А на что ему силы? В кулачный бой, что ли, идти?.. Ел бы лучше, как господа, а то у нас Матюшка, повар-то наш, говорит: «Этак я забуду, как и готовятся господские кушанья...» Почитай, то же ест, что и мы, грешные... В папеньку, верно, пошел: тот тоже все щи да кашу ел... Так тот это по солдатскому положению, на войне привык...

В гостиных про Мухортова говорилось еще больше глупостей и нелепостей. Даже сам Коко Томилов, избегавший прежде всяких разговоров о Мухортове, так как говорить о нем хорошо он не мог, а говорить дурно о бывшем своем сопернике считал недостойным джентльмена, не мог не принять теперь участия в этих толках.

— Что с ним? — говорил он у Ададуровых, пожимая плечами.— Он ходит бог знает в каком наряде: в высоких сапогах, в блузе, подпоясанной ремнем. Можно за мастерового принять.

— В нигилисты пошел! — не без едкости заметила старшая из Ададуровых.

— Что? В нигилисты пошел? — переспросила глухая Ададурова.— Он и всегда был нигилистом! Я сейчас, как увидала его, сказала: нигилист! Над спиритизмом глумился, про отца Николая заговорила — гримасу сделал!

Средняя сестра Ададурова всегда всего пугалась.

— Ах, уж не прокламации ли он разбрасывает? — воскликнула она с ужасом, обводя всех оторопевшими глазами.— Чего же смотрят?

Томилов презрительно заметил:

— Я не знаю, нигилист он или нет, но я знаю, что он невежа: мы были представлены друг другу, а он не считает нужным отвечать на поклоны...

— Современное воспитание! — ядовито вставила старшая из Ададуровых.

— Что? Современное воспитание? — переспросила глухая сестра.— Глупости! Кто это его воспитывал? Отец? Казармой от него пахло! Мать? О ее молодости лучше не говорить, а теперь Зола на столе открыто держит! Правда, был при нем гувернер. Так кто же не понимает, что это за человек был: беглый революционер, скрывавшийся от гильотины!

— Ах, ma sœur[1], молчите, молчите! — испугалась средняя сестра.— Разве теперь такие времена, чтобы упоминать о революции и гильотине!

И затем, обращаясь к Томилову, она молящим тоном прибавила:

— Ради бога, старайтесь не встречаться с ним, делайте вид при встрече с ним, что не замечаете его, а то и вы можете пострадать, и мы все...

Она даже вздрогнула при этой мысли.

— Мне рассказывали в Москве, что вот один такой ходил к разным лицам в гости, со многими говорил, с иными только кланялся, а потом вдруг попался и всех за ним привлекли. Потом стали исследовать, с кем и эти люди знакомы, и тех тоже привлекли...

Она широко открыла глаза, сама пораженная нарисованной ею колоссальной картиной привлечений, и перевела дух.

— Потом пять лет так-то всех привлекали! Вот какие это люди!

— За Марью Николаевну нужно опасаться,— осторожно заметил Томилов.

— Разве Марью Николаевну можно удержать от чего-нибудь, когда ее отец сам дал ей волю! — желчно воскликнула старшая Ададурова.

— Что? Волю дали? Кому опять дали волю? — переспросила, встревожившись, глухая сестра.

[1] сестра моя *(фр.)*.

— Мари! — ответила старшая.

— А! Мари! Замуж надо выдать, вот и не будет воли!

— Ах, я готова хоть сейчас уехать в Москву, чтобы подальше от него! — пугливо сказала средняя сестра.— И Мари там будет в безопасности!..

Даже сам Алексей Иванович, отмахивавшийся руками, когда заговаривали о «политике», то есть о чем бы то ни было, не касавшемся прямо его личного хозяйства,— даже он заметил как-то племяннику:

— Егорушка, ты остерегайся!

— Чего, дядя?

Алексей Иванович развел руками.

— Так, остерегайся!.. Черт его знает чего, а все же бережeного и бог бережет... Вот о тебе все говорят.

— Что говорят?

— Да я-то почем знаю! А говорят!.. Нынче такие времена, что опасно, если про человека говорят... И что тебе за сласть, если говорить будут?..

— Да ведь не могу же я запретить...

— Так-то так, а все же.

Старик махнул рукой.

— Прохвосты нынче люди!

II

До Марьи Николаевны доходила тоже значительная часть этих бесконечных толков.

Она невольно задумывалась о Мухортове. Что это за странный человек: он не сделал ни одного шага, чтоб поискать ее руки для поправления своих дел; он хладнокровно потерял большую часть своего имения; он оставался веселым, когда все смотрели на него, как на несчастного разоренного человека. Иногда в ее душе поднималось против него чуть не враждебное чувство, точно он лично ей нанес глубокое оскорбление, не посватавшись за нее. Порою она вдруг горячо вступалась за него в обществе и говорила, что это единственный честный человек, встреченный ею в жизни. То ей становилось до слез досадно на то, что она думает о нем, то ей страстно хотелось увидать его, сдружиться с ним, заглянуть в его душу. Эта двойственность душевного настроения выводила

ее из себя, и она вымещала свое раздражение на своем женихе. Он решительно не знал, как угодить ей, как попасть ей в тон. Он, может быть, давно бы изнемог, устал от этой игры в кошки и мышки, если бы она не была такой выгодной невестой. Из-за нее можно было перенести многое. Крупные призы на жизненной арене вообще достаются нелегко. С Мухортовым Марья Николаевна не встречалась давно, и когда ей пришлось снова увидать его в доме Алексея Ивановича, она совершенно смутилась. Егор Александрович раскланялся с нею и тотчас же стал продолжать прерванный на мгновение ее приходом разговор о будущей охоте с Павлом Алексеевичем. Ее почему-то раздражило это равнодушие, точно она ждала, что Мухортов бросится к ней с распростертыми объятиями или, в крайнем случае, взволнуется, изменится в лице. Но Егор Александрович продолжал громко веселую болтовню со своим юным двоюродным братом, страстным охотником.

— За что это Егор Александрович дуется на меня? — вдруг спросила она у двоюродных сестер Егора Александровича.

— Как дуется? — воскликнули Зина и Люба.— С чего ты взяла?

— Даже не удостоил ни одного слова,— ответила Марья Николаевна.— Впрочем, он теперь, говорят, драпируется своим геройством и равнодушием.

— Что ты выдумала, милочка! А вот мы его сейчас призовем к исповеди,— со смехом сказали барышни и крикнули:

— Егораша!

— Не надо! Не надо! — быстро вскрикнула Протасова, остановив их в смущении.

— Что? — отозвался Мухортов.

— Брось ты свои противные разговоры об охоте. Иди сюда! — кричали кузины.

— Сейчас! — ответил Егор Александрович и отошел к барышням.

— Ну, что вам? — спросил он.

— Вот Маша говорит...

Марья Николаевна раздражилась.

— Вы вечно глупите! — проговорила она.— Нельзя сказать ни слова... Это же неделикатно!.. Пора перестать наивничать!..

— Она говорит, что ты дуешься на нее,— пояснили Зина и Люба, не слушая ее замечаний.

— Я? Дуюсь? — он обернулся к Марье Николаевне и проговорил: — За что же я могу дуться на вас, я не понимаю...

— Ах, это они все глупости говорят,— сказала она сконфуженно и тотчас же с напускной бойкостью прибавила: — Впрочем, вы и не поверите им, зная, как я мало обращаю внимания на то, как кто на меня смотрит. Очень мне это нужно!

— Вы вполне правы, я это знаю,— коротко согласился он.

— И потом говорит, что ты рисуешься своими подвигами. Это ты-то! — не унимались молоденькие кузины.

— Подвигами? Какими? — спросил не без удивления Егор Александрович и вопросительно, пристально взглянул на Марью Николаевну, ожидая ответа.

Она побледнела, как полотно; на ее глаза навернулись слезы от досады. Ей стоило немалого труда, чтобы удержаться от крупной ссоры с барышнями Мухортовыми. Она не отвечала ни слова. Ему стало жаль ее, но тем не менее он заметил ей с упреком, хотя мягко и ласково:

— Зачем вы повторяете чужие толки, сознавая всю их пошлость?

Марья Николаевна подняла на него полные слез глаза, как провинившаяся девочка.

— Не сердитесь на меня,— сказала она задушевно и протянула ему руку.— Я сама не понимаю иногда, что со мной делается... И зачем они это вам сказали? Поссорить хотят с человеком, который...

Она остановилась, точно поперхнувшись. Кузины Егора Александровича бросились ее целовать.

— Милочка, не сердитесь! Это ведь шутка! Разве Егораша рассердился? Да он и не умеет сердиться!

Егор Александрович спокойно заметил:

—Я не имею права сердиться на Марью Николаевну.

И, обращаясь к Протасовой, он добавил:

— Мне просто стало больно, что именно вы повторяете эти толки обо мне.

Он поспешил переменить разговор, и через две-три минуты неприятная сцена забылась. К Мухорто-

вым приехал кто-то из соседей, и Егор Александрович совершенно неожиданно остался с глазу на глаз с Протасовой. Она предложила ему пройтись по саду, видимо обрадованная возможностью поговорить с ним без свидетелей.

— Вы не сердитесь на меня? — спросила она его, идя с ним по тенистой аллее.

— Я? Что вам пришло в голову, Марья Николаевна? Нисколько,— ответил он.

— Мне казалось, что так... или, если не сердитесь, то избегаете меня,— закончила она нерешительно.

— В последнем случае вы, может быть, и правы,— сказал он.— Но в этом ни я, ни вы не виноваты. Если уж пошло на откровенность, то надо договаривать все. Нас с вами поставили в крайне неловкое и нелепое положение.

— Ну, вот глупости! Я знаю, о чем вы говорите!

— Верьте мне, что я не имел на вас никаких видов. Я понимал всю гнусность этих планов, составившихся без моего и без вашего ведома. Правда, была минута, когда я почти согласился. Но...

— Что?

— При встрече с вами я сам устыдился за себя. И знаете, почему?

Он улыбнулся.

— С одной стороны, мне показалось, что я не сумею лгать именно перед вами, с другой — я был убежден, что вы мне прямо в глаза скажете, что я лгу, и скажете это так, как не говорят в так называемом «обществе» — сгрубите...

Она молчала и о чем-то задумалась. Он продолжал тем же спокойным и веселым тоном:

— Впрочем, мне и не удалось бы посвататься за вас, если бы даже и вздумал, так как вы сами тотчас же отказались от меня, узнав о моих планах.

— Да, мне стало так больно, больно, когда я узнала, что даже вы ищите моей руки, не любя меня,— горячо проговорила она.

Она взглянула на него полным нежности взглядом.

— Вы единственный человек, с которым мне так хорошо,— просто проговорила она.— Это странно, но мне кажется, что мы были друзьями с детства, точно вы мой старший брат. И вдруг вы бы стали свататься

за меня!.. Это было бы низко!.. Нет, нет, я так тогда рассердилась, точно это разрушало мои лучшие верования...

— Увлекающийся вы человек! — улыбнулся Егор Александрович.— Ваши верования в меня составились по двум свиданиям.

— Нет,— ответила она,— даже не по двум свиданиям, а просто как-то по чутью. В обе наши первые встречи мы даже не поговорили толком... Впрочем, о вас мне много говорили до вашего приезда...

— И, конечно, все только хорошее,— прибавил Егор Александрович.— Ведь меня прочили в женихи, и вас нужно было подкупить...

— Нет, я знаю, что о вас говорили правду!

— Обо мне, говоря правду, можно было сказать одно: это добрый человек, потому что ему не с чего быть злым; это честный человек, потому что ему нет нужды быть бесчестным. Это еще не великие заслуги, Марья Николаевна. Ими отличается, или, вернее, сказать, может отличаться большинство сильных мира. Злоба и бесчестность в богатых и сильных — это аномалия, уродство. Правда, эта аномалия встречается часто, но все-таки аномалия... Я ею не страдал, я не был ни злым, ни бесчестным. А вот теперь, когда я стою на пороге к делу, к добыванию хлеба, я сам в своих глазах оказываюсь вполне несостоятельным.

Он заговорил о том, что его теперь тревожило и волновало. Читая и учась много, он менее всего готовился быть сельским хозяином. Присматриваясь теперь к хозяйству дяди и окрестных крупных землевладельцев, он начал приходить к заключению, что он никогда не будет вообще хозяином. Тут нужно быть кулаком, эксплоататором отчасти, чтобы подешевле добыть рабочих, чтобы заставить их работать неустанно, чтобы держать их в страхе. Тогда получатся и барыши.

— Может быть, даже и в настоящее переходное время есть другой путь для того, чтобы не обижать ни других, ни себя,— прибавил он,— но этого пути я еще не вижу совсем; знаний у меня, может быть, для этого нет. Идти же общим путем, то есть знать, что каждый лишний грош нужно выжимать из ближних, что благосостояние надо сколачивать из чужих пота и крови, для этого — не скажу, что я для этого слиш-

ком мягок, добр и честен, нет,— белоручка я слишком для этого покуда...

— Для чего вы стараетесь умалить свои достоинства? — спросила она.

— Да еще сам я не вижу их,— просто ответил он.— Вон, в первую минуту разорения согласился же жениться по расчету и отказался от этой подлости вовсе не по личной добродетели. Я же это отлично сознаю и вовсе не желаю скрывать от себя. Играть в прятки и в жмурки с самим собою — это значит самому тащить себя в омут падения... Потом в моей жизни была ошибка...

Он вдруг оборвал речь и потом закончил:

— В душе каждого из нас, право, столько прирожденной, наследственной или усвоенной дрянности, что кичиться своими добродетелями вовсе не приходится. Правда, кодекс нравственности нам всем известен чуть не с пеленок, да толку-то в этом немного. Мы говорим великие фразы и творим мелкие подлости...

— Или ничего не делаем, как я, да и все барышни вообще,— добавила она со вздохом.

— Да, кстати! — сказал он серьезно.— Неужели вам не надоест эта праздность?

— А что же делать?

—Ну, не хотите благотворить, учить крестьянских ребятишек, посещать бедных, как делают разные барышни и барыни, так учитесь. Ведь выйдете же вы когда-нибудь замуж. Подготовьте себя хоть к этому...

— То есть, как?

— Да хоть подготовьтесь к тому, чтобы быть хорошей подругой мужу, а, главное, хорошей матерью. Я почти согласен с вами, что быть благотворительницей,— это значит брать с бедняков рубль и давать другим беднякам грош, что быть работающей женщиной, имея средства,— это значит отбивать хлеб у других. Это почти так.

— Как почти?

— Да ведь есть же отрасли труда, где можно работать, не отбивая хлеба. Вот, женщина-врач, имеющая хороший достаток. Разве она отобьет у кого-нибудь кусок хлеба, леча бесплатно бедных? Врачей мало, и на всех хватит работы, да к тому же бедняки, идущие лечиться даром, за деньги не пошли бы лечиться. А школы? Разве бесплатная школа отобьет

хлеб у учителей? Учителей и учительниц мало, и место всегда им найдется. Вообще, я многое и многое мог бы возразить и против вашего взгляда на благотворительность. Ведь благотворить можно, и не сдирая шкуры с других, а отказывая себе в тех излишествах, которых так много в жизни людей нашего круга... Но если вы с этим не согласны, то должны же вы согласиться, что быть хорошей, разумной матерью лучше, чем быть такою матерью, какие встречаются в нашем кругу сплошь и рядом. Вы сами заметили мне, как тяжело вам было расти без матери. Поверьте, что вам было бы хуже, если бы вы росли, имея дурную мать. Не иметь матери — это горе, иметь дурную мать — это глубокое несчастие. А для этой подготовки нужно немало работать... Не сердитесь, что я даю вам советы, но мне, право, просто обидно за вас, что вы...

Он остановился.

— Что же вы не кончаете? — спросила она.

— Изломались вы ужасно,— мягко заметил он.

— То есть, как это?

— Да так: капризничаете, привередничаете, напускаете на себя то искусственную развязность, то неестественную хандру.

— Так вы думаете, что это все напускное? — воскликнула она, с детским ужасом всплеснув руками.

— Да! Без умысла напускаете, а все же... Вот знаете, это с нашим братом бывает: подкутишь немного, а кажешься пьяным, и до того это доходит, что не только другие думают, а и сам убеждаешься, что пьян.

Она расхохоталась.

— Вот нашли сравнение!

Он тоже рассмеялся.

— Простите,— какое подвернулось под руку. Я ведь не особенно находчив...

Она задумалась и, как бы про себя, проговорила:

— Так вы меня изломанной считаете... Вот я никак не думала... Мне этого никто никогда не говорил... Напускаю...

Она очнулась и сказала:

— Немудрено, что вы так испугались, увидав, на ком вас хотят женить!

— О! — воскликнул он.— Верьте...

Она взглянула на него ясным, детским взглядом.

— Нет, нет, я шучу! — торопливо сказала она.— Мне было бы больно думать, что вы не можете быть моим другом.

Она порывисто и крепко сжала его руку.

Он как будто впервые был поражен красотою ее лица...

Давно не проводил Егор Александрович времени так, как в этот день. Он был крайне оживлен и безотчетно весел. Это же настроение охватило и Марью Николаевну. Ни на минуту она не впала ни в одну из своих крайностей и была проста, почти наивна.

Под вечер двоюродный брат и двоюродные сестры Егора Александровича заметили, между прочим, что они собираются к нему завтра.

— А меня вы и не приглашаете? — спросила Марья Николаевна.

— Я, Марья Николаевна, живу теперь без матери, по-холостому,— ответил Егор Александрович в смущении.

— Так что же? — с удивлением спросила она.

— Вам неудобно,— в еще большем замешательстве сказал он.

— Их же вы принимаете?

— Мы же родные...

— Ну, а я приду в качестве вашего друга! Или вы все еще сердитесь? Не грех ли быть таким злопамятным!

Она ласково взглянула на него. По ее глазам было видно, что она была вполне убеждена, что он не сердится на нее.

— Нет, полноте, будем друзьями! Вы представить не можете, как я рада, что я нашла такого простого человека, как вы! — проговорила она искренно и просто.— Мне так хорошо с вами, точно со старшим братом.

Он сам не понимал, отчего у него горит лицо. Эта девушка пробуждала в нем теперь неведомые ему чувства. Ему хотелось быть с нею, спорить с нею, журить ее, высказывать ей свои помыслы. Этого он еще не испытывал при встречах с другими женщинами. Он сознавал, что с нею он мог бы быть точно с товарищем, другом. Но разве это можно? Что будут говорить люди, если он сдружится с нею, если она

будет ходить к нему? Это ей пришло в голову только потому, что она слишком чиста душою, но ведь другие будут подозревать ее бог весть в чем, видя ее с ним. Он осторожно заметил ей:

— Марья Николаевна, мы здесь живем не одни, берегитесь толков.

— Каких? — с изумлением спросила она.— Отчего же я не могу подружиться с вами, с кем-нибудь другим? Вон я его Павликом зову, что ж из этого?

Она указала глазами на Павла Алексеевича.

— Что же тут дурного?

Егор Александрович смутился и не мог ничего ответить. Она действительно не только звала Павла Алексеевича Павликом, но брала его шутливо за подбородок, трепала по розовым щекам, со смехом замечая: «Смотрите, какая милая мордочка!» И ни Павлику, ни его сестрам, ни Алексею Ивановичу, ни Антониде Павловне это не казалось неприличным. Это вызывало только общий смех. Мало того, Павлик ни разу не вообразил, что Марья Николаевна его любит, что он может ухаживать за ней. И в то же время что-то непонятное для самого Егора Александровича подсказывало ему, что между ним и Марьей Николаевной эти отношения невозможны. Почему же? Ведь для него было бы истинным счастием найти здесь друга, настоящего друга, способного понимать его надежды и опасения, спасать его от тоски и пустоты одиночества.

— Что же, вы все еще колеблетесь? — допрашивала она.— Что скажут? А вам будет тепло или холодно от этого? И кто скажет? Мои тетушки? Мой жених? Графы Слытковы?

Она засмеялась и шаловливо спросила, ласково и добродушно заглядывая в его лицо:

— Прийти?

— Милости просим,— ответил он, невольно улыбаясь ей, как милому, избалованному ребенку.

Седьмая глава

Перебирая бумаги, Егор Александрович случайно открыл одну из старых тетрадей и зачитался. Это был его дневник. Приучая его отдавать отчет в каждом

поступке, в каждой мысли, Жером Гуро побудил его когда-то вести дневник.

— Человек — порочное и полное всяких недостатков создание,— говорил своим обычным дидактическим, хотя и мягким тоном старик.— И при этом он всегда склонен к фарисейству, к самообману. Отдавать себе отчет в своих помыслах и поступках, отдавать его письменно,— это крайне полезно в нравственном отношении. Записывая все, что ты думаешь и делаешь, ты, может быть, не раз покраснеешь за себя. Изложить на бумаге все те низкие, пошлые или преступные мысли, которые бродят в голове, это нелегко, это — почти подвиг, вызывающий краску стыда. Но этот стыд полезен. Это исповедь перед собою, и ее значение важнее всего для человека, для его саморазвития, для его самоусовершенствования. Кроме того, если бы хотя известная часть людей вела подобные дневники без лжи и без утайки,— наука, а значит, и человечество много выиграли бы. Эти дневники пролили бы свет на человеческую душу.

Мальчуган увлекся этою мыслью и стал ежедневно исповедоваться пред самим собою. Долго он записывал в свой дневник все мелочи, все ребяческие проступки, промахи. Потом пребывание в кавалерийском училище, жизнь в полку, светские развлечения заставили его все реже и реже вносить отчеты о себе в эту тетрадь, и, наконец, она забылась совсем. Теперь, случайно найдя ее между другими бумагами, Егор Александрович невольно зачитался ею, задумался над этими листками, начатыми неверным детским почерком и оконченными твердым почерком мужчины. Перелистывая ее, он мог сразу заметить не только то, как окреп его почерк, но и то, как мало-помалу исчезали грамматические ошибки, как от исповеди о невыученном по лености уроке и от признания в том, что он после обеда допил оставшийся в чьей-то рюмке ликер, он перешел к вопросам о Гамлете и Дон-Кихоте после прочтения статьи Тургенева и писал:

«Неужели же теоретики-Гамлеты вечно будут убивать только случайно Полониев, когда им хочется поразить преступного короля? Неужели же деятели-Дон-Кихоты будут всегда сражаться только с ветряными мельницами и со стадами баранов, принимая их за врагов? Неужели вечно плодами и разъедающих

сомнений, и неиссякаемой жажды деятельности будут самообман, промахи, осечки?.. Или точно единственный деятель, достигающий цели, это слепая судьба, бессмысленный рок? Кто придет к этому убеждению, тому не для чего жить».

Целые страницы из этого времени посвящаются в дневнике уже не признаниям в лени, в непослушании, в детских шалостях, а мучительным сомнениям, вызываемым тем или другим вопросами.

Особенное внимание Егора Александровича остановила теперь одна страничка, написанная в один из приездов его в деревню, когда ему было лет семнадцать. Он писал:

«Сегодня утром я забрел в наш родной лес, и меня охватило какое-то отрадное чувство бодрости, здоровья, силы, как будто у меня внезапно расширилась грудь и сделалось глубже дыхание. «Здорово, родной!» — невольно проговорил я, и на мгновение мне показалось, что он, этот столетний старец, смотрит на меня с улыбкой и шепчет: «Ишь как вырос». Мне хотелось и петь, и смеяться, и обнять эти деревья, прильнуть к ним губами. Мне было только грустно, что со мной не было теперь Жерома, моего милого незабвенного старца... Вечером, придя домой усталый, я прилег и взял Тургенева. Мне хотелось заглянуть в его «Поездку в Полесье». Боже мой, какие различные ощущения пробуждают в людях одни и те же явления, одни и те же предметы! Тургенев пишет: «Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтания молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братий может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях, он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданном: здесь он дома, здесь он смеет еще ве-

рить в свое значение и в свою силу». Нет, никогда, никогда не пробудит во мне подобного чувства природа уже потому, что я сознаю себя ее царем, сознаю себя выше ее. Мне стоит захотеть, и эти болота сделаются плодоносными нивами; мне стоит захотеть, и этот столетний лес падет к моим ногам, подрубленный под корень! Она не принижает моей мысли, она не говорит мне о моем ничтожестве; она, напротив того, напоминает мне о моей силе: великая, бессмертная, она рабыня человека, и он может заставить ее служить ему. Мне кажется, что, смотря только так на природу, мы можем идти вперед, в противном же случае мы обречем себя на вечное нытье, на вечное тунеядство, на вечную покорность законам природы. Законы природы! Разве они не одинаково влияют на людей в известной местности, а между тем, в одних и тех же местностях бок о бок развиваются нищие и богачи, неудачники и счастливцы, и все в их жизни зависит от меньшей или большей степени умелости, способности развиваться, гениальности человека».

Над этими вспышками страстного юношеского стремления — стать выше рока, природы, неведомых сил, невольно задумался теперь Егор Александрович. В нем и теперь жило это стремление,— стремление создать из себя человека-бойца, способного помериться с судьбою. Эта струнка звучала в нем всего сильнее...

Затем дневник вдруг обрывается. Егор Александрович припомнил то время, когда дневник оборвался: это было время, когда его старались превратить в светского человека, в хорошего кавалериста. Он стал припоминать это время, и ему досадно было, что он не вел тогда дневника. Дневник рассказал бы ему день за днем все то, что он видел, пережил, передумал. Теперь было бы трудно заполнить этот пробел, припомнить все мелочи, влиявшие так или иначе на характер, на склад убеждений, на те или другие поступки. Сколько раз пришлось бы ему покраснеть, читая эти страницы! А споры с друзьями-студентами в последние два года,— споры об общественных вопросах, об общем благе, о политике, о средствах борьбы против разных зол? А страстное искание разрешения тысячи сомнений у разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи, душев-

ной гармонии? Сколько интересного нашел бы он теперь в отчетах о них! Он невольно пожалел о том, что забросил привычку записывать все происходящее с ним и в нем. У него снова явилось желание продолжать этот прерванный дневник. Но, взяв перо, он задумался. О чем говорить ему теперь, когда жизнь течет так однообразно? Как-то машинально начал он писать:

«3 августа 187... г. Одиночество и скука, вот два слова, преследующие меня теперь везде и всюду. Я чувствую, что я выбит из колеи и не могу еще найти своего пути. Когда-нибудь, вероятно, я найду его. Но когда? Вот вопрос. Быть может тогда, когда будет уже поздно. Теперь я сознаю одно, что здесь мне не ужиться. Я ясно сознаю, что сельским хозяином, да и вообще хозяином, мне не быть. Нет у меня на это способностей, претит мне кулачество. Я, должно быть, из тех, которые едят мясо, но никогда не решатся сами убить быка. Меня тянет в столицу, в университет, к кафедре, в водоворот мыслящей молодежи. Весь вопрос сводится к тому, как устроиться с Полей? Везти ее с собою, со всею ее родней — у меня нет ни средств, ни охоты. Ехать с нею вдвоем? Какую роль будет она играть при мне? Жена? Любовница? Поместиться вместе на отдельной квартире? Переехать вместе в chambres garnies? [1] Жить отдельно? Я ничего покуда не могу сообразить. Мы стоим в каком-то ложном положении. Между нами нет ничего общего, кроме ласк. Нужно же в этом сознаться прямо и честно! Она вовсе не заглядывает в мой душевный мир, как я не заглянул бы в книгу, написанную на неведомом мне языке; я тоже стараюсь не заглядывать в ее душевный мир, потому что меня пугает его бездонная пустота. Я никогда не предполагал, чтобы могло быть существо, не мучающееся ни одним сомнением, не имеющее ни одного желания, не интересующееся ни одним вопросом. Всматриваясь в нее, я вижу, что такое существо может быть. Для нее я — все. Но она даже представить не может, что ее бог может утомиться от вечных славословий, что ее священная икона может слинять от вечных поцелуев, что у ее идо-

[1] меблированные комнаты *(фр.)*.

ла могут быть и другие душевные стороны, кроме любви к ней. Она молится на меня, не уставая, и хочет, чтобы я не уставал слушать ее молитвословия. Она утомляет меня, подавляет меня, раздражает меня иногда своими ласками, и если я осторожно и мягко пробую выяснить это — ее лицо покрывается смертельной бледностью, глаза наполняются слезами, и она пугливо шепчет: «Простите меня, голубчик, не сердитесь», и на мои губы, на мои руки, на мои глаза сыплются снова страстные поцелуи. Это ее единственный язык, единственное красноречие. Им она прощает, им она вымаливает прощение. Недавно я рассказал ей, сколько мне пришлось перенести сцен с матерью за последнее время,— она бросилась целовать меня, чтобы утешить за огорчения. На днях я рассказал ей, как страшно положение наших бывших крестьян,— она бросилась меня целовать, восхищаясь моей добротой. Ни на секунду не задумалась она о характере моей матери, ни на секунду не задумалась она о нуждах народа. Все заслонено от нее мною. Должно быть, в древних теремах вырабатывались иногда такие личности. Она тоже выросла в тереме, вспоенная, вскормленная вдали от всяких забот, волнений, нужд для того, чтобы сделаться вещью мужчины. Иногда я бешусь на нее, иногда как бы покоряюсь безропотно своей судьбе, зная, что и бешенство, и покорность вызовут один результат — ласки. Я радуюсь, что она готовится сделаться матерью. Может быть, ребенок будет ее спасителем, зародит в ней нового человека — любящую мать...»

«4 августа. Вчера меня на полуслове прервала Марья Николаевна. Она вторгнулась ко мне с шумом и гамом вместе с Зиной, Любой и Павликом. Вот тоже странное существо! Марья Николаевна — это умный деревенский паренек, нахватавшийся притом и книжных фраз от какого-то захожего семинариста или проезжего барина. Не ждите от этого паренька манер, но у него есть своя грация даже тогда, когда он вынет руки из рукавов рубахи и сложит их на груди под нею; он знает такие скверные слова, что становится жутко за его развращенность, и может остаться девственным вплоть до своей женитьбы не только физически, но даже по мысли, ни на минуту не обращая внимания на сальные картины, не представляя в сво-

ем воображении сальных образов; у него масса практического смысла, практических познаний о нужде, кулачестве, пьянстве, труде, и в то же время его может провести первый встречный питерщик, навостривщийся во всяком лганье, не моргнув глазом; прибавьте к этому комическое щегольство неизвестно где подхваченными фразами и беспредельную, бессознательную, хватающую за сердце тоску о лучшей, совершенно неведомой ему доле,— вот как мне представляется эта девушка. Это, кажется, совершенно новый, не виданный мною нигде доныне тип. Я ее както назвал изломанной, теперь я сознаюсь в своей ошибке. Она — цельный человек, сотканный из кажущихся противоречий. И странное дело: чем более сближаюсь я с нею нравственно, тем более сознаю, что изломан более я, чем она, что у меня есть задние мысли, которых нет у нее. Павлик — мой милый Павлик — относится к ней прямее. Меня смущает ее фамильярность в обращении со мною; а он, когда она треплет его по щекам или целует при всех, только смеется и подставляет ей щеки и губы, точно она не девушка, а такой же откормленный мальчуган, как он сам. Сегодня она растрепала мои волосы и сказала, что она ужасно любит, когда я смотрю таким вахлаком. Мне стало сразу смешно, но через минуту я заметил ей: «Полноте, зачем эти шутки! Разве мы дети!» Но отчего же и не быть детьми хоть на минуту? Или уж так далеко от меня чистое, непорочное детство? Когда она ушла, ко мне пришла Поля и заметила: «Ну, уж барышня, лезет на шею мужчинам». Я с удивлением взглянул на нее. Что это? Чувство ревности или и Поля уже потеряла способность быть ребенком, понимать ребяческие выходки?..»

«5 августа. Ходил нынче побродить с ружьем и случайно, верст за пять от дома, повстречал на дороге старика крестьянина. Он отдыхал, присев у опушки леса, и глодал кусок хлеба.

— Откуда, старина? — спросил я его.

— Мы не здешние, из другого уезда,— ответил он. Я подумал, что это нищий.

— А сюда-то как попал?

— К сыну ходил,— ответил он.— Кобыла у нас, значит, пала... Сдумали новую лошадь купить, сходно продают тут по суседству... За деньгами к сыну хо-

дил... В работниках он тутотка... Может, знаешь, у Алексея Ивановича Мухортова господина...

Я сказал, что слышал об Алексее Ивановиче.

— Как не слыхал... Все в здешних местах знают...

— Что ж, разве он уж такой богатый?

— Первый хозяин по здешним местам. Наймись к нему работать, так семь потов с тебя сгонит. Сам, словно кубарь какой, по полю катается, даром что коротконогий. Только и слышишь: «Ну, ребята, дружнее!», «Чего, ребята, зазевались?» А чего зазевались: руками уж народ не владеет, а он все: ну, да ну! И прижать на расчете мастер: начнет считать там прогул, тут штраф, того и гляди, у него в долгу останешься. Зато и дела делает!

— А вы бы к нему не шли?

— Толкуй! Хлеба-то захочешь — пойдешь! Еще как пойдешь-то, сам накланяешься, как животы подведет: возьми, мол, сделай божескую милость...

Старик с полчаса пробеседовал со мною о дяде Алексее и о других здешних хозяевах. В сущности, все на один лад. Между прочим старик заметил:

— А тоже, распусти вожжи — по миру пойдешь. Народ нынче балованный. Известно, воля! Пакостник стал человек...

И он стал пространно говорить на эту тему, давно знакомую мне, так как эта тема — излюбленный предмет разговоров и дяди, и Протасова, и большинства здешних хозяев. Слушая все эти толки, я с каждым днем все более и более убеждаюсь, что я хозяйничать не буду, не могу. Скорей бы вырваться отсюда...»

«6 августа. Странный разговор был у меня сегодня с Марьей Николаевной. Я и теперь не совсем еще опомнился от него. Он выяснил мне многое из моих отношений к Поле,— многое, на что я как-то не обращал серьезного внимания. Зина и Люба все рассказали Марье Николаевне, и она совершенно неожиданно спросила меня:

— Отчего вы не познакомите меня со своей Полей?

Я почувствовал, что я покраснел. Я не ожидал, что ей расскажут все, и не предупредил, чтобы не говорили.

— Она простая девушка,— сказал я в смущении.

— Так что ж такое? Вы же живете... Ну, вы ведь все равно, что муж и жена.

— Мы даже не обвенчаны,— ответил я.

— Не все ли равно, законный или гражданский брак?

— О, далеко не все равно,— со вздохом ответил я.

— Как не все равно? Если вы любите друг друга?.. Ведь ей же скучно быть всегда одной?

— Что ж делать? Я не могу ее ввести в круг своих знакомых и родных... по крайней мере, здесь...

—Да отчего же вы не хотите знакомить с ней тех, кто сам хотел бы познакомиться с ней? Она ведь молодая, мы могли бы сойтись...

— Ей самой неловко будет с вами...

— Это отчего?

Я смутился еще более, не зная, что сказать.

— Она же будет чувствовать неравенство с вами... неловкость... она человек других понятий,— ответил я.

Она как будто удивилась.

— Так разве она так и проживет всю жизнь... одна? — спросила она в недоумении.

— Нет... потом... Я разовью ее... приучу...

Я совсем растерялся. Я так мало заботился об этом покуда!

— Так вы ее учите? Занимаетесь с нею? Чем?

— Всем понемногу,— солгал я, стыдясь признаться, что я почти не занимаюсь с Полей, не могу заниматься.

— Я думаю, вам это очень приятно. Должно быть весело следить, как поднимается, развивается любимый человек. Она, должно быть, вас очень, очень любит?

— О, да,— воскликнул я.— Это добрая, преданная душа!

Она вздохнула.

— И вы, недобрый, не хотите меня свести с нею!.. Ну, право же, я полюбила бы ее, как сестру... Ведь дружна же я с моей Марфушей, а та и совсем примитивный человек... Такие, право, лучше, цельнее нас...

Я поспешил переменить разговор. Но он глубоко запал мне в душу. В самом деле, на что я надеюсь в будущем относительно Поли? Не может же она остаться вечно такой неразвитою, нельзя же вечно прятать ее от людей, стыдясь за ее невежество? Или

я точно смотрю на нее только как на любовницу, от которой, когда она наскучит, можно уйти, жениться на другой? Нет, нет, я должен употребить все усилия, чтобы развить ее, поднять до себя, сделать достойной занять в моем доме место жены и хозяйки, за которую я не краснел бы ни перед кем...»

«7 августа. У дяди праздновали день рождения Любы. Народа набралось много, обед был очень оживленный. Как обыкновенно бывает на больших собраниях, мелкие сплетни и будничные дрязги передавались только шепотом, один на один, общий же разговор шел о всяких злобах дня, об общественных вопросах. Как послушаешь всех этих людей — любого делай министром, сажай в парламент. И научились даже воспламеняться и страшные слова пускать в ход. Марья Николаевна и Павлик, сидевшие подле меня, шепотом знакомили меня, между тем, с биографиями ораторов: тот вор, другой мошенник, третий шулер, четвертый — бит, хотя в точности никто не может сказать, за что его били и когда: тогда ли, когда он соблазнил чужую жену, чтобы обобрать ее, или тогда, когда он пустил по миру опекаемых им сирот, или тогда, когда он просто в пьяном виде произвел дебош в клубе. Я заметил Павлику:

— И охота всех этих негодяев принимать!

— А где же найти здесь лучших? — спросил он.— Вон, Слытковы безукоризненно...

— Глупы,— докончил я с улыбкой.

— И честности высокой,— досказал Павлик...

И точно, где же взять этих честных людей?..

Чем больше я присматриваюсь к людям, тем сильнее убеждаюсь в том, что наше время — время двойственности по преимуществу, время крупных умов и мелких душонок, оглушительных фраз и беззвучных обделываний делишек «под шумок», когда невольно удивляешься, узнав, что тот или другой современный «гений» не только не крадет носовых платков и не подсматривает в чужие карты, но даже не берет крупных взяток и не разворовывает общественных сумм. Теперь большинство — моралисты в одну сторону, а в другую кандидаты, если не на скамью подсудимых в окружном суде, то, во всяком случае, в участок для отеческого реприманда и вытрезвления. Научившись громить чужие пороки, мы считаем себя освобожден-

ными от обязанности следить за своею собственною нравственностью. В этом, быть может, главное зло нашей эпохи всяких прелюбодеев мысли на кафедрах суда, школы, университетов, церкви, литературы... Пророки и апостолы нашего времени, эти друзья меньшей братьи ездят на рысаках, пьют шампанское, бросают горсти золота на женщин легкого поведения, и бедняк, после встречи с ними, так и остается при том убеждении, что он встретился, по крайней мере, с губернатором, если не с самим министром. Говоря о меньшем брате, они научились уже колотить себя в грудь не хуже любой парижской актрисы с бульварного театра, играющей в мелодраме жертву; встретившись с этим меньшим братом лицом к лицу, они прежде всего зажмут свой нос надушенным платком, чтобы не слышать запаха трудового пота и нищенских онуч. Проповедники воды, пьющие вино сами, гнездятся всюду! Это вера без дел, а такая вера всегда мертва. Говоря это, я, конечно, имею в виду только интеллигенцию в широком смысле слова, а не тех, кто ест хлеб с мякиной, пухнет от голода и покорно ложится под розги, сознавая, что и точно на нем есть еще недоимки. Эти мысли все чаще и чаще приходят мне в голову. Я с каждым днем сознаю все яснее, что это именно та дорожка, на которой легче всего споткнуться. Трапписты повторяют при встрече друг с другом: memento mori — помни о смерти; мы должны бы повторять при встрече друг с другом: medice, cura te ipsum — врач, исцелися сам! Для нас это тем нужнее, что у нас нет почти никакого контроля, что нигде не развита так сильно подлая терпимость, как у нас. У нас все еще человека бранят, а «всюду принимают». Вот почему мы и не боимся стоять «в поганой луже»... По поводу этого мне вспомнился один случай. Я сидел в концерте. В одном из антрактов к моей матери и дяде Жаку подошел тучный и обрюзгший, небрежно одетый барин.

— А я только что из суда, сейчас кончилось колеминское дело,— сказал он дяде Жаку, пожимая ему руку.— Вообразите, Колемин почти сух вышел из дела. Это просто возмутительно.

По лицу дяди Жака скользнула странная усмешка.

— Чтобы другим повадно было,— ответил он.

Когда старик отошел, моя мать спросила у дяди:

— Кто это?

— Разве ты не знаешь?

И дядя Жак назвал одну из громких фамилий.

— Содержатель игорного дома и рулетки,— пояснил он.— У него, наверное, и теперь идет игра. Ловкий шулер...»

«10 августа. Я дал себе слово во что бы то ни стало заниматься с Полей. Это необходимо; в противном случае между нами откроется целая пропасть, и ее уже нечем будет заполнить. К несчастию, два-три урока показали мне, как трудно мне будет исполнить взятую на себя задачу. Вот хоть бы сегодня, я долго занимался с нею, а дело все же не шло на лад. Нельзя сказать, чтобы она была тупа. Нет, но она не умеет сосредоточиться на том, что учит, смотрит рассеянно, думает о другом. Ей просто все это кажется ненужным. Сегодня она, наконец, устала и, со вздохом отложив книгу, заметила:

— Нет, уж мне не быть такой ученой, как Марья Николаевна.

— Почему именно такой, как она? — с улыбкой сказал я.— Ты ее вовсе не знаешь. Может быть, она еще меньше тебя знает.

— Нет, уж не говорили бы вы с ней тогда по целым часам,— тихо сказала она.

Я уловил в ее тоне глубокую грусть.

— Поля, уж ты не ревнуешь ли? — спросил я.

Она испугалась.

— Нет, нет, голубчик, разве я смею? Я рада, что вам хоть с кем-нибудь весело!.. Что за веселье со мною! И так связала вас... а теперь еще это проклятое положение.

— Поля! — воскликнул я с упреком.— Можно ли это говорить? Ты должна радоваться! Ты будешь матерью, у тебя будет о ком заботиться, кто будет тебя любить...

Она заплакала.

— Сама я не знаю, что говорю! — всхлипывая, проговорила она.— Все кажется, что вы перестанете меня любить... Что вам в больной-то!..

Я стал уговаривать ее, утешать. Но на сердце у меня было тяжело. Неужели и рождение ребенка не превратит ее в мать, а оставит по-прежнему только моей любовницей?..»

«12 августа. Сегодня день смерти моего отца. Давно совершилась эта страшная для меня утрата, а я по-прежнему живо помню все мелкие подробности, сопровождавшие ее. В моих ушах и теперь еще звучат слова отца: «Будь честным... сыном честного солдата...» Потом, когда я бегал в залу посмотреть на мертвого отца, поплакать у его гроба, меня поразил другой образ — образ священника-мужика с руками, отдающими запахом навоза, с речью, напоминающей ругань на базарной площади. После долгой разлуки, я увидал снова этого человека, и, признаюсь, что-то вроде страха перед ним пробудилось во мне, как в детстве. Я почувствовал, что я перед ним мальчик... Я пошел к отцу Ивану попросить его отслужить панихиду по моем отце. Странная это личность. С первого раза трудно признать в нем служителя алтаря. Это скорее мужик-труженик, затянувшийся в непосильном труде, питающийся черствым хлебом с мякиной. Сухое, морщинистое лицо его, кажется, сделано из выдубленной кожи; огромные жиловатые руки, с распухшими в суставах и искривленными на работе пальцами, грубы и мозолисты; его густые волосы на голове и бороде трех цветов: к темным волосам примешивается сильная седина, а концы этих волос какие-то бурые, точно выгоревшие на солнце; ввалившиеся глаза смотрят мрачно и не обещают ни любви, ни прощения. Страшная, тяжелая жизнь, прошедшая с детства до старости в деревне, с небольшим перерывом безотрадного пребывания в училище, наложила свою печать на этого человека, вечно обремененного семьей, выжившей из ума матерью, калекой-братом, целой оравой детей, оставшихся рано без матери. Вращаясь среди мужиков, работая неустанно в поле и в огороде, старик сам омужичился... Его боятся все, как фанатика, всегда готового громить людские пороки, и притом громить на том языке, на котором говорят его слушатели. Его проповеди и увещания являются рядом угроз, и, увещевая своих духовных детей с сжатыми кулаками, стуча с угрозой этими кулаками по аналою, он называет этих духовных детей разбойниками, пропойцами, иудами, готовыми продать родного брата. С его исповеди уходят, как люди уходят из бани, в поту, красные, усталые. «Упарил», говорят они, почесываясь и кряхтя. Он громит не одних

мирян, но и духовенство, надевшее шелковые рясы, пустившееся в кулачество. Все знают, что сам он безупречен, что он аскет, хотя он и берет за исполнение своих обязанностей все, что следует, ругая при этом дающих, говоря, что они в кабак целовальнику всегда охотнее дадут, чем на церковь и попу. В народе носятся слухи, что он обладает духом прозорливости и знает, что творится в душе людей. Для этого убеждения есть основательные причины, так как отец Иван в каждой человеческой душе видит непочатый угол всяких низких страстей, корыстных расчетов, гнусных пороков, разнузданных желаний, и почти никогда не ошибается: из двадцати приписанных им тому или другому человеку пороков и грехов, два или три греха и порока заставляют бледнеть или краснеть человека. Уходя от отца Ивана, такой человек убежден, что отец Иван по особому «богодухновению» прозрел в нем вора, пропойцу или блудодея. Об этом составились целые легенды, как отец Иван уличил Сидора или Трофима на исповеди в грабеже — уличил и «такими глазищами взглянул, что Сидор или Трофим так и рухнулись ему в ноги». Он отчитывает кликуш и изгоняет бесов.

Меня отец Иван встретил далеко не приветливо.

— Поздно, поздно отца-то вспомнил! — сказал он мне сурово.— Видно, мертвые-то подождут, сперва с живыми похороводиться нужно...

— Я был уже у отца на могиле не раз,— ответил я.

— Так рубля, что ли, жаль было панихиду-то отслужить? — проворчал он.

Потом, сурово взглянув на меня, заметил:

— Тоже и не похвалил бы отец-то за то, как живешь! Вы, бары, пример должны подавать народу, а не так жить, что самим на свет стыдно смотреть... Губители вы, душами-то христианскими, как бабками играете: сшиб одну — хорошо, сшиб пяток — еще лучше... Душегубцы!..

Я молчал и торопился дойти до могилы отца, чтобы скорее началась панихида. Я чувствовал, что если я заговорю с отцом Иваном, то ни он не поймет меня, ни я не пойму его. Его брань можно было только слушать, признавая ее вполне заслуженною, или самому браниться с ним, не признавая вовсе ни его самого, ни

его воззрений. Это фанатик, с которым нельзя спорить, совещаться. Отслужив панихиду и увидав на моих глазах слезы, он проговорил:

— Да, вот и кайся, кайся! Да грех-то свой загладь. Слезы-то — вода; греха ими не загладишь. Что, поди, ребенка скоро приживешь со своей любовницей? Что ж, так он и будет незаконным...

Отец Иван употребил крепкое словцо, бросившее меня в жар.

— Или неровня она, так нельзя жениться? А когда соблазнял ее, тогда ровней была? Поди, и не подумал тогда, кто она. Или не знал? Кабы ты здесь у меня жил, да к исповеди пришел бы ко мне, причастья бы я тебе не дал, покуда греха не загладил бы. У вас-то там только попы-поблажники хвостами перед вами виляют, а вы ими командуете: кровосмесителю тело христово готовы дать.

Он, сурово нахмурив брови, не прощаясь со мною, даже не глядя на меня, пошел прочь от могилы... Сам не знаю, почему мне стало невыносимо тяжело, и в моих ушах продолжало звучать грубое, циничное название, данное отцом Иваном моему будущему ребенку. Неужели в будущем когда-нибудь кто бы то ни было бросит в лицо этому ребенку эту кличку? Ах, скорей бы мне вырваться отсюда, воспитать хотя немного Полю и кончить все женитьбой, узаконив ребенка. Если даже и не удастся поднять Полю, я все же должен жениться на ней: нужно же заплатить за свои необдуманные поступки, нужно же приносить искупительные жертвы за свои промахи...»

«То же число... Я возвратился домой с кладбища в самом тяжелом настроении духа и пробрался к себе через сад, чтобы не видеть никого, чтобы побыть одному. Усевшись в своем кабинете, я слыхал громкие голоса в комнате Поли и сделался невольным свидетелем неприятной домашней сцены: объяснения Поли с отцом. Прокофий в последнее время страшно пьет, как я узнал из разговора с ним Поли. Она не знала, что я дома, и потому не сдерживала своего голоса.

— Стыдитесь вы! Вы нынче из кабака не выходите! — кричала она на отца.— Все деньги у меня перетаскали да еще просите. Нет у меня!

— Спроси у своего полюбовника,— пьяным голосом говорил Прокофий.— А не то я тебя!..

— Да с чего вы взяли, что я грабить Егора Александровича буду? — крикнула она.— И без того ради меня целую орду кормит. Ему и одного слуги довольно бы. Держит вас всех, потому что вы моя родня. А я еще стану его обирать. Ни гроша! Слышите, ни гроша вы от меня не получите!

— Ну, так я и сам спрошу,— решил Прокофий.— А тебе уж быть битой! Осрамила нас, да еще лаяться смеешь. На кого? На отца!

— Не я вас срамлю, а вы меня срамите! По кабакам шляетесь. Да если бы Егор Александрович узнал, духу вашего здесь не было бы.

— Посмотрел бы я, кто меня выгонит! Ну, выгонит, так и ты должна за мной идти. Я отец, я власть имею...

— Сейчас убирайтесь вон! — закричала Поля.— Вот придет Егор Александрович, все расскажу ему и скажу, чтобы вас выгнали! Терпения моего больше нет!..

Я ушел, чтобы не слушать дальше. Я впервые узнал, что Поля, вероятно, выносит немало подобных сцен. Вечером я заговорил с нею об этом, чтобы успокоить ее и вместе с нею обдумать, что делать. Она открыла передо мною целую картину закулисных дрязг в моем доме, которых я и не подозревал.

— Ничего не видя еще, все уже насесть хотят! — наивно проговорила она.— Что же я, грабительница, что ли?

Она стала рассказывать мне, как вся ее родня пристает к ней, чтобы выпросить у меня денег для себя, для своих свояков, родственников, крестников.

— Если бы все-то исполнять, так у нас гроша не осталось бы. Да я скорее руки на себя наложу...

— Полно, Поля,— остановил я ее.

— Да, как же! Думают, что я живу с вами, так и должна грабить вас для них... Выгнать бы их вон всех, вот и конец...

— Поля, что ты говоришь! — сказал я.— Ведь это все старые люди. Куда они пойдут? Я взял их не ради тебя, а ради того, что они десятки лет служили у нас и теперь едва ли могут где-нибудь пристроиться. Их надо устроить.

— Вот это все из-за меня, голубчик! — воскликнула она со слезами.

Я никак не мог растолковать ей, что мне совестно было бы пустить по миру наших дворовых. Я решился оставить все покуда в прежнем положении. Когда можно будет уехать в Петербург, устрою дворовых здесь и заживу с Полей вдвоем...»

«Того же числа. Впечатления этого утра сильно взволновали меня. Я не мог ни думать, ни работать, ни говорить. Я прилег у себя в кабинете и взял «Историю крестьянских войн» Циммермана. Я люблю эту книгу, полную возбуждающих энергию идей и полную горячих симпатий к угнетенным и к защитникам угнетенных. Светлый образ Фомы Мюнцера,— этого отца всех жгучих вопросов нашего времени, этого первообраза всех защитников угнетенных масс,— каждый раз действует на меня одинаково сильно: он дорог мне, дороже всех других идеальных личностей,— дороже их уже потому, что те по большей части не что иное, как создания творческого гения, а он — плоть и кровь: припоминая тех, останавливаешься с сомнением над вопросом, могут ли они быть в действительной жизни? Встречаясь с ним, знаешь, что это не отвлеченное понятие, не придуманный образец, а такой же человек, как ты, бившийся в слезах в том же действительном водовороте несправедливостей, заблуждений, жестокостей и беспомощных жалоб! Он говорит не о том, что люди, может быть, «могли бы быть» такими, а о том, что они «могут быть» такими. У таких людей следует учиться, им нужно подражать в деле самоотверженности, бескорыстия, любви к народу. В наш пошлый век своекорыстия и фразерства нужно постоянно напоминать и напоминать о таких личностях, словом и делом. Вечером ко мне неожиданно зашли Павлик и Марья Николаевна. Весь охваченный впечатлением прочитанных страниц, я невольно разговорился с Марьей Николаевной о Мюнцере. Она тоже читала его и любит его.

— Люблю и ненавижу в одно и то же время,— сказала она.

Я удивился.

— Эта книга,— она указала на «Историю крестьянских войн»,— впервые заставила меня не только презирать себя, но и упасть духом. Когда я прочла обо всех этих бойцах и мучениках за общественное дело, за дело ближних, я вдруг показалась сама себе

такой ничтожной, мелкой и пустой. Они вот отказывались от всяких благ для общей пользы, их травили, как диких зверей, а они делали свое дело, шли к намеченной цели; на них клеветали, их выставляли злодеями, а они, не смущаясь, забросанные грязью, продолжали свой путь. А я? Да, я не умею лишить себя какого-нибудь ничтожного удобства, я не только не борюсь за кого-нибудь, я просто даже не знаю, что мне вообще делать... Вот мысли, пробужденные во мне этой книгой, и я с тех пор и полюбила ее, и возненавидела... Потом подобное чувство пробуждали во мне многие книги.

Меня это удивило.

— Но ведь вы, вероятно, гораздо раньше этой книги читали евангелие. Там же еще более высокий образ — образ Христа. И он в вас должен был вызвать то же чувство.

— А, нет! Там передо мною бог был, и я понимала, что мне нечего и думать достигнуть до него, нечего и оскорбляться, что я не могу быть такой же безупречной и безгрешной. Тут не то, тут человек, такой же, как я, с ошибками, с недостатками, с внутренней борьбой... Вот почему меня поразило сравнение себя с ним...

Она задумалась.

— И знаете ли что: мне много приходилось видеть людей, и большинство теперь не знает, что делать. Кто и делает что-нибудь, то в нем нет твердой веры в пользу своего дела. Мюнцер беззаветно верил в свое дело, и потому он мог быть таким, каким он был. О, что бы можно дать за такую веру! Полжизни... нет, из тридцати лет жизни можно бы отдать двадцать девять за год такой веры, такой деятельности на каком бы то ни было поприще...

Павлик замахал руками.

— Бог знает, чего вы хотите! Какой веры? Во что? В бога верите? Ну, и довольно! А то вера в какое-то дело. Нашли о чем сокрушаться! Оттого вы и шершавые такие.

— Как шершавые? Что ты выдумал? — крикнула Марья Николаевна.

— Да так: то у вас все идет гладко-гладко, а то и начнутся эти охи да ахи! Вон я живу, пью, ем, подлостей никаких не сделаю; ну, и будет моя жизнь ров-

на и спокойна. А ваша шершавая вся будет: то напустите на себя бесшабашность, то в уныние ударитесь... одним словом: шершавые!

Марья Николаевна махнула рукой.

— Теленок, ничего он не понимает!

Мы расхохотались.

Павлик загорячился.

— Теленок! теленок! Нет, когда дошло до дела, так я от других не отстал. Недаром из гимназии выключили. Директор говорит: «Выдайте зачинщиков». «Нет, говорю, господин директор, у нас в семье, у Мухортовых в семье, доносчиков не было».

И тотчас же, сменяя гордый тон на свой обычный беспечный тон, он прибавил:

— Впрочем, это мне наплевать! Я здесь хозяйничать буду и по земству пойду. Надоели и без того эта латынь и греческая грамматика. Все равно, я не кончил бы...

Мы его не слушали.

Речь у нас опять зашла о Мюнцере, о Карлштадте, о Лютере.

— Это самая ненавистная для меня личность,— сказала Марья Николаевна про Лютера.— Он сам посеял семена и сам же хотел истребить жатву.

— По-моему, это трагическая личность,— заметил я.— Он напоминает чародея, который вызвал демонов и потом позабыл слова заклинания, когда было нужно, чтобы они исчезли.

— Ну, да и было от чего прийти в ужас, когда появились такие башибузуки, как Карлштадт,— сказал Павлик.

— Тогда, Павлик, и все были башибузуки,— заметил я,— но еще вопрос, кто был больше башибузуком: князья ли, утопавшие в распутстве и роскоши, грабя народ, или Карлштадт, в порыве фанатизма восставший против позора этого распутства и этой роскоши. Я, по крайней мере, вполне понимаю в этом случае фанатизм подобных людей, как Савонарола или Карлштадт. Есть обстоятельства, есть эпохи, когда страстные люди могут прийти к сознанию, что все наше беспутное мотовство, безумная роскошь, беспечальное житье являются не чем иным, как следствием грабежа ближних.

— Ну, уж тоже и жить аскетом — покорно благодарю! — воскликнул он.

— А жить грабителем лучше? — спросил я.

Павлик загорячился и почти начал кричать:

— Что ты мне страшные-то слова говоришь: грабители! грабители! Просто люди, которые хотят жить. Ну, а что пользы-то в том, если вот ты во всем себе отказывать будешь? Нищету, что ли, один истребишь? Так она была и будет!

— Я вовсе этого и не думаю. Я лично желал бы довести свой образ жизни до последней степени простоты, чтобы избавиться от внутреннего разлада, от упреков совести, чтобы сознавать, что я ем свой заработанный хлеб, а не чужой. Вот все, чего я хочу достигнуть, стремясь упростить свою жизнь. Но если бы к этому стремился не я один, а большинство...

Павлик не дал мне кончить и закричал:

— Повеситься бы тогда надо было от скуки!

— А ты думаешь, веселье в том, чтобы тратить как можно больше денег? — спросил я, смеясь.

— Ах, что вы с ним говорите! — воскликнула Марья Николаевна.— Он думает, что актеры лучше играют для бельэтажа, чем для райка.

— И самая интересная книга непременно та, у которой дорогой переплет,— добавил я.

На бедного Павлика посыпался град шуток. Он защищался не на живот, а на смерть, то со смехом, то с полудетским задором...

Совершенно незаметно, сидя в беседке над обрывом, мы проболтали до часу ночи, горячась, крича и вскакивая с мест. Вечер был превосходный, и нам не хотелось расходиться. Наконец, Павлик напомнил Марье Николаевне, что ей пора ехать, что ее кучер, вероятно, думает, что барышня пропала. Экипаж ее остался у дома дяди Алексея Ивановича, и потому до него нужно было пройти пешком. Я вызвался идти с Павликом и Марьей Николаевной. Проходя в свой дом за фуражкой, я заметил, что в окне Поли, где не было света, быстро опустилась при моем приближении занавеска. Впрочем, может быть, это мне только показалось...»

«13 августа. Утром, когда я вышел пить чай, Поля заметила мне:

— Уморили вас вчера гости! До часу сидели, да еще провожать потащили!

— Я сам предложил проводить их: вечер был чудесный! — ответил я.

— И уж любит же поговорить эта Марья Николаевна,— заметила Поля.— И о чем она только находит говорить...

— Вот погоди, Поля, будешь учиться, будет и у тебя о чем говорить. Ты и не знаешь, моя милая, как работает ум, когда много знаешь, много читаешь...

— Что же, все о науках, о книгах говорите с нею?

— С Марьей Николаевной? Да, о науке, о книгах, о людях. Вот вчера толковали об одном великом человеке, любившем горячо народ, пожертвовавшем народу жизнью.

Я начал рассказывать Поле просто, как умел, о Мюнцере.

— Когда читаешь о подобных людях, сам делаешься лучше, хочешь быть похожим на них, хотя немного, чтобы прожить жизнь недаром,— заметил я.

— И вы, вы были бы рады, если бы были таким?— воскликнула она.— Да он же на смерть шел. И вот вы сказали, что он любимую жену оставил и ходил по городам. Нет, уж какой же это муж... это уж разве самый пропащий человек сделает...

Она вздохнула.

— Нет, мы вот, женщины, не такие... Да я, хоть бы озолотили меня, не бросила бы того, кого люблю... Уж какая же это любовь? Да, верно, его и жена не любила, что отпустила.

Я рассмеялся и в шутку спросил:

— Значит, ты бы меня не отпустила?

Она побледнела.

— Разве я смею! — проговорила она упавшим голосом.— Вы что хотите, то и делаете...

— А если бы смела?

— Никогда бы не отпустила!..

И вдруг, точно испугавшись чего-то, она быстро сказала:

— Да ну их, эти разговоры! Только сердце надрывается! Мне и подумать-то страшно, что бы было, если бы вы таким были. Слава богу, что это не у нас такие люди были, а в чужих землях! Да и давно это было. Сказки, может быть, тоже! Вот посмотрела бы я, что запела бы Марья Николаевна, если бы ее же-

них, сделавшись ее мужем, удрал от нее... А что, скоро она выйдет замуж?

— Не знаю...

— Уж скорей бы выходила, а то бегает с холостыми мужчинами, срам один...

— Она честная девушка, Поля! — сорвалось у меня с языка.

Поля снова побледнела и тихо со слезами на глазах прошептала:

— И вы тоже попрекаете!..

— Что это ты, Поля, выдумываешь! Чем я тебя попрекаю?

— Что ж, разве я не знаю, что вы это про мой грех говорите, что я нечестная... Только я, Егор Александрович, видит бог, никому на шею не вешалась... и если вас я полюбила, так я знала, что ни у кого я вас не отбиваю...

Она вдруг разрыдалась.

Мне было и досадно, и жаль ее. Не прошло и пяти минут, как она уже просила у меня прощения и бранила себя:

— Мучу я вас! Сама не знаю, чего хочу... Все это от моего положения... Господи, хоть бы скорее кончалось!.. Разлюбите вы меня за мои слезы да капризы... Уж вы лучше ругайте меня, прикрикните на меня, чтобы я молчала... только не разлюбите вы меня, родной мой!

Она порывисто обняла меня и стала целовать. Впервые в жизни меня тяготили эти объятия, тяготили до того, что я сказал ей сухо и нетерпеливо:

— Полно!

Она застыла на месте, и ее глаза устремились на меня с каким-то безумным выражением ужаса. Я никогда, кажется, не забуду этого взгляда. Она точно услышала свой смертный приговор. Я спохватился и почти целый день старался быть с нею особенно ласковым, чтобы загладить свою ошибку. С ней нужно быть осторожным. Она теперь больна и слишком впечатлительна».

«16 августа. Сегодня произошел странный случай, от которого я еще не совсем опомнился. Я сидел у дяди на террасе с Павликом, Зиной и Любой. Вдруг видим, по саду бежит Марья Николаевна, подобрав подол длинной амазонки, вся покрасневшая, заплакан-

ная, задыхающаяся. Первыми ее словами было восклицание:

— Ради бога, проводите меня домой! Я боюсь... Это бог знает что такое!

Мы вскочили и бросились к ней, стали ее расспрашивать, что случилось. Она разрыдалась и потом, когда Павлик принес ей воды, отрывочно рассказала, что произошло. Она поехала кататься с Томиловым. Проездив довольно долго, она захотела отдохнуть. Они сошли с лошадей, привязали их к дереву и сели на траву. Томилов начал говорить ей о любви, о страсти и наконец воскликнул:

— Я не могу более бороться с собою! Так или иначе — вы будете моею!

Он схватил ее в свои объятия и стал целовать.

— Это низость... Наглость! Он не смел этого делать! — воскликнула она, заливаясь слезами.— Ну, я ветреная девчонка, я дурачилась, потешалась над ним... Но целовать меня... Разве я дала право?.. Господи, что за позор!

Мы успокаивали ее, уговаривали.

— Я теперь боюсь идти одна домой!.. Павлик, милый мой, проводи!.. И вы, Егор Александрович, тоже... Я одна не пойду... Он, может быть, караулит!..

Она походила на ребенка, которого обидели забияки мальчишки. Потом, успокоившись, она опять, чисто по-детски, еще плача, сказала:

— Вот, Павлик, это потому, что я тебя целую... Думают, и меня можно целовать... И какая рожа сделалась у него, рот открылся, глаза точно у пьяного... Господи, какая гадость!..

Она вздрогнула. И вдруг, опять что-то вспомнив, она всплеснула от ужаса руками и в то же время расхохоталась.

— Ведь я его хлыстом ударила, прямо по лицу... Совсем скандал... совсем скандал!..

Мы уже не выдержали и разразились смехом.

— Да, вам хорошо смеяться! — уж совсем серьезно произнесла она,— а что мне за это будет?

— На дуэль вас вызовет! — сказал Павлик.

— Ну, ну, ну, уж ты-то молчи! — ответила она.— Знаю я, что на дуэль не вызовет, а все же... Господи, какая скандалистка!

И, обратившись ко мне, она проговорила:

— Дорогой мой, распекайте меня хоть вы, останавливайте, а то я бог знает чего натворю! Вас я, право, буду слушаться, а то никакого начальства у меня нет...

Она была очаровательна в эту минуту. Я сам готов был расцеловать ее, как целовал ее Томилов. Мы пошли ее провожать. Она уже успокоилась и весело болтала дорогой.

— А я рада, что так все разом кончилось,— сказала она.

— Отстегали его за все ухаживания и конец,— проговорил со смехом Павлик.— Нечего сказать, приятный финал.

— Да я же, право, это сгоряча! Я готова извиниться перед ним. Но уж только теперь о сватовстве, конечно, не будет и речи.

— Вы ошибаетесь,— сказал я.— Томилов никому не сознается, что он употребил насилие и что за это его ударили хлыстом. Он, конечно, будет уверять, что лошади взбесились, что его в лицо хлестнула ветвь, мало ли что можно придумать...

— А я-то на что? Я все расскажу! — воскликнула она.

— Не советую,— сказал я.— Не поднимайте бури. Отказать ему можно и без скандала.

Я с Павликом довел ее до дома и, возвращаясь обратно, долго беседовал о ней. Павлик, между прочим, заметил мне:

— Вот бы тебе теперь присвататься за нее... Она с радостью выйдет...

Я невольно вспыхнул.

— Что ты глупости говоришь. Ты знаешь, что у меня есть Поля. Да и Марья Николаевна никогда не согласилась бы сделать низость и выйти замуж за человека, когда у него не нынче-завтра родится ребенок от другой...»

«19 августа. Дядя долго беседовал нынче со мною о моем образе жизни, очевидно, желая и боясь высказать мне что-то неприятное. Наконец, дело выяснилось. Он вчера встретился с здешним предводителем дворянства, и тот сказал ему, что я веду очень странный образ жизни, что меня следует образумить.

— Я, Егорушка, ничего не понял из того, что он говорил,— сказал дядя.

— Но образумлять меня все же желаешь? — докончил я, смеясь.

— Тебе все хи-хи да ха-ха,— сказал дядя.— А так нельзя. Теперь такое время.

— Какое время?

Он недоумевающим взглядом посмотрел на меня.

— Я почем знаю? Просто такое время... все говорят, что такое...

И вдруг, махнув рукою, он закончил:

— А, да пес их дери! Надоели они мне все! Тут Ададуровы, там Слытковы, здесь предводитель дворянства, все что-то жужжат... Ничего не пойму! У меня хозяйство, навоз на руках, самая горячая пора, а они: такое время! Ну их!.. Только ты, Егорушка, остерегись!

Это начинает меня раздражать. Но не могу же уехать теперь. Пусть прежде поправится Поля».

«22 августа. Сегодня случилось то, чего я никак не ожидал, не предвидел. Я возвращался домой с охоты. Около дома слытковского управляющего мне встретилась Агафья Прохоровна, вышедшая «променаж сделать и подышать воздухом полей», как объявила она мне. Жеманясь и жантильничая, она стала выспрашивать меня не без ехидства, как мне живется, и вдруг неожиданно заметила:

— А вас, кажется, скоро можно поздравить?

— С чем?

— Помилуйте, весь уезд говорит... Ах, молодой человек, какой вы скрытный!..

В ее тоне слышалась фамильярность. Прежде она так не говорила со мной.

— Я не знаю, о чем говорит весь уезд,— ответил я и хотел идти.

— А Марья-то Николаевна?.. У! Сердцеед! — воскликнула она, кривляясь, как институтка.

— Что Марья Николаевна?

— Как же, отказала жениху, господину Томилову, этому, можно сказать, кавалеру и в чинах, и при деньгах, и потом сиятельного звания будет.

— А, вы вот о чем! — сказал я.— Я даже и не знал, что она отказала ему.

Она погрозила мне пальцем и проговорила:

— Скажите! Не знали! А для кого отказала? А?

Она опять погрозила пальцем.

— Знаем мы! Все об этом говорят!

Меня разбирала злость.

— Да говорите толком! — крикнул я.— Какие там еще сплетни ходят?

— Ах, скажите, какой моветон! — обиделась она.— Или думаете, что теперь уже так и не сорвется? Так я вам скажу: Марья Николаевна капризный человек, сегодня голубит, а завтра — вот бог, а вот порог. Уж с господином Томиловым амурилась, амурилась все лето, а теперь и отставку дала. На нее недолго не потрафить!..

Она сделала мне книксен и, виляя юбками, пошла дальше по дороге. Не помня себя, я догнал ее, схватил за плечи так, что она присела, и, потрясая ее, крикнул:

— Если ты еще хоть слово скажешь о Марье Николаевне или обо мне, так я тебя...

Она завизжала неистовым голосом. Тогда я только опомнился. Оттолкнув ее, я быстро пошел домой. Мне было стыдно за себя, за этот неожиданный порыв бешенства.

Я не ожидал, что о Марье Николаевне идут такие толки. Впрочем, что же мудреного? Мы видимся почти каждый день. Эти слухи, может быть, распускает сам Томилов. Надо оградить ее от них, надо порвать сношения. Но разве я могу?.. Не могу, но это нужно! Дело касается ее чести. У меня болезненно сжимается сердце при мысли, что я должен лишиться и этого друга! «Сколько светлых минут дала ты мне, добрая, милая девушка...»

Восьмая глава

I

Мужчины по большей части народ очень недальновидный в частной, домашней, семейной жизни. Занятые служебными обязанностями, управлением своими имениями и предприятиями, общественными и научными вопросами, просто, наконец, кутежами, игрою, попойками на стороне, они не имеют ни времени, ни охоты, ни уменья пристально вглядываться в окру-

жающие их мелочи жизни. Женщина окружена со всех сторон именно этими мелочами жизни, и волей-неволей ей приходится разбираться в них. Она почти всегда первая открывает мужчинам глаза на то, что их прислуга груба, воровата, развратна, что за их дочерями начинает сильно ухаживать тот или другой человек, что у их сыновей являются те или другие дурные привычки и наклонности. Нередко вполне довольный собой и своей средою мужчина, когда ему «откроет глаза» женщина, вдруг видит, что кругом него соткалась целая паутина всяких дрязг и сплетен, что он стоит по колено в болоте всяких мерзостей и грязи, что его милые сестрицы и тетушки в сущности ведьмы, преследующие его жену, что его лучшие друзья не что иное, как развратники, соблазняющие его жену, что его старые знакомые, почтенные дамы — чудовищные сплетницы, старающиеся оклеветать и очернить его жену, их семейные отношения. Женщина, отстраненная от общественной деятельности, вся отдавшаяся своей семье, своему дому, своему хозяйству, не только подмечает эти мелочи, она выискивает их, она неустанно возится с ними, так как это наполняет пустоту ее жизни.

Егор Александрович не был исключением из большинства своих собратий и не знал, в сущности, ничего из того, что делалось в его доме, за его спиной. Подслушанный им случайно разговор Поли с Прокофьем приподнял только уголок завесы, закрывавшей от молодого человека закулисную жизнь в его доме. Поля же жила этою жизнью изо дня в день, перестрадала ее.

Родные Поли, оставленные Егором Александровичем в доме, принадлежали к числу типичных дворовых «доброго старого времени». Почти праздная и сытая жизнь в барском доме развратила их нравственно до мозга костей: поменьше работать, побольше бражничать, обирать господ, не заботиться в то же время о черном дне — из этого соткалось все существование этих людей, не имевших ни кола ни двора. С первых же дней переселения в охотничий домик они «насели» на Полю; в ней они видели «полюбовницу», «содержанку» барина; они знали наверное, что он ее бросит не сегодня, так завтра, так как когда же бывали примеры, чтобы господа не бросали таких-

то девушек; вследствие всего этого, по их убеждению, нужно было сорвать с барина теперь все, что можно, так как после близок будет локоть, да не укусишь его. Поле приходилось немало «грызться» с ними в те бесконечно долгие часы, когда она оставалась одна, и она вдруг очутилась в странном положении: она была барыня над всеми этими слугами и в то же время младший член этой семьи, имевшей право по родственному старшинству кричать на нее. Хуже всего были ее отношения к отцу. Прокофий был типом выживающего из ума старика-дворецкого, прошедшего всю грязную школу бывшего дворового. Он с детства вырос в барской передней. Когда-то он был чересчур близок к бабке Мухортова, обещавшей отпустить за эту близость мальчугана на волю. Но она умерла скоропостижно, и мальчика стали держать в черном теле, отплачивая ему за то, что он «задирал нос» при старой барыне. Потом ему выпало опять на долю печальное счастье сделаться мужем барской любовницы и отцом барского ребенка. Затем он долго играл роль дворецкого и, имея под руками барский буфет и барский погреб, приучился попивать. С годами эта страсть усилилась, и теперь, очутившись почти без дела, он стал уже пить не запоем, а постоянно. Он говорил, что он пьет с горя.

— До чего дожили,— рассказывал он каждому, кто хотел его слушать.— В разор разорились. Нищими стали. Родовое свое именье продали! Отцы-то да деды копили, а мы все в трубу выпустили! На людей-то смотреть стыдно...

Когда же любопытные спрашивали его:

— Ну, а как сам-то? Убивается?

Он презрительно отвечал:

— Что сам! Разве нонче господа есть? Где это они? Одно название, что господа... Нонче наш-то моду выдумал: сам дрова колет!..

И уже совсем злобно добавлял:

— Да это что! Сам постель себе делает, не услужи ему. «Я, говорит, без услуг обойдусь»... Это что же? Господин разве?.. Да у дедушки-то его казачок мух с лица отгонял, когда тот почивать изволил!.. А этот сам все делает... Кто его после этого уважать будет?.. С мужиками тоже толкует, точно ровня... Раскольника какого-то нашел, да с ним по целым часам

беседует, спорит... Веру, что ли, переменить хочет? Так разве это барское дело? Раскольник — мужик, а он — барин, так ему не след с ним якшаться... Это какой же фасон?..

К Поле и к ее положению он относился странно. То он гордо говорил, что его дочь делает, что хочет из молодого барина, «веревки вить из него может»; то он вдруг начинал роптать, что дочь осрамила его, в полюбовницах барских живет, седую его голову позорит; сама по своей воле связалась, а не силком тащили на грех. Иногда он плакался, что будет, если барин бросит Полю; порой же грозил, что он уйдет и потребует Полю к себе, так как «дочь по закону должна пропитание отцу давать». В существование такого закона он верил твердо.

— Прикажу идти за мной — и пойдет! Я отец! Мне на него наплевать, потому что мы теперь вольные. И какой он такой барин? Нищий он, вот что! Хочешь жить с моей дочерью, так женись, а не срами мою седую голову!

И в голосе полупьяного старика слышалась угроза. Уважения к барину он, по-видимому, не питал никакого, по крайней мере, за глазами барина. Вся эта путаница настроений и понятий выживавшего из ума и сильно попивавшего старика страшно волновала Полю; но, тем не менее, объясниться с Егором Александровичем молодая девушка не могла. Его спокойствие было для нее дороже всего.

— Хоть бы меня-то вы пожалели! — говорила она отцу.

— А ты-то меня пожалела? — отвечал он.— Осрамила, а я тебя жалеть буду? Нет, проклясть бы я тебя должен, а не жалеть. Жалеют-то таких, которые отцов не срамят!..

— Чем осрамила-то? Сами вы меня срамите, погибший вы человек! Слово мне сказать стоит — и завтра же вас здесь не будет.

— Ну, это еще посмотрим!

— Да и посмотрите! Выгонят вас на все четыре стороны, тогда и ходите по миру! И будет это, потому что лопнет мое терпение, все я расскажу Егору Александровичу...

Старик трусливо смирялся на время — на день, на два,— а потом снова начиналась та же история. Егор

Александрович не замечал почти ничего. По привычке, сделавшейся второй натурой, при появлении Егора Александровича Прокофий делался покорным, подобострастным дворецким-холопом, и только; он даже умел, несмотря на хмель, «пройтись по одной половице», чтобы барин, оборони господи, не заметил чего-нибудь. Но как ни страшен был этот семейный ад для Поли, его заслоняло в ее душе другое чувство — чувство ревности. Это чувство, несмотря на все ее усилия побороть его, росло с каждым днем и просто душило ее. Каждое появление в доме Марьи Николаевны было испытанием для молодой девушки. Зачем ходит Марья Николаевна к холостому человеку? Эта барышня на все способна! Ей ничего не стоит отбить человека у другой. Никакой власти над ней нет. Что хочет, то и делает. О чем говорит с нею Егор Александрович? Он рассказывает, что они говорят все об ученом, да разве у нее горело бы так лицо, если бы они об ученом разговаривали. И что за радость говорить-то об этом? Скука только одна, а ей, поди, не скучно, если и щеки горят, и глаза, точно огонь, светятся! Об ученом-то так не разговоришься! Выходила бы скорей замуж за своего Томилова! А то двум на шею вешается, подлая душа! И где такая выискалась? Другие барышни хоть приличия знают. Тайком шуры-муры заводят. А эта разнуздалась совсем. И среди этих мучительных тревог и сомнений вдруг являлись мысли о том, что она, Поля, лишняя. Эта мысль болезненно охватывала девушку, сжимая сердце. Связала она по рукам и ногам Егора Александровича. Добрый он, не бросит он ее, пока она жива, а каково ему с нею? Ни говорить она с ним не умеет, ни гостям он ее показать не может, да еще теперь, в этом положении, и хворает она, ему же горе доставляет, то раздражая его, то плача. Горя ему от нее много, а радости никакой! Тут и милую разлюбишь. Что мужчине в больной-то? Скорей бы хоть это кончалось! А после-то что? После-то как они будут жить? Вот целая семья у него на шее ради нее сидит! Выгнать-то их он не захочет. Говорит: «Куда же они пойдут, обеспечить их надо». Это он все для нее, для Поли, делает. Без нее с чего бы ему о ее родне заботиться? Толкует он, что он должен позаботиться о стариках, потому что его семья загубила, испортила,

развратила этих людей. Пустое это он толкует. Что ему они? Не детей ему с ними крестить. Выгнал и конец! Это он только так по доброте душевной, для ее успокоения рассказывает. Как ребенку-несмысленочку глаза отводит. Точно она не понимает, что кто ж их губил, портил да развращал? Сами такими вышли. Вот уж истинно загубила она человека. И хоть бы любил, а то... По доброте своей он говорит, что любит. За что ему любить ее? Сначала, может быть, и любил, а теперь... Господи, хоть бы выздороветь скорее! И нужно же было этому греху случиться! Молилась, чтобы только детей не было, так нет! Бог-то, видно, таких молитв не слышит. Согрешила и казнись!.. И, точно какой-то бесконечный клубок, развертывались в голове Поли скорбные, черные мысли. Вспоминались мелочные сцены, выражения Егора Александровича, его вздохи, его взгляды. Все ловилось, все становилось на счет. Вон сказал про Марью Николаевну: «Она честная девушка». Что и говорить: вешается-вешается людям на шею, а до греха не дойдет; ей зачем, когда на ней каждый женится; таким-то и грешить не для чего, когда все по закону можно сделать. Тоже пытал стращать, что вдруг уйдет, как тот... как его?.. Фома какой-то, про которого в книгах пишут. Шутил он это, а может быть, и точно наскучило ему, невмочь стало, ну, и хочется бежать, как тот от жены бежал. «Ты бы, говорит, отпустила?» «Голубчик, да разве я смею не отпустить! Если бы смела, на шаг бы не отпустила, взглянуть ни на кого не позволила бы!.. Да нет, нет, что же это такое! Пусть идет, куда хочет! Я не помеха, я не губительница! Говорю, что люблю, а сама кандалы надеть хочу, руки и ноги связать хочу. Пусть идет, пусть идет, только бы был счастлив. Самой мне уйти бы следовало...» И глаза Поли с каким-то тупым выражением ужаса останавливались на одной точке. Это были глаза безумной. В голове происходило что-то недоброе...

— Куда же я-то могу уйти? — медленно, как бы в бреду, шептали ее побелевшие губы, и голос становился глухим и удушливым, точно кто сдавливал ей горло.— Ну куда мне уйти... некуда... некуда!.. Разве с головой в воду... Освобожу его!.. Полетит на все четыре стороны... Крылья будут развязаны!.. То-то проклятая змея подколодная будет рада!.. О-о, из своих

рук задушила бы ее, разлучницу!.. Грех-то какой, грех!..

По спине несчастной пробегал холод, голова тяжелела, руки и ноги цепенели. Вместо мыслей в голове вставали страшные картины, страшные образы.

II

В одну из таких мрачных минут в комнату Поли, сидевшей за шитьем, вошел Прокофий. Он не был пьян, но выражение его морщинистого лица было крайне сурово.

— А я к тебе, дочка,— сказал он, подсаживаясь к дочери.— Ты видела сегодня Егора Александровича?

— Как же не видать-то,— ответила она отрывисто.— А вам что?

— А то, что... Что он говорил-то тебе?

— Мало ли что! Всего не перескажешь!.. Да вам-то, спрашиваю, что?

— А то, что встретил я сейчас Агафью Прохоровну... Подлая, право, подлая!.. Разлетелась ко мне с поздравлениями... «Марья Николаевна, говорит, своему жениху отказала, за Егора Александровича выходит. Вам, говорит, радость, тоже зятьком приходится вам Егор Александрович». Тьфу, окаянная! Этакие слова на старости лет приходится слушать!..

Поля побелела, как полотно, поднялась с места и, зашатавшись, ухватилась за стол. Но, собравшись с силами, она все же заметила дрожащим голосом:

— Охота вам было говорить с нею!.. И ко мне-то эти вести зачем приносите?.. Тварь она поганая, и больше ничего!.. Ни на ком Егор Александрович не женится...

— Ой, не хвались! — проговорил Прокофий, стуча рукой по столу.— Еще насмотримся мы горя... Загубила ты себя, да и меня с собою... Вон в гробу одной ногой стою, а угла, может, скоро не будет, куда бы седую голову приклонить... Говорили, чтобы замуж шла... всем бы хорошо было...

Поля молчала, точно Прокофий говорил не о ней. У нее в голове снова вихрем проносились тяжелые думы, цепляясь одна за другую. Разобраться в них у нее не было ни сил, ни уменья.

Она с лихорадочным нетерпением стала ждать Егора Александровича, чтобы расспросить его обо всем! Он, как назло, вернулся в этот день с охоты только вечером, к чаю. Поля заметила, что он сильно устал, но, тем не менее, не выдержала и спросила его за чаем:

— Правда это, Егор Александрович, что Марья Николаевна своему жениху отказала?

Она произнесла эту фразу насколько могла спокойно.

— Да,— ответил он рассеянно.

— Верно, другого нашла? — сказала Поля, бледнея.

— Нет, просто не любит она Томилова.

— Не любит, а столько времени хороводилась с ним!

— Глупости ты говоришь... О том, Поля, чего не понимаешь, лучше не говори... Марья Николаевна...

— Ну, где уж мне понять,— страстно перебила его Поля с необычайною для нее резкостью.— Я простая девушка, не барышня! Мы не умеем за десятью бегать, если одного любим...

Егор Александрович поднял на нее удивленные глаза. Он только теперь подметил ее волненье.

— Чего ты горячишься? — спросил он спокойно.— Ты вот, простая девушка, хочешь очернить ее, сама не зная за что, а она, барышня, христом богом просила меня, чтобы я познакомил ее с тобою, чтобы она могла подружиться с тобою.

Поля вспылила еще более и опять загорячилась:

— Не нуждаюсь я в их дружбе! Этакие-то друзья обнимать станут — задушат!..

— Это кто же тебе сказал? Не Марфуша ли сказала про Марью Николаевну? — спросил Егор Александрович, укоризненно качая головой.— Ты ведь Марфушу знаешь, говорила с ней...

И грустным тоном он добавил:

— Видишь ли что, Поля: про нее, кроме доброго, никто из окружающих ее, из близких к ней ничего не скажет. За что же ты ее бранишь? Ведь уж не такая же ты сама безгрешная да добрая, чтобы всех других судить...

Поля смотрела на него уже с испугом. У нее сжалось сердце. Он мягко и осторожно продолжал:

— Ты, голубка, все о себе только думаешь, надо и о других подумать. Может быть, другим тоже не сладко живется. Сквозь золото тоже слезы льются.

— Вы ее любите? — совершенно неожиданно спросила Поля упавшим голосом.

— Да, она добрый и хороший человек. За что же мне ее не любить? — сказал Егор Александрович и с улыбкой прибавил: — Ведь это только ты, не зная ее, бранишь ее... Ревнива ты, Поля. Я этого и не знал. Так нельзя, милая... Ведь не могу же я без людей жить...

— А я? Мне никого, никого, кроме вас, не нужно! — воскликнула Поля.

— К несчастью, покуда тебе приходится так жить,— ответил он.— Но всегда так жить нельзя. Вот почему я и стараюсь, чтобы ты подучилась, развилась...

Она поднялась с места.

— Не надо... ничего мне не надо! — сухо сказала она.— Не барышня я...

Он вздохнул. Ему начинали надоедать эти разговоры. Десятки раз пробовал он объяснить Поле, что ученье и развитие только скрепят их союз. Она никак не могла понять почему. Ему наскучило возвращаться к этому вопросу, к одному и тому же вопросу, к одним и тем же объяснениям. Это была какая-то работа белки в колесе, приводившая в отчаянье своей бесполезностью, своей безуспешностью. Допив стакан чаю, он встал, поцеловал Полю в лоб и прошел в свою спальню. Молодая девушка осталась у стола, точно окаменев. В ее мозгу была только одна мысль: «Не меня, ее любит!» Потом, вдруг опомнившись, она спохватилась, что она все-таки не спросила его о главном: не женится ли он на Марье Николаевне? Да что же и спрашивать? Если любит, так и спрашивать нечего. Женитьба что? — Любовь главное!..

Поля опустилась на стул, закрыла лицо руками и зарыдала.

III

На следующий день Прокофий снова забрел под вечер к дочери и рассказал ей, что Агафью Прохоровну чуть не побил Егор Александрович за то, что она его поздравила, как жениха Марьи Николаевны.

— Что вы душу-то мою выматываете,— воскликнула Поля.— Сердце-то мое по частичкам разорвать хотите! И так я исстрадалась!.. Местечка во мне живого нет!.. Хотите, чтобы руки на себя наложила, что ли?.. Ну, хорошо, хорошо, порадуетесь еще!.. Ведь у меня исхода нет, просвета нет впереди!..

Прокофий испугался.

— Что ты, обезумела, что ли? — проговорил он, махая рукой.— Не к тому я... А надо же тебе знать... Если он ее, Агафью-то, поколотить хотел за Протасиху, значит недаром. Так-то с чего бы? Мало ли псы брешут... Ах, дочка, дочка, много ты горя нам принесла...

Поля заплакала, ничего не отвечая отцу. Он подошел к ней и мягко заговорил:

— Ты не убивайся... Может, он и не любит ее, а только дела поправить хочет... Тоже невеста выгодная... Ну, женится, тогда и нам легче будет, обеспечит по крайности...

— Ничего мне не надо, ничего! — крикнула Поля, отстраняясь от отца.— Не за деньги люблю! Слышите! Вы за деньги душу продавали! Я не такая! Все погибайте, все по миру идите, если он разлюбил! Никого не жаль, себя не жаль, если разлюбил!..

Она походила на сумасшедшую. Ее глаза горели сухим, лихорадочным блеском, на щеках проступили красные пятна.

— Идите, идите! — сурово продолжала она выкрикивать.— На грех вы все меня толкаете, на смертный грех!.. И бог вас накажет, если я... Господи, видишь ты, не вольна я в себе! — воскликнула она, обращая безумные глаза к образу.

Прокофий испугался не на шутку.

— Полно, полно! — заговорил он.— Ну, перемелется... Вот водички выпей...

Он дрожащими руками торопливо налил в стакан воды и подал Поле. Она бессознательно выпила воду и почувствовала озноб. Не прошло и получаса, как ей стало хуже. Ее била лихорадка. Ее силы настолько ослабели, что ей пришлось лечь. Егор Александрович, услыхав, что Поля захворала, поспешил за доктором...

Дней пять молодая девушка не вставала с постели. Ее физические силы были надломлены, но не-

сколько дней, проведенных в постели, успокоили немного ее нервы. Заботливость Егора Александровича если не пробудила в ней луча надежды на его любовь, то согрела ее, смягчила ее сердце.

— Господи, какой вы добрый! — шептала она, целуя его руки с какой-то покорной благодарностью.— Душу готовы мне отдать, а я...

— Да ты не волнуйся, Поля,— уговаривал он ее, ласково улыбаясь.— А то я сердиться буду... Доктор говорит, что в твоем положении главное — спокойствие...

— А вы испугались, когда я заболела?

— Еще бы!

— Думали, умру?

— Ну, этого-то не думал... Ты ведь по натуре здоровый человек...

— А если бы умерла?

— Полно глупости придумывать!

— Нет, отчего же!.. Вот я умерла бы, женились бы вы...

Он покачал с упреком головой.

— Зачем ты сама причиняешь себе лишние тревоги, лишнее горе? — сказал он серьезным тоном.

Она промолчала. Потом осторожно заметила:

— А что же Марья Николаевна, кажется, и ходить к нам перестала?

— Неудобно ей ходить теперь ко мне, после того, как она отказала Томилову.

— Это почему? — спросила Поля.

— Потому, что теперь еще бог знает, что начнут сплетничать про нее.

Поля взглянула пристально на Егора Александровича.

— Что ж, будут говорить, что вы ее жених? — сказала она.

— Это же неприятно, когда я не жених и не могу быть ее женихом.

Поля вздохнула.

— Скучно вам без нее будет...

Мухортов на мгновенье сдвинул брови. Поля угадала. Ему уже было скучно, что он не видал несколь-

ко дней Марью Николаевну. Но тем не менее он поспешил оправиться и равнодушно ответил:

— Не скучал же я без нее прежде...

Послышался новый вздох Поли.

— Да,— проговорила она,— я, Егор Александрович, лежала вот и все думала. Правда это, что учиться мне надо. Скорей бы только все кончилось. Тогда я стану учиться всему, всему. Так нельзя. Что ж, в самом деле, это за жизнь: свой дом есть, а к другим надо вам бежать душу отвести...

Она обратила к нему заискивающий, просительный, боязливый взгляд:

— Тогда ведь будете любить?

— А теперь не люблю? — шутливо спросил он.

Она покачала головой.

— Нет, вы не шутите... Не надо!.. За что же меня любить?..

IV

Выздоровление Поли шло медленно, хотя она уже и не лежала в постели. Ее лицо страшно изменилось. Оно похудело, на щеках был багровый румянец, в глазах был сухой блеск. К несчастию, и погода стояла такая, что легче было расхвораться, чем выздороветь. После сухого и теплого августа настал ненастный сентябрь. Мелкие осенние дожди шли в течение целых двух недель. Казалось, над землею проливались молчаливые, неутешные слезы. В охотничьем домике царила тишина, царила скука. Егор Александрович или работал в своем кабинете, или ходил на охоту, или беседовал с разными мужиками; Поля тоскливо шила мелкие, необходимые для будущего своего ребенка, вещи. Ручная женская работа сильно располагает к думам, и у Поли не было им конца. Во время болезни ее охватило желание учиться, развиваться. Но это было минутною вспышкою, последней соломинкой утопающего. Этими мечтами Поля тешила себя, стараясь уверить себя, что она скоро сделается такою же, как Марья Николаевна, и что Егор Александрович тогда полюбит ее. Так иногда одиноко растущие дети сами себе рассказывают сказки. Теперь эти мечты вдруг куда-то улетучились, исчезли, и их заменили новые безотрадные думы. Смотря на

Егора Александровича, Поля видела, что он чем-то озабочен. Ей не приходило в голову мысли о том, что ему было о чем подумать, что ему приходилось решить трудный вопрос, как жить, какой дорогой идти, к какой цели стремиться. Работа его мысли, мучительная и болезненная работа, от которой он худел и бледнел, от которой он не мог ни бежать, ни укрыться, была неизвестна, непонятна ей. Она удивилась бы, что можно биться в слезах над отвлеченными вопросами о правде, о честности, о добре, о боге. Для нее все эти вопросы были давно ясны и разрешены, как для ребенка ясен и разрешен вопрос о том, что деревянная палочка, на которой он скачет, есть настоящая лошадка. Ей просто казалось, что Егор Александрович «скучает». И как же не скучать? Один он. Даже Марья Николаевна не ходит к нему. С нею, с Полей, ему не весело. Вот если бы она была образованная, как Марья Николаевна. Нет... где ей! Вон книжки он ей читает, так ее ко сну клонит. Что в них, в книжках! Нет, уж видно, она такою уродилась, что ей ничего не надо. Да, ничего и никого не надо, только бы Егор Александрович был с нею. Ей вспомнилось, что Егор Александрович говорил ей как-то, что нужно любить всех людей, как братьев, что иначе и самого человека никто любить не будет. А кого же она любит? Кто ее любит? Да за что же ей их любить? За что им любить ее? Тоже не мало люди-то ее грызли! И теперь грызут! Перед нею вставали образы ближних: Софья Петровна, любившая ее, как любят кукол: играют с ними и ломают их; Агафья Прохоровна, вечно рывшая ей яму да лаявшая, как собака из-за кости; тоже тетушка Елена Никитишна хороша, замуж за постылого хотела выдать, чтобы под старость жить у нее, у Поли; отец — на всякий грех благословил бы он, лишь бы денег за это дали, пропоица бессовестный. Нет, это господам хорошо любить ближних; за деньги-то эти ближние у господ руки лижут; горя-то при деньгах от ближних не приходится видеть. Вон Марья Николаевна, поди, весь мир любит, с жиру... Легко так-то любить! Вынула из кармана деньги да и дала! Вот, мол, как я вас люблю! Все равно ей, много у самой останется. А попробовала бы любить, когда каждый норовил бы обидеть да загрызть... Мысль о Марье Николаевне снова навела Полю на

вопросы: не видится ли Егор Александрович с Марьей Николаевной тайком? Она ведь хитра, сумеет найти уголок, где встречаться. Не выпустит она его из рук. И то сказать, такого-то красавца какая девушка не полюбит! Разлучница, креста-то на вороту у нее нет. Видит, что человека другая любит, а она отбивает. Мало мужчин, что ли? Выбирала бы в другом месте... В душе опять поднималось негодование против Протасовой...

Эти думы Поли были в одно сентябрьское утро прерваны громким говором в гостиной. Поля подбежала к двери и замерла на месте, сразу узнав знакомый голос.

— Марья Николаевна, какими судьбами! — воскликнул Егор Александрович в гостиной.

В его голосе послышалась радость.

— Здравствуйте, добрый мой... Тысячу лет не видала вас,— проговорила Марья Николаевна торопливо.— Ну, да теперь некогда говорить... Мне говорили, что у вас каждый день бывает доктор... Не у вас ли он?

— Нет, но будет сейчас... А что?

— Ах, несчастие! У Марфуши сын заболел... Дифтерит, кажется... Я не знаю, но боюсь... Ведь он у нее один... Милый, скажите доктору, чтобы сейчас же... Вы знаете, где живет Марфуша?

— Да, знаю...

— Ну, так укажите ему...

— Так подождите его...

— Нет, нет, я туда поеду... Нельзя ее одну оставить... Знаете вы их, еще что-нибудь натворят, глупые... Этакая ведь беда!..

Она в волнении пожала руку Егору Александровичу и быстро вышла из комнаты. Поля, совсем помертвевшая, вошла в гостиную.

— Что это? — глухо сказала она.— Марья Николаевна была?

— Да... Какое горе у бедной... У Марфуши сын захворал... Скорей бы доктор приехал...

Егор Александрович посмотрел на часы.

— Поехать ему навстречу — разъедешься, пожалуй? — в раздумье рассуждал он, не зная, что делать.

— Да ведь дифтерит... это прилипчивая болезнь?..— сказала Поля.

— Да...

— Так как же?..

Он рассеянно ответил, все еще глядя на часы и соображая:

— Ну, Марье Николаевне не до этого... Мальчуган же ее крестник... Да она и любит Марфушу, как сестру...

— Да я не о том,— отрывисто сказала Поля.— А как же вот к вам пришла... Еще пристанет... к вам... Тоже о других-то не думает... На самоё-то смерти нет.

Егор Александрович раздражился и почти с отвращением взглянул на Полю, точно он был готов в эту минуту раздавить ее ногою.

— Сердца-то у тебя нет! — запальчиво сказал он.— Тут люди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она...

У Поли мгновенно опустились руки. Ее точно холодной водой облило. Он закусил губы, уже сердясь на себя за невольную вспышку. В последнее время он особенно упорно наблюдал за собою, чтобы подавлять всякие порывы раздражения и гнева. Но это давалось нелегко. В эту минуту подъехал доктор. Егор Александрович торопливо пошел ему навстречу.

— Доктор, прежде всего поедемте в другое место,— проговорил он, пожимая руку доктору.— Сюда потом заедете, а там дифтерит... отлагать нельзя...

Он торопливо пошел с доктором к выходу...

Поля не трогалась с места...

— Окаянная! окаянная! — шептала она, тупо смотря перед собою.— Немудрено, что не любит... Ненавидеть будет...

Она начала себя бить кулаком в лоб.

— Всех только клянешь, да ругаешь, а сама... Ах, ты, проклятая!.. Ни на этом, ни на том свете не простится!.. Как собака издохнешь!..

И что-то вспомнив, она с горечью проговорила, повторяя слова Егора Александровича почти его голосом: «Сердца у тебя нет! Тут люди заботятся о спасении жизни других, о себе забывают, а она...» Голубчик, голубчик мой,— крикнула она вдруг рыдающим голосом,— никогда не буду, никогда!.. Прости, прости, родной мой!.. Загубила тебя, загубила!.. Ангельская ты душа...

И вдруг широко раскрыв глаза, с открытым ртом, она смолкла, вся похолодев.

— А ребенок? — каким-то вздохом прошептали ее синеющие губы.— Он как же!.. Вместе со мною?.. Нет, нет, что ребенок?.. Его... пусть... свободен будет...

Она, шатаясь, заметалась по комнате, точно что-то отыскивая ощупью; случайно натолкнулась на дверь, ведущую к террасе; побежала по дорожке, как-то бессознательно делая движения рукой, как бы стараясь за что-то ухватиться, придержаться, чтобы не упасть; добежала до беседки над обрывом и сбоку, где была живая изгородь, быстро, бессмысленно раздвинув ветки колючего кустарника, ринулась вниз.

Послышался сильный всплеск воды...

Девятая глава

I

Сентябрь пришел к концу; наступил октябрь. Дождливые дни снова сменились ясными и замечательно теплыми осенними днями. Но эти дни, несмотря на тепло, уже не походили на те августовские дни, когда в воздухе еще не слышалось осенней свежести, когда деревья в саду охотничьего домика еще были вполне зелены, когда здесь все было еще в полном цвету. Теперь весь сад, сильно запущенный за последние дни и давно не метенный, был полон желтых и красных листьев; в клумбах цвели почти одни астры, напоминавшие своими безжизненными цветами выцветшие искусственные цветы, да кое-где виднелись еще в вышине грубые, яркие цветы георгин, вытянувшихся выше человеческого роста. На ступенях террасы охотничьего домика сидел Егор Александрович в своем обычном костюме,— серой суконной блузе, подпоясанной кожаным ремнем, в высоких сапогах. Он был неузнаваем: казалось, он и вырос, и возмужал за последние дни, и в то же время осунулся, похудел и побледнел; он стал шире в кости, но юношеская мясистость исчезла, черты лица приняли более резкий характер, утратив округлость; в последнее время он перестал подстригать бороду и баки, еще не видавшие

бритвы, и теперь еще лицо было окаймлено мягкими, пушистыми белокурыми волосами, несколько скрадывавшими худощавость лица; но эта худощавость тотчас же делалась заметной, стоило только взглянуть на его глаза: они сильно ввалились и сделались как будто больше, темнее, глубже и смотрели сосредоточенно, серьезно и вдумчиво. Он сидел одиноко, сдвинув брови, не обращая внимания на окружающие его предметы, чертя бессознательно прутом какие-то узоры на песке, очевидно, отдавшись тяжелым думам. Они, казалось, охватили его всего.

— Опять без книги, опять передумываете горькие думы. Так нельзя. Нужно же рассеяться! — послышался около него мягкий и ласковый голос.— Вы изведете себя совсем.

— А, это вы, наш добрый гений,— очнувшись, сказал Егор Александрович и дружески протянул обе руки стоявшей перед ним Марье Николаевне.

Странными стали его руки: широкие, красные, огрубевшие, они не напоминали теперь его прежних выхоленных рук.

— Ну, что наша больная? — спросила участливо девушка.

— Сознание вернулось совсем... Кажется, теперь опасность миновала, хотя, признаюсь вам, именно сегодня я особенно боюсь за нее...

— А что? — тревожно спросила Марья Николаевна.

— Велела позвать священника... отца Ивана... Зачем, зачем?..

Он передернул плечами. В его голосе послышалась щемящая тоска.

— Исповедоваться?

— Да... Зачем же?.. В чем?..

— Ей легче будет,— тихо сказала Марья Николаевна.

Он отрицательно покачал головой.

— Отец Иван утешений не приносит... не умеет утешать...

— Нас с вами... а ее... Взгляните, как его любят крестьяне... На их языке говорит он, их понятия у него... Они верят в одно и то же.

Он тяжело вздохнул.

— Убить он может ее своею грубостью... Она еще так слаба...

— Предупредите его...

— Что вы говорите! Разве он меня послушает? С ним я не умею говорить... знаю все его достоинства, удивляюсь его стойкости и не умею с ним объясняться... на разных языках говорим...

Он что-то вспомнил, проводя рукой по лбу.

— Да, кстати... Просила она потом вас прийти к ней...

— Вы ей сказали, что я ходила за ней? — почти с упреком проговорила Марья Николаевна.— Зачем же?.. Я нарочно ушла, когда она стала говорить сознательнее...

— Я ей ничего не говорил, Марья Николаевна,— ответил он.— Она сама пожелала... Не знаю зачем, но... боюсь я... Нужно ли вам идти к ней?..

На его лице отразилась душевная тревога. Марья Николаевна подняла на него вопросительные глаза.

— Я же вам все рассказал,— пояснил он.— Вы знаете, что она подозревала меня, вас... ревновала...

Молодая девушка в смущенье смотрела уже в сторону, избегая его пытливого, тревожного взгляда.

— Я боюсь, что она может сказать вам что-нибудь неприятное, обидное,— продолжал он.

— Мне все равно,— тихо ответила она.— Она так несчастна, что... Мне все равно... Я пойду.

Он молча взял ее руки и поднес их к губам. Она не отняла их, не изменилась в лице.

— А дома все та же война?— спросил он.— Война из-за нас...

— Я не обращаю внимания,— ответила Протасова.— Вы знаете, отец дал мне полную свободу давно. Он уверен во мне. А эти сумасшедшие старухи... Что мне они? Мне только досадно, что отца теперь нет здесь. При нем не было бы и этой войны.

— Вы много, много сделали для меня, для Поли... Без вас я потерял бы голову... Как ни стараюсь я, а все еще не могу вполне закалить себя... барич!..

Она покраснела и переменила разговор...

С того дня, как Поля бросилась в воду, Марья Николаевна почти безвыходно пребывала в охотничьем домике. Не много было этих дней; но они могли показаться целою вечностью. Полю вытащили из воды в

бессознательном состоянии, хотя с очевидными признаками жизни. Вытащил ее кучер Дорофей, водивший лошадей на водопой. Прежде чем люди успели прийти к какому-нибудь заключению, что делать с утопленницей, в охотничий домик вернулись Егор Александрович и доктор. Девушку внесли в дом и тотчас же пришлось послать за акушеркой. Егор Александрович совершенно растерялся и ходил, как во сне, торопя всех и каждого, хватаясь то за ту, то за другую вещь, спрашивая по сто раз доктора, есть ли опасность, не нужно ли чего-нибудь сделать? Потрясение было слишком неожиданно. Когда Мухортову сказали, что Поля, вероятно, выживет, но что ребенок мертв, он не выдержал и разрыдался такими горькими слезами, как плачут женщины и дети. Когда ему сказали, что приехал становой снять допрос, он чуть не бросился его душить в порыве бешенства, пробудившегося в нем при первом грубом слове. В эти страшно тяжелые минуты явились около него две личности, одинаково тепло отнесшиеся к нему. Это были Павлик и Марья Николаевна. Первый неумело, как юноша, вторая с чисто женским чутьем и ловкостью услуживали Егору Александровичу, утешали его, помогали в уходе за Полей, лежавшей без сознания. Егор Александрович не благодарил их и пользовался их услугами без возражений, распоряжался ими и посылал их то туда, то сюда; только через три-четыре дня он немного оправился, совладал со своими нервами и почти с ужасом заметил Марье Николаевне:

— Дорогая моя, но что же скажут ваши?.. Что будут говорить вообще соседи? На сплетни-то и у Слытковых ума хватит...

Она махнула рукой и бодро ответила:

— Ну, уж это мое дело!.. О таких глупостях не стоит и говорить в таком положении...

Павлик между тем лукаво улыбнулся.

— Ты, Егораша, сам вытолкал в шею пришедшего за Марьей Николаевной слугу,— сказал он.— Это-то уж, я думаю, весь уезд теперь знает.

— Как? Когда? — спросил Егор Александрович с испугом.

Он ничего не помнил. А между тем он действительно вытолкал слугу Ададуровых, пришедшего справиться, не здесь ли барышня.

— Вот этого еще недоставало, сам скандал сделал! — проговорил он.

— Ничего, Егораша,— сказал Павлик.— Я уже ездил с письмом Марьи Николаевны к ее медузам...

— Милый мальчик! — проговорила Марья Николаевна, потрепав его по щекам.— Я боялась, что они его съедят...

— Я потом поеду, если нужно, сам,— сказал Егор Александрович.— Мне так совестно... И как я сразу ничего не сообразил...

— Нет, ты сообразил,— шутливо заметил Павлик.— Как еще командовал и Марьей Николаевной, и мною, точно нанял нас...

— Простите, мои дорогие! — проговорил Егор Александрович, протягивая им руки.

Он теперь только понял, как много они для него сделали. Припоминая все мелочные подробности этих дней, он изумлялся тому, что делала Марья Николаевна, работавшая и услуживавшая, как простая служанка. Это было полное самозабвение, безусловная готовность служить ближнему. По-видимому, ни на мгновение в ее душе не промелькнула мысль о том, что ей неприлично быть тут, что ей тяжело исполнять обязанности сиделки, что она приносит жертву. Среди общей суматохи ею командовали и распоряжались все, и она покорно делала свое дело, как наемная слуга. Так прошло немало дней. Павлик и Марья Николаевна чередовались, помогая Егору Александровичу. Наконец Поля начала приходить в сознание, ее речи стали осмысленными. Тогда Марья Николаевна сочла нужным удалиться. Больная лежала в полутемной комнате, но Марья Николаевна все же боялась быть узнанной ею. Егор Александрович полусловами, говоря о вероятной причине покушения на самоубийство, намекнул на ревность Поли. Услышав это, Марья Николаевна побледнела, и у нее точно защемило сердце. До этой минуты она еще ни разу не сознала ясно, что она действительно любит, безгранично любит Егора Александровича. Теперь вдруг ей стало это яснее дня. Да, он для нее все; кроме него, она не думает ни о ком. Будь это несчастие не с ним — разве она пошла бы сюда? Настолько-то и у нее было боязни перед людскими толками, чтобы не проводить ночей около больной любовницы молодого человека

в его доме. Ведь это не то, что ходить за сынишкой Марфуши. Но для него, для Егора Александровича, она готова на все. Он ей дороже всего на свете. Теперь она поняла это, теперь она готова бы признаться в этом перед целым светом. Но как же: ведь он почти женат? Что же такое? Разве она не сумеет найти в себе столько сил, чтобы не нарушить его счастья? Поле лучше, и она, Марья Николаевна, может теперь уйти. Она еще зайдет справиться несколько раз, как поправляется больная, а потом — потом простится она с ним навсегда, навсегда, навсегда...

Павлику, провожавшему Марью Николаевну по обыкновению и на этот раз до дому, показалось, что она плачет. Было совсем темно, но он все же видел, что она подносила несколько раз платок к глазам.

— Марья Николаевна,— осторожно окликнул он ее,— вы плачете!

— Ничего, голубчик, ничего,— ответила она детским голосом.— Это я так... это пройдет...

Он бросился поближе к ней и взял ее с участием за руки.

— Вы его любите, Марья Николаевна? — спросил он тихо, с любопытством и добродушием юноши, чувствующего уже волнение в груди даже при чужом признании в любви.

— Не надо, Павлик, не надо! — ответила она пугливо.

— Я не скажу, Марья Николаевна. Ей-богу, не скажу! Ни ему, никому, никому. За кого же вы меня считаете?

Он сам чуть не плакал, стараясь уверить ее, что он достоин доверия. Она еще колебалась.

— Побожись, Павлик!

— Ей-богу! Ведь это же подло, чужие тайны выдавать! Я никогда, никогда!

Она порывисто и крепко сжала ему руку.

— Люблю! — прошептала она.

— Бедная вы моя, бедная! — с серьезностью и с участием произнес он.

— Только ты никому, никому! Ради христа! — торопливо заговорила она убедительным тоном.— Я тебе сказала, потому что ты мне все равно, как брат.

— Я ваш друг, Марья Николаевна,— с достоинством сказал он.

— Ну, да, друг! Вот я и сказала! Мне некому сказать больше. Я одна, Павлик! У меня только ты и есть. Я тебя люблю больше Зины и Любы.

— Ну, что они!

— Нет, нет, они добрые девушки... Но ты... ты ближе мне...

Он опять сжал ее руку совсем по-товарищески так крепко, что она чуть не вскрикнула. Ему хотелось, чтобы она вполне поняла, как глубоки и искренни его чувства.

II

К Егору Александровичу, еще беседовавшему с Марьей Николаевной, на террасу вышел Прокофий. Старик тоже осунулся и подряхлел за последнее время. Несчастие так сильно подействовало на него, что он даже не пил в последние дни. Он пришел доложить барину, что пришел отец Иван. Егор Александрович изменился в лице. Он поспешно поднялся со ступеней террасы и прошел в комнату.

В гостиной стоял отец Иван, по обыкновению суровый и мрачный. Какое-то тяжелое, гнетущее чувство охватило Егора Александровича при виде этого беспощадного человека. Ему вспомнилась Поля, больная, слабая, бессильная, нуждающаяся в поддержке и утешении, и ему стало страшно при мысли о том, как отнесется к ней отец Иван.

— Хороших дел наделал! — с обычной грубостью проговорил старик, глядя угрюмо на Мухортова.

— Больная желает исповедаться,— отвечал Егор Александрович, не возражая, не оправдываясь.

— Говорили... Живы да здоровы, так в церковь не заглянут: бог не нужен... Придет смерть, так каяться спохватятся...

Егор Александрович сухо и холодно указал священнику на дверь к больной.

— Вот сюда! — сказал он.

Отец Иван окинул его враждебным взглядом.

— Сам-то когда каяться будешь? — спросил он.

— Я вас, батюшка, не для себя звал,— ответил тем же холодным и сухим тоном Мухортов.

— Где уж нам таких-то, как ты, исповедовать,— сказал старик.— Умней отцов стали! Твой-то отец душу мне всю раскрывал...

Мухортов стиснул зубы, чтобы не сказать какой-нибудь резкой фразы. Он молча открыл дверь в комнату Поли и пропустил отца Ивана...

— Батюшка! — раздался из глубины комнаты болезненный крик.

В глубине этой темной комнаты, на постели, едва озаренной светом лампады и прикрытой очень темным абажуром лампы, приподнялась исхудалая женская фигура вся в белом и закрыла лицо руками. Егор Александрович торопливо затворил дверь и в каком-то невольном ужасе закрыл руками уши, точно боясь услышать хоть одно слово дальнейшего разговора...

— Что «батюшка»? Что лицо-то закрыла? Видно, смотреть-то на людей стыдно? — резко спросил отец Иван, подходя к больной.

— Грешница я, грешница великая! — застонала больная.

— Знаю, знаю! Зачем бы и за мной посылать, если бы не грешница была! Вы ведь все так: сперва душу-то погубите, а потом — отпускай вам грехи! Твои-то грехи каковы? Думала ли ты об этом? До чего довело тебя твое окаянство? Душу свою погубить захотела, младенца неповинного погубила, навсегда погубила! Исповедать-то тебя не стоило бы. Да, не стоило бы! Я идти не хотел. Не стоишь!

В комнате пронесся снова тяжелый, мучительный стон. Поля с ужасом глядела на мрачное, исхудалое лицо старика с ввалившимися глазами.

— Что смотришь? Не смотреть надо, а в слезах биться. Ты думаешь, я из жалости пришел к тебе? Нет. Не стоишь, чтоб тебя жалели! За что жалеть, душегубка? Перст божий я увидел! Он, отец наш небесный, в неисчерпаемой своей благости спас тебя, чтобы ты образумилась, чтобы всей жизнью, каждым помышлением грех свой великий искупила. Вот почему я пришел.

Старческое лицо его смотрело все так же беспощадно на бившуюся перед ним в бессильных слезах женщину.

— Ты как жила? Похотям своим предалась, только им и служила, диаволу служила? Ради них ты на все бы пошла, на грабеж, на убийство пошла бы.

— Батюшка! — опять простонала молящим голосом Поля, точно прося пощады, освобождения от инквизиторской пытки.

— Что «батюшка»? — опять повторил отец Иван.— Неправду, что ли, я говорю? На что бы ты не решилась, если пошла на убийство своего младенца? Чем он виноват был? А ты и его убила. Волчица своего волчонка защищает, а ты — ты хуже волчицы, потому ты не защищала свое дитя, а убила его. Да!

Поля опять простонала. Отец Иван продолжал все тем же тоном:

— Вот ты жива осталась. Жить будешь. Что ж, опять диаволу служить станешь? Ведь теперь свободна! Или опять руки на себя наложишь? Так знай, горе тому, кто искушает терпение господне! Он долготерпелив и многомилостив, но есть пределы и его терпению, и его милосердию.

И вдруг, оборвав строгую речь, он отрывисто, коротко и сухо проговорил:

— Кайся!

Едва переводя дух, прерывающимся от слез голосом начала исповедаться больная. Это было не простое сознание в своих грехах,— это было болезненное, надрывающее душу самобичевание. Слушая эту исповедь, можно было подумать, что в этой душе не было ничего, кроме грехов, грехов и грехов. Она, Поля, о боге забыла и в церковь даже не заглядывала в последнее время. Она никого не любила, ни о ком не заботилась и только тешила себя любовью. Она сама навела на грех молодого барина, и когда он каялся, она успокаивала его сама, говоря, что этот грех ничего не значит. Его, чистого и доброго, влекла она за собою в пропасть. Ребенок у нее бился под сердцем, так она его чуть не ненавидела за то, что он служил ей помехой, за то, что она боялась, как бы из-за этого ее не разлюбил барин. Точно Егор Александрович мог бросить человека, мог обидеть его! Добр он, границ нет его доброте, а она его бог знает в чем подозревала. Барышня тут добрая, честная была, так она, Поля, и ее чернила, в душе проклинала — убить, кажется, рада была, потому что ревность в ее душе

была. Подозревала она, что барин видится тайком с барышней, что он жениться на ней хочет. Он-то, такой честный! Да он никогда никого не обманет, не обидит. Она же его подозревала. А сама все умышляла убить себя из злобы, из ревности...

— Просвет-то где, живое место-то где в твоей душе? — проговорил отец Иван.

Поля подняла на старика полные слез глаза.

— И вдруг увидала я, что честною и доброю была эта девушка, что у ног ее недостойна я лежать, что стою я у нее на дороге со всеми своими грехами... со всем своим окаянством...

Ее голос совсем оборвался.

— И наложила я на себя руки, потому что дурная трава и из поля вон,— тихо закончила она.

Отец Иван покачал головой.

— И о ребенке забыла?

Поля тихо плакала, ничего уже не отвечая.

— Ну, что же дальше? — спросил отец Иван.

Она недоумевающим, растерянным взглядом смотрела на него. Больше ей нечего было говорить. Она все сказала.

— Что же, говорю, дальше-то делать будешь? — пояснил он.

Она поняла теперь вопрос и торопливо ответила:

— Замаливать... грехи... в монастырь!..

Он пристально всматривался в ее лицо. Его глаза смотрели мрачно из-под нависших, всклоченных бровей. Прошла минута в молчании. Затем он заговорил более мягко, насколько умел.

— Это перст божий! Но помни это и всю душу свою положи на то, чтобы быть достойной милосердия божия. Не на тунеядство, не на распутство, не на ублажение своей плоти иди в монастырь, а на подвижничество монашеское. Слышишь? В поте лица работай, молись до истощения сил, смиряйся перед людьми, нищей будь, и тогда отпустится тебе грех твой. Всею жизнью только его замолить можно.

Он поднялся во весь рост, чтобы прочитать молитву и прикрыл епитрахилью почти скатившуюся с подушек голову...

Выйдя из комнаты Поли, отец Иван встретил Егора Александровича перед самым выходом из дома. Мухортов подал священнику деньги. Тот как-то стран-

но взглянул на него, точно он видел его впервые. Отзывы Поли о Егоре Александровиче как о чистом, добром и честном человеке поразили отца Ивана, и в его голове эти отзывы никак не мирились с тем, как держал себя Егор Александрович с ним. Они простились так же сухо и холодно, как встретились. Когда за отцом Иваном закрылась дверь, Егор Александрович вздохнул полным вздохом.

III

Егор Александрович пошел к Поле; она лежала, как мертвая, неподвижно, с полуоткрытыми глазами. Он подошел к ней и испугался: ему показалось, что она умирает. Он осторожно наклонился к ней и назвал ее по имени. Она устало открыла глаза.

— А, это вы! — прошептала она.

— Тебе хуже, Поля? — спросил он.

— Нет, лучше... сказал: простится! — ответила она и опять закрыла глаза.

Ее губы тихо шептали, точно она в полусне что-то припоминала вслух.

— Молись и простится... простится!.. Страшный грех совершила, окаянная!..

— Поля, успокойся,— тихо сказал Егор Александрович, ласково дотрогиваясь до ее руки.

Она открыла глаза и как-то боязливо отняла руку.

— Я в монастырь пойду... Я теперь, Егор Александрович, в миру не буду жить,— сказала она, качая слегка на подушке головой и как бы желая выяснить, что она умерла для него, для его ласк.

— Думай о поправлении здоровья и ни о чем больше,— проговорил он.— Ты еще не оправилась, потому и идут в голову такие мысли.

— Нет, грех совершила великий! Каяться нужно, у бога и у людей прощенье вымолить,— ответила она глухо и, вдруг что-то вспомнив, добавила: — Марью Николаевну мне...

— Ты лучше отдохни...

— А умру? — тревожно сказала она, и ее глаза расширились от страха.— Умру непрощенная!.. У всех прощенья надо просить... у всех... Позовите...

Он со вздохом вышел из комнаты.

— Идите к ней, мой друг,— сказал он Марье Николаевне.

На нем лица не было.

— Ей хуже? — спросила Марья Николаевна.

Он махнул рукой.

— Толкует о монастыре! — ответил он коротко.

— Что вы? Это отец Иван натолковал! Надо отговорить...

Он ничего не ответил и только повторил снова:

— Идите к ней!

Марья Николаевна вошла в комнату Поли. У нее страшно билось сердце. Она почти боялась свидания с этой девушкой. Невольно она была причиной несчастия этого бедного создания. Заслышав в комнате шаги, Поля открыла глаза,— они, ввалившиеся, большие, открылись широко, и на минуту в них вспыхнул огонь. Марье Николаевне показалось, что в этом взгляде были и ненависть, и злоба, и ужас. Но это была только минута; они вновь потухли, личные мускулы больной стали вздрагивать, грудь порывисто поднималась, руки закрыли лицо, и, свернув голову набок, больная глухо зарыдала:

— Грешница... все еще грешница!.. Господи, подкрепи... Простите меня, окаянную,— шептала она прерывающимся голосом.

Марья Николаевна склонилась над ней и в слезах начала говорить бессвязно слова утешения. Больная стала мало-помалу успокаиваться. Она тихо взяла руку Марьи Николаевны и поднесла к губам.

— Себя хотела загубить, дитя загубила, его, вас всех...— шептала она.

Марья Николаевна наклонилась еще ближе к ней и поцеловала ее.

— Пусть он не приходит,— тихо сказала Поля.— Не могу... не могу смотреть... Ох, тяжело от грехов освобождаться...

— Полноте, Поля! Отчего же его вы не хотите видеть?

Поля опять открыла глаза со страхом и недоумением, точно удивляясь, что ее не понимают.

— Я теперь... не о мирском мне думать нужно... А он придет... не могу, не могу! Мне молиться надо, грех замаливать, а не грешить... Бога я при нем забываю!..

Она опять откинулась навзничь головою и закрыла глаза, как бы впадая в забытье. Но ее губы продолжали шептать:

— И всегда так, и прежде, и теперь... Не любовь, а наваждение... без божьего благословения... Любила и мучила, и мучилась... Уйти бы скорей... Освобожу... освобожу... А любить никто не будет так... никто!

Она тяжело вздохнула и смолкла.

Марья Николаевна присела на стул у постели, забывшись и всматриваясь в больную. Теперь это исхудалое лицо с ввалившимися глазами, с бледными губами, с осунувшимися щеками, вздрагивавшее за несколько минут от рыданий, было невозмутимо спокойно и блаженно улыбалось, точно больной снился сладкий сон любви. Ее дыхание было очень слабо, но ровно; утомленная волнениями этого утра, она теперь крепко спала.

Когда Протасова очнулась от тяжелых дум, ее лицо было влажно от слез и серьезно. Впервые в этот день у этой постели она передумала многое о любви, передумала глубоко и серьезно, смотря на эту несчастную жертву необузданной, неосмысленной страсти. «Бога забыла для него», звучали в ее ушах слова Поли. Ей стало жутко. Неужели и она любит его такою же любовью? Неужели и она для него забудет бога — бога правды, добра, справедливости, чести, любви к ближним? Но разве он этого когда-нибудь потребует? Разве он может этого потребовать? Нет, нет, никогда!.. Он честный и добрый человек, он может вести ближнего только к добру и правде! Поля тихо вздохнула во сне. Марья Николаевна вздрогнула, и ее охватило тяжелое чувство, точно ее кто-то уличил в чем-то постыдном. «У постели умирающей думаю об отнятии у нее любимого ею человека, всего, что ей дорого в жизни», пронеслось в ее голове. «И умирает, быть может, только от того, что я стала на ее дороге», с горечью продолжала она думать. Сколько бессознательного эгоизма, сколько легкомыслия было в ее поведении. Ей вспомнились все мелочи ее недавнего прошлого: ее постоянные посещения Егора Александровича, просиживанье с ним до ночи, прогулки с ним. Как должна была терзаться Поля в эти минуты. У нее ведь не было в жизни ничего: ни друзей, ни богатства, ни бога, ничего, кроме одного любимого

человека. И его-то отнимала, вырывала у нее из рук она, Марья Николаевна, неумышленно, бессознательно,— но разве это было не все равно для бедной девушки?.. А он? Неужели он не понимал этого? Зачем он не предупредил ее, Марью Николаевну? Или он, как мужчина, не замечал ничего, что делалось в простом женском сердце?..

Где-то пробили часы и напомнили Протасовой, что ей пора идти.

Она устало поднялась с места. Она была бледна и серьезна, когда вышла из спальни Поли в гостиную, где Егор Александрович задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Увидав Марью Николаевну, он остановился.

— Что?

— Уснула!

На мгновенье оба смолкли.

— Много она перестрадала,— тихо сказала Марья Николаевна.

Он сдвинул брови, ничего не ответил ей. Она заторопилась, отыскивая свою верхнюю одежду.

— Вы уходите? — спросил он.

— Да. Пора!.. Да, кстати, нужно вам сказать,— начала Марья Николаевна и вдруг остановилась.

— Что? — спросил он.

— Забыла... Ах, какая память!.. Ну, потом! — ответила она в замешательстве.

Ей хотелось передать, что Поля просила его не заходить к ней, но при одной мысли об этом на ее щеках выступил румянец. Ей стало стыдно, точно она хотела передать ему не желание Поли, а свое желание — желание отстранить его от умирающей. В невольном, плохо замаскированном смущении Протасова наскоро протянула ему руку. Он хотел ее спросить, когда она придет, но, вместо этого вопроса, проговорил:

— Спасибо вам за все последние дни!.. Я этого никогда не забуду...

Она пробормотала в ответ что-то неясное, сбивчивое.

Они пожали друг другу руки и простились, как почему-то показалось обоим, надолго, может быть, навсегда...

Десятая глава

I

В жизни бывают дни, недели, месяцы, стоящие многих и многих лет. Они похожи на страшные бури во время путешествия по морю. Вы совершаете морское путешествие, дни сменяются днями, ничем не отмеченные, однообразные, продолжительные и, все-таки, забываемые бесследно, не оставляющие в душе ничего; но вот начинается буря, все приходит в смятение, раздается вой и свист в мачтах, холодные брызги разбивающихся о бока корабля волн обдают палубу, где-то слышится треск, точно судно расходится в пазах, кого-то снесло в море налетевшей волной, каждая минута грозит смертью, и вы, объятые страхом, переживаете в эти минуты целые годы, готовясь к смерти. Если не все молятся в эти минуты, то едва ли кто-нибудь в эти минуты не останавливается в страхе перед вопросами о прошлом и о будущем; в несколько мгновений переживаются душою целые годы. Такие дни пережил Егор Александрович во время болезни и выздоровления Поли. Он не анализировал, не мог анализировать своих чувств к ней; он не спрашивал себя, насколько он ее любит, насколько любил ее, насколько дорожит ею. Он просто видел перед собою глухие страдания существа, которое его страстно любит: эти ввалившиеся глаза следили за ним еще недавно с таким обожанием, эти сухие, синеющие губы шептали ему чуть не вчера слова беспредельной любви, эти исхудалые руки ласкали его чуть еще не накануне, обвиваясь вокруг его шеи. И он за все это не дал, не мог ей ничего дать, кроме несчастия. И если бы хоть упрек сорвался с ее губ, он пробудил бы, может быть, реакцию в душевном настроении, вызвал бы желание оправдаться, защититься, высказать свои обвинения. Но она лежала перед ним с полупотухшими, кроткими глазами, как подстреленная им птица. Эти глаза выражали не жалобу, не упрек; они просто говорили: «Ну, вот видишь, я и умираю!» Это сравнение Поли с подстреленной птицей не выходило из его головы, проносилось в уме не мыслью, а образом, доводило чуть не до слез.

— Поля, милая, тебе лучше? — говорил он мягким голосом на другой день после исповеди.

— Лучше! — прошептала она бесстрастно.

Он взял ее руку и хотел поднести ее к своим губам. Она слабо отдернула ее.

— Не надо, Егор Александрович!..— сказала она.— Не надо!

В ее голосе было что-то такое, точно она хотела защититься, просила пощады. Это был тон измучившейся в пытке страдалицы, чувствующей, что вот-вот сейчас коснутся до ее еще не заживших ран.

— Все теперь кончено,— проговорила она.— Все!.. Грех великий я совершила... Теперь каяться должна, молиться должна...

— Не мучай ты себя этим! Вот выздоровеешь, все пойдет по-старому...

— Нет, нет! Что вы! Что вы! — с испугом, с ужасом проговорила она.— А бог-то? Бог?

— Он же видит твою душу, он...

Она перебила его опять почти с ужасом, широко раскрыв мутные глаза:

— Да, видит мою душу!.. Окаянная я, грех совершила, неискупимый грех, каяться должна, а я... Не о грехе думаю, о любви своей думаю!.. Господи, и тяжело же мне, сердце разрывается!..

Она закрыла лицо руками.

— Уж лучше бы вы меня бросили, прогнали!..

— Поля!

— Да, да, пошла бы я, брошенная, проклятая, а теперь...

Она обратила к нему молящий взор...

— Голубчик, родной, уйдите, уйдите вы от меня!.. Не вольна я в себе... сил у меня нет... Смотрю на вас — и нет бога во мне, думаю о вас — и грех забыт, и покаяния нет!.. Убить, убить бы меня мало за мое окаянство!.. А бог все видит!..

Он поднялся с места.

— Вы на меня не сердитесь! Не от злобы я гоню вас... Видит бог, нет!.. Душу, душу свою я спасти должна!

Она протянула свою руку, чтобы взять его руку, и тотчас же опустила ее, испуганно заметив ему:

— Нет, нет, не надо... Идите!..

Она, как и отец Иван, понимала только бога-судию, бога-мстителя.

Он вышел из ее спальни подавленный, растерянный, не зная, что делать, чего желать. Он сознавал, что какая-то пропасть открывается между ним и этой девушкой: он не поймет ее, она не поймет его. «Уехать бы, бежать бы отсюда», мелькало в его голове, а другой голос подсказывал ему: «И дать ей умереть в обществе грубой, полупьяной дворни?» Нет, нужно было остаться до конца здесь, у постели этой больной, покорно ожидая, к какому исходу приведет судьба. Бежать легко, трудно было остаться,— значит нужно было остаться; нужно было пережить и это испытание. Он брался за книги, развертывал их и по целому часу читал одну и ту же страницу, ничего не понимая.

— Господи, вас-то я за что мучу,— говорила Поля, когда он заходил к ней.

— Чем же ты меня мучишь? — отвечал Егор Александрович.— Ведь я все равно здесь бы жил и без тебя. Я работаю.

— Исхудали! Краше в гроб кладут! Все из-за меня, все из-за меня!

Он спешил переменить разговор...

Это повторялось каждый день, при каждом посещении им ее спальни...

В один из ясных октябрьских дней он, сидя в гостиной, заслышал скрип двери из комнаты Поли. Он обернулся. В дверях, держась за косяк, стояла Поля. Он вскочил с места.

— Вот и я ...поправилась,— сказала она обрывающимся голосом, силясь улыбнуться обтянувшимися губами.

Она точно встала из гроба, худая, бледная, вся в белом.

— Голубка, можно ли так рисковать! Ты еще очень слаба!

— Нет, я поправилась!.. Теперь... в монастырь похлопочите, чтобы приняли... Я совсем оправилась... Пора!

Она сделала несколько шагов от двери, спотыкаясь, шатаясь, бессознательно протягивая руки, чтобы ухватиться за что-нибудь. Он поспешил к ней, видя,

что под нею подламываются ноги. Почти рыдая, она опустилась к нему на руки.

— Не могу, не могу! — воскликнула она надрывающимся голосом.— Ах, я несчастная, несчастная!.. Истерзаю я, измучу вас в конец. Хоть бы умереть!..

У нее повисли руки, голова опустилась на грудь. Он отнес ее как ребенка в спальню и положил на постель. Она полузакрыла бледные глаза и снова лежала перед ним с выражением подстреленной птицы. Ее нельзя было ни утещать, ни ласкать, ни журить. Нужно было молча ждать неведомого конца...

II

Все выносящая, сильная молодость взяла, наконец, свое: Поля оправилась совершенно. Она была худа, бледна, но уже здорова, вне всякой опасности. Доктор объявил, что его визиты вовсе не нужны в охотничьем домике. Но чем больше крепли молодые силы выздоравливающей, тем сильнее, тем мучительнее становилась в ее душе борьба противоположных чувств, желаний и мыслей. Разобраться в своем душевном хаосе она никак не могла. Она походила на ребенка, плачущего и от приступов боли, и от подносимого ему лекарства, долженствующего унять эти боли. Ежедневно она заводила со слезами разговор о своем грехе, о необходимости спасти душу, об отправлении в монастырь и в то же время с теми же слезами говорила, как это ей тяжело, как сил у нее нет бросить Егора Александровича, как она его любит. Ей то грезился страшный образ разгневанного, мстящего за грехи бога, то снилось ясное, полное ласки и всепрощения лицо любимого ею человека. Она мучительно колебалась, под чью защиту укрыться ей. Это была пытка, которую должен был выносить Егор Александрович изо дня в день. Наконец, он остановился над вопросом: долго ли это будет продолжаться?

Его уже давно тянуло в Петербург, к работе, к кружку людей, так или иначе вращающихся в водовороте общественной деятельности, в центре умственной жизни. Ему хотелось найти и занять в этой деятельности место по своим силам и способностям. Он знал, что подходящее дело найдется не сразу, что

нужно многое сообразить, ко многому присмотреться, чтобы избрать труд по сердцу, чтоб не метаться потом в разные стороны. Это сделать можно было только там, в Петербурге, где можно и выбрать род деятельности, и найти средства для подготовки к ней. Оставаться здесь для того, чтобы убивать полупраздно время, слушая вечные жалобы и стоны, он уже считал просто постыдным малодушием. Присматриваясь к Поле, он стал находить в ней много черт характера, общих с чертами характера его матери: она также как бы втянулась в роль страдающей героини; она также плакала и жаловалась, не делая ни шагу для устранения причин этих слез и жалоб; она также думала только о себе и ни о ком другом; в последнее время она даже перестала повторять старую фразу о том, что она мучит его, Егора Александровича. Анализируя свои чувства к ней, он с горечью убеждался, что в нем порвалось все, связывавшее его с ней: ему было даже не жаль ее. Это вдруг совершенно неожиданно прорвалось наружу, сделалось ясным и для него, и для нее и привело разом к развязке.

Как-то рано утром за чаем она опять заговорила о монастыре.

— Так ты окончательно решила идти в монастырь? — спросил он.

— Ох, тяжело мне, тяжело молодость свою схоронить в четырех стенах, точно в могиле! — воскликнула она.

— В таком случае не ходи,— ответил он.— Твоя жизнь еще впереди. Ты молода, можешь подучиться, начать работать.

Она посмотрела на него с удивлением широко открытыми глазами.

— Как работать? — спросила она.

— Ну, мало ли есть дела! — ответил он.— В твои годы подготовиться ко всему можно: сельской учительницей можно сделаться, швеей, фельдшерицей, мало ли чем. Стоит только засесть за ученье, Поля, и не увидишь, как научишься всему, чему захочешь.

— Значит, как-никак, а надоела я вам, бросить хотите! — тихо, глухим голосом прошептала она и стала отирать слезы.

— С чего же это ты взяла? — спросил он сдержанно и спокойно.

— Что ж, уж если на работу посылаете! — с горечью произнесла она.— Это уж последнее дело!..

— А! — проговорил он с усмешкой.— А как же ты думаешь иначе жить, если не работать? Ведь я и сам буду работать. Жить-то на что-нибудь надо? Довольно мы поели чужого хлеба...

— Уж хоть куском хлеба не попрекайте меня, Егор Александрович,— с обидой заметила она.

— Я тебя и не попрекаю,— ответил он сухо, сознавая вполне, что они говорят на разных языках, не понимают друг друга.— Я говорю о себе...

И еще более сухим, еще более твердым тоном он прибавил:

— Ты теперь совсем здорова, и потому нам пора покончить с вечным нытьем и слезами.

— Надоела я вам, гоните,— захныкала она.

Но он коротко и резко проговорил:

— Перестань!

Она вдруг опустила руки и широко открытыми, испуганными глазами взглянула на него. Она увидала на его лице выражение беспощадной твердости, непреклонной воли. Он поднялся с места и заходил по комнате, начав говорить сдержанно, ясно и отчетливо; тон его слов был сух и черств.

— Я давно хотел с тобой поговорить серьезно, но ты была больна и слаба, и я жалел тебя. Теперь ты здорова, и потому я могу говорить с тобою. Каждый день ты плачешь и стонешь о своем положении. Тебя мучит грех, ты считаешь нужным каяться за него в монастыре. Но ты не идешь в монастырь. Ты плачешь, что это тебе не под силу, что ты не можешь бросить меня и остаешься здесь,— остаешься только затем, чтобы опять плакать и говорить о необходимости каяться. Так жить нельзя.

— Голубчик, не могу я! — рыдающим голосом воскликнула она.

Он остановился.

— Я тебе говорю, не плачь и выслушай! — коротко и повелительно сказал он.

Она опять испуганно смолкла.

— Так жить нельзя, говорю я,— продолжал он, снова заходив по комнате.— Ты говоришь, что ты любишь меня, но если бы ты точно любила меня, ты не плакала бы, не жаловалась бы с утра до ночи, муча

меня. На днях я решился уехать в Петербург, и ты должна обдумать, что тебе делать. Ты можешь идти в монастырь, я заплачу за келью, за все; ты можешь остаться здесь, я дам тебе, сколько могу, чтобы ты жила здесь, не нуждаясь; ты можешь ехать со мною в Петербург...

— Где уж мне ехать с вами, если разлюбили! — воскликнула она.

— О, это от тебя зависит, чтобы я тебя любил,— сказал он.— Я в Петербурге примусь за работу. Чем я сделаюсь — я сам не знаю. Учителем, писателем, рабочим или примусь за такое дело, о котором ты и понятия не имеешь,—это для тебя все равно. Дело не в этом, а в том, что я буду зарабатывать кусок хлеба трудом. Чтобы жить со мною, ты должна будешь тоже работать. Я дам тебе возможность подготовиться к труду, развиться. Это будет не легко для тебя, но только так можешь ты жить со мною. Так же жить, как мы живем теперь, нельзя. Это не жизнь, а каторга.

Она поднялась с места. Ее глаза блестели сухим блеском, черты лица исказились почти ненавистью. Ее голос зазвучал горечью.

— Нет уж, Егор Александрович, где мне так-то жить, как вы говорите: так умные люди живут! А тоже жить да от дорогого человека попреки слушать — это не сладко. Кусок хлеба и тот припомнили, на счет поставили. Лучше уж в монастыре свой век скоротать, грех свой отмаливая.

Он коротко, не сердясь, не волнуясь ответил:

— Как знаешь, это твоя воля!

Она почти со злобой взглянула на него.

— Моя воля, моя воля! — вскричала она запальчиво.— Уж не издевались бы хоть надо мной, если надоела! Не месяц, не два так жили, а теперь вдруг нельзя стало так жить. И то сказать, красота отцвела, на что же я нужна. Или другие нашлись, так...

Он не выдержал, остановился и гневно крикнул:

— Молчи и ступай!

Она вскрикнула и бросилась к его ногам, ловя его руки, полы его одежды, хватая его за ноги.

— Бейте меня, ногами топчите, только не говорите так! — рыдала она, пресмыкаясь у его ног.— Я пойду в монастырь, слезинки не пророню, ни словечка про-

тив вас не скажу, только... Не говорите мне, не говорите, что опостылела, что разлюбили... Я виновата, я виновата... во всем, во всем, глупая, безумная, окаянная!..

Он тихо освободился от нее и холодно проговорил:

— Послезавтра я тебя отвезу...

Он вышел из комнаты, она осталась на полу, с повисшими, как плети, руками, с растерянным взглядом. Для нее все было кончено. Она это понимала ясно. Ее взгляд как-то машинально устремился к висевшему в переднем углу образу и стал расширяться, точно перед ним выплывало страшное видение. В этом взгляде вдруг отразилось выражение тупого ужаса.

— Господи, за грехи наказуешь, за грехи,— медленно шептали ее уста, и ее голос был глух и хрипл от душивших ее чувств...— Всею жизнью не замолю, всеми слезами не смою грехов своих. Тебя для него позабыла, диаволу опять служить хотела! Карай меня, карай, окаянную! Там-то, там-то геенна огненная... муки вечные... скрежет зубовный... Нет, иду, иду!.. В слезах биться буду!..

Она с трудом, медленно поднялась с пола и с тем же тупым выражением ужаса, все еще смотря в передний угол на образ, побрела в свою комнату укладывать свои вещи.

III

В эти тяжелые дни Егор Александрович много ходил, много занимался физическим трудом. Книги не читались, умственная работа не клеилась, спасали только моцион, движение, физическое утомление. Мухортов ежедневно проводил на прогулке несколько часов. Его теперь тянуло не к живым, а к мертвым. Живых он не понял бы все равно; ему нужно было быть одному, в тишине, в царстве сна и успокоения; только в полном одиночестве, в полном затишье он мог сосредоточиться на вопросах, далеких от мелких раздражающих домашних сцен. Он точно бессознательно пробирался ежедневно на кладбище, бродил среди могил, читал имена схороненных мужиков и баб, задумывался о жизни этих людей и точно отрезвился, сравнивая вековечное горе народное с своей случай-

ной бедой: она пройдет не сегодня, так завтра, а оно — когда выпьется до дна эта чаша страданий ни в чем не повинной многомиллионной массы?.. Задумываясь о народе, он снова писал в своем дневнике:

«Нет, не столетний лес пробуждает во мне горечь, уныние, злобу на человеческое бессилие. Этот лес был насажден, был выращен моими предками; я мог заставить в несколько дней срубить под корень этого гиганта. Положение народа, этих несметных масс, вот что мучит и терзает душу. Где пути, где силы, чтобы поднять положение народа, чтобы дать место ему на пиру жизни? Только думая об этом, я прихожу в отчаяние, прихожу в бешенство за свою, за человеческую слабость. Недавно я читал описание Египта, описание пирамид. Ученые изумляются, как могли возникнуть среди песчаных пустынь эти гигантские памятники причудливых вымыслов человеческого гения. Кто же создал эти чудеса, кто воздвиг эти здания? Их строили рабы, полунагие, босоногие, голодные, погоняемые, как скот, бичами. Повинуясь чужой воле, они воздвигли эти колоссальные постройки. Но что же они сделали для себя, для своей участи, для своего освобождения? Ничего, ничего! Где же та сила, которая принудила бы, побудила бы их работать для своего личного благополучия, как бич побуждал и принуждал их исполнять чужие прихоти, чужие капризы?..»

Стояла поздняя, глубокая, но изумительно ясная и сухая осень. Снег, выпавший было в октябре, в ноябре снова исчез почти бесследно, и везде было сухо. Все деревья уже давно сбросили листья, и только на некоторых отдельных ветках и кустах еще трепетали, свернувшись от холода и засыхая, последние одинокие, совершенно темные, мертвые листья, которых ни бури, ни дожди, ни мороз не смогли оторвать от родимых стеблей. Целыми грудами лежали такие же высохшие листья на тропинках и насыпях деревенского кладбища, превратившись из зеленых в темно-коричневые и черные; среди этих груд только изредка выглядывали еще яркие желтые и красные цвета. Невозмутимую тишину в этом царстве мертвых нарушал только их печальный, сухой шелест при малейшем дуновении свежего ветра, приподнимавшего их с земли и сгонявшего в одну кучу. Солнце — не ослепля-

ющее, не обжигающее солнце лета, а мягко светящее, едва пригревающее солнце осени — разливало свой свет сквозь голые ветви деревьев по всей этой обители смерти, точно сквозь сложную железную решетку. Егор Александрович одиноко пробирался между могил по покрытым листвою тропинкам, проходя на край кладбища к маленькому бугорку, где зарыли его ребенка. Дойдя до этой темно-бурой насыпи, он постоял над нею и потом присел на ближайшей могиле на полусгнившую доску. Он был спокоен. В его душе не было бесплодных упреков совести, в ней была только тихая грусть о том, кто мог бы жить, мог бы, может быть, быть счастливым. И у него, у Егора Александровича, была бы тогда, быть может, прямая личная цель в жизни, нежные заботы о слабом, еще беспомощном существе. У него было бы кого любить. А теперь? Он опять останется один — вполне один, свободный от всяких обязательств, от всяких пут,— свободный, как ветер в поле, более свободный, чем он был до встречи с Полей. Кажется, эта встреча произошла так недавно, но как он изменился в это короткое время! Это было полное перерождение, или, вернее сказать, в это время окрепло, сложилось в нечто определенное и цельное все то, что прежде было только брожением, зародышами в его душе. Когда люди идут впервые на войну, они не могут вперед определить, насколько они будут храбры. Когда он ехал сюда, он не знал, как он отнесется к своему положению, как и что вынесет, к каким выводам и результатам придет. В душе бродило многое, но определенного, выяснившегося не было в ней ничего. Теперь он ясно с радостным чувством сознавал, что он порвал навсегда с своим прошлым — с прошлым барича-белоручки, с прошлым светского человека, с прошлым прожигателя жизни,— и должен был вступить в ту трудящуюся, добывающую потом и кровью кусок хлеба среду, которая с гордостью может сказать, что на ее хлебе нет ни слез, ни проклятий ближних. Он готовился вступить на новый путь с твердой верой в свои силы, с гордым сознанием, что он не пойдет ни на какие сделки со своей совестью. Его отца всю жизнь называли солдатом, и генеральша морщилась, когда ее мужу ежедневно подавали на обед только щи и кашу, когда он спал на походной кровати, прикрытый

старым походным пальто. Егор Александрович сознавал себя сыном своего отца. Да, он всегда хотел бы быть таким простым, выносливым солдатом; теперь он с радостью видел, что он может быть таким солдатом. При этой мысли на его лицо набежала тень. Генеральша всегда называла своего мужа бессердечным человеком. Не называет ли так же и его Поля? Что ж, пускай! Иначе он не мог поступить, продолжать этой жизни — жизни для одной этой девушки — он не мог. Его манит иная жизнь, и он только жаждет одного: прожить эту жизнь страстно, тревожно, бурно, но безупречно, посвятив ее по мере сил на пользу ближних. Он ощущал в себе неистощимый запас этих сил. В нем была теперь чисто юношеская вера в себя, доходящая до фанатизма жажда отдать себя всецело делу. Какому? О, разве мало дела в жизни? Он сознавал, что он способен идти тысячами путей к благой цели, что он не откажется ни от какого дела, лишь бы оно содействовало расширению той «дыры к свету», о которой когда-то взывал Мюнцер. Да, нужно расширить эту дыру к свету, а как — пером или молотом, проповедью или топором плотника — не все ли равно? Он был убежден, что горько ошибаются все, считающие, что к известной цели можно идти только одним каким-нибудь путем. Нужно только сознавать и верить, что каждый честный человек может и должен содействовать расширению этой дыры к свету, если он хочет сохранить спокойною свою совесть.

На тропинке послышался шорох листьев. Егор Александрович поднял голову и увидал идущую к нему Марью Николаевну. Он изумился и обрадовался. Быстро поднявшись с места, он радостно протянул девушке обе руки. Она крепко сжала их.

— Не сердитесь, что я пришла сюда,— сказала она.— Я заходила к вашим. Узнала от Павлика, что вы прошли сюда. Захотелось проститься.

— Вы уезжаете? — быстро спросил он.

— Да.

— В Москву?

— Нет. Я еду в Петербург. Доучиваться хочу. Отец разрешил.

— А!

Он повеселел. Его лицо вспыхнуло румянцем. В его голове мелькала мысль, что он будет там видеть

ее, не будет одиноким. Она была задумчива и серьезна.

— Я слышала, что вы тоже скоро уезжаете?

— Да, пора, Марья Николаевна.

Они сели. Прошла минута молчания.

— Вам ничего не говорили у наших о том, что Поля уезжает в монастырь?

Она слегка покраснела.

— Да, говорили,— ответила она, и ее голос дрогнул.—Егор Александрович, неужели нельзя было отговорить?

— Зачем?

Она подняла на него вопросительный взгляд.

— Да, зачем? Между нами все порвалось, если что и было,— твердо ответил он.— Это горькая история безобразного заблуждения и только. Не думайте, что я хочу оправдываться. У меня только одно оправдание: я не бог, не святой. Мне горько, что это кончилось вот этой искупительной жертвой,— он указал на могилу,— и необходимостью для нее идти в монастырь.

На минуту он смолк.

Потом он заговорил снова:

— Она перед богом каяться будет, и ее бог простит ее... Нам же всем перед народом нужно каяться... Простит ли он?

Он задумался и заговорил в раздумье:

— Тяжелые и в то же время хорошие дни прожил я здесь, хорошие потому, что я стал другим человеком, или, вернее сказать, хочу стать другим человеком, во что бы то ни стало... Сколько беспутного было во мне — это я понял только теперь... Вот хоть бы мои отношения к Поле... Мне скажут: это увлечение, ошибка молодости!.. А будь она не дочь народа, не простая девушка?.. Разве я поддался бы искушению, впал бы в ошибку?.. Нет, нет, тысячу раз нет!.. Побоялся бы ее братьев, родителей, родных... А если бы и сделал ошибку, то загладил бы ее тотчас же, без размышлений, без колебаний и... Другой исход был бы, не сидел бы я над этой могилой... Искупительная жертва!.. И сколько таких искупительных жертв приносим мы за наши проступки и ошибки, за наши отношения ко всем, кто народ...

Он замолчал на минуту, потом продолжал:

— Надо сделать все возможное, чтобы этих искупительных жертв, какого бы рода ни были они, не было по нашей вине... Помните, мы с вами как-то говорили о том, что мы не знаем, какой путь выбрать, что у нас нет веры в пользу какой-нибудь определенной деятельности, что наша жизнь пуста... Это безверие — проклятие нашего времени... Его даже утрируют, чтоб оправдать свою бездеятельность, свою дрянность, свою лень... Теперь даже говорят, что верят в свое дело у нас или глупцы, или грубые эгоисты: одни делают дело, не задумываясь о значении его, другие видят в нем личную выгоду и верят в него... Но пусть все это правда, пусть всю жизнь мы должны остаться Гамлетами,— у нас все-таки должна быть хоть одна вера, неотъемлемая вера — вера в то, что мы должны для общего блага следить за каждым *своим* шагом, за каждым *своим* поступком... От фарисейства, от двойственной нравственности — от нравственности для других и для себя — должны мы прежде всего освободиться; себя должны мы прежде всего исправить. Эту задачу должны мы проводить в жизни, проповедовать ее везде и всюду... В нее нельзя не верить. Я хочу идти этим путем, я пойду им. Пусть будут говорить, что это преувеличения, что это экзальтация: что мне за дело! Лучше эта экзальтация, чем экзальтация бесшабашности и разнузданности, беспечального житья, циничной проповеди, что частная нравственность пустяки, что важна только великая общественная деятельность, что личная нравственность есть результат воспитания, житейских условий, среды, что сперва должен произойти какой-либо великий переворот в обществе, а уже тогда можно думать об исправлении своей нравственности... Это говорят те же нравственные взяточники, которые в былые времена оправдывались фразой: «У меня-с жена, дети...», «Все мы люди, все мы человеки...» Не верю я в пророков, ездящих в экипажах, тратящих десятки тысяч на любовниц, проводящих жизнь в кабаках всех наименований! Не поверит им и народ, если даже и заслушается на минуту их проповедей... Народ шел за Христом, за Фомой Мюнцером, за Фридрихом Раппом... за Сютаевыми он пойдет... А в тех, кого он не будет уважать, верить он не станет!.. Вон отец Иван... Почему ему верит народ? Почему к нему идут

искать успокоения своей совести? Потому что он цельный человек: он проповедует то, что делает сам... Вы как-то заметили мне, что хорошо уже и то, что вы знаете, сколько Иванов и Сидоров пойдут по миру для доставления вам возможности бывать в итальянской опере. Я вам отвечу теперь на это: нужно не только сознавать это, но и не ездить в эту оперу, сознав это...

Он улыбнулся с горечью.

— Я знаю, какие крики подняли бы многие люди, услыхав это: «Как, вы хотите уничтожить театры, искусство, плоды цивилизации?..» «Да, да я готов бы уничтожить даже все это, если бы этим неизбежно могли наслаждаться только сотни людей, грабя для этого миллионы людей... К счастию, не уничтожение всего этого нужно, а нужно уничтожение тех способов, какими наслаждаются всем этим люди теперь. Современная жизнь сложилась именно так, что человек грабит и душит ближних, а спросите: «Для чего?» Для того, чтоб непременно иметь рысаков, дорого стоящих, хотя бы и надоевших ему любовниц, блестящую обстановку, возможность наслаждаться искусством во всех его видах, под одним только условием, чтобы оно стоило дорого. Этот разбой и грабительство, производимые будто бы для поддержания искусства и наслаждения плодами цивилизации,— вот что претит мне. Удерживаться от этого, не продавать своей совести ради этого, не считать это целью жизни — вот чего я хочу. Я знаю, меня могут назвать чудаком, сумасбродом, фанатиком, аскетом. Пусть! Но мне никто не бросит укора, что я украл у него последний грош, снял с него последнюю рубашку, чтобы потешить себя награбленной роскошью среди голодных... Я знаю, что при таком образе жизни краснеть придется не мне.

Он сдвинул брови. Его лицо приняло сосредоточенное, суровое выражение.

— Вот та вера, которою проникнут я теперь весь, и если она обманет меня, если я почувствую разлад в себе между словом и делом, я сам прикончу с собой, как с собакой. Без этой веры, без веры в возможность жить так, как я желал бы, чтобы жили другие, нельзя искренно верить ни во что. Верить, что все пойдет лучше от изменения среды, от изменения условий, от

непредвидимых и роковых исторических случайностей, это... для этого достаточно сидеть сложа руки и ждать, когда придут эти случайности сами... Нет, мне кажется, что против воров и грабителей, против угнетателей и кровопийц может восставать честно и деятельно только тот, кто сознал в самом себе силы не быть таким. Кто не верит, что он сам может не быть таким, как он может верить, что какие-то обстоятельства, среда, условия помогут другим не быть такими?

Он вдруг еще более оживился, как бы что-то вспомнив.

— Но не думайте, что за делом личного самоусовершенствования я забуду все другое, что я требую от человека только этого. Нет, нет, тысячу раз нет! Самовоспитание, самоусовершенствование, наблюдение за каждым своим шагом, отдаванье себе строгого отчета в своих проступках, все это не требует времени или, вернее сказать, не отнимает времени от другого дела на пользу общества. Напротив того, иная жизнь, жизнь безотчетного плавания по течению, поглощает гораздо более времени. Сегодня попойка, завтра бал, там картежная игра, далее милые любовницы, вот что поглощает и деньги и время, здоровье и спокойствие души. По-видимому, все, что я говорю, не требует ни подтверждений, ни доказательств. А между тем вся жизнь слагается в современном обществе как раз наоборот, как раз в противоположном направлении. Против этого можно, пожалуй, ораторствовать, но беда попробовать практически протестовать против этого, такой протест — это уже сумасбродство, чудачество, чуть ли не помешательство... А между тем нам уже потому нужно подтянуть себя, приготовить себя, что мы живем накануне чего-то нового. Я глубоко верю в это и думаю, что горе тому, кто забыл притчу о девах со светильниками... Да, плохо приходится тем, кого великие события застают с угаснувшими светильниками... Мне, может быть, скажут, что я ошибаюсь. Может быть! Но, во всяком случае, я ошибаюсь не один, а с значительными массами народа, недаром наполняющего ряды штундистов, этих представителей новой нравственности, нового строя жизни... Да, народ в своем стремлении к чему-то новому, лучшему, прежде всего дает обет нравственного обновления...

Он поднял разгоревшиеся глаза на Марью Николаевну. Ее лицо было оживленно, глаза пристально устремлены на Мухортова. Ей казалось, что перед ней стоит новый человек, весь проникнутый страстной верой в то, что он говорит, беззаветно увлекающийся и способный увлекать других. Он улыбнулся ласковой, мягкой улыбкой.

— Не удивляйтесь, что я увлекся,— сказал он, протягивая ей руки.— Я так долго, долго молчал...

— О, я рада... мне... вы мне раскрыли свою душу,— в замешательстве и смущении проговорила она взволнованным голосом.

— И вы-то, вы не назовете меня сумасбродом, когда...

— Егор Александрович! — воскликнула она в увлечении.— Вы для меня...

Она оборвала речь и поднялась с места. Он тоже поднялся и притянул ее к себе, заглядывая ей в глаза. Она подняла на него бесконечно добрые, ласкающие глаза.

— Милый, только не здесь, не теперь...

Он как бы очнулся.

— Да, да, это правда: не в этом месте смерти, не над этой могилой нежившего ребенка, не накануне погребения заживо его матери говорить о любви...

И, переменяя тон, тихо добавил:

— Но ты веришь в мои силы, в меня?

— О, я за тобой пойду повсюду! — страстно ответила она.

Он крепко сжал руки Протасовой и рядом с нею безмолвно направился к выходу...

Они оба глубоко верили друг в друга. Они не сомневались, что они пойдут рука с рукой до конца жизни.

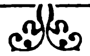
А какова будет эта жизнь?

Кругом них были убогие могилы нищих тружеников. Над ними, точно железные решетки тюрьмы, сплетались сводом черные, голые ветви деревьев. На западе собирались темные, густые снежные тучи и, как зарево пожара или море крови, разливало багровый блеск заходящее солнце. Что-то зловещее было во всем, в мертвящей тишине, в резком холоде, в безлюдье. Но они были молоды, они любили. Чего же им было бояться?

ВЕШНИЕ ГРОЗЫ

РАССКАЗ





I

Весною 187... года я переехал с семьею на дачу в деревню Мартышкино.

Занятый мною дом стоял на вершине возвышенного берега, по которому раскинулся сбегавший вниз уступами, принадлежавший к даче садик. Перед моими окнами внизу раскидывалось широкое пространство залива, по которому то быстро проносились пароходы, то медленно двигались под парусами суда, то сновали рыбачьи лодки. Противоположный финский берег тянулся против моего окна, едва заметной, как смутный призрак, полоской, иногда темневшей, иногда совершенно расплывавшейся в воздухе. Слева виднелся Кронштадт с его заводами и фортами, а там еще дальше, за ними, уходило в безбрежную даль открытое море. У подножия высокого, застроенного дачами берега тянулась проезжая дорога, а за нею лепились бок о бок соединенные с берегом мостками и стоявшие в воде маленькие купальни, отгороженные друг от друга то легкими заборчиками, то просто небольшими изгородями из елок, рогож, плетня. Едва оправлявшийся от тяжелой болезни, я был доволен и нанятою мною дачею, и чудесною весною, полною тепла и света, и всею грудью вдыхал доносившийся со взморья чистый воздух, пропитанный ароматом только что распустившихся черемух. Целые часы я проводил в сладком безделье, любуясь и морем, и солнцем, и чайками, плавно реявшими в воздухе, и ласточками, хлопотливо устраивавшими гнездо в углу крыши над моим балконом, и испытывал одно ощущение, знакомое всем спасшимся от смертельного недуга,— ощущение прелести жизни. Еще недавно, расхварываясь, я думал: «Хоть бы умереть скорее, что ли?»,— а теперь, чувствуя, как растут снова силы, я только и твердил: «Пожить бы еще!» В голове созда-

вались планы новых работ, мелькали надежды на успехи, ощущалась потребность приложить к чему-нибудь вновь вернувшиеся силы. С дачниками мне можно было почти не сталкиваться, и мне особенно нравилась эта уединенность моего помещения, куда не доходили гам и шум, раздражающие нервы. Мне была нужна тогда только одна всеисцеляющая природа.

Единственными моими соседями оказалась семья, нанимавшая домик от того же хозяина, у которого нанимал и я свою дачу. Семья эта состояла из мужа, жены и троих детей, девочки и двух мальчуганов. В течение мая месяца я почти не видел этих людей и узнал мельком только то, что их фамилия Ивановы, что они живут так же замкнуто, как и моя семья. Более тихих и смирных соседей трудно было найти.

Только в конце мая, когда началось купанье, мне пришлось познакомиться с этою семьею, так как у нас была общая купальня и нужно было условиться о часах, когда каждый из нас мог пользоваться ванной. Я послал спросить, какие часы выберут мои соседи, и мой слуга доложил мне, что «господин Иванов сами зайдут» переговорить со мною об этом.

В полдень господин Иванов вошел в мой дом, и я впервые увидел этого человека. На вид ему было лет сорок или даже немного более. Это был человек среднего роста, с черными, сильно посеребренными сединою, вьющимися в кольца волосами, с замечательно умными, серьезно и немного грустно смотревшими черными глазами, с правильным римским носом, с красиво очерченным подбородком. Глядя на это бледное лицо, можно было сразу определить, что это уроженец юга и что когда-то он был замечательным красавцем. Следы этой яркой красоты сохранились и теперь, хотя что-то и говорило сразу, что этот человек помят жизнью и смотрит старше своих лет. Что именно говорило о тяжелом прошлом — этого я не мог определить, но меня сразу поразили мелкие морщинки около его глаз, складка между бровями, некоторая холодность взгляда и особенная сдержанность в манерах, в разговоре, что-то похожее на опасение позволить человеку приблизиться к нему. Он отрекомендовался мне, вежливо пожав мою руку, и тотчас же сказал:

— Я нигде теперь не служу и потому могу располагать своим временем: назначьте сами, какие часы удобнее вам для купанья.

— Я тоже не служу,— ответил я,— и располагаю вполне своим временем. Мне кажется, весь вопрос сводится на то, когда будет удобнее купаться нашим дамам, а мы, мужчины, возьмем часы, которые останутся свободными. Я один и, вероятно, не стесню вас, если даже попаду как-нибудь в купальню в одно время с вами.

— Конечно, если не боитесь моих маленьких шалунов,— сдержанно заметил он.

— У вас два сына?

— Да, двое, да третья дочь.

Мы перекинулись еще несколькими незначительными фразами о погоде и воздухе и распрощались, условившись насчет часов купанья.

Когда он ушел от меня, во мне пробудилось странное ощущение: мне хотелось вспомнить, где и когда я его встречал? Что я встречал его — это было для меня несомненно: лица, подобные его лицу, не забываются в десятки лет; красота этих черт была слишком резкою, выдающеюся. Но, убежденный в том, что я его где-то видел, я все же напрасно старался вспомнить, где именно я его встречал. Моей памяти, в данном случае, не могла помочь даже его фамилия: Иванов! Мало ли Ивановых встречалось в жизни. Где же их всех запомнить?..

С следующего же дня наши встречи сделались почти ежедневными: иногда — правда, очень редко — мы вместе купались, иногда встречались на дороге в купальню, на узеньких мостках, где приходилось осторожно давать друг другу дорогу, боясь выкупаться в одежде. Тем не менее, несмотря на эти встречи, особенно мы не сближались, и я заметил из отдельных фраз, что он вообще упорно избегает людей, знакомств. Впрочем, это было, как мне показалось сначала, и неудивительно: он жил детьми и для детей. Никогда я не встречал его одного, дети сопровождали его всюду. Иногда к нему присоединялись, кроме его сыновей, жена и дочь. Вообще эта семья производила впечатление людей, жавшихся не то пугливо, не то грустно друг к другу. Они, казалось, боялись потерять один другого или опасались, что люди нарушат

их мир. Я часто слышал их веселый смех и говор между собою, но стоило появиться кому-нибудь постороннему — дети застенчиво смолкали, а отец и мать делались серьезными и принимали официальный тон, не располагавший к интимности. Несмотря на это видимое стремление держаться от людей подальше, эти люди внушали мне симпатию своею простой, дружной семейной жизнью, а дети восхищали меня своею красотою и умным выражением лиц, и я невольно стал относиться к ним более или менее тепло. Мало-помалу мальчики привыкли ко мне и перестали конфузиться передо мною. Иванов заметил и как-то раз сказал мне:

— А это видно, что вы очень любите детей.

— Да, я люблю детей, особенно таких, как ваши,— заметил я.

— Они тоже чутьем, должно быть, угадали это и уже не стесняются с вами,— проговорил он.— Они у меня немного дикари.

Я заметил:

— Вероятно, товарищей нет, и растут в замкнутой среде.

— Да, мы особняком живем от людей,— ответил Иванов и задумался, сосредоточенно устремив взгляд в пространство.

«И где я его видел прежде?» — назойливо пронеслось в моей голове. Этот взгляд, это выражение лица были мне так знакомы!

— Трудная задача — жизнь,— проговорил, наконец, со вздохом Иванов.— Неизбежно жить в обществе, а столкнешься с ним — грязь, мерзость, тина... и все это засасывает, затягивает на самое дно пучины. Попадешь в нее раз, не выберешься никогда. Страшнее всего, когда подумаешь о будущем детей. Нельзя же их оградить каменной стеной от развращенного и развращающего общества, от ненормальных условий и отношений эксплоатирующих и эксплоатируемых, от неизбежности лгать и обманывать или донкихотствовать за правду и справедливость? Как их воспитать? Честными идеалистами? Бездушными критиками? Губить тело или душу?

— Вы берете крайности,— вставил я.

— А вы знаете средний путь? — спросил он и пристально взглянул на меня серьезным, проникающим в

душу и холодно насмешливым взглядом.— Я не так счастлив и еще не нашел этой золотой середины. Да и она едва ли спасает, так как не сладко живется и тем, кто сидит между стульями, служит и богу, и мамоне, угождает и нашим, и вашим...

Он вздохнул и продолжал:

— Но как же жить? Сегодня маленькая сделка с совестью, завтра маленькая сделка с совестью, послезавтра то же, а в результате — чудовищный подлец выходит. Эта мысль одного из наших писателей вполне верна. А с другой стороны: сегодня постоишь грудью за правду, завтра постоишь за нее грудью, послезавтра то же — в результате неуживчивый человек, который должен быть за борт выброшен. А побежденные — горе побежденным. Общество травит только тех, кто пал, и несет с триумфом на руках только победителей. Только их и не судят!

Он замолчал и стал заботливо и хлопотливо одевать младшего мальчугана, вышедшего из воды. Почему-то мне показалось, что он теперь раскаивается в том, что откровенно высказался помимо своей воли и хочет прекратить этот разговор. Смотря на его грустное и в то же время полное нежности лицо, я не удержался и спросил его:

— Скажите, пожалуйста, где мы встречались прежде с вами?

Он вздрогнул, обернулся на минуту, чтобы взглянуть на меня, и сухо ответил:

— Не знаю.

Потом коротко спросил:

— В Малороссии?

— Нет, я не бывал в Малороссии,— ответил я.— Не здесь, то есть, не в Мартышкине, не в Ораниенбауме, а в Петербурге...

Он отвернулся.

— Я в Петербурге не был шестнадцать или семнадцать лет,— проговорил он отрывисто, почти резко.

— Но я положительно встречался с вами,— настаивал я.

— Мало ли есть людей, похожих друг на друга,— коротко ответил он.

Что-то сухое, почти враждебное послышалось в его голосе. Я почувствовал, что ему почему-то неприятно мое предположение, и замолчал.

Дня два после этого он как будто избегал меня, говорил мало, глядел на меня косо, хотя в этих искоса бросаемых на меня взглядах, как мне казалось, было что-то пытливое, какой-то вопрос о том, кто я, где я его видел. Но его ребятишки, уже совсем привыкнувшие ко мне, все более и более развязно обращались со мною, и это сгладило произведенное мною на него неприятное впечатление. Тем не менее этот случай ясно показал мне, что в жизни и в характере Иванова есть что-то странное, непонятное для не посвященных в эту жизнь, в этот характер.

Еще более странным показался мне другой случай.

В конце мая и в начале июня стояли невыносимые жары, в воздухе было удушливо, затишье было полное, на взморье стоял мертвый штиль, и флаги, и паруса на судах висели, не колеблясь, жалкими тряпками. Все томительно ждали дождя, ветра, грозы. В один из таких дней я загулялся в ораниенбаумском парке и, утомленный несносною жарою, не без удовольствия почувствовал, что поднимается ветерок: в лицо мне неслись целые клубы крутящейся пыли, и меня обдавало еще горячим, но тем не менее сильным ветром. Я распахнул сюртук и, закрывая глаза от пыли, шел навстречу ветра неспешной походкой.

— Торопитесь, торопитесь, сейчас начнется гроза! — послышался около меня знакомый, несколько взволнованный теперь голос.

Я обернулся и увидал Иванова, почти бежавшего с детьми, обгоняя меня.

— Смотрите, какая туча! — сказал он, указывая на иссиня-черную с беловато-дымчатым налетом внизу тучу, низко опустившуюся над землею и быстро надвигавшуюся на нас.

— Ого, в самом деле, должно быть, будет дождь! — сказал я весело.

— И дождь, и гроза! — проговорил он, поспешно шагая вперед.

— И слава богу! — отозвался я.— Давно нужно грозы!

Он как-то сердито проговорил:

— И почему это непременно гроза нужна?

И заслышав вдали слабый и глухой грохот грома, повлек своих детей к будке сторожа. В эту же минуту начали падать отдельные крупные капли дождя,

шлепавшиеся шумно на пыльную землю и оставлявшие на ней большие темные пятна; еще через минуту они превратились в страшный ливень, и я волей-неволей тоже побежал от дождя. Когда я добежал до будки сторожа, гроза была уже над нами, оглушая нас громом и ослепляя зигзагами молний. Порывами сильного вихря мимо нас несло еще не до конца прибитую к земле пыль, крутящуюся дождевую воду, обрываемые листья, сухие ветки и разный мусор. Все это кружилось и мчалось в какой-то бешеной пляске.

— Ого, какая погодка разыгралась,— заметил я, весело отряхиваясь от дождя в сторожке.

Иванов ничего не сказал и, видимо, был возбужден, не мог осилить своего волнения. В эту минуту сверкнула ослепительная молния и разом раздался треск грома, почти оглушивший нас.

— Славный удар! — заметил я.

— На меня всегда это страшно неприятно действует,— отрывисто сказал Иванов.

— Неужели? А я очень люблю эти первые вешние грозы,— проговорил я.

—Не знаю, что тут можно любить,— начал он и разом смолк.

Новая молния, прорвавшая зигзагами тьму, и новый рассыпавшийся треском удар грома заставили его замолчать.

— Наверное, случилось какое-нибудь несчастье,— прошептал он.

Мимо будки пробежал кто-то что-то крича, потом в противоположную сторону пробежало несколько человек, и мы услыхали крики:

— Убило! паренька убило!

Иванов как-то нервно, почти со злостью обратился ко мне:

— Вот они, первые-то вешние грозы.

Казалось, он за что-то упрекал меня.

Дождь уже прошел, гроза уже рокотала в отдалении, и мы пошли посмотреть на убитого паренька. Он, в белой рубахе, босоногий, с белыми, как лен, волосами, с бледным лицом, казалось, спал под старым высоким деревом, под которым он укрылся от ливня, и только одна огромная ветвь дерева, отодранная грозой от расщепленного и обожженного местами ствола, беспомощно и бессильно повисла над лежав-

шим на земле мертвецом. Кругом толпился народ, шушукаясь между собою, и, казалось, все боялись разбудить паренька.

— Он, папа, что же, спит? — спросил младший сын Иванова.

Иванов, стоявший с понурой головой, словно пробудился от сна, и тихо ответил сыну:

— Да, навсегда уснул!

И, взяв за руки детей, медленно пошел по дороге. Я невольно обратил на него внимание и проследил за ним глазами: он как-то сгорбился, точно постарел и вдруг ослабел, шагая к дому усталою походкой с опущенной на грудь головой.

На следующий день я встретился в купальне с Ивановым и среди разговора заметил ему мельком:

— А вы, как видно, сильно боитесь грозы?

— Не люблю я вообще этих стихийных сил, не щадящих ни правого, ни виноватого,— ответил он хмуро.— В эти минуты чувствуешь более, чем когда-нибудь, все свое ничтожество и всю нелепость тех или других надежд на будущее: кто-то неведомый прошел мимо — и смял и тебя самого, и твои надежды, и твои дела...

И как бы мимовольно, почти бессознательно он прибавил:

— Это нужно испытать, чтобы понять ужас этого...

Я вопросительно взглянул на него, он подметил этот взгляд, по его лицу скользнуло досадливое выражение, и он поторопился уйти из купальни, как бы боясь назойливых расспросов. Эту боязнь расспросов, враждебность к чужому любопытству я сразу ясно подметил в Иванове, а потом он несколько раз говорил при мне с негодованием о том, что люди любят залезать грязными руками в чужую душу...

— Каждому, кажется, так и хочется получить право сказать ближнему: «А так ты вот какой гусь, тоже не лучше меня». И неужели точно есть утешение в сознании, что все мы вымазаны одною и тою же грязью, что честные и праведные,— это не более, как сумевшие не сознаться в своих преступлениях негодяи?..

С таким человеком, конечно, нечего было и думать об откровенности, и наши отношения в течение всего лета сводились на простое «шапочное знакомство».

Правда, когда в лесу появились ягоды и грибы, мы начали делать экскурсии в лес вместе, иногда к нам присоединялись жена и дочь Иванова и моя семья, а к концу лета мы все стояли, по-видимому, уже в более или менее близких, приятельских отношениях, но это было только «по-видимому». Что за человек Иванов? Каково его прошлое? Почему так странно держат себя он и его жена? На все эти вопросы я не мог бы ответить ничего. В день нашего переезда с дачи Иванов, пожимая мне руку, заметил:

— До свидания. Я был бы очень рад, если бы и в будущем году нам пришлось поселиться бок о бок с вашей семьей на лето.

— Да, это было бы приятно,— ответил я.— Тихие соседи не всегда попадаются на даче...

О продолжении знакомства зимою, конечно, не было и помина ни с его стороны, ни с моей.

II

Перебравшись в город, я недели через две, через три отправился на кладбище, чтобы посмотреть, какие починки нужно произвести там на моих могилах. Отомкнув дверцу чугунной решетки, окружающей мои могилы, и поднявшись по трем ступеням на могильную насыпь, я совершенно машинально взглянул на соседний памятник: это был белый мраморный саркофаг, на котором со стороны, обращенной ко мне, была высечена золочеными буквами надпись:

«Александра Ивановна Иванова.

Родилась 10-го октября 1841 года; скончалась 15-го декабря 1860 года».

И сразу в моем воображении ярко восстала мрачная картина, которую я видел 18-го декабря 1860 года...

В тот памятный для меня день я завернул в кладбищенскую церковь, где кончалось отпевание покойницы. Церковь захлебнулась народом, и все стремились взглянуть на покойницу, лежавшую на невысоком катафалке в белом глазетовом гробу в свежем подвенечном наряде. В любопытстве толпы, в возбужденном выражении лиц, в смутном перешептывании присутствующих сразу замечалось нечто необычайное,

выходящее из ряда вон. Привлекало внимание праздной толпы то обстоятельство, что покойница окончила жизнь самоубийством, выпив яду. Ей было девятнадцать лет, она была очень недолго замужем и отличалась поразительною красотою. В гробу она лежала, как нарядная восковая куколка, сделанная одним из лучших мастеров игрушек, с золотистыми волосами, с тонкими черными бровями, с необыкновенно правильными чертами лица. Такие лица встречаются на старинных миниатюрах, исполненных на слоновой кости.

Когда я вошел в церковь, меня поразили истерические крики матери покойницы:

— Дитя мое несчастное, сокровище мое! Убили тебя, убили! Положите меня с нею! Не могу я больше жить! Убийцы! Убийцы!

Рядом с этой бьющейся в слезах и истерике полной женщиной стояли ее племянник и племянница и тихо шептали:

— Тетя, тетя, успокойся! Побереги себя!

— Убили! убили дитя мое несчастное! — продолжала стонать мать, вырываясь из их рук.— Пустите, пустите меня обнять ее!

Она вырывалась из поддерживавших ее рук, падала на гроб и обнимала голову дочери, снова рыдая и крича:

— Убили тебя, убили, дитя мое!

В толпе всхлипывали сердобольные зрительницы и тихо шептались с шипящею злобой:

— Это муж ее убил! Истиранил, злодей! Вон он, вон окаянный!

Я невольно устремил глаза в ту сторону, куда указывали в толпе: в ногах у гроба стоял мужчина поразительной красоты; он облокотился на гроб обеими руками и устремил неподвижно глаза на лицо покойницы. Казалось, он хотел запечатлеть глубоко в памяти каждую черту ее лица. Люди бросали на него косые и злобные взгляды, они стороной обходили его, точно боясь прикоснуться к нему, к убийце, кое-где слышались замечания:

— Таких вот не наказывают! Заставят отравиться человека, а сами в стороне!

И с еще большей злобой, как бы желая, чтобы он услышал их, шептали другие:

— Смотри, смотри на нее, радуйся на дело своих рук.

Он же, казалось, не замечал, не слыхал ничего и, как статуя, застыл на месте.

Когда все простились с покойницей и гробовщик принес крышку, он очнулся, взял тюлевый покров и заботливо покрыл им покойницу, поправил ее голову, руки, склонился к ее лицу и без слез, без стонов поцеловал ее в губы, потом прильнул к ее руке губами и сам стал закрывать ее крышкою. Лицо его смотрело теперь озабоченно, он сосредоточенно и хлопотливо поправлял атласную высечку на краях гроба, ленты лежащего на гробовой крышке венка, кисти гроба. Мне стало как-то жутко, точно передо мной стоял помешанный человек, не сознающий, что он делает.

— Ишь охорашивает,— злобно шипели кругом люди.

— Что ему, что ему; ему и горя мало! — рассуждали другие.— Хоть бы слезу проронил!

Он же, не видя, не слыша ничего, взялся за ручку гроба и понес его вместе с другими.

— О, дитя мое несчастное! Убили тебя, убили, сокровище мое!—раздался раздирающий душу вопль.— Пустите меня к ней, пустите!

— Тетя, тетя, поберегите себя для нас! — шептали убитой горем матери ее племянник и племянница.

— Похороните меня с нею! Заройте меня живую в могилу! — кричала мать, задыхаясь от слез и едва волочась за гробом.

Казалось, вот-вот она не выдержит и упадет бездыханною около трупа своей любимой дочери. Как безумно она любила свою дочь, это знали все ее близкие, все ее знакомые.

Я вспомнил эту тяжелую сцену, вспомнил этого убийцу-мужа, облокотившегося на гроб и смотрящего упорно на лицо убитой им жены. Это был мой дачный сосед Иванов. Черты его лица врезались тогда, во время похорон его жены, в мою память, и я теперь удивлялся, как это там, на даче, я не мог припомнить сразу, где я видел его, тогда как теперь, при виде этого белого мраморного гроба с надписью: «Александра Ивановна Иванова», мне так и казалось, что я вижу снова Иванова, облокотившегося на этот гроб и пристально смотрящего на лицо загубленной

им жены. Как часто на даче, при виде этого характерного сосредоточенного выражения лица и этого неподвижно устремленного в пространство взгляда, я настойчиво спрашивал себя, где видел я этого человека, и тщетно просил ответа у памяти. А теперь все было ясно, все ожило передо мною...

— Неужели он забыл о своем преступлении? Неужели он не испытывает угрызений совести? Что это за человек, и как он не только остался живым, но и может быть счастливым?

Все эти вопросы зароились в моей голове, и мне страстно захотелось увидать Иванова, увидать его именно здесь, сказать ему, что я знаю его прошлое, и, если можно, спросить его об этом прошлом. Ни на минуту я не остановился на мысли о том, что этот вопрос, быть может, будет жестокостью с моей стороны, что он, быть может, глубоко разбередит старые раны в сердце этого человека. Ни на минуту я не задумался о том, на что мне нужны сведения о прошлом этого человека и какое право имею я расспрашивать его об этом прошлом. Я просто страстно жаждал узнать это прошлое и думал только об одном, как это сделать. Не придет ли Иванов сюда в этот день; я, может быть, встречу его тут, волей-неволей он заговорит со мною. Да, я приду сюда десятого октября...

Десятого октября я забрался часов в девять на кладбище и, когда я приближался к своей могиле, я уже издали увидал Иванова. Вокруг памятника лежали дорогие венки, а Иванов стоял около саркофага, облокотившись на него, как тогда, в день похорон жены, и смотрел на крест, высеченный из мрамора на саркофаге. Заслышав, как щелкнул замок в дверцах моей решетки, Иванов вздрогнул и медленно, полусознательно обернулся лицом ко мне. Он, казалось, не сразу узнал меня, взглянув на меня каким-то тупым взглядом, потом, уже вполне овладев собою, проговорил:

— А, это вы! Здравствуйте!

Я протянул ему руку. Его рука была холодна. Он, как мне показалось, как-то странно смотрел на меня.

— Мы, значит, и здесь соседи,— произнес я и вдруг почувствовал сильное смущение, точно боясь, что он заподозрит меня в соглядатайстве.

— Тут моя первая жена похоронена,— пояснил он.

— Значит, я вас здесь и видел, потому и говорил, что мы где-то встречались,— проговорил я.

— Да? — вопросительно произнес он, всматриваясь в меня по-прежнему.— Но это было так давно, лет семнадцать тому назад...

— Ваше лицо легко запомнить,— пояснил я.

Он едва заметно, горько усмехнулся, продолжая глядеть на меня холодным, пристальным взглядом. Только тут я вспомнил его слова о жажде людей залезать в чужую душу. Мне стало досадно на себя.

— Так вы говорите, что мое лицо легко запомнить? — сказал он.

Потом прибавил:

— Особенно тогда, когда в этом лице видишь не просто лицо человека, а лицо убийцы жены...

В его тоне мне послышалось что-то вроде упрека мне. Вглядываясь в меня, он, кажется, заметил, что я покраснел и смутился.

— Вот вас, кажется, удивляло, что я сторонюсь от людей,— сказал он грустно,— а теперь вы видите, что я имею основания сторониться от них: им стоит хоть смутно узнать о моем прошлом, чтобы у них явилось желание выслеживать меня, вторгнуться в мою душу...

Мне было тяжело, стыдно сознавать, что он прочитал в моей душе мои тайные помыслы.

— Я вовсе не желал...— начал я растерянно и в то же время раздражительно.

Он холодно перебил меня.

— И случайно пришли сюда именно сегодня? — спросил он, смотря мне прямо в глаза.— Полноте!

И тут же совсем мягко прибавил:

— Простите меня за эти слова. Я дорогой ценой купил право говорить так. Семнадцать лет тому назад я пережил, испытал на себе травлю людей. Это была травля падшего, побежденного. Как я остался тогда жив — я не знаю. Меня спасла только память о ее любви,— он указал на гроб,— и моя любовь к ней.

Я широко открыл глаза.

— Да,— повторил он твердо,— меня спасло только то, что я знал, как она любила меня и как я любил ее.

И, оборвав речь, он быстро в волнении проговорил:

— Сюда идут моя жена и мои дети... Когда-нибудь я расскажу вам все, без них... А теперь...

Я поспешно удалился со своей могилы, не закрыв даже двери решетки, торопясь свернуть в другую сторону, чтобы не встретиться с женой и детьми Иванова. Я почувствовал, что мое присутствие здесь смутило бы их. У меня было скверно на душе: этот человек, очевидно, много перестрадавший, дал мне хороший урок. Жажды узнать его прошлое, познакомиться поближе с его настоящим не было теперь и следа; было одно желание никогда более не встречаться с этим человеком, который уличил меня в противном для него поползновении порыться в чужой душе, порыться затем, чтобы найти там нечто грязное и порочное.

III

Раз вечером я сидел у себя в кабинете, когда в прихожей послышался звонок.

— Барин дома? — раздался вопрос.

— Дома-с,— ответил мой слуга.

— Доложи, что Николай Николаевич Иванов желает их видеть.

Я почувствовал, что к моему лицу прилила кровь, и первою моею мыслью была досадливая мысль о том, зачем я не предупредил лакея, что Иванова не следует принимать. Но сделанного не переделаешь, и я постарался овладеть собою. Я поднялся с места и пошел навстречу нежданному гостю.

— Не ждали? — спросил Иванов, пожимая мне руку.

— Не ждал, признаюсь откровенно, но очень рад вам,— ответил я и, пожав в свою очередь его руку, провел его в кабинет.

— Никого не ждете? Не отрываю от работы? — спросил он.

— Нет, нет, я вполне свободен,— сказал я.

— У меня, во-первых, есть до вас большая просьба,— пояснил он, садясь в кресло: — нужно посоветоваться с вами, как с учителем, насчет моих мальчуга-

нов, а во-вторых, нужно же отдать долг, числящийся за мной.

По его лицу скользнула чуть заметная усмешка.

— Долг? — спросил я.

— Ну да, исполнить обещание, данное вам десятого октября,— пояснил он.

Я смутился и торопливо ответил:

— Не бередите старой раны. Я чувствую, что я...

Он не дал мне договорить и заметил, дотрогиваясь по-приятельски до моей руки:

— Не оправдывайтесь! Я вас не думаю винить; все люди, как люди. Но вас за лето я искренно полюбил, и потому мне было бы приятно, чтобы вы узнали все, а потом... потом, может быть, вы найдете, что мы можем просто и дружески сблизиться между собой. Я со своей семьей здесь живу, как в пустыне, а вы были бы желанным другом нашего дома. Сходиться с первыми встречными я не намерен, но и нельзя же жить здесь, в Петербурге, совсем отшельником. Я говорю с вами откровенно. Впустить кого-нибудь к себе в дом с улицы я не решился бы. Сблизиться с вами, прежде чем вы узнаете, с кем вы сближаетесь, я тоже считаю невозможным, конечно, не для себя, а для вас. Потому я и считаю нужным рассказать вам все.

Я распорядился, чтобы нам подали чай в мой кабинет, и приказал слуге не принимать никого. Когда я вернулся в кабинет, я застал Иванова в глубоком раздумье, тихо ходящим по комнате из угла в угол. Увидав меня, он очнулся, присел и заговорил:

— Рискуя немного утомить вас, я все же должен начать свою историю с самого начала: в ней нет ровно ничего выходящего из ряда вон, в ней все обыденно и буднично, как и в самом заурядном существовании; вследствие этого мне придется останавливаться на мелочах; из массы этих мелочей и составляется драма каждой будничной жизни. Начну с женитьбы.

Он вздохнул и начал рассказывать.

— Я женился на моей покойной жене восемнадцать лет тому назад. Мне было тогда двадцать четыре года, моей невесте шел девятнадцатый год. Оба мы успели кончить с золотыми медалями — она гимназию и педагогические курсы, я — гимназию и университет. Про обоих нас все говорили, что мы красав-

цы. Обоих нас называли даровитыми натурами. О наших способностях говорили наши золотые медали, ее музыкальные таланты, мой недурной и хорошо обработанный баритон. Кроме того, друзья и приятели находили, что у нас очень добрые сердца, так как и я, и она шли охотно на помощь ближним, откликаясь чутко на чужое горе. Прибавьте к этому, что мы соединились по страстной любви, и вы поймете, что наш союз обещал быть одним из самых счастливых. К несчастью, для вполне счастливой семейной жизни не всегда достаточно золотых медалей, красоты, блестящих способностей, добрых сердец и горячей любви мужа и жены. Это такое сложное дело — счастливая семейная жизнь! У нас, как оказалось после нескольких месяцев нашей супружеской жизни, недоставало воспитания, недоставало хорошо направленных характеров, недоставало выдержки для борьбы с совершенно непредвиденными нами обстоятельствами... Впрочем, не буду забегать вперед и расскажу все по порядку. Я рос сиротою и притом богатым сиротою: богатство и красота заставляли так или иначе окружающих подчиняться моим капризам, спускать мои горячие вспышки, уступать моей настойчивости. Мало того, мои иногда чисто бешеные выходки служили предлогом для выхвалений моего золотого сердца: я грубо обижал людей, но стоило мне увидать их обиженные лица, их печальные мины, их слезы, как меня охватывало горячее раскаяние, и я первый спешил загладить свою вину, задарить, подкупить в свою пользу обиженного. Хитрые люди пользовались этою чертою кающегося Тит Титыча из образованных, эксплоатировали ее, играли мной, как пешкой, обирали меня, оставляли в дураках: выведут из терпения, заставят наговорить им обидных резкостей, и потом, когда меня всего охватит стыд перед ними, презрение к самому себе, жажда загладить свой проступок, вьют из меня веревки, делают меня дойной коровой. Характер творил беды, доброе сердце каялось — и несло контрибуции за его прегрешения. Каким человеком была моя жена? Я редко встречал натуру такую же прекрасную, как ее натура. Чтобы понять вполне, каким человеком была она, вы должны знать, под каким влиянием она росла. Саша выросла со своими погодками двоюродными братом и сестрой под

руководством и опекою матери-вдовы, Анны Петровны Герсевановой. Характеристику Анны Петровны можно определить одним словом: «наседка». Вывести цыплят, водить их за собою, растопыривать крылья для защиты их даже тогда, когда им не угрожает никто, лезть за них в безумную драку хоть бы с бульдогом, который может разом откусить ей голову, вот основные черты характера наседки, вот основные черты характера этой из ряда вон доброй матери. Заметьте, я говорю «доброй матери», но не доброй женщины. Доброй женщиной она перестала быть с той самой минуты, когда она сделалась доброй матерью. Живя только для дочери, поднимая ее на ноги при помощи небольшой пенсии и упорного, почти нечеловеческого труда содержательницы и воспитательницы, и учительницы дешевой школы с массой учеников и без всяких посторонних учителей, Анна Петровна мало-помалу перестала интересоваться чем бы то ни было и кем бы то ни было; люди, события, газеты,— все это не существовало для нее. Для нее существовала только дочь: для дочери она неустанно работала, ради дочери переносила она лишения; за дочь роптала она на судьбу и на людей, видя, что в мире есть более счастливые дети, чем ее дочь. Негодование на судьбу и на людей вызывали в ее сердце не царящие в мире бедствия, не страдания тысяч и миллионов людей, не вопиющие несправедливости, преследующие их, но только участь одной ее Саши: красавица, первая ученица в гимназии, замечательная музыкантша, она, по мнению матери, заслуживала того, чтобы ее все носили на руках, чтобы к ее ногам сложили все сокровища мира, чтобы ее все берегли, как зеницу ока, тогда как люди относились к ней, как к обыкновенной смертной. Эта добрая мать приходила просто в ярость, когда какой-нибудь учитель кривил душой в училище в пользу какой-нибудь товарки Саши ради денег или протекции; она шельмовала за бездушие музыкальных знаменитостей, не предлагавших даром учить Сашу музыке; она ненавидела тех барышень, которые затмевали красоту Саши на балах своими туалетами, и называла негодяями тех молодых людей, которые льнули к богатым барышням-невестам, а не к красавице Саше. Под влиянием такой матери менее прекрасная и чи-

стая натура могла бы сделаться положительно нравственным уродом, завистливой, безмерно честолюбивой, капризной, привередливой и бездушной женщиной. Но Саша была воплощенная доброта. Несправедливости или то, что казалось ей несправедливостями, только угнетали ее, щемили ей сердце, вызывали в ней недоумение или отчаяние. Она походила на цветок. «Не тронь меня»: неправда, несправедливость, грубость заставляли ее не бороться, не протестовать, не сердиться, а сжиматься, уходить в себя. Мне всегда казалось, что ей делается холодно и жутко, когда совершалось нечто злое и бесчестное.

Он невольно встал и прошелся по комнате, видимо, взволновавшись при воспоминаниях об образе этой когда-то любимой им женщины. Немного успокоившись, он снова сел и заговорил:

— Я ее взял с бою. Иначе и не могло быть. Без борьбы Анна Петровна никому не отдала бы свою дочь...

— Сумеете ли вы оценить мое сокровище и сберечь его? — говорила мне Анна Петровна, когда я стал просить руки Саши.

— Я люблю ее всем сердцем,— ответил я.

— Ах, не умеют люди любить-то,— заметила она с тяжелым вздохом.— Я вполне понимаю, что она вам нравится. Она не может не нравиться. Но этого еще недостаточно, чтобы она была счастлива.

— Верьте мне, что я сумею сделать ее счастливою,— сказал я.

— Это все говорят перед свадьбою,— проговорила она.— Нет, нет, таких вопросов нельзя решать так разом. Дайте мне подумать.

Я сказал, что приду за ответом на следующий день.

— Что вы! Что вы! — воскликнула Анна Петровна.— Да я и через неделю не дам вам ответа, и через месяц. Нет, нет, тут торопиться нельзя! У меня ведь дочь одна! Вам легко найти и другую невесту, а у меня другой дочери не найдется...

— Так когда же прикажете придти за ответом? — спросил я.

— Ждите! — ответила она.

Когда, однако, я уходил, Саша успела шепнуть мне:

— Ну что сказала мама?

— Ничего. Подумать хочет, — ответил я. — Я боюсь...

— Пустяки это. Согласится! Завтра же согласится! Она просто ревнует меня ко всем. Милый мой, я во всяком случае твоя.

— Да? Моя? — радостно воскликнул я.

— Разве ты можешь сомневаться? Я пойду за тобою всюду наперекор всем и всему.

Я покрыл поцелуями ее руки.

На следующий день я пришел снова в гости к Анна Петровне, и она встретила меня довольно сухо. Перекинувшись с нею несколькими фразами, я спросил ее, не надумалась ли относительно ответа на мое предложение. Она сдвинула брови и с тяжелым вздохом недружелюбно сказала мне:

— Что же, если Саша вас любит и примет предложение,— я согласна, как ни горько мне отдавать дочь совсем чужому человеку. Вы даже не из нашего круга общества. Вы богаты...

Я уже не слушал ее и бросился целовать ее руки. Она отвернулась от меня, проговорив:

— Что ж делать, бог с вами... Берите мое сокровище, да только сумейте сберечь его.

— Неужели, добрейшая Анна Петровна, вы все сомневаетесь в моей любви,— сказал я.

— Ах, не говорите мне об этом! — воскликнула она.— Знаю я любовь мужчин: им, как детям, нужна игрушка в образе жены. Любить может только мать, родившая, вынянчившая, поднявшая на ноги свое дитя в крови и в поту, а не муж, пришедший откуда-то с улицы и взявший кем-то другим приготовленное сокровище. Мы вот и понять не можем, почему крестьяне говорят, что грех бросать на пол хлебные крошки, а это потому, что они сами сеяли...

Наш разговор прервала вбежавшая в комнату и бросившаяся ко мне в объятия Саша... Анна Петровна раздражительно поднялась с места и направилась к дверям.

— Мама, куда же ты? — воскликнула Саша, схватив ее за платье.— Дай мне тебя поцеловать!

— Ах, что теперь тебе я! — с горечью проговорила мать, отстраняясь от нее, и вышла из комнаты.

— Анна Петровна ревнует тебя ко мне? — с улыбкой сказал я Саше.

— Да,— ответила Саша и немного задумалась.— Мне очень жаль оставить маму, но что же делать: я же тебя люблю! Конечно, ей тяжело, она с таким трудом, с такой заботой воспитала меня, а теперь нужно расстаться...

— Это же неизбежно должно было случиться,— беспечно заметил я,— и было бы странно желать, чтобы ты вечно осталась в девушках при ней. Ну, да не станем говорить об этом и отравлять наше счастье пустяками.

Я обнял ее, вполне счастливый, весь охваченный одним чувством — любовью к моей невесте. Мне не было никакого дела до Анны Петровны, до ее огорчений, до ее чувств ко мне. В моих глазах это была просто недалекая и смешная мать, эгоистка и только. Я знал, что таких матерей бывает не мало на свете, и все они очень мало интересовали меня...

Начались спешные приготовления к свадьбе. Я торопился и даже не обращал внимания на мелочи, на которые не могла не обращать внимания Саша. Каждый раз, когда я или Саша говорили, что надо все сделать поскорей, Анна Петровна останавливала нас словами:

— Успеете еще, перед вами целая жизнь, а мне, старухе, остается только несколько дней пожить вместе с моим ребенком.

Когда Саша казалась особенно веселою, мать ей замечала со вздохом:

— Так-то ты меня любила, тебе даже и не жаль, что ты оставишь меня одну коротать век.

Когда я говорил, что без той или другой принадлежности приданого можно обойтись покуда, Анна Петровна колко замечала мне:

— Это вам все равно, а не мне; я привыкла, чтобы у моей дочери было все, что нужно; вы говорите, что это и после можно сделать, а я знаю, что после мужья очень мало думают о женах!

Когда я чуть не каждый день и чуть не целые дни проводил около Саши, Анна Петровна не то шутя, не то недовольным тоном почти гнала меня, говоря, что у меня еще будет время насидеться с Сашей, тогда как для нее это последние дни пребывания

с дочерью; когда же я пропускал дня три, не завернув к Герсевановым, Саша шептала, ласкаясь ко мне:

— А ты знаешь, мама вчера весь день толковала о том, что, верно, я тебе уже надоела, что в другом месте тебе веселее.

Все это только смешило меня и не останавливало на себе моего внимания; на Сашу это действовало иначе — она иногда серьезно печалилась за мать, говорила, что та точно хоронит ее, и прибавляла, что действительно должно быть Анне Петровне очень тяжело расстаться с нею. Я мельком замечал ей, что это уж таков закон природы, такова участь всех матерей, и, в сущности, оставался вполне равнодушным к горестям Анны Петровны. И Саша забыла, конечно, о них, когда, наконец, мы остались вдвоем в своем нарядном гнездышке после свадьбы. Никогда не забыть мне этих первых дней счастия...

Николай Николаевич снова встал и прошелся по комнате, замолчав на несколько минут, весь охваченный воспоминаниями былого счастия. Должно быть, оно в самом деле было ослепительно лучезарным.

IV

— Счастия нельзя рассказывать, его надо пережить,— начал он снова.— Я его пережил; пережила его и Саша. Мы часто спрашивали друг друга: «Неужели это не сон?» Как-то не верилось тому, что можно быть такими счастливыми на земле, какими были мы. Три месяца прошло в таком блаженном состоянии, три месяца, проведенные за границей и в деревне. Этого счастия не смущали даже письма Анны Петровны, полные жалоб на судьбу, на тоску, одиночество, хотя Анна Петровна и не была, в сущности, одинокой, так как у нее в это время окончательно поселились ее племянник и племянница, погодки Саши. Через три месяца мы вернулись осенью в Петербург, и я принялся за дело. Кроме службы, я деятельно занимался в двух комиссиях, разрабатывавших вопросы народного технического образования. Время было тогда горячее, производились всякие реформы, руки были везде нужны, и сидеть праздно не было возможности, особенно для такого молодого

и подвижного человека, каким был тогда я. Лихорадочная деятельность была моим призванием; сидеть на одном месте, быть зрителем жизни я никогда не умел. Когда я еще был женихом, Саша мне часто говорила, что она более всего любит меня за то, что я всем интересуюсь, за всем слежу, никогда не нахожусь праздным, стремлюсь принять участие в каждом деле, которое мне по душе. Возвращаясь теперь домой из заседаний, я делился с Сашей новостями, и нередко мы просиживали с ней далеко за полночь в оживленной беседе: ее интересовали мои дела, меня интересовали ее занятия, так как она продолжала заниматься, училась, читала, развивала свои музыкальные способности. По-видимому, все шло отлично, и нам оставалось только желать, чтобы вся наша жизнь прошла тем же путем. Иногда на душу Саши набегали облачка, когда к нам заходили племянник или племянница Анны Петровны. Они наперерыв друг перед другом рассказывали, что Анна Петровна стала апатично относиться к школе, что она находится вечно в тревожном состоянии, думая о Саше, что она нередко говорит о смерти, как о желанном для нее конце. Раздражительное состояние духа Анны Петровны стало отзываться даже на школьных занятиях: она сердилась и кричала на учеников, прежнее уменье быть сдержанной в классе куда-то исчезло, она стала говорить, что ей надоели ее дело и возня с этой «текучей водой», как она называла теперь школьников. Наши Добчинский и Бобчинский, как я называл двоюродных брата и сестру Саши, были из породы молодых выслуживающихся докладчиков и были неистощимы в сообщении всяких неприятных сведений и пакостей. Они, кажется, только тогда и были счастливы, когда могли перенести из одного дома в другой какой-нибудь мусор и увидать чью-нибудь кислую мину при этом. Их рассказы о душевном состоянии Анны Петровны тревожили Сашу, и она заезжала к матери или приглашала ее к нам и старалась ободрить старуху. Анна Петровна как-то безнадежно отвечала:

— Обо мне что думать, было бы тебе хорошо.

Меня она, видимо, не любила, как человека, отнявшего у нее дочь. Когда Саша казалась вполне счастливою, Анна Петровна косилась на меня, пола-

гая, что я умышленно стараюсь сделать все, чтобы только заставить Сашу забыть мать; когда Саша казалась озабоченною, Анна Петровна готова была напасть на меня и растерзать меня за то, что я гублю ее сокровище. Это была могила матери, безумно любящей свою дочь.

Раз как-то я вернулся со службы домой и застал у себя Анну Петровну, ее племянника и племянницу. Мы уселись за стол, и Саша мне сообщила:

— А мы завтра собираемся в театр.

— Что ж, и отлично,— сказал я.— Поезжайте, а я в конце спектакля заеду за тобой.

— Разве вы не поедете с нами? — спросила Анна Петровна.

— Нет, у нас завтра заседание школьной комиссии,— ответил я.

Она пожала плечами.

— У вас, кажется, каждый день заседания комиссии.

— Нет, четыре раза в неделю,— ответил я.— Я ведь состою членом двух комиссий, и каждая заседает по два раза в неделю.

— Не понимаю, как можно ради каких-то комиссий бросать дом,— резко произнесла Анна Петровна.

Я засмеялся.

— Да если бы все так рассуждали, то общественные дела не далеко ушли бы! — сказал я.

— Прежде всего нужно думать о своей крыше,— возразила она.

— Сквозь мою, кажется, не каплет,— заметил я.

— Еще бы этого дождаться! — сказала с горечью Анна Петровна.

Саша вмешалась в разговор.

— Вы, мама, смотрите с нашей женской точки зрения, а мужчинам нельзя же жить, отдавшись только дому.

— Ах, что ты мне говоришь! — воскликнула Анна Петровна.— У меня, кажется, тоже было всегда на руках большое общественное дело, школа, частные уроки, однако я ради него не оставляла тебя одну, не забывала, что ты — главное, а все остальное второстепенное для меня!

Я не стал возражать, не желая обострять спора, и переменил разговор. После обеда мне нужно было почти тотчас же ехать на заседание, и я уехал.

Я не мог попасть домой рано, так как заседание комиссии затянулось. Я возвратился только в двенадцатом часу и застал Сашу сидящею над раскрытой книгой. Она как-то особенно обрадовалась мне, и с ее губ сорвалось восклицание:

— Наконец-то!

— Заждалась, голубка? — спросил я ее, целуя ей руки.

— Неужели заседание так долго затянулось сегодня? — спросила она.

— Да, все спорные вопросы подвернулись,— сказал я.— Мой доклад поднял целую бурю, и мне пришлось повоевать.

И я с оживлением начал передавать ей, о чем мы толковали и спорили, чем решили возникшие вопросы. Я отвоевал свои предложения и потому был весел и счастлив. Она слушала меня с возрастающим любопытством и, наконец, порывисто обняла меня, проговорив со смехом:

— А ты знаешь, мама меня сегодня уверяла, что вовсе не в комиссии ты заседаешь, а где-нибудь кутишь с друзьями!

— Это черт знает что такое! — воскликнул я.

— Не сердись, голубчик,— ласково проговорила Саша.— Ты знаешь, как она любит меня и как боится за мое счастье.

— Да ты что же, жаловалась ей, что ли? — резко спросил я, охваченный гневом.

Она подняла на меня с упреком свои детские большие глаза.

— Ты так думаешь? — спросила она грустно.

— Нет! нет! — воскликнул я, опомнившись, и обнял ее.

Мне стало стыдно за свою вспышку.

Эта ничтожная сценка тотчас же забылась нами. Мы слишком горячо любили друг друга, чтобы останавливаться долго на таких мелочах. Но на другой день, когда я заехал в театр за Сашей, в моей душе поднялось помимо моей воли враждебное чувство при виде Анны Петровны, и я, здороваясь с ней, не удержался и проговорил с особенным ударением:

— Я, Анна Петровна, прямо из комитета, а не с пирушки друзей!

Саша опять взглянула на меня с упреком; Анна Петровна не без едкости заметила:

— Потому и освободились сегодня так рано...

— Вы думаете, что именно потому? — спросил я задорно.

— Да, думаю,— твердо ответила она, отворачиваясь к сцене, где уже подняли занавес.

Когда я поехал с Сашей домой, она молчала. «Что это она, дуется, что ли?» — мелькало в моей голове, и я тоже молчал, сердясь на нее за то, что она дуется на меня за мать. Наконец я, как человек горячий, не выдержал и спросил:

— Ты, кажется, сердишься за что-то?

— Мне больно, что ты заставляешь меня не быть откровенной,— ответила она просто.

— То есть как это?

— Вчера ты разгорячился, когда я сказала откровенно, что мне говорила мать, и это вызвало вспышку; сегодня ты без всякой нужды сказал колкость моей матери. Это нехорошо.

— Я ей и не то еще скажу, если она будет ссорить нас,— загорячился я.

— Я не знаю, что ты скажешь ей, но я-то не стану уже передавать тебе того, что будет говорить мне она,— заметила грустно Саша.

— Вот как!

— Мне вовсе неприятно вызывать твои вспышки и навлекать на нее неприятности! Зачем? Лучше молчать.

Мы доехали домой молча. Она смотрела пригнетенною; я был возбужден до крайности. Саша прошла в спальню; я зашагал по своему кабинету. Пробило час, когда я поуспокоился и прошел в спальню. Саша тихо плакала, уткнувшись лицом в подушку; я подошел к ней и проговорил:

— Прости!

Она обняла меня, припала головой к моей груди и продолжала тихо плакать.

— Я не сержусь,— говорила она прерывающимся голосом,— но мне очень, очень тяжело стоять между двух огней. Я вас люблю обоих и знаю, что вы оба любите меня, но вы не терпите друг друга, и мне это

страшно больно. Разумеется, мне не надо было говорить тебе вчера того, что сказала мама, но я думала, что ты просто посмеешься над ее словами, а ты...

— Но пойми, она может нас рассорить этими глупыми предположениями,— сказал я.

— Ты думаешь, значит, что я тебя так мало люблю? — спросила она.

Я зажал ей рот поцелуями, я чувствовал, что я был неправ, вспылив вчера и сказав колкость ее матери сегодня.

Иванов оборвал свою речь и в волнении зашагал по комнате.

V

— Вы помните,— начал через несколько минут снова мой гость,— ту весеннюю грозу, которая так напугала меня в Ораниенбауме? Вы помните, каким странным я был тогда? Весенние грозы всегда производили на меня, как на нервного человека, сильное впечатление. Они напоминают мне весенние грозы моей жизни с Сашей. Эти нежданные грозы налетали на нас в горячей атмосфере нашего счастья и проходили, по-видимому, бесследно, оставляя одно освежающее сознание, что мы горячо любим друг друга и ничто не может поколебать этой любви. Нам казалось даже, что после этих гроз мы начинали любить друг друга еще более страстно, что наши объятия становились крепче, поцелуи жгучее. Так казалось нам обоим, но не так было на самом деле. Эта первая маленькая вспышка у домашнего очага окончилась тем, что мы стали еще нежнее друг с другом. Других последствий, как мне казалось, она не оставила. Но на деле было не так. Мать Саши еще более невзлюбила меня после этой истории и начала при каждом удобном случае зорко следить за мною и стоять настороже счастия дочери. Говоря иначе, она при каждой встрече спрашивала Сашу: «А ты, деточка, все одна сидишь?», «Господи, как, должно быть, надоели тебе эти комиссии, отнимающие у тебя мужа», «Ах, уж эти мужья-честолюбцы, для которых интереснее видеть себя на газетных столбцах в числе

общественных деятелей, чем наслаждаться в тишине семейным счастием!»

Саша не передавала мне этих замечаний и только старалась разубедить мать в том, что я плохой муж.

— Знаю, знаю,— отвечала ей мать,— что у тебя золотое сердце и что ты ничего не видишь, кроме добра, в тех, кого раз полюбила.

Не передавая ничего этого мне, Саша, тем не менее, грустила о том, что ее мать не любит меня, и еще более грустно действовало на нее то, что старуха как бы выбилась из своей колеи, запустила дело по школе, жила как-то спустя рукава. Ей было не для кого трудиться, и она не бросала дела только потому, что не желала жить на мой счет. Раз Саша мне заметила:

— Я не узнаю маму. Куда девалось у нее все: энергия, твердость, любовь к делу!

— Стареет,— пояснил я.

— Ну, разве она старуха! Ей еще нет пятидесяти лет. Нет, это просто оттого, что у нее цели в жизни не стало. Все жалуется, что не для чего больше и жить.

— Ах, уж эти матери-эгоистки! — проговорил я.— Любят детей только для себя: им хотелось бы иметь их весь век при себе, на шаг не отпускать от себя, загубить их жизнь только ради того, чтобы не разлучаться с ними.

— Верно, уж люди вообще так созданы, что иначе не умеют любить,— вскользь заметила Саша.— Тут винить отдельных личностей трудно.

Она грустно улыбнулась.

— Посмотрела бы я, что сказал бы ты, если бы я вдруг ушла к матери жить, а с тобой только виделась бы раз или два в неделю.

— Какое сравнение! Я муж, а она мать! Она должна была знать, что ты когда-нибудь уйдешь, должна уйти для своего счастия.

— Все это, мой друг, прекрасно и верно в теории, а с сердцем не справишься,— проговорила Саша.— Я вот тоже все это знаю, и все-таки глубоко жаль мне мою маму, глубоко жаль, что она опускается, дряхлеет, теряет энергию, не видит цели в жизни!

— Ну, голубка, напускать на себя все можно,— возражал я.

Она смотрела на меня широко открытыми глазами, удивляясь недостатку во мне чуткости и скорбя о моей нелюбви к ее матери. Для нее ее мать была одной из самых идеальных матерей; для меня она была крайней эгоисткой. Она помнила все жертвы, которые приносила ей мать, изо дня в день, из года в год в течение восемнадцати лет, недосыпая ночей, недоедая куска хлеба ради нее; я видел только одно то, что эта мать расстраивает своими жалобами мою жену. Она сознавала, что, будь я и ее мать друзьями, и мы были бы все счастливы; я знал, что, поселись Анна Петровна у нас на месяц, и мы все разойдемся врагами. А Добчинский и Бобчинский продолжали являться с докладами: Анна Петровна вчера плакала; Анна Петровна третьего дня не могла в классе досидеть, так ненавистно ей стало ее дело; у Анны Петровны начали убывать ученики, так как школа падает...

— А ты знаешь, я решилась подбодрить маму и взялась давать у нее в школе четыре урока в неделю,— сообщила мне Саша.

— Что за фантазия! Ты утомишься! — заметил я.

— Четырьмя-то уроками в неделю? — весело засмеялась Саша.— Это не только не утомит меня, но принесет мне пользу, надо же что-нибудь серьезное делать.

Я не возражал, но какое-то смутное враждебное чувство подсказывало мне, что Анна Петровна может дурно повлиять на Сашу, часто видясь с ней. Однако я сдержался и не высказал своих опасений. Саша стала четыре раза в неделю давать уроки в школе матери.

Я, как человек с независимым состоянием, числился членом разных благотворительных обществ и до женитьбы вращался среди разных дам-патронесс, устраивая балы, лотереи, базары. Много ли все это приносило пользы — об этом я, да, вероятно, и прочие члены думали не особенно много, но всем нам было весело убивать свободное время на заседания, на распорядительство, на верченье в беличьем колесе модных зал и гостиных, раздавая кому-то гроши и тратя на себя сотни и тысячи рублей. После женитьбы я почти перестал принимать активное участие во

всех этих благотворительных затеях, как вдруг в декабре месяце, то есть на седьмом месяце после моей женитьбы, мне прислали повестку из «Общества попечительства о круглых сиротах и калеках» с извещением, что выбран в члены распорядительного комитета. Это избрание немного озадачило меня, так как в комитет избирались обыкновенно те лица, которые добивались этой почести. Я был не из их числа. Я поморщился, но отказаться от членства было нельзя: по правилам общества никто из членов не мог отказываться от роли члена распорядительного комитета при первом его избрании. Волей-неволей пришлось нести новые обязанности, которые, впрочем, были не особенно трудны, так как комитет собирался два раза в месяц. При первом же посещении комитета я сразу понял, кому я обязан своим избранием: главной распорядительницей комитета, а значит, и всего общества на этот раз делалась Софья Петровна Чельцова. Софья Петровна была когда-то красавицей, теперь она уже отцвела, хотя еще не признавала себя побежденною годами. За ней вечно увивался рой поклонников: одних привлекали остатки ее замечательной красоты, другие искали ее приязни во имя того, что ее муж был влиятельным членом государственного совета, третьих просто манила возможность постоять бок о бок с великосветскою женщиною, и этих цветочков диких, желающих попасть в один пучок с гвоздикой, было большинство. Благотворительные общества нередко тянут за уши в гору разных карьеристов. Отношения ко мне Софьи Петровны были всегда странными; она не то охотилась за мной, не то дразнила меня, и это началось уже с того времени, когда я почти мальчиком поступил в университет. Мы всегда были с нею «друзьями», как говорила она, и мне кажется, что никого она так не ненавидела временами, как меня. Дело в том, что она была женщина не моего романа: крупная по фигуре, царственная по манерам, властная по характеру, скорее злая, чем добрая, она ни на минуту не могла увлечь меня, и ее игра со мною в кошки и мышки всегда оканчивалась тем, что мышонок спокойно и равнодушно ускользал из ее когтей. Это дразнило ее, и игра в кошки и мышки со мной начиналась не раз, возобновляясь периодически, оканчивалась всегда

одним и тем же равнодушием с моей стороны. При первом же посещении комитета, увидав Софью Петровну, я понял, что для меня наступает период игры в кошку и мышку, и невольно улыбнулся при мысли о том, как удивится, как вытянет лицо Софья Петровна, узнав, что я женат и притом по страстной любви. Она упрекнула меня за то, что я давно не был у нее, пожурила за то, что вообще нынче невидим, по обыкновению, не выслушала моего ответа и засыпала меня поручениями: завтра я с ней должен осмотреть приют калек, послезавтра я должен съездить похлопотать о зале для благотворительного маскарада, далее я должен справиться, когда можно устроить в каком-нибудь клубе елку на рождестве, и так далее, без конца. Командовать людьми она умела.

— Коля, ты знаком с какой-нибудь Чельцовой? — спросила меня как-то Саша вечером, и в ее голосе было что-то особенное, точно ей что-то сдавливало горло.

— С Чельцовой, с Софьей Петровной? — переспросил я жену, немного удивившись ее вопросу.— Как же, знаком! Она главная распорядительница в нашем комитете попечительства о сиротах и калеках. Разве я тебе не говорил?

— Нет, не говорил,— ответила Саша, отрицательно качая головой.

— А ты разве не знаешь, что спросила о ней?

— Нет, так... Говорят, это дурная женщина,— несмело сказала Саша, пытливо смотря на меня.

— Как тебе сказать? Шаблонная светская барыня из отцветающих львиц и скучающих благотворительниц. Таких, как она, целая масса, и все они выкроены по одной мерке, на один фасон. Ничего интересного, ничего оригинального. А тебе кто о ней говорил?

Она замялась и ответила:

— Так мельком слышала у мамы, как-то говорили о благотворительницах, упомянули и о ней и сказали, что ты знаком с нею.

— И даже, может быть, по обыкновению, посплетничали о том, что она ухаживает за мною или я за нею? — спросил я, неприятно почувствовав, что кто-то подсматривает за мною и передает свои наблюдения моей жене.

— Ты, кажется, сердишься? — спросила в недоумении Саша, не без удивления глядя на меня своими наивными детскими глазами.

— Да, сержусь,— уже запальчиво ответил я.— Я не люблю ни шпионства, ни подозрительности. Да, я знаком с Чельцовой. Она всегда ухаживала за мной, ухаживает и теперь. Ты так это и скажи тем, кто наушничает тебе. Вероятно, это твоя мать? Ей хочется, чтобы ты начала ревновать меня. Ну, так я тебе скажу на это, что я презираю ревность жен. Ревнуют те, которые не верят в честность своих мужей, не верят в искренность их любви, не имея на то никакого права.

— И ты сердишься, считая меня именно такой женой? — проговорила Саша, сдерживая слезы.— Бог с тобой!

Она говорила просто, печально; в ее голосе звучала скорее грусть, чем упрек.

Мой гнев сразу утих. Я хотел что-то сказать. Саша тихо, с опущенной головой пошла из комнаты.

— Саша! Саша! — окликнул я ее молящим голосом.

— Нет, нет, я вижу, голубчик... что я должна молчать...— прерывающимся голосом проговорила она.— Там, у матери, молчать... здесь молчать... Господи, что же это за пытка!..

Я бросился к ней, сжал ее в объятиях, стал целовать ей руки.

И опять прошла эта весенняя гроза, опять прошла, очистив воздух наших отношений: я выяснил Саше, что никогда я не пробовал даже ухаживать за Чельцовой; она сказала, что она даже на минуту не заподозрила меня ни в чем; она заговорила со мной о Чельцовой просто потому, что слышала о моем знакомстве с Чельцовой и хотела узнать, что это за женщина, как я знаком с нею. Это было так просто, так понятно. Ведь расспрашивала же она меня о моих знакомых мужчинах, о моих заседаниях в ученых обществах, о моих служебных занятиях. Она интересовалась всем, касавшимся меня, как настоящая подруга моей жизни, как моя спутница в жизни.

Но бесследно эта гроза не прошла: Анна Петровна, ее племянник и племянница начали подстерегать меня, начали наушничать Саше о моих отношениях

к Чельцовой, и Саше приходилось сильно воевать с ними, оспаривать их предположения, защищать меня перед ними и молчать передо мною, боясь, что я окончательно рассорюсь с ее родными и прекращу всякие отношения с ними. Если бы я поссорился только с её двоюродными братом и сестрою, она, вероятно, не опечалилась бы особенно сильно, но моя ссора с ее матерью тяжело отозвалась бы на ней, так как она горячо любила свою мать...

VI

— Мне надо поговорить с вами, Николай Николаевич!

С этой фразой, сказанной тем особенно торжественным тоном, которым приступают к объяснениям по поводу «историй», обратилась ко мне однажды Анна Петровна, заехав ко мне, когда Саши не было дома. Я немного удивился и ее появлению у меня в необычное время, и торжественности ее вида непреклонного следователя и судьи.

— Чем могу служить? — спросил я, приглашая ее сесть и предчувствуя не без раздражения начало каких-то дрязг.

— Вы знаете, что счастие моей дочери мне дороже всего,— сухо начала она, церемонно присев на кончик стула, — и потому, конечно, не удивитесь, что меня глубоко волнует все, что угрожает этому счастию.

— До вас опять дошли какие-нибудь сплетни,— уже несколько раздражительно произнес я.— Вы бы лучше сделали...

— Я личных советов не спрашиваю,— резко перебила она,— и знаю, что лучше и что хуже. Слава богу, пробилась всю жизнь своим умом и подняла на ноги дочь.

— Глубоко уважаю вас за это,— сдержанно сказал я.— Но дрязги и сплетни...

— Я не сплетница и сплетен не люблю,— ответила она строго.— Вы, кажется, хорошо знаете, что все мои знакомые и друзья знакомы и дружны со мною по десяткам лет, и никогда между нами не происходило никаких мелочных дрязг и сплетен.

Я это действительно знал. Ни у кого не встречал я таких прочных дружеских связей, как у Анны Петровны. Ее все уважали за серьезность ее отношений к друзьям, к ней все шли за советом в затруднительных случаях жизни.

— Что же вас волнует? — спросил я ее сдержанно.

— Вы делаетесь сказкой города,— проговорила она.

— Ах, это...— начал я, поняв, что речь поведется о Чельцовой.

Она перебила меня.

— Дайте мне кончить. Вы делаетесь сказкой города, говорю я. Все встречают вас разъезжающим всюду с госпожой Чельцовой.

Я рассмеялся и пояснил:

— Я и она члены комитета попечительства...

— Оставьте это,— перебила она меня снова.— Членов комитета десять, а разъезжаете с ней именно вы...

Я снова открыл рот, чтобы возразить, она остановила меня уже совсем строптиво:

— Не перебивайте меня, говорю я вам. Вы скажете, что вы с нею хлопочете о делах попечительства, что она избрала именно вас для этих хлопот, что ни у кого нет столько свободного времени для этих хлопот, сколько у вас? Кого вы этим обманете? Ни для кого не тайна поведение госпожи Чельцовой и ее прежние отношения к вам.

— Вот как? — засмеялся я нервным смехом.— Для меня, по крайней мере, они тайна!

— Шутки вовсе неуместны,— возвысила голос Анна Петровна.— Я вам назову десятки людей из вашего же круга, которые указывают пальцами на эти отношения.

— Значит, я прав, что дело касалось сплетен? — опять раздражился я.

— Дело не в сплетнях, а в вопросе о спасении моей дочери! — ответила она.

— Что ж, ваша дочь вам жаловалась? — спросил я.

— До нее, слава богу, не доходит и сотой доли тех слухов, которые доходят до меня, до моих племянника и племянницы, до моих друзей.

— И вы считаете нужным, чтобы я заставил молчать всех негодяев, которые от безделья выдумывают всякие гадости? К несчастью, я не могу этого сделать, да если бы и мог, то не стал бы унижаться до этой грязи.

— Да, но вы можете порвать всякие сношения с госпожой Чельцовой!

Я громко рассмеялся.

— Я не шестнадцатилетняя девушка, которая должна бояться за свою репутацию.

— Но вы должны бояться за спокойствие своей жены.

— Мы настолько любим и уважаем друг друга, что никакие сплетни не нарушат нашего спокойствия.

— Вы любите и уважаете жену! — воскликнула Анна Петровна.— Полноте! Если бы вы любили и уважали ее, вы никогда не грязнили бы себя близостью с такими ничтожными тварями, как Чельцова. Вы путаетесь в этой грязи и имеете дерзость приходить от этой твари к своей жене.

Это меня сразу взорвало: я сам смутно сознавал, что мне не следовало бы допускать Чельцову до игры со мною в кошки и мышки, которая немного тешила и забавляла меня, когда я был юношей, и которая теперь прекратилась бы разом, как только я сказал бы Чельцовой, что я женат. Я иногда сам досадовал на себя за то, что я не порвал всяких отношений с этой женщиной, которая ни на минуту не увлекала меня, никогда не была моей любовницей. Кто не прав, тот сердится, и я запальчиво ответил Анне Петровне:

— Я попросил бы вас не учить меня поведению. Это вы можете делать в своей школе.

— Я бы ни одной минуты не подумала заниматься этим неблагодарным делом, если бы моя дочь не имела несчастия быть вашей женой,— ответила Анна Петровна с выражением пренебрежения ко мне.

— Это она вам сказала о своем несчастии? — спросил я.

— О, она скорее умрет, чем пожалуется на что-нибудь. Но стоит взглянуть на нее, чтобы понять, что она несчастна. Да разве и можно было ожидать счастия для девушки, выросшей среди трудящихся людей и попавшей в тот слой общества, где умеют только прожигать жизнь!

Анна Петровна, не стараясь сдерживаться, пересчитала все мои недостатки, и многое в ее речах было справедливо. Но я почти не слушал ее: во мне бушевала буря, мне вспоминалось, что я в последнее время часто заставал Сашу в слезах; она всегда говорила, что у нее просто расстроились нервы, и объясняла это своим положением. Теперь я понял, что причину слез нужно было искать в другом месте, и резко сказал:

— Если моя жена и несчастна, так это только потому, что у нее такая мать, как вы.

— Что? — воскликнула Анна Петровна, точно ужаленная поднимаясь с места.— Вы осмеливаетесь сказать мне это? Да я всю жизнь посвятила своей дочери, я жила и дышала ею, я... Нет, нет, теперь только я понимаю, как должна страдать моя дочь с таким человеком, как вы! Если вы когда-нибудь сказали ей то, что вы теперь сказали мне, то уже одним этим вы разбили ее сердце. Она с детства привыкла боготворить меня, она видела мои бессонные ночи, она...

Анна Петровна в волнении прошлась по комнате, с трудом переводя дух.

— Вы не только бездушный... вы... вы низкий человек! — задыхаясь, выкрикнула она.

— Извольте выйти вон! — крикнул я ей, указывая рукою на дверь.

— Да, да, я ухожу!.. Навсегда ухожу!.. О, бедное, бедное мое дитя! — воскликнула она, сжимая свои руки.

Я был вне себя от бешенства. Не могу вам сказать, что за мысли бродили в моей голове, это был какой-то хаос, среди которого ясно повторялось только одно решение: «Я или Анна Петровна». Каких-нибудь сделок и компромиссов тут не могло быть. Один из нас должен был сойти с дороги Саши, иначе вся наша жизнь превратится в ад...

Саша застала меня именно в таком состоянии невменяемости и, увидав ее бледное личико, я сразу подумал, что она все уже знает, что, может быть, она даже сговорилась с матерью насчет объяснения последней со мною. Последняя мысль еще более взбесила меня, и я даже не мог понять, что эта мысль — низость по отношению к Саше.

— Твоя мать была здесь,— начал я сухо.

— Я знаю,— ответила дрогнувшим голосом Саша.

— Но она была здесь в последний раз,— решительным тоном сказал я.

— Я и это знаю,— еще более упавшим голосом проговорила Саша.

— Ты, может быть, знала и то, что она должна была объясняться со мною? — резко спросил я.

Она подняла на меня испуганный взгляд, но не сказала ничего. Я разгорячился еще более.

— Это нужно наконец прекратить! Я не позволю вмешиваться в мою личную жизнь, шпионить и подсматривать за мною. Я не мальчик и не слуга, чтобы кто-нибудь руководил моими поступками и командовал мною. Если твоя мать умеет и желает сеять только раздоры в нашей семье, то мне остается одно: предложить тебе выбор между нами: или я, или она. Дальше так жить нельзя, да я и не желаю продолжать так жить! Ты, может быть, вполне сочувствуешь образу ее действий, может быть, полагаешь, что и в будущем дела должны идти так же, но для меня это несносно, нестерпимо!

Она продолжала молчать, и это молчание только раздражало меня.

— Что же ты молчишь?

Она вздрогнула, очнулась, вскинув на меня глазами, и глухо проговорила:

— Что же мне говорить? Ты знаешь, что я не брошу... ни тебя, ни ее... Умереть надо.

— Умереть! умереть! Что ты говоришь пустые фразы! — запальчиво проговорил я.— Руки, что ли, наложить на себя хочешь?

— Кажется, только и остается, что это,— так же глухо сказала она.

— Вот как! Значит, твоя мать не сама от себя говорила, что ты глубоко несчастна? Значит, я действительно не сумел составить твоего счастия? Чудесно! чудесно! Я и не знал этого, не знал, что отравил тебе жизнь! Мало любил тебя! Менял тебя на каких-то итальянских кокоток!

Она посмотрела на меня странным мучительным взглядом, точно умоляя меня не говорить более.

— Исхода же нет,— тихо прошептала она.

Она направилась, спотыкаясь, к дверям и, не дой-

дя до них, зашаталась и вскрикнула. Я подоспел вовремя, чтобы поддержать ее, отнести на руках в спальню...

На следующий день у Саши среди страшных мучений родился мертвый ребенок.

Нечего и говорить о том, что и я, и Анна Петровна, забыв о нашей крупной размолвке, хлопотали и суетились, исполняя приказания акушерки и акушера. Несмотря на мучительные боли, Саша каждый раз ласково улыбалась при виде нас. Казалось, она радовалась, видя нас вместе не спорящими, не бранящимися, не враждующими. Улучив удобную минуту, дней через девять после рождения ребенка, она подозвала меня к себе и едва слышным прерывающимся голосом сказала мне:

— Ты меня прости... Пусть и мама простит... Вы ведь будете ссориться, а я не могу... не могу между двух огней жить... И ее жаль, и тебя... ни разойтись, ни жить вместе...

Я уговаривал ее успокоиться, не говорить, не волноваться, видя, что она испытывает страшные муки.

— Милый, ты веришь!.. Мама тоже знает... что любила... Все равно... умираю ведь,— проговорила она, качая головой.— Жаль вам будет меня, и мне вас жаль... обоих любила...

— Полно, полно! — остановил я ее, целуя ее руки.— Тебе ли думать о смерти... Вот мы, я и твоя мать...

Она вскрикнула от невыносимой боли. Я, не кончив начатой фразы, перепугавшись, побежал в соседнюю комнату за акушеркой, послал на ходу за доктором и кликнул Анну Петровну. Опять начались беготня, хлопоты, непониманья ничего. Никто не понимал, что делается с больной, отчего произошла перемена. Она металась и бредила от страшных страданий, которые усиливались уже не по часам, а с каждой минутой. Кругом ничего не понимающие люди что-то толковали вкривь и вкось о бросившемся в голову молоке, о родильной горячке, о заражении. Доктор и акушерка молча делали свое дело, принимали свои меры и, видимо, были растеряны, утратили присутствие духа, потеряли веру в возможность помочь. И вдруг среди этого переполоха акушерка шепнула мне роковые, приведшие меня в ужас слова:

— Она отравилась!

Эта весть облетела весь дом, как молния. Все спрашивали, чем отравилась, когда отравилась, где взяла яду, какой яд. Не нашатырный ли спирт выпила, не раствор ли фосфора с спичек, не мышьяку ли приняла, который был в доме ради крыс, не креозот ли или опиум, которые были как-то куплены против зубной боли, послужили отравой? Она уже не могла пояснить ничего, а доктор знал только, что отравление очевидно, и старался, так сказать, ощупью и наугад спасти больную. Впрочем, его и не спрашивали в эти скорбные часы о подробностях, по крайней мере, я и Анна Петровна: я точно одеревенел и превратился в истукана в это страшное время; Анна Петровна, казалось, сошла с ума буйным помешательством, крича, что я убил ее дочь.

VII

Иванов молча ходил по комнате, оборвав свой рассказ и безнадежно махнув рукою. Я не нарушал молчания и, чтобы дать возможность моему гостю оправиться от охватившего его волнения, вышел в переднюю распорядиться насчет чаю. Человек по моему приказанию принес чай и поставил поднос на стол. Когда он ушел, Иванов, собравшись с силами, заговорил снова:

— Далее вам нечего рассказывать: похороны вы видели. Я бросил тотчас же все: службу, друзей, Петербург и уехал к себе в имение, где жили мой старик дядя, разбитый параличом, и моя троюродная сестра, ходившая за больным. Первое время я думал, что я сойду с ума от горя, от безысходной тоски, от гнетущих дум о том, что я погубил любимую мною и любившую меня до безумия жену. Я почти не видал людей и виделся только с дядей и своей троюродной сестрой. Он был похож на ребенка, плохо понимал совершающееся вокруг него, радовался по-детски еде, как ребенок играл в дураки с моей кузиной и, в сущности, был живым трупом. Кузина самоотверженно ухаживала за ним и, когда я приехал, стала ухаживать также за мной. Сначала я не сознавал, что она и на меня смотрит, как мать на больного ребенка, по-

том я привык к ее участию, к ее нежной заботливости, к ее невозмутимому спокойствию и стал делиться с нею, как с матерью, своим горем, своими думами. Иногда я и она проводили целые вечера на ступенях террасы, сторожа дремавшего в кресле дядю и тихо беседуя между собою. Незаметно она помогла мне разобраться в хаосе моих дум, и я мало-помалу понял сущность той драмы, которая разыгралась в моей жизни. Кто был виноват в том, что эта драма не превратилась в веселую комедию, какою она могла бы быть, если бы мы все менее страстно отнеслись к тем мелочам жизни, которые встречаются сплошь и рядом. Винить, в сущности, было некого, и в то же время все были одинаково виноваты. Анна Петровна не была настолько умною, чтобы охранять спокойствие дочери и не вливать яду в ее жизнь; я не был настолько рассудителен и хладнокровен, чтобы не обращать внимания на выходки тещи и относиться к ним шутливо; Саша, измученная нападками матери на меня и моими вспышками против матери, была слишком чутким и впечатлительным существом и не могла осилить мысли, что все эти мелкие неприятности нечто преходящее, нечто не стоящее серьезного внимания. Сколько нетерпимости, сколько жестокости сказалось во всех нас, любивших так или иначе друг друга! Толкуя обо всем этом с моей кузиной, я словно перерождался мало-помалу, и мне казалось, что я начинаю походить характером на нее. Румяная, здоровая, нетороплива в движениях, она изумляла меня своим невозмутимым спокойствием. Это была не апатия, не равнодушие, а именно ровное спокойствие, которое не могли нарушить «мелочи жизни». Я никогда не видал, чтобы она рассердилась на неловкость прислуги, подняла шум из-за разбитой вещи, ответила резкостью на капризы дяди или на мои вспышки. Впрочем, что же я вам рассказываю: вы видели мою Ольгу.

— Ольгу Александровну? — спросил я.

— Да, когда дядя умер и Ольга хотела уехать, я предложил ей остаться у меня... остаться в качестве моей жены и хозяйки дома. Признаюсь, я боялся, что она не согласится. Но я уже был не прежний Иванов, я уже стал таким, каким вы знаете меня теперь! Урок был тяжелый, но он не прошел даром, и первые вешние грозы навсегда оставили на мне свой след.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГОСПОДА ОБНОСКОВЫ

Впервые — «Дело», 1868, № 3, с. 157—202; № 4, с. 119—178; № 5, с. 145—202; № 6, с. 188—245; № 7, с. 166—223, с подписью: А. Михайлов.

С. 21. *Геродот* (ок. 484—425 до н. э.) — древнегреческий историк. *Плиний* Старший Гай Секунд (23—79) — римский писатель и ученый.

С. 27. *...рассуждения о Бисмарке, о выборах. Одни Францию ругают, другие Россию клянут.*— Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, фон Шенгаузен, кн. (1815—1898), известный государственный деятель Пруссии и Германии, дипломат, основатель юнкерско-буржуазной Германской империи. С 1859 по 1862 г. был послом в Петербурге, затем недолгое время в Париже. Бисмарк поставил перед собой задачу «железом и кровью» объединить немецкое государство под прусской гегемонией. После разгрома Австрии в войне 1866 г. он сумел изолировать Францию и заручился поддержкой Александра II. В 1867 году он добился создания Северо-Германского Союза и был назначен его канцлером.

С. 35. *Саллюстий* Гай Крисп (85—35 до н. э.) — римский историк.

С. 38. *Прудон* Пьер Жозеф (1809—1865) — французский публицист и историк.

С. 42. *...созерцая головы этих медуз.*— Медуза — в греческой мифологии женщина-чудовище со змеями вместо волос на голове.

С. 72. *Илот* — здесь: бесправный, эксплуатируемый человек.

С. 78. *Фауст, Вагнер, Гретхен* — действующие лица трагедии Иоганна Вольфганга Гете (1749—1832) «Фауст» (1808).

С. 107. *...мало их перевешали...*— Имеется в виду подавление восстания в Польше в 1863 году.

С. 128. *...немецкий гелертер.*— Начитанный человек, ученый (от нем. der Gelehrte).

С. 130. *Камелия* — женщина легкого поведения.

С. 131. *Эгоистка* — небольшой экипаж для одного человека.

«Правоведение» — т. е. Училище Правоведения.

...его можно было застать у Вольфа, Бореля или Дюссо...— Дюссо и Борель — известные петербургские рестораны на Большой Морской. На Невском проспекте располагалась кондитерская Вольфа и Беранже.

...о пластичности Петипа...— Петипа Мариус Иванович (1822—1910) — выдающийся русский балетмейстер. С 1847 г.— танцов-

щик в петербургском Мариинском театре; с 1862 г. начинается его деятельность балетмейстера.

С. 133. *История Смарагдова...* — С. Н. Смарагдов (1805—1871) — автор учебников по истории для средних учебных заведений: «Руководство к познанию древней истории» (1840), «Руководство к познанию средней истории» (1841), «Руководство к познанию новой истории» (1844).

Гиль — чепуха.

С. 147. *...не следует... читать Милля...* — Дж. Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ и экономист.

...нимфа Эгерия помогала Нуме Помпилию при составлении законов... — Нума Помпилий (конец 8 — начало 7 в. до н. э.) — легендарный римский царь, славившийся справедливостью и мудростью. Эгерия — в римской мифологии богиня, помогавшая, по преданию, Помпилию в установлении в Риме религиозных обрядов и проведении различных жертвоприношений.

С. 151. *Волтижер* — наездник.

С. 154. *Берейтор* — объездчик лошадей.

С. 157. *...на одра похож.* — Одёр — старая, рабочая скотина.

...фигурой Аполлона! — Аполлон, или Феб, в древнегреческой мифологии бог солнца и поэзии; изображался художниками и скульпторами в виде красивого юноши. Наиболее известна римская скульптура Леохора — Аполлон Бельведерский.

С. 159. *...одну из элегических наивных песен Бернса.* — Шотландский поэт Роберт Бернс (1759—1796) — автор популярных песен, близких к шотландской народной балладе.

С. 197. *...Робинзон или Гус со своими друзьями, протестанты или социалисты шли проповедовать свои доктрины, все было плодом восторженных мечтаний...* — Ян Гус (1371—1415) — вождь реформации в Чехии, руководитель национально-освободительного движения. Герой романа Даниэля Дефо (ок. 1660—1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, написанные им самим» (1719), ставший столь популярным, воспринимался молодежью как символ труда и протеста против паразитической аристократии. Всюду появлялись «робинзонады». Домашний врач Л. Н. Толстого Д. П. Маковицкий записал в своем дневнике: «Л. Н. хотел написать русского «Робинзона». «Какая это мысль прелестная, как это все, чем мы пользуемся, добывается трудом» (Яснополянские записки Д. П. Маковицкого, «Наука», М., т. IV, 1979, сс. 336, 354).

С. 209. *Ономедни* — т. е. недавно, оными днями.

С. 271. *...Gaudeamus споем...* — Gaudeamus igitur *(лат.)* — «Итак, возрадуемся» — начало известной студенческой песни, впервые опубликованной в 1776 году и заново обработанной в 1781 г.

НАД ОБРЫВОМ

Впервые — «Живописное обозрение», 1883, №№ 43—52 (с 22 октября по 24 декабря), с подписью: А. Михайлов.

С. 298. *Содом и Гомор* — здесь: беспорядок, суматоха. Содом и Гоморра — древние города Палестины, по преданию разрушенные землетрясением за грехи их жителей.

С. 300. *Бокль* Генрих Томас (1821—1862) — англ. социолог, автор известной «Истории цивилизации в Англии» (1857—1861).

С. 302. *Иеремиада* — жалоба, сетование — от имени пророка Иеремии, плакавшего, согласно библейской легенде, по поводу разрушения Иерусалима.

С. 308. *«Марьяж»* — брак (от франц. mariage).

С. 314. *...везде у них Калифорния под руками.*— Открытие золота в 1848 году в одном из юго-западных штатов Америки, Калифорнии, вызвало золотую лихорадку. «Калифорния» стало нарицательным словом и обозначало место, куда устремлялись люди в поисках личной наживы.

С. 315. *Кукшина* — действующее лицо романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

С. 316.— *Помните у Гейне:*

Как несет чесноком от графини
От m-me la comtesse Gouldefeld.

— Цитата из стихотворения немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856) «Тщеславие» из цикла «Ollea», вошедшего в 3-е издание «Новых стихотворений» (1844). Перевод А. Н. Плещеева.

С. 332. *...читал мальчику не одни какие-нибудь сказки Перро или Робинзона, а познакомил его и с «Королем Лиром»,* и с *«Макбетом», и с «Дон-Кихотом», и с «Разбойниками».*— Перро Шарль (1628—1703), французский писатель, завоевавший мировую известность своими волшебными сказками. Многие из них: «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик с пальчик» — были широко известны в России. «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (1719) — роман английского писателя Даниэля Дефо (ок. 1660—1731); «Приключения гидальго Дон-Кихота из Ламанча» (1605—1615) — роман испанского писателя Мигеля де Сааведра Сервантеса (1547—1616); «Король Лир» (1605), «Макбет» (1605) — драмы Вильяма Шекспира (1564—1616); «Разбойники» (1781) — драма Фридриха Шиллера (1759—1805).

С. 340. *...«со времен очаковских и покоренья Крыма».*— Слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), действие II, явление 5.

С. 341. *...времен Александра Благословенного...*— Александра I (1777—1825).

С. 343. *Разговор коснулся наполеоновских войн и численности его армии в сражении под Эйлау.*— 7—8 февраля 1807 г. в Восточной Пруссии у г. Прейсши-Эйлау произошло сражение между русской армией генерала Л. Л. Беннигсена и войсками Наполеона. Все атаки Наполеона были отбиты, однако из-за недостатка оружия и продовольствия Беннигсен вынужден был отступить. Обе стороны потеряли в сражении около 25—30 тысяч человек, и каждая приписывала победу себе.

С. 362. *Ландскнехт* — азартная карточная игра.

С. 373. *Репримандр* — упрек, выговор (от франц. réprimande).

С. 378. *Санкюлоты* — презрительное прозвище, данное аристократами республиканцам во время Французской революции 1789 года.

С. 382. *Теньер* — Тенирс (Teniers) Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник, известный своими пейзажами и бытовыми картинками на занимательные сюжеты.

С. 387. *...грубая, точно обтянутая опойком...*— Опоек — кожа, отличающаяся мягкостью, эластичностью и в то же время крепостью.

С. 388. *«От ликующих, праздно болтающих...»* — строки из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

С. 391. *«Преступление и наказание»* — роман (1866) Ф. М. Достоевского.

С. 394. *...после чтения Вертера...*— Имеется в виду роман Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

...великая жертва, принесенная Лукрецией, покончившей с собою, чтобы возбудить к мщению сограждан.— По преданию, римская аристократка Лукреция, обесчещенная сыном царя Тарквиния Гордого, лишила себя жизни. Считалось, что это событие, а также необыкновенная жестокость Тарквиния послужили причиной восстания (509 до н. э.) и изгнания его из Рима.

С. 399. *...не разрубив разом гордиева узла долгов...*— Гордиев узел — запутанное сплетение различных сложных обстоятельств. Разрубить гордиев узел — разрешить разом все затруднения. По преданию, Александр Македонский рассек мечом узел, завязанный фригийским царем Гордием.

С. 402. *Зола* — Эмиль Золя (1840—1902) — французский писатель, теоретик и глава натурализма.

С. 412. *...он перешел к вопросам о Гамлете и Дон-Кихоте после прочтения статьи Тургенева...*— Имеется в виду статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», опубликованная в «Современнике» в 1860 году (кн. 1, с. 239—258). Тургенев, которого занимала в то время проблема положительного героя, по-новому трактует эти два известных литературных образа. Дон-Кихот, по его мнению, выражает веру в идеал и является носителем пере-

довой идеологии борца, противодействующего всему, что враждебно человеку. «Дон-Кихот — энтузиаст, служитель идеи, и потому обвеян ее сиянием...» Гамлет же «весь живет для самого себя, он эгоист... Гамлеты точно бесполезны массе, они ей ничего не дают, они ее никуда вести не могут, потому что сами никуда не идут». Без Дон-Кихотов же, «без этих смешных чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество и не над чем было бы размышлять Гамлетам».

С. 413. *«Поездка в Полесье»* (1857) И. С. Тургенева первоначально была задумана как охотничий очерк и лишь впоследствии вылилась в самостоятельную повесть. Она посвящена вопросу об отношении человека к природе.

...холодный... взгляд вечной Изиды... — Изида, или Исида, — древнеегипетская богиня — покровительница гор, славящаяся своей мудростью. Изображалась в виде женщины с рогами коровы.

С. 414. *...разных ирвингианцев, пашковцев, умных или глупых искателей духовной пищи...* — Ирвингианство — мистическая секта, основателем которой был лондонский проповедник Эд. Ирвинг (1792—1834). Пашковцы — последователи религиозной секты, возникшей в 1874 году и названной по имени ее основателя, полковника В. А. Пашкова (1831—1902), высланного из России за религиозную пропаганду.

С. 421. *Трапписты* — католический монашеский орден, устав которого отличался особой строгостью. Назван по имени своего первого монастыря в Норвегии, расположенного в ущелье — Тгарре.

С. 423. *Иуда* — апостол, предавший, согласно евангельской легенде, своего учителя Иисуса Христа.

С. 427. *...взял «Историю крестьянских войн» Циммермана.* — Циммерман Вильгельм (1807—1878) — немецкий историк и поэт. Его основной труд — «История великой крестьянской войны» в 3-х т., 1840—1844. На русский язык переведено 2-е издание (в одном томе) под ред. Блосса, 1856 г.

Светлый образ Фомы Мюнцера... — Мюнцер Томас (1490 или 93—1525) — вождь революционной крестьянской партии во время крестьянской войны в Германии (1525). Проповедовал идеи уравнительного утопического социализма. Скитался по городам и деревням, выступал с проповедями, призывал к вооруженному выступлению против католической церкви. «Подобно тому, как религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму, его политическая программа была близка к коммунизму... Под царством божиим Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей

членам общества и чуждой им государственной власти» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, с. 371). Мюнцер создал тайный союз для борьбы с князьями. В 1525 г. возглавил крестьянское восстание под Франкенгаузеном, но был разбит, взят в плен и казнен.

С. 429. *Карлштадт* Андрей Рудольф Боденштейн (1480—1541), борец германской реформации — движения, направленного против католической церкви. Сначала был противником Лютера, потом перешел на его сторону. После долгих скитаний пришел в Швейцарию, где стал священником в Цюрихе и профессором в Базеле.

Лютер Мартин (1483—1546) — нем. религиозный реформатор, основатель лютеранства в Германии. Выступал против догматов католической церкви. Его известные 95 тезисов стали знаменем революционной борьбы. Однако после крестьянской войны Лютер перешел на сторону княжеской реакции.

Башибузук — отчаянный человек, разбойник.

Савонаролла Джироламо (1452—1498) — итал. проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции, монах.

С. 435. *Жантильничать* — жеманиться, кокетничать.

С. 436. *Моветон* (от фр. mouvais ton) — дурной тон, невоспитанность.

С. 477. *Народ шел за Христом, за Фомой Мюнцером, за Фридрихом Раппом... за Сютаевым он пойдет...* — Рапп — возможно, Шеллер-Михайлов имел в виду Георга Раппа (1757—1847) — основателя религиозной общины гармонистов (гармонитов) в Америке. Сютаев Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин Тверской губернии, основатель религиозно-нравственного учения «непротивленчества и нравственного самоусовершенствования»; знакомый Л. Н. Толстого.

С. 479. *Штундисты* — последователи штундизма — религиозной секты в России, выражающей интересы кулацких слоев крестьянства.

ВЕШНИЕ ГРОЗЫ

Впервые — в кн. «Эсфирь. Историческая повесть из древнеперсидской жизни и рассказы». СПб. Изд. В. И. Губинского, 1892. (2-е изд. 1896).

С. 486. *Мамона* — чувственные наслаждения.

С. 497. *Тит Титыч* — Брусков — действующее лицо пьесы А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856), ставший нарицательным именем самодура.

С. 503. *Добчинский и Бобчинский* — действующие лица комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836).

М. А. Соколова

СОДЕРЖАНИЕ

Шеллер-Михайлов А. К.

Ш42 Господа Обносковы. Над обрывом. / Сост., предисл. и прим. М. А. Соколовой.— М.: Правда, 1987.— 528 с.

Русский писатель-демократ А. К. Шеллер-Михайлов (1838—1900) — автор злободневных и популярных в 60—80-х гг. прошлого века романов.

Прямая критика паразитирующего дворянства, никчемной, прожигающей жизнь молодежи, искреннее сочувствие труженику-разночинцу, пафос общественного служения присущи его романам «Господа Обносковы», «Над обрывом» и рассказу «Вешние грозы».

Ш $\frac{4702010100—1300}{080(02)—87}$ 1300—87 84 Р 1

Александр Константинович Шеллер-Михайлов

ГОСПОДА ОБНОСКОВЫ

НАД ОБРЫВОМ

ВЕШНИЕ ГРОЗЫ

Составитель
Майя Анатольевна Соколова

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
И. С. Захаров

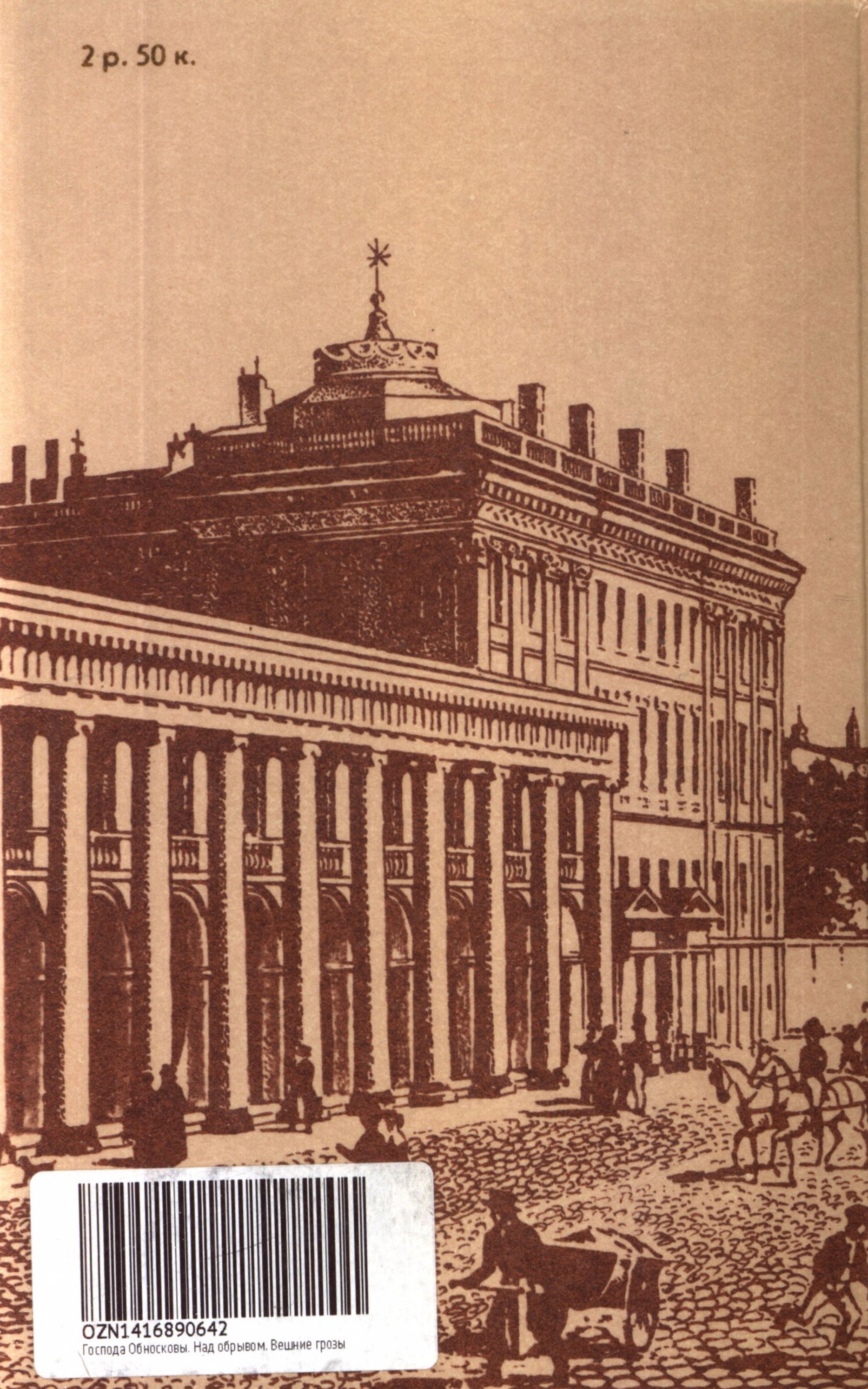
Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1300

Сдано в набор 09.12.86. Подписано к печати 30.03.87.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Уч.-изд. л. 28,26.
Тираж 300 000 экз. (1-й завод: 1—100 000).
Заказ 1761. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24

Отпечатано в типографии издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.


2 р. 50 к.
OZN1416890642
Господа Обносковы. Над обрывом. Вешние грозы